

Семь искусств 5/2015



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

5/2015

Журнал

**«Семь искусств»
№ 5 (62) 2015**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2015

Журнал «Семь искусств» № 5 (62) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 556 с., 34,5 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2015

Оглавление

<i>Габриэль Мерзон</i> Владимир Харитонов: учёный и современник	5
<i>Василий Демидович</i> Владимир и Слободанка Янковичи	19
<i>Елена Шатохина</i> «В неверный час стропил и снега...» Хроники потерянного поколения	28
<i>Николай Овсянников</i> Пророчество Волошина	66
<i>Павел Нерлер</i> Посланы с того света: Солагерники Осипа Мандельштама (Публикация первая)	71
<i>Александр Мелихов</i> Второсортные европейцы	88
<i>Ольга Янович</i> Квартет как семья	95
<i>Борис Тененбаум</i> Хартия и Легион. Глава из новой книги "Израильские войны"	112
<i>Юлий Ким</i> Однажды в Одессе. Мюзикл	123
<i>Валерий Пахомов</i> Интернат. Мемуаразмы — мемуары и размышления	169
<i>Елена Калашиникова</i> Майя Квятковская: «Мне гораздо легче переводить стихи»	199
<i>Игорь Юдович</i> Незнакомый Рональд Рейган	211
<i>Владимир Бабицкий</i> Не поверите! Памятные встречи на далёких маршрутах	226
<i>Дмитрий Бобышев</i> Человекотекст. Трилогия. Книга первая. "Я здесь"	245
<i>Борис Юдин</i> Берегини Стихи	285
<i>Дмитрий Быков</i> Счастье	290
<i>Вильям Баткин</i> Этюды души. Стихи последних лет Публикация и вступительное слово <i>Леи Алон (Гринберг)</i>	292
<i>Владимир Фридкин</i> Первая любовь Рассказы	308
<i>Виктория Жукова</i> Плохая примета	330

<i>Сергей Баймухаметов</i> Сауран	337
<i>Александр Лозовский</i> Двадцать пятый кадр. Роман	352
<i>Мари де Франс, Вероника Долина</i> Двенадцать "повестей" Марии Французской Предисловие и перевод <i>Вероники Долиной</i>	458
<i>Майя Квятковская</i> Переводы из французской поэзии	500
<i>Николь Краусс</i> Зуся на крыше. Перевод <i>Ирины Лейченко</i>	512
Андрей Пучков «Да здравствует лучшая в мире цензура — по признаку литературного качества». Павел Нерлер об Осипе Мандельштаме	520
<i>Михаил Юдсон</i> Барометр парома	529
<i>Алексей Каздым</i> Месяц в деревне (почти по Тургеневу)... Франция, Эльзас	533

Габриэль Мерзон

ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ: УЧЁНЫЙ И СОВРЕМЕННОК

От автора

Эти воспоминания посвящены известному учёному-физику, человеку непростой судьбы Владимиру Моисеевичу Харитонову, с которым автор тесно общался более полувека. Дружили и наши семьи, и эта живая связь сохраняется и поныне.

Автор благодарен жене В.М. Харитонова Зое Борисовне, дочери Жене и племяннице Рае, которые сообщили ему ряд подробностей его жизни и уточнили некоторые даты. Автор также признателен за помощь своим друзьям, сотрудникам Ереванского Физического института Л. Багдасаряну и Р. Кавалову, приславшим копию Личного дела В.М. Харитонова. Автор выражает свою глубокую благодарность Заведующей редакцией журнала «Доклады Академии наук» И.В. Исавниной, С.Д. Вермтшевой, рассказавшей некоторые подробности из жизни В.М. Харитонова, а также Н.М. Девяцкой, которая помогла расшифровать неразборчивые записи в личном деле В.М. Харитонова и сделала ценные критические замечания о прочитанной рукописи.



Владимир Моисеевич Харитонов

Мне давно хотелось написать о Владимире Моисеевиче Харитонове — физике Божьей милостью, человеке непростой судьбы, который в силу жизненных обстоятельств не успел полностью реализовать щедро отпущенный ему природой недюжинный научный потенциал.

Наша первая встреча произошла летом 1951 г. во время моей дипломной практики на высокогорной научной станции «Арагац» в Армении, где я занимался

изучением состава и спектра энергии космических лучей. Мой научный руководитель Артём Исаакович Алиханян, загруженный многочисленными научными и организационными обязанностями, почти не уделял мне внимания. Я же барахтался как кутёнок в проруби, пытаясь извлечь из накопленного экспериментального материала данные, которые легли бы в основу моей дипломной работы. Я очень нуждался в советах опытного физика, и, по счастью, сумел получить их, встретив Владимира Моисеевича Харитонova.



В.М. Харитонов, 1946 г. Фото из личного дела, хранящегося в Ереванском физическом институте Армянской Академии наук

К тому времени он защитил кандидатскую диссертацию и работал в должности старшего научного сотрудника Ереванского физического института (ЕрФИ), руководимого А.И. Алиханяном.

От других своих коллег В.М. Харитонов выгодно отличался строгостью подхода к научным проблемам и широтой эрудиции. В этом ему помогал ярко выраженный физико-математический склад ума и хорошее знание английского языка, редкое в ту пору. Чтение зарубежной научной литературы не составляло для него никакого труда. Вдобавок, он отлично знал электронику и с лёгкостью конструировал, собирал и настраивал электронную аппаратуру, которая управляла физическими установками. Наш радист, мудрый Дима Шкарлет, поддерживавший радиосвязь между Высокогорной лабораторией и ЕрФИ, не раз говорил: «Попомните мои слова: быть Харитонову академиком!»

Владимир Моисеевич был на восемь лет старше меня. Я звал его по имени и отчеству, он меня — только по имени, но всегда на «Вы». Так продолжалось все годы нашего общения, даже когда разница в годах практически стёрлась. И всё же здесь, в этих воспоминаниях, мне хочется называть его Володей. Надеюсь, что это не прозвучит панибратски, и наше долготелее сотрудничество даёт мне такое право.

Володя запомнился мне человеком выше среднего роста с гривой тёмных вьющихся волос и живым пронизательным взглядом карих глаз. В общении был он сдержан, закрыт, немногословен, не располагал к откровенности, редко улы-

бался. Безупречно воспитанный, он никогда не возвышал голос, не позволял грубостей. Строго придерживался распорядка дня, не любил менять привычный порядок вещей. Так, например, живя холостяком в Ереване, всегда обедал в одно время и в одном и том же городском ресторане, заказывая почти одинаковые европейские блюда. К обеду непременно требовал у официанта стакан холодной воды.

Летом 1951 г. Володя поднялся на Высокогорную станцию с разработанным им газовым пропорциональным счётчиком для измерения ионизирующей способности заряженных космических частиц. Тогда (как и сейчас) физикам приходилось самим разрабатывать и создавать приборы для научных исследований. Пропорциональные счётчики и раньше применялись в измерениях на Арагаце. Они позволили обнаружить новое удивительное явление: ионизация, производимая одной и той же заряженной космической частицей, которая последовательно прошла через два одинаковых счётчика, порой существенно различалась. Это, по-видимому, объяснялось разбросом (флуктуациями) ионизации, присущими такому физическому процессу. О результатах экспериментов рассказали Л.Д. Ландау, который дал им теоретическое истолкование и предложил описывать эти флуктуации универсальной кривой (так называемым, распределением Ландау). Отгиск своей статьи на эту тему он подарил А.И. Алиханяну с припиской: «Дорогому Артюше с трогательной надписью!».



Высокогорная научная станция «Арагац» (Снимок 1953 г.)

Во время своей дипломной практики я ещё не знал, что Володя уже готовит докторскую диссертацию по изучению этого явления. Тем более, я не мог предвидеть, что много лет спустя моя докторская диссертация тоже будет посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию процесса ионизации в реальных детекторах. Хочу только удостовериться, что именно Володя Харитонов впервые пробудил во мне интерес к этой проблеме.

Конструкция привезенного на Арагац пропорционального счётчика, в наладке которого помогал и я, была взята из американского научного журнала «Scientific Instruments». Тогда же Володя усовершенствовало писанный в книге В. Элмора и М. Сендса генератора линейно нарастающих импульсов напряжения и собственноручно собрал его. Этот прибор затем много лет использовался для контроля зажигания сигнальных неоновых лампочек годоскопа Большого магнитного спектрометра.

В условиях высокогорной экспедиции, где работали, практически, одни мужчины, их нравы опрошались, и в речи нередко проскальзывали крепкие словечки. Не таков был Володя Харитонов: я никогда не слышал из его уст грубого слова. По этому поводу кое-кто даже подшучивал над ним. Но как-то раз в нашу

комнату с выпученными глазами ворвался молодой лаборант Павлик Гамбарян и с порога провозгласил:

— «Ребята! Харитонов выругался!!!»

— Что же такое он сказал?

— Он сказал: «Чёрт возьми!!!»

Вот таким интеллигентным человеком был наш Владимир Моисеевич Харитонов!

За время дипломной практики с мая по декабрь 1951 г. мне пару раз удалось спуститься с горы Арагац в Ереван. Для ночёвки студентам был предоставлен финский домик в райском уголке города: в саду над рекой Зангу (Раздан). Рядом стоял домик поменьше с комнатой и верандой, где жил Володя. Обстановка там была весьма скромная: кровать, обеденный и письменный столы, несколько стульев, вот, пожалуй, и всё. Перемены начались двумя—тремя годами позже, когда, приехав в Ереван, я встретил около этого домика милостивую девушку по имени Зоя, которая стала Володиной женой.

Володя временами наезжал в Москву, где в Мерзляковском переулке вблизи улицы Воровского (ныне, как и прежде, Поварская) он и его сестра Лиля имели по комнате в коммунальной квартире на четвёртом этаже дома, принадлежавшего жилищно-строительному кооперативу. С юности живя в Москве, Володя имел и московскую прописку. Там же прописалась и Зоя, что не понравилось их соседу, который, кстати говоря, в прошлом был учеником Володиной мамы Раисы Борисовны. Сосед пожаловался в милицию, и та, узнав, что Володя работает в Ереване, вознамерилась лишить его права проживать в Москве и отнять его комнату. Коллизия разрешилась после письма, направленного Президентом Академии наук Несмеяновым московскому градоначальнику Промыслову. Только после этого милиция оставила семью Харитоновых в покое.

Я всегда использовал приезды Володи в Москву как повод повидаться с ним и обсудить научные новости того бурного периода развития физики элементарных частиц. В доме Харитоновых я познакомился с Лилей, а после 1954 г. и с Раисой Борисовной, вернувшейся тогда из ссылки. Постепенно мне открылась непростая история семьи Харитоновых, типичная для многих семей старых большевиков.



Большевики в Стокгольме: возвращение из эмиграции в Россию (февраль 1917 г.). В их числе В.И. Ленин и М.М. Харитонов.

Отец Володи, профессиональный революционер Моисей Маркович Харитонов, после революции 1905 г. был вынужден эмигрировать в Швейцарию, где вместе с В.И. Лениным находился до 1917 г. Во время Гражданской войны он сра-

жался против Колчака, позже занимал высокие партийные и государственные должности. В частности, в середине 1920-х годов был секретарём Екатеринбургского (после 1924 г. Свердловского) Обкома ВКП/б/. В 1930-е годы он возглавлял торговое представительство СССР в Англии, где несколько лет жил вместе со своей семьёй. (Видимо именно там Володя и обучился английскому языку). По приезде в 1937 г. из Лондона в Москву М.М. Харитонов был арестован и приговорён к 10 годам заключения в лагерях.



Моисей Маркович Харитонов (1933 г.)



Раиса Борисовна Харитонова (1925 г.)

Мать Володи много лет работала в Народном комиссариате просвещения вместе с Н.К. Крупской. С Раисой Борисовной я познакомился и беседовал после её возвращения из ссылки. Несколько рассказанных ею характерных эпизодов из жизни семьи Харитоновых остались в памяти и их уместно здесь воспроизвести.

Как рассказывала Раиса Борисовна, в 1925 г. её муж, как делегат съезда ВКП/б/, приехал из Екатеринбурга в Москву и в коридорах Кремля повстречался со Сталиным. Тот обнял его за плечи и посетовал:

— Харитонов, нас хотят посорить!

— В чём дело, Иосиф Виссарионович?

— У тебя в Екатеринбурге издали отрывной календарь на 1926 год, там и Фрунзе, и Дзержинский, и Орджоникидзе, а меня забыли!

Не правда ли, этот эпизод весьма красноречиво иллюстрирует тщеславие И.В. Сталина!?

Другое событие связано с арестом М.М. Харитонова. На следующий день к дому Харитоновых подъехала «Эмка», и двое чекистов внесли в квартиру большие картонные коробки, набитые разной снедью. Поскольку М.М. Харитонов был в дружеских отношениях с Наркомом внутренних дел Н.И. Ежовым, семья расценила этот визит как благоприятный знак: мол, не волнуйтесь, всё обойдётся! И действительно, 10 лет лагерей закончились для М.М. Харитонова благополучно. Он выжил и вернулся домой, когда НКВД возглавил уже Л.П. Берия. Но в 1948 г. после тщетных попыток добиться реабилитации М.М. Харитонов был арестован повторно и в том же году умер.

По словам Зои Харитоновой, позже, на склоне лет, Раиса Борисовна назвала сталинские репрессии «исторической необходимостью». Да, поистине несгибаемыми борцами были эти старые большевики! Ради дела революции они прощали Сталину даже гибель сотен тысяч людей, своих близких и собственные сломанные судьбы!



Семья Харитоновых на отдыхе в Крыму (1925 г.).

Слева направо: Лиля, Володя, Моисей Маркович и Раиса Борисовна

Володя Харитонов родился в Петрограде в 1920 г., и получил своё имя, конечно же, в честь В.И. Ленина. Он учился в нескольких разных школах, за свой буйный нрав заслужил прозвище «Бизон» и множество жалоб от педагогов. В 1937 г. он окончил знаменитую Московскую школу № 110, расположенную рядом

с его домом в том же Мерзляковском переулке, и попытался поступить на Физический факультет Московского университета (МГУ). Разумеется, в приеме ему отказали как сыну «врага народа». Однако Лиля, которая была старше на 5 лет и окончила тот же физический факультет, попросила о содействии одного из профессоров МГУ (возможно, С.Э. Хайкина). Володе разрешили посещать лекции в качестве вольнослушателя, а через два года он стал полноправным студентом и даже возглавил научное студенческое общество, где заметил талант будущего академика А.Д. Сахарова. В начале Великой Отечественной войны МГУ был эвакуирован в Ашхабад. В том же 1941 г. Володя окончил университет, получив специальность физика-теоретика.



Владимир Харитонов (1940-е годы)

По записям в его личном деле, некоторое время Володя работал в Институте метрологии, тоже эвакуированном в Ашхабад. Но как рассказал мой коллега по ФИАН ветеран войны М.И. Фрадкин, который учился в МГУ вместе с Володей, в середине 1942 г. трое бывших студентов-физиков, в том числе и Володя, решили ехать в Москву, чтобы оттуда податься на фронт. По словам М.И. Фрадкина, по приезде в Москву с Володей произошла некая неприятная история. После скудного Ашхабадского пайка и многодневного голодного пути до Москвы, Володя не устоял перед соблазном и стащил с витрины московского магазина пшеничную булку. Его задержали, но чем закончилось дело, никто не знает. На фронт Володя так и не попал. Судя по сохранившимся документам, он стал курсантом Подольского пехотного училища, откуда вскоре был отчислен по болезни. Подробности этого периода его жизни известны плохо. Имеется ссылка на то, что в 1943–1945 гг. он работал конструктором в опытном конструкторском бюро (ОКБ).

В конце 1940-х годов требования режимного характера резко ужесточились. Володя, как сын репрессированных родителей, не мог быть допущен в московские академические лаборатории. С помощью А.И. Алиханяна в 1946 г. он был зачислен

младшим научным сотрудником в Ереванский физический институт. В союзных республиках режимные требования были мягче и соблюдались не столь строго. Согласно записям в личном деле В.М. Харитонова его заработная плата составляла 55 рублей, что соответствовало средней стипендии московского студента. В 1948 г. Володя защитил в Институте физических проблем в Москве кандидатскую диссертацию и был переведен на должность старшего научного сотрудника ЕрФИ с окладом 150 рублей. В 1953 г. в Москве, в Институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) он защитил свою докторскую диссертацию.

В его первых работах совместно с А.И. Алиханяном, А.О. Вайсенбергом, М.И. Дайоном и др. исследовались спектры масс космических частиц с целью поиска средних, так называемых варитронов: нестабильных частиц с массой, промежуточной между пионом и протоном. Вскоре Володя отошёл от этой тематики и занялся изучением ионизационных потерь энергии заряженных релятивистских частиц. В частности, он разработал методику определения масс частиц по их импульсу и ионизирующей способности. В этих работах он выступает единственным автором, или вместе со своими учениками. Характерно, что его докторская диссертация основывалась как на полученных им новые экспериментальные данные, так и на его теоретических разработках. Тем самым здесь он проявил себя физиком высокого класса.

Усилия Володи были по достоинству оценены его коллегами из Ереванского физического института. В этой связи инперсно привести характеристику, данную ему руководством ЕрФИ, которая приводится здесь с сохранением стилистики и сокращений, принятых в то время.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Кандидат физико-математических наук Харитонов В.М. работает в Физическом институте Академии наук Арм. ССР с 1946 г. Участвовал во всех высотных экспедициях на горе Арагц с 1946 года. Организовал в Физ. Ин-те лабораторию, в которой производил разработку новых радиотехнических схем и счётчиков специальной конструкции. Тов. Харитонов является соавтором ряда работ, касающихся спектров масс космических частиц. В последний год тов. Харитонов совместно с мл. научным сотрудником Физического института Марикяном Г. разработал схему линейного усилителя и пропорционального счётчика для измерения удельной ионизации, вызываемой космической частицей. В результате кропотливой и трудной предварительной разработки т.т. Харитонов и Марикян создали систему, с помощью которой в настоящее время производится измерения удельной ионизации на большом магнитном спектрометре на горе Арагц. Благодаря этому впервые удалось одновременно с измерением импульса частиц по магнитному отклонению определить скорость частицы и тем самым оценить её массу.

Разработанная тов. Харитоновым схема позволяет в будущем решить ряд важных задач, связанных с исследованием состава космических лучей.

Тов. Харитонов — вдумчивый, способный и инициативный работник, обладающий высокой квалификацией и эрудицией. Он охотно передаёт свои знания и опыт мл. научн. сотрудникам. Тов. Харитонов имеет 16 печатных работ.

*Зам директора Физ. Ин-та
Академии наук Арм. ССР*

А.Т. Дадаян

Мне удалось найти всего 11 печатных статей с участием В.М. Харитонова, опубликованных с 1946 по 1963 гг. (10 из них — в ДАН СССР, 1 — в ЖЭТФ). Разнообразие в числе публикаций, возможно, объясняется тем, что некоторые из них дублировались в республиканском научном журнале «Доклады Академии наук Армянской ССР». Большая часть этих работ связана с изучением космических лучей и развитием новых методов научных исследований. Однако две работы: «Нейтрино и антинейтрино в свободном пространстве» и «О деградации звёзд и космических нейтрино» касаются общих вопросов физики элементарных частиц и мироздания, в целом. Здесь Володя выступил уже не только как физик, но и как натурфилософ.

С 1957 г. в его научной карьере произошёл крутой поворот: он полностью переключился на новую тематику, связанную с предстоящим сооружением в Ереване электронного кольцевого ускорителя (ЭКУ) с энергией 6 ГэВ. Решение о строительстве в Ереване ускорителя электронов, тогда крупнейшего в СССР, сопровождалось рядом организационных нововведений. ЕрФИ был выведен из состава Армянской академии наук и переподчинен Министерству среднего машиностроения СССР, обладавшему значительно большими ресурсами и мощной строительной базой. К сожалению, при этом одновременно неизмеримо возросли бюрократические требования к работе и отчётности института.



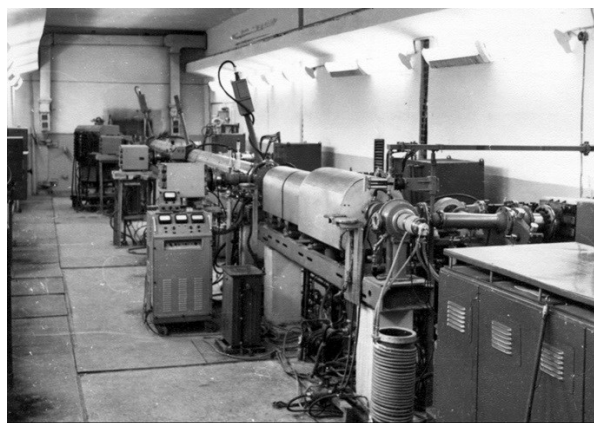
А.И. Барышев, В.М. Харитонов и А.И. Алиханян на Высокогорной научной станции Нор-Амберд (снимок 1965 г.)

Для разработки инженерного проекта ЭКУ было необходимо сформулировать соответствующее техническое задание, что могли сделать только физики, понимавшие круг экспериментальных задач, которые должны решаться на будущем ускорителе. Задание включало энергетические и габаритные условия и требования к магнитным системам электронного пучка ускорителя и его инжектора, требования к радиационной и пожарной безопасности, освещению, вентиляции и т.п. Техническое задание готовила группа наиболее опытных физиков ЕрФИ: Юрий Орлов, Владимир Харитонов и Семён Хейфец под общим руководством А.И. Алиханяна. Сроки были сжатые: на проектные, строительные и пуско-наладочные работы отводилось 10 лет. Это было совсем немного для такого уникального сооружения, возводимого вдали от научных центров страны на её южной окраине в республике,

не имевшей необходимых кадров. Задача была весьма амбициозная, но трудная, и Володя с коллегами дружно принялись за её решение. Примерно, через год, когда Техническое задание было почти готово, между авторами разгорелся спор, будет ли кто-либо читать их труд? Для проверки они решили провести хулиганский «эксперимент». В главу, посвящённую отводу и утилизации тепла, выделяемого магнитами ускорителя, вставили фразу: «Это тепло можно будет использовать для выращивания ананасов и бананов в Армянской республике!» Их шутка была случайно замечена только двумя—тремя годами спустя!



Ереванский электронный кольцевой ускоритель в период строительства. Слева здание ускорителя, справа — эстакада подачи электропитания

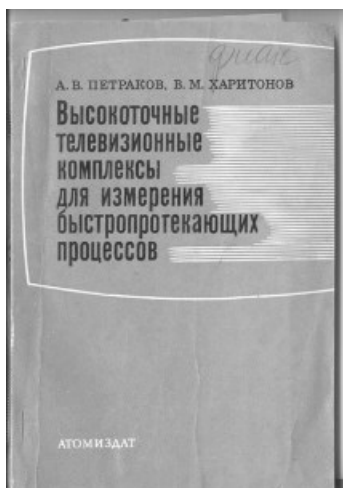


Инжектор ЭКУ

А.И. Алиханян как-то говорил мне, что сооружение ускорителя — это, прежде всего, строительство социализма. Оно предусматривает ввод в строй домов для персонала, детского сада, гостиницы, магазинов, Дома культуры и пр. Действительно, за несколько лет на каменистой окраине Еревана вырос целый научный городок. Володя и Зоя, у которых в 1960 и 1963 гг. родились дочь Женья и сын Миша, переселились в новую комфортабельную трёхкомнатную квартиру. В семье появилась голубая «Волга», которая использовалась для отдыха и путешествий в пределах Армении и более далёких.

В 1967 г. ЭКУ был запущен для научных исследований по физике электромагнитных взаимодействий. Как это было принято в СССР, запуск ускорителя при-

урочили к торжественной дате: 50-летию Великой октябрьской социалистической революции. К другой важной дате — 100-летию В.И. Ленина — Володю наградили медалью «За доблестный труд». Он стал неизменным участником множества экспериментальных исследований процессов электророждения и фоторождения мезонов в электронных и фотонных пучках ЭКУ. Он вошёл в состав Научного совета Академии наук СССР по физике электромагнитных взаимодействий. Ему присвоили звание профессора. Он во многом определял научное лицо ЕрФИ: выступал с докладами на заседаниях ежегодной Международной ереванской школы по физике элементарных частиц, регулярно участвовал в научных семинарах ЕрФИ. Его выступления, суждения, оценки и замечания немало способствовали популярности этих мероприятий среди молодых физиков. Отчётливо понимая необходимость оснащения ЭКУ современными приборами, Володя инициировал развитие в ЕрФИ методов автоматизации измерений треков в искровых, стримерных и пузырьковых камерах, минуя стадию фоторегистрации. Венцом его усилий в этой области стала совместная с А.В. Петраковым монография «Высокоточные телевизионные комплексы для измерения быстропротекающих процессов». Книга вышла в свет в Москве в 1979 г.



Монография А.В. Петракова и В.М. Харитонов, посвященная автоматизации измерений в физике высоких энергий

Работая над этими воспоминаниями, я решил поближе познакомиться с трудами Володи, опубликованными в научной периодике. К моему искреннему удивлению, оказалось, что перечень таких публикаций сравнительно невелик. Пытаясь объяснить себе этот парадокс, я пришёл к следующему выводу. Причиной была высокая взыскательность и требовательность Володи к своим работам. Он воспринимал науку как целостное отражение окружающего мира. Углубляться в его детали и фиксировать на них внимание он считал излишним. Главным для него оставалось познание, стремление разгадать «Божий замысел». Описание «деталей» было куда как менее интересно.

Казалось, что жизнь Володи в 1960–1970-е годов течёт вполне благополучно и безмятежно. Но на душе его, по-видимому, было неспокойно. Ему не удалось основать и возглавить своё научное направление и свою школу, на что он,

безусловно, был способен. Его дальнейшей карьере тоже был поставлен предел. Несмотря на долгую научную деятельность в ЕрФИ, Володя оставался там чужаком. Его не выпускали за границу для участия в международных конференциях или для ознакомления с ведущими мировыми ускорительными центрами. Он мог общаться с иностранными коллегами только при посещениях ими Еревана. На выборах в Академию наук Армении предпочтение, как легко понять, отдавалось местным национальным кадрам. (Исключение было сделано только для Юрия Орлова, который, однако, в 1978 г. лишился звания члена-корреспондента Академии наук Армении за диссидентскую деятельность).

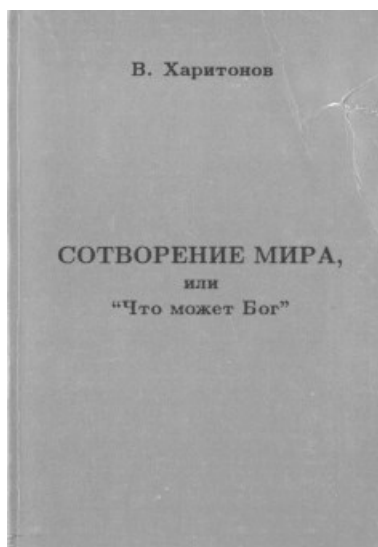
Однако дело было не только в этом. Подрастали дети, и нужно было думать об их образовании, их будущем. Все эти заботы подталкивали к переезду в Москву, что и случилось в 1978 г. О том, чтобы найти там работу, речь не шла, заниматься наукой ему пришлось в домашних условиях. Из Мерзляковского переулка Харитоновы переехали в Сокольники, а через два года мне удалось помочь им вступить в жилищно-строительный кооператив ФИАН вблизи Нескучного сада у станции метро «Ленинский проспект». Володя стал бывать в Москве ещё чаще. Однажды он позвонил мне и спросил, не найдётся ли у меня тёплой куртки, свитера и некоторых книг по физике для Юрия Орлова. Его лагерный срок окончился в 1984 г., и он был вынужден отбывать пятилетнюю ссылку в глухих болотистых местах Красноярского края. Тёплые вещи Орлову отвёз его друг и коллега из ИТЭФ Юра Тарасов. Ещё в Ереване у Володи появились два увлечения: собирать картины современных армянских художников и коллекционировать почтовые марки. Этим занятиям он предавался с не меньшей страстью, чем научному творчеству.

В 1975 г. семья Володиного коллеги и родственника физика-теоретика Семёна Хейфеца, женатого на Зоинной сестре Юле, эмигрировала из Еревана в Германию, а затем в США. И Харитоновы задумали последовать их примеру. В 1985 г. Зоя, Женя и Миша, а в 1990 г. и сам Володя навсегда покинули Москву и обосновались в Калифорнии.

С началом в СССР эпохи перестройки многие светлые умы задумывались о способах наименее болезненного перехода посткоммунистической России от социализма к капитализму. Володя с его стремлением к решению глобальных научных задач, разумеется, не мог остаться в стороне. Но это не был подход дилетанта. Он перечитал горы экономической литературы и заново проштудировал всего Маркса. В 1989 г. результатом его размышлений стал капитальный труд на 50 машинописных страницах, озаглавленный «Экономика преобразования экономики. Памятная записка». Здесь, основываясь на оригинальной экономической модели, Володя предлагал решения, позволявшие совершить такой переход с минимальными потерями для простых людей. Краткое изложение «Памятной записки» оканчивалось словами, которые сегодня нельзя читать без волнения: «...преобразование экономики можно осуществить без бешеного роста цен, без инфляции и массовой голодной безработицы, без обнищания пенсионеров и элиминации стариков, без ущерба в социальной сфере, словом, без общественных катаклизмов». «Памятную записку» Володя отправил тогдашнему Председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову и получил от него благодарственный ответ. Её передали также академику Андрею Сахарову, который тоже поблагодарил Володю за «экономический ликбез», но из-за скоростной кончины прочитать её не успел. Сейчас мы знаем, насколько тяжкими для населения страны оказались последствия экономи-

ческих реформ в России. Кто знает, нельзя ли было их облегчить, прислушавшись к советам таких людей как Владимир Харитонов!?

Его жизнь в эмиграции, куда он попал уже на восьмом десятке лет, протекала спокойно и в комфортных условиях. У него появились две внучки, которым дали русские имена Наташа и Таня. Он был ухожен, получал достойное пособие, о нём заботились родные и близкие. Именно в это время (в 1996 г.) Володя закончил книгу под названием «Сотворение мира, или что может Бог». Её следует считать главным научным наследием, «лебединой песней» Володи. Его всегда волновали философские проблемы физики. В этой книге он постарался ответить на вопрос, почему наш мир устроен так, а не иначе, показать неизбежность именно того мира, в котором мы живём. Так что при существующих законах физики возможности Господа Бога были весьма ограничены, и другой альтернативный мир попросту не мог бы существовать. Для издания этой книги Володя специально приезжал в Москву.



Монография В.М. Харитонova об основах мироздания:
«Сотворение Мира, или Что может Бог»

В 2008 г. я получил от него письмо, где он просил прислать ему список обзорной литературы, посвящённой ионизирующей способности релятивистских заряженных частиц. Он снова обратился к той же проблеме, которой столь усердно занимался в молодые годы. Сделать это Володя, однако, не успел. Он скончался 11 июня 2009 г. у себя дома в Беркли на 89-м году жизни. В ноябре того же года мы, несколько его родных, друзей и коллег захоронили привезённую в Москву урну с его прахом на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и сестрой.

Декабрь 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Памяти В.М. Харитонова (1920–2009)*

11 июня нынешнего года не стало известного ученого-физика доктора физико-математических наук Владимира Моисеевича Харитонова.

В.М. Харитонов родился в 1920 г. в Ленинграде в семье революционеров. Его отец член РКП/б/ Моисей Маркович Харитонов в 1910-е годы несколько лет находился в эмиграции в Швейцарии и был близок к В.И. Ленину. В 1920–1930-е годы М.М. Харитонов занимал высокие партийные и государственные должности в СССР. Мать В.М. Харитонова Раиса Борисовна после революции работала в Наркомате просвещения вместе с Н.К. Крупской. В 1937 г. во время сталинских репрессий М.М. Харитонов был арестован, провел 10 лет в заключении и чудом остался жив. Вскоре после своего освобождения в 1948 г. он был арестован повторно и пропал без вести, Р.Б. Харитонova была выслана из Москвы и вернулась домой только после 1953 г..

Владимир Моисеевич Харитонов окончил в 1941 г. Московский государственный университет. В 1946 г. он начал работать в Ереванском физическом институте Академии наук Армянской ССР (ЕрФИ), возглавляемом членом-корреспондентом Академии наук СССР, Академиком Армянской ССР А.И. Алиханяном. В.М. Харитонов сразу же проявил себя как способный молодой ученый и активно участвовал в разработке новой физической аппаратуры для исследования космических лучей и активно участвовал в измерениях спектра масс космических частиц. Очень скоро он защитил кандидатскую, а в 1953 г. и докторскую диссертацию. Последняя была посвящена крайне актуальной в то время проблеме ионизационных потерь энергии при прохождении быстрых заряженных ядерных частиц через вещество. В этой работе В.М. Харитонов показал себя не только блестящим физиком-экспериментатором, но и прекрасным теоретиком и значительно способствовал развитию этой области физики.

Со второй половины 1950-х годов научная деятельность В.М. Харитонova была связана с созданием Ереванского электронного кольцевого ускорителя (ЭКУ) с энергией 6 ГэВ. Под руководством А.И. Алиханяна и вместе со своими коллегами Ю.Ф. Орловым и С.А. Хейфецом он подготовил подробное Техническое задание на сооружение ускорителя, а затем курировал разработку его проекта и строительство, готовил кадры и аппаратуру для проведения первых экспериментов. С момента запуска ЭКУ в 1967 г. В.М. Харитонов — неизменный участник множества экспериментальных исследований, выполненных на высочайшем научном уровне в электронных и фотонных пучках этого ускорителя. Им (совместно с А.В. Петраковым) была написана монография «Высокоточные измерительные комплексы для исследования быстропротекающих процессов».

С годами В.М. Харитонов все более стал интересоваться философскими проблемами физики. Его занимал вопрос, почему наш мир устроен так, а не иначе. Свои мысли он изложил в 1996 г. в книге «Сотворение мира, или что может Бог», которая стала сейчас библиографической редкостью.

В 1990 г. В.М. Харитонов переехал в США и продолжил там свою научно-литературную деятельность. Он скончался у себя дома в Беркли (Калифорния) на 90-м году жизни.

*) Некролог опубликован в республиканской русскоязычной газете «Голос Армении» в конце 2009 г.



Василий Демидович

ВЛАДИМИР и СЛОБОДАНКА ЯНКОВИЧИ

В октябре 2011 года я был в командировке в Сербии в рамках сотрудничества между Московским Государственным университетом и Белградским университетом. В Белграде под радушную «опеку» меня взяла семейная «математическая» пара — Владимир (кратко — Влада) и Слободанка (кратко — Боба) Янковичи. Оба они, являясь выпускниками Математического факультета Белградского университета, в своё время стажировались на Мехмате МГУ: Влада стажировался на кафедре общих проблем управления под руководством Владимира Михайловича Тихомирова, Боба проходила стажировку на кафедре теории вероятностей под руководством Бориса Владимировича Гнеденко. В настоящее время Влада является профессором математического факультета Белградского университета, Боба — профессором математического факультета этого же университета и научным советником Математического института Сербской Академии наук и искусств.



Владимир и Слободанка Янковичи

Мне представилось интересным взять у них «совместное интервью», коснувшись в нём, в частности, их пребыванию на Мехмате МГУ. Я составил свои вопросы и показал их им обоим. Бегло взглянув на мои вопросы, они охотно согласились на них ответить.

Нашу беседу они любезно предложили провести у себя дома. Я, конечно же, согласился приехать в их уютную квартиру на тенистой Белградской улице «Курсилина» (примеч. В.Д.: позднее я узнал, что улица так названа в честь национального Сербского героя, командира повстанцев, боровшихся с османской армией, Jovan'a Kursula (1768-1813)). Там «под диктофон за чаем» и произошла наша дружеская беседа.

Ниже предлагаются расшифровка диктофонной записи этого разговора.

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДОМ И БОБОЙ ЯНКОВИЧАМИ

В.Д.: Дорогие Боба и Влада, я рад, что Вы согласились на эту беседу со мной. Сначала расскажите, пожалуйста, о ваших родителях. Кто они были по специальности и имели ли отношение к математике? Ну, кто начнет? Боба?

Б.Я.: Мои родители были инженеры. Оба они были профессорами Белградского университета. Мама была профессором электрохимии на Технологическом факультете, а папа — профессором на Строительном факультете, занимался железными дорогами.

Они не имели ...

В.Д.: Прямого отношения к математике?

Б.Я.: ... Да, прямого. Правда, они рассказывали, что единственно, когда они поссорились, было из-за какой-то математической проблемы ...

В.Д.: Папа с мамой поссорились из-за какой-то математической проблемы?

Б.Я.: Да. Папа с мамой тогда были ещё студентами. Они оба думали, что правы... Это касалось решения задачи какой-то математической ...

Так что они любили математику... И были способны... решать задачи.

В.Д.: Хорошо.

Теперь, Влада, ты расскажи, пожалуйста, про своих родителей.

В.Я.: Мой отец тоже был профессором Белградского университета. Он преподавал анатомию на факультете ветеринарной медицины ... А мама была экономистом.

Ну, прямой связи с математикой у них не было...

В.Д.: Но экономика уже поближе к математике.

В.Я.: Ну, может и поближе ... Какой-то талант у них был, но, на самом деле, математикой они не занимались.

В.Д.: Понятно.

Теперь, снова, мой вопрос к Бобе. Когда у тебя появился интерес к математике — в школе или в гимназии?

Б.Я.: В школе. У меня математика всегда была предметом, который я любила больше всех других ... Было в ней всё понятно ... И всегда легко для меня.

В.Д.: А у тебя, Влада? У тебя когда появился интерес к математике?

В.Я.: Ну, я уж и забыл, когда... Я ещё в школе не был...

В.Д.: Еще до школы, что ли?

В.Я.: До школы, да.

В.Д.: Надо же!

В.Я.: А когда был в седьмом классе основной школы, тогда прочитал в журнале... нет, в газете... что у нас будет основана математическая гимназия. Сразу решил поступить в эту гимназию.

В.Д.: Родители, конечно, это приветствовали?

В.Я.: Не-ет, не-ет. Им это не понравилось. Потому что отец работал профессором, и ему не хотелось, что и сын будет учить, как отец ...

В.Д.: Интересно.

Теперь третий мой вопрос. Опять начну с Бобы. Был ли конкурс при поступлении в Белградский университет в твои годы?

Б.Я.: Я думаю, что был. Но так как у меня были все пятерки, то меня просто записали вне конкурса.

В.Д.: У нас раньше, если аттестат по окончании школы был с отличием, для поступления в университет нужно было пройти лишь собеседование. У тебя тоже было собеседование?

Б.Я.: Нет, никакого собеседования у меня не было.

В.Д.: Просто взяли и записали?

Б.Я.: Да-да, взяли и записали.

В.Д.: А у тебя как было дело, Влада?

В.Я.: Ну, я уже не помню. Быть может и был какой-то конкурс. Но я был освобожден от него, как удачный ... в соревнованиях по математике.

В.Д.: Понятно. А в каком году, кстати, ты поступил в университет?

В.Я.: В семидесятом году, вот. В 1970-ом году.

В.Д.: Ясно. А ты, Боба, на год раньше, да?

Б.Я.: Да, я на год раньше... В 1969-ом году.

В.Д.: Хорошо.

Теперь следующий вопрос. Начнём с Влада. Влада, кто у тебя читал лекции по математическому анализу, ты помнишь?

В.Я.: Лекции по математическому анализу на первом и втором курсах мне читал Воин Дайович.

Б.Я.: Это отец ...

В.Д.: А-а-а, понял: это старший Дайович, отец Слободана Дайовича.

В.Я.: ... Да-да! А на третьем курсе ...

В.Д.: На третьем курсе — это лекции по «Аналізу III»?

В.Я.: Да, лекции по «Аналізу III». Их нам читал Слободан Альянчич.

В.Д.: Ладно.

А у тебя, Боба, кто читал анализ?

Б.Я.: А мне... Моим профессором на первых двух курсах был Душан Адамович, а на третьем курсе — Брана Миркович.

В.Д.: Понятно. Но продолжим. Боба, вопрос к тебе. Была ли в Белградском университете система спецсеминаров, и были ли курсовые работы?

Б.Я.: Ну, были. Но вот для того направления, которое я закончила, курсовых работ не было.

В.Д.: То есть, курсовые, вообще говоря, необязательно было писать?

Б.Я.: Необязательно, да.

В.Д.: А ты, Влада, писал курсовые?

В.Я.: Я писал курсовую работу на четвёртом курсе. Тогда мы должны были сами выбрать... Что-то написать... по какому-нибудь курсу, который слушал.

В.Д.: По какой-нибудь тематике, ясно.

В.Я.: Ну, я писал по геометрии.

В.Д.: По геометрии?

В.Я.: Да. Я слушал спецкурс... по выпуклым и вогнутым объектам... Брана Мирковича.

В.Д.: Боба, а кто был твоим научным руководителем в Белградском университете? Правда, я где-то слышал, что у вас научные руководители появлялись лишь по окончании университета. Это так?

Б.Я.: По окончании, да. И у меня им был Стеван Стоянович, профессор математического факультета.

В.Д.: Он специалист по теории вероятностей?

Б.Я.: Да-да.

В.Д.: А у тебя, Влада, кто был научным руководителем?

В.Я.: Моим научным руководителем был Слободан Дайович.

В.Д.: Как раз сын твоего лектора по математическому анализу?

В.Я.: Да, сын Воина Дайовича, который преподавал у нас анализ. ...Он стажировался в Москве, где был учеником Болгянского.

В.Д.: Так, теперь про Мехмат МГУ. И начнём с Бобы.

Боба, когда ты в первый раз оказалась на Мехмате МГУ?

Б.Я.: Это было в 1979-ом году.

В.Д.: И сразу ты попала к Борису Владимировичу Гнеденко?

Б.Я.: Да-да-да! У меня была стипендия наша, и надо было заранее определиться, кто будет моим научным руководителем... Так что я уже знала, чем буду...

В.Д.: ... заниматься в Москве и под чьим руководством?

Б.Я.: ... Да-да... Я знала, что отправляюсь прямо к Борису Владимировичу Гнеденко.

В.Д.: А у тебя, Влада, Владимир Михайлович Тихомиров тоже сразу определился в качестве научного руководителя?

В.Я.: Да, тоже сразу.

В.Д.: Расскажите, теперь, о первом дне знакомства с вашими научными руководителями в Московской стажировке. В частности, где это произошло: дома, на кафедре, в Университетском сквере?

Ну, начнём с тебя, Боба.

Б.Я.: Я приехала в Москву, когда Борис Владимирович был в Болгарии. Это был декабрь 1979 года. В Москву Борис Владимирович вернулся лишь через несколько дней после моего приезда.

На встречу с ним я пришла на Мехмат МГУ. Я его ждала перед аудиторией, в которой у него должна была быть лекция. Когда он появился, я ему представилась. Сообщила, что вот я — Слободанка Янич (*примеч. В.Д.: Боба тогда ещё не была замужем, и Янич — её девичья фамилия*) — приехала к Вам из Югославии на стажировку. Он воспринял это очень приветливо. Сказал, что его спецсеминар происходит по субботам, и что мне надо будет участвовать в работе этого спецсеминара.

Так и произошло моё личное знакомство с Борисом Владимировичем Гнеденко. Правда, увидела я его несколько лет ранее: он приезжал к нам в Белград и делал свой доклад. Но тогда я ещё не говорила по-русски, и мало что поняла из этого доклада. Поэтому с ним тогда я не познакомилась.

В.Д.: А у тебя, Влада, как произошло знакомство с Владимиром Михайловичем Тихомировым?

В.Я.: Я поступил на стажировку на Мехмат МГУ 1-го октября 1981-го года.

В первую же неделю моего прилёта в Москву я пришёл на кафедру ОПУ — там с Владимиром Михайловичем я и познакомился. Он сказал мне, по каким дням происходит его спецсеминар, и когда он читает свои лекции. Я стал посещать его спецсеминар и слушать его лекции.

В том же 1981-ом году в Москву на кафедру ОПУ приехал из Польши Тадеуш Милош. Мы с ним познакомились и подружились. Вскоре Владимир Михайлович пригласил нас обоих к себе домой. И с тех пор мы часто бывали у него в гостях.

Добавлю, что с самого начала моей стажировки на Мехмате МГУ Владимир Михайлович предложил мне несколько экстремальных задач по геометрии, а я ему вскоре принёс их решения. Владимиру Михайловичу это очень понравились (*примеч. В.Д.: уже после нашего интервью Влада сообщил мне, что осенью 2011 года, во время его пребывания в Москве, Владимир Михайлович показал ему сохранившиеся у него «бумаги с решениями Владой» всех этих экстремальных задач*).

Вспоминается также, что, кроме посещений лекций и спецсеминара Владимира Михайловича Тихомирова, во время стажировки я прослушал ещё курс вариационного исчисления у Милютина.

В.Д.: У Алексея Алексеевича Милютина, понятно.

Кстати, Алик Иоффе был ещё в Москве или он уже уехал из СССР?

В.Я.: Иоффе был ещё в Москве, но я с ним тогда не встретился ... Он ждал...

В.Д.: ... Разрешение на выезд в Израиль?

В.Я.: ... Визу.

В.Д.: Да, понятно.

Боба, как быстро ты освоилась в Москве? Скажем, был ли у тебя языковой барьер, или русский язык ты заранее начала учить?

Б.Я.: Я заранее начала учить русский... Мне, более-менее, понятно было всё. Но я и в Москве продолжила изучать русский язык.

В. Д.: А кто-нибудь помогал тебе осваивать русский язык? Скажем, Катя Булинская? Нет?

Б.Я.: Да нет...

В.Д.: Все сама?

Б.Я.: Мне помогала моя учительница Сильвия Львовна ...

В.Д.: Это в Москве?

Б.Я.: ... В Москве, да-да-да!

Так вот, я посещала её уроки русского языка: нам, как иностранцам, предоставлялась такая возможность ходить на уроки русского языка.

В.Д.: Проводились они где-то на Филфак МГУ?

Б.Я.: Да.

В.Д.: А в гимназии ты учила французский?

Б.Я.: И французский я учила, и английский.

В.Д.: А у тебя, Влада, как было дело с русским языком?

В.Я.: Ну, я учился русскому языку ...

В.Д.: Параллельно, когда ты был ещё студентом, или как?

В.Я.: Да, когда я был студентом, я поступил ещё на курсы русского языка Тумина. Как и многие наши математики. Потому что у нас было очень много книг на русском языке.

(Примеч. В.Д.: Позднее я выяснил, что филолог Всеволод Тумин (1907-1983) был родом из России. В Белграде он организовал курсы русского языка, а также написал (для сербов) ряд учебников русского языка, опубликованных Белградским Издательством «Коларчев народен университет», первый из которых вышел в 1963 году).

В.Д.: То есть, ты, сначала, стал изучать русский для чтения русской литературы?

В.Я.: Но потом я захотел улучшить свой русский... И улучшил его через чтение этих книг.

В.Д.: С русским языком мне всё ясно.
Боба, а была ли у тебя какая-нибудь другая длительная научная стажировка, скажем, в Америку или в Германию?

Б.Я.: Нет.

В.Д.: А кратковременные поездки?

Б.Я.: Кратковременные, да, были.

В.Д.: А у тебя, Влада, тоже других длительных стажировок не было?

В.Я.: Нет, не было. Только было несколько поездок на какие-то конференции.

В.Д.: Так, теперь у меня к Бобе такой вопрос.

Боба, я знаю, что соавтором некоторых твоих статей является Татьяна Острогорски, которая несколько лет тому назад умерла. Это кто — твоя сокурница или просто соавтор публикаций?

Б.Я.: Она была моя... коллега и подруга. Она на год старше меня, и работала в нашем математическом институте, занимаясь матанализом. Она, как и я, была на стажировке в Москве. Только я стажировалась у Гнеденко, а она, в 1980-ом – 1981-ом году стажировалась у Стечкина.

В.Д.: А от чего она, кстати, умерла так рано? Болела, да?

Б.Я.: Да, сильно болела... У неё рак был.

В.Д.: И ещё, Боба, к тебе такой вопрос.

Я где-то прочёл, что ты немного занималась разностными уравнениями. Вопрос этот у меня возник потому, что я, в своё время, занимался исследованием асимптотического поведения разностных уравнений. Это направление для тебя было «серьезным» или каким-то «боковым»?

Б.Я.: Нет, совсем «боковым».

В.Д.: Теперь к тебе, Влада, вопрос.

Ты много занимался олимпиадами и школьными задачами. С кем в Москве по этим делам ты контактировал? Я могу перечислить, навскидку, такие имена: Козягин, Протасов, Розов, Константинов. Или ещё кто-то?

В.Я.: Ну Тихомиров.

В.Д.: И Владимир Михайлович, конечно же, ... *(смеются)*

В.Я.: Потом Егоров, Дубровский...

В.Д.: Андрей Егоров?

В.Я.: Да, Андрей Егоров. И Владимир Дубровский...

В.Д.: Андрей Егоров и Владимир Дубровский... Они не с МГУ. По-моему, они с центра непрерывного образования. Так?

В.Я.: Нет: Егоров работает в редакции "Кванта", а Дубровский в СУНЦе.

В.Д.: В СУНЦе?

В.Я.: Да. А СУНЦ принадлежит Московскому университету.

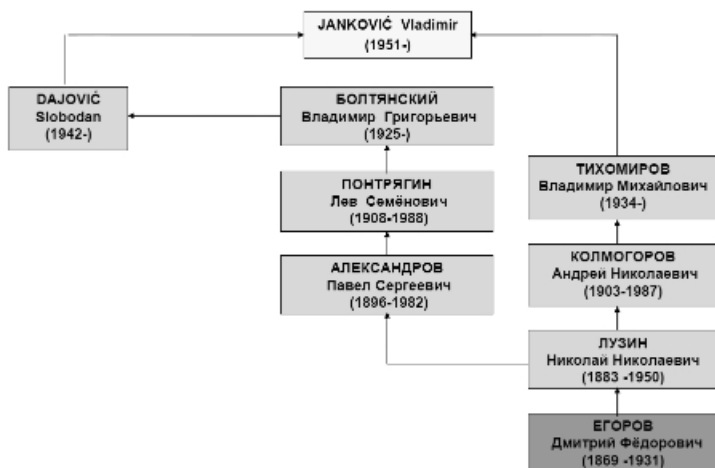
В.Д.: Это верно. Но просто я там не преподавал, потому я и не знаю этих людей.

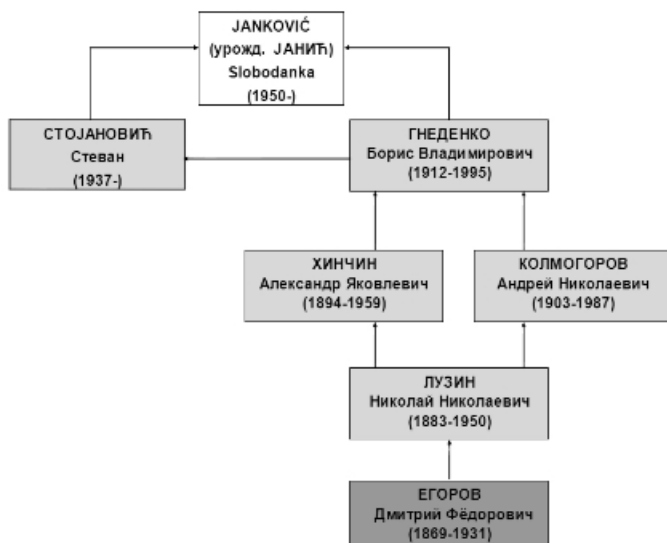
Так, а теперь, Влада, такой к тебе вопрос. Как ты подружился с профессором нашей кафедры Арамом Владимировичем Арутюновым? Ещё в Москве, или в Белграде?

В.Я.: У нас была короткая встреча в Москве на первой «Понтрягинской» конференции. А поближе мы познакомились в Белграде, когда он приезжал в Белград в 2000-ом году.

В.Д.: Ну что ж, мои вопросы уже практически исчерпаны. В заключение у меня к вам такая просьба.

Я собираю «генеалогические деревья математиков», сотрудничающих с нашей кафедрой общих проблем управления, и вообще с Мехматом МГУ. Передаю вам несколько «деревьев» про Сербских математиков. Посмотрите их, пожалуйста, подправьте, если что не так. В частности, в отношении ваших друзей Милана Божича и Александра Липковского, сообщите мне, пожалуйста, информацию, учились ли они, или стажировались ли они, на Мехмате МГУ, и если да, то у кого.





Ты мне, Боба, кажется, говорила, что Александр Липковский учился у Василия Алексеевича Исковских?

Б.Я.: У Исковских, да. И у Манина.

В.Д.: У Исковских и у Манина, хорошо.

В.Я.: Это была его стажировка. Но он ещё проучился первый курс на Мехмате МГУ.

В.Д.: А, так Липковский был и студентом Мехмата МГУ?

В.Я.: Да, но лишь первого курса.

В.Д.: Ну, на первом курсе у него ещё не было научного руководителя ... А Милан Божич в Москве не учился?

Б.Я.: Не учился и на стажировке не был.

В.Д.: Понятно.

Ну что ж, я благодарю вас, Боба и Влада, за это интервью. Потом, после распечатки, покажу вам, что из этого получилось. Если что не так, то подправим вместе. И спасибо вам большое!

Б.Я и В.Я.: Спасибо и тебе, Вася.



Елена Шатохина
**«В НЕВЕРНЫЙ ЧАС СТРОПИЛ
И СНЕГА...»**
Хроники потерянного поколения

Мы проходим сквозь время, и время проходит сквозь нас... Это необычная книга, творчеством и судьбами, «живьем написанная» — и уже потому не могущая быть «причесанной» и гладкой. В диалогах, стихах, письмах, воспоминаниях, интервью и рецензиях, и даже в ироничных, шуточных «прозо-шаржах» литераторы одной генерации — поэты-семидесятники, их друзья, литературные знакомые — переговариваются, переключаются не только рифмами и темами, но и воспоминаниями: о времени, друг о друге и городе Кишиневе; о творчестве, о любви и поэзии; о проблемах и принципах, встречах и расставаниях, житье-бытье... Да мало ли о чем! Верный отпечаток времени, следы целого поколения — вот что главное в этом пестром «том и сём». Этим, быть может, оно и интересно сегодня ...



*В современном мире миф иногда
оказывается правдивее реальности...*

Советская литература не дождалась перестройки. А непрерывная цепь литературных поколений, цепь, которая подразумевает развитие литературы, новые имена, художественные поиски и всплески, — разорвалась еще раньше. И тут есть какая-то загадка. Не случайно многое роднит поколение поэтов, не получивших или не полностью реализовавших наследие большой советской литературы, — поколение поэтов-семидесятников, которые творили в СССР от Москвы до Новосибирска, от Риги до Одессы, от Таллинна до Кишинева. И прежде всего их роднит непростая, а порой и трагическая литературная и личная судьба. Их биографии довольно пестры, фабульны, они изобилуют событиями, которые, однако, язык не повернется назвать «приключениями»: в их судьбах не было ничего веселого (кроме

самого факта юности и всего того бесшабашно-весеннего, что ее сопровождает), по-настоящему замачивого, искрящегося, легкого, скользящего на лыжах удачи. Не тот жанр разрабатывала жизнь.

И если нужно определение жанра, это, скорее, была «повесть о ненастоящем времени». Или даже, точнее, о времени, что никак не наставало. Его можно назвать переходным, застойным, коллоидальным, не проявленным и недоосмысленным... Легче от этого не станет, ведь не случайно пока еще ни один критик не создал исчерпывающую сагу об этом творческом поколении. То ли песня его оказалась затерянной, или мало времени прошло для объективного анализа. Возможно, рано еще подводить черту, потому что живы творческие остатки этого поколения, которые по-прежнему желают реализации своего потенциала, рассчитывая на самовыражение. А быть может, потому не появилась такая сага, что пришлось бы складывать слишком сложную и противоречивую картину, состоящую из множества мелких деталей, что даст лишь ощущение *процесса*, но окончательному диагнозу не поддастся.

Однако же попробуем очертить общую картину. Литературное поколение 70-х, будучи одарено недожиным поэтическим талантом, обладая, как все творческие личности, индивидуальностью, независимым характером и собственным мнением, это поколение с трудом вписывалось в советский распорядок застойных времен. И кишиневская русскоязычная группа поэтов в этом смысле ничем не отличалась от рижской, московской, киевской или питерской группы.

Одни печатались в самиздате, диссидентствовали, бросали вузы, сидели в КПЗ, попадали в дурдом, были вызываемы в КГБ и преследуемы, скрывались, случалось, по пути и фарцевали, бежали в другие города, мечтали об эмиграции. Другие с трудом пробивались на страницы литературных журналов и отчаянно фрондировали на кухнях. А кто-то пытался, существуя в узком литературном поле, принять предложенные правила игры, но так, чтобы не замараться. Четвертые, подшучивая, ёрничая на людях, на деле, упрямо запершись, сжав зубы, сочиняли по ночам «в стол», стараясь не глядеть по сторонам. Иные сходили с ума или уходили в тяжелые запои. Список не полный, вариантов было немало. Сколько людей — столько судеб. Но, как обычно и бывает в одном поколении, точнее, в одной генерации, было в их судьбах и немало общего.

Насколько мог быть свободен в выборе формы и темы своего творчества начинающий советский поэт периода застоя? Если он мечтал напечататься (и тем самым самореализоваться), о полной свободе не стоило и думать. Можно было только попытаться встроиться в систему. Большинству это не удавалось или удавалось лишь частично, «пульсарам», поскольку для начала надо было изнасиловать себя, а потом пройти отбор по соответствующим критериям. Молодой поэтической когорте 70-х даже в розовых снах не снилось связать заработок с творчеством — по контрасту с успешными шестидесятниками, чья литературная судьба (со всеми преимуществами поощрения советской системой) сложилась намного удачнее.

Кишиневским семидесятиникам светила затяжная весна искусственного сдерживания вызревания. Им подолгу приходилось работать в разных местах, меняя профессии: от шоферов до санитаров, от художников до грузчиков, от кочегаров в котельной до фотографов, от журналистов до зоотехников и т. д., чтобы урывками садиться за письменный стол. И это на фоне явной опеки государством старшего литературного поколения, вплоть до его привилегированной избалованности, в советском смысле, конечно.

Уместно, наверное, сразу уточнить, поскольку термин будет всплывать в контексте разговора, что шестидесятники — это отнюдь не только «Евтушенко и Ко.», как привыкли понимать многие. Литературоведы и культурологи так определяют понятие «шестидесятники»: это некая субкультура советской интеллигенции, в основном захватившая поколение, родившееся приблизительно в 30-х — начале 40-х гг. прошлого века и набравшее силу к концу 50-х — началу 60-х гг., а далее продолжившее литературное творчество вплоть до перестройки. Признано, что историческим контекстом, сформировавшим взгляды шестидесятников, были годы сталинизма, Великая Отечественная война и эпоха «оттепели». Продолжая традицию такого определения (и заодно — сравнения), логично было бы причислить к семидесятиникам поколение, родившееся между 1946–1964 гг., начавшее свой литературный путь в 70-х гг., на которое оказали влияние события отнюдь не такие величественные (в смысле масштабы, значимости и даже цельности). Напротив, на семидесятников наложили свой отпечаток события самые двусмысленные, противоречивые, расшатывающие все представления, сложившиеся в советской школе и дома. Тут и Пражская весна, и железный занавес, и «сумерки застоя» — атмосфера со всё более расширяющейся зоной лжи, бюрократизма, загнивания идеологии. Тут и война во Вьетнаме и Афганистане, самиздат, движение советских диссидентов и поздних хиппи; появление западного кино и мощная волна переводной западной современной литературы; публикации забытых в эмиграции русских поэтов и писателей, оказавших немалое влияние на литературные вкусы... Можно назвать и другие важные события конца 60-х — середины 80-х гг.

Что касается конфронтации и открытого противостояния режиму поколения 70-х, особенно творческой его части, — это вопрос более сложный. Сидели в лагерях, шли на площади с плакатами и «самиздатничали» единицы, но можно с уверенностью сказать: литераторы — семидесятники в массе своей разделяли если не все действия, то большую часть диссидентских исканий и претензий. Ибо, что называется, с молодых ногтей оказались заражены здоровым скепсисом, опоены насмешливым разочарованием. Им некуда было скрыться от «родимых пятен» системы: лицемерия, формализма, неподвижности времени, в котором, кажется, тонуло всё, что хотело «по-настоящему быть, а не казаться». В ответ время застоя обернулось для неконформистски настроенной части литературного поколения в лучшем случае снисходительным похлопыванием по плечу и редкими публикациями, а чаще — равнодушием. В худшем же случае семидесятников ожидало полное игнорирование, запреты и гонения, преследования и доносы.

Кишиневская генерация поэтов-семидесятников, по сравнению с поэтами-ровесниками, скажем, в Москве, Ленинграде, Новосибирске или в Таллине, Риге, где традиционно дышалось посвободнее, испытывала, кроме стандартных для того времени, и другие специфические трудности. Поэты жили не просто «на окраине империи», «в южной провинции, близко от моря», а в маленькой национальной республике, в тесных рамках заранее определенных и отведенных возможностей. Завершилось это, как известно, в 90-х гг. прошлого уже века, перестройкой и подъемом национального самосознания титульной нации, отнюдь не давшего местной русскоязычной литературе новых возможностей и тем более — господдержки независимой Республики Молдова. Наоборот, события тех дней по живому «отрезали, что имелось», и на фоне ситуации в Приднестровье, англороссийских настроений, развязанной языковой войны привели к резкому, практически до нуля, сокращению каких-либо субсидий на русскоязычные книги и литературные периодиче-

ские издания. В конечном счете именно это, а также агрессивная атмосфера нарастающего национализма в конце 80-х — начале 90-х и заставили эмигрировать многих литераторов того поколения, кого в Россию, а кого — на Запад.

Немудрено, что на таком противоречивом историческом фоне обыкновенная человеческая, и прежде всего литературная, судьба многих кишиневских поэтов сложилась драматично. Об этом говорит печальная статистика, трагическая закономерность, с которой не поспоришь. Не все из того поэтического поколения дожили до сегодняшнего дня; многих подстерегла равнодушная ранняя смерть. Двое погибли при невыясненных и странных обстоятельствах, один покончил жизнь самоубийством, другой сел на наркотики, еще один умер в запоях нищим, двоих сожгла до срока тяжелая болезнь, одна умерла в сумасшедшем доме, другая замерзла в поле, следы нескольких затерялись за границей, и никто не знает, какой ценой остались они живы...

И всё же, преодолев пути и тенёта безвременья, потеряв в пути друзей и ровесников, часть поэтов этой кишиневской генерации смогли спасти свой Дар, а некоторые обрели немалую известность, став вдали от Молдавии обладателями престижных национальных (российских), западных или международных литературных премий. В этом списке наряду с такими известными поэтами, как Седакова, Гандлевский, Ерёменко, Парщиков, Рубинштейн, Кибиров, значатся и представители «кишиневской когорты»: Евгений Хорват, Катя Капович, Валентин Ткачёв, Борис Викторов и др. И пусть этому поколению довелось жить с замедленным — «покадровым» — эффектом проявления таланта, у тех, кто уцелел, к счастью, оказалось «долгое дыхание».

Не в силах оторваться от прошлого, понимая, что попали в «крупный передел», под скрежетом маховика истории, задевшего их судьбы, сами поэты с горечью начали подводить итоги прошлого, заговорили не столько о себе лично, сколько о «полете над бездной» целой генерации: Кто возрастил нас в немыслимой нашей отчизне,

*Кто дал пинка в темноте, чтоб летели над бездной,
Свет преломив в шестигранной орфической призме?
Если исчезнет всё это, я тоже исчезну.*

К. Капович

*Так исчезло моё поколение,
Расползлось, как прогнившая ткань.
Словно третье стоит отделенье
Наша хмурая Тьмутаракань.*

В. Голков

Но куда подевались горевшие вдохновением славные юнцы и юницы, некогда украшавшие город неповторимой дерзкой повадкой? Как их звали, почему разбредлись они пестрой толпой? Не сочинять же красивую повесть, не выводить же их под мифическими именами, сплетая не алмазный, а под стать времени — колочий, иглистый, растрепанный венец. А то были бы тут, запутанные в красочных деталях, и некий Сибирский Бирюльник, и Траго-погон, и Монолит, и Пасынок Рабле, Кентавр, Гамельнский Крысолов, Девушка Без Адреса, Древний От Века и так далее... так далее...

В общем, иных уж нет, а те далече. Настала пора сомкнуть виртуальную цепь и услышать их Слово:

*Нас всех смело, и лишь проплешины
В траве за окнами черны.
Сквозняк плутает, как помешанный,
В кругу вселенской тишины.*

*Мы так исчезли незамеченно,
Как в полночь угнанный «Москвич»,
Невдалеке от Пересечино
И от поселка Гидигич.
В. Голков*

В поисках утраченного времени

Однако сохраним пока интригу, прежде чем «переходить на личности».

«Через годы, через расстояния» кто-то, быть может, скажет или напишет об этой группе так называемой «несоюзной молодежи» — не членах или изрядно припозднившихся членах Союза писателей РМ, русскоязычных литераторах-семидесятниках, живших в Молдавии, что они — почти по хемингуэвской трактовке — «потерянное поколение». И вовсе не потому, что были они наследниками Обломова, филистерами, прожигателями жизни, и не потому, что судьба обделила их даром, чувством языка, живой душой, жаждой свободы, любовью к литературе, образованием. Скорее, наоборот, одарила сполна. И не их вина, что самые одаренные, лучшие из этого поколения для начала с трудом передвигали ноги в топком болоте застоя, спасаясь оптимизмом молодости, а потом лишь успевали уворачиваться от скоро и дробно мельющих жерновов истории, умоляя судьбу, чтобы не сгинуть, поскользнувшись...

*...второных
на ледяных подмостках века
под синей точкой в облаках.
К. Капович.*

Тогда для кого же они — потерянные?

В юности почти всем кажется: живешь полной жизнью. Это оглушающий рев эмоций, шум молодой крови и желаний перекрывает все государственные оркестры и бравурные марши. Те, кто не смог опубликовать ни строчки, и те, кто смог, писали, как и сотни других молодых пиитов на просторах СССР, скорее, для своих друзей и единомышленников, чем для широкой публики, пытаюсь чувствовать себя своими «в тесных катакомбах неконформизма». В общем, жили «у полуоткрытой форточки свободы», как сказал о том времени Сергей Довлатов, не понаслышке знавший все реалии советской писательской среды времен застоя. А потом добавил не без горечи, но сохраняя спокойствие, про смену литературных поколений: «Среди моих сверстников <рожденных в 40-е гг. — *Ред.*> были очень способные люди. Просто дальше шло поколение <семидесятников. — *Ред.*> душевно

нестойких, с какими-то ментальными проблемами. И наше поколение не произвело никакого эффекта — в отличие от предыдущего <т.е. шестидесятников. — *Ред.*>».

А что такое «эффект», как не успех? И что такое успех, как не реализация таланта?

Если уж довлатовское поколение не намного — по времени — поотставшее от оптимистов-шестидесятников, рожденных в 30-х гг., не произвело «литературного шума», то следующее за ним поколение рожденных в 50-х и подавно не могло произвести такого «шумового эффекта», поскольку угодило, как семечко в яблоке, в самую что ни на есть сердцевину застоя.

«И розы красные цвели...»

Неважно, что среди поколения литераторов-семидесятников отнюдь не все были диссидентами. Ведь даже когда они робко (или нахально) стремились ввести в литературу не столько политические, сколько какие-то новые стилистические или тематические моменты, это встречало отпор. Большой герметический корпус советской литературы дополнялся саркофагом местной партийной диктатуры. Иерархическая система тогда и не думала давать трещину. «Эпоха Бодюла», ставленника и друга Брежнева, достигшая расцвета к середине 70-х гг. прошлого века, по праву может считаться лучшими годами советской Молдавии. Это потом Бодюла объявили «диктатором регионального масштаба», подчеркивая, что при нем процветали волонтаризм и крупномасштабные приписки и якобы под видом борьбы с национализмом «проводилась русификация». Но из песни слова не выкинешь: когда перестройка смыла прежнюю империю и тогдашние денежные знаки, на счетах некоторых национальных гениев Молдавии, поднявшихся в эпоху Бодюла, режиссеров, композиторов, артистов, писателей, снимавших при нем дорогостоящие фильмы, издававших в Москве толстые книги стотысячными тиражами, сгорели такие суммы, на которые можно было купить не одну машину или квартиру.

Имя Бодюла прогремело на всю страну после создания гигантских агропромышленных комплексов и межколхозных садов. Под нажимом ЦК КПСС и другие республики стали внедрять молдавский опыт. Чистый в те годы «цветок из камня» — Кишинев, проселочные дороги, крестьянские дворы за ладными железными воротами утопали в цветах и зелени, цвели огромные, на целые километры, «скороспелые» пальметтные сады. Но при этом рядом с огромными животноводческими комплексами разливалась, сжигая землю, огненная лава помета, после которой десятилетиями ничего уже не выросло. Да и от применявшихся тогда ядохимикатов поля республики не скоро избавились. Однако же никто не может отнять у Бодюла то, что он деятельно переносил в республику всё лучшее, что тогда можно было получить от советской империи. В Молдавии тогда и слыхом не слыхивали о высоких ценах на путевки в дома отдыха, на билеты на самолеты и поезда, на газ, нефть, электроэнергию, редкие металлы... Как, впрочем, никто не знал и о настоящих ценах на привозимые в республику дорогие стройматериалы (редчайший мрамор, металлы, рубиновые стекла для Дворца дружбы) или раритетные саженцы, вроде гинкго билоба, безмятежно растущих сегодня возле здания правительства Республики Молдова.

Под сенью цветущего застоя

Слаборазвитая — вплоть до 50-х гг. — аграрная страна за довольно короткий срок добилась при Бодюле выдающихся успехов в развитии экономики, обзавелась высокомеханизированным сельским хозяйством и современной промышленностью, а уровень жизни её населения поднялся во много раз и был выше, чем сегодня во многих российских областях и районах. Несчастные россияне, стоявшие в родных городах в длинных очередях за белым хлебом или молоком, в 70-х — начале 80-х гг. только рты открывали, приезжая в Кишинев: вдоль улиц, среди цветников, прямо с лотков свободно продавали мороженных кур по 1 р. 40 коп. за кг и кроликов за 2.50, а вечером можно было за копейки выпить прекрасного шампанского брют напротив кинотеатра «Патрия» и съесть мороженое или поужинать с компанией в ресторане «Крама» на сто рублей так, как ныне не поешь и за сотню долларов.

В Молдавии было много продукции местного производства: не только высшего качества копченая колбаса, вырезка и языки, но и конфеты, и отличная мебель, холодильники и морозильники, стиральные машины «Аурика» и даже кишиневские телевизоры. В 70-е здесь печатался дефицитный товар — знаменитые на весь СССР книги-кирпичи, Хемингуэя до Курта Воннегута. Здесь выпускали сигареты «Мальборо». А уж о выпечке, тортах, дешевых ресторанах и вине, изобилии фруктов и овощей и говорить не приходится.

Шутка сказать, спаржу продавали в овощных магазинах пучками, и никто ее не брал: тогда еще не знали, что спаржу покупает вся Европа за бешеные деньги. И другим деликатесом, виноградными улитками, был полон Кишинев и пригород. Звучит как анекдот, но всех улиток съели в 90-е гг. европейцы, которым через перекупщиков неимущие жители Республики Молдова сдавали деликатесы по килограмму за один лей.

«Цветы застоя» — дети зла

У большинства литературных «последышей», рожденных в 50-х — начале 60-х гг., которым было суждено стать заключительным аккордом советской интеллигенции, талант проявлялся порционно и в самом активном и творческом «поэтическом» возрасте. Причины, с одной стороны, были весьма прозаическими. Во-первых, клапаны были прикрыты из-за всё более жесткой регламентации журнальных и издательских страниц; во-вторых, многих охватывала депрессия, неверие, что этому когда-нибудь придет конец и при жизни удастся увидеть свои сборники, иные варианты событий и политического устройства. С другой стороны, были и чисто бытовые причины «порционных» выхлопов вдохновения, когда приходилось просто выживать, ради семьи берясь за самую нудную или тяжелую работу, весьма далеко от литературы, выжимавшую все соки, лишавшую возможности развивать талант.

Внешне казалось, что уж с чем-чем, а с литературой в СССР было «всё более чем нормально». Таких царских условий для признанных талантов, таких массовых тиражей, такой заинтересованности читателя не знала ни одна страна в мире. Но это если смотреть со стороны, в общем и целом. В глубине же шел другой, скрытый процесс. Цепь непрерывного развития литературного процесса была на самом деле уже прервана, целое поколение было отброшено со столбовой дороги литературы на ее обочину. Даже тонкие сборники и стихотворные подборки уже изрядно

перезревших «дебютантов», вычищенные и выглаженные, без намека на протест или новаторство, преодолевали нешуточные бюрократические, цензурные, вкусовые чиновничьи барьеры. Да и о каком новаторстве, вольном поиске, экспериментах, шаге в сторону могла идти речь внутри забетонированной системы оценок, когда всё держала крепкая иерархическая нормативная система — в обществе, в самой литературе, в её так называемом «большом советском стиле».

Любопытное определение этого стиля дали П. Вайль и А. Генис: «На самом деле устойчивую социальную систему обслуживал адекватный ей стиль — сталинский классицизм, по недоразумению названный соцреализмом. Его нормативная поэтика объединяла культуру на всех уровнях — от эпитета до архитектуры».

Похоже, классицизм — настоящая царская пурпурная мантия всех авторитарных режимов.

*Сколь приятно и пурпурно
Слышать гул родных отцов
Чтоб едва не стало дурно
От зелёных бубенцов.*

Е. Хорват «Хореем: по мосту»

Поскольку этому поколению пришлось существовать на узкой бровке общего литературного процесса, разноголосая новая генерация нигде по-настоящему, в полный голос, не могла заявить даже своих потуг на новаторство, а тем более — в полной мере противопоставить собственные темы, умонастроения, стиль и почерк устоявшемуся «советскому классицизму». (Из-за чего теперь многим вполне уважаемым литературоведам кажется, что поколение 70-х «ничего после себя не оставило».) Их творчество оказалось для тогдашнего читателя, общества, «города и мира» не просто полузамеченным, но не переваренным, не переработанным, «упущенным» — добро бы отброшенным «за ненадобностью». Да и что толку говорить о реализации литератора, если в свой срок ему не хватило или вовсе не досталось аудитории, резонанса, внимания профессиональной критики, а главное — печатной площади, этих «дров», столь необходимых для непрерывного творческого горения. И если сегодня часть уцелевших поэтов того поколения во многом благодаря Интернету всё же смогла «выехать на скоростное литературное шоссе», однако на фоне изменившейся конъюнктуры печатного слова, его девальвации, такой путь в литературе вряд ли можно назвать поступательным движением.

Впрочем, Довлатов, заговоривший о ментальных проблемах генерации, не промахнулся. Хорошо, что не стал на ходу, что называется, рвать подметки и бегло «раскрывать скобки». Разговор о судьбе и мировоззренческом кризисе этого поколения сложнее, драматичнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд.

*Так зачем к огнедышущим ранам
Ты хотел прикоснуться перстом?
...ведь кончается всё балаганом
И шутом.*

В. Ткачёв «Вопрос»

В кишиневском «круге первом»

Остался и тревожит воображение призрак необъяснимого феномена: такое количество добротных, интересных, разных и талантливых поэтов в одном поколении для любого города (и тем более для полумиллионной национальной столицы бывшего СССР) и чисто арифметически внушительно и до сих пор кажется почти невероятным стечением обстоятельств.

Итак, с начала 70-х и примерно до последней четверти не менее застойных 80-х гг. в Молдавии жили и творили ни много ни мало — более двадцати одаренных молодых поэтов: Валентин Ткачѳв, Катя Капович, Александр Фрадис, Евгений Хорват, Виктор Голков, Александра Юнко, Николай Сундеев, Наум Каплан, Любовь Фельдшер, Олег Максимов, Борис Викторов, Инна Нестеровская, Ян Топоровский, Виктор Чудин, примыкавшие к ним «провинциал» Сергей Чернолев, Валентина Костишар, Данил Мирошенский, Александр Милих, поэт и бард Галя Огородникова, поэт старшего поколения Ян Вассерман и «подростающий» Александр Тхоров, а также многие другие. Явились эти поэты и образовали поколение кишиневских семидесятников как бы случайно, «соткались ниоткуда». Впрочем, если придирааться, биографически термин «кишиневский круг» достаточно условен. Те, кто в него номинально входил, были и москвичами (как Евгений Хорват), и уфимцами (как Борис Викторов) или «полуодесситами» (как Александр Фрадис), киевлянами — по месту рождения, дальневосточниками по месту работы (как чуть позже «засветившийся» в рядах кишиневцев «старший брат» — поэт Ян Вассерман), сибиряками (как Олег Максимов), «прирожденными жителями украинской глубинки» (как Валентин Ткачѳв, который родился под Донецком). И получали они образование в разных городах: и далеко на Урале, в Нижнем Тагиле, как Катя Капович, или в Москве, как Виктор Голков и Любовь Фельдшер, или в Кишиневе, как Алла Юнко. И, похоже, образование, частые вылазки за пределы Кишинева дало им многое: они приносили из больших городов на своих молодых крыльях ветер надежд.

Эта генерация поэтов не обязательно дружно грелась вокруг одного «костра», как братья-месяцы из сказки, хотя одно время роль такого костра выполняло литобъединение «Орбита» при газете «Молодежь Молдавии». Но творчество друг друга они знали и за ним следили, так или иначе встречались и общались — то в компаниях, то в художественных мастерских, то на импровизированных читках в узком кругу, не говоря уже об объединяющей чарке вина. Между ними была разница в возрасте, порой больше десяти лет. Они не были объединены поэтической школой и не подражали друг другу, среди них не было лидера, который диктовал бы и возглавлял целое направление. Напротив, все они имели собственные излюбленные темы, своих «идолов» — предшественников, все они обрели несхожий литературный почерк. Каждый в этом кругу был автономен, индивидуален, опирался на свои литературные пристрастия, порой до принципиальных расхождений с остальными. Но их сближало нечто более важное и общее: время и город, в котором они творили, настроения, витавшие в воздухе, их объединяли дружба или общение. А главное — тот роковой «час между волком и собакой», когда в стране было особо тяжело проспать: ночь прошла, кремлевские звезды уже побледили, но мертвенным светом безмолвного ожидания было разлитое марево предрассветного часа, не сулящего ничего хорошего, вроде торжествующего тотального рассвета над страной победившего социализма.

А вот южный рассвет каждое утро наступал обманчивый, как посулы молодости. Кишинев и цветущая Молдавия тех застойных, внешне безмятежных лет, роскошь природы, ее медовое цветение, близость романской культуры, убаюкивающая тягучесть полуденного зноя, словно длинное, усеянное метафорами придаточное предложение, стали не для одного местного поэта прекрасной закатской для умиротворенных элегий и восхвалений земной благодати, гимном бытию, любви и пр. Но если образцы такой лирики стабильно появлялись у «отцов», то в творчестве поколения «детей безвременья» брожения чувств отзывались в ином ключе: рефлексивно, а порой обреченно, как стороннее наблюдение за ликующей природой из окна уходящего поезда. Темы расставаний, разлук, несовпадения чувств, одиночества, временности человеческих связей, а порой и горькая насмешка, упрек буквально пронизали их поэзию.

*Люди исчезли незнамо куда,
День ото дня шелестят поезда.
«Надо и нам уходить на вокзал», —
Ленин заплакал, а Сталин сказал.
В. Ткачëв «Переезды»*

Любимчики и пасынки «золотого века»

Стартовая позиция талантливых новичков, с их претензиями на новаторство, «свой голос», новые темы в поэзии, смотрелась особенно контрастно на фоне «золотого века советской литературы» 1970-х — середины 1980-х гг. Толстые журналы, «Литературку», «Иностранку» и даже «Юность» читала вся страна. Следить за новинками, фактически за литературным процессом, считалось хорошим тоном для всякого образованного человека, не говоря об интеллектуалах. За подписными изданиями выстраивались очереди даже по ночам, редкие книги доставались по благу, были нарасхват и действительно лучшим подарком. За всё время существования СССР внимание советского общества к Слову достигло своего пика, как и откровенный, нескрываемый пиетет к активно печатавшемуся и обретшему известность поэту и писателю, не имевшему невесть куда заводящих «ментальных проблем». Такой литератор был совестью, рупором, властителем умов, цветом общества. Власти предрержащие и общество баловали его и ласкали, как любимое дитя. Всюду приглашаемый, ожидаемый и почитаемый, переводимый на другие языки, и даже посылаемый за железный занавес на форумы, фестивали, симпозиумы, книжные ярмарки, — среднестатистический успешный советский литератор, особенно популярный поэт являл собой очень любопытное зрелище. В славе он мог соперничать с популярнейшими артистами кино. Всегда нарасхват, в поездках, телефонных звонках и переговорах, по горло занят, благоустроен, оптимистичен, окружен почитателями таланта, нужными людьми, он сочился открытостью и правдивыми речами. И, по большому счету, даже когда фрондерствовал, гневить режим ему было не за что — даже в горячем бреду.

Разумеется, и в этом строю шестидесятников были свои «анфан террибли», талантливые отшельники, скептики и угрюмцы, затворники, «умеренные» или громко протестующие изгнанники, высленцы из страны, переступившие черту дозволенного. Но не о них сейчас речь: их были считанные единицы, их имена из-

вестны наперечет. Речь о том, как успешно разделила поэтические литературные поколения практика застоя.

СССР не был новатором со своей системой прикармливания «человека слова»: расцвет империй, вообще централизация власти почти всегда сопровождается небывалым благоуханием искусств, и прежде всего литературы. Так, значимость личности литератора, уважение к его труду в годы застоя были безоговорочными. Но только по отношению к официально признанному поэту и писателю! А не, допустим, к «тунеядцу» Бродскому, у которого судья спросила: «А кто вам сказал, что вы — поэт?» Любопытно, что такой же линии упорно и стойко придерживалось большинство чиновников в литературных журналах той поры: а кто вам сказал, что вы умеете писать? И тут исторический экскурс завел бы нас далеко. Он привел бы нас к разговору о заинтересованности власти в идеологическом солдате-литераторе, исправно стоящем на своем посту, о строгих цензурных запретах, казавшихся не только идеологии. Ведь тогда, случалось, сажали не только за самиздат, но и за отвлеченные разглагольствования, за сомнения, за философскую литературу, за «посягательства на нравственность» в том числе. Не знаю, почему не издавали «Лолиту» и она долго ходила в самиздате, но за распространение среди друзей легкого эротического фильма «Греческая смоковница» даже в 1985 году, когда империя дала основательную трещину, людям случалось получать по три года тюрьмы — за смакование этой «смоковницы».

Если современность, настроения народа, сам строй не дают повода для пафоса, государству ничего не остается, как его выдумать. И чтобы пафос советской литературы держался на плаву, государство исправно «накачивало» ее дотациями. Разумеется, при этом государство было едва ли не в первую очередь заинтересовано в бодрых, задорных, звонких, жизнеутверждающих поэтах, хранящих в сердце дух великого созидания и размаха и даже в своих размышлениях не чуждых пафосу громной страны. Но уж отнюдь не было заинтересовано в «идеологически нестойких» творцах, «не оформившихся морально» и не понимающих «правил игры».

И чем явственнее обнаруживался духовный тупик в обществе в конце 70-х гг., тем глубже раскрученная советская литература увязала в застое. Ее опорой служили давно отработанные ходы и герои, бытовые, моральные, производственные проблемы, надутый пафос жизни так называемого «простого человека», который не боится трудностей, живет по совести, болеет бедами огромной страны. В общем, литература находила обходные пути, уводя от самых болезненных вопросов современности, и при этом чаще всего отличалась бравурным исполнением, если не бодрячеством, мало соответствующим реальности, далеким от настоящих драм, но вроде легкого вина беллетристики достигающего определенной цели.

Как не раз уже отмечалось, литература, тем более, популярная классика XIX в., тогда была «больше, чем литература», она была поистине «священной коровой» и обладала почти мистическим правом быть одновременно и философией, и религией, и учебником жизни. Она слишком долгое время была «нашим всем», а теперь, в духе всех революций, стала практически ничем. В таком «жигити в Слове» — всё же мощная отдушина! — были свои очарования и капканы, были и наивные жертвы этих капканов, думавшие посвятить свою жизнь служению слову, как богу.

Драма нового поколения литераторов 70–80-х гг. состояла в том, что оно было лишено права погрузиться в себя, чтобы обнаружить свой истинный голос, свои сомнения, мысли и эстетические идеалы. И не в последнюю очередь, конечно, свой скептицизм и свою иронию, идущие вразрез с официальным мажорным и па-

тетическим восхвалением настоящего советского человека, его бытия, его светлых мыслей. Задним числом теперь понимаешь, что кого-то из идеалистов того старшего поколения искренне пьянила, увлекала и бодрила мажорность таких установок: ведь это очень заразительно-общинно, по-христиански, и даже где-то по-толстовски — жить общими бедами и радостями, искать всем миром всеобщее счастье. Что, к счастью или к несчастью, так и осталось советским мифом.

Благосклонность случая

Неровная судьба и нервозность были свойственны большинству пишущих «в стол». Обилие толстых журналов, книг, доносившиеся со всех сторон разговоры о поэзии, литературные передачи по ТВ и радио, весь этот литературный дурман, роскошная (особенно по нынешним временам) литературная атмосфера подпитывала, разжигала, но в результате — лишь дразнила, раздражала возникшие было литературные надежды. Казалось, печатных изданий было так много, что даже самый неудобный или начинающий поэт всё же мог в какой-нибудь молодежной или малотиражной ведомственной газете, и даже во второстепенном литературном журнале, где-нибудь в уголке страницы, «гиснуть» проходные свои стишата. Пусть по сравнению с тем, что осталось в столе, в них слабо отмечалось индивидуальное «я», но так и случалось — печатали пробравшихся через друзей, знакомых, снисходительных покровителей. И в отдельных особо удачных случаях, как уже говорилось, дело доходило до тонких — в тетрадочку — сборничков размером с конверт. Главное, вести себя полагалось простодушно. Не нахально. А лучше робко. Не претендуя. Очень осторожно.

Но и после такой публикации могло наступить всё то же глубокое молчание. И проблем творческой самореализации компромиссные эти полумеры, пульсирующие мини-публикации, естественно, не решали. А самое главное — они не позволяли выстроить профессиональную творческую судьбу, вовремя поверить в свою нужность, самоидентифицироваться как поэт или писатель. Как если бы заключенному в камеру принесли остатки еды со свадебного стола и предложили от души повеселиться за толстыми тюремными стенами. Или, что точнее, разрешили бы голодному взять со свадебного стола лишь вареную морковку.

Пиршество литературы, увы, было затеяно не для «новых», которые волнен-ноленс пытались внести новые темы и только нащупывали свой стиль. Власть умело донизировала разрешаемое и запретное и, опираясь на покладистые ряды сделавших литературную карьеру, сторожила не только тень протестных настроений: она инстинктивно опасалась и просто «других», незнакомых, альтернативных тем и мотивов, новой тональности («поешь не со своего голоса») и зорко стерегла их появление.

*Я завою, а хочешь — залаю,
Чтоб сказали: как страшно поёт...
Этой жизнью я жить не желаю,
А другой мне никто не даёт.
В. Ткачёв «Не желаю»*

Если власть и идеология давили откуда-то сверху, «с небес» — из Москвы, из Кремля, то в реальной каждодневной жизни, на местах, поэты-семидесятники

имели дело с куда более конкретными союзами писателей, редакциями журналов, издательствами, где правили бал «старшие товарищи» — получиновики-полуписатели. Неслучайно тот же Сергей Довлатов, опытный в смысле запретов и вечного ожидания писатель, имевший дело как с республиканскими чиновниками от литературы, так и со столичным литературным истеблишментом, упоминает не мифическое нечто, а поколение шестидесятников как абсолютное мерило литературного успеха и реализации. Им по праву таланта, а порой и без, принадлежала тогда вся литературная периодика, весь издательский процесс СССР — от Москвы до самых до окраин. И, само собой, до Кишинева тоже. Общими усилиями государства и чиновников от литературы было сделано немало, чтобы младшая «невидимая литературная генерация» была изначально поставлена в роль просителя по части издания книг, надежд на публикацию, реализации каких-то замыслов. Просителя всегда бесправного, крайнего и потенциально ненужного. Молодых литераторов ввели не просто в состояние неуверенности, но в **состояние постоянного ожидания**, своего рода искусственную кому.

*То крылом волны касаясь,
То стрелой взмывая к тучам,
Ничего не получили.
Ничего и не получим.*
В. Ткачёв «Читая Горького»

В качестве ремарки: по оценке психологов, вечное ожидание сродни детско-подростковому состоянию постоянного недовольства собой и окружающей действительностью. Его трудно отследить, уловить его у себя, но оно заразно для психики: человек легко впадает в депрессию, для него всё вокруг словно окутано влажной простыней.

Вовсе не хотим сказать, что простыня депрессии накрывала в этом поколении всех и каждого. Это всё равно что сказать: в СССР спивались все поголовно (хотя пили действительно много и часто). Представителями этого хорошо образованного поколения были не только «лирики», но и «физики» — люди конкретного дела. И слесари высшего разряда, и педагоги, и ракетчики, летчики, космонавты и, конечно, успешные инструкторы ЦК комсомола, гэбисты, молодые профсоюзные функционеры. В том числе и те деловые, целеустремленные люди, кто от имени поколения семидесятников пришел к власти в России и СНГ в конце 90-х гг. Но тем не менее в те времена жизнь одаренной молодой творческой интеллигенции сторожил и оттенял фон то депрессивный, то провокационный. Оглядываясь назад, подсчитывая духовные, моральные издержки поколения застоя, мы можем говорить об этом практически без сомнений.

Спонтанность и самопроизвольность

Создается впечатление, что в случае семидесятников застой приобрел какие-то физические категории: слишком долгое время поколение испытывали на терпение, ожидание и прочность. Это тянулось губительно долго для одной человеческой жизни — счет шел даже не на пятилетки, на десятилетия. Государство, строй, система, местные функционеры, сам регламентированный, расписанный от

а до я уклад жизни искусственно лишали поколение природных проявлений спонтанности и самопроизвольности, загоня их внутрь, не давая вовремя излиться творческой энергии. Можно подкрепить сказанное сухими цифрами. Согласно данным любых литературных справочников (от Москвы до Кишинева), поэты-шестидесятники взяли старт в литературе чрезвычайно рано. Они успели издать свои первые сборники в 22–25 лет, а активно печататься начали еще раньше. Средний же возраст тех немногих поэтов-семидесятников, которым удалось успешно дебютировать со сборниками (кому повезло!), переваливает за 27–28, а то и за 30 (!) лет. Количество же опубликованных при жизни книг, приходящихся на долю среднестатистического представителя того и другого литературного поколения, вообще несопоставимо. Если пребывавшие на плаву кишиневские (и не только) шестидесятники печатали свои сборники практически каждые два года (по данным всё тех же литературных, библиографических справочников и энциклопедий, включая кишиневские издания), то поэт-семидесятник к своим 50 годам мог похвастать в среднем тремя-четырьмя тоненькими сборниками. Да и то лишь потому, что во второй половине своей жизни он застал эпоху перестройки, а в 90-х гг. грубо и прямо открылся доступ к печатному станку как на родине, так и в эмиграции, — нашлись бы только деньги или доброжелательный спонсор.

Разумеется, легче легкого «перейти на личности» и поставить в упрек этой генерации ее психологический склад как причину недостаточной воплощенности в творчестве, как еще одно препятствие, помешавшее ей полностью реализоваться и раскрыться. Сказать, к примеру, о неуверенности в собственных силах, недостаточности проявлений, пустой трате сил и пр. Это кажется существенным доводом, но хочется и возразить: а разве не само время влияло, лепило этот психологический склад? Мы получаем некое замкнутое кольцо причин и следствий, что, конечно, не отменяет развития такой темы как дух, ментальность поколения, его витальность, наконец.

Возможно, это отдельная тема для исследования философов, социологов и психологов — что же именно формирует поколение и насколько творческая личность свободна от формата семьи, социальных установок, государственного гнета и т. д. Не удивилось, если подробный анализ этой темы приведет кого-то из исследователей к откровениям психологического характера. Например, как может тоталитарное государство и система воплощать властного отца или мать, влияющих на появление у «детей», лишенных возможности делать то, что хочется, психической травмы на глубоком подсознательном уровне? Рождая в их душах комплексы, инфантильность, самообманы, склонность к созданию собственных мифов, поиск своей религии. Не по собственной воле лишенные возможности формировать свою действительность, отрекаясь от энергии действия, «дети застоя» неизбежно ускользали в область отвлеченного, придуманных целей, и хорошо, если уходили в мир метафизики и фантазий, а не в поиски своей «шамбалы», выпивки и наркотиков.

*Мимо пройду, опустивши лицо,
Вскользь, мимо жизни, на части разъятой.
Кажется близким и светлым концом
Мне мой безмолвный конец страшноватый.
Катя Капович*

Разрыв кольца

Нанесло ли исчезновение, потеря, полумолчание этого поколения урон русской литературе на конкретном временном отрезке? Да, в истории русской литературы бывали спады и взлеты, даже целые десятилетия «затишья» и, наоборот, рождение целой плеяды ярких талантов. Но уже сегодня многим литературоведам кажется очевидным, что налицо разрыв русской литературной цепи из-за потери целого поколения 70-х и что поэтому можно утверждать: советская литература не была «субита» или «сметена» перестройкой — она до нее просто не дожила. Скончалась до срока из-за отсутствия свежей крови. И последствия этого разрыва, наступившего молчания пустоты, современная русская литература ощущает до сих пор. Да так, что ее состояние не внушает оптимизма. Пишут об этом литературоведы и критики пока не слишком определенно, словно примериваясь к теме, но тем не менее достаточно внятно.

«Казалось бы, “шестидесятники” должны были передать свою эстафету следующему за ними поколению — “сорокалетним” <т.е. тем, кто отставал по возрасту на 20 лет, “семидесятиникам» — *Ред.*>, — пишет филолог, критик Вяч. Савватеев, — но этого не случилось; для этого есть свои причины, но здесь не место и не время об этом говорить. Во всяком случае, “сорокалетние”, как показало время, плохо “держат удар”, только отдельные его представители состоялись и выстояли, большинство же либо завязли в “застое”, потеряли голос, либо легко уступили поле боя более молодым и напористым, тридцатилетним и более молодым, пришедшим в литературу в постперестроечные годы... Литература как бы “зависла”... произошел разрыв, нестыковка поколений, традиций, обрыв в цепи, что чревато немалыми потерями. Такова одна из причин того состояния, в котором оказалась современная литература».

Хотя здесь лишь вскользь упомянуто о таинственных причинах, по которым шестидесятники не захотели передать литературную эстафету, снова брошен упрек следующему поколению. У Довлатова — «ментальные проблемы», у Савватеева — «не держали удар».

Критики приписали семидесятиникам за прошедшее время немало грехов. Если верить статьям, ахиллесовы пяты поколения приблизительно таковы: изначально не сложившиеся гармоничные взаимоотношения с социумом и миром, эскапизм, стремление к независимости, критическое мышление, подростковый максимализм, скепсис, ирония, профессионализм в сочетании с индивидуализмом, размытость точной цели существования и как следствие — отсутствие оптимальной самореализации, недоверие к себе, поиск альтернативных путей развития личности, двойственность. И поверх всего — единая для всех и свойственная многим русскоязычным поэтам созерцательность взамен действия.

Но противоречие, двойственность были заложены в самом времени, а они были его детьми. Всё было амбивалентным. Всё — противоречивым. Семидесятники — практически первое поколение, которое росло при развитом социализме, вкусило плоды хорошего «классического» образования, не знало справедливой и очищающей войны с фашизмом, но было со всех сторон окружено сомнительными войнами: танками Пражской весны, непрекращающейся идеологической войны с Западом, реальными войнами во Вьетнаме, Афганистане. Это поколение было первым, которое приняло на себя настоящий информационный и интеллектуальный удар с Запада и внутри страны. Оно рано познакомилось с забугорными голосами, несущими, кроме «пропаганды и растления», обильную культурную информацию.

Оно узнало эмигрантскую литературу, запрещенных отечественных авторов, самиздат, западную литературу и философию, восточные религии, авангардное европейское кино и лучшие образцы киноклассики — от Бергмана до Тарковского, от Феллини до Висконти и Пазолини. А еще латиноамериканскую литературу, абстрактную живопись и т. д. Иными словами стало куда более просвещенным, начитанным, рефлектирующим, сомневающимся и утонченным, чем предыдущие поколения советской формации. И время, в котором они дышали воздухом юности (кто-то назвал его «жизнью между танками»), досадно контрастировало с интеллектуальным багажом. Да, семидесятники росли без иллюзий и воодушевлений «огтепели», которая так удачно освежила и взбодрила шестидесятников. Зато их время было полно фарсовых, затейливых извращений умирающей идеологии.

«С томиком Пруста в руке...»

Это было похоже на стояние посреди болота на одной ноге. Но с томиком Пруста в руке.

Двойственность самосознания и осознания реальности кого угодно могла подчинить рефлексии и так называемым «ментальным странностям» и как минимум развивала защитную маскировочную окраску — беспощадную иронию.

*...Как же я мог
Просадить свои лучшие годы?*

*Полосатая зависть пижам
В колесе неподвижного тракта.
Надо ехать куда-то. Бежать.
Что-то делать. Очиститься как-то.*

*Да, конечно. Безудержно — да!
Разве жизнь — эти блёклые пятна?
На коня, на экспресс! Но куда?
Но куда?.. Ничего не понятно.*

В. Ткачёв

Странное время, странное всем — отжившими стандартами, сонной двусмыслицей, мертвыми мифами, полным несовпадением продекларированного и реального, востребованного и дарованного, внутренней жизни и внешней. Время, которое шло мимо и которому вроде бы менее всего было дела до твоей души и тебя самого, регламентировало и створаживало жизнь, мысль и литературные дерзания досадно убивало творческого субъекта монотонностью будней. Как в «Дне сурка», всё повторялось и было предсказуемо; еще с утра каждый знал, чем закончится день, если только не взломать его локальным бунтом духа, но опять-таки — «в пределах разумного», приватно, в своем кругу. Не слишком увлекаясь, чтобы не оказаться случайно за стенами вуза, без работы или в КПЗ.

Зато так много, как в ту пору, не разговаривали больше никогда (если это можно назвать утешением). Переливы, запевы, повторы — о политике, йоге, Бул-

гакове, Бродском... Обманчивое и неверное чувство литературного «братства кольца». А дальше?

*...дальше полный прогресс,
Красных рук и знамёк красный лес
Со звездами, серпами и без.*

*Мимо красных трибун
Прошагал наш поток в сорок лун
Лиц, гудел барабан.*

*Нет, не бил, лишь гудел,
Потому что как в воду смотрел
Депрессивный Виталик один.*

*Он «ура» не кричал
И в шеренге наискось шагал
Через Нижний Тагил до могил,*

*До афганских степеней,
Где ему не споёт соловей
На кресте, что из двух костылей*

*Сочинили ему,
Дураку депрессивному в ту
Осень, зиму, весну.*

К. Капович «Парад»

В общем, стоял мертвый сезон, завершившийся в 80-х гг. в лучших театральных (ирреальных), мифотворческих традициях — черно-красной лафетно-траурной гофманиадой, чередой похорон давно уже мертвых вождей. В 1982-м умер Брежнев, в 1984-м Андропов, в 1985-м — Черненко... А там уже Горбачев стал рушить основы. Мистическую точку на этом историческом отрезке поставил Чернобыль, наведший, кроме технократического, ужас еще и почти религиозный, апокалипсический.

Так, без слез и сожаления, довелось поколению провожать у телевизора советского образца одно упущенное время и с нарастающей тревогой ждать другого. И кто-то уже засобирался в дорогу за кордон, идеализируя капитализм, с целью догнать свободу, литературные надежды и где-то — «нормальную жизнь».

Для тех, кто припозднился бежать и остался на родине, настали самые беспощадные 90-е годы — время голодное, рваное, революционное, когда никому уж точно не было дела до литературы. Крах прошлого, лозунги, тотальная ненависть, разруха не только в головах, локальные конфликты, первая кровь, безденежье, талоны и бандитизм настигли одних; эмиграция, борьба за выживание, чужбина и ностальгия начали пытать и испытывать на прочность других.

*Я Родину выжег железом калёным,
И в столбики пепла свернулись поля.
И рухнуло всё — стало пусто и голо ...*

В. Голков

*Уже хлебнули горькое питьё
Навеки пересекшие границу,
Отбросив всё ненужное тряпье...
А я неулетающая птица.
...Не улетаю. Стало быть, без крыл.
Не по размеру мне
Твой плац скитальца.
И, слава богу, пять родных могил
Ещё могу пересчитать по пальцам.
А. Юнко*

Где дышит почва и судьба...

Не удивительно, что в круге этих поэтов (а мы не случайно продолжаем цитировать кишиневскую генерацию, имея в виду прежде всего именно её в общем потоке литературы), не оказалось апологетов чистого искусства, а также кургузных маньеристов, возвышенных эстетов, по-набоковски медоточивых перебирателей четок, дегустаторов жизни, наблюдателей и ловцов, в благости и покое душевном нанизывающих одно за другим красочные определения, раскидывающих россыпь роскошных метафор — ради самих метафор. Они были разными, и этим всё сказано. Строго вписать «невидимое поколение» в одно поэтическое направление ни тогда, ни сейчас невозможно. Они изначально не были группой, которая способна в рамках литературного объединения выпустить свой поэтический манифест или что-то, подобное эстетической декларации. Ведь они были такими разными. Кто-то начал с конкретной «социальной» диссидентской поэзии, потом, разившись и обретя самостоятельность, успел отдать дань элементам континуализма, грамматико-философским стихам, и даже попыткам графической поэзии. Кто-то приблизился к аскетическому минимализму. Прочие предпочли обустроивать свою поэзию и держаться в традициях так называемого постакмеистического мэйнстрима, если понимать под этим явлением в поэзии драматургию лирического текста, композицию как стратегию стихотворения — «основу семантической поэтики Мандельштама, Ахматовой, Пастернака» по Льву Лосеву.

Читатель увидит в этом поэтическом многоголосье слишком широкий разброс попыток утвердить свое поэтическое «я», чтобы сводить всех к одному знаменателю. Зато можно говорить о неких родственных чертах «кишиневского круга». Ближе всего эта поэтическая генерация оказалась к реалистическому направлению, к метареализму и неолиризму, но, как большинство современных поэтических исканий, с признаками и чертами открытой, незамкнутой системы, с привнесением не характерных для данной тенденции элементов поэтики, например, социально-философских тем.

Неолиризм, при сдержанных новациях стихосложения, по определению не в силах был принести в поэзию ничего принципиально нового в области форм, рискованных экспериментов, смелых отступлений от поэтических законов и правил. Зато этому течению свойственна едва ли не максимальная смысловая нагрузка, провокационный и ответственный сквозной мотив — место реального человека в истории, его чувства, предельная искренность, нескрываемая оценочная эмоциональность, узнаваемость изображаемого. Если поэту есть что и как сказать.

А им было что сказать. Основная заслуга группы кишиневских поэтов как раз в том, что благодаря резко очерченному личностному началу и малоопытный

читатель легко идентифицирует себя с любым из героев их подборок. И самого автора, и его поэтическую биографию можно будет без усилий распознать уже после первого знакомства с его творчеством, будто прочел очень личный дневник или обращенное к тебе письмо.

*Если глупостью не доконают,
То заставят построиться в ряд.
Загоняют, опять загоняют...
Делай выбор скорее, твердят.
Выбирать? И сторицей воздастся?
Да и выбор довольно простой —
Между подлостью и негодяйством,
Между лживостью и клеветой.
Расцветает глумливая придурь.
Кровеносную держит свечу...
Но не мой это, знаете, выбор.
И я делать его не хочу.*

В. Ткачёв «Выбор»

У большинства из этого круга (за малым исключением, которое всё же существует) оказались преимущественно реалистичные, а не, к примеру, «отвлеченно-лирические» предпочтения и относительно скудные средства в поэтике. Теряться в догадках, почему сложилось именно так, не стоит. Слишком очевидными были как проблемы, так и сама жизнь этого поколения поэтов, полная трудных вопросов и непростых выборов, чтобы творцы сделали упор на форму, а не на содержание стиха, и потерялись в способах выражения. И как бы ни были различны в поисках и почерке поэты кишиневской волны 70-х, в своем творчестве, где «дышит почва и судьба», все они оказались предельно эмоционально обнажены — **из-за подлинности пережитого**. Их лирический герой отчетливо одинок и смертен, его жизнь драматична — **ему не надо выдумывать эпизоды биографии**. Он обрел судьбу ценой реальных и немалых потерь — Родины, привычной среды, ценностей, традиций, возлюбленных, друзей, мест детства, родных могил, а то и родной речи.

И потому слышишь, как в этой поэзии — сквозь все состояния, наблюдения, сквозь иронию и бегло упавшие слова «о том, о сём» — тянет сквозняком тоски, скрипит, как на зубах, соль неистраченных слез.

*Где так черна смородина
И тополя нежны,
Опять мне снится родина
На дне другой страны.*

*И словно во спасение
Является тогда
Спокойствие осеннее
Холодного пруда.*

*Дрожит листва, готовая
На мокрый камень лечь.
И чувства бесполовая
Не разъедает речь.*

В. Голков

И сегодня, вопреки довлатовским словам о нестойкости, сложностях менталитета этого поколения, за «гранью судеб и времен» большая часть этой генерации русскоязычных литераторов, и разъехавшись, и оставшись в родных пенатах, и на пороге смертного часа в дальней дали, — не потеряла вкуса к творчеству. Пытаясь наверстать упущенное, отработать предначертанное, прорываясь через препоны, подправляя линию судьбы на руке, большинство из уцелевших всё же остались творцами. И это самое ценное и самое удивительное в истории кишиневского круга поэтов.

Битва за металл и профсоюзная литература

Если сегодня мы можем цитировать поэзию того поколения (а она верный и реальный ответ на ряд вопросов), то вывод напрашивается один: вопреки всем обстоятельствам кишиневские поэты-семидесятники оказались интересной и, что удивительно, даже по-своему стойкой и цельной генерацией. Говоря об этой стойкости и цельности, никак не обойтись без исторических экскурсов и погружения в самую сердцевину тех прошлых литературных перипетий. Ведь далеко не каждому творцу по плечу выдержать столь многообразную и многолетнюю серию фронтальных ударов: цензура, придирки и равнодушие редакторов, невозможность свободных публикаций, а тут еще и ограниченность издательских квот для русских. В Кишиневе удары эти были не эфемерными, не виртуальными, а самыми что ни на есть реальными. Не последнее место тут занимала и «мудрая» (а точнее, мудреная) межнациональная политика коммунистической партии.

Ситуация в цветущей Молдавии, как в большинстве братских республик, в отношении русскоязычных авторов была двусмысленно-казуистической: с трибун провозглашалось одно (братство и равенство, не иначе), на кухне и в кулуарах говорилось другое, делалось на практике третье. Главное, что две литературы — титульной нации и русскоязычного меньшинства — существовали параллельно, по сути, мало интересуясь друг другом. Как стало ясно уже в перестройку, этому были свои причины, более глубокие, чем казалось поначалу. Молдавские поэты, ровесники-семидесятники, из рядов которых вышли такие «видные националисты» конца 80-х — начала 90-х гг., как Леонида Лари, Николай Дабижа, Ион Хадырка, были заняты своим кругом общения. Впрочем, круг интересов и чтения у них был тоже свой. В него входило немало произведений идеологов Великой Румынии, и не только чрезвычайно популярный, к примеру, миф Замолкхиса в трудах М. Элиаде, но и другая многочисленная литература, причем переводная с французского на румынский и недоступная для русскоязычных, ходившая в узких кругах по рукам. И это тоже было одной из потаенных (до поры до времени), но существенных причин, почему поэтические сообщества, будучи ровесниками, не смыкались и не могли слиться в некое литературное братство. У каждого из кругов был свой мифологический базис, если так можно выразиться для краткости.

Этот межнациональный, деликатный по умолчанию, внутрь загнанный аспект взаимного недоверия, скрытых претензий и настороженности изрядно осложнил и без того обвитое путами цензуры, идеологическим и чиновничьим производом творческое становление русскоязычных литературных дебютангов в Молдавии. Естественно, что квоты в литературе — та же печатная площадь, возможность издать книгу и пр. — в первую очередь предоставлялись литераторам титульной

нации. Это не подлежало обсуждению. Но в том-то и дело, что тут при поощрении и широко открытых дверях тоже далеко не всё решал талант. И те, кто во многом справедливо считал, что столь широко открытые двери только развращают вступающих на литературную стезю, вынуждены были помалкивать, чтобы не быть неправильно понятыми и не задеть чьи-то национальные чувства. Какое это имело отношение к русскоязычным дебютантам? Молодые русские пииты могли только (кто с завистью, кто с пониманием, а кто с досадой) смотреть, как творения только что оперившихся молдавских ровесников, причем не обязательно достойного уровня, буквально с колес идут в сборники, книги, журналы, газеты, тогда как им самим приходилось ради этого или многим поступаться, или просто прекращать «бодаться с дубом».

И если такой дележ «бумаги» и очередность еще подчинялись логике «всемерного развития, поддержки и подъема национальной литературы», то остальная мудрая политика идеологов КПСС по отношению к нацменьшинствам внутри республики проглатывалась начинающими русскоязычными авторами с трудом.

Частота публикаций, беспрепятственное прохождение творений дебютантов титульной нации (и в переводах на русский) была неизмеримо выше, чем оригинальные творения русскоязычных авторов. И ладно бы только в Кишиневе, но и в сердце России — Москве, и не только в, казалось бы, с этой целью созданном лигжурнале «Дружба народов», но и в «Новом мире», «Литературной газете» и даже в таком внешне демократическом и свободном от давления и предрассудков издании, как молодежный журнал «Юность», куда с большей охотой принимали переводы, чем оригинальные творения русских с окраин империи, формалистки ставя себе шпосы за поддержку национальных литератур. Зато толстые журналы без тени сомнения отказывали русскоязычным дебютантам из национальных республик: на них разрядка сверху не спускалась.

Не удивительно, что в Кишиневе старшие товарищи-писатели, умудренные личным опытом, прямо советовали начинающим русскоязычным поэтам и прозаикам — чем раньше, тем лучше! — серьезно засесть за переводы молдавского «перспективного» ровесника, не говоря о литературном «генерале». Так, мол, и мы порой «ввезжали в литературу» не с парадного, а черного входа, чай, не гордые.

Абсурдность и извращенность ситуации была налицо. Как не без сарказма отметил молдавский литератор Эдуард Побужанский в московской «Литгазете» уже в «свободном» 1993 г.: «Литературная жизнь в Молдове, как, вероятно, и в других «бывших союзных», чем-то напоминает шоколадный батончик «Марс»: «толстый-толстый слой» национальной литературы и тонкая прослойка иноязычных литератур — болгарской, гагаузской и, безусловно, русской. На этом сходство заканчивается — не сладко!»

Казалось бы, Молдавия, вооруженная в те застойные времена несколькими издательствами, десятками газет, несколькими журналами, в том числе литературными, мощными типографиями, дешевой бумагой, без особых затрат и труда могла себе позволить расширить рамки для публикаций молодой русскоязычной поросли... И тем не менее распределение печатной площади — от журналов до книг и сборников, выпускаемых местными издательствами «Литература артистикэ», «Штиинца» и др., — носило планомерный, идеологически выверенный, стабильный характер поддержки национальной литературы. Исключения делались лишь для отдельных русскоязычных маститых авторов и изредка — для молодых, но в весьма ущербно-тонком виде. Что говорить, когда переводами с молдавского на русский был заполнен

даже единственный литературный журнал на русском языке «Кодры»: не менее тридцати пяти, а иногда и — пятьдесят-шестьдесят процентов его полос отдавались переводам с молдавского, а не оригинальным русским произведениям.

Были и другие «объективные» причины держать в узде литературную русскоязычную смену. Здесь трудно провести демаркационную линию и понять, где кончалась идеология и литература и начинались личный интерес и семейная экономика. Эти два интереса оказались тесно связанными на литературном поле, а чем оно было меньше и уже, тем заметнее становились все приметы такой связи.

Закаленные профессионалы-писатели, чье сообщество представляло собой довольно сложную систему иерархических зависимостей, преимущественно держались одним кругом. И были они людьми по советским меркам далеко не бедными, а иногда даже зажиточными. Не забудем, что в СССР тиражи популярных периодических изданий просто зашкаливали (что напрямую соотносилось с получаемым гонораром). Если кишиневские тиражи газет измерялись в среднем тремя-четырьмя, пятью десятками тысяч, а журналы — тринадцатью тысячами (как кишиневский литжурнал «Кодры»), то московские тиражи толстых журналов доходили до миллионов экземпляров, а книг — до сотен тысяч. Даже журнальные столичные гонорары — а дотировал эти журналы сам Минфин СССР — были настолько серьезны, что позволяли «публикнвшемуся» безбедно существовать месяца два. А то и три. Плюс накатывала «всесоюзная слава». И уж совершенно отдельных слов заслуживает такой феномен советской системы, как рабочий стаж творческих работников, идущий независимо от того, были ли они «прикованы к креслу» в журнале или издательстве, гуляли ли в творческих отпусках, получив гонорар, собирались ли писать роман в подмосковной Малеевке или сочиняли стихи в писательском Доме творчества в Ялге. Везде вкусно и сытно кормили, везде широким потоком лилось вино или водка, велись беседы, приезжали жены и любовницы, ну а дальше — по усмотрению. Право на такой виртуальный стаж, засчитанный к пенсии, у неработающих писателей отобрали только в 90-е гг. Было за что держаться и за что бороться!

Неудивительно, что за право считаться писателем (с вытекающими отсюда материальными последствиями) и, разумеется, за «русскоязычную литплощадь» в местных изданиях, особенно за молдавскую квоту в толстых московских журналах (не говоря о книжных издательствах), в молдавском Союзе писателей шла своя жесткая — и подковерная, и открытая — борьба. На кону стояли суммы, с которыми писатели считались. Ведь книга, изданная в Москве (к примеру, тираж в 100 тысяч экземпляров для отдельных молдавских писателей в издательстве «Советский писатель»), могла принести гонорар, достаточный для покупки легковой машины. Были в республиканских «союзписах», и молдавский не исключение, и другие соблазнительные льготы и «квоты» по разрядке, в соответствии с писательским «рангом». Например, регулярное выделение материальной помощи, раздача — по имевшейся очереди — квартир, путевок в Дома творчества Литфонда СССР (чей оборот составлял ни много ни мало 1 миллиард рублей в год), не считая продуктовых наборов, дефицитных товаров в праздники и прочих греющих душу, приятных вещей.

Если складывать эти «не-мелочи», становится ясно, что в целом всё перечисленное придавало Союзу писателей характер не творческого объединения индивидуальностей, а скорее элитного профсоюза или небольшой модели ЦК КПСС.

И если в молдавском «союзписе» талантливо творили трое-пятеро литераторов, а еще несколько подавали надежды вырасти во что-то значительное, это ни-

чего не меняло по существу. Просто в творческом союзе существовала и реальная экономическая причина, чтобы держать молодую волну поэтов (прозаиков было, как всегда, немного) на подобающем расстоянии от кормушки.

*...это знает время
а мне недоступен ход
размышлений бога
уснувшего над часами
чья большая стрелка как сердце пронзила год
обретенья веры
чтоб стали нули плюсами*

*без сомненья время надёжнейший эскулап
ан уже сработался съеденный ржюю клапан
mundштуки фанфар в наши дни заменяют кля
чистовик эпохи не кровью –
слюной заляпан.*

А. Фрадис

И все эти, казалось бы, далекие от самой литературы разнородные факторы — борьба профессиональных литераторов за место под солнцем, очереди их творений в издательствах, в журналах на фоне общего упадка залоснившегося слова, которое перестало быть богом, — только оттенили наступивший «перегрев механизма». Советская литература к началу 80-х гг. уже прочно увязла в болоте стагнации. И литературный процесс в Молдавии почти выдохся и работал на холостом ходу. Стали встречаться несвежие мотивы, повторы тем, героев и даже сюжетов. Но одно оставалось прежним: для литературных маневров русскоязычным поэтам и прозаикам оставалось с гулькин нос печатного пространства.

А посему, несмотря на очевидную одаренность гребня этой поэтической волны (которая потом подтвердилась или с опозданием, или за границей, а у кого-то, увы, посмертно — изданиями, лигпремиями и даже мемориальными досками, как в случае с поэтом Валентином Ткачёвым), буквально единицы к своим тридцати годам могли похвастаться сборниками и полновесными публикациями. А многие их так и не увидели. Поэтому не стоит задавать вопрос: «Если ты такой талантливый, где твоё собрание сочинений в трех томах?» Лучше задать его по-другому: «Сколько лет подряд талант может сохранять свежесть слова и чувств, веру в себя, нигде не печатаясь?». Десять? Двадцать? Больше? Ведь разнообразные «низзя», малые и большие, настигали «кишиневскую когорту» поэтов не месяц, не год и не два. К счастью, в сухом остатке есть и другая правда — шесть русских падежей, которые одаренного поэта не обманут, рано или поздно унесут от любой действительности:

*...и какой бы в глаза не пускали мистический дым,
и какие б ракеты в ночи не летали на солнце,
и какой бы нам яд не вливали в преддверье ушей,
всё равно остаётся, всё равно ведь у нас остаётся
этой речи живая вода, её шесть падежей,
её тройка времен, уносящая с этого света
в мир иной, отороченный по небу чёрной межой.*

К. Капович

«Почему ты не хочешь, как все?»

Всё дальше и дальше уходит то время, и еще пройдет лет двадцать, глядишь, некому будет вспомнить, как в отлаженной системе мариновались рукописи. Каким способом их помещали в морозильник «Гиочел» кишиневского производства — не на отстой и даже не на хранение, а как ненужную зелень? Какова была технология «хранения»?

«Тогда была такая система — долгий ящик для дебютантов, рукопись читали десятки людей, включая главлита, главного идеологического цензора», — вспоминает Виктор Голков, один из кишиневской генерации поэтов, «ущелевший эмигрант» этого искусственно замороженного поколения. Читали не торопясь. Его первая зрелая подборка стихов пролежала в журнале «Кодры» с 1977-го по... 1985 год! Первая книга Голкова в Молдавии ожидала своего выхода с 1979-го по 1989 год.

Называлась она по странной иронии судьбы «Шаг к себе». Он растянулся на десять лет ожиданий... И когда автор «шагнул» таким образом к читателю, ему исполнилось 35 лет. Без двух минут целая пушкинская жизнь. Какие тут комментарии?

Лишь для нескольких поэтов той славной когорты судьба милостиво сделала исключение. Их сборнички, изрядно, по словам поэтессы А. Юнко, «общипанные пугаными издательскими редакторами», в дешевом издании бумажного переплета, толщиной в школьную тетрадку для первого класса карманного формата in quarto (размером примерно в почтовую открытку) увидели свет «рано» — в самом конце 70-х, когда «молодым поэтам» стукнуло 27–28 лет. Поэты не слишком потом любили эти дебютные сборники, очевидно, смутно сознавая, что в таком виде эти скромные книжечки несли часть общего стыда — за редакторов, за плохую рыхлую бумагу, за время, за «общипанность»... Но стихи точно были не виноваты, и в них был слышен талант.

Время — благо для выдержанного коньяка, но для тонкой души оно подобно удущью. Меж стихами, написанными в 25 лет и в 35, а то и 40 лет, — не просто утекшие годы, вёсны и зимы, здесь утраченные миги, состояния, впечатления. Вся поэтическая мгновенность. Не говоря о том, что жар поэтической души редко щедро растрачивается в зрелом возрасте. В общем-то, вспоминая реалии того времени, можно сказать одно: обилие молодых поэтов пришлось не ко двору, «не вовремя и некстати», мешая кишиневским редакторам, как вылезший во время резвой ходьбы гвоздь в сапоге. Мешало всё подряд и у каждого в отдельности: молодость, «претензии», амбиции, подозрительно звучавшие фамилии («пятая графа»), темы стихов и отсутствие членского билета Союза писателей. И даже «не та» профессия, не говоря уже о независимости, нелюбезности, отсутствии покровителей и рекомендаций.

Не раз и не два повторялись случаи, когда кто-то из приятелей-журналистов приносил в газету или журнал безобидные стихи под псевдонимом или статью с подписью неизвестного лица, а редактор с порога кричал с неподдельной тревогой, переходящей в легкую панику:

— Это случайно у тебя там не Каплан?! Не твой дружок-фотограф, что кропает стишата?!

Безусловно, и с молодыми прозаиками дела обстояли не лучше, если не анекдотичней. Газеты прозу не публиковали, стало быть, оставался только журнал. Стоило однажды зайти в отдел прозы журнала «Кодры» к тогдашнему его работнику (якобы кригику) Семену Рыбаку, существу всклокоченному, вечно чем-то не-

довольному, подозрительному, напоминавшему то ли внезапно получившего повышение Башмачкина, то ли, напротив, отправленного в ссылку Ноздрева, чтобы услышать:

— Тэкс... рукопись... мда-а... рассказ... а вы где работаете? В газете? Мда-а... Зайдите через неделю, я занят... Нет, лучше через две...

Журнал выходил раз в месяц. Работа была не пыльная.

Через две недели ситуация повторялась:

— Тэкс... рукопись... мда-а... рассказ... не успел прочитать. А где работаете? В газете? Мда-а... Зайдите через неделю... нет, лучше через две... мда-а... И послушайте, зачем вам еще писать? Вы же в газете работаете! Вот там и пишите...

Потом оказалось, открылось (естественно, после перестройки!), что эмигрировавший в Израиль Семен Рыбак давно в литсообществе считался едва ли не официально человеком, мягко говоря, странным, конфликтным, несерьезным литератором и всё в таком роде. И вообще ни за что в журнале толком не отвечавшим. Однако же именно ему доверяли прием дебютантов: и так сойдет. Всё решал, как бы ничего не решая, главред «Кодр» Константин Шишкан, в полном смысле слова и без кавычек образцовый советский редактор, обладавший всеми нужными для этого качествами. Человек тихий, аккуратный, корректный, с неизменно вспархивающей и столь же быстро исчезающей любезной улыбкой на тонких губах, архиосторожный и этим вошедший в анналы.

А боялись образцовые редактора проникновения чего бы то ни было — натиска новых имен, скрытого подвоха, непонятно, зачем и почему свалившихся с небес стихов, если они были неизвестного автора.

Главным был отнюдь не уровень стихов. Планка претензий к качеству произведений, если раскрыть молдавские литжурналы той поры, была, по сути, не слишком высока — лишь бы добротнo-привычно, грамотнo и гладко всё было изложено и, что очень существенно, имело четкие, слышимые и тугому уху, аналоги. Всё решал «правильный взгляд на вещи», на свое место в общем строю, где не принято высовываться, а также имел значение апробированный набор неизбывных поэтических тем и штампов, освоенных предшественниками, не вызывающих ни у редакторов, ни у цензоров даже смутного желания потянуться за карандашом, чтобы поставить на полях вечный знак вопроса, «птичку» или, не дай бог, красный восклицательный знак.

Но если ты поплыл против течения — берегись!

Говорил мне один в пиджаке цвета пыли,

Назидательно щурясь в худое досье

под мигающей лампочкой в Нижнем Тагиле:

«Почему же ты, сволочь, не хочешь, как все?»

К. Капович

Атмосфера двойных, тройных стандартов была не просто удушающей, она была фарисейской. Ложь распространялась неукротимо, как зеленая плесень, и в ней кормилось немало литературных бактерий. Регламентировано в печати, по сути, было всё. Реестра под стеклом не было, но он был выжжен, как печать, на лбу редакторов, а безошибочный нюх самосохранения вел цензора, как спаниеля на охоте за уткой.

В годы застойные, болотные, где кресла доставались не за здорово живешь, посты выслуживались раболепием или «тихим ходом» («сiju и починяю свой при-

мус», «ем яблоко и смотрю в окно»), редактора, цензоры, большие и малые начальники в «союзписах» сидели в кабинетах пяти- и даже десятилетиями. А чтобы кресло не шаталось, приходилось зорко блюсти статус-кво с крепкой верой в чиновничье право.

Не было никаких причин рисковать и высовываться с новыми авторами, чье творчество отклонялось от курса и чья репутация могла быть кем-то или чем-то поставлена под сомнение: биографией, еврейской фамилией, негативными слухами, молдавским ЦК комсомола или самой КПМ, или тем более КГБ, или так называемыми старшими товарищами по литературному цеху — членами Союза писателей. И даже просто приятелями самих редакторов, имевших свой литературный интерес. Ведь в духе совершенной фантазмагии к «престижному» стихотворному слову тогда питали слабость не только графоманы, зубные врачи, уважаемые соседи по лестничной клетке, но и завскадами, имевшие за плечами опыт военных лет, инструкторы ЦК и другие нужные и важные люди. А объем газет и журналов был не резиновый.

Короче говоря, начинающий поэт был совершенно бесправен и беспомощен, поскольку печатное слово курировалось не одной парой зорких глаз и сотней интересов, а все книжные издательства и типографии представляли собой весьма замкнутую зону. Возможностей было мало, если молодой поэт не учился правилам игры, не имел папу-литератора, или, по счастливой случайности, кто-то из влиятельных знакомых не начинал его продвигать и протезировать (об этом пойдет речь чуть ниже). А вот так взять и заявиться безмянным, ниоткуда, что называется, с улицы и сразу быть принятым в каком-то толстом журнале или Союзе писателей даже по прочтению талантливых стихов — жадно и с распростертыми объятиями — было совершенно невозможно. Да и, раз уткнувшись в стену, никто так с бухты барахты и не пробовал.

Мешала и регламентация, и строгая иерархия предполагаемого развития событий, которым следовало двигаться «степенно и постепенно». Новичку полагалось «вползти» в литературу через рекомендации, личные знакомства, барьеры и бесконечные ожидания. Поручавшийся за новый молодой талант авторитетный имярек автоматически брал на себя ответственность за идеологическую составляющую произведений и даже мысли литературного новобранца. Понятно, что это соображение расхолаживало не одного патрона от литературы, если он чувал, что в стихах (или прозе) «новобранца» творится что-то «е то, не по правилам. Само номенклатурное время застоя с его закупоркой вен и отложениями жи на всех стенках артерий не нуждалось в бурном, да и просто новом литературном кровотоке, иных темах, а главное — не нуждалось в какой-то иной правде или новом взгляде.

Иначе говоря, любому поэту, писателю, решившемуся стать профессионалом, для начала неплохо было бы запастись (кроме стальных нервов и долгого дыхания) возможностями для терпеливого роста под наблюдением мэтра, его покровительством, густой тенью и проталкиванием. И запасливо откладывать для начала подъема в «голубые горы» с трудом выбитые там и сям публикации. А также известись псевдонимом, если своя фамилия подкачала вместе с неправильной национальностью. Неплохо было бы где нужно сослаться и на приличное место работы. На заключительном этапе штурма «союзписа» не помешала бы уже пара рекомендаций от мэтров, звонок литначальнику от нужного человека, предваряющий личный визит. А уж потом новый писатель мог — теоретически! — несколько расслабиться и прихватить свою рукопись, которая, после столь успешного унавоживания

почвы, могла уже оказаться пригодной для обсуждения и последующей рекомендации в издательство.

Однако и это был далеко не конец «вертикали». Новичка ожидала критика рукописи, а то и ее отклонение, а в случае успеха — замечания и придирки в издательстве, наконец, отлуп московских критиков, которым из кишиневского издательства рукопись отправлялась «на высочайшее одобрение», их птички и галочки на полях, итоговое заключение — «на доработку».

«Голубые горы» преодолевались годами.

По сути, мало менял положение вещей и тот факт, что благодаря директиве ЦК комсомола в кишиневских молодежных изданиях или, допустим, во Дворце молодежи дозволялось иметь нечто вроде инкубатора творческой молодежи — литобъединение, секцию и т. д. Такие места находились под гласным и негласным наблюдением и контролем, в первую очередь официальных кураторов, потом уже засланных казачков-доносчиков, штатных сотрудников КГБ, и само участие в этих секциях отнюдь не гарантировало ни выхода сборников, ни увесистых подборок в журналах.

Вот так, в зарослях кастовости, телефонного права да еще кумовства, столь традиционного для Молдавии, чиновничье-партийных предубеждений, беликовщины («как бы чего не вышло») и приходилось выживать молодому кругу кишиневских поэтов со своим талантом и амбициями.

Потеряв надежду и терпение, некоторые кишиневские поэты той генерации, кого старались держать подальше от молдавских литературных журналов и тем более сборников, брали подмышку стихи и ехали в первопрестольную — доказывать свою гениальность:

*Ведь мы поэты были, я и ты,
И все в Москву везли свой божий дар.
А довозили смятые листки
И в жирных пятнах бедные слова.
Теперь, поди, не вспомнить ни строки,
Но как в тот год кружилась голова.*

К. Капович

Но и там случался от ворот поворот: в редакторских креслах сидели те же чиновники, правили те же неписанные законы.

*А в городе, где вымерли поэты,
Светало поздно, спали до утра.
В зенит входило медленное лето,
И гасли поздно злые вечера.
Старик из дома утром не выходит,
Любимый не целуется со мной,
И солнце в мёртвом городе заходит
То рано, а то поздно в день любой.
Ни пьяных, ни прохожих, ни влюблённых,
Ни воинов, ни трусов, ни купцов
Не встретишь в переулках обречённых
И позабывших назначенье слов.*

И. Нестеровская

Прошли годы, перестройка смела старый сор, закрутила кругами, нанесла новый. В этой круговерти, как уже говорилось, благодать дозированной славы на чьи-то головы всё же пролилась. Однако по-прежнему язык не повернется сказать, что творчество поэтов-семидесятников кишиневского круга триумфально дошло «до широкого круга читателей». Тем более есть лишний повод рассказать об этом поколении и по мере возможности познакомить с его исканиями и творчеством.

На фоне «бровеносца в потёмках»

На фоне фарсовых времен дряхлых вождей, затянувшегося Брежнева — «бровеносца в потёмках», защитный механизм молодости сколько мог, столько срабатывал. Поэты, не в силах кардинально что-то изменить по вертикали, деятельно двигались по горизонтالي, не избегая, помимо прочего, приводов в милицию в духе того времени, сдачи горы бутылок, вероятности сесть за решетку за тунеядство, распечаток духовной и другой литературы с «политическим оттенком». Как глоток свежего воздуха, они беспрестанно искали интересных знакомств, будь это авангардный кишиневский художник Юра Хоровский, московский поэт Алексей Цветков, легендарный друг Бродского поэт Евгений Рейн или ставший кишиневцем бывший дальневосточник поэт Ян Вассерман, состоявший не только в известной полемической переписке с Куняевым, но и в дружбе с самим Виктором Некрасовым.

По возрасту вроде бы выпадавший из общего списка, личность чрезвычайно яркая, щедрая, принципиальная и смелая, Ян Вассерман сразу нашел общий язык с молодыми поэтами, органично вошел в их круг, держась в стороне от литературного истеблишмента. Ян был как бы навек просмолен ветрами; похожий на капитана траулера, веселый, добрый человек, работавший санитаром на скорой помощи. Он потряс кишиневских знакомых абсолютно здоровым, без чинопочитаний и заигрываний, отношением к власти и, между делом, в духе Игоря Губермана едкими эпиграммами на забронзовевших местных литераторов, редакторов, инструкторов ЦК КПМ, в общем, сильных мира сего.

В тяге молодых поэтов к старшему поколению не было ничего удивительного: хотя местные литературные корифеи не особо баловали покровительством и далеко не всех, всякий начинающий художник, испытывая непреодолимую потребность в постоянном живом общении с другом-ментором, все равно его найдет. Не в кабинете литературного журнала, так по общей «группе крови на рукаве», не в литературной среде, так в диссидентской.

Случалось, что в беспрестанном брожении и поиске самих себя кишиневские поэты примыкали к московским, питерским и, конечно, кишиневским диссидентам, таким как Слава Айдов, отсидевший срок за самиздат в лагере в Мордовии, вместе, шутка сказать, с Синявским). Во Владимирской тюрьме его сокамерником долгое время был Алик Гинзбург. Вячеслава Айдова арестовали в 1966 г. в Кишиневе «за попытку организовать типографию, чтобы печатать антисоветские материалы». В 1971-м его освободили. К Айдову в середине 70-х гг. был близок поэт Александр Фрадис, серьезно полюбившийся за любовь к самиздату и за попытку опубликовать свои стихи за границей.

Вспоминая те времена и отвечая на вопрос, почему он был вынужден эмигрировать, поэт как-то рассказал, что через одного петербургского друга, связан-

ного с диссидентами, он стал передавать свои стихи на Запад. В конце 70-х его начали печатать в эмигрантских журналах, газетах: «Русской мысли», «Континенте», «Третьей волне», «Русском слове»... Это, естественно, не прошло незамеченным. У него начались неприятности с КГБ. К тому же в то время один из друзей Фрадиса написал книгу об индоктринации школьников через военно-патриотические игры «Зарница», «Орленок», то есть о зомбировании советских ребят. Автор попросил Фрадиса набрать рукопись и помочь в ее распространении. Фрадис тогда поехал по делам в Ленинград. Его арестовали, вернули в Кишинев и отправили в Костюженскую психбольницу. «Когда я оттуда вышел, — рассказывает поэт, — мне позвонили, вызвали на «собеседование» и намекнули, что мне лучше покинуть пределы Советского Союза. Поскольку на статью и политический срок мои действия не тянули, а терпеть меня сотрудникам КГБ не хотелось, они посулили мне вечное лечение в дурдоме. Я решил эмигрировать в США».

На сетчатке глаз этого поколения навек отпечатались дрожащие серые буквы самиздата, созданного на печатной машинке «Эрика». Полувыцветшие, пропущенные через копирку и благодаря такой полусекретности умножившие свое значение, они воспринимались как манифест, библия, последнее слово правды. Ты всегда начинал что-то искать между строк, пытаешься понять: почему это плохо, почему это — нельзя? И не было ответа...

Несмотря на изрядную долю бытового легкомыслия, эпатажный или беспорядочный стиль жизни, которыми так часто славятся поэты, кишиневская генерация обладала, к счастью, здоровым литературным чутьем. Их глубоко волновала «участь речи», своей и чужой, они всерьез работали со словом, много и напряженно читали, профессионально следя за новыми открытиями в стихосложении тоже.

Позывными и своеобразной пробой «свой/не свой» в этой среде служили знаковые имена и произведения: при встрече чуть ли не третьим словом звучало: «Читал? Не читал?»

Даже какая-нибудь новая метафора типа «стынет стакан синевы без стакана» уже служила паролем, что уж говорить о «Мастере и Маргарите» Булгакова. Слушали Галича, Высоцкого. Читали Пруста и Джойса, новые публикации Цветаевой. По рукам ходили Бродский (для кого-то абсолютный кумир), потом Цветков (с подачи Александра Фрадиса), Венчик Ерофеев и другие, а также эзотерический самиздат (Д. Андреев, Б. Сахаров, В. Данченко) — уже с подачи диссидента Славы Айдова. Прогресс «разложения» поколения было не остановить. Он двигался своим порядком. И в провинциальном Кишиневе на закрытых просмотрах в Доме кино, где в первых рядах по традиции сидели жены шишек, их парикмахерши и косметологи, крутили альтернативные шедевры западной классики: фильмы Бергмана, Рене Клера, Висконти, Вуди Аллена... Впервые западная культура поворачивалась какой-то интригующей, многослойной и многосложной стороной. Но что со всем этим было делать? Куда нести свой багаж?

Экзистенциальная кончина

Так уж вышло, что семидесятники напрасно росли как интеллигенция и готовили себя к жизни как интеллигенты. Они и представить не могли, что пережив вместе с шестидесятниками в 90-х годах во всех столицах разрушенной империи небывалый взлет вербального волнения, роль интеллигенции как таковая закон-

чится. Так, как ее слушали раньше, больше уже никто слушать не будет. Она навсегда перестала интересовать народ на всем пространстве СНГ.

Как и литература в целом.

Перехода же в специфическую нишу существования, превращения, на западный манер, в постиндустриального интеллектуала, ни поколение 70-х, ни те, кто пришел за ними следом, в СНГ не дождались и дожидаться не могли. Этой ниши здесь и через 20 лет после перестройки нет, и теперь ясно, что она нескоро появится.

Эмигрировали многие из поэтов кишиневского круга, чувствуя кто тупик, кто — наступающие смутные темные времена. Уехали Фрадис, Капович, Сундеев, Голков, Топоровский, Фельдшер и другие.

Тем, кто остался в расплывшейся по швам республике (Александра Юнко, Валентин Ткачѳв и др.), выпала судьба пережить крушение империи со всеми вытекающими, далеко не романтическими реалиями роковых, сумасшедших 90-х гг., стерших, как ластиком, и само значение, и вес литературы.

За часом волка пришел час собаки, в буквальном смысле тоже.

Цветущий Кишинев, который вошел в их поэзию вечной тоской по утраченной юности, осанной и проклятием, где оргастически кричали по утрам горлицы, фонтаны били голубые и розы красные цвели, вдруг совершенно по-гофманиански наполнился тенями и призраками, дымом, голодными стаями бездомных псов, кружившими в самом центре столбцы среди бумажных обрывков и полиэтиленовых пакетов.

Ветер поднимал и носил сухой мусор. И псы поднимали худые морды к пустому небу и бесполезно выли... В те годы, времена распада, лжи, темных улиц, нищеты, разброда, бесправия, бандитизма, уже не было смысла печататься — даже за собственные деньги, если они, конечно, в ту пору были. Тьма накрыла литературу. И выходит, правы были те, кто, уже ни на что не надеясь, схлынули к другим берегам. Но и это был еще не конец времен и не завершение долгого процесса: затем наступила, по выражению американского писателя Филиппа Рота, «мертвящая терпимость» — время «окультуривания ангикультурного», «социализации антисоциального».

Бывший кишиневец Виктор Панѳв, в 70-х начинавший как поэт, ныне живущий в Израиле, в романе «Нарукавники для журавлей» (разве не проникло в это название подсознание?) пишет о своеобразном постсоветском фиаско для своего круга ровесников: «...капитализм, пришедший неожиданно на смену социализму, лишил многих людей... потенциала. Когда разрешено сто километров и не нарушаешь, то есть потенциал. Есть что увеличивать. А когда свобода, скорость не ограничена, выжимаешь до предела и всё. Дальше не получается. А слева обгоняют. И начинаешь дребезжать. Был ты неофициальным, скажем, поэтом, а теперь каждый издаѳт, что хочет. Пиши хоть оды, панегирики, гимны, марши — не станешь официальным поэтом. И неофициальным перестал быть. Слева обгоняют, но вряд ли это поэты. Может, поэзия вообще кончается на таких скоростях? Раньше официальный поэт мог обогнать любого, даже без мотора, на своих двоих. Советская власть была внимательней нынешней. Ты был либо неофициальным, либо официальным. Но был Поэт!»

Только и это пройдет, и тогда рано или поздно однажды встанет вопрос: а можно ли было — неважно, во время застоя или после, — этому поколению сделать над собой титаническое усилие и воссиять в блеске своего дара, презрев экзистенциальную кончину? Позывные этого вопроса уже раздались.

Характеризуя парадоксы поколения, тонкий критик и поэт Олег Юрьев, говоря о творчестве кишиневца Евгения Хорвата, обратил внимание на еще одну су-

щественную особенность этого поэтического поколения: оно или не знало, или сомневалось, каких жертв требует от поэтов дар: «Но Мандельштам знал, чего требует от него дар. В культуре, из которой Мандельштам вышел (какую бы вы культуру таковой не считали), это определялось как одно из краеугольных понятий.

Хорват — советский полукровка, как и все мы — ничего такого не ведал. Да и время было не такое, чтобы понимать, что значит “подчинение дару”, — время детей, проснувшихся в темной комнате и не понимающих, а где же взрослые».

Да, может быть, это самый тяжкий и глубокий упрек в адрес генерации, который доводилось услышать. Служить дару и только ему. Пусть на гвоздях спать, как Рахметов, но служить. Исступленно и безостановочно. Закрыв на всё глаза. Только почему дети, «проснувшиеся в темноте», оказались одни и не понимали, где же взрослые? И где же были в это время «взрослые»? Чем занимались? Какой пример подавали «детям»?

Хороший вопрос.

Чендж как зеркало литературы

Во время сплошного отоваривания и времен нэпа поэзию начала разедавать пошлость. Факт этот признавали современники. 70–80-е гг. прошлого века никакой общественной романтикой и подъемом духа, понятное дело, также не отличались. А вот пошлости вокруг отоваривания хватало. В государстве сплошного дефицита «святая литература» была не только местом чиновничьего произвола, но и таким же меновым понятием — единцей «ченджа», как сигареты на зоне, дефицитная копченая колбаса из-под прилавка или заграничные шмотки. И речь не о дефицитных изданиях, хотя они тоже были своего рода валютой. «Ченджем» пользовались все. Различались только его размеры и суть.

Схема своеобразного обмена литературными услугами была проста и одновременно строго ритуальна. Как и многое другое в СССР, ведь чем империя крепче, тем она ритуальней. Например, продавец мясного отдела в магазине мог отложить вырезку своему корешу из рыбного. Тот в свою очередь оставлял ему дефицитного палтуса или красную рыбу, не говоря о баночке икры. А если ты был литчиновником, ты мог устроить свой «чендж» внутри Союза писателей (Молдавии, Москвы, далее везде) или с друзьями-писателями — не только на страницах журналов. Обмен шел по кругу по средствам массовой информации и за их пределами тоже. Почти со 100-процентной уверенностью можно было утверждать, что если стихи штатного поэта из журнала «Кодры» прозвучали на молдавском радио в передаче у Михаила Ф., отвечавшего за поэзо-передачи, то и стихи самого Михаила Ф. появятся в журнале «Кодры» буквально через месяц. Так оно и случилось. И ничего плохого! Все так в большой литературе жили. Круговорот воды в природе был ничто по сравнению с этой четкой и логичной, не лишеной здорового простодушия взаимной поддержкой.

Пуркуа па, как говорится, почему бы и нет — и в прозе тоже? Если рассказы главного редактора сценарной коллегии киностудии «Молдова-фильм» Галины Брескану возникали вдруг на страницах журнала «Кодры», то недоумевали только непосвященные, хотя прозаиком она не слыла и не собиралась становиться. А посвященные знали, что случайно только кошки родятся: заявка сценария на художественный фильм редактора журнала была как раз накануне успешно принята этой самой сценарной коллегией «Молдова-фильм». И было бы крайне нелогично со

стороны редактора журнала «Кодры» не поощрить по этому случаю творчество самой Галины Брескану. Пусть оно и не претендовало...

Замкнутая кастовая система творческих союзов СССР, в частности, Союза писателей Молдавии, недаром охранялась от случайного пришествия извне, как охранялись цеховские кабинеты, элитная зона и тем более номенклатурные, закрытые магазины-распределители. Царили четкие правила игры. Не случайно, «метОда жизни» лигературных конъюнктурщиков 70–80-х годов совпадала по почерку с «метОдой» партийно-цеховского начальства — и в мелочах, и в главном.

Так, и местные литераторы, и руководство Союза писателей раз за разом приглашали в цветущую Молдавию именитых гостей из Москвы (шишек из руководства Союза писателей СССР, «Литгазеты», журналов, издательств), поили их и кормили до отвала, поселяли в санатории, лучшие гостиницы — так называемые «охотничьи домики», возили по республике, открывали для них склады дефицита, знакомили с симпатичными девушками и на дорожку давали немало снеди и вина.

Потом московские гости «отрабатывали» поездку и гостеприимство в ответных приглашениях на даровые форумы, круглые столы, но в первую очередь — печатая статьи и книги гостеприимных молдавских друзей в Москве, во всесоюзных журналах.

В газетах «чендж» тоже встречался, но всё обстояло куда как скромнее! Однажды в начале 70-х гг., как рассказал журналист Илья Марьяш, он, работая в «Молодежке» и отвечая в газете за кино, получил приглашение от редактора лигжурнала «Кодры» К. Шишкана посетить просмотр уже второго художественного фильма, снятого по его сценарию («Никушор из племени ТВ», 1973 г.). Тогда это означало только одно: надо написать рецензию, желательно — в оптимистичных розовых тонах. Пытаясь помочь своему приятелю, поэту Науму Каплану, который время от времени публиковался в газете с разными заметками, наконец-то напечатать свои стихи в «Кодрах», Илья Марьяш придумал послать Наума на просмотр шишканской киноленты вместо себя. Естественно с той целью, чтобы потом рекомендовать редактору журнала, теоретически благодарному за публикацию, автора рецензии как талантливого поэта со всеми вытекающими отсюда просьбами. А чтобы Наума не терзали муки совести, Илья объяснил ему суть дела так:

— Врать особо не придется. Придешь. Посмотришь фильм. Перескажешь в заметке содержание увиденного. Сдержанно. Корректно. Это всё.

Рецензия вышла с должным уважительным описанием содержания картины. Дальше события развивались так.

Получив добро на визит, Наум, что называется, встрепенулся и, радостно обнадеженный, принес в журнал свои самые безобидные проходные стихи. Образовалась небольшая подборка на две странички журнала. Но редактор «Кодр», не объясняя причин, стал раз за разом откладывать публикацию. А когда затягивание процесса стало и вовсе неприличным, посоветовал Каплану... сменить свою фамилию и инициалы над подборкой. Чтобы вышло вот так: «Н. Каплаев. Стихи». Скромно, но со вкусом.

Поэт отказался стать Каплаевым. Что было возможным для статей, рецензий, подработок, оказалось невозможным во имя поэзии. И Наум Каплан уже больше не пытался штурмовать журнал. Вскоре он трагически погиб, оставшись без единой прижизненной публикации. В журнале «Кодры» его стихи появились уже во времена перестройки, десять лет спустя после гибели, когда журнал уже дышал на ладан и никто его не читал.

Прошло еще время. И ровно через 30 лет после злополучного просмотра кинофильма Константин Шишкан даже включил Наума Каптана в «Биобиблиографический словарь-справочник» молдавских литераторов (2003 г.), наряду со многими, кто не был обласкан в годы застоя и не только по причине пресловутой «пятой графы» и «неправильной» фамилии. История ухмыльнулась... в который раз.

За кадром того времени оставались десятки таких литературно-журналистских историй — горьких, смешных, нелепых, жестоких, больших и мелких, но всегда реально подправляющих линию судьбы. Однажды в первой половине 70-х к журналисту и книгочею Михаилу Дрейзлеру, участнику всех литературных тусовок, другу и поклоннику творчества Александра Фрадиса, Наума Каптана и других, пришли на работу в многотиражку фабрики «Зориле» сотрудники КГБ и увели, чтобы посмотреть, какой самиздат сложен у него дома стопкой... Кто-то что-то донес. Тем более, Миша Дрейзлер не сдерживался. Кроме копий стихов кишиневских поэтов и другой популярной среди интеллигентной тусовки поэтической ерунды у него ничего не нашли. От Миши Дрейзлера отстали. Но на этом дело не кончилось. Хотя кагэбисты просто зашли в отдел кадров «Зориле» и спросили: «Где такой-то у вас работает?» — этого оказалось достаточно. Когда комсомолец Дрейзлер на следующий день как ни в чем не бывало живой и невредимый вновь появился в своей многотиражке, оказалось, что «на всякий случай» его уже из газеты уволили и, конечно, исключили из рядов ВЛКСМ. После чего публиковаться, чтобы заработать на кусок хлеба, даже под женскими псевдонимами ему стало весьма проблематично, если не невозможно. А история всё разрасталась. За факт «диссидентства» журналиста ухватились наверху. По наводке своих вездесущих помощников тогдашний секретарь компартии Молдавии по идеологии (впоследствии президент республики) Петр Кириллович Лучинский вставил этот эпизод в свой доклад на идеологическом активе пленума, где было сказано, что сотрудник одной из газет «вел антисоветскую пропаганду». После чего двери для одного из кишиневских поэтов закрылись еще плотнее, а он был вынужден долго «доказывать, что не индюк».

Кстати сказать, упоминавшегося здесь журналиста Илью Марьяша в 1972 г. уволили... из газеты «Молодежь Молдавии» в день его свадьбы (!) лишь из-за одной «идеологической ошибки», пропущенной во время его дежурства (хотя никто, включая машинисток, завотделом, редактора и полагающегося газете цензора, читая материал, ничего не заметил!) Буквально из-за одного слова в предложении. Газета вышла с такими словами: «По мере строительства коммунизма **антагонизм между социализмом и коммунизмом** возрастает». Вещая, конечно, была допущена ошибка, как оценка ситуации. Но понятно — вместо слова «социализм» должно было стоять слово «капитализм». Забавно, что статья была практически перепечаткой из газеты «Правда», где в то же время за ту же ошибку многих поувольняли, но в Кишиневе никто об этом не знал. Такое на дворе стояло время.

Маркер поколения и «большой стиль»

Есть и еще один небезынтересный исторический упрек в сторону потерянного поколения. У семидесятников, получивших такое клеймо, как замечают критики, никогда не было своей «визитной карточки». Тогда как, к примеру, визитной карточкой пятидесятников стали джаз и Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1957 г. А маркер шестидесятников — это авторская песня, Высоцкий и Окуджава, туманы и костры, физики и лирики. Поколение

80-х знаменито своим так называемым «русским роком». Но семидесятники не оставили такого маркера: их маркером стал большой стиль, который они якобы «создали для всей страны». Но нет, не они его создали — его предложили «литературные отцы», они навязали этот тотальный стиль. Это время, судьба, страна, строй принесли поколение на закание так называемому большому стилю — мажорному, бодрому, бравурному, наступательному и всеохватному. На таком фоне становится куда понятнее, почему, если кто-то из семидесятников пробовал войти в литературу со своими «некрасивыми» темами сомнения, скепсиса, уныния, не говоря уже протеста, не вписывавшимися в большой стиль, он тут же получал от ворот поворот.

Что значит «некрасивыми темами»? Не слишком эстетичными, гладкими и лиричными, наоборот, шероховатыми и царапающими, а порой опасными казались литературным бонзам всплывшие в поэзии семидесятников темы пережитых отцами репрессий, «совлагов», проблем антисемитизма, критики номенклатуры, советского мещанства, общественной духоты, не говоря об отвлеченной мистике. А главное, не нравилось протестное, глубоко неудовлетворенное жизнью настроение, питавшее их творчество, независимо от поднятых тем.

Зато крайне интересно, что сегодня не впервые речь критиков заходит о таком малоизученном «природном явлении», как существование рядом, вблизи, в общении — и одновременно в параллельных мирах — шестидесятников и семидесятников. И поскольку эта грань социалистической действительности далеко не местного происхождения и масштаба и представляет немалый интерес для оценки развития русской литературы в целом, стоит на ней остановиться.

Вкратце ситуацию можно охарактеризовать так: шестидесятники не могли запереться на ключ и избежать личных контактов с младшей поэтической сменой, равнявшейся печататься, и даже покровительствовали отдельным безобидным симпатизантам на правах отеческого благословения. Но те, от которых зависел пропуск в литературу, были слишком заняты своей бурной литературной и около того жизнью, своим полным и парадным самоосуществлением, чтобы потесниться у печатного станка и тем более рискнуть дать дорогу тем, кто плыл против течения.

Другой вопрос, а был ли у самих шестидесятников некий мощный культурный резерв или запасы творческого новаторства, чтобы всерьез озаботиться сменой литературных поколений, возжелать оставить наследников своей эстетической программы или даже целую школу? В этом теперь большие сомнения — и насчет резерва, и насчет школы, и насчет эстетических программ.

«Генерал» шестидесятников Евгений Евтушенко не без гордости заметил о своем поколении: «Илья Эренбург о нас хорошо сказал: это были люди разных характеров, с разной поэзией, но похожие на тех путников, которых поймали одни и те же разбойники и привязали к одному и тому же дереву».

Надо признать, пресловутые «разбойники» от власти весьма двусмысленно обошлись со своими пленниками: «привязав», а потом подарив им возможность ежечасно развязывать путы, отправляясь то в Дома творчества, то за границу, то за гоноаром, то на дачи, то в ЦДЛ, и даже на большие сцены и стадионы (!) — читать стихи и раздавать автографы на только что изданных сборниках.

Да и сама жизнь в журналах, издательствах настолько кипела ежедневными заботами, словно в забое, что казалось, так будет всегда. Перечислять эти заботы не хватит и страницы.

Литература своей массовостью напоминала государственное производство со всеми вытекающими последствиями.

Русский поэт Игорь Белов, характеризуя поколение 60-х, как он выразился, «евтушенков», как-то сказал: «Поэты в Советском Союзе выполняли функции рокеров — но при нормальном раскладе вряд ли кто-то из них переорал бы Планта или Гиллана. Я не помню, где это у Лимонова, кажется, в «Истории его слуги», герой, придя на поэтический вечер некой Стеллы Махмудовой (привет Ахмадулиной!) рассуждает о том, что шестидесятники играли в поэтов, разрываясь между пьянками в Центральном доме литераторов и поездками за границу, вот это очень точно... И эта поза гонимых романтиков, которую они так хорошо освоили — это неинтересно. Мне ближе младшие шестидесятники — «смогисты», Губанов... Эти чуваки все шестидесятые просидели в дурке, и славы им не досталось, увы, никакой, всё «схавали» евтушенки...»

Нельзя сказать, что молодая поросль изначально и поголовно презирала своих возрастных литературных отцов-шестидесятников и совсем не тяготела к ним — любопытством и душой. Да и кумирами, пока семидесятники не перерастали эту «детскую болезнь левизны», были не только столичные небожители старшего поколения — Высоцкий или Галич, но и Окуджава, конечно, и даже Евтушенко, Вознесенский. А кто-то читал не ангажированных Ахмадулину, Кушнера, Юнну Мориц... Но идолами и учителями, образцами творчества, школой они стать не могли. (Более поздний Бродский тут, конечно, не в счет.) Наоборот, творчество литературных «отцов» и «матерей» скорее, заставило идущее следом поколение обратиться к куда более ранним образцам.

Семидесятники рано прошли через Мандельштама, неопубликованные произведения Цветаевой. Кому-то ближе оказались Батюшков, Боратынский, Державин — словно что-то толкало то поколение докопаться до иных, более давних и изначальных корней русской поэзии и обрести самобытный голос. Они полезли в начало XX века, в Серебряный век, благо «разверзлись хляби небесные», и на то поколение впервые в столь большом объеме хлынула забытая русская литература. Становилось модно читать таких «несчастных» русских поэтов, как Анненский, Ходасевич, Хлебников, Дон Аминадо, и даже упаднических Надсона, Северянина и других.

Суть такого тяготения, видимо, заключалась в том, что поколение «детей» инстинктивно захотело перепрыгнуть через авторитарность «отцов» и тотальность поэтического настоящего, чтобы дотянуться до «дедов» и «прадедов». Перекинуть, навести свой мост вглубь русской литературы, дотронуться до легендарного Серебряного века, до традиций русского авангарда, отрезанных сталинским «прижимом». Тяготение вспять, назад по поэтической нити как раз служило попыткой восстановить непрерывность литературного процесса. А что из этого вышло — другой разговор. Однако же и ценность самих попыток еще никто не отменял. Не забудем, что эти попытки происходили на фоне устоявшихся и спрессованных литературных процессов. Не зря некоторые критики теперь пришли к выводу, что «советская традиция» оказалась чуть ли не губительной для русской поэзии и даже в большей степени — для русской прозы. Почему? Эта правильная грамматика и синтаксис Большого стиля, ровное дыхание доставляли удовольствие редакторам, но не читателю, ищущему стремление к истине и желающему соперничать.

Подведем некоторые итоги. На дворе стояло время, по образному выражению одного литератора, когда каждый чиновник хотел стать писателем, а каждый писатель — чиновником. Власть застоя, удачно выстроив чиновничью вертикаль, введя негласную табель о рангах, не слишком заботилась о «смене вех» в управляемом, как казалось, литературном процессе и не собиралась особо поощрять, при-

вязывать к издательскому, так сказать, «чудо-дереву» вечно болтающихся без дела, фрондирующих новичков-семидесятников. И что вполне естественно — никаких особых реляций по поводу их литературного будущего сверху не спускала (если не считать вспохоли то там, то сям возникающих литстудий — то под покровительством бодрого комсомола, то в качестве галочки для «союзписов» и пр.). В происходившем была железная логика. Во-первых, власть одряхла и пребывала в ма-разме, а во-вторых, зачем ей было что-то менять в сложившемся устое? Хватило власти и предыдущих хрущевских «оттепелей» и заигрываний, хлопот с отдельными фрондерами, выселенцами и «посажеными», а также дотаций на тиражи и содержание не на шутку разросшегося литературного анклава. Сами там разберетесь, кто Пушкин, а кто Загоскин.

А с иглы такого наркотика, как монопольное владение правдой и словом, слезать никто не хотел. Возник интересный, чисто советский феномен. Право на писательский, поэтический труд и самореализацию контролировалось, с одной стороны, властями, с другой — железобетонными писательскими союзами, где костяк составляла номенклатура, пишущая и обслуживающая процесс создания текстов в журналах и издательствах. Серый бетон этот был крепок, подчас столь же непробиваем, как ЦК КПСС. Но в этом бетоне росла и не отцветала иллюзорная вечно свежая фиалка, смущавшая чистые души и незвительные умы. Имя ей было — вера. Вера в справедливость, в равенство, братство и счастье. Или, иначе говоря, в **абсолютное совершенство заявленной цели**.

Как отметил представитель поколения поздних шестидесятников, талантливый кишиневский кинорежиссер Борис Конунов, «несмотря на то, что идеологическая доктрина, заявленная властью, всегда оставалась утопической, ее основные постулаты, большей частью заимствованные из Библии, всегда были настолько привлекательны, великодушны и светлы, что изначально не вызывали никаких сомнений по той простой причине, что основывались на природной вере человека в торжество вселенского Добра. В определенные периоды официальная идеология практически напрямую заимствовала религиозные сюжеты и в соответствии с требованиями политической повестки дня трансформировала их в документы вроде «Морального кодекса строителя коммунизма». Система этических ценностей была в значительной степени построена на спекуляции чувствами религиозной природы. Однако вера в провозглашенные постулаты была вполне реальна. Опираясь на эту веру, человек отдавал всю свою жизнь осуществлению утопической модели. Идеал оставался иллюзорным, но усилия, направленные на его воплощение были предельно реальными и предполагали полное вовлечение всех духовных и физических сил. В свою очередь, **абсолютное совершенство заявленной цели** изначально подразумевало не только высокий нравственный уровень всех тех, кто стремился к ней, но и парадоксальным образом содействовала выработке весьма требовательных художественных критериев, что, в конечном счете, послужило позитивному развитию культуры и искусства. <...> Не следует забывать и то, что тоталитарный строй при всех его недостатках всегда числил культуру среди своих первых приоритетов и прекрасно создавал ее определяющую роль в общих успехах страны. <...> В силу органических противоречий тоталитарного режима, список кумиров, одобренный официальной идеологией, вбирал в себя и подлинно масштабные личности, и тех, кого на вершину славы вынесла лишь политическая конъюнктура».

Осталось добавить, что большинство творческих шестидесятников, да и в целом «королевская рать» литераторов той поры, заканчивая младшей сменой, не

будучи откровенными конъюнктурщиками, сохраняли в себе какие-то детские черты искренней веры в существующий порядок вещей, в справедливость и неизблемость устоев. Эта детская и святая вера — пусть в ней было много наивности, довольства и незнания — изрядно усложняет картину тех дней, чтобы написать ее лишь двумя красками, черной и белой.

На заре перестройки, когда земля у номенклатуры задрожала под ногами, начались обвинения и обратный отсчет времени, председатель молдавского Союза писателей, верный ленинец Павел Боцу неожиданно для всех покончил с собой — застрелился из ружья. Как к этому относиться? Что это? Не выдержали нервы? Крушение идеалов? Значит, они у кого-то были, и надо думать, вполне искренние. С этим, выходит, тоже ничего не поделаешь.

Да уж, противоречивое и провоцирующее было время, о котором говорится в песне Градского, тоже семидесятника:

*Да, мы не ждали зов трубы,
Мы были клапаны и трубы,
И в нас не чьи-то дули губы,
А ветры духа и судьбы,
Да, мы не ждали зов трубы.*

*Да, мы не ждали перемен,
И вам их тоже не дожидаться,
Но надо, братцы, удержаться
От пустословия арен
И просто самовыражаться,
Не ожидая перемен.*

«Самовыразиться» успели далеко не все. Семидесятники и в своей одинокой отстраненной поэзии, стоящей на обочине литературного процесса, будто предчувствовали свою судьбу: вместо «оттепели» и перестройки, так удачно взбодривших часть шестидесятников в начале и на излете их литературного пути, они увидели иное поднятие и закрытие занавеса. Вначале застой, а потом не торжественное и пышное, как римский закат (в чем любой поэт прошлых веков узрел бы какой-то величественный поэтический и эстетический повод для творчества), но скомканное, бесславное, позорно быстрое, слишком бытовое, суетливое и двусмысленное, мало кем понятое в тайных механизмах управления, и оттого — вконец пошлое падение большой империи.

*Ибо гений не я, а во мне,
И порой не во мне, а в другом,
То и не я огляделся вокруг перед тем, как начать, чтобы кончить.
Опророченный год начался.
Апокалипсис Орвеллом оттолковали, Амальриком в тени его крашеной.
Убыстреньем природного срока распада ядра.
Вот и мой
Дух становится телом, ракеты боится:
Опрокинутый ангел она, и крылата, что он, из Гранографа у протопопа.
...расписаться дают, что я знаю, куда мне бежать.
Я не знаю — остаться....
Е. Хорват, «Этого года»*

Казалось, их время таки не наступит, им нечего выбирать «меж часом волка и собаки». Но те, кто выжил и смог перешагнуть через горящие рубежи времен, окопы прострации, идеологические и географические границы, все-таки успели выразить в своей поэзии настроение и судьбу, мировоззрение и духовный опыт целого поколения.

И уже этим они принадлежат истории.



Николай Овсянников

ПРОРОЧЕСТВО ВОЛОШИНА

Довольно бурная и противоречивая реакция на опубликованные в 2014-15 гг. в журнале «Семь искусств» статьи «Волошин и Фетисов» и «Медленный яд евразийства», важный, но далеко не единственный персонаж которых — поэт Максимилиан Волошин, вынуждает автора возвратиться к некоторым из затронутых тем и еще раз обозначить свою позицию.

Как известно, возвратившись весной 1916 г. в воюющую Россию после более чем полуторагодового пребывания в Швейцарии и Франции, Волошин посетил Петроград, пообщался с коллегами по «Аполлону» и, захватив на несколько дней в Москву, уехал в Крым. Начавшаяся в феврале 1917-го Смута застала его в Москве, переживавшей, по его выражению, «революционную идиллию». Побывав на параде «в честь торжества Революции» на Красной площади, никаких радостных чувств и надежд он не испытал и позднее в статье «Революция, проверенная поэзией» (1919) вспоминал «заунывное пение», «красные лоскуты знамен и кокард, точно пятна крови, проступившей из-под исторических камней», «глухой шорох надвигающейся толпы» и т. п. мрачные картины. Революцию он осознает «роковой и кровавой». Эти настроения нашли отражение в стихотворении «Москва» (март 1918):

В Москве на Красной площади
Толпа черным черна.
Гудит от тяжкой поступи
Кремлевская стена.

На рву у места Лобного,
У церкви Покрова,
Возносят неподобные,
Не русские слова <...>

На какое-то время Волошин, по собственному признанию, даже теряет дар речи, который возвращается к нему «только после Октября». В негативном отношении к произошедшей буржуазной революции с годами он лишь укреплялся. В стихотворении «Государство» (1922), где, согласно собственноручному пояснению, он изобразил «империалистическое государство», утверждает, что в нем во время революций на смену правящему классу к власти приходит класс «уголовный». А «достижения» и «гений революций» — это, по мнению поэта, «благонадежность, шпионаж, цензура, проскрипции, доносы и террор».

И вот, в октябре 1917-го, это «империалистическое государство», руководимое бывшими уголовниками, оказывается сметено большевизским переворотом и спровоцированным им всероссийским бунгом. В начале января 1918-го «красное колесо» докатывается до Крыма. Там стремительно устанавливается большевизский режим. 15 января Волошин пишет стихотворение «Из бездны» где обнаруживаются уже совсем иные настроения:

...Времен исполнилась мера.

Отчего же такая вера

Переполняет меня?

Для разума нет исхода,

Но дух ему вопреки

И в бездне чует ростки

Неведомого исхода.

<...>

Из бездны — со дна паденья

Благославляю* (не от «славы» ли — сей авторский неологизм? — Н.О.)
цветенья

Твое — всестрастной свет!

Через несколько дней в письме Ю.Ф. Львовой он признается: «Несмотря на все угрожающие беды (неужели начавшийся в Крыму большевицкий беспредел — еще не беда? — Н.О.), у меня почему-то настроение радостное и почти ликующее».

Ликовали, однако, не все. Оказавшийся в те же дни в Крыму будущий белый генерал П.Н. Врангель (он проживал на ялтинской даче жены), вспоминал, как вечером 8 января «прибыло в город судно и высадившиеся матросы, руководимые членами местного совета, приступили к повальным обыскам». Вскоре Врангеля арестовали, однако, уступив хлопотам жены, пообещали освободить. Накануне вечером он и другие арестованные услышали под окнами выстрелы — «три беспорядочных залпа, затем несколько отдельных выстрелов <...> “Это расстреливают”, сказал кто-то. Некоторые крестились. Это действительно были расстрелы. Уже впоследствии я узнал это, со слов очевидца, старого смотрителя маяка, — на его глазах за три дня было расстреляно более ста человек. Трупы их, с привязанным к ногам грузом, бросались тут же у мола в воду». Прошло несколько дней. «Более тысячи человек, — вспоминает Врангель, — главным образом, офицеров, были расстреляны в разных городах. Особые кровавые дни пережил Симферополь. Здесь было расстреляно огромное число офицеров, в том числе почти все чины крымского штаба во главе со зверски замученным полковником Макухой. <...> Спеша воспользоваться плодами победы (над противостоявшими им “крымцами” — Н.О.) советы почти ежедневно производили повальные обыски, отбирая драгоценности, белье, верхнее платье. Объявлена была денежная контрибуция, разложенная на наиболее состоятельных лиц». От повторного ареста в апреле месяце Врангеля спасли вошедшие в Крым немцы. «Я испытывал странное, какое-то смешанное чувство. Радость освобождения от унижительной власти хама и большое чувство обиды национальной гордости», — пишет мемуарист. А вот, для сравнения, его впечатления от установленного оккупантами режима: «Надо отдать справедливость немцам, они вели себя чрезвычайно корректно, стараясь, видимо, сделать присутствие свое для обывателя наименее ощутимым. С их приходом были отменены все стеснительные ограничения, введенные большевиками — карточная система, закрытие текущих счетов и проч. <...> Немецкая комендатура оказывала всяческое содействие к восстановлению в правах тех владельцев имущества или квартир, кои были захвачены большевиками».

* Так у автора – (Ред.)

Возвращение элементарного порядка и привычного буржуазного быта отчего-то не радует Волошина. В стихотворениях «Ангел времен» и «Родина», написанных в мае 1918, после бегства большевиков, появляются едва ли не апокалипсические настроения. «России нет — она себя сожгла...», — объявляет он. Радость и ликование уступают место призывам к смирению и видению некоего спасительного для его родины смысла в «непротивлении раба». Тогда же он начинает противопоставлять славянский (фактически русский) мир латинству, якобы исконно враждебному по отношению к славянству. При этом отчего-то забывает о многовековом пребывании в одной с латинянами религиозной конфессии таких славянских народов, как поляки, чехи, словаки, хорваты и словенцы. Складывается впечатление, что слово-идеологема «Славянство» понадобилось ему лишь для хитроумных лингвистических манипуляций, призванных обосновать идею конечного мирового торжества неких неведомых славян, назначение которых идти «двойным путем»: рабства и славы. С этой целью латинское SCLAVUS (раб) он без каких бы то ни было оснований сближает с русским СЛАВА, из которого производит собственный неологизм «Славия». Она-то, Славия, и есть новое воплощение России, которая под этим именем «возвратится из пепла» («Ангел времен», 20.05.1918). В написанном десять дней спустя стихотворении «Родина», обращаясь к лежащей в крови, нагой, никем не защищенной родине, он, тем не менее, видит ее в состоянии просветленного знания о том, «Что правда Славии (т. е. *правда*, являющаяся на свет после чудесного возрождения родины. — Н.О.) — в смирении, в непротивлении раба». Волошин уверен, что в ее *последних путях* охранять от ошибок и соблазнов («не допустят с них сойти») будут небесные посланцы — «сторожевые Херувимы». Тут уж, как говорится, не поспоришь.

Вот такое пророчество.

Что в действительности произошло с родиной пророка, хорошо известно. Но вправе ли мы упрекать за слепоту или сомневаться в искренности поэта, утверждающего благость рабского непротивления для раздираемой гражданской войной страны? Притом что никаких признаков подобного выбора с первых дней Смуты он не наблюдал. В революционной Москве он замечает лишь мрачные толпы и кровь. В Крыму — малую гражданскую войну между «крымцами» и вторгшимися на полуостров большевиками, начало красного террора. В победу немцев он тоже не верит, пишет, что «...не окончена борьба». На Дону уже сформирована и ведет тяжелые бои Белая гвардия. Поднимается казачество. Украина отделилась и погружается в хаос. Где же он видит «субъект» непротивления? Кто будет осуществлять назначение раба, *благославляющего свои оковы*? Но может быть, поэт мыслит абстракциями и вместо всеобщего озверения наблюдает лишь вечную схватку между Добром и Злом?

Попробуем разобраться. Начнем со зла, оно почему-то всегда оказывается конкретнее. 9 декабря 1917, еще до прихода большевиков в Крым, он пишет А.М. Петровой: «Знаменательное имя “славяне”». Для Запада оно звучит как имя рабов (esclavi)¹. Раб и славянин по латыни — синонимы², а для Германии Россия — «славянский

¹ Такого слова в латинских языках нет. «Славяне» по латыни — *slavis*.

² Отнюдь не у латинян, а на землях Византии (у православных греков), славяне, скорее всего, получают греческий вариант своего названия *sklabos*. Позже он был заимствован европейскими языками в различных трансформациях. Именно в греческом, а не в латыни, от их племенного названия было образовано название раба (среднегреческое *sklabos*) Отсюда, очевидно, и происходит позднелатинское *sclavus*, немецкое *Sklave* и т. п., поскольку

навоз?»). Семью годами позже в стихотворении «Россия» он изображает родину в виде невинной жертвы, «в бреду и корчах» создавшей «вакцину от социальных революций». Виновником этих катаклизмов оказывается все тот же Запад. Дело в том, что *в течение пятидесяти лет острота наших созерцаний бедствий рабочих на Западе* была такова, что мы приняли *стигматы их распятий*. Так и хочется спросить: отчего острота созерцания бедствий чужих рабочих оказалась сильнее восприятия страданий *собственных* рабочих и крестьян, и что помешало принять стигматы *их* распятий? Но очевидно, тогда России не удалось бы выработать спасительную для Запада вакцину от социальных революций. Ведь теперь, с ее помощью, неблагодарный Запад «переживет их вновь, и не одну, но выживет, не расточив культуры». Впрочем, «триумф культуры, мысли и труда» на капиталистическом Западе все равно оказываются фикцией. Там «все ополчилось против человека» («Машина», 1922). Тамошнее осуществление «всех культурных грез» представляется Волошину в виде гудящих столбов, звенящих антенн, токов, стремящихся в пространствах звуки и слова, молний, разносящих «декреты и указы / полиции, правительства и бирж, — / но ни единой мысли человека / не проскользнет по чутким проводам». Торжествовать по этому поводу может лишь «нищий с оскопленной душою» и «с охолощенным мозгом» (Там же). Так откуда же еще, как не из бездуховного, презирающего славян Запада, пополз шепот *врага*: «развей да расточи», «отдай казну свою богатым, власть — холопам, силу — супостатам, смердам — честь, измненника — ключи?» Увы, «Святая Русь» не устояла: «поддалась лихому подговору», не пожелав больше «быть Царевой» («Святая Русь», 1917).

Так не там ли, на Западе, сосредоточилось мировое зло?

С добром у Волошина дело обстоит сложнее. Казалось бы, что мешает признать его источником Высшее Существо? Ведь тогда всякое противостояние злу, будь оно осуществлено любезным сердцу Славянством, можно объявить исполнением Божественной воли. Но Бог, по Волошину, не есть источник добра. Он — одновременно и мятеж против самого себя: «И все, что есть, началось через мятеж». (Мятеж. 1923). «Мятеж — безумие», — вполне предсказуемо разъясняет он это иррациональное заявление. И только «безумец», т. е. человек богоподобный, «в борьбе за правду невозможного» (ибо «законы природы неизменны») — «преусуществляет самого себя». Волошин не говорит об этом прямо, но тут-то, внутри мятежного безумца, борющегося за *правду невозможного*, и происходит, очевидно, рождение добра.

Подобное понимание генезиса добра находит косвенное подтверждение в его статье 1910 г. «Судьба Льва Толстого». Не соглашаясь с главной жизненной формулой Толстого «не противься злу, и зло не коснется тебя», ошибку великого моралиста он усматривает в одностороннем понимании слов: «не противься злему». «Если я перестаю противиться злему вне себя, — разъясняет Волошин, — то этим создаю только для себя безопасность от внешнего зла (правда, не совсем понятно, как, не противясь насильнику или клеветнику, можно обеспечить собственную безопасность; Льва Толстого охраняли от них его социальное и материальное положение, всемирная слава и законы Российской империи. — Н.О.), но вместе с тем и замыкаюсь в эгоистическом самосовершенствовании (это Толстой-то замыкался?! — Н.О.). Я лишую себя опыта земной жизни, возможности необходимых слабостей и падений, которые одни учат нас прощению, пониманию и принятию мира <...>. Не противясь злу, я как бы хирургиче-

славянские пленники в раннем средневековье нередко становились объектом византийской, германской и арабской работорговли. Но ни в одном из современных Волошину языков латинской группы «славяне» и «рабы» не являются синонимами. В португальском, к примеру, славянин — *esclavo*, раб — *escravo*.

ски отделяю зло от себя и этим нарушаю глубочайшую истину, разоблаченную Христом: что мы здесь на земле вовсе не для того, чтобы отвергнуть зло, а для того, чтобы преобразить, просветить, спасти зло. А спасти и освятить зло мы можем, только принявши его в себя и внутри себя, собою его освятим. Толстой не понял смысла зла на земле и не смог разрешить его тайны».

Любопытны эти обличения Толстого в непонимании учения Христа и незнании евангельских истин. Но хочется понять, где же это Волошин видел двуногих особей, способных, приняв в себя зло, нейтрализовать его собственной святостью? Христос говорил о высших целях, к которым ступившему на праведный путь человеку необходимо *стремиться*. Чтобы противостоять злу на практике, людям были даны заповеди не убий, не укради, не лжесвидетельствуй и т. д. Какие тут тайны? Но то, что Волошин предлагает спасти зло, принявши его в себя и освятить собою, как раз и открывает, на наш взгляд, одну важную тайну: источник добра, только и способного одолеть зло, находится внутри, а не вне человека. Бунтующий против себя самого Бог, он же Мятаж, отношения к нему не имеет. Добро возникает и, как мы теперь убедились, хранится внутри безумца, борющегося за правду невозможного.

Очевидно, отсюда перенос этой механики в социальную жизнь и историю. Славянство, не противясь злу Запада, принимает его в себя и, освятив, преобразует в добро. Так, допуская в декабре 1917 г. военную победу Германии (т. е. злого Запада), Волошин следующим образом представляет ее последствия: «Славянство, которое окажется *внутри* (курсив мой — Н.О.) Германской империи, я думаю, больше сделает для преобразования ее, чем то, которое будет отчаянно и безуспешно, вопреки своему историческому темпераменту, бороться с нею извне. <...> Можно было бы в течение двух-трех поколений (какова легкость мечтателя! — Н.О.) подточить и разрядить германский империализм изнутри, тем анархическим христианским зарядом, что заложен в славянстве». Вот и Россия, принимая едва ли не как спасителей большевиков и прочих *грешников и блудниц*, низвергаясь с ними *на дно преисподней*, затем преобразует их своей святостью, и на выходе мы получаем сияющую Славию.

История любит парадоксы. В реальности на выходе появилось нечто, и впрямь потребовавшее для своего обозначения неологизма, причем одинаково с волошинским начинающегося и оканчивающегося. И даже звонкое «в» сохранившего в серединке: Совдепия. Именно так (раньше всякого *совка*) называли это невиданное государственное образование оппозиционно настроенная советская интеллигенция и русская эмиграция. Кстати, охотно читавшие стихи Волошина. И тут как раз никакого парадокса нет. Привлекательность его поэзии для обеих групп объясняется, на наш взгляд, ее постоянной устремленностью за пределы **этого мира**. В их понимании «мирское равно мещанскому, мещанское же — само страшное ругательство в устах русского (советского) интеллигента. Погруженность в мир сама по себе греховна и профанна. «Духовность», стремление выпрыгнуть из мира — возвышенна и сакральна»³. Но, выпрыгнув из мира в выси «духовности», рано или поздно приходится приземляться. И тут обнаруживается, что вместо ликующей сияющей Славии находишься в мрачно ошестинившейся Совдепии.



³ И.Г. Яковенко. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2012, стр. 335.

Павел Нерлер

ПОСЛАНЦЫ С ТОГО СВЕТА: Солагерники Осипа Мандельштама

(Публикация первая)¹

Солагерники поэта

Различные источники донесли до нас имена более чем 40 человек, находившихся с Осипом Мандельштамом (далее О.М.) в одном лагере и так или иначе пересекавшихся с ним, по меньшей мере разговаривавших.

Вот их перечень в алфавитном порядке².

Алексеев — шофер советского посольства в Шанхае (Ю. Моисеенко);

Александров Гилель Самуилович, гебраист (Герчиков);

Архангельский — уголовник (Н.М.³, со ссылкой на К. Хитрова);

Атанасян Вазген — врач в лагерной больнице (И. Поступальский);

Баталин Владимир Алексеевич (М. Лесман);

Бейтов Семен — филателист из Иркутска (Ю. Моисеенко);

Буданцев Сергей Федорович — прозаик и поэт, член группы «Центрифуга» (Д. Злобинский);

Буравлев Матвей Андреевич (П. Нерлер);

Ваганов — молчун, в арестантском халате из серого сукна (Ю. Моисеенко);

Вельмер Владимир — священник, вместе с Ю. Моисеенко были и во Владивостоке, и в Мариинских лагерях (Ю. Моисеенко);

Гарбус Лев — артист-чечеточник, староста 11 барака (Д. Маторин);

Гриценко Николай Иванович — военнопленный Первой мировой (Ю. Моисеенко);

Дудиномов Михаил Яковлевич: «бывший альпинист» (В. Меркулов, М. Ботвинник);

Жаров из Коми — инженер-мелиоратор (Ю. Моисеенко);

Злобинский Давид Исаакович (А. Морозов);

Казарновский Юрий Алексеевич (Н.М.);

Кацнельсон — военнослужащий (Ю. Моисеенко);

Ковалев Иван Никитич — пожилой, крепкий человек, белорус-переселенец, жил в Благовещенске, куда его мальчиком привезли родители. Пчеловод, охотник на медведей, сибиряк: его почему-то комиссовали и не отправили на Колыму. Ковалев ухаживал за О.М.: приносил ему еду, доедал за ним (Ю. Моисеенко);

Крепс Евгений Михайлович (Н.М.; М. Лесман; П. Нерлер);

Кривицкий Роман Юльевич;

Кузнецов Николай Николаевич — из верхнеудинских политкаторжан (Ю. Моисеенко);

Маторин Д.М.;

Меркулов В.Л. (И. Эренбург; Н.М.; М. Лесман);

Мизик Ян Матвеевич — политэмигрант, отец двух дочерей (Ю. Моисеенко);

Милотин Иван Корнильевич — инженер;

Моисеенко Юрий Илларионович;

Моранц (Маранц) Моисей Ильич (Ю. Моисеенко);

Пекурник Николай — инженер завода № 22 (Ю. Моисеенко);

Переверзев Валерьян Федорович (Д. Злобинский);

Ручьев (Кривошеков) Борис Александрович — поэт из Магнитогорска;

Смородкин Михаил Павлович — художник (К. Хитров);

Стадниченко Николай — буденец-инвалид из 1-й Конной (Ю. Моисеенко);

Сапоненко — начальник отдела стандартизации (Ю. Моисеенко);

Соболев Виктор Леонидович (В.М., М. Ботвинник);

Тетюхин Дмитрий Федорович — заключенный (П. Нерлер);

Уваров — инженер (Ю. Моисеенко);

Фарпухия Исмаил — перс (Ю. Моисеенко);

Хазин Самуил Яковлевич (Н.М.);

Харламов — студент МГУ, 22-23 лет (Ю. Моисеенко);

Хинт (Н.М., со слов Ю. Казарновского и С. Хазина);

Хитров Евгений Константинович (Н.М.);

Цебриябов Евгений Иннокентьевич, инженер, староста 4-й палаты (И. Поступальский);

Цинберг Сергей Л. (Герчиков);

Чистяков Иван Васильевич, заведующий 4-й палатой в больнице (И. Поступальский);

Некоторые приехали сюда прежде Мандельштама: Дмитрий Маторин, Василий Меркулов, Евгений Крепс, Давид Злобинский. Гилель Александров, Борис Ручьев.

Другие — приехали сюда вместе с ним, в одном эшелоне. Но задокументированы контакты лишь с двумя из них — с Константином Хитровым и Романом Кривицким.

Иные приехали в лагерь позднее Мандельштама: Юрий Моисеенко, Юрий Казарновский, Сергей Цинберг.

Один — Хинт — возвращался с Колымы на переследствие.

Многие жили с ним в одном бараке: Иван Милотин, Казарновский, Моисеенко, Иван Ковалев, Владимир Лях, Степан Моисеев и Иван Белкин.

В других бараках, но в той же зоне «контриков» жили Хитров, Хазин, Злобинский, Меркулов, Крепс, Маторин⁴ и Цинберг.

Одних со временем увезли на Колыму — Милютина, Маторина, Крепса и Хигрова.

Других — Меркулова, Злобинского и Моисеенко — в Мариинские лагеря.

В Мариинские лагеря, наверняка попал бы и Мандельштам, останься он жив.

Но немало было таких, кто хоть и не был на пересылке одновременно с О.М., но кто жадно ловил и собирал любые слухи и сведения о нем, кто бы их ни привез. Из таких — Юлиан Оксман, Игорь Поступальский, Варлам Шаламов, Нина Савоева, Юрий Домбровский.

Второй свидетель: «брянский агроном М.», или Василий Меркулов (1952, около 1968, 1971)

Самым первым по времени свидетелем — и посланцем с того света — оказался поэт Юрий Алексеевич Казарновский, встреченный Н.М. в Ташкенте еще в 1943 году.

Вторым в этом ряду оказался ленинградский физиолог Василий Лаврентьевич Меркулов, или тот, кого Илья Эренбург аттестует в своих мемуарах «брянским агрономом М.»

Выполняя просьбу О.М., он пришел к Эренбургу еще в 1952 году, то есть еще при жизни Сталина. Комментируя этот визит, Н.Я., находившаяся тогда в Ульяновске, отмечает: «...Никто другой из советских писателей, исключая Шкловского, не принял бы в те годы такого посланца. А к писателям-париям сам посланец не решился бы зайти, чтобы вторично не угодить на тот свет»⁵.

Рассказанное Меркуловым Н.Я. уже знала со слов Казарновского. Существенных противоречий между ними не было: «Он считал, что О. М. умер в первый же год, до открытия навигации, то есть до мая или июня 39 года. М. довольно подробно передал разговор с врачом, на счастье, тоже ссыльным и понаслышке знавшим Мандельштама. Врач говорил, что спасти О. М. не удалось из-за невероятного истощения. Это подтверждается сообщением Казарновского о том, что О. М. боялся есть, хотя, конечно, лагерная пища была такая, что люди, отнюдь не боявшиеся есть, превращались в тени. В больнице О. М. пролежал всего несколько дней, а М. встретил врача сразу после смерти О. М.»⁶

Следующий фрагмент, сохранившийся в архиве Н.М., представляется не чем иным, как записью, сделанной ею после разговора с самим Меркуловым, состоявшегося, предположительно, не ранее 1968 года⁷:

«Транспорт (июнь?).

Пайка (?) — Легенда.

Виктор (Литература. Учитель танцев, библиотека).

Стрелка вправо одежда (правильно) [пальто на сахар]

Барак № 11.

Гарбус — эстражник (В сентябре письмо от меня)

[Кэта стрелка вправо с червями] (Немец-врач) [Вайсбург — особист протестует]

(Читал стихи о Сталине за сахар) [Перевод — Петрарки]

[Натур-филос. сонеты...]

(Пришел в барак: хотели задушить

Вышли из барака — Илья вам поможет)

3 поэта — Андрей Белый, Пастернак и я

Черный барак, Душная ночь, Жирные вши

В этот начальный период пребывания Мандельштама на «Второй речке» его физическое и душевное состояние было относительно благополучно. Периоды возбуждения сменялись периодами спокойствия. На работу его не посылали. Когда Мандельштам бывал в хорошем настроении, он читал нам сонеты Петрарки, сначала по-итальянски, потом — переводы Державина, Бальмонта, Брюсова и свои. Он не переводил «любовных» сонетов Петрарки. Его интересовали философские. Иногда он читал Бодлера, Верлена по-французски. Среди нас был еще один человек, превосходно знавший французскую литературу, — журналист Борис Николаевич Перелегин, который читал нам Ронсара и других. Он умер от кровавого поноса, попав на Колыму.

Читал Мандельштам также свой «Реквием на смерть А. Белого», который он, видимо, написал в ссылке. Он вообще часто возвращался в разговорах к А. Белому, которого считал гениальным. Блока не очень любил. В Брюсове ценил только переводчика. О Пастернаке сказал, что он интересный поэт, но «недоразвит». Эренбурга считал талантливым очеркистом и журналистом, но слабым поэтом.

Иногда Мандельштам приходил к нам в барак и клянул еду у Крепса. «Вы чемпион каши, — говорил он, — дайте мне немного каши!»⁷

С Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахара⁸. Мы собрали для Мандельштама то что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахару.

Период относительно спокойствия сменился у него депрессией. Он прибежал ко мне и умолял, чтобы я помог ему перебраться в другой барак, так как его якобы хотят уничтожить, сделав ему ночью укол с ядом. В сентябре — октябре эта уверенность еще усилилась. Он быстро съедал все, был страшно худ, возбужден, много ходил по зоне, постоянно был голоден и таял на глазах.

В связи с массовыми поносами и цингой в лагере были спешно сколочены большие фанерные бараки, даже не достроенные до земли. Они находились в зоне бытовиков. Я был направлен туда для наведения порядка среди бытовиков, но продолжал навещать Мандельштама, которому становилось все хуже и хуже. Я угорворил его написать письмо жене и сообщить, где он находится.

В начале октября Мандельштам очень страдал от холода: на нем были только парусиновые тапочки, брюки, майка и какая-то шапочка. В обмен на полпайки предлагал прочесть оба варианта своего стихотворения о Сталине (хотя до сих пор отрицал свое авторство и уверял, что все это «выдумки врагов»). Но никто не соглашался. Состояние Мандельштама все ухудшалось. Он начал распадаться психически, потерял всякую надежду на возможность продолжения жизни. При этом высокое мнение о себе сочеталось в нем с полным безразличием к своей судьбе.

Однажды Мандельштам пришел ко мне в барак и сказал: «Вы должны мне помочь!» — «Чем?» — «Пойдемте!»

Мы подошли к «китайской» зоне (китайцев к этому времени уже вывезли — хасанские события увеличили этап). Мандельштам снял с себя все, остался голым и сказал: «Выколотите мое белье отвшей!». Я выколотил. Он сказал: «Когда-нибудь напишут: «Кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после А. Белого поэта». Я ответил ему: «У вас просто паранойя».

Однажды ночью Мандельштам прибежал ко мне в барак и разбудил криком: «Мне сейчас сделали укол, отравили!». Он бился в истерике, плакал. Вокруг начали просыпаться, кричать. Мы вышли на улицу. Мандельштам успокоился и

пошел в свой барак. Я обратился к врачу. К этому времени было сооружено из брезента еще два барака, куда отправляли «поносников» умирать. Командовал бараками земский врач Кузнецов (он работал когда-то в Курской губернии). Я обратился к нему. Он осмотрел Мандельштама и сказал мне: «Жить вашему приятелю недолго. Он истощен, нервен, сердце изношено, и вообще он не жилец». Я попросил Кузнецова положить Мандельштама в один из его барачков. В этих бараках был уход, там лучше кормили, топили в бочках из-под мазута. Он ответил, что у него и так полно и что люди мрут как мухи.

В конце октября 1938 г. Кузнецов взял Мандельштама в брезентовый барак. Когда мы прощались, он взял с меня слово, что я напишу И. Эренбургу: «Вы человек сильный. Вы выживете. Разыщите Илюшу Эренбурга! Я умираю с мыслью об Илюше. У него золотое сердце. Думаю, что он будет и вашим другом». О жене и брате Мандельштам не говорил. Я вернулся в барак. Перед праздником (4–5 ноября) Кузнецов разыскал меня и сказал, что мой приятель умер. У него начался понос, который оказался для него роковым.

Никаких справок родственникам умерших администрация не посылала. Вещи умерших распродалась на аукционе. У Мандельштама ничего не было.

“Черная ночь, душный барак, жирные вши” — вот все, что он мог сочинить в лагере⁹

Третий свидетель: Самуил Хазин (1962)

Встречалась Н.Я. и со своим однофамильцем, Самуилом Яковлевичем Хазиным.

По словам Казарновского, услышав о том, что на пересылке находится человек по фамилии Хазин, О.М. попросил его «...пойти с ним отыскать его, чтобы узнать, не приходится ли он мне родственником. Мы оказались просто однофамильцами».

Хазин рассказал ей, что О.М. «...умер во время сыпного тифа, а Казарновский эпидемии тифа не упоминал, между тем она была, и я о ней слышала от ряда лиц. <...>

Сам Хазин человек примитивный. Он хотел познакомиться с Эренбургом, чтобы рассказать ему о своих воспоминаниях начала революции, в которой он участвовал вместе со своими братьями, кажется, чекистами. Именно этот период сохранился у него в памяти, и все разговоры со мной он пытался свести на свой былой героизм...»¹⁰

Прочтя мемуары Эренбурга, Хазин написал ему, и Эренбург устроил ему встречу с Н.Я. Хазин рассказал ей, что видел О. М. дважды: в первый раз — когда О. М. пришел к нему с Казарновским и, во второй, когда он свел его к лагернику, который его разыскивал.

Свидание с Хазиным состоялось летом 1962 года. Н.Я. жила в Тарусе и, видимо, совместила встречу Хазиным с приездом в Москву. Сохранилась ее беглая запись об этой встрече:

«28 июля 1962. <...> В Москве: поездка за Болшево¹¹ к Хазину — не родственнику. Мне еще К[азарновский] говорил, что О. М. в лагере разыскал моего однофамильца, чтобы спросить, не родственник ли он мне. Тот, по словам К[азарновского], принял О.М. весьма холодно. Он ничего не мог сказать, кроме изложенного в письмах. Свидетелься хотел, чтобы завязать знакомство. Его мечта — писать мемуары о тех событиях, свидетелем которых он был. Для этого ищет пу-

тей. Лагерь его не интересует совершенно, а только родное местечко и "история революции", т. е. из его местечковых знакомых, которые как-то участвовали в событиях 17-20 годов или выбились в люди в эти годы.

По профессии он инженер, но от него пахнет чехой; мне вдруг показалось, что из такого в лагере можно было сделать отличного стукача. Видимо, отличный читатель Эренбурга, хотя и ругает его в духе послевоенного нападения на его военную публицистику: "немцы тоже люди... немецкий народ ...". Чем-то, я подумала, он должен быть похож на рядового американца, которого я никогда не видела. Трагедия полубразования»¹²

В письме к А.К. Гладкову от 17 декабря 1962 года Н.Я. вспоминала об этой летней встрече: «Смерть на пароходе — явная легенда. Их будет еще много. Пусть. Этим летом я видела незамысловатого типа, встречавшего О.Э. в лагере. По его версии — видимо точной — О.Э. умер на Второй речке между ноябрем 38 и январем 39 года. В самом начале января он вышел из больницы — подтверждает тиф и все прочее, уже знал о смерти О.Э. Лучшие смерть — бросить в море, чем в яму. А впрочем, все одно»¹³.

Тем не менее то, что сообщил Хазин, было очень ценно и важно.

Вот только — «Можно ли положиться на сведения Казарновского и Хазина?

Лагерники в большинстве случаев не знают дат. В этой однообразной и бредовой жизни даты стираются. Казарновский мог уехать — когда и как его отправили, так и осталось неизвестным — до того времени, как О. М. выпустили из больницы. Слухи о смерти О. М. тоже ничего не доказывают: лагеря живут слухами. Разговор М[еркулова] с врачом тоже не датирован. Они могли встретиться через год или два ...

Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу, оцепленном проволокой, ни за его пределами. В страшном месиве и крошеве, в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми, никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб.

<...> Вот все, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама. Другие знают о гибели своих близких еще меньше»¹⁴.

Неразысканный свидетель Хинт

Н.Я. пишет: «Хазин говорит, что встреча О. М. с этим разыскивающим его человеком была очень трогательной. Ему запомнилось, будто фамилия этого человека была Хинт и что он был латыш, инженер по профессии. Хинта пересылали из лагеря, где он находился уже несколько лет, в Москву, на пересмотр. Такие пересмотры обычно кончались в те годы трагически. Кто был Хинт, я не знаю. [Это был соученик Евг. Эмильевича.¹⁵ Хазину показалось, будто он школьный товарищ О. М. и ленинградец. В пересылке Хинт пробыл лишь несколько дней. И Казарновский запомнил, что О. М. с помощью Хазина нашел какого-то старого товарища»¹⁶.

«Инженер Хинт» — это, казалось бы, не самый сложный случай для идентификации солагерника О. М. Его привел в 11-й барак посреди ночи тот самый Хазин, которого О.М. с Казарновским разыскали незадолго до этого. Накануне его привезли с Колымы, Хинт ехал на запад на переследствие. Был он, по словам Хазина, латышом (но скорее всего — эстонцем) и ленинградцем, и еще, кажется,

школьным товарищем Евгения Мандельштама. Сама их встреча, по словам Хазина, была очень трогательной.

Однако рабочая гипотеза, что этим Хингом мог быть Иоханнес Александрович Хинт (1914-1985) — известный эстонский изобретатель и лауреат Ленинской премии СССР за 1962 год, а впоследствии политический заключенный, младший брат эстонского писателя Ааду Хинта (1910-1989), — не подтвердилась.

Первой эту гипотезу сформулировала сама Н.Я. В одном из своих первых писем из Пскова, куда она переехала в сентябре 1962 года, она спрашивала свою эстонскую корреспондентку — Зару Григорьевну Минц: *«Знаете ли вы эстонского писателя по фамилии Хинт? Не его ли отец (кажется, инженер, может, лауреат?) или родственник встретился с О.М. на Дальнем Востоке? Как бы мне узнать что-нибудь про Хинта?»*¹⁷.

В «Воспоминаниях» Н.Я. резюмировала: *«Мне следовало бы принять меры, чтобы разыскать Хинта, но в наших условиях это невозможно — ведь не могу же я дать объявление в газету, что разыскиваю такого-то человека, видевшего в лагере моего мужа...»*¹⁸

После того, как загадка имени даже «физика Л.» разрешилась, «инженер Хинт» остается, кажется, последним нераскусанным орешком такого рода.

P.S.

А.Я. Разумов, составитель бесконечного «Ленинградского мартиролога», сообщил мне, что в его картотеках значится «Хинт Юганес Янович, 1905 г. р.», проходивший по групповому делу, суть которого и год производства точно не известны¹⁹.

Что стало с Юганесом Хингом — неизвестно, но время, когда его вызвали на переследствие (своего рода пересменок между Ежовым и Берией), было весьма перспективным именно для того, чтобы выжить.

В то же время смущает отсутствие упомянутого Хазиним «лагерного опыта». Да и возраст Ю. Хинта исключает совместную учебу не только с О.М., но и с его младшим братом.

Четвёртый свидетель: Давид Злобинский (1963, 1968, 1974)

О последних днях Мандельштама рассказал еще один очевидец — Давид Исаакович Злобинский, написавший Эренбургу в феврале 1963 года. Прошло два с лишним года после выхода номера «Нового мира» с «брянским агрономом М.», и все это время Злобинский боролся со своими страхами и собирался с духом для того, чтобы написать Эренбургу!

«23/II-1963 г.

Уважаемый Илья Григорьевич!

Давно уже — почти два года — собираюсь вам написать по поводу одного места в 1-м томе ваших воспоминаний. «Люди, годы, события». Речь идет о судьбе О. Мандельштама. Вы пишете (со слов брянского агронома В. Меркулова, посетившего вас в 1952 году) о том, что О. Мандельштам в конце 1938 года погиб на Колыме. Уже находясь в заключении, в тяжелейших условиях Бериевской Колымы, О. Мандельштам — по словам В. Меркулова — сохранил бодрость духа и преданность музе поэзии: у костра он читал своим товарищам по заключению сонеты Петрарки. Боюсь, что конец Мандельштама был менее романтичен и более ужасен.

О. Мандельштама я встретил в конце лета или в начале осени (то ли конец августа, то ли середина сентября) 1938 года не на Колыме, а на Владивостокской «пересылке» Дальстроя, т. е. управления Колымских лагерей.

На этой пересылке оседали только отсеянные медицинской комиссией (вроде меня). Остальные, — пробыв некоторое время на пересылке, — погружались в пароходы и отправлялись в Колыму. На наших глазах проходили десятки тысяч людей.

Я и мои друзья, любящие литературу, искали в потоке новых и новых порций прибывающих с запада зеков — писателей, поэтов и, вообще, пишущих людей. Мы видели Переверзева²⁰, Буданцева²¹, беседовали с ними. В сыпнотифозном больничном бараке, куда я попал в декабре 1938 года, мне говорили, что в одном из отделений барака умер от сыпняка Бруно Ясенский.

А О. Мандельштама я нашел, как я уже писал, задолго до этого — в конце лета или в начале осени. Клпы выжили нас из барачков, и мы проводили дни и ночи в зоне в канавах (водосточных). Пробираясь вдоль одной канавы, я увидел человека в кожаном пальто, с «хохолком» на лбу. Произошел обычный «допрос»:

— Откуда?

— Из Москвы...

— Как ваша фамилия?

— Мандельштам...

— Простите, тот самый Мандельштам? Поэт?

Мандельштам улыбнулся:

— Тот самый...

Я потащил его к своим друзьям... И он — в водосточной канаве — читал нам (по памяти, конечно) свои стихи, написанные в последние годы и, видимо, никогда не издававшиеся. Помню — об одном стихотворении, особенно понравившемся нам, он сказал:

— Стихи периода Воронежской ссылки. Это — прорыв... Куда-то прорыв...

Он приходил к нам каждый день и читал, читал. А мы его просили: еще, еще.

И этот щупленький, слабый, голодный, как и все мы, человек преобразился: он мог читать стихи часами. (Конечно, ничего записывать мы не могли — не было бумаги, да и сохранить от обысков невозможно было бы.)

А дальше идет вторая часть — очень тягостная и горькая. Мы стали (очень быстро) замечать странности за ним: он доверительно говорил нам, что опасается смерти — администрация лагеря его хочет отправить. Тщетно мы его разубеждали — на наших глазах он сходил с ума.

Он уже перестал читать стихи и шептал нам «на ухо» под большим секретом о все новых и новых кознях лагерной администрации. Все шло к печальной развязке... Куда-то исчезло кожаное пальто... Мандельштам очутился в рубищах... Быстро завшивел... Он уже не мог спокойно сидеть — все время чесался.

Однажды утром я пошел искать его по зоне — мы решили повести его (хотя бы силой) в медпункт — туда он боялся идти, т. к. и там — по его словам — ему угрожала смерть от яда. Обошел всю зону — и не мог его найти. В результате расспросов удалось установить, что человека, похожего на него, находящегося в бреду, подобрали в канаве санитары и увезли в другую зону в больницу.

Больше о нем мы ничего не слышали и решили, что он погиб.

Вся эта история тянулась несколько дней.

Может быть, он окреп, выздоровел, и его отправили на Колыму? Маловероятно. Во-первых, он был в очень тяжелом состоянии; во-вторых, навигация закончилась в 1938 году очень рано — кажется, в конце сентября или в начале октября — из-за неожиданно вспыхнувшей эпидемии сыпного тифа.

Невольной настораживает фамилия и инициалы «брянского агронома» В. Меркулова...

В числе нашей группы любителей литературы был Василий Лаврентьевич Меркулов — ленинградский физиолог. Но на Колыме он не был — его вместе со мной и другими, оставшимися в живых после эпидемии, направили в Маршинск, где мы и пробыли до освобождения — сентября 1946 г.

Наш Меркулов ничего не мог знать о колымском периоде жизни Манделштама, если тот действительно туда попал. Какой же Меркулов вам это сообщил? Однофамилец? Или наши, решивший приукрасить события и придать смерти Манделштама романтический ореол?

Вот все, дорогой Илья Григорьевич, что я считал себя обязанным вам сообщить.

С глубоким уважением — Д. Злобинский».

В постскриптуме автор письма просил И. Эренбурга держать его имя в секрете: *«И культа нет, и повеяло другим ветром, а все-таки почему-то не хочется "вылезать" в печать с этими фактами. Могу только заверить вас, что все написанное мною — правда, и только правда».*

От Эренбурга письмо попало к Н.Я., но его содержание никак — хотя бы под инициалом — не отражено в ее «Воспоминаниях» (интересно бы понять — почему?). Н.Я. передала письмо А.А. Морозову для дальнейших контактов, но тот не смог разыскать Злобинского по указанному в письме адресу²². В результате письмо хранилось и сохранилось у него и было включено в морозовские примечания к первому изданию «Воспоминаний» Н.Я. Манделштам на родине²³.

Однако в 1968 году между Д. Злобинским и Н.Я. установился и прямой контакт, о чем свидетельствуют его письма к ней²⁴, а также запись беседы Ю.Л. Фрейдина со Злобинским, состоявшейся 16 февраля 1974 года и дополненной письмом Злобинского от 18 февраля²⁵.

Из них мы узнаем некоторые интересные подробности о Манделштаме в лагере, но прежде всего о самом Злобинском. В 1920-е гг. он начинал свою журналистскую карьеру в Харькове, в частности, в 1926 году работал в «Харьковском пролетарии»²⁶ помощником редактора. Затем, видимо, перебрался в Москву и работал в «Комсомольской правде».

Сам он был арестован летом 1937 года, во Владивосток на пересылку (он называл ее «транзитной колонией») прибыл в июле 1938 года. Осенью встретил на ней О.М.

Приведу дайджест того, что он рассказал собеседнику, не смущаясь повторами по сравнению с тем, он общался в письме Эренбургу.

«Сидит в канаве человек в кожаном пальто, такой хохолок. Сидит с безучастным видом, будто не от мира сего.

Из поэтов 20-х гг. — Безыменский, Жаров, Уткин — О.М. признавал только Светлова.

Однажды О.М. попросился в наш барак почитать стихи — «Цикл воронежских стихов» — стиховой прорыв, так сам называл.

*Стал опускаться. Мучали паразиты — сидит и чешется.
Какие-то отсутствующие глаза, бормочет что-то. Мне нужно уйти, по-
том исчез.*

*Потом встретились: почему не заходите?
Недели три с нами был, не выдержал. На работу не ходил, никто его не
мучил. Но никакой хватки, никакого умения приспособляться. Ничего не мог де-
лать.*

*Все опасался, что его отравят. — Да кто же? Вы меня опасаетесь? —
Нет, но вообще.*

*Врач из Ногинска. «Я в ужасном состоянии, ПОЙДЕМТЕ К ВРАЧУ! Решил,
пойду поговорю со старостой.*

*Ищу его, ищу — а его вчера увезли в больницу, в 1-ю зону. Это было в ок-
тябре. В декабре у нас был карантин».*

У самого Злобинского были никуда не годные позвоночник и легкие, из-за чего медкомиссия УСВИТЛа выбраковала его почти сразу: на хлебники-калеки были Колыме не нужны. Он, как и О.М., попал в отсев, но, заболев в конце года сыпняком, до апреля 1939 года, как и Моисеенко, пробыл в больнице.

Вскоре после выписки (то есть еще весной 1939 года) Злобинского перевели в Мариинск, а еще позднее — в поселок Свободный, центр Бамлага. Тамошний начальник проявил к нему большое внимание и назначил учетчиком.

В Мариинске он встретил своих «старых знакомых» по пересылке — Василия Меркулова²⁷[27], преподавателя западных танцев Леонида Соболева²⁸[28] и мастера спорта по альпинизму²⁹[29], но никто из них больше не видел Мандельштама.

После реабилитации Злобинский работал где-то за Новым Иерусалимом. Фрейдину он говорил, что чья-то байка в «Литературке» о двух якобы разобранных половицах и о побеге О.М. из лагеря — «форменная белиберда!» Ю. Фрейдин при встрече, по-видимому, передал ему томик О.М. в «Библиотеке поэта». В своем письме³⁰[30] Злобинский, во-первых, благодарит Н.Я., во-вторых, просит ни в коем случае не использовать его рассказы «для широкой публичной информации» и вообще не упоминать его имя «даже в частных разговорах»³¹[31].

Пятый свидетель (первый неопрошенный)

Борис Ручьев (VIA Борис Слуцкий)

Среди законспирированных информантов Н.Я. — один «физик» («Л.») и два поэта: «Д.» и «Р.». «Д.» — это Домбровский, а кто же «Р.»?

Довольно долго о нем было ничего не известно, кроме того, что его рассказ передал Н.Я. Борис Слуцкий, что произошло это скорее всего в 1964 или 1965 году (упоминание «Р.» успело войти в главу «Последняя дата»³²[32]) и что прямой контакт между Н.Я. и «Р.» не состоялся.

Н.Я. упомянула его в одном абзаце этой главы — и скорее даже не как свидетеля, а как образец мифотворчества:

«Есть и рассказы “реалистического” стиля с обязательным участием шпаны.

Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали “поэта”. Р. испугался ночных гостей — чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но

при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О.М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно: "Вторая речка", пересыльный лагерь под Владивостоком. Рассказал мне всю эту историю Слуцкий и дал адрес Р., но тот на мое письмо не ответил»³³.

Раскроем это инкогнито.

«Поэт Р.» — это Борис Александрович Кривошеков, по псевдониму Ручьев (1913-1973), которому Виктор Астафьев приписывает авторство классической песни про Ванинский порт³⁴. Арестовали Ручьева в Златоусте 26 декабря 1937 года, а 28 июля 1938 года ему присудили «десятку» — срок, который он отбыл полностью, в основном в Оймяконе. Если летом-осенью 1938 года Ручьев задержался на владивостокской пересылке до конца навигации, то их встреча с О.М. более чем возможна.

Существует несколько иная версия ручьевского рассказа о встрече с Мандельштамом — менее мифологизированная, зато куда более правдоподобная. В ее основе — то, что Ручьев рассказал Юрию Георгиевичу Функу, старейшему врачу и краеведу Магнитки, а тот, в свою очередь и много позже, пересказал журналисту «Челябинского рабочего» Юрию Кормильцеву:

«Однажды кто-то из больницы службы крикнул мне: "Борька, с этапа при- был какой-то Мандельштам. Он уже не встает. Все время бормочет стихи". Я ми- голм туда. Вижу — седой, бледный и худющий старик. Истощенный до невозможности. Обомлел я: ведь передо мною был сам Осип Мандельштам! Я схватил его руки — тонкие и прозрачные, как у ребеночка. Встал перед ним на колени. Наклонился к самому его уху и говорю: "Осип Эмильевич, здравствуйте! Я уральский поэт Ручьев". А он каким-то нездешним уже голосом чуть слышно шепчет: "Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел лишь до середины ..." Иумолк. А я, замерев, жду продолжения и слышу только жуткую тишину. Он что — забыл или отключился? "... сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся", — продолжаю я прерванное стихотворение. Осип Эмильевич слабо по- жал мне руку. А в эту минуту раздается: "Борька, где ты? Тебя Белый ищет!" Вско- киваю. Снова беру безжизненные руки поэта, бережножимаю их. Имчусь к врачу, которому срочно понадобился зачем-то. Мандельштама я больше не видел, его увезли в другое место, где он и скончался, как мне сказали потом ...»³⁵.

Если память Ручьева или память Функа ни в чем их не подвела, то встреча Ручьева с Мандельштамом состоялась скорее всего в самом конце ноября, когда поэт оказался в лагерьной больнице.

Седьмой и не слишком убеждающий свидетель: Филипп Гопп (1966, 1978)

1

Среди записей Н.Я., обнаруженных в последнее время в ее архиве, есть сви- детельство о посещении ею летом 1966 года Филиппа Ильича Гоппа (1906-1978):

«Сейчас поток людей, встречавшихся с Мандельштамом в пересыльном ла- гере, резко уменьшился. Они вымирают. Умер уже и Казарновский³⁶, и инженер Л., с которым О.М. переносил камни³⁷. Легенды продолжают создаваться, но их приписывают людям, которые уже успели умереть. Свидетелей не остается.

Сохранились считанные единицы переживших колымскую и вообще во- сточносибирскую ссылку. Но всё же на днях, в июне 1966 года, я снова разговари- вала с человеком, который утверждает, что Мандельштам умер у него на руках.

Ослепительно чистая однокомнатная квартира в "хрущевских домах" на окраине Москвы. С балкона уже виден жидкий подмосковный лесок: город обрывается перед пустолями, не снижая своего роста — десяти- и шестнадцатиэтажными домами. Бывший зека, Филипп Гопп получает персональную пенсию, которую ему выхлопотал С[гоюз] Писателей — в прошлом он журналист из «Огонька», одессит, приятель Олеси.

Сейчас это шестидесятилетний человек, которого бьет непрерывная трясучка — хорея, или пляска св. Витта³⁸. Мой приход его взволновал, и чудовищные содрогания не прекращались ни на секунду. Впрочем, она оставляет его только во сне»³⁹

2

Филипп Ильич Гопп родился 3 марта 1906 года в Одессе, умер 7 апреля 1978 года в Москве. В начале 1920-х гг. он переехал в Москву, и уже в середине 1920-х гг. его рассказы и повести стали появляться в периодике. Он печатался в «Огоньке» («Письмо из Америки», 1924 год — первая публикация 18-летнего Гоппа), «Экране» (повесть «Четыре месяца пощадь», 1925 год), «Всемирном следопыте» (рассказы «Рамзес», «Казнь», «Рассказ о пятидесяти лошадях»), «Вокруг света» (антифашистские повести «Лягавый» и «Земля», 1931 год) и др.⁴⁰ По его рассказу «Два-Бульди-два» (о цирковом артисте, нашедшем свой путь в революцию) в 1929 году был снят немой кинофильм (режиссеры Л. Кулешов и Н. Агаджанова-Шутко).

В 1948 году, вспоминая эти публикации, Лев Никулин отмечал постоянное стремление Гоппа к революционной героике (показу борьбы угнетенных против угнетателей) и увлекательности фабулы.

3

Какие же «претензии» к Филиппу Ильичу Гоппу (1906-1978) накопились у советской власти к 1937 году?

«Дело» его не индивидуальное, а групповое, на четверых: № 257804⁴¹. Подельники — художник (Лев Максимович Капланский, 1905 г.р.) и два писателя (Арон Мовшевич Боярский, 1907 г.р. и Александр Иванович Сатаров).

Ф. Гоппа арестовали 22 апреля 1937 года. Его, человека «без определенных занятий» (члена профсоюза издательских работников), проживавшего тогда по Сретенскому бульвару, 6, кв. 54 и женатого на Галине Николаевне Чудиновой, 25 лет, обвинили в организации и руководстве террористической группой журналистов, богемных и разложившихся типов, замысливших покушение на товарища Сталина (еще им инкриминировались мечты о попадании за границу, в частности, в Париж). Кроме самих подельников, полоскались имена Сергея Евгеньевича Нельдихена и Анатолия Валерьевича Шишко.

На допросах (22 апреля, 2, 6 и 7 июня) Гопп своей «контрреволюционной деятельности» не признал, но не отрицал, что слышал от Боярского «контрреволюционные стихи погромного характера» («Вошь черносотенца»). Один из подельников показал на Гоппа — мол, о последнем процессе троцкистов он говорил так: «Зиновьев, Каменев и Радек выдали друг друга и признались во всем только из еврейской трусости, а вот будь они русскими — половина или большая часть террористов была бы спасена!..»

7 июля 1937 года Гоппа приговорили к пяти годам ИТЛ со стандартным поражением в правах. По идее его должны были доставить к месту назначения уже в 1937 году, так что самый факт его встречи с О.М. был возможен лишь в том слу-

чае, если его «местом назначения» была Колыма (что более чем вероятно) и если Гоппа задержали на пересылке еще на год.

4

Еще отбывая свой срок Гопп, надо полагать, попал в Марининские лагеря Сиблага. А отбыв его, он осел в Томске, понемногу печатаясь в местной и даже в центральной прессе. Так, вскоре после войны отдельной книжкой в Детгизе вышли его рассказы об этой войне (в которой он лично не участвовал — правда, по уважительным причинам).

В Томске его случайно «обнаружил» Лев Никулин, совершавший в 1946 году большое литературное турне по Сибири. В отделе печати обкома партии ему показали альманах «Томск», и ему сразу бросились в глаза стихи и рассказ Филиппа Гоппа: *«Я знал, что Гопп был репрессирован, меня приятно удивило, что он после всего пережитого продолжает творческую работу»*⁴².

24 мая 1948 года Филипп Гопп, перебравшийся к этому времени из Томска в Ростов Великий, написал Никулину:

«Дорогой Лев Веняминович!

Будучи в Москве год назад, я очень сожалел, что не удалось Вас повидать. Главной причиной было крайне тяжелое состояние моего здоровья. В Томске я еще был герой, а теперь совсем разбит параличом, не встаю с постели.

Летом прошлого года Вы вместе с Ильинским приезжали в Ростов, но я не хотел Вас тревожить никакими просьбами, как не тревожил Вас ими, когда Вы приезжали в Томск.

Несмотря на мое ужасающее положение, я продолжаю упорно работать. В прошлом году написал роман «Голубой город», в этом году — цикл стихов, но до сих пор не могу добиться ответа по поводу этих вещей.

*Мой адрес: Ростов-Ярославль, Красная ул. 41»*⁴³.

Судя по всему, Никулин принимал участие в судьбе парализованного лагерника и хлопотал о его публикациях. Но главными ангелами-хранителями Филиппа Гоппа были, несомненно, Константин Ваншенкин и его жена — Инна Гофф, племянница Филиппа Ильича.

5

Снова поселившись в Москве, Филипп Гопп изредка, но публиковался (в частности, в «Советском цирке»⁴⁴ или в «Звезде»⁴⁵). В 1978 году, незадолго до его смерти, Ваншенкин и Гофф познакомили с ним и меня.

«Здравствуй, племя молодое, незнакомое...» — с пафосом и в ритме своих содроганий произносил Филипп Ильич, после чего начинался сеанс не моих, а его вопросов. Вопросы же были двух сортов: абстрактные («Что думаете вы, молодежь, о...?») и бестактные, отвечать на которые хотелось еще меньше.

На мои вопросы он отвечал неохотно и как-то разочаровывающе. Объем сообщаемого не выходил за рамки «Люди. Годы. Жизнь» Эренбурга и «Воспоминаний» Надежды Яковлевны — с той лишь разницей, что Мандельштам умеру него на руках и что, умирая, произнес в его, Гоппа, адрес что-то очень и очень напутственное.

Ни на какие подробности фантазии или решимости у Филиппа Ильича уже не хватало.

Примечания:

¹ Фрагменты из раздела «Очевидцы и свидетели» из новой книги Павла Нерлера «"На вершок бы мне синего моря!.." Осип Мандельштам и его сокамерники"», выходящей в этом году в издательстве «АСТ». Реконструкции судеб таких сокамерников поэта как Константин Хитров или Юрий Моисеенко (посвященные им очерки ранее публиковались в других книгах) здесь не дублируются.

² В скобках — инициалы имени и фамилии источника информации.

³ Здесь и далее — Н.Я. Мандельштам.

⁴ Не исключено, что Маторин — по крайней мере какое-то время — жил в так называемой «китайской» зоне.

⁵ *Мандельштам Н.* Воспоминания // Собр. Соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 476.

⁶ Там же. С. 451.

⁷ Эта сводная запись о лагерной жизни О.М. вобрала в себя сведения, почерпнутые главным образом от В.Л. Меркулова (Гарбуз, Кузнецов, Л.В. Соболев) и Е.М. Крепса (Вайсбург) (ср.: *Нерлер П.* Соп атоге. Эпюды о Мандельштаме. М., 2014. С. 451-502). В пользу того, что это именно так, говорят детали, нигде более не встречающиеся. Например, о Пастернаке как о втором поэте, о полученном О.Э. в лагере письме от Н.Я. или упоминание князя Щербацкого. Первым на ум приходит действительный князь Щербацкий — знаменитый академик-буддолог Федор Ипполитович Щербацкий (1866-1942), который сам хотя и не был репрессирован, но вполне мог быть связан с антропологом и этнографом Н.М. Маториным, 1898-1936, братом Д.М. Маторина. Но, возможно, тут иная абберрация, и Н.Я. имеет в виду не князя Щербацкого, а князя Мещерского — человека, сидевшего, по словам Меркулова, с О.М. в одной камере на Лубянке.

⁸ РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 108. Л. 49. Публикуется впервые.

⁹ Новые свидетельства о последних днях О.Э. Мандельштама / Публ. Н.Г. Князевой. Предисловие П.М. Нерлера // *Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама.* Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 47-50.

¹⁰ *Мандельштам Н.* Воспоминания // Собр. Соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 474-475.

¹¹ Вероятно, в санаторий «Сосновый бор» за Болшево: этот адрес записан на одном из листов, сохранившихся в архиве: «*Ст. Болшево. Санаторий «Сосновый бор», корпус 2»* (РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 109. Л. 90).

¹² *NAFSO Bremen. F.104 (Borisov).*

¹³ РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 298. Л. 1 (сообщено М. Михеевым).

¹⁴ *Мандельштам Н.* Воспоминания // Собр. Соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 484.

¹⁵ Ошибочно. Перепутано с Крепсом.

¹⁶ *Мандельштам Н.* Воспоминания // Собр. Соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 474.

¹⁷ Оригинал — в архиве Тартуского университета: *F. 135. S. 868.*

¹⁸ *Мандельштам Н.* Воспоминания // Собр. Соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 475.

¹⁹ В то же время известно, что один из его однодельцев — Онель Александр Юганович, 1887 г. р., уроженец Везенбергского уезда Эстляндской губернии, эстонец, б. член ВКП(б), рабочий фабрики им. Рубена, проживавший в Ленинграде, на проспекте Газа, д. 21, кв. 125, арестованный 13 февраля 1938 г., — 25 марта 1938 г. был приговорен по ст. 58-6 УК РСФСР к высшей мере наказания и расстрелян в Ленинграде 1 апреля 1938 г. (сообщено А.Я. Разумовым)

²⁰ Переверзев Валерьян Федорович (1882-1968) — литературовед и педагог, автор книг о Достоевском (1912), Гоголе (1914) и др., профессор Института философии и литературы МГУ. В 1929-1930 гг. состоялась дискуссия о «переверзевской школе», в ходе которой он был

обвинен в ревизии марксизма и отстранен от должности. Арестован 3 марта 1938 г. по обвинению в принадлежности к партии меньшевиков. Осужден 8 июня к 8 годам ИТЛ, срок отбывал на Колыме, где возглавлял бригаду по изготовлению игрушек (Хуреев, 2012. С. 608-609) и в Марининске, где работал над Пушкиным... Освобожден только в 1947 г., но в 1948 г. был арестован вновь. Реабилитирован в 1956 г. (ГАРФ. Дело № П-23055).

²¹ Буданцев Сергей Федорович (1896-1940) — прозаик и поэт, член группы «Центрифуга». Арестован 26 апреля 1938 г., а 8 октября этого года осужден Особым Совещанием на 8 лет лишения свободы. Прибыл на Колыму этапом на пароходе «Дальстрой» 6 июня 1939 г. Был направлен на прииск «Дусканья» Южного ГПУ, где работал на добыче золота забойщиком в шахте. В конце 1939 г. направлен на инвалидную командировку ОЛПА «Инвалидный (23/6 км основной трассы), где и умер 6 февраля 1940 г. в результате «...крупного воспаления правого легкого и миодегенерации сердца...». Реабилитирован Судебной Коллегией Верховного Суда СССР 12 февраля 1955 г. (Бирюков А.М. Жизнь на краю судьбы. Магадан: ОАО «МАОБТИ», 2005. С. 277-289).

²² В июле 1967 г. Злобинский переехал из Перловской, где его не смог разыскать Морозов, в Мытищи, жил по адресу: Мытищи-8, Юбилейная ул., 3, к. 3, кв. 64 (привожу его на тот случай, если потомки Злобинского отзовутся и сообщат что-то новое хотя бы для энциклопедической справки о нем).

²³ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1989. С. 427-430; Перепеч.: Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 522-524.

²⁴ РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 200. В письмах от 11 и 28 января 1968 г. Злобинский, встретивший упоминание книги О.М. в издательском плане, просит Н.Я. об экземпляре, а в письме от 1 марта того же года благодарит за полученную книгу (очевидно, за «Разговор о Данте»).

²⁵ Там же. Д. 281.

²⁶ Об этом времени он написал 10-12-страничные записки, которые передал Эренбургу.

²⁷ С подачи Крепса, он был бригадиром кухонной бригады еще во Владивостоке.

²⁸ Злобинский запомнил, что его отец, чекист, сам погиб в Большой террор.

²⁹ Его уникальное имя — Дадюмов — Злобинский вспомнить не смог, зато помнил его фаланги без отмороженных пальцев, как и то, что осужден он был за восхождение на Эльбрус с немцами.

³⁰ Отправлено с адреса: Московская область, Мытищи 141020, Юбилейная ул., 3, к. 3, кв. 64.

³¹ Большая часть его письма — подробный рассказ о тех удивительных льготах, которыми пользовались в ГУЛАГе инвалиды: «...При приеме в больницу была дискриминация в отношении ходячих больных нашей категории. <...> Я это наблюдал сам в 1938 г. в Читинской обл. и во Владивостоке, но с 1939 г. подули другие ветры — нас «без всяких» принимали в больницы **любого** ранга. Так было до самого конца пребывания моего в тех местах. Я сам провел 4(!) месяца в центральном госпитале в 1940-1941 гг. и 1 месяц в местной больнице в 1946 г. А с осени 1942 г. во много раз усилилось внимание инвалидам. Для них были сделаны повсеместно (по всем «епархиям» СССР) уменьшенные рабочие дни (по 8, 6 и 4 часов) с соответствующим уменьшением норм выработки. Летом 1941 г. нас — инвалидов и всех туберкулезников — собрали в один пункт и с 1942 г. до самого конца моего пребывания в нем (1946 г., осень) **все** туберкулезники и **большая часть** других категорий инвалидов получали **систематически** из месяца в месяц специальное больничное питание (трехразовое). «Вольняшки» нам с завистью говорили, что мы, т.е. инвалиды, питаемся лучше их. Все то, что я пишу (о питании) звучит невероятно, но так оно и было — я живой свидетель» (заслугу установления такого либерального режима Злобинский относил на счет начальника лагеря Б. (предположительно — Б. Бялика).

³² Наша датировка этого контакта 1964 годом — чистая условность, подчеркивающая то лишь, что попытка контакта с «поэтом Р.» предшествовала контакту с «физиком Л.».

³³ Мандельштам Н. Воспоминания // Собр. Соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 477-478.

- ³⁴ Биографически это маловероятно, ибо на Колыму он попал еще в «до-ванинское» время.
- ³⁵ См.: *Кормильцев Ю.* «Я список кораблей прочёл лишь до середины...» (старейший краевед Магнитки Ю.Г. Функ о встрече на Колыме Бориса Ручьева с Осипом Мандельштамом) // Челябинский рабочий. 1998. 10 марта (благодарю А. Смолянского за помощь в ознакомлении с ее текстом).
- ³⁶ Точная дата смерти Ю.А. Казарновского не установлена. Предположительно он умер в начале 1960 г. в Ступино.
- ³⁷ Неточность, а скорее всего «ложный след»: «физик Л.», он же «инженер Л.», он же Константин Евгеньевич Хитров умер 12 июня 1983 г.
- ³⁸ Ему была присвоена самая высокая — первая — группа инвалидности.
- ³⁹ *РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 108. Л. 26-27.*
- ⁴⁰ Стихи, с которых он начинал, кажется и не печатались.
- ⁴¹ Или, после архивной перерегистрации, № П-31933.
- ⁴² *РГАЛИ. Ф. 350. Оп. 1. Д. 163. Л. 3-4.*
- ⁴³ *Там же. Л. 1-2.*
- ⁴⁴ В 1958 г. (повесть «Последний аттракцион»).
- ⁴⁵ Между прочим, с мемуаром о С. Есенине (1975. № 8. С. 191-192).



Александр Мелихов

ВТОРОСОРТНЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ

Биография поэта, филолога и общественного деятеля Томаса Венцлова (не знаю, склоняется ли эта литовская фамилия) открылась мне лишь из увесистого тома «Пограничье» (СПб, 2015) его публицистики многих лет. Сын известного советско-литовского писателя, обретший в гебистском досье не лишённую остроумия кличку Декадент, он мог бы сесть не просто за правозащитную деятельность, но еще и за национализм, в старые недобрые времена именовавшийся буржуазным, поскольку национальная независимость, по марксистско-ленинской теории, требовалась только буржуям, борющимся за рынки. Макс Вебер называл национализм о́м стремление совместить границы государства с границами расселения этноса, однако этот гражданский национализм не мог бы существовать без национализма романтического, приписывающего нации немислимые совершенства, да еще и объявляющего жалким и ничтожным существование человека, лишённого национального дома.

Я думаю, неслучайно романтический национализм создавали вовсе не капиталисты, но поэты и философы (кажется, больше прочих потрудились немцы, но, возможно, они всего лишь предоставили более громкие имена — Гердер, Фихте...), склонные искать в политике то, что может дать только религия, — иллюзию красоты, мудрости, справедливости, недостижимых в нашем трагическом мире, где все идеалы противоречат друг другу: служба одной святыне, непременно попираешь десяток других. Романтический национализм и сделался земным суррогатом веры, почти утратившей свой воодушевляющий и утешающий потенциал, — этот суррогат и разрушил все империи, не сумевшие предложить более красивой и воодушевляющей грезы. Томас Венцлова же такой грезой обладал (истина и гуманность выше нации), и потому на своем общественном полуподпольном поприще немедленно столкнулся с чистопородными, так сказать, борцами за независимость Литвы. В самиздатском журнале с поэтическим именем «Заря» (по-литовски почти «Аврора», «с явными расистскими нотками. Изредка антисемитскими. Хотя, конечно, страшно антирусскими, антипольскими нередко») его упрекали за написанную по-русски статью, где он в духе Солженицына призывал литовский народ покаяться за тех мерзавцев, которые принимали участие в массовых убийствах евреев: дескать, конечно, убивать евреев нехорошо, но в тех экзекуциях, что произошли в начале войны, в основном виноваты сами пробольшевистски настроенные евреи, настолько озлобившие народ, что нашлись подонки...

За которых народ, разумеется, ответственности не несет: преступники, как известно, не имеют национальности, ею обладают исключительно герои и гении. Венцлова в этом сомневался, но полемику вел в мягком тоне, ибо в тот исторический час все были союзниками в борьбе за национальную независимость. Однако на пороге независимости поэт заговорил похестче: «Я не очень верю, что мы станем «северными Афинами» — уникальным культурным центром, мостом между Востоком и Западом или какими-нибудь другими регионами земного шара. Дай нам бог стать нормальным, скромным, цивилизованным европейским государством (которым мы не совсем успели стать в 1918-1940 годы)».

Увы, скромные государства, не наделяющие своих граждан ощущением включенности во что-то высокое, исключительное, могут существовать лишь до тех пор, пока не требуют от своих граждан совсем уж никаких жертв, не требуют даже предпочесть свое государство более благоустроенным. Но стоит разности потенциалов — разнице уровней жизни — установиться в пользу соседей, как готовность обменять родной язык на хорошую зарплату начнет нарастать катастрофически, ибо для всех, кроме литераторов, язык ценен лишь до тех пор, пока служит символом сопротивления, а в качестве прагматического средства общения хорош тот язык, который позволяет лучше устроиться: мощнейшим орудием ассимиляции является вовсе не угроза, но соблазн. И двадцать лет спустя, когда победа была еще и закреплена вступлением в Европейский Союз и НАТО, Венцлова заговорил того резче: «Важны лишь деньги. А историю приплетают как обоснование для добычи их очередной порции; если какая-то партия слишком шумит по поводу величия Литвы, это скорее всего означает, что она намерена выиграть ближайшие выборы и набить карманы деньгами — ничто другое ее не интересует»; «Когда в Литве боролись за независимость, то повторяли: «Ах, большевики уничтожат нацию!» Но сейчас она тает гораздо быстрее. Большевики ее как раз консервировали. Лучшим способом сохранения так называемых национальных ценностей оказалась как раз советская власть — ее по заслугам ненавидели, поэтому ставили акцент на этих ценностях, клялись в верности им. Сейчас это стало скорее демагогией». Что было вполне предсказуемо: нацию разрушает не угроза, а соблазн, и советская власть ограждала от соблазна.

«Расцвет национализма был уже довольно давно, и люди подзабыли, что это такое. На эту приманку сейчас, увы, поддаются сильнее, чем на коммунистическую», — так она и проще: коммунизм еще нужно строить, а нация уже готовое совершенство. «И возможно, для малых народов она особенно привлекательна — помогает преодолеть комплекс неполноценности, связанный именно с величиной, и превращает этот комплекс в манию величия. Это очень опасно». «Сейчас эта тенденция начинает побеждать, и вполне возможно, что об этом придется говорить очень резко и очень откровенно». Хотя куда уж откровеннее! Даже независимость уже не кажется бывшему Декаденту «лучшей гарантией, что язык и культура будут сохранены»: «Гитлеровская Германия тоже была вполне независимой. И сталинский Советский Союз тоже — попробуй ему кто-нибудь что-нибудь указать. А что в них было хорошего? Северная Корея вполне независима. Очень независимая страна — Иран, но не хотел бы я жить там, и, кстати, многие мусульмане не хотят». Больше того: «Если исчезнет нормальная человеческая ментальность, то, на мой взгляд, это хуже, чем потерять язык». Но, разумеется, о том, чтобы вернуться в Российскую империю, не может быть и речи. Даже и в далеком прошлом, «если бы русское национальное самосознание, отличное от имперского, своевременно и полностью сформировалось, история России и всей Восточной Европы была бы счастливее»; «все мы должны любыми возможными способами поощрять русский национализм, нормальный национализм, с которым приходит понимание собственных национальных интересов, а вместе с ним осознание, что империя только вредит этим интересам».

Это, пожалуй, главный пропагандистский успех националистов — они превратили слово «империя» в ругательство (либералы лишь воспользовались плодами их победы), хотя именно развитые империи ввели представление о культурной автономии национальных меньшинств, с которой национальные государства

либо покончили, либо пытались и пытаются руками националистов это сделать. Гердер обзывал многонациональные империи государствами испорченными, разращенными, ибо не только совместное проживание, но даже использование чужого языка заражает иностранными пороками (почему-то не достоинствами). Национальные эгоцентрики сумели изобразить имперское сознание еще и высшей степенью национального эгоцентризма, хотя имперский принцип напротив требует преодоления национального эгоизма во имя более высокого и многосложного целого.

Большого авторитета, к слову сказать, национальным меньшинствам легче достичь в более «отсталой» империи, где на продвинутые малые народы взирают со смесью раздражения и почтения, чем в «передовой» цивилизации, взращивающей на новичков свысока. Империи, в отличие от наций, стремящихся замкнуться в себе, едва ли не единственное средство вовлечь народы в общее историческое дело. В тех случаях, разумеется, когда имперская власть служит величию и бессмертию имперского целого, а не националистическим химерам. Немцы в царской империи, евреи в ранней советской сделали более чем достаточно и для государства, и для самоутверждения — и продолжали бы служить тому и другому верой и правдой, если бы Сталин не принялся превращать империю в национальное государство.

Однако лично я до последнего остаюсь верным имперскому духу! Меня по-прежнему чаруют имена Шяуляй (непреренно через «я»), Каунас, Варена, Друскининкай... Сердце сжимается совсем как в эпоху исторического материализма, когда я мысленно прогуливаюсь по дворикам Вильнюсского университета или на цыпочках, чтоб не спугнуть, приближаюсь к костелу святой Анны, а русификация мне и тогда показалась бы бредом: меня пленял именно латинский алфавит, и назвать аллею Лайсвес аллеей Свободы для меня было бы верхом кретинизма. А беды, которые Советский Союз принес в родную Летуву, представлялись мне (да и представляются) одной общей бедой, в которую ввергло себя впадшее в безумие человечество, и что считать ее обитателям общего сумасшедшего дома, у кого хватило и у кого не хватило сил разорвать смирительную рубашку! С нежностью и печалью я вспоминаю и Алма-Ату, и Тбилиси, и Самарканд, и Киев, но все-таки я не настолько безумен, чтобы хоть на мгновение помыслить о земном воплощении своей небесной империи, — земной мир живет другими сказками, требующими ненависти и крови. Но вдруг мой постимперский синдром каким-то чудом охладит эту ненависть хоть на миллионную долю градуса?..

* * *

Я не сумел заставить себя полюбить поэзию Чеслава Милоша — очень уж он рассудочен, повествователен, сдержан, а когда художнику слишком хорошо удастся сдержанность, понемногу начинает нарастать подозрение, что ему и сдерживать нечего. Не говоря уже о том, что верлибр и вообще лишает поэзию музыки. Заслуга писателя тем выше, чем меньше он обязан материалу, а у Милоша сильнее всего получается там, где речь заходит о событиях, в любом изложении производящих сильное впечатление. Впрочем, о чем, прозаик, ты хлопчешь? Суди, дружок, не свхысе сапога. Лучше возмись за «Азбуку» — одну из последних книг нобелевского лауреата (СПб, 2014). Представьте, что мемуарист, включенный в историю не менее мощно, чем Эренбург или Герцен, написал свои «Люди, годы, былое и думы» в виде словаря, расположив в алфавитном порядке людей, которых он знал,

события, участником или современником которых он был, предметы или даже науки, пробудившие в нем серьезные мысли. В таком примерно духе.

«Абраша. С Абрашей я познакомился в Париже, когда жил в Латинском квартале после разрыва с Варшавским правительством, то есть в 1952 году. Он был польским евреем по фамилии Земш, учился в Сорбонне, а точнее, был вечным студентом, то есть принадлежал к числу людей, для которых студенческий образ жизни — алиби: лишь бы не влезать в хомут карьеры, заработка и т.д. Абраша немного рассказывал мне о своем прошлом. Он служил в польской армии в Англии, и, по его словам, там ему не давали проходу антисемиты. Потом воевал в Палестине с англичанами», — и так через студенческий мятеж 1968-го до начала следующей, небольшого формата страницы: «Абраша покончил жизнь самоубийством, но я не знаю ни даты, ни обстоятельств».

И все. Такой вот конспект романа о «типичном представителе» или, если хотите, «лишнем человеке» двадцатого века. И так хочется увидеть его живым, услышать его голос, но у автор нет либо желания, либо времени и сил оживить и приблизить к нам своих героев: «Они должны довольствоваться этим, ибо лучше хотя бы так вырваться из забвения». И Абрашу сменяет **Автомобиль**. Ему отдано раза в полтора больше места, но он и куда более для матери-истории ценен: «Видимо, автомобиль был изобретен в насмешку над пессимистами, которые предсказывали, что число лошадей неизменно вырастет и города задохнутся от конских экскрементов». И дальше сжатые зарисовки о грязище и вонище своего детства — детства мальчика из высших классов общества, затем беглые размышления о том, какие горы мусора и грязи сопровождали эпоху романтизма: «Стоило бы описать читательниц «Новой Элоизы» не сверху, а снизу — со стороны их ночных горшков (интересно, куда выливали их содержимое?), трусов (которых никто не носил) и эквилибристики при омовениях». В сущности, по своей структуре «Азбука» Милоша похожа на столь же фрагментарную «Развитую жизнь» Катаева, но, насколько «Разбитая жизнь» переполнена живыми людьми, красками, звуками, настолько «Азбука» беззвучно-информативна, — в ней почти нет восклицательных знаков и слов, означающих какие-либо материальные свойства предметов. Даже странно, что поэт с такой непреклонностью на протяжении пятисот страниц (правда, небольшого формата) отказывается следовать собственному кредо: «Где бы я ни был, в каком бы месте /В мире, от людей скрываю убежденность в том, /Что не отсюда я./Как будто послан был, чтобы впитать побольше /Цветов и вкусов, звуков, опытов и ароматов, /Всего, что стало/ Долей человека, /Превратить то, что узнал я, /В колдовской реестр/И отнести туда, /Откуда я пришел». В реестре «Азбуки» почти нет ни цветов, ни вкусов, ни ароматов, зато есть очень серьезные размышления.

«Америка. Какое великолепие! Какая нищета! Какая человечность! Какое бесчеловечие! Какая взаимная доброжелательность! Какое одиночество! Какая преданность идеалам! Какое лицемерие! Какое торжество совести! Какое двуличие! Америка противоположностей может (хотя не обязательно должна) открыться перед успешными иммигрантами. Не достигшие успеха будут видеть лишь ее жестокость. Мне повезло, однако я всегда старался помнить, что обязан этим счастливой звезде, а не себе, что совсем рядом находятся целые районы, населенные несчастливцами. Скажу даже больше: мысль об их тяжком труде и несбывшихся надеждах, а также о гигантской системе тюрем, в которых держат ненужных лю-

дей, настраивала меня скептически по отношению к декорациям, то есть к аккуратным домикам среди зелени предместий».

Когда-то Алексис де Токвиль предрекал, что двум новым гигантам — России и Америке предстоит сделаться владыками мира, но Милошу пришлось увидеть американское торжество. «В этом столетии «зверь, выходящий из моря», поверг всех своих противников и соперников. Самым серьезным противником была советская Россия, ибо в столкновении с ней речь шла не только о военной силе, но и о модели человека». Хорошо, что это видят хотя бы поэты: борьба народов — прежде всего состязание грез, состязание воодушевляющих сказок. «Попытка создать «нового человека» на основе утопических принципов была поистине титанической, и те, кто *ex post* недооценивают ее, видимо, не понимают, какова была ставка в этой игре. Победил «старый человек», и теперь при помощи СМИ он навязывает свой образ жизни всей планете. Оглядываясь назад, следует усматривать причины советского поражения в сфере культуры. Расходуя астрономические суммы на пропаганду, Россия так и не сумела никого убедить в превосходстве своей модели — даже в покоренных странах Европы, которые воспринимали эти попытки издевательски, видя в них неуклюжий маскарад варваров». Социальное, как всегда, уступило экзистенциальному — национальному и цивилизационному, ибо цивилизация тоже порождается уверенностью какой-то группы народов в совместной избранности, а в позднем Советском Союзе даже его лидеры уже не верили в собственную сказку и пытались состязаться в заведомо проигрышных критериях противника, в уровне и разнообразии потребления, опираясь уже не на интернациональный (имперский), но национальный принцип, требуя невозможного признания верховенства Старшего Брата.

Америка при этом, несмотря на свою пресловутую «бездуховность», умудрилась сделаться еще и культурной столицей мира. «Уже не Париж, а Нью-Йорк становится мировой столицей живописи. В Америке у поэзии, сведенной в Западной Европе к чему-то вроде нумизматики, появились слушатели в университетских кампусах, кафедры, институты и премии. Я сознаю, что если бы остался во Франции, то не получил бы в 1978 году Нейштадтской, а затем и Нобелевской премии».

«Быть может, читатель почувствует это обилие рвущегося наружу материала», — пишет Милош в предисловии, и кое-где он таки прорывается — прорывается прежде всего обида за славянство, за «огромные массы иммигрантов из славянских стран — словенцев, словаков, поляков, чехов, хорватов, сербов, украинцев». Сколько славянина ни корми, он будет помнить «принятые в двадцатые годы законы, ограничивающие число виз для стран второго сорта, то есть восточно- и южноевропейских». «Учитывая высокий процент славянских переселенцев, их незначительное присутствие в высокой культуре заставляет задуматься. Пожалуй, главной причиной было, как правило, низкое общественное положение семей: детей рано отправляли на заработки, а если уж посылали учиться, то избегали гуманитарных направлений. Кроме того, эти белые негры пользовались своим цветом кожи и часто меняли фамилии на англо-саксонские по звучанию, поэтому до их происхождения уже трудно докопаться». Что в очередной раз доказывает, что для сохранения национальной культуры выгоднее соседство культурно чуждого народа, присоединение к которому не представляет экзистенциально соблазна: даже делая карьеру среди «варваров», выходец из «избранного» народа в глубине души продолжает смотреть на него свысока. Другое дело, пребывание среди народа, чье превосходство и в глубине души не вызывает сомнений — тут ассими-

ляция практически неизбежна, если чужаки еще и не выделяются среди хозяев антропологически.

«Когда рабочие из Детройта узнали, что поляк получил Нобелевскую премию, они произнесли фразу, заключающую в себе суть их горькой мудрости: «Значит, он в два раза лучше других». По своему опыту общения с заводскими мастерами они знали, что лишь удвоенные труд и сноровка могут компенсировать нежелательное происхождение». Здесь, однако, народная мудрость не возвысилась до понимания тонкостей национальной политики: умные владыки мира всегда демонстративно поощряют отдельных любимчиков из дискриминируемого меньшинства, всегда кишащего недовольными, чтобы лишить козырей тех смутьянов, кто станет призывать их к открытому протесту. Правда, сам Милош вряд ли мог бы соблазнить своей карьерой кого-то, кроме кучки интеллектуалов, а более всего литераторов. Он был нужен, скорее, для формирования альтернативной истории польской литературы, и в этом, судя по всему, он свою роль сыграл. И роль несомненно положительную, хотя мне и неизвестно, какие «автохтонные» польские поэты были заглушены нобелевскими фанфарами.

Они даже и в душе самого Чеслава Милоша, сверх самых смелых его мечтаний облаканного Западом, не сумели заглушить национальную обиду на **Глупость Запада**: «Признаться, я страдал этим польским комплексом, но, поскольку много лет жил во Франции и Америке, все же, скривив зубами, вынужден был научиться сдерживать себя.

Объективная оценка этого феномена возможна, то есть можно влезть в шкуру западного человека и посмотреть на мир его глазами. Тогда выясняется: то, что мы называем глупостью, следствие иного опыта и иных интересов». Да, нам всегда представляется чем-то вроде слабоумия — или уж крайней подлостью, когда другие хотят жить не нашими, а собственными интересами. Тем более, не шкурными нашими, а высокими, национальными!

«И все же глупость Запада — не только наша, второсортных европейцев выдумка. Имя ей — ограниченное воображение. Они ограничивают свое воображение, прочерчивая через середину Европы линию и убеждая себя, что не в их интересах заниматься малоизвестными народами, живущими к востоку от нее». Счастливчику Милошу такое отношение к Восточной Европе наверняка виднее, чем любому из нас, «варваров», вольно или невольно внушающих страх одними своими размерами, не говоря о тех десятилетиях, когда мы несли миру красную заразу. Правда, я уже давно не понимаю, что в противостоянии «двух систем» порождалось идеологией, а что геополитикой. Коммунистические грезы начали быстро оттесняться вечными задачами национального выживания, требовавшими сверхмобилизации не под теми, так под другими лозунгами: не уверен, что была возможна мирная политика среди военного психоза Тридцатилетней войны 1914-1945 (обойтись без особых зверств и подлостей удалось только тем, кто был для этого недостаточно силен). Альтернативой коммунистической воодушевляющей химере могла быть только националистическая, и вполне возможно, что Россия спасла от фашизма еще и себя самое — коричневую чуму излечила красной заразой.

Для национальной же гордости мучительнее всего попасть в число «пустых стран, не имеющих значения для прогресса цивилизации» — то есть не способных ни особенно помочь, ни особенно повредить. Только почему же Милошу кажется, что такое восприятие порождено ограниченностью воображения, а не «киным опытом», в котором эталонным европейцам от тех стран, за которые у поэта болит

душа, и впрямь всегда было ни жарко, ни холодно? «Исторические неудачники», — считая меня за своего, как о чем-то общеизвестном однажды обронил о славянах весьма просвещенный корреспондент одной из радиостанций, призванных нести цивилизацию в мир варваров, и, боюсь, всем обольщенным, но не обольстившим народам рано или поздно придется вслед за Милошем понять, что т.н. цивилизационный выбор невозможно сделать в одностороннем порядке: даже формальные корочки члена престижного клуба не гарантируют того, что ты и впрямь принят в него как равный. Больше века назад подобную неполноценность в европейском бонде ощутили евреи — тогда-то и возник светский сионизм, пытавшийся и сумевший создать собственный клуб. Подозреваю, что когда-нибудь этого же пожелают и народы Восточной Европы. И попытаются создать какую-то мирную версию Варшавского договора.

Ничто так не сближает нации в единую цивилизацию, как наличие общей опасности. Варшавский договор был направлен против военной угрозы, которую никто не воспринимал как реальную, и потому он ощущался ненужной обузой даже в России, если говорить о наиболее «модернизированной» части ее населения. Но сегодня у «второсортных европейцев» не может не нарастать ощущение исторической ущербности, для противостояния коему требуется уже не оружие, но прорыв в созидании чего-то **небывалого** — в науке, в технике, в искусстве. Страны, составляющие ядро европейской цивилизации, всегда будут смотреть на новичков свысока как на своих учеников, покуда те лишь повторяют, пусть как угодно блестяще, их уже известные достижения. Именно поэтому странам «полупериферии» необходимы прорывы, способные удивлять мир, расширять его представления о человеческих возможностях. И объединять для этого усилия в научных, культурных и технических проектах, поднять которые поодиночке им не по силам.

Решатся ли они на такую борьбу или так и будут «рано отправлять детей на заработки» в погоне за званием «нормальной европейской страны», то есть никому не интересной копии господствующего эталона?



Ольга Янович

КВАРТЕТ КАК СЕМЬЯ

Время, наступившее в СССР сразу после Олимпиады, принято называть *пыльным расцветом застоя*. Для музыкантов моего поколения, вступавших в концертную жизнь, это был период неверия в культурное будущее страны, отвращения к системе, которая сплошь и рядом была наглядной иллюстрацией циничных поговорок «инициатива наказуема» и «незаменимых людей нет». Казалось, что мы абсолютно ничего не могли изменить ни в музыкальной культуре страны, ни в собственных судьбах. Это состояние породило «девятый вал отвалов», эпидемию отъездов и невозвращений музыкантов — оркестрантов, солистов, дирижеров. Кто-то уезжал «по партитуре», предложенной властью евреям, а кто и оставался там, исчезал на гастролях, либо заранее подготовив побег, а то и по вдохновению, экспромтом. Тем, кого беглец оставлял в СССР заложником системы — родителям, детям, бывшим супругам — приходилось расхлебывать заваренную кашу. Если у родителя невозвращенца была кафедра в институте, тот мог её лишиться, близкие родственники становились невыездными. Студенты вылетали из институтов из-за уехавших или оставшихся на Западе отцов, сестер и братьев. В ансамблях за побег одного артиста весь коллектив мог поплатиться зарубежными гастролями. Дирижеров и директоров оркестров «вызывали на ковер» и устраивали проработки. Ходили легенды, что на вопрос, заданный дирижеру Евгению Мравинскому в известной организации после отъезда целой группы музыкантов из оркестра Ленинградской Филармонии: «Что же это от Вас бегут, Евгений Александрович?», он связвил: «Помилуйте, это бегут не от меня — от вас!»

Даже принимавшая сторона могла пострадать в случае, если Госконцерт недосчитывался солиста или дирижера. Помню, как на банкете после нашего концерта в Хельсинки местный импресарио рассказывал, что ему пришлось вынести в Советском посольстве, куда его вызвали после побега нашей скрипачки, выступавшей в Финляндии по приглашению его агенства. С бедным финном, не проследившим за передвижениями солистки после концерта, в посольстве поговорили на языке, весьма далеком от дипломатического протокола, посулив «разорить к чертям его лавочку», ведь в списке музыкантов, регулярно им приглашаемых с концертами в Финляндию, большинство было из СССР.

Тем временем командиры над культурой, вместо того, чтобы позволить артистам хоть какие-то самостоятельные передвижения, что было не так уж трудно сделать (и что сделалось само собой пять лет спустя), затыкали щели со всех боков, надавливали сверху на крышку котла, где варилась вся эта музыка и вызывали желание бежать куда подальше у тех, у кого еще год назад его не было.

Но, несмотря на утечку мозгов, на великий исход талантов и поклонников, на вахханалию запретов, непропускания, непечатания с последующим неисполнением, в Москве всё ещё оставалось много музыкантов, у которых было чему поучиться.

В начале 80х я закончила аспирантуру (так музыканты для форсу научного называют двухлетнюю ассистенту-стажировку в консерватории) и начала искать работу. Её — безденежной, безконцертной, было полно. Иди в любую районную музыкальную школу и учи на здоровье, до первой язвы желудка! Что до игры —

ни в один знаменитый оркестр женщине без крепкого блато было не попасть, а предлагать себя в солисты пусть даже заштатной филармонии смешно, не имея лауреатских званий. На выпускниках моей категории лежала печать своеобразной профнепригодности: в низы они сами не шли, верхи их не хотели. Проклятый, самый многоплодный, второй эшелон, к тому же, полный хорошо играющих баб!

Вот тут-то «мы» и начали объединяться против «них» в квартеты! За пару лет из-под крыла знаменитого квартета им. Бородина вылетели одна за другой несколько женских струнных квадриг. В одной из них понадобилась вторая скрипка.

Я не искала именно этой работы, но на звонок ответила и на репетицию пришла. В небольшой квартире у Тишинского рынка меня ждали три женщины — неполный квартет. Все они были старше меня на семь, десять лет. В ходе беседы, состоявшей из их осторожных вопросов и пространственных ответов, которыми я пыталась прикрыть свой крайне малый квартетный опыт, мне стало ясно, что между этой работой и их бесемейной жизнью имеется причинно-следственная связь. Создание ансамбля 10 лет назад, победа на престижном международном конкурсе, многократные замены обеих скрипачек, репетиции без выходов и гастролы по всей карте СССР — всё это потребовало времени, нервов и полной аскезы, а с годами, когда момент был, что называется, упущен, превратилось и в оправдание своего одиночества. Становясь членом квартетной семьи (никаких кавычек!), я понимала, на что иду. Квартетное дело затягивало, вытесняя все, не относящееся к нему, как чуждое, враждебное. Тем, кто не понимал такого стиля жизни, выносился приговор: «неквартетный» человек. Это могли быть мужья и любовники, родные и друзья. Неквартетными людьми считались даже некоторые коллеги-музыканты: оркестранты с их «грубым», не требующим филигранной отделки, ремеслом, солисты, якобы страдающие эгоизмом примадонн, не понимающие сути ансамблевой работы для музыки и друг для друга, где все у нас поровну: и вдохновение, и рабочий пот, и успех.

Статус свежеразведенной бездетной скрипачки был, по-видимому, очень привлекательным моментом при моем приеме на работу, поэтому в целях усыпления бдительности я не преминула выказать отвращение к семейному рабству. Все это, конечно, было коварным притворством. Но так или иначе, меня приняли, окунули в квартетную музыку и эта музыка меня быстро и без труда завоевала.

Из всего, что скрипачи могут сыграть сольно, либо в ансамбле (мы ведь почти никогда не играем без аккомпанемента), музыка квартетная особенно драгоценна и бывает, что она — лучшее в творчестве композитора. Она обходится однородными инструментами, не полагаясь на эффекты ударных, мощную медь, пленительные флейты — все то, что есть у симфонии и так любимо публикой. Автор, создавая симфоническую партитуру, стремится одарить музыкальным материалом каждую оркестровую группу, показать её возможности, при этом не слишком усложняя техническую задачу, если только не хочет превратить репетиции оркестра в сущий ад. В пьесах для солиста с оркестром всегда присутствует то, что подчеркивает красоту драгоценного предмета в наших руках и ловкость обращения с ним. Вторая по важности (после попытки раскрытия замысла сочинения) цель исполнителя-солиста — доказать, что поставленная задача не является пределом его технического мастерства, что он может «прыгнуть» дальше, пробежать быстрее». Подобная мысль иногда внушается автору, если на свою беду он ещё жив. Композитор пишет новое произведение, техника усложняется в соответствии с заказом, но не всегда вровень с музыкальным качеством. Глубина погружения в му-

зыку иногда подменяется высотой прыжка *над* ней. Так в опере партия оркестра «подкладывается» под колоратурную диву, в балете лирик-гений сочиняет 32 фуэте для чьих-то резвых ног, а пламенный романтик, композитор-виртуоз дает волю рукам на клавиатуре. Но невозможно представить себе гениально написанный квартет, где «перевиртуозить» сочинённое ранее являлось бы авторской целью. Квартет — это шестнадцать струн и двадцать минут, за которые композитору надо выразить музыкальную идею и не надоесть. Исполнителю предлагается обогатить, внутренне оркестровать сочинение, работая с тембрами, раздвигая пределы струнного звучания, что делает занятие квартетом особенно привлекательным.

Коллеги мои были одно целое с инструментами и друг с другом, расписание построено по схеме «репетируем всегда». Ближайшая поездка (шесть городов, девять квартетов) предстояла уже через три месяца в Восточную Германию.

О выходных никто не заговаривал и я, попав на вторую строчку партитуры, без репертуара и опыта, впервые в жизни загнала свой язык, как непослушную собаку, в будку из зубов.

Репетиции начинались с настройки по вертикали, от виолончели. На ней замечательно играла полная, милая девушка по имени Валя, которая при видимой мягкости характера, ни у кого не спросясь, в один прекрасный день «прыгнула в дамки», заявив свои права на семейный рай и на дитя. Дитя это попыталось сигануть вон задолго до срока во время наших репетиций квинтета Брамса, выбрав для этого самую подходящую, бурную часть — скерцо. Валю отправили в больницу на сохранение сокровища, а замена её на концерте вышла историческая: с одной репетиции партию виолончели играл с нами её учитель — «бородинец» Валентин Александрович Берлинский.

Далее вверх по партитуре идет альт. Оглядываясь назад и озираясь вокруг, могу сказать, что из всего моего многолетнего музыкантского общения этот опыт поначалу был просто самым неприятным, а завершение его через пять лет имело вполне логичный финал с безобразной кодой. В первые месяцы это были обыкновенные рабочие будни под присмотром бдительной начальницы — заведующей нашими музыкальными делами. Как и в игре, так и в отношениях между артистами всё — и хорошее и плохое — складывается из деталей, мелочей. Например, на вопрос: когда играем, что, где, будет ли автобус, в ответ можно было получить сквозь поджатые губы: ты *меня* спрашиваешь? Хотелось ответить: «ну конечно тебя, черт тебя дери, кого ещё, мы одни в комнате», но вместо этого вопрошающий замолкал с необъяснимым чувством вины. Как бригадире ей полагалось следить за порядком в квартете, а так как порядок уже был, то она неустанно раздувала в нашем семейном очаге огонь любви к труду, устраивая состязания в жертвенности и самоотречении. Тематика была самая разнообразная: кто придёт на репетицию в «самом больном» состоянии; кто первым предложит отказаться от выходного; кто вызовется репетировать сразу после десятичасового автобусного переезда; кто откажется от похода в музей ради самостоятельных занятий (личное дело каждого бойца, по моему разумению), и, что самое унижающее, кто безропотно наденет стародевическое, уродливое, «как у всех», концертное платье. Мой свободолюбивый дух противился этой дрессировке, но делал это молча, тем более, что по молодости лет я легко выносила долгие гастроли, уже успев изрядно поездить с камерным оркестром, да и провести пять часов со скрипкой в руках для меня не составляло труда.

У бригадирши были и другие заботы — наша (моя!) нравственность и политическая безупречность поведения в заграничных поездках. Посещение мною

сауны на фестивале в Кухмо, в Финляндии, было ею расценено как экскурсия на дно. За музейные самоволки мне влетало как салаге-рядовому, так как гулять по городам Европы полагалось по трое, а поскольку мне не объяснили, как четыре женщины могут ходить втроём, то я ходила по-одному, то есть по-одной. Поднимаемся двумя стручками выше по партитуре.

Суетливую и нервную первую скрипачку я знала давно, но не близко, нас разделяло десять гнесинских лет и я не раз слышала её яркую, не слишком аккуратную игру, которая мне тогда не нравилась, так как я в те годы бредила музыкальным аристократизмом, хотя в чем он выражался, объяснить бы не смогла. Необузданные чувства через край, а также привычка елозить на стуле и сопеть во время игры приводили в недоумение, а на сцене порой мешали ансамблю. Позже я поняла, что, при всех издержках, её стиль был все же лучше полного его отсутствия, что аккуратная, нейтральная, «без образа», игра молодых технарей на конкурсных марафонах есть игра *безобразная*. В нашей прима также были два бесспорных достоинства: порядочность и какая-то неловкая, слегка шумная доброта. История её отличалась от обычной биографии изнеженных барчуков из московских музыкальных семей, которые составляли основное население гнесинской школы — десятилетки. Девочкой-подростком она осталась без родителей, с полуграмотной бабушкой и в бедности, немыслимой даже по советским убогим меркам. Бабушка оказалась с пониманием, все усилия были брошены на музыку. Скрипка стала для внучки самым ярким объектом внимания в неказистом ассортименте предметов, окружавших нас в 60-х годах.

Когда глазу не на чем остановиться, невольно прислушиваешься, а слушать в Москве в те годы было кого. Было, как минимум, три симфонических оркестра, которые играли на высочайшем мировом уровне, а также знаменитый Московский Камерный оркестр Рудольфа Баршая (в Москве уже тогда их было несколько, этот был — Государственный), на концертах которого я, зажатая между родителями и первоклашка, мирно спала под concerti grossi Вивальди и Генделя. Моя будущая коллега тогда заканчивала школу, бегала на все концерты солистов и ансамблей и без памяти влюбилась в квартетную музыку, в которой не было равных квартету им. Бородина, входящего тогда в зенит своей славы.

Музыкальный культ личности — дело распространенное и затяжное порой.

В разное время мы все поучились в классах Бородинцев, которые преподавали и в консерватории и в Гнесинке, так что подражания было не избежать. На репетициях они незримо нами руководили и мы не начинали работу над сочинением, не сверившись с их записью, партитурой, размеченной ими, или просто с тем, что вспоминалось из их уроков. Мы усердно «делали жизнь с товарища Дзержинского», по выражению поэта. За этим процессом также бдительно следила наша бригадирша. Прима, к чести её, в конце концов предложила время от времени делать что-то по-нашему, на что партия альта совсем по-ленински прищурила глаз: «а позволь тебя спросить, по-нашему, это как?». Борьба между спорным своим и хорошо проверенным чужим накаляла воздух небольшой комнаты, мы репетировали, то и дело переходя на личности, старое поминали, глаз просился вон, вон хотелось и мне, так как я не умела любить квартет больше музыки вообще, и больше самой себя в музыке. Но я решила все терпеть и выживать.

На первых квартетных порах я сама играла *просто никак*. Лучше не выразить. Неуклюжесть в ансамблевой игре бывает следствием постоянного сравнения своей ноты, якобы чистой, с аккордом, выстроенным тремя людьми с немалым

опытом, и если твоя нота не лезет в общий котел, не годится в дело, то ни твой репертуар, ни количество сыгранных сольных концертов никого не убедят и не взволнуют. Каждый раз, когда настройка затягивалась из-за меня, мне хотелось всё бросить и начать с простой, прозрачной гаммы. Очень мешало то, что любой сложный нотный текст давался моим *запаганиненным* техникой пальцам сразу, легко, но при этом не встраивался в общую картину. И тогда в меня вселялся бес доверия к коллегам, к их критике. Ведь аспирантура была только у меня, некоторый сольный опыт — тоже, и в репертуаре было не пусто — почти весь Бах, сонаты Бетховена, Брамс, Прокофьев, Барток. Но одно дело — игра с роялем, другое — электронная точность струнного аккорда. Я бросила все силы на эту главную проблему и временно «поплыла». Теперь я слышала квартет одной массой, в которой не различала того, что должно дойти до зала, от того, что лучше оставить внутри ансамбля, фона, который был как раз мой материал. Звук мой уже вполне «вливался», не мешал, но и смысла в нем порой было не больше, чем в журчании фонтанчика или в треске воробья. Я могла, поглощенная санитарными заботами, пропустить мимо ушей главную тему квартета, если у самой было чем заняться на тот момент. Идеи, когда таковые меня посещали, приходилось держать при себе, пока я считала себя чужеродным телом. Я долго была музыкальной «вещью в себе», не вмешиваясь в семейные квартетные свары, не оказываясь на линии огня, если бои шли не на моих позициях. Но время шло, копился опыт, и хотелось эксперимента.

После множества сыгранных нами концертов, после унизительных похвал моей незаметности, уменью не мешать, качествам, давно ожидаемым от меня, но прямопротивоположным тому, чему учили педагоги — солисты, я стала искать и нашла, думаю, правильную линию своего музыкального поведения. Я пыталась во всём — в технике, в знании партитуры, в пресловутых уступках — уходе на второй план и особенно в тех редких, упительных моментах, когда главная тема попадала в партию второй скрипки (по недосмотру гения), быть лучшей самой себя! Я из кожи вон лезла, стараясь, чтобы моя скрипка звучала лучше госколлекции, так как у остальных были редкие, арендованные у государства инструменты. Собрав все секреты, которые я помнила по квартетному классу Берлинского, я стала работать поновому. Постепенно я разошлась и порой подтягивала квартетное одеяло на себя — то ярче положенного звучала на концертах, то незаметно подталкивала темп в подвижных частях, рискуя свалить первую скрипку, которая боялась больших скоростей. Главное в этих забавах было — с пользой провести время, которое я привыкла считать загубленным, так как сидела не на первом месте. На деле же — приобретался бесценный опыт мастерства лавирования и контроля над ситуацией. Пресловутые страдания второго скрипача прекратились — они сублимировались в усиленные домашние занятия. На стороне я пыталась играть сама, соглашаясь на то, от чего отказывались известные солисты — новую пьесу молодого автора, отвергнутую всеми экзотическую среднеазиатскую сонату, а однажды — японскую поэму для скрипки, флейты и неукротимого женского воя. Выла флейтистка (слава богу, не я!) в те моменты, когда рот её освобождался от дугтя. Фамилию японского автора я забыла, но этот московский фестиваль под названием «Альтернатива» запомнился по репертуару, в котором крайность новизны, эксперимента, была намеренно противопоставлена тонально-банальной музыке некоторых советских музыкальных вельмож. И опять я работала на замену.

Придя в квартет не из-за любви к именно этой форме музицирования, а по причине дамской безработицы я очень быстро почувствовала, что не только само

дело, но и квартетные путешествия намного труднее оркестровых. Оркестру дают большие деньги на передвижение, расселение, рекламу (попробуй, не заполни зал!), аренду приличного зала в приличном городе. С оркестром едет дирижер — везет свой гонор и амбиции, свои связи и столично-заграничную славу, в лучах которой местным партийным начальникам приятно погреться. Квартету нужно: одно купе, одно такси, четыре стула на любой сцене, один гостиничный номер на четверых, если нет двух номеров. Квартет можно забыть встретить, его афиши — забыть расклеить, квартет сам носит свою «аппаратуру», сам объявляет исполняемое. Вывод: нет такой дыры на необъятных просторах нашей родины, в которую не влез бы этот маленький струнный ансамбль.

По стране — со всеми трудностями быта: невстречами в аэропортах и на станциях, невселением в гостиницу, либо вселением в грязную, без горячей воды, с трясучкой по проселочным дорогам в автобусах «имени Паркинсона» — полагалось ездить без жалоб. Я как-то отважилась написать в книге отзывов Тюменской гостиницы:

«Места такого нет
У человека на теле,
Чтоб вытирать его
Полотенцем вашего отеля».

Последовал тяжелый скандал. От бригадирши мне влетело, хотя немыслимая грязь и падающая на входящего в номер дверь были, безусловно, пределом даже для нашего нетребовательного коллектива. Но все боялись жалоб в Росконцерт — вдруг больше не пригласят?! Надо вытерпеть и неудовольствие свое скрыть, а выместить его потом на репетиции на ... правильно, на втором скрипаче!

Общий корень слов *гастроли*, *гастроном* и *гастрит* объясняет, почему из моего номера иногда пахло супом, сводя коридорных дам с ума. Походная электролитка была для редкого лакомства — мяса, а яичницу и кашу наскоро готовили в паровой ванне рукомойника, заткнув дыру и сунув в воду кипятильник. Кто ездил по родине начала восьмидесятых, помнит эту «популярную посталимпийскую игру: шаром покати». На магазинных полках вместо продуктов можно было увидеть пластмассовые красные ведёрки с зелёными совками для раскопок в детской песочнице. И услышать от продавца восхитительный неологизм: «это сопутка, девочки, сопутка!» То есть, сопутствующие чему-то товары. В некоторых городах молоко продавали по рецепту врача, а в магазинах не было абсолютно никаких средств для наведения чистоты — от зубного порошка до стирального. Семьями, если позволяла зарплата, приходили в ресторан, чтобы пообедать с мясом, приводили маленьких детей, и было ясно, что это — рутинное посещение, а не праздник.

Оазисами в продовольственной пустыне неожиданно оказывались весьма отдаленные места страны. Владивосток порадовал какой-то невиданной в Москве рыбой, Уфа — орехами и мёдом, а в закрытом, режимном городе Североморске около Мурманска, магазины были полны. Маленький город Глазов в Удмуртии показался нам филиалом заграницы. Город выглядел размером с мой родное Бескудниково, но чистый, с вежливыми непьяными жителями, с домашним теплом маленькой гостиницы, в вестибюле которой носились белки в вольере. В ресторане перед нами в мгновение ока оказалось пышущее жаром мясо с хрустящим картофелем и свежими листьями салата и это — зимой! Картина рая после многих часов кошмара по кочкам и лужам в автобусе, где дырявой крыше был дан в помощники мой зонг.

Но далеко не все так называемые режимные города радовали гастролеров относительным благополучием магазинных прилавков и ласковой публикой. Закрытые для посторонних населенные пункты, откуда заранее требовали наши паспортные данные, часто оказывались местами, куда по своей воле могли поехать только доктор Альберт Швейцер или доктор Чехов с подвижнической, гуманитарной целью. Концерты классики там были нужны так же, как оперный фестиваль в африканской деревне во время эпидемии малярии. Когда самолет с квартетом шел на посадку в аэропорту с названием Подкаменная Тунгуска, было достаточно поглядеть в иллюминатор, чтобы понять, что эти места — не про музыку. Я даже не помню наших концертов в районе Абакана, помню только, как я все время старалась не думать «про что» эти места. В городе с символическим названием Свободный колочая проволока начиналась у вокзала и сопровождала нас на всем пути в гостиницу, невольно наводя на мысль, что моему деду повезло с его первой ссылкой — он отбывал её в Красноярске, не здесь. В подобных местах исполнение квартетной музыки приобретает исключительно миссионерский характер, но не надо забывать, что те самые дикари, из-за которых условия жизни там были нечеловеческими, не ходят на концерты и перевоспитанию Бетховеном не поддаются.

Не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Музыку можно и нужно играть везде, где она небезразлична, где её пусть плохо знают (познакомим!), но хотят услышать, не сопротивляются ей. И в любых широтах бывало, что концерт радовал, запоминался надолго. Приведу в пример город Норильск — чемпион по загрязнению воздуха, из которого вся таблица Менделеева так и норовила переселиться в твои легкие. Холод в тот приезд, несмотря на весну, был свирепый, ветер не давал повернуть за угол дома, перевалить через громадный сугроб между мостовой и тротуаром, но зал на нашем концерте был забит и несмотря на то, что всю неделю перед этим не было навигации из-за погоды (в город все товары доставляли самолетом), слушатели несли нам живые цветы, стоявшие, наверное, безумные деньги.

Потом был Якутск. Деревянные дома, глядящие на белый (в полном смысле слова) свет вросшими в снег окнами, дома ещё живые, но, как Голова в «Руслане и Людмиле», постепенно уходящие в землю, поглощаемые вечной мерзлотой. Повсюду над головами людей — арки из проведенных по воздуху и обмотанных паклей труб коммуникаций. И посреди всего этого неуютя нам выпала удача сыграть большой, неурезанный концерт для ученых института астрофизики, которые явились в полном составе и слушали в напряженном молчании. Директор института Ю.Г. Шафер стал первым академиком среди наших слушателей и потом приходил на наши концерты в Москве, приезжая по научным делам.

Была закономерность: в равнодушных к изысканному квартетному жанру местах, где народу иногда в зале набиралось немногим больше, чем на сцене, там — был книжный рай. Чемоданы книг тащила я из Барнаула, Кирова и особенно из Магнитогорска, где мы выступали в профтехучилище, что оставило страшноватые воспоминания. Выход на сцену нашей пышносформированной виолончелистки состоялся под оглушительный свист и восторженное уханье ремесленников. ПТУшные красные уши! Мимо вас пролетел и в головах не застрял дежурный рассказ бригадирши про то, как слеза Льва Николаевича Толстого особенно обильно потекла на медленной части первого квартета Чайковского. Всё внимание ваше сосредоточилось на бедрах, любовно окруживших коллекционную виолончель! Так что после супового набора из знаменитого Анданте Кантатиле Чайковского, Пассакальи Генделя и обработок народных песен мы поскорее унесли ноги под охраной директора.

И конечно, вспоминается моя первая гастрольная «заграница». Это были первые мои гастроли в квартете. Ответственные, так как почти сольные, точнее, в одну четверть сольные, а выразиться ещё точнее — уже будет обидно, ведь как не крути, квартетные четвертинки эти если и равны, то не тождественны.

Магдебург был первым европейским городом, которому предстояло наслаждаться звуками моей второй скрипки. Несколько слов о ней, этой моей верной подруге вот уже более тридцати лет. Работы неизвестного мастера, итальянца или француза, конца 18-го века или начала 19-го, с разноцветным, где медовым, где темно-красным лаком, с немислимой красоты «спиной» и подозрительной верхней декой — скрипку мою можно сравнить с умной, красивой и верной собакой неопределенных пород, по отношению к которой вместо благородного «эклектизм» употребляется оскорбительное «метис». И, совсем как собачьи метисы, она отличается редкой выносливостью. Пять раз играла она в Заполярье, пересекла страну от Мурманска до Владивостока, от Норильска до Крыма — все без единой жалобы, не сбиваясь с тона. В редких (к сожалению) сольных выступлениях с симфоническим оркестром моя голосистая подруга не давала себя перекрыть, не говоря уж об оркестре камерном. Так что сравнение с верным псом — почетное весьма.

Город Магдебург так моего метиса и не услышал: Госконцерт оправдал свою репутацию учреждения в духе Гоголя, эдакой телеги, колеса которой смазывались взятками. Госконцерт «забыл» взять квартету билеты на самолет. Мы порознь и слишком поздно попали на место, где нас ждала скромная, но идеально чистая гостиница с пышными, почти невесомыми перинами, как будто из сказки «Матушка Метелица», и окнами на заснеженный собор, разбудивший меня ля-мажорным золотым перезвоном на следующее утро — в воскресенье. Пришлось однако, не сыграв там ни одной ноты, утром этот чудный «братьяgrimмовский» городок покинуть ради города Лейпцига, последнего города Баха — его трудов, безденежья, смерти.

Лейпциг был самым «страшным», ответственным пунктом в поездке. И как раз с него пришлось начать, так как сорвался концерт в Магдебурге, намеченный нами как репетиция к лейпцигскому Гевандхаузу — залу знаменитому. Гевандхауз сразу преподнес мне два сюрприза: до зеркального блеска доведенный паркет сцены, отражавший всё: завиток скрипки, руку со смычком и не только мой кружевной подол, но и его нервное подраживание. Второй неожиданностью для меня было отсутствие трех стен, этой необходимой ограды вокруг артиста. Эшафот, притворявшийся эстрадой, был окружен людьми, чьи глаза и уши почему-то особенно остро ощущались спиной. Эти неудобства полностью искупались замечательной акустикой и публикой, очень хорошо к нам настроенной, от которой в таких случаях идут на сцену почти осязаемые волны доброжелательности. Концерт прошел удачно.

Церковь Св. Фомы. Строго, скромно, но какая-то сдержанная радость хоть и небольшого, домашнего, но всё же праздника, есть в этой тишине, по временам нарушаемой пассажирами невидимого органиста. Идя по проходу, неизбежно ступаешь по великому слову, высеченному в мраморной плите, а когда орган оглушит тебя сверху аккордом, опустишь глаза и тут-то видишь, по чьему имени ты прошел. В белизне высоких сводов сливается несоединимое: Бах — божество и великий подёнщик под грузом учеников, церковных служб, музыкальных заказов, долгов, наверно. Бах слепнувший — расплата за ранний жар творческого любопытства; Бах — беспокойный отец детей без числа! Заведя огромную семью, великий мастер как бы принял на себя долг всех своих холостых, бездетных коллег -эгоистов. Я была

в Лейпциге дважды по три дня и в каждом из этих дней без напряжения сил нашлось время для Святого Фомы — навещала Баха, как любимого родственника, радостно. Квартетисты Баха не играют. Разве что Искусство Фуги...

В нелегкой судьбе концертного исполнителя женского пола неизбежно наступает момент «сейчас или никогда». Если тебе около тридцати, значит готовиться на международный конкурс уже поздно, а рожать — в самый раз. Вслед за нашей виолончелисткой, чей прелестный малыш с льяными кудряшками постоянно напоминал мне о невыполненном долге перед природой, я пошла в атаку на главный принцип, священный постулат женских коллективов: во всём быть лучше музыкантов-мужчин.

Тяжести носить без жалоб!

Сразу после перелета Москва — Хабаровск — марш на репетицию!

Лунные недомогания (если хватало наглости позволить себе подобное в поездках) — в расчет не принимать!

В свое время появление квартетного первенца было принято мной с энтузиазмом, но ознаменовалось бурным скандалом, в ходе которого меня обвиняли в потакании Вале, сговоре с ней, «подбивании на беременность», хорошо ещё, что не в самом зачатии. Поэтому свою собственную страшную тайну я хранила так долго, как только позволяла природа, а на репетициях, ссылаясь всё на ту же природу, часто отлучалась, чтобы с аппетитом и без помех съесть хрустящий соленый огурец, сидя на крышке унитаза.

Но настало время прекратить работу, так как мой сын ещё задолго до своего появления на свет принялся бунтовать против перелетов, смены часовых поясов и самое главное, против ежедневных репетиционных схваток, которые превратить в родовые — ему было раз плюнуть. Я тайком вынашивала сына, а заодно и коварный план своего ухода в отпуск, не желая доводить дело до жертв и разрушений здоровья. На помощь пришла советская медицина, которая при всех своих ужасных недостатках давала роженицам широченную зеленую улицу длиной от года до трех! Врачи быстро окрестили мою группу риска «пожилая первородящая», очевидно на контрасте с «молодой живородящей». Старушка — акушерка долго расспрашивала меня об особенностях нашей концертной жизни и в результате запретила всякие перелеты и *любую нервную деятельность кроме высшей нервной деятельности*. Я ушла в возмутительно долгий отпуск и летом, при помощи французского коньяка и советских рублей, в строго запланированный день и час, ярко-рыжий младенец появился на свет на манер великого кесаря. Это мне было наградой за такелажную часть гастрольной работы, за таскание *оппиа теа* — от инструмента до походной электроплитки.

За время моего отсутствия в квартете произошел государственный переворот. Альтистка, единственная из квартета, совершенно неожиданно для всех получила звание Заслуженной Артистки Российской Федерации. Помимо денежной надбавки и отдельного номера в гостиницах это давало ей также право на то, чтобы её имя и звание пропечатывались в афишах без указания фамилий остальных артистов. Получалось, что квартет — союз равных — работает под началом одного из четырех. Поступок этот был расценен как предательство даже нашими конкурент-

ками из других квартетов. Полученное ею звание вмиг развалило годами существовавший ансамбль — верхняя и нижняя строчки партитуры без промедлений ушли. Первая скрипачка уехала в Израиль на престижное преподавательское место, а Валя ушла в другой, первоклассный, женский квартет. У меня выбора не было — из декретного отпуска сперва полагалось вернуться на прежнее место, что я и сделала, как только сына удалось посадить на горшок и финскую молочную смесь.

Получение звания даже не лидером, которым обычно бывает первый скрипач, а одним членом в коллективе из четырех было таким грубейшим нарушением музыкантской, товарищеской этики, что вопрос «как тебя угораздило?!» постоянно висел у меня на языке. На репетициях стало трудно дышать. Работа тем не менее какое-то время продолжалась, мы репетировали в полном молчании, не глядя друг на друга. Я сидела теперь на первом месте, но меня это уже не радовало, квартет перестал существовать как союз музыкантов, быть общим делом, а превратился в концертную бригаду по обслуживанию населения музыкой в составе начальницы, скрипачки и двух постоянно меняющихся статистов без права голоса и без малейшего интереса к судьбе ансамбля. Я постоянно обдумывала свой побег, но дело затруднялось обычной волокитой — выплата мне зарплаты за полгода отсутствия задерживалась и похоже было, что предстоит борьба. Никакие звонки в бухгалтерию не помогали, хождение по судам исключалось, и мы с мужем поехали выбирать проклятые деньги из филармонии, находившейся в уездном городе в двух часах от Москвы. В кармане у меня лежало заявление об уходе, в голове был план — получить все до копейки, а потом поскорее уволить самоё себя по собственному страстному желанию.

Директор был гладкий, сытый человек, с круглым лицом и быстрыми глазками. На конкретно поставленный вопрос «где деньги?» он ответил в типично советской манере, вопросом «что там у вас происходит в коллективе?» И пошло...

Он явно знал все в деталях: и про уход половины квартета и про звание, наверняка полученное не без его начальственных рекомендаций. Поэтому, игнорируя вопрос, я продолжала стоять на позициях хищных, меркантильных, произнося слова, которые от самой себя слышала впервые. Директор начал проповедовать, что в искусстве деньги — не главное, а закончил угрожающим: «я — номенклатура обкома!» Лицо его при этом порозовело. Что таилось в этом признании, чем оно мне грозило, мы так и не узнали, потому что директор при этих словах вдруг вынул из ящика стола папку и предъявил мне самый настоящий донос. В послании аккурратным почерком ябеды-отличницы говорилось о моём *отлынивании от работы под предлогом грудного ребенка, отказе от поездок по стране и от репетиций*. Опус Заслуженной Артистки был первым доносом, который я увидела своими глазами и вдобавок чистейшим враньём, поскольку я вернулась на работу раньше срока как раз для нашей поездки по Средней Азии. Не успела я захлопнуть разинутый в изумлении рот, чтобы заново открыть его и самовыразиться по полной программе, как мой муж, до того молчавший, предотвратил мое красноречие, тихо выложив на стол книжечку со словом ПРЕССА. Художник, работавший в периодической печати, он состоял в союзе журналистов.

Эффекта книжечки мы не ожидали. Директор минуты две сидел неподвижно, а затем превратился в нашего лучшего друга. Если бы я назвала сумму намного выше той, что мне причиталась, без сомнения я бы её от него получила. Это был конец восьмидесятых, от прессы можно было ожидать любых откровений, а закон, хоть и регулируемый взяткой, пока ещё был. *И черт её знает, может, эта*

скандальная скрипачка заглянула в тот раздел трудового законодательства, где затрагивается материнство? Честно скажу: не заглянула.

В последние пару месяцев в квартет постоянно пробоваались вторые скрипачки, все они казались девушками случайными, безразличными, что и неудивительно — мало кого привлекала работа в такой несчастливой, неправильной квартетной «семье». Но однажды появилась Лариса, у нее был очень красивый звук, ансамблевая чуткость, шутки ловились ею слёту и после серии концертов по Средней Азии мы без труда создали новый квартет. Он просуществовал вплоть до моего отъезда и принес нам выступления, записи, несколько интересных встреч и даже привел нас туда, куда ведут все дороги, и в том числе лучшая из всех дорог, музыкальная — в Рим.

За 9 лет квартетной работы ко мне на пульт не раз попадала музыка, которой лучше было бы вовсе не появляться на свет и никогда не звучать.

Я не убеждена, что «страна должна знать своих героев», поэтому обойдусь без имен. Но было много музыки замечательной, а также немало встреч с её авторами. Эти встречи были подобны оазисам в пустыне музыкальной рутинной работы, необходимой для выполнения годового концертного плана.

Альфред Шнитке

Играть живых нелегко. Даже если автор — человек воспитанный и предпочитает скрывать свое недовольство исполнителями. Даже если совсем не вмешивается в процесс. Альфред Шнитке в начале восьмидесятых был уже широко известен на Западе. На родине его творчество также вызывало огромный интерес, чему только способствовали жаркие споры вокруг композитора. И музыканты, и публика — им все интересовались, а всяческие запрещения и препятствия, чинимые ему музыкальным начальством, исполнителей только раззадоривали — эту музыку хотели играть.

Альфред Гарриевич пришел в Гнесинку, когда мы репетировали его квартет. Слушал он с таким вниманием, что даже привнес этим дополнительное напряжение в нашу игру, по крайней мере, в мою. Он одобрил исполнение, а затем и удивил немало. В одном месте у нас не строил аккорд, как мы не старались, все время получалось фальшиво, что не было авторским замыслом (а иногда бывает!). После наших попыток как-то приспособиться, композитор сказал, что попробует переписать этот такт. Мы играли по рукописным нотам, и через пару дней автор вписал изменение, аккорд зазвучал. Случай довольно редкий — обычно творцы не идут навстречу желанию трудящихся и не лобят что-то менять в уже завершенной работе.

Мы много раз играли знаменитый фортепианный квинтет Шнитке — с его женой, Ириной Федоровной и с другими пианистами. Особенно запомнился его авторский вечер в Пушкинском музее на Пречистенке (тогда Кропоткинской), который композитор открыл небольшим вступлением, говорил о киномузыке, о режиссерах Швейцере и Хржановском, чьи фильмы показали в конце программы. Закончил тем, что поблагодарил слушателей, до отказа заполнивших небольшой зал, за то, что они «пришли на эту встречу, принеся в жертву самое драгоценное, что есть

у человека — его время». Почему-то я поежилась тогда, как от холода, мне показалось, что и в самой интонации этой фразы и в его грустном, немного отсутствующем взгляде промелькнуло на миг какое-то беспокойство.

Все, что происходило в тот вечер, гармонично и неслучайно соединилось для того, чтобы впечатление осталось на всю жизнь. Медленно падал крупный снег вокруг фонарей на бульваре, большие синие сугробы золотил свет, льющийся из окон особняка — Пушкинского музея. Интеллигентная, слегка ироничная, милая московская публика была не слишком старой, но и не вызывающе-юной, вроде той, что всегда бывает на концертах авангардистов. *Своя*, родная публика. Тем, кто хорошо знал музыку Шнитке, уже было ясно, что она — не вызов, не эпатаж, а органичное продолжение русско-европейской музыкальной традиции. Что шок, каким она отзывается в зале, это не встряска слушательских нервов, а наша реакция на предвещающие беду глубокие подземные толчки, которые возникают из-за нарастающего напряжения в недрах вулкана.

Квинтетом, который мы в тот вечер играли с Ириной Шнитке, автор остался доволен, радостно было увидеть оживление на его усталом, серьезном лице. Музыка к «Маленьким Трагедиям» Швейцера и к мультфильму Хржановского по рисункам Пушкина была замечательна и неотделима от изображения. Она не дополняла, не оформляла экранное действие, она была его смыслом, причиной.

После концерта музейные хранительницы организовали нам чай в маленьком кабинете. Пирог — легкий, как «пух от уст Эола», был сотворен кем-то из московских потомков Пушкина, но автор пирога из деликатности устранился и любопытство наше не удовлетворил.

Разговоры за чаем шли о мультипликации, так как присутствовал Хржановский, о Пушкине — всвязи с пирогом и о Пушкинском Фаусте. Со сцены Фауста и Мефистофеля начинается фильм Швейцера, который тоже, кстати, сидел за столом. Говорили о книге «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Я была два года больна этим романом, в котором время, особое, творческое, насыщенное музыкой время покупается страшной ценой потери разума. Купивший время погружается в безумие, разрушается человеческая сущность музыканта — творца. С трудом избавилась я от наваждения, только когда написала аспирантскую дипломную работу по этой книге. Реферат мой погребен в архивах консерватории, я не помню сейчас даже его названия, но в тот вечер рискнула поддержать разговор, начатый Альфредом Гарриевичем и сразу почувствовала, что тема Фауста была одним из «лейтмотивов» его жизни. Было ли это оттого, что он примерял к себе судьбу несчастного композитора Адриана Леверкюна, страдальца и новатора или, как пришло мне в голову позднее, уже предчувствовал свою болезнь. Есть сюжеты в мировой литературе, которых исполнители — будь то актеры, режиссеры или музыканты суеверно боятся, к которым прикасаются осторожно, а то и вовсе не берутся за них. О «Пиковой Даме» ходят легенды, что художники, работавшие над сюжетом в том или ином его виде бывало что и умирали, и с ума сходили. Пьесе «Макбет» в английских театрах актеры называют: «*the It play*», избегая имени проклятого убийцы, хотя играют повсюду. Вместе с Фаустом эти три роковые сочинения страшны еще и тем, что все они — Макбет, Фауст и даже Графиня (с оговорками) — БЫЛИ! Это реальные люди, такие же, как граф Сен Жермен, который, говорят, подсказал княгине Голицыной, прототипу Графини — злостные три карты. Вот от одного этого уже мурашки по телу...

Фауст продолжал существовать в музыке Альфреда Шнитке до конца жизни. Кантата была написана уже тогда, до болезни, опера появилась через 11 лет.

Эта встреча в Пушкинском Музее оказалась последней. После инсульта он через какое-то время вернулся к работе, я ходила на концерты новых сочинений Шнитке, но никогда больше не видела композитора. Уже в Америке мне удалось поставить Concerto Grosso № 3 для двух солирующих скрипок в репертуар одного камерного оркестра и сыграть с американским скрипачем Джоди Гэтвудом в 1992 году. Кажется, это было первое исполнение в штате Вирджиния.

Франсуа Вийон и Александр Локшин

В начале 80х в Москве ежегодно проводился Международный Фестиваль Современной Музыки. В то время моим домом был поезд Красная Стрела, который мотал меня между Ленинградом, где проходила моя аспирантская жизнь и Москвой, где была собственно жизнь, которая, как известно из упомянутой выше оперы «Пиковая Дама», есть не что иное, как ИГРА. Эта самая игра, и камерная и сольная (если повезет), была в Москве. Мне предложили выступить в первом же фестивальном концерте вместо известного скрипача, загруженного сверх меры, как и многие виртуозы в период фестиваля, сочинениями именитых гостей. Доставшаяся мне соната турецкого классика не была, мягко говоря, шедевром. В таких случаях надо сделать вид, что любишь творение как самое себя и найти, за что его любить. Над этим притворством работаешь, создаешь себе всяческие «манки» и если хоть кто-то в зале поверит в эту любовь — считай, удалось что-то сотворить. Или натворить, если угодно.

Выйдя на сцену Колонного Зала Дома Союзов, кланяясь, я сразу же уперлась глазами в авангард советской музыки, сидевший в первом ряду — в Щедрина, Денисова, Шнитке, а заодно и в Тихона Хренникова, которого тоже можно считать авангардом, хотя и в несколько другом смысле. Я слегка запаниковала, почувствовав личную ответственность, как будто сама написала это слабое, беззубое сочинение. Спасла меня от опасного страха пианистка, верный друг и в жизни, и по ансамблю — Манана Гоголашвили. Она села за рояль и дала мне «ля», добавив к нему аккорд и тихое заклинание. Манану отличало виртуозное владение моментом, когда срочно требовался юмор для обретения силы духа. Юмор же в сонате заключался в метре (размере) первого аллегро. Оно считалось на семь восьмых, то есть: раз-два, раз-два, раз-два-три, что само по себе нормально. Но чередование двух пар и злосчастной трёшки было абсолютно произвольным, непредсказуемым, поскольку не несло в себе никакого содержания, а бессмыслица в быстром темпе угрожает катастрофой. Надо было наделить турецкий шедевр недостающей ему логикой и мы положили музыку на глубокомысленный текст: «ж-па, ж-па, зад-ни-ца!» Раз-два, раз-два, раз-два-три! Пока я настраивала скрипку, Манана вполголоса освежила для меня тезис и все прошло благополучно.

Участие в концерте знаменитого Вигольда Лютославского привлекло в зал всю музыкальную Москву, и за сценой было столпотворение. После исполнения двойного концерта для гобоя, арфы и оркестра под управлением автора к пожилому красавцу Лютославскому выстроилась длинная очередь, а к нам с Мананой подошел очень худой, сутулый человек с тонким и умным лицом — композитор Александр Лазаревич Локшин. Он сердечно нас поздравил, чем немало обрадовал, мы знали, что похвала этого музыканта дорогого стоит.

Невозможно не вспомнить здесь о Локшине, особенно теперь, когда, благодаря интернету, его гениальная музыка доступна большой аудитории и умножается не только количество её слушателей, но и музыкантов, желающих её исполнять.

Наши семьи были знакомы, Татьяна Борисовна Локшина работала с моим отцом над итальянским словарем, с мамой они когда-то учились в одном институте. Александра Лазаревича я впервые увидела у нас дома играющим на пианино «Родина» свою симфонию с вокалом на стихи Киплинга. Композитор пел, время от времени останавливаясь и уточняя у моего отца, переводчика, детали английского текста, очевидно, добиваясь полного слияния слога с мелодией. Превращение «Родины» из предмета полу-мебели в грохочущий оркестр под пальцами Локшина было волшебством. Слова: «boots, boots!» потом долго чеканили шаг в моем юном мозгу, вытеснив примитивное маршеобразие той музыки, под которую меня за пару дней до того принимали в пионеры.

С тех пор отец всегда брал меня на премьеры и концерты сочинений Локшина. Несмотря на то, что его музыка звучала нечасто, в училище Гнесиных студенты-теоретики о нем говорили с любопытством и пиететом, называя русским Малером. Струнники по истории музыки не проходили даже австрийского Малера, так что всё, что было за пределами программы, мы узнавали от наших товарищей — будущих композиторов и критиков.

Когда Александр Лазаревич предложил мне почитать свою сюиту для тенора и струнного квартета, я отменила очередную «Красную Стрелу» и пришла к Локшиным со скрипкой. Музыка была прекрасна. Стихи же Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, в свое время опубликованные, разрешенные, в конце концов явились непреодолимой преградой для проникновения сюиты в советский эфир.

Ты жив, прохожий,
Погляди на нас,
Тебя мы ждем не первую неделю,
Гляди — мы выставлены напоказ,
Нас было пятеро,
Мы жить хотели,
Но нас повесили,
Мы почернели,
Мы жили, как и ты,
Нас больше нет...

Слушать замечательное пение Алексея Мартынова, и играть с листа было нелегко из-за напряженного сцепления звука со словом, да еще с таким словом! Сам выбор поэзии меня потряс, даже после страшных текстов четырнадцатой симфонии Шостаковича с «тремя лилиями» Аполлинера стихи Вийона казались вышедшими из какого-то бездонного мрака. Музыка дышала скорбью, слезами. Даже при первом чтении такой музыки уже хочется следовать смыслу фразы, подчиняясь музыкальной интонации, что было для меня делом новым, я никогда не играла ничего подобного, да к тому же и не видела партитуры заранее. Думаю, что если бы тогда эта запись состоялась, я бы вложила в нее всю душу. Но идеологов на радио испугал Вийон — бесстрашный правдолюб, этакий средневековый Владимир Высоцкий — и проект зарубили. Записали сочинение намного позже, уже после смерти автора. Теперь сюиту на стихи Вийона можно услышать в исполнении А. Мартынова и ансамбля «Северная Корона».

Несколько лет назад, блуждая по интернету «в поисках утраченной музыки», то есть музыки, в свое время украденной у слушателя и у нас, музыкантов, я увидела знакомое тонкое, выразительное лицо и столь не вязавшееся с фотографией название «Гений Зла». Это была книга Александра Локшина-младшего об отце. Я читала всю ночь, то разъярясь от нелепости обвинений против композитора, то впадая в отчаянье из-за того, что присоединять свой голос в защиту мастера было уже поздно — удар уже был нанесен — прилюдно, бездумно и жестоко. В «Гении зла» сын Александра Лазаревича восстановил доброе имя отца, доказав его абсолютную непричастность к аресту двух людей, которые, вернувшись из лагеря, обвинили Локшина в доносительстве. Мне больно было сознавать, что в те годы, когда я увлеченно, но беспечно обсуждала его музыку с юными однокурсниками, с моими родителями после концертов, когда мы приятельствовали с Шурой Локшиным, моим ровесником, я понятия не имела, какой чудовищно трудной была жизнь этой семьи. И мрачные стихи, выбранные композитором для сюиты, теперь кажутся мне отражением того отчаянья и одиночества, через которое проходит невиновный, оклеветанный человек.

Музыку Локшина будут исполнять, слушать, она будет получать всё большее признание, теоретики будут спорить насчет влияния на него Малера и даже влияния самого Локшина на Шостаковича, в свое время назвавшего его гением. А я буду вспоминать скромную квартиру на Юго-Западе Москвы, худого, сутулившегося над клавиатурой человека с тонкими чертами лица и стихи Франсуа Вийона.

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне — страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Валерий Арзуманов

За исключением каденций разной продолжительности, которыми исполнители прошлого украшали скрипичные концерты, импровизируя прямо на сцене, я никогда не сочиняла музыки. Гармоническая тупость свойственна, увы, многим скрипачам из-за нашего линейного слуха, одноголосной «зашоренности». А без гармонии нет композитора. Даже сочиняя каденции, загуляв по пассажам и арпеджиям, мне иногда трудно «найти дорогу домой», в главную тональность и вернуться в объятия оркестра. Но, каковы бы ни были мои каденции к концертам, играть на сцене *своей* всегда приятно.

А что делать, если полюбишь чье-то сочинение так, что его хочется не только играть, но и дирижировать, преподавать, да и этого недостаточно? Будь это стихи, влюбившись в оригинал, можно его перевести на другой язык, как бы поделиться им. Аранжировка — тот же перевод. Есть скрипичные версии ноктюрнов

Скрябина и Шопена, есть переложения сольных скрипичных пьес Баха Рахманиновым, это всё результат влюбленности, своеобразная «жажда обладания», для инструменталистов — обладания в прямом, физическом смысле. Я прошла через эту влюбленность в сочинение, расстаться с которым после исполнения мне никак не удавалось — продолжала носить его в голове и то и дело заглядывать в партитуру. Это был квартет Валерия Арзуманова.

В конце 80-ых в Москве всё чаще появлялись музыканты, в свое время безнадежно исчезнувшие с концертной орбиты. Посещения эти, наконец-то разрешенные властями, из ностальгических скоро превратились в деловые — в концерты, творческие встречи, даже записи на радио. Глазам и ушам не верилось, когда Гидон Кремер, уехавший чуть ли не 10 лет назад, приехал в Москву и дал концерт в консерватории. Концерт задержали на полтора часа, мы думали, что его отменят и все равно толпились в вестибюле зала. Настроение тогда было веселое, в студенческой толпе звучали шутки типа: «...две тысячи восторженных поклонников ренегата, изменника родины, ивана-родства-не-помнящего, категорически отказались покинуть помещение Большого Зала Московской...» и тому подобный вздор. Выступление Кремера стало символом либеральных перемен в музыкальной жизни. Всё задышало.

В новом квартете мы играли много новой музыки, но теперь она проходила строгий отбор. Я неожиданно приобрела некоторую популярность, что обычно обнаруживалось в буфете Всесоюзного Дома Композиторов. Творец, заметив меня, подходил к столу с улыбкой и щедрыми комплиментами нашему квартету, но, если я видела, что, пожимая мне руку, он в левой руке держит наготове партитуру и уже норовит мне её вручить, я на всякий случай своей левой — хваталась за бутерброд или чашку. Эти маленькие хитрости распространялись на авторов, которых я не знала и не хотела обидеть отказом. Но о появлении хорошей музыки неизбежно шла молва, её важно было не упустить.

Имя Валерия Арзуманова, родившегося за Полярным Кругом, учившегося в Ленинграде (а затем и во Франции, у Оливье Мессяна), приехавшего из Нормандии, где он до сих пор живет в городе с прелестным названием Ё (Eu), мне было неизвестно. Партитура его квартета пришла от композитора Юрия Буцко, музыку которого я играла в то время в камерном оркестре с большим энтузиазмом. Посидев над партитурой Арзуманова час, я побежала за партиями, боясь, как бы сочинение не перехватили, и даже не спросив у Буцко, будет ли, собственно говоря, концерт, или запись — все это было неважно, я уже любила квартет «глазами», остальное было за малым — сесть и выучить!

Квартет был ранний, наверное, испытавший всякие «влияния», но я оставляю это музыковедам. В нем было столько красоты, что руки радовались от прикосновения к скрипке каждой его ноты. В финале, в самом конце, музыка растворялась флажолетами, ушывая под небеса, оставляя на земле то ли печаль, то ли надежду и в этой зыбкой неопределенности тоже была красота.

Мы гадали, как выглядит автор, вычисляя его по схеме «каждый пишет себя». По музыке и франко-армянским ассоциациям нам представлялся человек хрупкий, трогательный и очень «заводной». Кто-то вроде Шарля Азнавура. А в комнату вошел Пьер Безухов с сумным, добрым лицом, спокойный, крупный. Французом он, конечно, не был, но европейцем — безусловно. На одной из репетиций европейская выдержка в какой-то момент ему изменила, и вдруг открылось, как много значит для него приезд на родину, признание здесь его музыки. Мы как раз доиграли финал, улетела последняя нота, и у меня вырвалось, без всякого намере-

ния сделать комплимент, абсолютно искренне: «какая гениальная музыка!» Автор, не говоря ни слова, внезапно вскочил и исчез на кухне. Справившись с эмоциями, вернулся, мы играли, он некоторое время молчал, а я проклинала свой длинный язык. И все-таки правда то, что каждый пишет себя, свое сердце — Валерий Арзуманов оказался человеком сверхчувствительным.

Мы исполнили квартет в нескольких концертах, потом была запись на радио, а затем с разрешения автора я взялась сделать переложение для камерного оркестра, то есть, превратить квартет в симфонию. На шестисотковой даче по Савеловской дороге, близ деревни Свистуха, пять дней в неделю я пасла трехлетнего сына и писала свою первую партитуру. И была, без всяких преувеличений, абсолютно счастлива. Надо было добавить контрабас, расширить звучание, сохранив его прозрачность. Были недоразумения: контрабас из-за низкого регистра записывается на октаву выше реального звучания, а я, не ленись, подставляла под нотный стандобавочные линейки без числа, при этом не переставая проклинать контрабасовую «низость». К счастью, композитор этого позора не увидел, так как я догадалась показать черновик знакомому дирижеру. После истории с контрабасом я положила рядом восьмой квартет Шостаковича и великолепное оркестровое переложение Рудольфа Баршая, известное публике как Камерная Симфония. Это мне очень помогло.

Партитуру Валерий Арзуманов похвалил, мне удалось исполнить переложение в Америке дважды, второе исполнение было вполне удачным, потом его сыграли и во Франции. Надпись автора на моей партитуре такая лестная, что я с удовольствием перечитываю её всякий раз, когда возникают трудности с самооценкой, будь то работа над новой аранжировкой, или скрипичной каденцией.

Запись квартета Арзуманова в фонд радио была моей последней работой в СССР. Я прослушивала её в аппаратной за два дня до отъезда в США и за три недели до событий августа 1991 года.



Борис Тененбаум

ХАРТИЯ И ЛЕГИОН

Глава из новой книги "Израильские войны"

В английском языке имя "Хаим" отсутствует — поэтому профессора Хаима Вейцмана в Англии называли Чарльзом, это звучало как-то понятней. Но в тех краях, где профессор родился, имя Хаим было столь же обычным, как имя Жан где-нибудь во Франции: Вейцман родился в черте оседлости Российской империи, в местечке Мотоль возле города Пинска, в многодетной еврейской семье торговца лесом — третьим из пятнадцати детей — и до 11 лет учился в хедере.

Ну, а потом родители решили, что Хаим должен поучиться чему-то и вне еврейской системы образования.

В гимназию его, конечно, не взяли — квота на прием туда евреев была узка — но реальное училище он все-таки окончил. И обнаружил при этом такие способности, что сумел поступить в Политехнический Институт в Дармштадте, а затем и в Королевский Технический Колледж в Берлине. А докторскую степень по химии получил в 1899 году, но не в Германии, а в Швейцарии, во Фрибурге.

Ему было тогда 25 лет.

Хаим Вейцман некоторое время преподавал химию в Женеве, а в 1904 переехал в Англию, в университет города Манчестера.

Доктор любил говорить, что он просто "... еврей из Мотоля и всего лишь неполный профессор в провинциальном университете ..." — но это не следует принимать так уж всерьез.

Он хорошо усвоил обычаи своей новой родины, и знал, что такое "power of understatement" — "сила недоговоренности".

В конце концов, доктор Вейцман был знаком с такими людьми, как Уинстон Черчилль, лорд Бальфур, и даже с самим Дэвидом Ллойд Джорджем — и не потому, что был "... всего лишь неполным профессором...".

Собственно, дело было даже и не в научных заслугах профессора Вейцмана — министры правительства Его Величества были люди занятые, и у них не было времени вникать во всякие там тонкости проблем на стыке химии — и ее приложений в биологии.

Или, допустим, размышлять о жизнедеятельности бактерии *Clostridium acetobutylicum* — ее иной раз называют еще "организмом Вейцмана" — но это для министров было неважно.

Однако на основании своих работ с этой самой бактерией Хаим Вейцман весной 1915 года подал заявку на британский патент № 4845, связанный с особым видом ферментации. Использование этого патента позволило решить проблему производства дешевого ацетона.

Вот это для Великобритании стало очень важно — ацетон был необходим для производства кордита — английского бездымного пороха. А министром вооружений в 1915 году, после так называемого "снарядного кризиса", был назначен Дэвид Ллойд Джордж.

В 1916 он стал премьер-министром.

II

Гершон Блейхредер был личным банкиром Бисмарка и в силу этого — очень важной персоной. В Пруссии его награждали орденами, дали дворянский титул — что для некрещенного еврея было случаем уникальным — ну и, наконец, он был самым богатым человеком Берлина. Если в его доме, например, устраивался "частный" обед, то на него бывали приглашены и послы иностранных держав, и прусские дипломаты. Приглашение на бал с благодарностью принималось, общество собиралось самое аристократическое, музыка и угощение были поистине изысканными.

При этом единственной барышней, не получившей за весь вечер ни единого приглашения на танец, была дочь хозяина дома.

Почему так получалось?

Бисмарк объединил Германию, как и обещал, "...железом и кровью...", инструментом же ему послужило военное сословие прусских дворян.

Разумеется, престиж военных взлетел до небес.

В их среде не любили ни говорунов-депутатов, ни адвокатов, ни бюргеров вообще. А уж Блейхредер, еврей — и в силу этого сомнительный даже и как бюргер — вдруг возведенный в дворянство иполучивший право именоваться Freier, с прибавкой к фамилии аристократической прибавки "фон" — вызывал у них просто конвульсии.

Даже сын Бисмарка, Герберт, хорошо знавший, насколько полезен был Блейхредер его отцу, и то сообщал в письме к приятелю, как неприятно истинному джентльмену "...зависеть от грязного еврея..."

В Англии это было совершенно не так.

Можно привести совершенно конкретный пример — примерно в то самое время, когда Герберт фон Бисмарк столь искренне делился с другом своими движениями души, в Англии прошла шумная светская церемония.

Лорд Розбери женился на одной из наследниц лондонских Ротшильдов.

Лорд — Арчибальд Филипп Примроз, 5-й эрл Розбери — был отпрыском одного из самых аристократических семейств Великобритании. На свадьбе присутствовал принц Уэльский — и Ротшильды породнились с Примрозами в присутствии наследника престола...

Как мы видим, в Англии большие деньги или большие дарования давали и большие возможности, вне зависимости от "...случайностей рождения..."

Ну, а Хаим Вейцман жил в Великобритании с 1904 года, английские обычаи успел освоить — а с 1916 вообще занимал пост научного советника по химии при Адмиралтействе. И поэтому — согласно легенде — на вопрос Ллойд Джорджа — "Что мы могли бы для вас сделать?" — ответил, что ему лично ничего не надо, но для своего народа он и в самом деле хотел бы получить у Англии дар.

И попросил Хартию.

Легенда — она и есть легенда, ее мнимая достоверность, как правило, ошибочна. Начнем с того, что в Великобритании даже премьер-министр не имеет полномочий на "...раздачи хартий по просьбам отличившихся..."

Действительность была гораздо сложнее.

III

Теодор Герцль по воспитанию был истинным европейцем своего времени — религия в его жизни особой роли не играла, и о еврействе своем он вспомнил только тогда, когда в качестве корреспондента либеральной венской газеты "Neue Freie Presse" в Париже освещал так называемое "Дело Дрейфуса".

Сводилось оно к обвинению в шпионаже капитана Альфреда Дрейфуса, офицера французского генерального штаба. Франция в деле эмансипации своих граждан иудейской веры шла впереди всей Европы, и для Дрейфуса, еврея родом из Эльзаса, оказалось возможным не только стать офицером, но даже и состоять на службе в генштабе.

Капитана судили, признали виновным, и приговорили к разжалованию и пожизненному заключению в далекой колонии.

А потом дело начало рассypаться. Обвинение было основано на более чем шатких уликах. В попытке усилить доказательства их начали "...улучшать..." — в ход пошли фальшивки. Их разоблачили. Разоблачение было оспорено на основании того, что "...честь французской армии — превыше всего...", превыше даже правды.

Скандал все разрастался, и в итоге расколот Францию на два лагеря, ожесточенно спорящих друг с другом. Рвались дружеские и даже семейные связи, и не только внутри страны, но и в наблюдающей за процессом Европе — вплоть до того, что в далекой России на этой почве рассорились между собой А.П. Чехов и друживший с ним известный издатель, А.С. Суворин.

Ну, а Теодора Герцля "Дело Дрейфуса" просто потрясло.

Он решил, что если такое возможно даже во Франции, то евреям вообще нет места в Европе. Они должны ее покинуть и построить свою страну.

Где именно, для него особого значения не имело — хоть в Африке.

Причем Африку в данном случае следовало понимать совершенно буквально. Все в том же 1903 году, когда Герцль повидался с В.К. фон Плеве, ему было сделано в Англии альтернативное предложение — разместить сионистский проект в Восточной Африке, под покровительством Великобритании. Влезать в дела на Святой Земле англичане не захотели — примерно по тем же причинам, по которым не хотели этого делать и русские — но Африка споров не вызвала бы.

Англичане в ту пору очень носились с идеей "белых доминионов" — колоний с более или менее европейским населением, которые могли бы стать надежными оплотами Британской Империи — и посчитали, что евреи их бы в качестве колонистов устроили.

Герцль был за то, чтобы принять предложение — но с ним категорически не согласился его коллега. Особенно негодовала российская делегация — 136 псалом ^[1] сидел в памяти народа с времен вавилонского плена:

"...если забуду тебя, Иерусалим, да отсохнет десница моя..."

Английский "угандийский проект" отвергли — было решено "...строить дом в Иерусалиме..."

Но ведь требовалось еще и разрешение на строительство?

IV

Султан Абдул-Гамид в таком разрешении отказал. Иммиграция в Турцию на индивидуальной основе не возбранялась, но переселенцы становились подданными Османской Империи.

Был, правда, в Турции режим так называемых "капитуляций". Возник он еще при Сулеймане Великолепном как уступка королю Франции, другу и союзнику — но к началу XX века это уже было нечто совершенно иное.

Если заглянуть в энциклопедию, то мы увидим вот что:

"...всякий иностранец, пользующийся режимом капитуляций, находился под защитой консула своей страны. Он освобождался от местных сборов и

налогов. Турецкая полиция без консула или его доверенного лица не имела права проникать в квартиру иностранца или производить у него обыск. Споры между иностранцами разрешались консульскими судами. При тяжбах с турками иностранец обязан обращаться к турецкому суду, но последний не имел права разбирать дело без консула или его доверенного...".

Герцль только и мечтал получить такого рода покровительство от какой-нибудь из великих держав — но, как мы знаем, ему отказали и российский министр, и германский кайзер.

Но с началом Великой Войны в 1914 ситуация изменилась.

Турция встала на сторону Германии — и ее территории теперь делались предметом торга и возможного раздела. Союзники России в 1915 году посулили отдать ей Босфор и Дарданеллы, но потребовали компенсации и себе.

Основное же соглашение было разработано В ноябре 1915 года дипломаты Антанты Франсуа Жорж-Пико и Марком Сайкс достигли некоего базового соглашения (оно так и называлось "Соглашение Сайкса-Пико"), по которому к Англии переходили обширные территории и в Меспотамии, и в турецкой Палестине — например, районы вокруг городов Хайфа и Акко.

И получалось, что покровительство постройке еврейского национального дома делалось для Англии уже не филантропией, а делом вполне полезным. Сайкс вообще считал, что стремления сионистов к установлению своего национального очага хорошо послужат интересам Империи, и разговаривал с доктором Вейцманом как с представителем уже как бы существующего британского протектората. Он, конечно, не раскрывал деталей подписанного им соглашения с французами, но помог сионистской организации войти в контакт с французским МИДом — этим занимался Нахум Соколов.

Принимали его в Париже вполне любезно.

И уж вовсе нечаямая поддержка неожиданно пришла из Ватикана — папа римский, Бенедикт XV, обняком и в предельно осторожных выражениях довел до сведения английского правительства, что образование еврейского анклава в Палестине не встретит возражений со стороны Святейшего Престола.

Дело было не в симпатии к сионистам, возникшей столь внезапно, а в том, что до Рима дошли кое-какие сведения о том, что Константинополь союзники пообещали отдать России — и это автоматически повышало роль православного клира в Иерусалиме.

Ну, и решили, что поставить этому препону будет делом нелишним

У доктора Хайма Вейцмана, таким образом, оказывались на руках некие козыри, и он был полон решимости их разыграть — но тут неожиданно для него в деле возник совершенно новый фактор. В Лондоне появился некий российский подданный, который начал самую интенсивную деятельность, добавившую доктору забот. Звали этого российского подданного В.Е. Жаботинский. Он хотел организовать еврейский легион.

V

Публикация "Капитала" Карла Маркса создала огромное движение, члены которого называли себя марксистами. Но движение, единое в своей цели "...освобождения пролетариата от его цепей...", немедленно раскололось на множество сект и течений, каждое из которых понимало слово "марксизм" по-своему.

Публикация книги "Еврейское Государство" Теодора Герцля тоже создала целое движение. Название "герцлизм" или, скажем, "герцлианство" к нему не пришло — последователи Герцля называли себя "сионистами" — но правило раскола сработало и здесь.

Сионисты могли быть и социалистами, и приверженцами капитализма, и атеистами, и людьми глубоко религиозными. К тому же они делились на сионистов английских, американских, германских и российских — и так далее.

Все эти фракции в чем-то они ладили друг с другом, а в чем-то не ладили — но оказалось, что идею отдельной еврейской военной части встретила у них почти универсальное сопротивление.

Социалисты при этом возражали в принципе — по их мнению, еврейскому национально-освободительному движению не следовало вмешиваться в развязанную империалистами бойню. Особенно сильны были эти настроения в России — к началу 1917 года там считалось, что любая помощь Антанте послужит помощью и ненавистному царскому режиму.

Религиозные фракции полагали, что сам факт создания еврейской военной части, сражающейся на стороне союзников, поставит под удар еврейские общины по другую сторону фронта. И здесь тоже наибольшее негодование идея еврейского легиона вызывала в России — в общинах черты оседлости помнили об эксперименте польских повстанцев — от Т. Костюшко и до Адама Мицкевича — с созданием "жидовских легкоконных полков". Последствия для евреев вышли негативные.

В итоге на родине Жаботинского, в Одессе, его торжественно прокляли в синагоге.

А видный сионистский деятель, Менахем Усышкин, сказал матери Жаботинского, что ее сына следует повесить.

Наконец, против создания еврейского легиона возражали очень многие британские евреи. Они считали себя англичанами — отличавшимися от большинства разве что вероисповеданием. И само предложение о создании "...отдельной еврейской военной части..." воспринимали как покушение на свое равноправие.

Жаботинский, однако, настаивал на своем.

Он считал, что поражение Турции предопределено, что Палестина так или иначе попадет в руки Антанты, что получение Хартии — дело возможное и очень желательное — но заявку на "...еврейский национальный дом..." следует подкрепить штыками.

И даже ссылался на некий накопленный опыт — в составе английских частей, высадившихся под Галлиполи, был так называемый "Zion Mule Corps" — "Сионский корпус погонщиков мулов".

Звучало это неромантически — но отряд был совершенно реальной воинской единицей, отвечал за транспортировку еды и боеприпасов в окопы, насчитывал около шестисот человек, и хорошо показал себя под огнем.

Вообще-то про польские эксперименты мало кто помнил — считалось, что никаких еврейских военных частей не было с того времени, когда Тит Флавий разрушил Храм в Иерусалиме. Кто-то с этим положением не соглашался и полагал, что отчет следует вести с подавления восстания Бар-Кохбы при императоре Адриане — но в любом случае речь шла о глубокой древности.

Идея еврейского государства, предложенная Т.Герцлем, сама по себе была невероятным полетом фантазии — но до вооруженного компонента еврейского государства не додумался даже Герцль.

Тут было над чем подумать.

VI

Жаботинский говорил впоследствии, что превращению его идеи о еврейском легионе в реальность поспособствовали два человека — и первым из них оказался российский консул в Александрии, г-н Петров.

Участие консула было случайным — осенью 1914 в Александрии появилось около тысячи евреев, высланных турецкими властями из Палестины в Египет. Турки посчитали их "...неблагоприятным элементом, подлежащим немедленному высылению..." Англичане разместили высланных в бараках, и на том бы, скорее всего, дело бы и закончилось — но среди беженцев оказалось около двухсот человек, которые были российскими подданными призывного возраста.

Согласно режиму капитуляций, который действовал и в Египте, они относились к юрисдикции консула Российской Империи — и г-н Петров решил срочно призвать их в армию, и потребовал содействия и от египетской полиции, и от представителя Англии в Александрии. Который, надо сказать, и был тут настоящим хозяином.

Требование российского консула вызвало крупную демонстрацию евреев Александрии — они потребовали беженцев не выдавать.

Все это произвело эффект, который по-русски следовало бы назвать "...гу-сто заварившейся кашей..." — и Жаботинский оказался в самой ее середине.

Дело тут было в том, что он приехал в Александрию в качестве военного корреспондента газеты "Русские Ведомости". Рубль в ту пору — спасибо С.Ю. Вите — был все еще золотым, газета платила своему лучшему журналисту хорошие деньги, и потому он поселился в прекрасном отеле под названием "Regina Palace".

Когда в Александрии появились высланные из Палестины беженцы, он оставил свой номер в гостинице и поселился в тех же бараках, в которых разместили и их.

Там он очень быстро оказался в комитете, занимавшемся устройством в бараках и решавшим возникающие среди беженцев споры. Это случилось совершенно естественно — помимо родного русского, Жаботинский свободно говорил еще на 4-х европейских языках: английском, французском, немецком и итальянском — а к 1914 выучил и иврит, и идиш.

Понятно, что его качества лингвиста тут очень пригодились.

И уже просто автоматически Жаботинский был вовлечен в трехсторонние переговоры между нотаблями еврейской общины Александрии — которые выдавать беженцев не хотели — российским консулом, который этой выдачи требовал, и английским губернатором, который должен был этот вопрос как-то решать.

Ну, и в итоге дело аккуратно положили под сукно, и выдача беженцев российскому консулу так и не состоялась. Но как раз в это время Жаботинский познакомился с человеком, к которому российский консул, г-н Петров, отнесся в высшей степени корректно: немедленно начал выплачивать причитающуюся ему пенсию, и пригласил заходить, если понадобится какая-то дополнительная помощь.

Этого человека звали Иосиф Владимирович Трумпельдор, и был инвалидом русско-японской войны, потерявшим руку под Порт-Артуром, и награжденным полным Георгиевским бантом. Такое отличие было очень редким — за всю историю четырёхстепенного Знака Отличия Военного ордена его полными кавалерами (обладателями всех четырёх степеней) стали всего около 2 тысяч человек,

А Трумпельдора впридачу к этому в 1906 году, уже после окончания войны с японцами, наградили присвоением ему чина прапорщика. В военной иерархии

Российской Империи он помещался примерно посередине между фелдфебелем и подпоручиком, но считался офицерским.

Жаботинский поделился с ним своей идеей — создать еврейский легион, который в числе союзных войск будет сражаться с турками за Палестину — и получил от Трумпельдора полную поддержку. Предложение оформили в виде документа, поставили на обсуждение на митинге, созванном в бараках, собрали подписи людей, готовых в этот легион вступить, и отправились с предложением к генералу Максвеллу, командующему английскими войсками в Египте. Трумпельдор собрал своих добровольцев и начал учить их маршировать.

Дело вроде бы начало приобретать практический оборот.

VII

У Жаботинского есть книга, называется она "Слово о Полку". И там описано, что получилось из ходатайства, обращенного к генералу Максвеллу (Жаботинский, по нормам русского языка того времени, называет его "Максвелем").

Генерал в прошении отказал.

Он очень доходчиво объяснил, что никакого наступления на Палестину в настоящее время не планируется, что принимать иностранцев в английскую армию он не имеет права, и что максимум того, что он можно практически сделать, это создание вспомогательной транспортной части. Генералу Максвеллу для нее нужны погонщики мулов — и вот в этом качестве он готов использовать еврейских волонтеров.

При обсуждении предложения мнения участников инициативного комитета разошлись. Все его гражданские члены — включая Жаботинского — сочли такой проект неподходящим, и даже в какой-то мере оскорбительным.

Вроде бы вот оно, великое дело — еврейский легион добровольцев. Но его солдат собираются использовать не как воинов, сражающихся на фронте, а как "...погонщиков ослов...?"

Единственным человеком, готовым принять предложение, оказался Иосиф Трумпельдор.

Он посмотрел на предложение генерала Максвелла сугубо практически, так сказать, "...без всякой лирики...". Для того, чтобы освободить Палестину, турок надо разбить. А на каком фронте действовать — это вопрос технический. Для того, чтобы вести войну, нужны и и штыки, и транспортные средства — и то, и другое есть вещи необходимые. И опасность и в траншеях и в службах подвоза боеприпасов очень часто одна и та же. Поэтому где именно будут служить добровольцы — вопрос опять же технический.

А уж беспокоиться насчет названия "погонщики ослов..." — это и вовсе что-то детское. На идиш слово "лошадь" может быть довольно оскорбительно — но если бы еврейских новобранцев пригласили служить в кавалерию, они бы не обиделись?

На это пути Жаботинского и Трумпельдора на какое-то время и разошлись.

Трумпельдор вступил в ряды "погонщиков", новой части был назначен командир — им стал подполковник Джон Паттерсон — и началось ее формирование и обучение.

А Жаботинский предложение не принял.

Как он сказал Трумпельдору на прощание:

"...Иосиф Владимирович, я уезжаю. Если генерал Максвелль переменит свое решение и согласится учредить настоящий боевой полк, я приеду; если нет, поищу других генералов..."

И уехал в Европу. Искать других генералов.

VIII

На поиск "...нужных генералов..." у Жаботинского ушло около трех лет. Как-то они все не находились, хотя он стучался в многие двери. В Италии, например, в 1915 Жаботинский побеседовал с заместителем министра колоний — и тот нашел идею легиона превосходной. Но сказал, что сделать в данный момент ничего не может — "...как вам известно, друг мой, Италия еще не вступила в войну..."

Франция в 1915 году в войну уже вступила, и сражалась не на жизнь, а на смерть — но встреча Жаботинского с видным французским дипломатом, Делькассе, тоже никаких плодов не принесла.

В Англии лорд Китченер, фельдмаршал и военный министр, в принципе стоял против военных действий в Палестине — "...никаких экзотических фронтов...", и против формирования всяких там сомнительных легионов — "...никаких экзотических полков..."

Но больше всех препятствий делу Жаботинского создали все-таки евреи.

После смерти Т. Герция осталась созданная им так называемая Всемирная сионистская организация. В 1915 году ее руководство собралось на совещание в нейтральном Копенгагене — и единодушно выступило против создания легиона.

Довод Жаботинского — для политического участия в решении судьбы Палестины сионистам необходимо военное участие в борьбе за нее — был отвергнут сразу, даже без обсуждения.

Сионистская организация во-первых, не хотела нарушать свою принципиальную политику нейтралитета, во-вторых ее германские делегаты доказывали "...с математической точностью...", что в войне победит Германия.

Так что помощи сионистов Жаботинский не получил — наоборот, они ему активно мешали.

Еще одно крупное препятствие возникло в Англии. Кадры легиона предполагалось набрать в среде евреев, которые так или иначе бежали из России и остались в Великобритании — но они идти в армию категорически не хотели.

Агитационная работа, развернутая в их среде Жаботинским, результатов не принесла.

Осенью 1916 года это положение дел лучше всех суммировал некий анархист, с которым Жаботинский водил знакомство:

"... Мистер Ж., — долго вы еще собираетесь метать горох об стенку? Ничего вы в наших людях не понимаете. Вы им толкуете, что вот это они должны сделать "как евреи", а вот это "как англичане", а вот это "как люди"... Болтовня. Мы не евреи. Мы не англичане. Мы не люди. А кто мы? Портные ...".

Так все и шло — до середины 1917 года.

В июле в Лондоне был опубликован приказ об учреждении "еврейского полка".

IX

К этому времени многое изменилось. И ситуация на фронтах показывала, что ход военных действий, в общем, склоняется в пользу Антанты, и участие США в войне уже обозначилось, и "портные" как-то вдруг осознали, что после введения в Англии призыва в армию очередь рано или поздно дойдет и до них — и лучше уж служить в полку, составленным из людей той же социальной среды, что и они — но дело сдвинулось с мертвой точки.

Ядром "еврейского полка" стали солдаты, отчисленные из расформированного в 1916 галлиполийского отряда погонщиков мулов — причем Иосифа Трумпельдора брать в новый полк не захотели. Он к этому времени имел чин капитана, и был готов понизить его на два ранга, до чина "второго лейтенанта" — но ему отказали, потому что солдаты колониальных контингентов могли служить офицерами регулярных войск только в том случае, если у них было британское гражданство, которого у Трумпельдора не было. А взять его унгер-офицером тоже оказалось невозможным, потому что устав запрещал принимать инвалидов в ряды регулярных полков.

С Жаботинским таких затруднений не возникло — он вступил в формируемый полк рядовым, и был сильно занят: он попеременно то мыл полы в сержантской столовой, то по специальному вызову отправлялся для консультаций в Уайтхолл, в военное министерство Великобритании.

В конце концов ему присвоили некое странное звание — сержанта, находящегося на капральском жалованье — и вопросы с мытьем полов отпали.

Что и говорить — еврейский полк и правда получался "...экзотическим...".

Чего стоил хотя бы сам Жаботинский — видный журналист, хорошо знакомый, например, с главным редактором газеты "Таймс" — в свои 36 лет отправившийся служить рядовым? Но и его товарищи по службе тоже были неординарным народом.

В "Слове о Полку" он рассказывает о них — и право же, тут стоит привести длинную цитату из оригинала:

"... Большинство, конечно, [еврей] уроженцы России, в том числе три или четыре субботника чисто русской крови, — по-еврейски "геры", как полагается, белокурые и синеглазые, притом с очень чистым произношением подревнееврейски — по-русски зато уже говорили с акцентом.

Один из них, Матвеев, добрался до Палестины всего за несколько дней до войны: пришел пешком из Астрахани в Иерусалим прямо через Месопотамию; в субботние вечера он очень серьезно напивался, совсем по-волжскому, и тогда ложился в углу на свою койку и в голос читал псалмы Давидовы в оригинале из старого молитвенника.

Еще там было семь грузинских евреев, все с очень длинными именами, кончавшимися на "швили". Забавно было слышать, как английские сержанты ломали себе над ними языки по утрам во время переключки: "Паникомоиашвили!" — "Есть!". Это были семеро молодцов как на подбор, высокие, стройные, с правильными чертами лица, и первые силачи на весь батальон. Я их очень полюбил за спокойную повадку, за скромность, за уважение к самим себе, к соседу, к человеку постарше. Один из них непременно хотел отнять у меня венки, когда меня назначали мести. Другой, Сепиашвили, впоследствии первый в нашем легионе получил медаль за храбрость.

Кроме того, были среди нас египетские уроженцы, с которыми можно было мне сговориться только по-итальянски или по-французски.

Два дагестанских еврея и один крымчак поверяли друг другу свои тайны по-татарски.

А был там один, по имени Девикалогло, настоящий православный грек, неведомо как попавший к нам, и с ним я уже, никак не мог сговориться: если бы сложить нас обоих вместе, то знали мы вдвоем десять языков — только все разные...".

Легион становился реальностью.

Официально он именовался 38-м батальоном королевских фузилеров — в Англии, верной традициям, стрелков именовали старинным словом "фузилеры" — но было понятно, что вслед за 38-ым сформируют и другие батальоны, и что они "...будут носить еврейский характер...".

Легион Жаботинского теперь шел в том же политическом русле, что и Хартгия, над которой трудился доктор Вейцман.

X

Великий, долгожданный документ — та самая Хартгия, которой так долго и так тщетно добивался Теодор Герцль — была обнародована в виде письма, датированного 2-м ноября 1917 года, обращенного к лорду Уолтеру Ротшильду, виднейшему представителю британской еврейской общины. Письмо предназначалось для передачи Сионистской федерации Великобритании, было подписано министром иностранных дел, лордом Бальфуrom, и гласило следующее:

"...Уважаемый лорд Ротшильд,

Имею честь передать Вам от имени правительства Его Величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие сионистским устремлениям евреев, представленную на рассмотрение кабинета министров и им одобренную:

«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране».

Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы довели эту Декларацию до сведения Сионистской федерации.

Искренне Ваш,

Аргур Джеймс Бальфур....".

Значение этого письма переоценить невозможно — рождение еврейского государства теперь из тысячелетней мечты делало шаг в реальность

Но все же к этому, пожалуй, следует добавить и еще пару слов.

Во-первых, примерно через три месяца, в самом начале февраля 1918 года, 38-ой батальон королевских фузилеров парадным строем прошел по лондонским улицам — он отправлялся на турецкий фронт, в Палестину.

Во-вторых, "Декларация Бальфура" была опубликована в том же номере газеты "Таймс", где было опубликовано сообщение о так называемой "...Октябрьской революции в России...".

Примечание

1. Псалом 136 (в еврейском оригинале) — в Ветхом Завете именуется 137 из Книги Псалмов Ветхого Завета — песня евреев, изгнанных из Израиля в Вавилон (в 586 г. до н.э.). Пятый стих этого псалма: "Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя".

В переводе Юлия Кима это звучит так:

Ерушалаим, счастье моё!
Что я спою вдали от тебя?
Что я увижу вдали от тебя
Глазами, полными слёз?...



Юлий Ким

ОДНАЖДЫ В ОДЕССЕ

Мюзикл

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

МИША ЯПОНЕЦ, *легенда Одессы*

ИОСИФ ТОР, *друг МИШИ, анархист*

КОСТЯ МАЙОРЧИК, *Мишина свита*

МАНЯ-ШМАЙСЕР

РУВИМ ИСАЕВИЧ АВЕРМАН, *крупный скотовладелец*

ЦИЛЯ, *его дочь*

ЛЁВА БОЯРСКИЙ, *маклер, по совместительству конферансье*

НЕХАМА, *его жена*

ФРОИМ ГРАЧ, *налётчик*

ИВАН КАПИТОНЫЧ, *пристав*

КАТЯ, *горячая барышня*

ТОВАРИЩ ВЕРА, *из центра*

ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ УТЁСОВ

1 АКТ

ПРОЛОГ

Шум прибоя, крики чаек. Гудок парохода.

Начинается музыка, сцену заполняют актёры.

БОЯРСКИЙ. Одесса девятнадцатого года!

УТЁСОВ. Ристалище воинственных властей!

БОЯРСКИЙ. Одесса девятнадцатого года!

УТЁСОВ. Товарищи и дамы всех мастей!

БОЯРСКИЙ. Одесса девятнадцатого года!

УТЁСОВ. Игралище невиданных страстей!!!

ХОР

Как на нашем на Привозе

Вечно шум и тарарам.

Там найдёшь ты всё, что хочешь,

Кошелёк оставишь тоже там.

Если вам от этой жизни

Надо что-то кроме слёз,

Искупайтесь в Ланжероне
Или прогуляйтесь на Привоз.

Толпа на сцене превращается в ОДЕССКИЙ ПРИВОЗ с его гвалтом:

— Ри-иба, ри-иба, свежая ри-иба!
— Бички! Бички! Бички!
— Сэмочки, сэмочки, сэмочки!
— Скумбрия-аа! скумбрия-аа!

УТЁСОВ

На черноморском берегу
Есть этот город всем известный,
Такой красавец интересный –
Налобоваться не могу!
Неунывающий босяк
И в то же время модный щеголь,
Его воспел наш местный Гоголь –
Великий Бабель Исаак.

Город мой смуглокожий,
Ни на что не похожий,
Мирный рокот прибоя,
Звёзд жемчужная нить....

Внезапно песня прерывается стрельбой и свистками: по сцене проносится автомобиль с МИШЕЙ — ЯПОНЦЕМ, КОСТЕЙ МАЙОРЧИКОМ и МАНЕЙ ШМАЙСЕР, палящими в небо из своих револьверов, за ними мчатся городовые во главе с ПРИСТАВОМ — промчались.

УТЁСОВ. Музыка! (*музыка возобновляется*)

Город мой смуглокожий,
Ни на что не похожий,
Мирный рокот прибоя,
Звёзд жемчужная нить.
Кто здесь не был, тот будет,
А кто был — не забудет,
Потому что такое невозможно забыть!

ХОР

Кто здесь не был, тот будет,
А кто был — не забудет,
Потому что тебя невозможно забыть!

Здесь песня прерывается. На сцену снова врывается автомобиль с налётчиками, а за ними городовые с ПРИСТАВОМ. Толпа с криком разбегается, автомобиль некоторое время вертится по сцене и вдруг исчезает: например, улетает в небеса. Или поворачивает в зрительный зал и уносится по проходу. Так или иначе, на сцене остаются лишь городовые с ПРИСТАВОМ, дрожащим от бессильной ярости. Но вот он сделал знак, и на сцене возникла тумба с наклеенным на ней приблизительным изображением МИШИ-ЯПОНЦА и крупным словом «РОЗЫСК!!!»

ПРИСТАВ (к публике) «Мойше Веницкий, по прозвищу Миша Японец. 15 ограблений, 2 судимости, два побега, один удачный, объявлен во всероссийский розыск». Просьба к каждому, кто увидит: **НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ! НЕМЕДЛЕННО!** У меня всё.

(некоторое время сцена пуста. Затем возле тумбы появляются МИША и БОЯРСКИЙ)

МИША. Ну, что мне сделать с этим художником? Лёва, а? Он же изуродовал мои черты до полной неузнаваемости!! За это убивают! Да, но с другой стороны. Зачем мне узнаваемость моих черт? Это очень повредило бы моей специальности. Так что нехай рисует дальше. А что в программе у нас?

БОЯРСКИЙ. У Фанкони большой сбор. Знаменитые сёстры Стрauberри.

МИША. Что, прямо из Америки?

БОЯРСКИЙ. Скорее из Жмеринки. Но народу — полный аншлаг.

МИША. Значит, нам туда.

ЭПИЗОД 1 «ОГРАБЛЕНИЕ В КАБАРЕ»

На сцене — эстрада кабаре «ФАНКОНИ». На эстраде ансамбль «СТРОУБЕРРИ» («Клубничка») из Жмеринки.

СЁСТРЫ СТРОУБЕРРИ

Какой кошмар — ни в чём нет смысла
Налил вина — оно прокисло.
Открыл газеты — отключили свет.
На море шторм — на небе тучи.
Жена пришла — не стало лучше.
Куда ни плюнь — а в жизни счастья нет.
Иди сюда! Иди сюда!
Здесь так тепло, светло и водка пьётся как вода, да, да!
Иди сюда — здесь море света
И ни к чему читать газеты
И только здесь — ждут тебя всегда!

Тучи улетели, волны отшумели,
Всюду тишь и благодать!
Рюмку счастья, час любви
Можно заказать!
Полночь на пороге, вымерли дороги
И погасли города
И ты пойми, что только здесь ждут тебя всегда!
Детишки спят — и ради Бога!
Жена лежит, читает Блока,
И только здесь — ждут тебя всегда!

(выстрел. Тишина, всё замерло. Те же и МИША-ЯПОНЕЦ со свитой)

КОСТЯ

Минуточку внимания, дамы-господа!
Протрите ваши стёклышки, послушайте сюда.
Пока мы тут погуляем между кресел и рядов,
Японец Миша к вам имеет пару слов.

Маэстро! Дайте шо-нибудь подходящее

(музыка. МИША выходит на авансцену. КОСТЯ с МАНЕЙ спускаются к публике и начинают её вежливо грабить)

МИША

Шикарный вид! Господа!
Вы надели ваши цапки,
Взяли ложу первый сорт
И сидите здесь по-царски
И имеете комфорт.
Между тем как ваши братья
Шлют вам стоны и проклятья,
Потому что их комфорт –
День и ночь — Одесский порт!

Пока вам поёт Карузо
«Мамма миа, сись ву пле!»
Они носят ваши грузы
На измученной спине!
Так, ребята, не годится.
Надо с братьями делиться,
И уж в этом как могу
Я охотно помогу!

(танцует степ, ловко подхватывает всё, что ему бросают КОСТЯ с МАНЕЙ)

Не стоит слёзы лить
Над лишним рубликом,
И лучше не хамить
Моим сотрудникам.
Ведь каждый ваш брильянт
Я оприходую
Как добровольный вклад
В казну народную!

(поймал перстень)

Мадам! За это колечко вам большое спасибо от покойного Сёмы Мугинштейна —
теперь мы можем его достойно похоронить!

(поймал колье)

Шикарное колье! Можно прокормить половину Молдаванки. Да, но другая половина тоже не должна голодать. *(поймал браслет)* Уже не будет.

Это не грабёж, господин судья, это экс-про-при-ация, читайте лучше Маркса, чем шляться по борделям.

КОСТЯ *(на очкастого)* Миша! Он возражает!

МИША. И правильно! Куда ты смотришь, шлимазл несчастный? Это же доктор Эй-длин, свой брат, трудящийся человек. А вот рядом с ним — таможня — другое дело!

(музыка. МИША окончил ловлю)

Что сказать вам на прощанье?
Это было гран шарман,
Как вы совесть облегчали
В наш общественный карман.
Наконец-то справедливость
Хоть немного подтвердилась
В нашем городе родном,
Где мы с вами все живём!

(вместе со свитой)

Спасибо, граждане,
Что вы сознательны.
Вот так бы каждый день
Делиться с братьями.
Чтоб честный труженик
Омаров ел!
Чтоб для биндюжников
Шаляпин пел!

Мы дали вам концерт,
Ушли по-доброму,
Взяв небольшой процент
От суммы собранной!
Прощайте, граждане,
Хотя о чём тут речь!
Мы лучше скажем так:
До новых встреч!

БОЯРСКИЙ. Вы скажете «Анархист» Вы скажете «уголовник». А я скажу: Это — Король! Король! — я первый это сказал, а уж за мной повторила вся Одесса.

ЭПИЗОД 2. ПО ВСЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ — ЧТО?

МИША в комнате у КАТЮШИ. Что хотят, то творят

КАТЯ

Ах ты, ягода моя — ненаглядная!
До чего ж я завсегда — тебе радая!
Ты один моя любовь — настоящая:
Только глянешь, я уже — вся горячая!

МИША

Это даже не любовь — это бешенство!
Сколько тешусь я с тобой — не натешуся!
Сколько сладости в тебе — столько радости,
Вот уж правда, будет что — вспомнить в старости!

КАТЯ

Опусти наган железный, выпей водочки со мной,
И тебе я рай небесный поменяю на земной!

Ты мой сладкий, мой бесстыдный,
Ненасытный! Ненасытный!
И всю ночь и навсегда
Я тобою несыта!

(БОЯРСКИЙ стучится к ним, они не слышат, наконец, МИША высунулся)

МИША

Нам говорят, русская женщина — это товар. А это же солома!
Она же вспыхивает ни от чего!

(опять с КАТЮШЕЙ)

ОБА

Ах, любовь, любовь, любовь — прорва ада!
Ох, не надо с нами так — ох не надо бы!
Песни ангелы поют — чёрт щекочется,
Нету мочи никакой — а всё хочется!

И закуски на буфете, и в бутылочке вино,
И везде на белом свете лишь хорошее одно!
Ты мой сладкий, мой бесстыдный,
Ненасытный! Ненасытный!
И всю ночь и навсегда
Я тобою несыта!

БОЯРСКИЙ *(достучался)* Послушайте, Миша. Я колочусь до вас вот уже два часа, мои новости могут прокиснуть.

МИША. Так подавайте же их, Боярский, пока они свежие.

БОЯРСКИЙ. Как вы знаете, у фирмы «Эйхбаум и сыновья» лавка полна товару. В субботу там на дежурстве Мотя с Гороховской. 1% ему, 8 — мне.

МИША. Восемь?!

БОЯРСКИЙ. У меня 8 ртов, Миша, и все просят кушать. Так вы будете там в субботу?

МИША. По всей вероятности, Боярский, по всей вероятности.

(голос КАТИ: «МИША! Ну, где ты? Я жду!»)

Уже иду, любовь моя, уже иду! *(БОЯРСКОМУ)* Это же солома!

(МИША ушёл)

БОЯРСКИЙ

«По всей вероятности» — а? По-вашему это ответ?
По всей вероятности «да» или по всей вероятности «нет»?
Да или нет? Нет или да? Кого я должен слушать?
У меня дома 8 ртов и все желают кушать!
У меня дома 8 ртов, долги и неприятности,
Я, извиняюсь, не готов ждать чьей-то вероятности.
Есть одноглазый Фроим Грач, по кличке «Свиноед»,

Не станет он вертеть вола, туда-сюда, ни да ни нет
А он мне точно скажет «Да!», он точно скажет «Да»!
Если не скажет «НЕТ».

(уходит)

ЭПИЗОД 3. КАКОЙ ПОЗОР!

*Ночь. Лавка «Эйхбаум и сыновья», её очищают молодцы ФРОИМА
ГРАЧА. Под музыку, разумеется. Внезапно — рокот мотора.*

ФРОИМ. Тихо! *(прислушался)* Хлопцы, тикаем — полиция!

(те же и МИША)

МИША. Здесь полиция — Мотя с Гороховской. И кто же тут его боится?

(узнал)

Фроим, ты? С какого перепуга?

ФРОИМ. Миша, ничего личного. Мне сказали, я зашёл.

МИША. И кто ж тебя сюда навёл, Фроим? Только не говори, что Боярский.

ФРОИМ. Таки Боярский, Миша.

МИША. Фроим...Этот адрес я получил от него же. Я секунду не мог подумать, что он понесёт его и тебе! Ты мне веришь, Фроим?

ФРОИМ. Миша! Я тебе верю.

МИША. Ты понимаешь, что я скорее застрелюсь, чем зайду туда, куда уже зашёл Фроим, мой брат?

ФРОИМ. Ладно, Миша, ну что ты...

МИША. Фроим! Не говори так. Мой дом всегда был твой дом, Фроим, и если ты сейчас же не выпьешь за это со мной, то лучше сразу убей меня, и его *(на Костю)*, и её *(на Маню)*, я не возражаю.

ФРОИМ. Ну, хорошо, хорошо...

МАНЯ. Что хорошо? Пей уже, тебе сказали.

ФРОИМ. Да пью я, пью *(выпили)*. И шо ты, Миша, так расстроился? Тут добра на три твоих машины, хватит всем.

МИША. Чтоб завтра весь одесский хоровод

Передавал с утра из рота в рот:

Японец Миша, так сказать, король,

Ворует у своих ночной порой?

Что он с душою мелкого рвача

Увёл тавар у Фроима Грача?!

Что с ним нельзя работать и дружить??!!

Боярский Лёва! Всё. Тебе не жить.

(решительно удаляется)

ЭПИЗОД 4. ЕЩЁ О СПРАВЕДЛИВОСТИ.

*(У себя дома спит БОЯРСКИЙ. Его жена НЕХАМА баюкает малыша.
(без музыки)*

А нэ-нэ, мой маленький,
А нэ-нэ, мой миленький,
Чтоб ты был здоровенький
С утра и каждый день.
Другим детям дулю-дулю,
Другим детям бяку-бяку,
А нашему маленькому сладкий пирожок!

(Входит МИША)

НЕХАМА. Миша? Вы пришли до Лёвы? Что так рано? Вам не терпится с ним расчитаться?

МИША. Вот именно, Нехама, вот именно.

(сбросил Лёву на пол, топчет)

Меня ты опозорить захотел!
Меня с Грачом поссорить захотел!
Чтоб завтра, чёрт возьми, из-за тебя
Одесса отвернулась от меня!
Другой бы просто пнул тебя ногой,
Но перед Королём ответ другой.
Ты причинил мне боль и вызвал гнев.
Сейчас ты, Лёва, станешь мёртвый лев!

(окровавленный БОЯРСКИЙ что-то лепечет: «Вы же сказали по всей вероятности, но не сказали по всей вероятности да или нет, я не знал, что и подумать — Ой! Ай!» Но тут выступает НЕХАМА)

НЕХАМА *(декламация на музыке «Мишиного выступления у «Фанкони»)*

Бейте, Миша, бейте Лёву, убивайте наповал.
Только кто это недавно на театре выступал?
«Я хочу, чтоб справедливость хоть в Одессе утвердилась»
Но тогда зачем сказал он, то, что он тогда сказал?

(вокал)

У вас, Миша, тоже в доме есть голодных 8 ртов?
У вас тоже ни копейки кроме тысячи долгов?
И у вас плеврит и астма
И с кишками всё неясно,
И притом ваш день рабочий тоже 25 часов?

Миша! Всё у вас иначе: вы король и вы богач!
У вас вышла неудача среди тысячи удач!
И вы топчетесь на Лёве
И его хотиге крови?
Если это справедливо — значит, Миша,
Вы — трепач!

МИША (*после паузы*) Это хорошая лекция, Нехама. Вот твой гонорар.

(*подходит к ребёнку*)

А нэ-нэ, мой маленький, мой миленький,
Хорошенький, чтоб ты был здоровенький...

(*ушёл. НЕХАМА берёт деньги*)

НЕХАМА. Лёва! Ой, Лёва! Чтоб ты так зарабатывал каждый день...

БОЯРСКИЙ. (*весь в крови*) А?! Я же говорил: Король! Король»

ЭПИЗОД 5. ДВА ДРУГА

У автомобиля маются КОСТЯ и МАНЯ. Наконец появляется МИША

МИША. Такие дела. Половина Молдаванки живёт на моём иждивении. Наша касса пуста. Что вы скажете за Авермана?

КОСТЯ. После Эйхбаума он номер второй. А среди скотопромышленников первый.

МИША. Мы давно его не навешали?

МАНЯ. Года два.

МИША. Так он может забыть обо мне.

МАНЯ. Он сейчас обедает у Фанкони.

МИША. К десерту мы успеем. (*те же и ИОСИФ ТОР*) Оо! Кого я вижу!
Наш будущий адвокат. Или прокурор?

ТОР. Адвокат, адвокат. (*обнялись*)

МИША. Жаль. Дружить лучше с прокурором.

ТОР. Это почему?

МИША. Тогда адвокат не понадобится.

ТОР. Слушай! А правду говорят, будто ты недавно выступал перед нашими буржуями в защиту угнетённого класса?

МИША. Многие плакали.

ТОР. И конечно, делали взносы.

МИША. Причём абсолютно добровольно.

ТОР. Миша! Ещё раз призываю тебя: идём с нами. Мы уже сила: анархисты, большевики, профсоюзы, тем более красные на подходе — мы эту буржуазную сволочь в один день...

МИША. Слушай! А правду говорят, будто у тебя появилась невеста, причём как раз из буржуев?

ТОР. (*вздохнул*) Миша! ...В том — то всё и дело.

МИША. Да? Ну, меня бы это не остановило.

КОСТЯ. Миша! У Фанкони уже подают десерт.

МИША. Всё. Едем. Ося! Я подумаю.

(автомобиль уехал)

ЭПИЗОД 6. ПУТЁМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ

У ФАНКОНИ. Среди публики — обедающий АВЕРМАН. На эстраде СЁСТРЫ СТРОУБЕРРИ.

СЁСТРЫ СТРОУБЕРРИ

Вот так себе живёшь — по улице идёшь
Достойно — спокойно — без галош.
И вдруг со всех сторон — гроза и дождь и гром,
Что было — всё смыло, не найдёшь.

Вот так любовь — как гром средь бела дня:
И руки вверх, и ноги врозь — держите меня!

Любовь с тобой встаёт, везде с тобой идёт,
И ночью — покою не даёт.
И за такой роман гребёт себе в карман
Здоровье, и время и доход.
Но к ней душа твоя привязана:
Не хочет, дура, слушать голос разума!

Но вот придёт момент — любовь сойдёт на нет,
Отстанет — растает, и привет!
И ты легко вздохнёшь — и погулять пойдёшь
Как прежде — в одежде без галош.
Но тут опять земля раздвинется,
И новая любовь на шею кинется!

Тем временем в зале появляется МИША со свитой.

МИША. *(на фоне музыки)*

Как пишут казаки письмо султану
Мы знаем с материнским молоком.
А вот как пишет Миша господину Аверману,
Такого не видал ещё никто!

(и МИША пишет)

«Уважаемый Рувим — Исаевич!
Как пойдёте вы к нашей — Катеньке,
То оставьте у ней — под тумбочкой
Сорок тысяч лично для меня.
А не то вас в ближайшем — будущем
Ждут неслыханные неприятности,
В чём даю вам, Рувим — Исаевич,
Слово Миши — Короля!»

(музыка. Письмо перелетает к АВЕРМАНУ. Тот прочёл и отвечает)

АВЕРМАН

«Уважаемый Мойше — Винницкий!
Вы же знаете мои — обстоятельства,
Что Австралия своей — бараниной
Завалила весь Привоз.
Моё сальдо всё время — в минусе,
Скоро кушать мне будет — нечего.
Так что бросьте вы ваших — глупостей,
И на том закроем наш вопрос».

МИША (*прочитав*) — (*к КОСТЕ*) Ты видел Австралию у нас на Привозе?

КОСТЯ. У нас на Привозе есть всё — кроме Австралии.

МИША (*МАНЕ*) Ты видела, сколько у него на столе нечего кушать?

МАНЯ. Чтоб я так голодала.

МИША. Он смеётся надо мной. Над Королём! Он хочет невинную кровь на свою совесть. Он её получит. Маэстро!

(*вместе со свитой*)

Вот так себе живёшь — по улице идёшь
Достоинно — спокойно — без галош.
И вдруг со всех сторон — гроза и дождь и гром,
Что было — всё смыло, не найдёшь.

(*ушли*)

АВЕРМАН. Ну, так где же, я вас спрашиваю, кончается Миша-Японец и начинается полиция?!

ЭПИЗОД 7. КАКАЯ НОЧЬ!

Ночь. Двор Аверманов. Факелы, крики, бляенье — Мишина банда одну за другой выводят Авермановых овец и баранов на заклание. Видны взмахи кровавого топора.

МИША

Какая ночь!
Какой сюжет!
Вот-вот вокруг зажжётся свет багровый
И хлынет кровь невинных жертв
Под грозным топором судьбы суровой!
И разве я тому виной,
Что, несмотря на прочные ворота,
Заплатит он такой ценой
За свою глупость и обман народа?
Я ж пришёл как друг
Я ж просил добром,
Я же сам сказал,

Чего ждать потом.
Не хамить бы вам,
А прислушаться,
А то так вся жизнь
И порушится!

Я не люблю подобных дел,
Всю ночь глазеть на свежую убоину –
Свидетель Бог — я не хотел,
Но он же вздумал всё решать по-своему!

БАНДА

Какая ночь! Какой сюжет!
Причём нема легавых за плечами!
И льётся кровь невинных жертв,
Причём не мы за это отвечаем.
Он же шёл как друг
Он просил добром,
Он же сам сказал,
Чего ждать потом.
Не хамить бы вам,
А прислушаться,
А то так вся жизнь
И порушится!

Тут выбежал АВЕРМАН

АВЕРМАН. Всё! Хватиг! Прекратите! Давайте разговаривать!

МИША. Ша! (*всё остановилось*). Ну, Рувим Исаевич, мои 40 тысяч теперь вы своим упорством превратили в 80.

АВЕРМАН. У вас такая интересная арифметика, Миша...

МИША. Тогда продолжаем.

(стреляет в воздух. На этот выстрел выбежала ЦИЛЯ в вырезной рубашке)

ЦИЛЯ (*бросается к отцу*) Папа!!!

МИША. Я извиняюсь, но причём тут... (*увидел ЦИЛЮ. Удар грома*)

Пауза

МИША (*в обмолени*)

Какой сюжет...пардон...такая ночь...
Тойсь добрый вечер...это ваша дочь?..
(к своим)

Эй! Вы! Зачем? Что это за резня?
Как вы могли? Бандиты! Так нельзя!
Вон! Вон отсюда! Негодяи! Хамы!
(«Хамы» исчезли)

Послушайте... я говорю — стихами?...
Рувим Исаич! Больше никогда!
Клянусь! Ничья рука или нога
Не посягнёт! На дом и на владенья!
Прощайте!
То есть что я...
До свиданья!
(удалился)

ЦИЛЯ. Папа... что это было?

АВЕРМАН. Это называется... Миша Японец.

ЭПИЗОД 8. ТАКОЙ ХАРАКТЕР

На бульваре. ЦИЛЯ и ТОР

ТОР. Чёрт! Чёрт! Чёрт бы меня побрал! Я же виделся с ним, вот только что! Я же призывал его вместе бороться с капитализмом! А он наехал на вас.

ЦИЛЯ. Значит, хорошо призывал.

ТОР. Цилечка!..

ЦИЛЯ. Иосиф! Я думала твои друзья — лётчик Уточкин, Костя Паустовский, Эдик Багрицкий, цвет и надежда Одессы — и пожалуйста: Миша — 22 налёта, 3 судимости.

ТОР. Две судимости, Циля, две, всё-таки не будем преувеличивать.

ЦИЛЯ. Откуда он взялся на нашу голову?

ТОР. Ну как... Мы с ним с одного двора. Вместе росли, на море ходили, я тонул — он меня вытащил.

ЦИЛЯ. Да, но теперь-то, теперь! Ночь, крики, кровь, стрельба!

ТОР. Какая ещё кровь, ты что? Человеческая кровь?

ЦИЛЯ. Ну, человечья или овечья — всё равно кровь!

ТОР. Это большая разница, Циля, очень большая. За Мишей нет мокрых дел.

ЦИЛЯ. Бандит с чистыми руками!

ТОР. Но ведь он остановил свой налёт, ты обратила внимание?

ЦИЛЯ. И как же ты это объясняешь?

ТОР. Циля! Миша — артист. Ночь, крики, бараны — и вдруг: юная, прекрасная, беззащитная: «Отец! Отец!»

ЦИЛЯ. Я спросила: папа, в чём дело.

ТОР. Ну и всё! Это же совсем другая публика! Перед которой можно быть только рыцарем! Благородным!

ЦИЛЯ. Йосиф! Ты романтик.

ТОР. А разве это так плохо? Нет, Цилечка, ты неправа —

(декламация или пение)

Нет, Цилечка, ты не права:
Японец — это голова,
Его Одесская молва
До неба перевозносит.
Он своевольная звезда,
Но идиотская судьба
Его всё время не туда
Куда-нибудь заносит.

Такой характер. Он игрок,
Он, собирая свой оброк,
Стреляет только в потолок,
А не в живое тело.
Да, это вор-рецидивист,
Но по душе он анархист,
И он, когда настанет срок,
Вольётся в наше дело!

ЦИЛЯ. Ты имеешь в виду ваше вооружённое восстание?

ТОР. Цилечка! Вообще-то это жуткий секрет.

ЦИЛЯ. Йосичка! Это же Одесса. И вот что я тебе скажу: не вздумай приглашать его на нашу свадьбу!

ТОР. А вот когда ты его узнаешь поближе, ты увидишь! Ты увидишь: это совсем не то, что ты себе думаешь!

ЭПИЗОД 9. ДЕСЯТЬ ФРАКОВ

У МИШИ суета. Идёт подготовка ответственного выступления.

МИША. Цветы?

КОСТЯ. Розы, гладиолусы, орхидеи — всё из губернаторской оранжереи.

МИША. Певцы?

КОСТЯ. Сегодня в 11, как раз по дороге, лучший ансамбль из Бродской синагоги.

МИША. Утёсов?

КОСТЯ. Уже.

(те же и УТЁСОВ, мрачный)

УТЁСОВ. Миша, скажите, на что я вам сдался, когда вы поёте не хуже меня?

МИША. Если бы так, я давно бы забросил свою специальность, но это не так.

УТЁСОВ. Миша, но есть же Одесская опера, там тенора до чего хороши.

МИША. Лёня, я знаю Одесскую оперу: много вокала, но мало души.

УТЁСОВ. Миша...

МИША. Лёня. Я удваиваю гонорар.

УТЁСОВ. Миша! У меня фрак спёрли. Концертный. Я пою только в нём.

(пауза)

МИША *(к своим)* Вы слышали. Куда катится мир. У Леонида Осиповича Утёсова! В Одессе! Спёрли фрак. У вас 10 минут.

(свои исчезли)

Лёня. Одесса опозорена. Это просто какое-то клеймо. Но фрак будет. Что касается репертуара...

УТЁСОВ. За репертуар я отвечаю.

МИША. Хорошо бы ещё за результат..

(вносят 10 фраков)

КОСТЯ и ПРОЧИЕ

Бывает в жизни так,
Что нужен новый фрак
И нету время, чтоб его пошить.
А нужно позарез,
Не то хозяин съест,
А вам ещё так хочется пожить!

Зато у вас есть вещь,
Когда её извлечь,
Любой красавчик станет цвета беж.

(демонстрирует револьвер)

И даже кровный враг
Уже ваш друг добряк,
И этих фраков хоть чем хочешь ешь!

(примеривают на УТЁСОВА)

— Вот в этом фраке вы судовладелец,
Виноторговец фирмы мировой!

— А в этом фраке вы герой-гвардеец!

— А в этом вы индеец и ковбой!

— Вот в этом вы являетесь с поклоном
На праздничном приёме при дворе!

— А в этом вы поёте даме сердца песню при луне!

УТЁСОВ. Это хороший фрак. Но мне нужен мой.

МИША. Понимаю. (*своим, крещендо*) В то время как на карту поставлена честь города Одессы, вы...

(*те же и МАНЯ с фраком*)

МАНЯ. За честь Одессы можно не переживать.

УТЁСОВ. Это он. (*облачился*) Ну, слава Богу.

МИША. И кто же это был?

МАНЯ. Так, чепуха. Гастролёры из Питера. Пришлось немного поучить.

МИША. Это же сплошные нервы, а не жизнь. Лёня! Теперь я могу надеяться....

УТЁСОВ. Будьте уверены.

МИША. Но...

УТЁСОВ. Миша. Мы же с вами профессионалы. Я же не учу вас, как добывать фракы из воздуха.

ЭПИЗОД 10. НОЧНАЯ СЕРЕНАДА

У АВЕРМАНА — ПРИСТАВ, АВЕРМАН, ЦИЛЯ.

ПРИСТАВ. И вы мне говорите, что якобы Миша Японец пришёл ночью, зарезал 5 баранов и вдруг всё бросил и ушёл?

АВЕРМАН. Именно так. И я вас очень прошу...

ПРИСТАВ. Рувим Исаич. За Мишей 15 налётов, и он все довёл до конца, а тут остановился?

АВЕРМАН. Иван Капитоныч! Так или иначе, но вы обязаны...

ПРИСТАВ. Всё! Понял! Он кончил пятого барана, вы вышли, дали ему денег, и он убрался...

АВЕРМАН. Не давал я ему никаких денег! И не собираюсь! И именно поэтому я вас категорически умоляю...

ПРИСТАВ. Но тогда я отказываюсь понимать.

ЦИЛЯ. Он ушёл потому, что он устыдился.

ПРИСТАВ. Миша Японец? Устыдился? Кого?

ЦИЛЯ. Выходит, что меня.

ПРИСТАВ. Вас?!

ЦИЛЯ. Больше некого было.

АВЕРМАН. Дочь моя недавно из-за границы, она на всё смотрит сквозь розовые очки, в том числе и на наших бандитов.

ЦИЛЯ. Но и на полицию тоже. Иван Капитоныч, а по-вашему: у этого Японца совсем ни стыда ни совести?

ПРИСТАВ. Японец? Да-а... Японец- это...да-а...Это, я вам доложу — ого! Японец — это Японец! ... *(не может найти слов)*

ЦИЛЯ. Вы так понятно объясняете!

ПРИСТАВ. Всё равно я до него доберусь. Доберусь, куда он денется.
(встаёт, отводит в сторону АВЕРМАНА) Хочу вас предупредить, Рувим Исаич: слободские вроде опять затевают погром. Как в пятом годе. Имейте в виду.

АВЕРМАН. Но мне вы охрану обеспечите? *(даёт деньги)*

ПРИСТАВ. Будьте благонадёжны. *(уходит)*

АВЕРМАН. Наша полиция хорошо устроилась: чем больше мы ей платим, тем меньше она работает. Цилечка! Нам надо отсюда уезжать. Пожалуйста, поторопись со свадьбой. *(ушёл)*

Пауза

ЦИЛЯ. *(в задумчивости)* Йосиф Тор... Йосиф Тор... Мой суровый прокурор... поправляет свой пробор... оглашает приговор... Ах какой же это вздор... и с каких же это пор... Боже, что это?

Под её окном — МИШИНА банда с певчими и УТЁСОВЫМ.

МИША. *(негромко)*

Цветы.

(возникает цветник)

Певцы.

(певчие построились)

Лёня!

Начинайте.

ПЕВЦЫ

Тумбала тумбала тумбалалайка
Тумбала тумбала тумбалалайка
Тумбалалайка тумбалалайка
Тумбалалайка слушайте все...

УТЁСОВ

Крутится вертится шар голубой,
Крутится вертится над головой,
Крутится вертится хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть.

УТЁСОВ и МИША

Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, что я влюблён?
Вот эта улица, вот этот дом,
Барышни нету, но мы обождем.

АНСАМБЛЬ

Тумбала тумбала тумбалалайка
Тумбала тумбала тумбалалайка
Тумбалалайка тумбалалайка
Барышни нет, но мы обождём.

МИША

Видишь, как вышло, такая беда:
Я не могу, не хочу никуда,
Только стоять у тебя под окном,
Только и думать, ты знаешь о чём.

Сердце исходит от сладкой тоски,
То оно тает, то рвётся в куски,
Ты не поверишь, мне даже смешно:
Я и не знал, что так может оно!

Вот оно как, ни с того ни с сего,
То, что на свете дороже всего,
Ищешь всю жизнь, а оно за углом:
Вот эта улица, вот этот дом.

АНСАМБЛЬ

Тумбала тумбала тумбалалайка
Тумбала тумбала тумбалалайка
Тумбалалайка тумбалалайка
Тумбалалайка слушайте все...

(ЦИЛЯ стоит, её видно сквозь занавеску.

МИША видит, что она смотрит на него. На последних тактах «тумбалалайки» он поднимает руку в прощальном жесте — и ЦИЛЯ отвечает ему. И МИША медленно отступает от балкона)

УТЁСОВ. Миша, я должен вернуть гонорар: вы за меня сделали всю работу.

МИША. *(в тумане)* Лёня... О чём вы? Готовьте репертуар к моей свадьбе.

(уходят. К ЦИЛЕ подошёл отец)

АВЕРМАН. Циля, он влюбился в тебя.

ЦИЛЯ. Да, папа. Я это поняла.

АВЕРМАН. Ну и где твой Йосиф? Почему это вместо него под окном невесты поёт какой-то бандит?

ЦИЛЯ. Йосиф так не споёт... Кроме того, у него комитет.

ЭПИЗОД 11. НА КОМИТЕТЕ

Комната ревкома. За столом президиума ТОР и ВЕРА.

ТОР. Прошу внимания. Слово представителю центра. Товарищ Вера прибыла сегодня утром и имеет к нам пару слов.

ВЕРА. Товарищи. Немцы ушли, Анганта уходит. Деникин разбит, Колчак отступает, наши войска скоро будут здесь. Гарнизон в городе деморализован, полиция бессильна, пора поднимать народ. Большевики, анархисты, эсеры, профсоюзы — у нас готовый штаб. Задача первая — агитация и пропаганда...

ТОР. Первая задача — найти оружие.

ВЕРА. Вы, товарищ, кто?

ТОР. Я анархист.

ВЕРА. Я имею в виду образование.

ТОР. Третий курс юридического.

ВЕРА. Отлично. Ваш сектор — интеллигенция. Артисты, писатели, художники...

ТОР. У них вы оружия не найдёте.

ВЕРА. От интеллигенции главное, что нужно — чтобы не мешалась.

ТОР. Да, но в Одессе — все интеллигенты.

ВЕРА. Да? И биндюжники тоже?

ТОР. Они-то в первую очередь.

ВЕРА. Интересный город. Короче: ваши предложения.

ТОР. Я думаю, с оружием нам мог бы помочь Миша Японец.

ВЕРА. Но ведь это же главный ваш бандит!

ТОР. Вполне интеллигентный человек. На 90% анархист. Плюс огромный арсенал и тысяча готовых боевиков.

ВЕРА. Революция НИ-КО-ГДА не пойдёт на союз с бандитами. Коммунизм и уголовщина — несовместимы, господин будущий юрист! В Москве товарищи вас бы подняли на смех.

ТОР. Не знаю, как в Москве, а здесь — Одесса.

(бегает ПАРЕНЬ)

ПАРЕНЬ. Хлопцы! На Молдаванку слободские с погромом идут!

ТОР *(вскочил)* Что-о?!

ВЕРА. Товарищ, сядьте, мы не закончили.

ТОР. Закончили, закончили. Одесса, полундра!

Ну-ка, вспомним, где мы были в пятом памятном году!

Или мы уже забыли, как мы били слободу?!

(часть комитета исчезла)

ВЕРА. Да... Дисциплинка у вас...

ЭПИЗОД 12. ПОГРОМ

Зловещая музыка погрома. Бежит АВЕРМАН.

АВЕРМАН

Сколько раз говорили: уезжай!
Подыщи себе приличный континент,
Где ещё для еврея место есть,
Ибо здесь его уже нет.

Показалась толпа слободских.

СЛОБОДА

Запирайте этажи — нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба — хай гуляе гольтьба!

АВЕРМАН (*спасается*)

Почему я должен бежать?
Никуда я не хочу уезжать!
Здесь земля не меньше моя,
Чем у этого жлобья!

Показалась похоронная процессия с гробом, кантором и певчими.

ПОХОРОНЫ

Господи Боже, Ты же видишь, Ты же знаешь,
Сохрани Свой народ, сохрани!
Господи Боже, Ты всё время нас карашь,
Отдохни Ты уже, отдохни!

АВЕРМАН. Что? Что такое? Уже кого-то хоронят?

КАНТОР. Авермана хороним, Авермана.

АВЕРМАН. Кого-о?!

МИША. Вас, Рувим Исаич, примите мои соболезнования.

АВЕРМАН. Что это значит, господин Винницкий?! Я ещё живой!

МИША. И на здоровье, Рувим Исаич, что вы! Просто надо было собрать побольше людей. На мои похороны столько бы не пришло. О! Вы слышите? Ещё подходят.

(показались громилы)

АВЕРМАН. Ваши штучки у меня уже вот где! Полиция! Полиция! Да, но у меня дома должна быть охрана, мне обещали! (*убегает*)

МИША. А? Это же просто опера «Кармен»!

ДВА ХОРА СБЛИЖАЮТСЯ

СЛОБОДА

Эй! Эй! Эй!
Запирайте этажи — нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба: хай гуляе гольтьба!
Хрен моржовый, туз бубновый, гроб дубовый закажи!

Уж я ножичком полосну!
Ремень кожаным охлестну!
Растопчу твою скрипочку!
Все кишочки повыпущу!
Доберуся до Хаима,
Распорю потроха его.
Да засуну их в зад ему,
Недомерку пейсатому!
Хей! Хей! Бей да не жалей!
А уж Фирочке с Сарочкой
Кол забью в эту самую! Хей! Хей!

ПОХОРОНЫ

Господи Боже, Ты же видишь, Ты же знаешь,
Сохрани Свой народ, сохрани!
Господи Боже, Ты всё время нас караешь,
Отдохни Ты уже, отдохни!
Господи Боже, посмотри на эти рожи:
Неужели они от Тебя?
Господи Боже, извини, но если можно,
Мы чуть-чуть постоим за себя.

Сошлись. Замолкли.

СЛОБОДА. Эй! Пейсатые! Кого хороним?

МИША. Авермана хороним, Рувима, а что?

СЛОБОДА. Одного Авермана?

МИША. Одного.

СЛОБОДА. Так мы сейчас добавим.

МИША. Одну минуту, господа. Дайте слово покойнику. Правда, он не совсем Рувим, это скорее «Максим», но тоже наш человек. Прошу, уважаемый.

(из гроба показался пулемёт)

КАНТОР. Господи Боже, посмотри на эти рожи...

ПУЛЕМЁТ

Тра-та-та тра-та-та!

КАНТОР. Господи Боже, извини, но если можно...

ПУЛЕМЁТ

Тра-та-та тра-та-та!

СЛОБОДА

Аааа!...*(разбегаются)*

(убегает МАНЯ)

МАНЯ. Миша! Пока вы тут хороните Авермана, там его и правда, убивают!

МИША. Вот держиморда полицейская! А ведь обещал охрану!

ЭПИЗОД 13. ВОТ ОНО КАК!

*У АВЕРМАНОВ дикий разгром. Погромщики шарят в комод. Аверман
весь в крови валяется в углу без памяти. Двое ГРОМИЛ гонятся за ЦИЛЕЙ.*

ЦИЛЯ. Помогите! Помогите!

1 ГРОМИЛА. Куда? Куда ты, пгичка моя?

2 ГРОМИЛА. Ты ж моя рыбонька, да куда ж ты?

(те же и Миша)

МИША. Сюда! Сюда, пгичка, сюда, рыбонька, сюда!

(ЦИЛЯ с размаху влетает в его объятия)

1-й ГРОМИЛА. Смотри, какой смелый.

2-й ГРОМИЛА. Ничего, это ненадолго.

(достают ножи)

МИША. Два козыря. Сильная карта. Но у меня джокер. *(вынул наган)* Не верите?
(стреляет им под ноги)

1-й ГРОМИЛА. *(подскочил)* Эй! Эй! Ты что?

2-й ГРОМИЛА. Ладно, ладно. Убери пушку. Убери, мы пошутили! Ааа!

(погромщики исчезли)

ЦИЛЯ. Господи, ужас какой!.. Мерзость какая!.. Миша! *(приникает)*

МИША. Ну, ну... всё хорошо... успокойся...

(пошла музыка «Шара»)

Девочка, девочка, слёзы утри,
Серые волки отсюда ушли,
Больше они не придут никогда:
Их дядя Миша не пустит сюда.

Он тебя любит, в обиду не даст,
Он за тебя чёрту душу продаст,
Он тебе с неба достанет луну,
Если, конечно, ты скажешь ему.

ХОР

Тумбала, тумбала, — и т.д.

МИША и ЦИЛЯ

Вот оно как, ни с того ни с сего,
То, что на свете дороже всего,
Ищешь всю жизнь, а оно за углом:
Вот эта улица, вот этот дом....

Поцелуй. Это видят вбежавшие ТОР и ВЕРА.

ЭПИЗОД 14. ПРИХОДИТ ВРЕМЯ НОВОЕ

ВЕРА и ТОР на бульваре.

ВЕРА

Я не люблю влять, товарищ Тор,
Скажу вам по-рабочему, в упор:
Семья буржуев — это не для вас:
Вы плоть и кровь от угнетённых масс.
А этот твой приятель, из бандюг —
Для них он социально близкий друг.
Приходит время новое. Вот-вот
Мы выкинем отсюда всех господ,
И этих — тоже, из Одессы вон!
И что? Ты вместе с ними за кордон?

ТОР

Ты чётко говоришь, товарищ Вера:
В упор и насмерть.
Вроде револьвера.

(уходит)

ВЕРА *(вслед)*

Тор! Берегитесь буржуазных дур!
Хороший мальчик.
Нежный чересчур.

АРИЯ ТОРА

Время шло — и вдруг остановилось.
Ясный день сменил кромешный мрак.
Как же всё внезапно изменилось!
Я стою один — но как же так?

Где мой город, где друзья?
С кем остался я?
Как мне быть? Как мне жить?
Никому не верю я!
Дай совет, судьба моя,
Как мне быть... как мне жить...

Значит, прочь всё то, что было прежде!
С глаз долой лирический туман!
На удар ответить надо тем же,
Заплатить обманом за обман!

Нет ни дружбы, ни любви —
Есть лишь боль моя, ни понять, ни простить —
Никому не верю я!
Сам решить сумею я
Как мне быть,
Как мне жить в этом мире....

ИНТЕРМЕДИЯ. ПРИСТАВ и ТОР

ПРИСТАВ. Молодой человек!

ТОР. В чём дело?

ПРИСТАВ. Как хорошо, шо вы анархист.

ТОР. Допустим. И что же тут для вас хорошего?

ПРИСТАВ. А то, что вы е интеллигентные люди, вы же всегда на глазах, не то что эти бандиты с Молдаванки. Не надо искать, выслеживать. Есть просьба: найги Иосифа Тора — пожалуйста! Вот адресочик, вот описание, вот Иосиф Тор, добрый день, у меня до вас дело.

ТОР. У меня с полицией не может быть никаких общих дел.

ПРИСТАВ. Ошибаетесь. Нас с вами приглашает один наш общий знакомый.

ТОР. У меня с полицией не может быть никаких общих...

ПРИСТАВ. Это Аверман, Рувим Исаевич.

ТОР. Да?.. Но при чём здесь вы?

ПРИСТАВ. Так пройдёмте же и спросим у него самого.

ЭПИЗОД 15. ЗАГОВОР

У АВЕРМАНА. АВЕРМАН, ПРИСТАВ, ТОР

АВЕРМАН

Зачем живу я в этом мире?

Кому копил я капитал?

Зачем пахал в поту и в мыле,

Пока не стал кем стал?

А я на то скажу открыто,

Что я трудился день и ночь

Затем, чтоб выдать за бандита

Свою родную дочь!

Помилуй Боже, и спаси!

Молю тебя — не допусти

Такой беды, такой судьбы

Для дочери моей!

Пойми несчастного отца:

Уйми Ты этого певца!

Возьми к себе на небеса

Или меня убей!

Да! Да! Именно так! Этот вор, рецидивист, налётчик хочет жениться на моей дочери, и свадьба уже назначена.

ПРИСТАВ. И что — нельзя было откупиться?

АВЕРМАН. Какое откупиться? Он влюбился в Цилю...как клещ какой-то!

ПРИСТАВ. Ну, а ваша дочь...

АВЕРМАН. Моя дочь...Она сама — по уши! Он ей все мОзги заморочил.

ПРИСТАВ. Ну и что? Вы отец, ваше слово — закон.

АВЕРМАН. А что я могу? Когда он мне жизнь спас! А ей — честь! Вся Молдаванка молится на него, после того, как он разогнал погром, между прочим — он! А не полиция!

ПРИСТАВ. Ну, хорошо, хорошо, а теперь-то что? У вас есть мысль?

АВЕРМАН. На свадьбе будет весь цвет одесских налётчиков. Сам Японец давно в розыске. Вы меня поняли?

ПРИСТАВ. Ещё немножко.

АВЕРМАН. У вас есть шанс одним ударом избавить город от этого ужаса.

ПРИСТАВ. Вы хотите облаву?

АВЕРМАН. Вы не представляете, как вам будут благодарны первые люди города! Братья Морозовы, Эйхбаум и сыновья, Казначейство. Вы меня поняли?

ПРИСТАВ. Да, но что скажет ваша дочь?

АВЕРМАН. А вот это уже ваша проблема, Йосиф! Циле совсем необязательно смотреть на этот бой быков. Под любым предлогом уведите её куда-нибудь, я не знаю, на кухню, в погреб, в тартарары! А я тем временем присмотрю за Японцем.

ТОР. Но я не собираюсь быть на этой свадьбе!

АВЕРМАН. Йосиф. Миша спас Цилю от погрома — вы должны спасти её от Миши. И тогда у вас тоже появится шанс. Вы меня поняли.

ЭПИЗОД 16. ЭТО ОН!

АРИЯ ЦИЛИ

Нет, не о нём мечтала я,
Когда мечтала я!
Нет, он не снился по ночам
И не манил меня!
Цыганка на мою ладонь
Смотрела с двух сторон
И нагадала мне дружка,
Но это был не он!

И вот, откуда ни возьмись,
Неведомо зачем,
Не отличаясь от других

Особенно ничем –
Но так он глянул на меня,
И улыбнулся так,
Что в тот же миг узнала я
Судьбы заветный знак!

Вот о ком мечтала,
Вот кого ждала!
Издали узнала,
Навсегда нашла!
Страхи и сомненья
Все пропали вдруг,
И сияет солнце
В сердце и вокруг!

Вот это гром средь бела дня
На голову мою!
Который день схожу с ума,
Себя не узнаю!
Обнять его, в глаза взглянуть,
Припасть к его плечу –
Как будто лучшей доли нет –
А я и не хочу!

Вот о ком мечтала, вот кого ждала.
Издали узнала, навсегда нашла!

(с ХОРОМ)

Так решили боги — вот и камень с плеч:
Их небесной воле лучше не перечь!
Распахнулось море, расцвела земля!
Здравствуй мой желанный — я люблю тебя!

КОНЕЦ 1 АКТА

АКТ 2

ЭПИЗОД 17. СВАДЬБА

*За свадебным столом: МИША, ЦИЛЯ, АВЕРМАН, УТЁСОВ, ТОР, БО-
ЯРСКИЙ, НЕХАМА, МАНЯ, КОСТЯ, КАТЯ и бандиты с барышнями. Ши-
карный вид!*

ХОР (сначала молитва на идиш, затем «Тумбалалайка» как обрядовая песня)

УТЁСОВ

Думает парень ночь напролёт:
Ту ли девчонку в жёны берёт.
Можно влюбить и ошибиться,
Ах, кабы правду знать наперёд!

МИША

Ну-ка, ответь мне, радость моя:
Что это может гореть без огня,
Не остывает в лютый мороз,
Тает от взгляда, плачет без слёз?

ЦИЛЯ

Плачет от счастья или тоски,
Тает, смеётся, рвётся в куски —
Всё это может сердце одно,
Если любовью сердце полно!

ХОР

Тумбала, тумбала, тум балалайка -...тумбалала-ла

МИША и ЦИЛЯ

Всё это может сердце одно,
Слышишь, как сильно бьётся оно.
Вот и разгадка, вот и ответ,
Больше вопросов вроде бы нет.

ХОР

Тумбала, тумбала, тум балалайка -...тумбалала-ла

В стороне — ПРИСТАВ

ПРИСТАВ (*ритмизированная проза*)

Красиво гуляют, чёрт их возьми! Ну, что бы им не сделаться нормальными людьми? Нет, так они не могут. Они живут в своём отдельном государстве с Мишей-Королём. Вон они, молодчики, одесские налётчики, все съехались к Японцу среди бела дня. Ну, так накрыть его облавою со всей его оравой! Живём без императора — проживём без Короля!

Вон они, красавцы...

На свадьбе разодетые «красавцы» выдают свой танец.

ТАНЕЦ и ХОР ОДЕССКИХ НАЛЁТЧИКОВ

С одесского кичмана
Четыре атамана
По-тихому слиняли в темноте.
Эх, вольная воля — ни вышек, ни конвоя,
А деньги взять всегда известно где.

Кафе «Британия» — своя компания,
Уже заранее — накрытый стол.
Белая скатерка — коньяк из крангика,
Шалава Катенька — и верный ствол!

Открыв портсигар — выходит на бульвар
Шикарный одесский джентльмен.
Черговски хорош — на нём отличный клёш,
Для всех он заразительный пример!

Его походочка — как в море лодочка,
Неотразимое — его лицо,
А рядом барышня — и ты не спрашивай,
Откуда дивное — на ней кольцо!

ПРИСТАВ (*ритмизированная проза*)

Вот так посмотришь — ну, честно говоря, зря! Зря прогнали царя. Забыли люди и совесть и страх: бандиты гуляют у всех на глазах! Вот и догуляются. В случае чего — огонь на поражение, и — всех до одного. Пошли!

НАЛЁТЧИКИ

Я мальчик простой — характер мой плохой,
Мне с детства дорожка одна:
Налево пойдёшь, направо завернёшь,
И спереди и сзади — она:

Одесса — мамочка — на щёчках ямочка,
Такая дамочка, что ой-ой-ой!
И эту дамочку я вставлю в рамочку:
Пусть будет мамочка всегда со мной!
Одессу-мамочку — я вставлю в рамочку:
Пусть будет родина всегда со мной!

Выстрел. Вскочили АВЕРМАН и ТОР

Стреляла в воздух МАНЯ ШМАЙСЕР, от восторга.

МИША. Маня! Хладнокровнее, да? Мы не на работе.

АВЕРМАН. (*ТОРУ, негромко*) Уводите Цилю. (*к МИШЕ*) Послушайте, Миша, мы ещё не говорили с вами за приданое. А у меня есть что сказать на эту тему.

МИША. Рувим Исаич...

АВЕРМАН. (*ТОРУ, тихо*) Что вы стоите, как поц на выставке? (*к МИШЕ*) Только не говорите, что эта тема вас не интересует!

МИША. Рувим Исаич...

ТОР. (*к МИШЕ с другого боку*) Миша, на два слова.

(отводит МИШУ в сторону, АВЕРМАН следом)

АВЕРМАН. Йосиф! У нас семейный разговор!

ТОР. (*не обращая внимания*) Миша, я должен тебя предупредить...

АВЕРМАН. Нет уж, тогда я первый! Миша, я нарочно отвёл вас, чтобы сообщить...

ТОР. Миша! Сейчас здесь будет облава.

АВЕРМАН. По всей вероятности!

МИША. По всей вероятности да или всё-таки...

ТОР. Да! Да! Да! Закрывай лавочку и уводи Цилю!

АВЕРМАН. Это главное!

МИША. Ай да Иван Капитоныч! А? Весь цвет одесских налётчиков — одним ударом!

АВЕРМАН. Вот-вот! Слово в слово!

МИША. Или он сам догадался?

АВЕРМАН. Или!

МИША. Спасибо, Рувим Исаич! Йосиф — я твой должник навеки. Но ради Бога: не будем портить праздник, сядьте, выпейте водки и пусть вас не волнуют этих глупостей. Гости, дорогие! Выпейте с нами за дружбу одесских капиталистов, анархистов и специалистов! Лехаим! А Маня с Майорчиком путь подойдет на пару слов.

ГОСТИ. Лехаим!

МАНЯ с МАЙОРЧИКОМ пошептавшись с МИШЕЙ, исчезают. Начинается выступление БАРЫШЕНЬ.

БАРЫШНИ

Чирибим! Чирибом! Чирибом бом бом!
Не ругай меня напрасно, мама дорогая!
Что поделать, я влюбилась, моя золотая!
От него с ума схожу я каждый день всё больше!
Когда ты любила папу, ты была такой же!
Чирибим! Чирибом!...

(Выстрел. АВЕРМАН и Тор вскакивают. Это опять МАНЯ)

МИША. Маня, сколько можно?

МАНЯ. Миша! Они уже едут!

(слышен нарастающий грохот)

АВЕРМАН. Вот оно! Началось! Что вы стоите?

ТОР. Это не к нам.

(сквозь толпу танцующих — аналогия с ПРОЛОГОМ — грохоча проезжает ПОЖАРКА, свистя, звеня и трубя, вся облепленная пожарными и горючими. Танец возобновляется)

БАРЫШНИ и НАЛЁТЧИКИ

Чирибим! Чирибом! Чири бом бом!
От печали можно выпить и развеселиться!
От врага сбежать в Китай — там и поселиться!
От грозы укрыться можно и переодеться!
А любовь такое дело — никуда не деться!
Чирибим! Чирибом!...

(вторая ПОЖАРКА с грохотом проезжает по сцене, с неё спрыгивает КОСТЯ)

МИША. Костя! Что там такое, ты можешь объяснить?

КОСТЯ. Участок! Полицейский участок горит, как солома! Фараоны со всей Одессы сбежались, не могут потушить!

НАЛЁТЧИКИ

- Це треба побачить!
- Як плавають наши архивы!
- Может, что-то удастся спасти!

(и танец выметает всю публику со сцены. ЦИЛЯ и МИША одни)

ЭПИЗОД 18. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

ЦИЛЯ

Наконец-то вот оно, моё счастье.
Только я тебя прошу — обещай мне
Что всё будет хорошо непременно.

МИША

Моя радость — и денно и ночью
Я с тобой до последнего вздоха.
И всё будет хорошо, и всё лучше,
И теперь уже вроде неплохо.

ЦИЛЯ

Обещай мне, мой милый разбойник,
Что разбойничать больше не будешь,
Что родим мы прекрасного сына
И на берег Лазурный уедем!

На Лазурном берегу безопасно,
И ни в чём нет нужды совершенно.
Обещай, что туда мы уедем,
Пусть не завтра, но пусть непременно!

ВМЕСТЕ

И люблю я тебя бесконечно!
И счастливые слёзы не прячу!
Будет всё хорошо, моя радость,
Потому что — а как же иначе?

ЭПИЗОД 19. ДОСТАТЬ ОРУЖИЕ

Подпольный комитет. ВЕРА, ТОР и товарищи.

АНСАМБЛЬ *(негромко)*

Наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка.
Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!...

ВЕРА. То-то и оно! Паровоз летит, а винтовки-то в руках — нет! Красные на подходе, к восстанию всё готово. Всё — кроме оружия. А перед нами гарнизон из от-

борных денкинцев плюс местная полиция. Против них с одними листовками? А оружие в городе есть!

ТОР. Есть, и очень много. От одной антанты два склада винтовок.

ВЕРА. И их можно купить — как всё в этом городе.

ТОР. Ну, всё не всё...

ВЕРА. Всё, всё, товарищ Тор! Этот торгашеский дух — стыдно сказать: даже типографские рабочие отказываются печатать наши листовки бесплатно! Рабочие!

ТОР. Кушать всем надо.

ВЕРА. Надо о будущем думать, а не кушать! Короче: есть возможность перехватить крупную сумму. Часть царского золотого фонда белые тайно везут через Одессу в Константинополь. Явки и пароль мне известны. Группа сопровождения — 5 человек, все кадровые офицеры.

ТОР. Надо звать Японца.

ВЕРА. Хм...и это говорите вы?!

ТОР. Я, я! Стараюсь думать о будущем. Кадровые офицеры? У нас таких бойцов нет.

ВЕРА. А Японец — профессиональный бандит, ещё бы. Но он же захочет свою долю?

ТОР. Само собой. Ему тоже кушать надо.

ВЕРА. Ладно. Давайте вашего Японца. Он своё получит.

ЭПИЗОД 20. ЛОВУШКА

Тьма, непогода, жмутся ДВЕ ПРОСТИТУТКИ.

ПЕСНЯ ПРОСТИТУТОК

Ночь идет, и дождь идет, и публика идет,
На углу мальчишка папиросы продает.
Он больной, он кушать хочет,
Папиросы дождик мочит
И по спинке худенькой течет.

Взад — вперёд проходят люди, им везде тепло,
Кто идёт в пальто и шляпе, кто сидит в авто,
И глядит на них мальчишка,
Что-то шепчет еле слышно,
Но его не слушает никто.

Я вас прошу — не проходите мимо!
Покупайте папиросы «Прима»
Мне хотя бы хлеба корку
Отнести в свою каморку,
Я и этим долго буду сытый.

Я вас прошу: не проходите мимо,
Покупайте папиросы «Прима»,
А иначе тёмной ночью
Я помру в канаве сточной,
Все равно я всеми позабыт.

Показались 4 фигуры с тяжелым саквояжем.

Внезапно перед ними возникают МИША с МАЙОРЧИКОМ и МАНЕЙ.

МИША. Одну минуту. "Кто скачет, кто мчится под холодной мглой..." — как там дальше?

1 ФИГУРА. "Лошадка, везущая хвосту воз."

МИША. Хорошие стихи. Отдыхайте, господа, нам приказано вас заменить.

ФИГУРА. Вы не ошиблись? Ваша задача — нас сопровождать, смена должна быть в Константинополе.

МИША. А чем Одесса хуже? (*револьверы наготове*). Тихо-тихо. Спокойно-спокойно. Все-Все-Все. (*ФИГУРЫ разоружены*) Лошадка свободна. Хвост в надежных руках. У вас 5 минут. (*ФИГУРЫ исчезают. МИША открыл саквояж*) Шикарный вид! И такие вещи скрывать от трудового народа.

(Все трое удалились. Звучит унылая песня проституток)

ПРОСТИТУТКИ

Ночь идёт, и дождь идёт, и публика идёт
На углу девчонка своё тело продаёт.
Ей сейчас сидеть бы в школе,
Отдыхать в тепле и холе,
Но нужда на улицу ведёт.

Взад — вперёд идёт народ, не смотрит на неё,
Золотые окуляры, тёплое бельё,
И глядит на них малышка,
Что-то шепчет еле слышно,
Ни никто не слушает её.

Я всё прошу — не проходите мимо,
Мне семью кормить необходимо,
Мне хотя бы хлеба корку
Отнести в свою каморку,
Я беру недорого совсем...

В тех же сумерках встречаются ВЕРА, с ней ТОР, и МИША, с ним МАЙОРЧИК с саквояжем.

МИША. Прошу зачитать пароль.

ТОР. "Гляжу, поднимается медленно в гору..."

МИША. "Ездок запоздалый, а с ним саквояж". Отзыв немножко другой, но абсолютно верный. Да, господа-товарищи, рассказать — никто не поверит. Это же была просто опера "Кармен"! Они шагали не скрываясь, их было десять человек.

ВЕРА. В другое время, уважаемый, в другое время. А пока — спасибо, вы свободны. Революция не забудет вашей заслуги.

(протягивает руку к саквоюжу, но МИША уклоняется)

МИША. Мадам, а вы не ошиблись? Помнится, был уговор о проценте. Или мы отложим до другого раза?

ВЕРА. Спокойно, гражданин Винникий. *(вынула револьвер)* Руки. Повыше. *(тот повинуется)*

ТОР. Вера, ты что? Мы же обещали!

ВЕРА. Царское золото, Иосиф, принадлежит народу без-раз-дель-но. Ты же сам говорил о нем, что он в душе анархист. Тогда что же он торгуется как биндюжник?

МИША *(в восторге)* Ша! Ни слова более! Романс!

(поет)

Была мне клятвенно обещана
Любовь взаимная до гроба,
Но я совсем забыл, что женщина
Весьма капризная особа.
Ведь это истина древнейшая,
Что ты без памяти любим
И бесконечно дорог женщине —
Пока ты ей необходим!

(импровизирует)

(насвистывает мотив)

МАНЯ. Не свисти: денег не будет.

МИША. Таки не будет!

Прощайте, царские сокровища!

Я не успел вас полюбить.

Во избежание побоища,

Мне надо быстро-быстро-быстро уходить.

(уходит вместе с МАЙОРЧИКОМ)

ТОР. С чего это он развеселился?

ВЕРА. *(приподнимает саквоюж)* Серьезный груз. *(опустила. Саквоюж громыхнул).*
Надо будет все до последнего предмета описать по протоколу, при свидетелях.

ТОР. *(берется за саквоюж)* Надо бы взглянуть.

ВЕРА. Тор! Только при свидетелях!

ТОР. Здесь Одесса, Вера. Здесь говорят — не все то золото, что бренчит

(Открыл, вынимает подкову, клещи, еще какие-то железки и наконец, вываливает грудку металлолома).

ВЕРА. Ну и кто же это пошугил? Офицеры над Мишей или Миша над нами?

ТОР. Офицерам зачем?

ВЕРА. А Мише зачем?

ТОР. Экзамен на доверие. И ты его не выдержала.

ВЕРА. Если всякий уголовник начнет экзаменовать заслуженных революционеров, испытанных бойцов... Когда мы победим, я твоего друга первого к стенке поставлю.

ТОР. Не получится.

ВЕРА. Это почему?

ТОР. Потому что без него-то мы и не победим.

ВЕРА. В общем, так: твой друг — ты эту кашу и расхлебывай.

ТОР. Значит, стенка отменяется?

ВЕРА. Какой же ты все-таки, Йосенька, у меня... мягкотелый. *(порывисто обнимает его и тут же отпускает)*

ЭПИЗОД 21. НЕВЕРОЯТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У ФАНКОНИ. МИША со свитой и ТОР

БАРЫШНИ

Сию одну... грустна, бледна...

За окном безоблачная ночь.

В небе луна... тоже одна...

Но она не может мне помочь!

Где вы — сны моих желаний?

Где вы — ночи нежных свиданий?

Где вы — той весны золотые дни?

В тоске и печали навеки пропали они!

(на проигрыше)

ТОР. Я всё понимаю. Да, получилось нехорошо, согласен, но что же делать? Как нам-то теперь быть?

МИША. Вот-вот. Ты послушай-послушай.

БАРЫШНИ

Боже! Как мне быть, что мне делать?

Больше в мире некому верить!

Где ты, золотая мечта моя?

Так ярко сверкнула — и так обманула меня!

МИША. *(на музыке)* Ни один порядочный фраер не отдал бы вашему комитету ни единой цапки из этой коллекции.

(с грохотом ставит на стол саквояж)

Но, Йосиф! Я твой должник: ты спас мою свадьбу, такое я забыть не могу, иначе какой же я буду король? Хотя свой процент я немножко удвоил.

ТОР. *(принял саквояж)* Я спас твою свадьбу... а свою — упустил...

МИША. Почему упустил? Мы ещё на ней погуляем! Какие наши годы?
Но только, Йосиф, держись подальше от своей комиссарши: для неё идеи важнее людей, а это неправильно.

ТОР. Да, кстати.

(без музыки)

К тебе от нашего комитета — в том числе и от комиссарши — просьба. После восстания будет 2-3 дня до прихода красных. Надо чтоб кто-нибудь последил за порядком. Мы просим об этом тебя.

МИША. То есть, чтобы я и мои хлопцы заменили городских?

ТОР. Мы поднимем восстание и первым делом — что? Ликвидируем полицию. Конечно, сознательных граждан в городе много, но бессознательных все-таки большинство, тут такое начнется. А ведь тогда, на Молдаванке, кто разогнал погром, пока полиция пряталась по углам? У тебя есть опыт, Миша!

МИША *(от изумления к восторгу)*

Очи повылазили...крыша полетела...
Мама дорогая — это что за вас ист дас?
Граждане налетчики! Нас зовут на дело!
На такое дело никогда не звали нас!
Товарищ бандит — какой шикарный вид
Ну просто пардон мерси боку!
Штаны галифе, шлём на голове,
Казенная селедка на боку.

Все надзиратели — его приятели,
Градоначальнички — его друзья.
И всюду — Господи: блага и россыпи
В свободном доступе — а брать нельзя!

(присоединяются МАНЯ с КОСТЕЙ)

МАНЯ. Это почему?

МИША

Не вор, не абрек, ты первый человек,
У всей Одессы на виду!
И всякий уркан, шпана и хулиган
Тебя обходит за версту
Орлу одесскому, жигану местному,
Разок по-честному сыграть не грех,
А в свалке жизненной, блатной и низменной
Он разбирается получше всех!

(с налетчиками)

Своя амбиция! И амуниция!
Буквально с каждого рисуй портрет!
Была полиция — теперь милиция,
Особой разницы, похоже нет!

(свистят)

ЭПИЗОД 22. ВОССТАНИЕ

Гремит музыка. Гремят выстрелы. С грохотом по сцене прокатывается красный грузовик с восставшей Одессой. Врасыпную бегут городовые. Лозунги «Анархия, мать порядка!», «Одесса — мать анархии!». Возгласы: «Долой!» и «Даёшь!»

ИНТЕРМЕДИЯ 1

У склада "Эйхбаум и сыновья" орудует ГРАЧ. Те же и МАНЯ с КОСТЕЙ

КОСТЯ. Здорово, Фроим.

МАНЯ. Здорово, Фроим.

КОСТЯ. Спокойно, Фроим.

ГРАЧ. А я спокоен.

МАНЯ. А то смотри, мы быстро успокоим.

ГРАЧ. Скажите мне, что надо вам обоим?

КОСТЯ. Король просил же — проявлять лояльность.

И на семь дней забыть про специальность.

ГРАЧ. Но это шутка!

МАНЯ. Какие шутки?

Мы сами еле терпим третьи сутки!

КОСТЯ. Но ты же знаешь: если Миша просит,

То он отказов не переносит!

ГРАЧ. Ну что же, Миша — он мне как брат.

Эй вы! Отбой! Тащите вещи взад!

Гремит музыка. Гремят выстрелы. С грохотом по сцене прокатывается красный бронепоезд. Вдоль него лозунг: «Вся власть Советам!»

ИНТЕРМЕДИЯ 2

Ночь. Улавки "Бр. МОРОЗОВЫ" орудует КОЛЯ ШТИФТ. Те же и КОСТЯ с МАНЕЙ.

КОСТЯ. Здорово, Коля!

МАНЯ. Эх, Коля, Коля!

Тупой ты, что ли?

КОЛЯ. А что такое?

КОСТЯ. Король просил же — соблюдать лояльность.

И на семь дней забыть про специальность.

КОЛЯ. Мне что Король, что царь, что император:
Я сам себе полтавский губернатор!

КОСТЯ. Тебе билеты прислал Король:
Езжай на Питер, делай там гастроль,
Чтоб не забыли про Одессу...

КОЛЯ. А мне ваш Питер без интересу.

МАНЯ. Не уважает Мишину корону.

КОСТЯ. Тогда его придется по закону.
(свистит)

КОЛЯ. Тю на тебя! Какой закон?!
Давай сюда билеты! Фараон...

ЭПИЗОД 23. КРАСНЫЙ ТРИУМФ

*Гремит музыка. У ФАНКОНИ, в зале с плакатами, портретами и фла-
гами, собирается публика. МИШИНА "милиция" соблюдает порядок.*

- Эй! Граждане! Не толпитесь так, вы не на Привозе!
- Дама! Шо вы плюете семечки на пол? У вас для этого есть карман!
- Гражданин биндюжник, а выразаться культурно вы можете?
- Это как?
- Кессен мир цум тохес, жопа неграмотная!
- Барышни! а вы-то куда? Здесь уже не бордель, здесь профсоюзный клуб!
- А ты бачишь, шо там написано?
- "Нынче всякий труд в почете".
- "Ну?! (БАРЬШНИ проходят)"

Крики «Ура!». Это появился МИША под руку с ЦИЛЕЙ.

МИША. Что скажешь?

ЦИЛЯ. Шикарный вид!

МИША. То-то. Привыкай уже. Кактам наш Михаил Монсеич? *(по поводу Цилиного животного)*

ЦИЛЯ. Немножко брыкается.

МИША. В папашу пошёл. А что Рувим Исаич, почему не с нами? Таки при этой власти всякие погромы категорически исключены.

ЦИЛЯ. А он всегда чего-нибудь боится.

МИША. С таким зятем?
На трибуне ВЕРА

ВЕРА. Товарищи трудящиеся города Одессы, а также сочувствующие граждане!
От вашего имени я приветствую наши победоносные красные войска!

(аплодисменты)

А также наш подпольный Одесский комитет и его победоносное восстание!

(аплодисменты)

МИША *(ЦИЛЕ)* Гуляют на мои деньги.

ЦИЛЯ. Миша! Потомки тебя не забудут.

МИША. Но хотя бы простое спасибо.

ВЕРА. Особая благодарность объявляется уроженцу Одессы гражданину Винницкому за его посильный вклад в наше общее дело...

(аплодисменты)

МИША *(ЦИЛЕ)* 9 миллионов оторвал от сердца!

ЦИЛЯ. Миша! Ты святой.

МИША. Я великомученик, Цилечка...

ВЕРА. ...за что от вашего имени, товарищи, ему вручается именное оружие, украшенное серебряной чеканкой!

(аплодисменты. МИШЕ вручается сабля)

ТОР. Кроме того, штаб фронта поручает товарищу Винницкому сформировать красный революционный полк из его геройских бойцов вплоть до окончательной победы и полной амнистии для всех участников!

Громовое «Ура!»

МИША. Господа! ...То есть граждане товарищи!

Раньше вы со мной бы согласились все:

Эта сабля Мише — как седло козе... Но теперь Японец — красный полководец!

Вылитый Котовский, просто как во сне!

Леня! У меня слова кончились. Выйди, помоги.

(вышел УТЕСОВ. Пошел "ШАР ГОЛУБОЙ")

МИША и ЛЕНЯ

Крутится, вертится шар голубой

С красными флагами над головой.

Где эта улица? Где этот дом?

Все кверху дном и пошло ходуном!

Может быть в этом кипящем котле

Варится счастье для всех на земле,

Может быть, ради мечты золотой,

Крутится, вертится шар голубой...

ВЕРА. Да нет же, нет! Товарищи! Это же все песни вчерашнего дня! Дашь нашу, пролетарскую!

Наш паровоз, вперед лети!

В коммуне остановка...

Ну? Подпевайте! Вы же должны знать! Три — четыре — и:

ХОР

Тумбала тумбала тумбалалай,
Тумбала — *и т.д. очень мощно и красиво.*

ЭПИЗОД 24. ВАС ОЖИДАЕТ ПАРОХОД

У АВЕРМАНОВ. Рабочие выносят мебель.

ВЕРА

Гражданин Аверман.
Как вы являетесь представителем
Эксплуататорского меньшинства,
То все ваше движимое и недвижимое
Подлежит реквизиции и конфискации
В пользу трудящегося большинства.
Число. Печать. Горсовдепгруд.
И подпишитесь вот тут.

АВЕРМАН. "Гов...сов...дер...пер," — это кто?

ВЕРА. Это городской совет депутатов трудящихся. Экономия, Аверман. Сокращаем слова до основного смысла.

АВЕРМАН. Так идите дальше!

ВЕРА. Как это?

АВЕРМАН. Основной смысл сокращайте тоже. Чего уж церемониться.

ВЕРА. Церемониться не будем. Собирайте личные вещи и пожалуйста, через площадь направо, в Распреджилком. Там уже очередь.

АВЕРМАН

На меня налетали налетчики,
На меня наезжали погромщики,
Гайдамаки склады распечатывали,
Добровольцы счета опечатывали,
Но чтоб так — подчистую и сплошь -
Вот уж это грабеж так грабеж.

Кроме Распреджила вариантов нет?

ВЕРА (*пародируя*)

Там в Одесском порту под парами
Иностраный стоит пароход.
С чемоданами и сундуками
Он вас чудно с собой заберет.
И в Европу свою дорогую
Убирайтесь вы все подчистую!

И не теряйте времени, там тоже очередь.

АВЕРМАН. Слышишь, Цилечка? Устами товарища Веры говорит сама судьба. Собирайся: мы едем на Лазурный берег, ты же всегда мечтала об этом. А здесь... да ещё в твоём положении...

ЦИЛЯ. Надо позвать Мишу.

БЕРА. Вы-то, конечно, можете остаться. Вам с мужем полагается комната из гор-спецфонда.

АВЕРМАН. Прежде всего, это моя дочь!

БЕРА. А это ей решать, кто она: дочка богатого эмигранта или жена красного командира.

ЦИЛЯ. Надо позвать Мишу. Где он?

БЕРА. В настоящее время товарищ Винницкий формирует свой полк.

ЭПИЗОД 25. МИШИН ПОЛК

МИША формирует полк. МАНЯ составляет список.

МИША. Следующий!

(выходит живописный брюнет)

Фамилия?

БРЮНЕТ. Грек!

МИША. То национальность, а фамилия?

БРЮНЕТ. Грек!

МИША. Это кличка. А по паспорту как?

БРЮНЕТ. Ага, по паспорту. По паспорту — Апостолокакис.

МИША. Как?

БРЮНЕТ. Как папа. Апостолокакис, Христофор.

МИША *(МАНЕ)* Записать сможешь? *(та качает головой)* Ладно. Оставь "Грек". А то еще подумают: священник. Основное занятие?

БРЮНЕТ. Ну как... ты же знаешь: утром туда, вечером сюда...

МИША *(МАНЕ)* Пиши "помощник на таможне". Следующий!

(выделяется ГОПЧИК)

Имя?

ГОПЧИК. Гопчик.

МИША. То кличка, а надо имя, крестили же тебя когда-то?

ГОПЧИК. А як же?

МИША. Ну и как записали?

ГОПЧИК. А так и записали: "Гоша. Георгий Микитович Голопуз, короче Гопчик".

МИША. Биографию давай.

ГОПЧИК. Это, пожалуйста.

Родился я у свата под забором,
Крестили меня черти самогоном.
Дядька с рыжей бородой окатил меня водою
И назвал меня он — Гоп со смыком!

Гоп со смыком — это буду я.
Воровство — профессия моя.
Ремесло я выбрал — кражу, из тюрьмы я не вылажу,
А она скучает без меня!
Если ты заходишь на трамвай,
То лопатник дальше убирай,
Потому что Гоп со смыком
До него достанет мигом...

МИША. Хорошо, хорошо, хватит. Твою биографию уже поют отсюда до Сахалина.
Запишем так: социальное положение "трудолюбивый безработный".

Следующий!

(выступает БЕНЯ КРИК)

Имя, пожалуйста.

БЕНЯ. Мое? Миша, вы же знаете...

МИША. Бенцион Менделевич! Мы формируем полк, надо чтоб по всей форме.
(МАНЕ) Пиши: "Крик, Бенцион Менделевич." Теперь биографию.

БЕНЯ. Она вся есть в полицейском архиве.

МИША. Который, как тебе известно, сгорел. Давай, давай биографию, интересно
будет послушать.

БЕНЯ. Миша, она так похожа на вашу, что нас иногда путают.

(поет)

Мой отец мужчина дюжий, он держал извоз биндюжий,
И туда же он хотел меня.
Но моя губа не дура, артистичная натура
Пожелала блеска и огня!

(вместе с МИШЕЙ)

Я хотел всего и сразу, но мне нужно было базу,
Я пошел до Фроима Грача.
И взял хороший старт, и так вошел в азарт,
Что стал героем маски и плаща!

Нет, я не был Робин Гудом, но с простым рабочим людом
Говорил на общем языке.

И не скрою, что при этом я и с оперой-балетом,
Прямо скажем, был накоротке!
Красота, любовь и слава — жизни главная отрава:
Ею никогда не будешь сыт!
И пусть игра не та, и пусть грозит беда,
Но у тебя всегда — шикарный вид!

МИША. Беня! Это не биография, это готовый роман, надо, чтобы какой-нибудь очкарик его записал для человечества. Ну а мы запишем так: социальное положение — мастер высокой квалификации. Точка. Список полностью готов.

Теперь слушайте сюда.

Завтра мы выступаем. Вся Одесса соберётся посмотреть на полк Миши Японца. Вы меня поняли? Это должно быть красиво! То есть раньше времени напиваться не советую — расстреляю лично!

ХОР

А мы одесские — ребята дерзкие!
Буквально с каждого рисуй портрет!
А под рубашечкой — всегда тельняшечка,
Одессе-мамочке — большой привет!

(те же и ТОР, он отводит МИШУ в сторону)

ТОР. Тебе приказ: прямо с колес, отправляетесь на фронт под Вапнярку.

МИША. Так быстро? Только сформировались.

ТОР. Обстановка.

МИША. И кто же нас там дожидается? Хорошо бы гайдамаки. Мы их уже немножко били.

ТОР. Там кадровые деникинские офицеры.

МИША. Хорошо. Немножко побьем офицеров....

ТОР. Послушай, Японец. В порту стоит под парами пароход, Французский.

МИША. Так.

ТОР. В городе произведена национализация крупных частных компаний. "Эйхбаум и сыновья", "Братья Морозовы"...

МИША. Замечательно.

ТОР. А также торговая фирма "Аверман".

МИША. Дальше.

ТОР. Эйхбаум с сыновьями и братья Морозовы уже на пароходе.

МИША. Скажи главное.

ТОР. Не удерживай Цию.

МИША. Или?

ТОР. Или уезжай вместе с ней.

ЭПИЗОД 26. ПРОЩАНИЕ. ТРИО: МИША, ЦИЛЯ, ТОР

Подождём,
Подождём ещё минуту,
Никуда
Никого не торопя.
Прежде чем
Разойдемся по каютам,
Дай же мне
Наглядеться на тебя!

Времена
Поворачивают круто,
Каждый день
На фронтоне новый флаг.
Подождём
Подождём ещё минуту,
Повторим,
То, что помним мы и так:

ПРИПЕВ

Хорошо бы вольный ветер
Отогнал от нас грозу,
Хорошо бы огонёчек
Не погас бы на мысу,
Хорошо б не разлучаться нам с тобою ни на час!
Хорошо бы повстречаться
Нам с тобою ещё раз...

Как бы там
Это море ни ревело,
Что бы там
Ни грозило с высоты –
Так и знай,
Так и помни, так и веруй:
Всё, что есть
В моей жизни — это ты...

ПРИПЕВ

Хорошо бы вольный ветер
Отогнал от нас грозу,
Хорошо бы огонёчек
Не погас бы на мысу,
Хорошо б не разлучаться нам с тобою ни на час!
Хорошо бы повстречаться
Нам с тобою ещё раз...

(гудок паровоза)

О! А вот это уже мой паровоз.

ЭПИЗОД 27. ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

И на сцену, свистя, гудя и пуская пары, выползает чёрный новейший паровоз, в цветах и флагах, с плакатом поперёк: «ХРЕН УЙДЁШЬ!» Оркестр играет «Наш паровоз». В стороне отдают честь ВЕРА и ТОР

ВЕРА. Что-то не торопятся наши герои.

ТОР. Наводят последний марафет.

ВЕРА. Надеюсь, что последний.

(музыка затихла)

Что такое?

И тут музыка грянула «Цыплёнок жареный»

И в танце-марше является МИШИН ПОЛК с БАРЫШНЯМИ.

«Герои»- в ярких опереточных костюмах при неизменной тельняшке.

В короткой паузе на паровозе возникает МИША.

МИША. Шикарный вид!

ПОЛК

Открыв портсигар, выходит на бульвар
Шикарный одесский джентльмен.
Чертовски хорош, на нём английский клёш,
Для всех заразительный пример.
Его походочка как в море лодочка,
Непобедимое его лицо,
А рядом барышня, и ты не спрашивай,
Откуда дивное на ней кольцо!

ПОЛК

Тучи стоят над Одессой,
В воздухе пахнет грозой,
С Молдаванки своей разлюбезной
Хлопец уходит на бой.
Далека моя дорога,
Ты меня не провожай
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай.

(вместе с барышнями)

Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай.

БАРЫШНИ

До свидания, друг милый!
Поцелуй меня в уста,
И клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда!

(вместе с ПОЛКОМ)

И клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда.

ВЕРА. Ой, я сейчас заплачу!.. Эти клоуны — против кадровых офицеров?

ТОР. А что? Народ обстрелянный.

ВЕРА, Кем обстрелянный — городскими? А тут полевая артиллерия. Час работы — и прощай, цвет одесской уголовщины!

ТОР. Всё заранее рассчитано?

ВЕРА. Политически — безошибочно.

ТОР. А по-человечески — подло.

ВЕРА. Ой, я сейчас заплачу!...

ПОЛК

А мы одесские ребята резкие:
Достанем джокера — и ваших нет!
Судьба индеечка, а жизнь копеечка,
Одесса — мамочка — большой привет!

(Музыка похода превращается в музыку боя: грохот залпов, разрывов, крики. Стоны, треск пулемётов. Внезапно — тишина)

ЭПИЗОД 28 (последний)

Вдали тихо звучит "ТУМБАЛАЛАЙКА".

ВЕРА и ТОР у телеграфного аппарата. ТЕЛЕГРАФИСТ принимает сообщение. Ленту читает ВЕРА.

ВЕРА. "Штаб фронта, срочно. Так называемый полк Миши Японца полностью уничтожен плотным огнем артиллерии белых. Сам Винницкий, отбившись от преследования, движется в сторону Одессы, несмотря на предписание срочно явиться в Киев в штаб 12-й армии". Это называется дезертирство. Принимайте ответ. *(диктует)* "Винницкого арестовать и поступить согласно закону военного времени. Точка. Штаб фронта."

ТОР. Послушай...

ВЕРА. Это бывшая Одесса, Йосиф. Это уголовная Одесса. 2 судимости, 15 налётов, всероссийский розыск. Ответь мне, как чекист, как революционер: зачем этот человек нужен в будущем обществе?

ТОР молчит.

Шипя и потрескивая, без флагов и цветов, медленно выкатывается паровоз. На нём плакат: «ХРЕН ДОГОНИШЬ!»

И наша растерзанная троица: МИША, КОСТЯ, МАНЯ.

МИША. Ну вот, приехали: заградотряд при двух пулеметах. Так что дальше — без меня. Огородами, огородами — и на все четыре. Погони не будет, им нужен только я. Адье, пишите письма.

МАНЯ. Миша...

МИША. Время, Манечка, время!

(КОСТЯ и МАНЯ уходят)

На черноморском берегу
Есть этот город интересный,
Перед которым житель местный
Всегда в пожизненном долгу.
Там жил я как в волшебном сне,
Хотя недолго, но роскошно,
И жизнь и всё отдал за то, что
Мой город скажет обо мне.

Город мой смуглокожий,
Ни на что не похожий,
Мирный ропот прибоя,
Звёзд жемчужная нить.
Кто здесь не был, тот будет,
А кто был, не забудет,
Потому что тебя невозможно забыть... и уж ты как-нибудь обо мне не забудь.

Лёня! Слышишь? У меня слова кончились. Давайте, дальше сами...

Выходит УТЁСОВ и заканчивает песню. ХОР ему подпевает.

На черноморском берегу
На фоне пышных декораций,
Дворцов, фонтанов и акаций
Театру мира на виду —
И он же добрый мой сосед,
Мой друг — товарищ задушевный,
Такой отзывчивый и щедрый,
Какого больше в мире нет!

Город мой смуглокожий, ни на что не похожий,
Как легко и как сложно о тебе говорить!
Кто здесь не был, тот будет, а кто был, не забудет,
Потому что тебя невозможно забыть...

К О Н Е Ц



Валерий Пахомов

ИНТЕРНАТ

Мемуаразы — мемуары и размышления

(продолжение. Начало в №3-4/2015)

Иных уж нет, а те далече

Как Пушкин некогда сказал. Или сначала сказал Саади, а его перевел Томас Мур, которого затем прочел Пушкин и вставил в «Евгения Онегина». Возможно, и Саади кого-нибудь цитировал. Фраза стала крылатой. Да ведь и не придумать лучше для рассказа о друзьях-товарищах. «Знать бы загодя, кого сторониться, а кого — была улыбка Причастием! — эти слова из замечательной песни Александра Галича я произношу уже с пугающей даже меня самого частотой. Потери, потери и опять потери. Увы, в наше время это не только удел должников. Общество разделяется, иллюзии всеобщего равенства уходят в прошлое. То, чем мы жили и чем были сильны, усилиями пропаганды становятся для нового поколения химерами. Я понимаю, что это явление временное, связанное с тем, что новые власти пытаются создать себе идеологический фундамент. Приходится очередной раз убеждаться, что История людей не учит: фальшивая пропаганда создает чудовищ, которые сжирают своих создателей. Так было во все времена, и в мое время тоже. Но, так уж устроен нормальный человек, что плохое он забывает быстрее.

А мои друзья... Мы прожили интересную и совсем не простую жизнь. Трудностей было много, и не всем было дано их выдержать. Многие из моих друзей ушли в мир иной, другие разъехались по всему свету. Начну воспоминания с тех, кого уже нет.

Саша Земляков

История нашего знакомства. Познакомились мы в Интернате в 1967 году. В том году я пришел на работу, а он только что закончил Интернат. Причем закончил с золотой медалью и поступил на Мехмат МГУ. И вот будучи студентом первого курса, Саша начал преподавать в Интернате. Разумеется, никаких разрешений с факультета на совмещение учебы и преподавания у него не было. Но директор школы Раиса Аркадьевна Острая — умнейший человек, прекрасно разбиравшаяся в людях и болевшая за школу, наверное, не меньше, чем за свою семью — закрыла на это глаза. Андрей Николаевич Колмогоров был сторонником преемственности в преподавании, но считал, что на первых двух курсах студент должен заниматься только учебой, а в Интернате ему позволительно только вести какие-нибудь кружки или приходиться заниматься с «отстающими». Он был убежден, что Саша этим и занимается, пока однажды не прошел по классам, поприступовав на занятиях. Тут, конечно, все и вскрылось, но академик быстро «смягчился», услышав отзывы о Саше от других преподавателей, а затем и побеседовав с ним самим. В общем и целом он относился к Саше хорошо. Но какой-то отеческой любви к нему

не испытывал. Я помню, как при мне он с раздражением говорил о том, что Земляков курит какую-то дрянь, и от него на километр разит табаком. Возможно, он знал или чувствовал, что если бы только это...

Итак, первое знакомство. Подробностей я не припомню, но произошло оно примерно так. Я работал в Интернате, кажется, третий год, делал первые «успехи» в преподавании и переполненный гордостью за свое очередное «открытие» радостно делился со Звонкиным и с Матвеевым (оба они уже работали в интернате) своими мыслями относительно того, как нужно преподносить, к сожалению, уже не помню, что, достигая при этом высокую эффективность. Дело происходило в учительской во время большой перемены (время полдника в Интернате). Куривший рядом юноша, отличавшийся от школьников разве что кучей рыжей бородачковой (а, может быть, ее тогда еще и не было), вдруг встрял в разговор, произнеся при этом примерно следующее:

— То, что Вы сказали — полная чушь. Вы полагаете, что единожды произнеся определение и на паре примеров его продемонстрировав, достигли понимания у школьников. Ерунда, квадратный трехчлен в школе изучают полгода, а то и больше, а задайте какой-нибудь вопрос, сформулированный чуть иначе, чем в учебнике. И все, как будто ничего не учили. Не обольщайтесь тем, что аудитория согласно кивает. Продумывайте нестандартные контрольные вопросы на понимание, постоянно возвращайтесь к теме с разных сторон, вот тогда, может быть, Вас начнут понимать не один-два человека в классе, а все.

— Хорошо, — возразил я — но тема все-таки избитая, что там можно еще придумать?

И он задал несколько вопросов, совершенно для меня неожиданных. Жаль, что не помню. «Кто это такой?» — спросил я у Сережи Матвеева. «О!» — ответил он: «Это — Саша Земляков! Этот может!» Последние слова были цитатой из анекдота про Вовочку Иванова, популярного персонажа из серий анекдотов про школу. Не стану пересказывать анекдот, но тем, кто его не знает, отмечу, что это был ответ директора школы на жалобу молодой преподавательницы по поводу нечистоплотных угроз в ее сторону от переростка-ученика.

А ведь как был прав Земляков! Через много лет его интернатский ученик, а ныне профессор Мехмата Сережа Гашков напишет увлекательную книгу под названием «Квадратный трехчлен». Так-то вот!

Немного о культурной жизни того периода. Наши интересы пересеклись в музыке. Саша любил джаз, я больше увлекался классикой, но к джазу относился вполне серьезно. В то кроткое время хрущевской оттепели (и еще коротенький кусочек времени уже по инерции) в стране был какой-то очень сильный интерес к музыке вообще, а в особенности к джазу и авторской песне. Всюду звучали в записи на магнитофон Булат Окуджава, Юрий Визбор, Юлий Ким и, конечно, Александр Галич. Было много концертов отличных советских джазовых музыкантов в столичных кафе и Домах культуры (которые часто назывались «клубами»). Были и редкие турне звезд мирового джаза в СССР. Я хорошо помню концерты Бени Гудмена, Дюка Эллингтона, Дейва Брубека. Приезжали чехи, поляки, немцы. Саша и его друг и одноклассник Володя Дубровский (также, кстати, закончивший Интернат с золотой медалью) были частыми посетителями этих концертов. На почве любви к музыке образовался небольшой круг друзей из преподавателей Колмогоровского Интерната. Нас объединяло еще и то, что мы регулярно встречались на работе, где в перерывах могли общаться и обсуждать интересные темы, последние

концерты или новые поступления пластинок. Но главное, вероятно, было даже не в этом (в конце концов, мы и жили все по соседству в общежитии), наверное, нас объединял Интернат, то воспитание, которое там давалось, и духовная близость, которая там возникала. Круг активных любителей музыки был невелик. В него входили, кроме меня — самого старшего по возрасту, чуть более молодые мои коллеги: Саша Звонкин, Женя Полецкий и Володя Кузнецов. Мы четверо входили в руководство клуба «Топаз». Следующий по возрасту круг любителей музыки составляли одноклассники Саши Землякова и Володи Дубровского. Какое-то время наблюдался просто всплеск интереса к джазу. Но немногочисленные гастроли зарубежных артистов, как и концерты наших музыкантов, после событий 1968 года стали все чаще и чаще отменяться, а потом и вовсе запрещаться. С ростом преследований и появлением информационного вакуума эта новая культура в полном соответствии с законами развития общества ушла в подполье. На концерты в такой полуконспиративной обстановке ходить стало сложнее. В результате изучение музыкальной литературы для многих перешло в домашнюю форму. Каждый любитель музыки стал в какой-то степени и коллекционером пластинок. Но здесь были свои проблемы.

Это сейчас легко купить, найти в Интернете, переписать у друзей и т.д. почти все, что было записано музыкантами в разные времена. В те времена в Москве пластинки «доставались» на черном рынке, который функционировал рано утром в субботу и в воскресенье в разных местах, передвигаясь на новое место после очередной милицейской облавы. Сейчас смешно, да и непонятно было бы услышать что-нибудь типа «достал Чарли Паркера у одного барыги под Мостом за 100 рублей». Это означало, что купил на черном рынке, который в тот именно момент собирался на Ленинских горах под Метромостом. Слово «купил», тогда уже почти исчезло из лексикона. Хотя академической музыки это касалось меньше. А уж достав очередную пластинку, ее счастливый обладатель тут же собирал друзей для коллективного прослушивания. Впрочем, иногда и в продажу «выкидывали» неплохие джазовые пластинки, изданные в «братских странах», и уж совсем редко — у нас. В эти моменты работала система взаимного оповещения, т.е. первый, кто узнавал что-нибудь, тут же сообщал об этом всем своим знакомым. Тиражи раскупались в считанные минуты. Наша пластинка стоила 1 руб. или 1 руб. 30 коп., в зависимости от того, был ли конверт из мягкой бумаги или картонный, немецкие пластинки стоили 2 руб., а чешские или польские в гляцевом конверте — 3 руб. На черном рынке те же пластинки стоили от 10 до 30 руб., а «фирма», т.е. западные пластинки, стоили уже от 50 до 200 руб., в зависимости от качества и популярности. Кроме купли-продажи существовала и обменная функция — были как прямой обмен, так и обмен с доплатой. В общем, как ни пытались нас оторвать от мировой музыкальной культуры, ничего не выходило. Жизнь была ключом. Каждая неделя приносила новые открытия и новые имена. И мы изучали джаз на примерах лучших произведений и лучших исполнителей, ибо других из-за границы практически не привозили. А это только подогревало интерес к музыке. Иными словами, отлучение нас от джаза давало обратный эффект. Этот кажущийся культурный парадокс особенно виден на примере художественной литературы. В условиях книжного дефицита каждое значительное произведение ходило из рук в руки и зачитывалось до дыр. А сейчас, когда книгами всё завалено, появился целый слой общества, не читавший ни одной книги после школы или университета. И он ширится. А стать знаменитым писателем или поэтом становится почти невозможно, если ты не отме-

тился в какой-нибудь раздутой прессой акции в эпатажной роли. Или, если тебя преследуют власти, но у тебя есть поддержка за границей. В общем, для признания требуется «отметиться».

Ко второму году аспирантуры моя коллекция пластинок была порядка двух сотен, но это была, в основном, классика. Джазовых дисков было не больше десятка. Володя Кузнецов — как и я, член клуба «Топаз» имел порядка полусотни фирменных дисков. У Саши была пара десятков дисков. Материальное положение в студенческие годы у него было, мягко говоря, не ахти, поэтому это были советские, польские, чехословацкие и немецкие пластинки. Саша хорошо знал исполнителей из стран Восточной Европы, где, кстати, были и классные музыканты, на мой взгляд, до сих пор недооцененные. Их для меня открыли Саша Земляков и Володя Дубровский. Продолжая разговор про коллекцию Землякова, не могу не вспомнить, что были в его коллекции и несколько фирменных дисков, подаренных ему людьми. Один из них был исключительной редкостью. Я долго искал его или его оцифрованную запись, но не мог найти — это был Дюк Эллингтон с Бостонским симфоническим оркестром, подзаголовок «It was a wonderful night». Теперь уже нашел — он был выпущен в 24-дисковой коллекции «Столетний Дюк» 23-м CD диском.

Поскольку я был обладателем стереофонического проигрывателя, а потом и вовсе шикарной по тем временам радиолы «Симфония», то мы часто собирались у меня послушать музыку. Саша был мне интересен своими взглядами на джаз. Они были не вычитанные, не услышанные, а именно свои. Это было его свойство, которое он проявлял не только по отношению к джазу, но и во всем остальном. Я «прививал» ему любовь к классике. Он часто спорил, и спор у нас разгорался чуть ли не по каждому произведению. Он говорил, что в музыкальном плане такое-то произведение банально. Я объяснял ему, что это не так. Иногда доходило до взаимных оскорблений. Я обзывал его ослом, который дальше джаза ничего не видит, он отвечал мне, что я вообще не разбираюсь в музыке, а отдаю дань тому, что в нашей среде считается признаком интеллигентности (что, конечно, было неверно, поскольку любителей музыки среди математиков ну ничуть не больше, чем в любой другой среде). Споры были бурные, но потом он через день приходил еще раз переслушивать предмет спора. Он очень чувствовал музыку, причем, чем сложнее и формальнее она была, тем быстрее его завоевывала. Так он быстро полюбил Стравинского. Мы оба с восторгом слушали и «Весну священную», и «Царя Эдипа», и музыку к балетам. Но я не воспринимал позднего Стравинского, а он с удовольствием слушал и «Думбрэтон Окс», и додекафонические произведения. У меня была книга воспоминаний Стравинского, я ее перечитывал пару раз. Он тоже с интересом прочитал его воспоминания, но запомнил совершенно другие эпизоды, чем я.

В какой-то момент мы увлеклись саксофонистом Чарльзом Паркером. Сначала это была пластинка из коллекции Володи Кузнецова «Bird is Free», потом были пластинки из других коллекций. Что-то странночарующее было в этой музыке, все время уползающее от тебя ее восприятие. Каждый раз ты слышишь все по-новому, все иначе. Меня поражала какая-то нелогичность в музыке и странность даже в названиях произведений, например, «Орнитология». Чуть позже я прочел повесть «Преследователь» Хулио Кортасара, тогда ещё практически неизвестного у нас писателя. Повесть впервые была напечатана в «Иностранной литературе». Прототипом главного героя и был Чарльз Паркер. Из повести я впервые узнал про роль наркомании и шизофрении в искусстве (про алкоголизм я, как всякий русский, уже, конечно, знал). Это сильно изменило мои взгляды на ряд произведений, но всё

равно это малопонятное мне очарование необычности осталось и по сей день. Повесть Кортасара прошла по рукам и вызвала прямо-таки раскол во взглядах в нашем маленьком социуме, вплоть до полного ее неприятия. На Сашу она тоже произвела сильное и отчасти деструктивное впечатление. Он стал чаще «прикладываться». Причем, если мы выпивали (надо сказать, что по нынешним понятиям и не часто, и не много), чтобы растормозиться и потрепаться, то ему для этого не нужна была никакая компания.

А вот по поводу отношения к искусству я так до сих пор не могу понять, почему произведения людей с серьёзными отклонениями в психике увлекают нас больше, чем произведения нормальных людей. Почему что-то трансцендентное нами воспринимается как гениальное? У меня это шло отчасти из-за специфического моего восприятия чужого труда. Я считал так, что если написать данное произведение мне по силам, то оно банально. Видимо здесь меня подводило мое образование, а, отчасти, и завышенная самооценка. Да, я никогда, наверное, не смог бы написать что-то шизофреническое, но ведь понимания логики создания нормального произведения недостаточно, чтобы сделать что-то интересное. Необходимо и образное мышление, и чувство языка, и понимание психологии читателя (исполнителя, слушателя) и т.д., и т.п. и... Или иметь особый талант, когда ты не думаешь ни о чем таком, а оно само идет и идет.

Еще один экскурс в те времена — как мы жили. Образ жизни, который он вёл, был, мягко говоря, скромным. Родители, жившие в маленькой деревне в Калининской (ныне, Тверской) области, ему практически не помогли материально, поскольку сами, как я понимаю, еле сводили концы с концами. Таких было много. И питались плохо, и одеть было нечего. Моя сестра часто вспоминает, как однажды она приехала в Москву ко мне в гости. Сидела, значит, в моей комнате, когда забежал туда незнакомый ей юноша, представился: «Я — Дима Гуревич, бегу в театр. Передай брату, что это я взял его свитер». И, одев свитер, побежал дальше. Мы выживали часто за счет коллективизма. Ну, конечно же, на стипендию, да еще и отличника, прожить было можно. Но герой моего повествования имел немного другие ценности. Например, большинство моих однокурсников к своему внешнему виду относились спокойно (или нетребовательно). Могли приходить на занятия в спортивной куртке (как это часто делал автор этих строк). Саша не мог, он любил одеться поэффектнее, носил красивые галстуки и т.п. Разумеется, по представлениям того времени. Если добавить сюда коллекционирование пластинок, то, я думаю, станет понятно, почему он и ел-то не каждый день и, на мой взгляд, часто был на грани дистрофии. Бывало, что я водил его поесть в Профессорскую столовую. Это ещё один штрих в описании той жизни. Дело в том, что я — в прошлом спортсмен. Во время сборов спортсмены получали талоны на питание на гигантскую сумму — 3 руб. 50 коп. в день. Завтрак и ужин стоили, уж не помню точно, но не больше 60-70 коп. Два с лишним рубля оставалось на обед в Профессорской столовой на 2-м этаже Главного здания. Эта столовая была с ограниченным доступом — пропуска в неё получали люди, рангом не ниже доцента. Кроме них там питались по талонам спортсмены и так же, как и во все времена, куча народу из администрации Университета, включая секретарш, выписывавших эти самые пропуска. Два рубля — это была такая гигантская сумма, которую человеку не проесть, поэтому я брал с собой обедать кого-нибудь из друзей. Спортсмены, жившие в Москве, питались у себя дома и, как правило, в талонах не нуждались. Талоны можно было «отovarить» в Профессорской столовой, а можно было и продать там

же, но за полцены, поскольку это была нелегальная операция. В описываемый период я уже «завязал» с большим спортом, но в бассейн похаживал и играл в водное поло за факультет. Мои друзья из сборной, продолжавшие играть, часто предлагали мне купить талоны питания рублей за два — два пятьдесят, им это было выгодно, а для меня это была возможность вкусно поесть в престижной столовой. Вот так я время от времени в тяжелые для Саши времена водил его «на кормежку». Это я рассказал не к тому, чтобы показать, какой я хороший, а чтобы была понятна атмосфера, в которой он складывался, как ученый и педагог.

Саша, как он мне рассказывал, ещё будучи школьником интерната облюбовал себе место на чердаке (или в подвале, не помню) учебного корпуса, где, вставая намного раньше подъема или, наоборот, после отбоя варил себе крепчайший кофе, курил кубинские сигареты из сигарного табака (Монтекристо и Партагас) и решал задачи по математике. Но иногда, я думаю, пил не только кофе, но и позволял себе принять немного портвейна или другого сладкого вина. Когда он стал студентом, эта привычка только развивалась. Помню как-то, кажется, Олег Мусин принес в учительскую новость о том, что в кафе на Славянском бульваре появились полусладкие грузинские вина «Оджалеш» и «Ахашени», бывшие очень популярными и в те времена. Происходило это в день зарплаты. Вечером после занятий мы рванули в кафе. Первый человек, которого я увидел в зале, был Саша Земляков. Он был один, курил свою «атомную» сигарету, а перед ним стояли бутылка вина, выпитая наполовину, и недопитый стеклянный стакан кофе. Закуска отсутствовала полностью. Он был практически трезв, но нам не обрадовался. Тот вечер мы провели неплохо. На следующий день, а мы все жили в общежитии МГУ в зоне «Б», я спросил его, как он оказался в этом кафе, на что получил ответ, что он там часто ужинает после работы в интернате. Предыдущий ужин, как я уже написал, состоял из стакана кофе и бутылки вина.

При всем при этом он много работал. Его научный руководитель Яков Григорьевич Синай, ныне академик РАН, а тогда молодой, но очень известный в мире, доктор физ.-мат. наук, профессор Мехмата, считал его одним из своих лучших учеников. Но интересы Саши всё больше смещались в сторону педагогики. Он читал разные спецкурсы, вёл семинары, потом стал лектором потока. Ко всем лекциям, семинарам и практическим занятиям он готовился фундаментально. Невиданное дело для интерната тех лет — он писал конспекты лекций и занятий. Называл их «тезисами» и раздавал школьникам. Потом их систематизировали, собирали вместе, переплетали — и вот вам практически готовый учебник для спецшкол, а также математиков, желающих ликвидировать пробелы в знаниях по целому ряду вопросов. И всё кратко — на 50-100 страницах машинописного текста. Чем больше он читал курсы, тем больше его конспекты углублялись в историю вопроса, в связь с другими областями или проблемами. Любимой его книгой тех времен был двухтомник Феликса Клейна «Элементарная математика с точки зрения высшей». Как и великий Ф. Клейн, Саша постоянно демонстрировал школьником связь проблем в математике, объясняя, что она — есть единый предмет, и зачастую перевод проблемы из, скажем, алгебры в геометрию или наоборот делает решение практически очевидным. То есть важно правильно сформулировать проблему, на естественном для неё языке. Его курсы оказывали существенное влияние на других. На меня — точно. Его ученики подражали ему. Он был авторитетным педагогом среди учителей. Как-то помню, на педсовете разбирали поведение одного ученика. Он был очень неплохим школьником, показывал успехи по математике. Завуч, которая вы-

несла вопрос на обсуждение, требовала наказать его за нарушения правил поведения: он прятался в подвале по ночам, пил там кофе и курил крепкие сигареты. Я, сделав вид, что проспал вступление, громко спросил, о ком идет речь, о Землякове что ли. Возникла пауза, все вспомнили, что такой и была гордость нашего интерната. Ограничили проведение профилактической беседы.

Еще два штриха к рассказу о том, как жили, и какое место интеллигенция занимала в обществе. Это было уже чуть позже. Пришло распоряжение «сверху» выдавать зарплату не через кассу, как было до этого, а переводить на счета в Сбербанке. Причем каждое учреждение заключало договор с каким-то своим отделением Сбербанка об обслуживании. Карточек и банкоматов тогда не было, большинство зарплат составляли просто мизерные платежи, которые снимались в тот же день, когда они приходили, но, все равно, нужно было заводить счета в указанном отделении Сбербанка. Я, например, подрабатывал в четырех местах и имел, соответственно, четыре сберкнижки (документы, в которых отмечались все транзакции). Десятью годами раньше за такое просто сажали, так как наличие нескольких сберкнижек связывалось в общественном сознании с нетрудовыми доходами. Итак, мы идем открывать счета в ближайшей Сберкассе (операционное отделение Сбербанка) на углу Кременчугской и Минского шоссе. Мы — это Олег Мусин, Олег Селезнев и я. Для открытия счета нужно было внести 5 рублей. Мы с Селезневым наскребли и открыли счета. У Мусина была только трешка, да и на нее он имел какие-то планы. Тогда мы вспомнили, что неснижаемый остаток был равен 50 копейкам. Олег быстро написал два ордера — приходный на 5 рублей и расходный на 4 рубля 50 копеек. Потом он долго объяснял операционистке свою схему: «Я вам даю приходный ордер — вы открываете счет и тут же выдаете мне 4,5 руб. На счету останутся вот эти 50 копеек — и протягивал ей 50 коп. Она долго не понимала, а как же 5 рублей. А когда поняла, радостно заулыбалась, состоялся примерно следующий диалог:

— Ну, че, ученый, небось?

— Да ученый.

— Небось, университет кончил?

— Да кончил.

— А может и диссертацию защитил?

— Да защитил.

— Оно и видно, парень умный, а денег нет! — торжественно заключила она.

Хохот стоял неимоверный. Девушка попала в точку. Последствия той политики также довольно очевидны — из всех троих в России живу только я.

Вторая история связана с Женей Полецким. Он с женой долго скитался, снимая квартиры, то здесь, то там, хотя государство обязалось обеспечить его жильем, но каждый раз, когда жилье распределялось, ему почему-то ничего не доставалось. Ясное дело, нужно было дать взятку, но в Интернате этому не учили, а даже наоборот — объясняли, что это нехорошо. Поскольку Женя исследовал функции многих комплексных переменных, то ему было некогда ходить по инстанциям — комплексных переменных было много, а таких как Женя — мало. В связи с вышесказанным по кабинетам ходила его жена Татьяна. В «предбаннике» одного из кабинетов она чем-то понравилась секретарше, завязался разговор. Но когда та узнала, что муж у Татьяны математик, то реакция была примерно такая: «Нашла за кого замуж выходить!» А ведь не права была секретарша. Сейчас Женя заведует кафедрой Математики в одном из университетов США (в Сиракузах), и есть у него два дома: в Сиракузах и во Флориде, откуда он мне вчера звонил по Скайпу. Ну а автор

этих строк вообще ничего не получал от нашего государства — даже путевку в какой-нибудь санаторий. Хотя нет — получал образование и медицинскую помощь, которые по всеобщему заблуждению считались бесплатными.

Русская болезнь. Эти воспоминания не некролог, и я не буду перечислять Сашины научные и педагогические достижения. Одно хочу сказать, он очень много работал. На истощение. И «позволял себе». Причем не крепкие напитки, а вино, как правило, сладкое крепленое. При этом, не закусывая, разве что выпивая кофе. И происходило это всё чаще и чаще. Были многочисленные попытки повлиять на него, но безрезультатно. Володя Дубровский пытался беседовать с ним, но он только замыкался и выпивал, стараясь не попадаться на глаза. Я пару раз очень резко поговорил с ним на эту тему. Мужик ты или не мужик, неужели не можешь себя взять в руки и в таком духе... В ответ он расплакался. Я, конечно, со всей своей идиотской прямоотой: «Ты ведешь себя, как баба. Смотреть противно!» И он действительно заревел, как ревут только девочки, повторяя: «Ничего вы не понимаете! Вам бы на моё место». А я и действительно ничего не понимал.

А потом случилось то, что и должно было случиться. Вечером в комнату ко мне врывается Володя Дубровский: «Пойдем быстрее ко мне. Саше плохо!» В комнате были двое: Саша Звонкин и Саша Земляков. Земляков стоял у окна и, увидев меня, совершенно спокойным голосом произнес: «Идемте вниз, меня вызывают!» Я, естественно: «Кто? Куда? Зачем?» Оказалось, Главный конструктор прислал за ним машину, и он должен срочно ехать, иначе ракета улетит без него. Мы вчетвером пошли вниз, долго гуляя вокруг стадиона, выслушивая странные речи. Все мы, Володя Дубровский, Саша Звонкин и я, столкнулись с таким явлением впервые, и, понимая, что это, скорее всего, белая горячка, всё же сильно боялись, что у него «крыша поехала», как это случается время от времени у студентов МГУ. Потом речи начали приобретать более разумное содержание, он начал приходить в себя. Мы сели на скамейку во дворе зоны «Б», и стали объяснять ему ситуацию. Саша всё понял, но мне навсегда запомнились сказанные им слова о том, что все виденное и пережитое им выглядело настолько натурально, что не понимай он сейчас умом, что на самом деле это большое воображение, он до конца дней считал бы себя участником этих событий. Не без труда удалось убедить его, что надо ложиться в больницу. Продумали, как прикрыть все это, чтобы новость не пошла гулять по университету, вызвали машину скорой помощи и уже поздно ночью отправили его в клинику.

Саша Звонкин — участник тех событий, тогда аспирант МГУ, а сейчас профессор университета г. Бордо, специалист по вероятностным методам в информатике, известный, кроме всего прочего, изданной у нас просто-таки гениальной книгой «Малыши и математика», где он описывает свой многолетний опыт по развитию у детей математических способностей, напомнил мне некоторые подробности описываемых событий, которые я успел позабыть. И я действительно вспомнил, что Саша Земляков в это время готовил серьёзный доклад на научном семинаре, одновременно писал статью в научный журнал и конспект спецкурса, который он читал в интернате. Я несколько раз заходил к нему, он мне рассказывал, что сейчас пишет. При этом очень много курил. Однажды я обратил внимание на нездоровый цвет его лица. Какой-то совершенно серый. Оказалось, что он уже два дня ничего не ел. Я уговорил его, мы сходили в столовую. Он, обычно сметавший всё, не съел и половинки. Вернувшись, я ему сказал, что всё это может плохо кончиться, и позвал к себе послушать музыку. Он пришел через полчаса с бутылкой портвейна, наполовину выпитой, и начал мне читать «лекцию» о сравнительных качествах выпус-

каемых в СССР портвейнов. В кавычках, потому что лекция была наполнена иронией. Все знали, что портвейны выпускались самого низкого качества, а основным их преимуществом перед другими напитками было то, что они «сносили башню» за небольшие деньги, будучи дешевыми и не требуя закусок. В общем, нечто в духе Венечки Ерофеева, которого, правда, мы тогда ещё не знали. Я не составил ему компанию, но и не придал большого значения всему тому, что увидел. Сейчас я думаю, а смог бы я тогда предотвратить приступ белой горячки? И чем больше думаю, тем лучше понимаю, что нет. Если он чего-то хотел, то «сбить его с пути» было невозможно. Это ведь тоже свойство многих гениальных людей. А ещё Звонкин напомнил, что придти в себя Саша начал после того, как я уговорил его поесть.

На следующий день, мы с Володей Дубровским поехали в больницу. Лечащий его доктор сказал, что это редчайший случай, когда алкоголизм уже в серьёзной стадии, но интеллект при этом не затронут. Он же нам объяснил, что на полный успех надеяться не стоит, что сейчас проведут необходимые процедуры, чтобы вывести его из тяжелого состояния, но того, что в дальнейшем срывы не будут повторяться, никто гарантировать не сможет. Что, воздействуя на него в мягких формах, можно добиться больших перерывов между запоями, но они все равно будут случаться. Кстати, выяснилось, что только что на этом месте находился Владимир Высоцкий, был любимцем всех и, выписываясь, дал большой концерт для персонала и пациентов больницы. Потом пришел Саша, он, естественно, был ошеломлен случившимся. Мы обсудили еще раз дела, договорились, держать в тайне случившееся. Саша попросил, чтобы ему принесли пару книжек, ручку и бумагу. Все это доктор разрешил. Я не помню, какая была легенда его исчезновения, кажется, что-то случилось дома, и ему пришлось срочно уехать. Телефона в глухой деревне Калининской области не было, да и адрес никто не знал, всё прошло незамеченным. В больнице он также стал любимцем. Во-первых, из-за его возраста все воспринимали его, как собственного ребенка. Во-вторых, он, конечно же, поражал людей своим интеллектом: редко можно встретить человека с такими широкими познаниями в литературе, живописи, не говоря уж о науке или музыке. Когда он выписался, мы, его друзья, договорились при нем не выпивать, а если уж приходится, следить, чтобы никто его не уговаривал, как это принято у нас («ты меня уважаешь?»). Да он и сам избегал мероприятий с выпивкой. Это было нелегко, поскольку его любили и всегда спрашивали, что, как и почему его нет. Позже, когда к нему пришла более широкая известность и появились новые возможности, на свой день рождения он уезжал куда-нибудь на юг, то в Батуми, то в Крым, где он участвовал в работе Крымской Малой Академии Наук (замечательной организацией школьников).

Потом я закончил аспирантуру и уехал из общежития. Общаться мы стали чуть реже, но всё равно не реже двух раз в неделю в Интернате. А, кроме того, поскольку основная работа у меня была на Экономическом факультете — рядом с зоной «Б», я часто заходил после работы к Саше попить кофе, который у него всегда был великолепен, а также поболтать о том, о сем. Он очень долго держался, но пророчества врачей, увы, сбылись, и он сначала понемногу, а потом и больше продолжал выпивать. Надо сказать, я никогда не видал его в состоянии «отключения». Он пил, но при этом с ним можно было разговаривать на серьёзные темы или слушать музыку и обсуждать её. По-видимому, он при этом был в состоянии и писать статьи, и читать книги. Пугала регулярность. И возможность срыва. И срывы эти, насколько я знаю от его учеников из Черногловки, которые либо учились у меня в МГУ, либо работали со мной, бывали.

Совместный труд. Первые два года работы на Экономическом факультете МГУ на кафедре ММАЭ (Математических Методов Анализа Экономики) я, в основном, преподавал на Подготовительном отделении (его кратко называли Рабфак). Такова была традиция на кафедре: новички отработывали на Рабфаке. Нас в тот год пришло трое: Андрей Кочергин, Женья Лукаш и я — все с Мехмата. Нельзя сказать, что работа была скучной, мне так даже было интересно работать одновременно с одной стороны с вундеркиндами из интерната, а с другой — с людьми, пришедшими в Университет после армии или с производства, т.е. теми, кто по каким-либо причинам упустил школьные годы, а теперь решил наверстывать упущенное. Среди них также время от времени обнаруживались таланты (1-2 человека из 50-ти), но, в основном, это были люди гуманитарного склада ума, а иногда четко настроенные на партийную карьеру.

В какой-то момент на факультет пришло письмо от С.Г. Тихомирова — директора Подготовительных Курсов Гуманитарных Факультетов МГУ им. Ломоносова М.В. — с просьбой выделить преподавателя для руководства Методическим советом по математике. Декан М.В. Солодков обратился на кафедру ММАЭ, и заведующий кафедрой С.С. Шаталин предложил меня на эту должность (на общественных началах). И я проработал на этой должности около 15 лет вплоть до моего отъезда в Африку в 1989 году, написав более сотни разработок по математике для поступающих на гуманитарные факультеты МГУ. А незадолго перед этим произошла следующая история. Директор курсов, работавший до С.Г. Тихомирова, фамилию которого я точно не помню (кажется, Мигай), поставил предо мной задачу, написать пособие по математике объемом 10-15 печатных листов. Конечно, я загорелся. Ведь можно было бы издать наши наработки в интернате. А они настолько отличались от всего того, что было издано массовыми тиражами, и что я читал. Просто небо и земля. Мне всегда казалось, что эти пособия, а ведь они прошли рецензирование прежде чем были изданы большими тиражами, страдали отсутствием логики, в них очень много внимания уделялось частным приемам, разборам типичных ошибок и т.д. Особенно раздражали такие рекомендации, как «найти ОДЗ» и им подобные. ОДЗ — область допустимых значений — попросту говоря, область определения всех функций, входящих в запись задачи (уравнения, неравенства, системы). Эта подзадача иногда была посложней самой исходной задачи. И это при том, что ее нахождение равным счетом ничего не дает. Во всяком случае, от ошибок не спасает. Но еще хуже другое. Нахождение ОДЗ логически никак не следует из задачи, это какое-то совершенно постороннее действие. Последнее, в свою очередь, означает, что человек, совершающий в обязательном порядке это действие, не может получить ответ на вопрос: «Зачем?» Ведь ответ, заключающийся в том, что все делают, и ты делай, может только повредить развитию логики математического мышления. Я привел один пример, а их куча. При этом придумываются всякие названия неполноценным приемам. Например, «Избавление от иррациональностей в знаменателе». Конечно же, здесь речь не идет о расширениях Гаула и представлении дробей в стандартной форме. Все было бы просто и ясно. Нет, рассматривается куча каких-то частных приемов, которые забивают мозги, но никто не отвечает на вопрос о том, зачем это нужно. Или: «Приведение к виду, удобному для логарифмирования». Давно уже исчезли Таблицы Брадиса, логарифмические линейки, уже появлялись микрокалькуляторы, на очереди были Портативные Компьютеры. Уже мало кто понимает, зачем нужно приводить к такому виду. И т.д. Хуже было другое — при решении задач определения как бы суще-

ствовавали сами по себе, а эти приемы сами по себе. Например, для иррациональных уравнения вида $\sqrt{f} = g$ предлагалось возвести обе части в квадрат, решить уравнение $f = g^2$, а затем, поскольку могут появиться «посторонние» корни, то нужно провести проверку непосредственной подстановкой в исходное уравнение. При этом авторы, по мере возможностей, избегают таких слов, как «следствие» или «эквивалентность», с помощью которых формируется логика рассуждений. А, казалось бы, что может быть проще, чем сослаться на определение:

Корнем квадратным \sqrt{f} из числа f называется такое неотрицательное число g квадрат которого равен f .

Это определение удобно записать в виде эквивалентности:

$$\sqrt{f} = g \Leftrightarrow \begin{cases} f = g^2 \\ g \geq 0 \end{cases},$$

понимая при этом, что правая часть и определяет смысл левой, т.е. левое уравнение и правая система — это одно и то же. Значит, для решения левого уравнения нужно решить уравнение в системе, и для корней проверить неравенство. Иногда удобнее и в обратном порядке, т.е. сначала разобраться с неравенством, а затем с уравнением. Логика рассуждений тривиальна.

На вступительных экзаменах для тех, кто решает задачу первым способом, возводя обе части в квадрат (формально, «переходом к следствию»), часто готовят какой-нибудь сюрприз. Например, корни уравнения выражаются через радикалы и достаточно сложно. Непосредственная подстановка их в исходное уравнение потребует непростых преобразований прежде, чем решающий убедится в том, что правая часть равна левой.

А чего стоили определения. Один из «перлов», который выдали преподаватели Мехмата МГУ, между прочим, мне запомнился на всю жизнь. Речь шла об уравнении. Определение звучало так: «Выражение $f(x) = g(x)$ называется уравнением, если требуется найти его корни, т.е. те значения x , при которых левая часть этого выражения равна правой». Фактически дано два определения в одном предложении. А что, если вопрос об отыскании корней не ставится? Например, спрашивается, сколько положительных корней. У чего тогда, у выражения? Ведь оно перестает быть уравнением! А чего стоит вопрос, типа такого:

При каких значениях параметра a линейное уравнение $(a^2 - a)x = a - 1$ не имеет корней?

А ведь до этого в учебнике сказано, что *линейным* уравнением называется уравнение $ax = b$ при $a \neq 0$. Оно всегда имеет ровно один корень!

Я привел простые примеры, а их было какое-то гигантское количество. Создавалось впечатление, что выработался какой-то особый стиль написания книжек для школьников, в которых авторы боятся, что их обвинят в излишнем формализме, и предпочитают, я бы сказал, «сюсюкать». По геометрии — и того хуже, уже практически забыты приемы дополнительных построений и, в частности, плоских сечений, сильно облегчающие решения задач. Практически исчезли задачи на построение циркулем и линейкой, развивающие воображение.

Все это происходило до написания учебников под общей редакцией А.Н. Колмогорова (один из которых — «Алгебра и начала анализа 9-10» — мне привелось редактировать). В этих учебниках по требованию физиков появились производная,

интеграл и вектор. Благодаря этому удалось осовременить курс физики. Но описываемые события происходили намного раньше. На занятиях в Интернате все «школьные» темы были хорошо отработаны, а Саша добавил к этому немного разумного формализма, позволявшего аккуратно записывать логику рассуждений. Получились Система (именно с большой буквы). А в геометрии он провел классификацию задач по методам решения. Методика занятий по элементарной математике (да и не только) в Колмогоровском Интернате сложилась во многом под его влиянием. Вот почему я пригласил его в соавторы.

О, что это была за работа! Мы написали про всё. Школьная программа в то время активно сужалась. Уже «убрали» такие темы, как «Комбинаторика», «Комплексные числа», «Метод математической индукции», «Построения с помощью циркуля и линейки», «Обратные тригонометрические функции», «Тригонометрические неравенства», а также много других более мелких тем. При этом увеличивались объемы преподавания общественных дисциплин. Стране нужны были идейные комсомольцы, а не ученые, которых рассматривали как потенциальных диссидентов. Как мы знаем, из идейных комсомольцев выросли руководители бандформирований, воры в особо крупных размерах, государственные преступники и т.п., а вот с наукой стало совсем плохо. И особенно заметно это сейчас, когда одной половиной разработок занимается шарлатаны, а другой — жулики.

Мы были наивными юношами, и, несмотря на то, что тренд становился все отчетливей и уходил от развития науки, это всё оставили в пособии, как дополнительный материал. Нам казалось, что у пособия есть и другая цель. Оно не только должно помочь абитуриенту поступить, но и помочь ему выйти на тот уровень знаний, который необходим для успешной учебы в МГУ. Работали мы долго, практически год. Много спорили, переписывали (особенно я) целыми главами. Моя бедная жена всё это печатала и перепечатывала, благо еще раньше удалось купить портативную немецкую печатную машинку Егіка (я за ней год стоял в очереди, когда был студентом). У Татьяны был большой опыт по перепечатыванию «Самиздата» и прочей литературы, еще в общежитии. Казалось, мы не обошли ни одной темы. Особенно, мне думается, удались: написанные совместно «Задачи с параметрами», написанная Сашей вся «Геометрия» и мною «Целочисленные задачи», «Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений», «Задачи на доказательство неравенств». Думаю, что, если бы книжка вышла, то в мире репетиторов она бы произвела сенсацию и, возможно, переворот. Но этого не произошло. Во-первых, объем был превышен в три раза. Но это было не самое главное. Книжку можно было разбить на части, у Курсов было предостаточно денег, чтобы ее издать. Проблема была в том, что директор Подготовительных курсов Естественных факультетов Борис Иванович Александров, сам автор и соавтор многих пособий, не хотел пропускать в этот маленький мирок авторов пособий по математике новых людей. Отмечу, что через несколько лет он сам (вероятно, под давлением Тихомирова С.Г.) предложил мне и И.И. Мельникову (тогда, кажется, секретарю парткома и зам. декана Мехмата, ныне Вице-спикер Госдумы) подготовить пособие. Оно было написано: на три четверти мной, на одну четверть Иваном. А вот Александров не написал ни строки, хотя спокойно получил свою треть гонорара. Тогда я этого не понимал, у меня и мысли не было, что можно вот так, взять и пригласить в «соавторы» пробивного человека. Это «недостаток» воспитания, идущий от общения с Колмогоровым. А тогда... Тогда мы остались ни с чем, год работы насмарку. Через многие годы отдельные фрагменты той книги вошли в наши методические пособия. Он вставлял в свои книги свои куски, а я в свои разра-

ботки — свои. Никогда, ни он, ни я не использовали разработки другого. Мой стиль изложения за тот год работы сильно претерпел изменения именно под Сашиним влиянием. Он совершенно не похож на стиль Землякова, но стал более лаконичным и более точным, чем до этого. Кроме упомянутой книжки (в соавторстве с Александровым и Мельниковым), мною написано для Курсов около сотни разработок, изданных многотысячными тиражами, на которых готовилась к экзаменам в МГУ не одна тысяча абитуриентов. И те теплые слова благодарности, которые я не перестаю получать и по сей день, свидетельствуют о том, что наш с Сашей труд был не напрасен. Да и тон, заданный нами, изменил содержание пособий по математике. Не все, кто используют наши идеи (а точнее — идеи, рожденные в Интернате), делают это удачно. Безграмотных или откровенно халтурных работ по-прежнему много. Но стиль написания, несомненно, изменился.

Поездка в Таджикистан. Значительным событием в нашей жизни была замечательная поездка в Таджикистан с путешествием на Памир. А дело было так. Академия Наук Таджикистана устраивала летние школы для одаренных детей по математике, физике и химии. На это мероприятие они приглашали через совет молодых ученых МГУ преподавателей для ведения занятий в русскоговорящих группах. Эти группы были многонациональны и состояли из школьников старших классов, учившихся в больших городах. Остальные дети были, в основном, из селений, где по-русски не понимали. Саше, как аспиранту Мехмата, предложил туда ехать кто-то из знакомых в Совете молодых ученых. Саша предложил мне, я сходил в Совет и вопрос был улажен. Окончательно сложилась следующая компания: математики — я, А. Земляков и А. Варченко; физики — один доцент и один аспирант; один химик — доцент химфака. Что это был за коллектив? Саша Варченко — выпускник Интерната и его преподаватель. В тот момент был то ли аспирантом последнего года, то ли только что защитил диссертацию — точно не помню. Он получил серьезные результаты по математике, был приглашен на Международный математический конгресс и только что вернулся с него. Из физиков прилетел аспирант, хороший парень, но мы мало с ним пересекались и я, кажется, запомнил только его имя — Костя. Доцент-физик не прилетел. Доцент-химик прилетел к своим друзьям, они выпили на природе один раз за открытие Летней школы, и больше мы их не видели. Возникла проблема занятий: три математика — много, один физик — мало. Я стал физиком, благо в школе был призером олимпиад по физике. Мы разделились на пары: Саша Земляков и я — первая пара, Саша Варченко и Костя — вторая пара. Работали: три дня подряд одна пара, три дня — другая, воскресенье — выходной. Отработав три дня, мы выезжали в Душанбе, где директор Республиканской Станции Юных Техников, если память не изменяет, Александр Николаевич Путнин — один из главных энтузиастов проведения Летней школы и, вообще, замечательный человек — выделил нам по койке в комнате для гостей, создав, таким образом, прибежище. В результате каждая пара имела 4 дня для изучения Душанбе и его окрестностей. Я немного знал Фанские горы, и мы облазили значительную часть Варзобского ущелья и немного Гиссарского. Побывали на Нурекской ГЭС и прокатились на катере по водохранилищу. Я давно ходил в горы, поэтому для меня все это было не ново. Нужно было видеть, каким счастьем светились Сашины глаза. Он никогда ничего подобного не видел, и всё виденное производило на него сильное впечатление. К сожалению, я не рассчитывал на такую удачу и не взял туристского оборудования, поэтому походы были не длинными — в пределах суток, если Путнин не договаривался с кем-нибудь, чтобы нас приняли.

Ещё одной большой радостью было посещение восточных базаров. Один из них, Зеленый базар, находился практически рядом со Станцией Юных Техников. Там мы накупили фруктов и шли в чайхану, где брали лагман и чай, иногда самбусы или манты. Незабываемые обеды. Саша после этого всегда заваривал чай, как заправский чайханщик, обязательно трижды переливая чай из чайника в пialу и обратно. К Путнину приезжало много гостей, иногда устраивался плов — этот праздник жизни на Востоке. Мы принимали в нем участие. Конечно, соблазнов выпить было много, но Саша держался молодцом, а я, будучи «здоровым лбом», принимал удар на себя. То же происходило и в школе. В соответствии с восточным гостеприимством, праздники устраивали то один участник школы, то другой, то в одном месте, то в другом. Чаще всего происходило это после отбоя, в палатку приходил человек и говорил: «Надо идти, люди ждут». Мы вставали и какими-то тропами нас выводили на очередную беседку над горным ручьем. Там сидели наши коллеги из АН Таджикистана, люди из ЦК Комсомола Таджикистана и другие люди из разных организаций, в основном, те, кому небезразличны были ни образование, ни наука. После традиционных восточных тостов, как правило, шел серьезный и откровенный разговор о проблемах образования. Это были очень полезные встречи. Я думаю, что мы с этими ребятами очень сдружились.

А детишки там были совершенно замечательные, они так радовались, когда получали новые знания, и становилось вдруг простым и ясным то, что вчера казалось непостижимым. В перерывах мы играли с ними в настольный теннис, в водное поло (в холодном бассейне 4 на 10 метров). Вечером были танцы, как национальные, так и то, что называют сейчас «дискотека». Школьницы тащили нас танцевать. Была художественная самодеятельность, было что-то типа КВН. Было весело.

Путнин проникся большим уважением к нашей работе, он договорился с Министром просвещения и кем-то из руководства Погрануправления, чтобы в знак благодарности за работу в летней школе нам дали разрешение на въезд в погранзону. Для этого оформили командировку в Горно-Бадахшанскую АО и Мургабский район по линии Министерства просвещения Таджикистана. Конечно, командировка была фиктивная и все её следы были уничтожены по приезду, но цель командировки была такова, что мы могли заехать в любой населенный пункт Горно-Бадахшанской АО и Мургабского района — мы должны были искать математически одаренных детей. Во времени мы были сильно ограничены. Предстояло вернуться к закрытию школы.

Отправились двое: я и Саша Земляков. Первый наш пункт был — Хорог. До него мы долетели на самолете. Там нас встречал также директор Станции Юных Техников. В тот же день он нам устроил экскурсию по городу с заездом в чудо природы — Ботанический сад Хорога. Ничего аналогичного в мире не существует. Энтузиасты собрали туда почти всю флору СССР. Но растет она там совершенно иначе. Дело в том, что из-за обилия ультрафиолета (сад расположен на высоте более 3000 м над уровнем моря, если я не ошибаюсь) и особого микроклимата (он окружен со всех сторон практически стенами из гор) за один год растения проходят два вегетативных цикла. В результате все деревья там похожи скорее на кусты (первый ствол практически не заметен). Попробуйте себе представить сосну или дуб в виде огромного куста. Очень приятная девушка-ботаник выпускница МГУ водила нас по всему саду, рассказывала про буквально каждое растение и разрешала пробовать созревшие плоды. Девушка была большим энтузиастом своего дела, она рассказывала так интересно, что мы слушали ее, как говорится, с разинутыми ртами и

с трудом ушли из сада. Вечером был традиционный плов, а на следующий день нас вывели на дорогу, и первый же водитель-узбек взял нас в кабину своего грузовика и повез по Памирскому тракту из Хорога в Ош. Конечно, дорога была утомительной, но впечатлений осталось очень много. Ночевали возле озера Каракуль, которое единственный раз тогда я видал открытым. По нему плавали «айсберги». Потом я был там дважды — оно всегда было сковано льдами. А чего стоило прохождение перевала Кызыл Арт, высота которого более 5200 метров над уровнем моря. Практически через Эльбрус на грузовике!

Одна была проблема. Из еды мы взяли с собой только воду и пару лепешек хлеба. Я спокойно могу не есть пару дней, чувство голода у меня приглушенное. Поэтому мне всегда казалось, что и другие люди могут спокойно потерпеть, это тренирует силу воли. Сейчас я знаю, что достаточно много среди моих знакомых устроено совершенно иначе. Чувство голода у них затмевает всё остальное. По-видимому, что-то подобное испытывал и Саша после того, как «завязал». Однажды на этой почве у нас с ним произошел инцидент. После очередной «вылазки», мы должны были вернуться в лагерь в воскресенье вечером. Но, не помню по каким причинам, мы опоздали на последний автобус в Гиссарскую долину. Решили добираться попутным транспортом. За город выбрались затемно — на юге темнеет рано. И пошли пешком по дороге. Как назло, ни одной попутной машины. Мы протопали часа два, и ещё оставалось, по моим расчетам, идти часов пять-шесть. И тут Саша начал хныкать, что очень хочется есть. Это меня взорвало: «Чего скулить! Где я тебе возьму сейчас еду!» И в таком духе. Потом случилось чудо. Нас подобрала попутка и довезла до нашего бокового ущелья. Оставалось идти чуть более часа. Саша продолжал хныкать, а когда я опять обозвал его «бабой», натурально зарыдал. У меня и сейчас это всё перед глазами. «Я к тебе всегда относился как к старшему товарищу, мне хотелось быть похожим на тебя. А ты ведешь себя как садист. Ты всё время издеваешься над мной!» И далее в таком же духе. У меня и мысли не было издеваться над ним. Я считал, что воспитываю в нем мужской характер. Не понимал, что в иных случаях это одно и то же. Закончилось тогда все как в сказке. Обогнавшая нас, пока мы шли, машина вскоре вернулась. Оказывается в ней ехали задержавшиеся в городе местные преподаватели. Один из них нас заметил, и по приезду в лагерь, убедившись, что нас там нет, послал за нами машину. Через несколько минут мы уже сидели за столом, ломящимся от съестного. Ели арбуз, заедая его персиками и вкусными лепешками. Настроение резко улучшалось, и мы возвращались в блаженное состояние. Инцидент, как-то отошел в прошлое.

А в Оше все повторилось. Мы примчались в аэропорт. В Душанбе летел какой-то маленький самолет, в котором была пара свободных мест. А желающих попасть на рейс было в десять раз больше. Я договорился с Сашей, что когда вынесут билеты, он будет справа от меня сдерживать народ, пока я, стоявший прямо у окошка, буду разговаривать с кассиром. В нужный момент его рядом не оказалось, и я был просто «оттерт» от кассы. Мы остались без билетов. Я весь кипел, когда нашел Землякова, радостно улыбавшегося мне. Оказывается ему сильно захотелось есть, и он «бросил свой пост», чтобы «отведать» шашлык и манты. И опять состоялся разговор, закончившийся слезами. Все повторилось один в один. К счастью, затем нам дважды повезло. Сначала над нами сжалась администратор гостиницы, которая после двадцатиминутных уговоров дала нам номер на двоих. В результате мы слазили на знаменитую гору и посетили чайхану на рынке. А на следующий день уже в Андижане, мне удалось уговорить начальника аэропорта, и он

усадил нас на отлетающий самолет. Вечером мы уже были в лагере и делились впечатлениями от путешествия.

Один портрет на фоне другого. Конечно, те, кто его не знали, вряд ли из моих описаний составят себе его портрет. Мне даже иногда кажется, что я больше пишу «про себя любимого». Но находятся люди, которые меня ругают как раз за то, что именно моя позиция по большинству вопросов неясна. Мне это странно, ибо повествование ведется в первом лице единственного числа. С другой стороны, раз все излагается мною, то, наверное, правильно было бы написать о том, как я сам себя представляю. Если кратко, то мои жизненные позиции выглядят примерно так. Я рос как ортодоксальный пионер, а затем и комсомолец. Мои политические взгляды серьезно менялись лишь в 1968 году, хотя Солженицына и многих других критиков нашего строя я читал в Университете. «Оттепель» вызывала у меня иллюзии того, что сталинизм остался в прошлом. Ввод наших войск в Прагу я не поддержал, хотя и не вышел, как мои знакомые, на Красную площадь, а пошел сдавать экзамены в аспирантуру Отделения математики МГУ. Всякую войну ненавижу, ибо повидал их несколько, начиная с Будапешта 1956 года и кончая (ли?) войнами в обеих Конго. Знаю, что на войне нет рыцарей и разбойников. Абсолютно все на ней поставлены в такие обстоятельства, что обязательно совершают преступления. Поэтому я не принимаю наказания за военные преступления, когда наказывают выборочно и не тех, кто начал войну (что было бы хотя бы уроком другим), а тех, кто проиграл, т.е. оказался, в конечном счете, слабее. Место справедливости занимает месть. Потом оставшиеся в живых из наказанных только и мечтают о revanche. Друзья меня упрекают, но я не уважаю позицию, так называемых гуманистов, которые у стороны, заведомо обреченной на поражение, создают иллюзию серьезной поддержки, а, в конечном итоге, это приводит к затягиванию войны и увеличивает количество ее жертв, особенно среди гражданского населения. И что совсем ужасно, так это то, что люди уже привыкли слышать о погибших женщинах и детях. В этом смысле иногда жесткость, бескомпромиссность и даже жестокость, проявляемая заведомо более сильным противником с самого начала военных действий, является в большей степени проявлением гуманизма, т.к. уменьшает, в конечном счете, количество жертв. Точно так же, когда я слышу, что необходимо проявлять гуманизм в отношении преступника, что он тоже человек, я спрашиваю, а как же быть с правами его будущих жертв. Разве они не люди? Не понимаю, когда на перевоспитание преступников предусматриваются расходы, а на поиск и развитие талантов — нет. Когда матери дают пособие на воспитание ребенка намного меньшее, чем выделяемые на содержание ребенка в детском доме. Наконец, ненавижу демагогов-политиков, которые практически все на поверку обладают поверхностными знаниями, логикой вообще не владеют, а, часто, и просто глупы. Большинство из них циники, которым дела нет до нас. Они, к нашему несчастью, определяют, как нам жить. Я, например, хотел бы свои проблемы решать сам, но их почему-то стараются решать за меня другие, захватившие власть и постепенно утверждающиеся в сознании того, что они и есть «воля народа».

Что за список принципов, откуда он взялся? Так вот, это список тем, которые нас сильно волновали, и мы много дискутировали с Сашей на эти темы. Взгляды наши эволюционировали, но по всем перечисленным вопросам наши позиции совпадали. Что касается характеров. Я всегда немного прямолинеен, люблю спорить, свою позицию отстаиваю горячо и темпераментно. Легко «завожусь», хотя некоторые мои знакомые считают меня, наоборот, спокойным и рассудитель-

ным. А вот Саша был действительно рассудительным и довольно спокойным, хотя и был не меньшим спорщиком, чем я. Выслушает, бывало, пыльную речь, пересыпанную яркими русскими междометиями. Прокхекается, как заядлый курильщик. Спокойно посмотрит на тебя через очки и тихим голосом скажет: «То, что ты сейчас сказал — полная чушь.» И начинает медленно с паузами, как бы подбирая слова, излагать свою точку зрения. Она не обязательно приемлема для меня, и даже у него самого может завтра радикально измениться, но сегодня он излагает её так, как будто никаких сомнений в ней нет, и не может быть.

И ещё, что, кажется, у нас было общее — независимость взглядов и суждений. Мне кажется, что активная пропаганда, которая велась от лица руководства страны, расколола её на два лагеря — сторонников официальной идеологии и её противников. Особенно сильно это проявлялось после событий 1968 года. В нашем окружении большинство были противники, причем начисто отвергавшие всё, что говорилось официально. Саша и я были скорее противники, однако, и пропаганда, которая велась с другой стороны, зачастую вызывала вопросы. Или просто раздражала. Везде нам предлагались какие-то стереотипы, зачастую примитивные, не выдерживающие критики. Когда говорили о прелестях капитализма, я часто отвечал, а почему мы думаем, что нам уготовлена судьба Голландии, а не, скажем, Бангладеш или Гватемалы. Тоже капиталистические страны. Или, что капитализм влечет демократические преобразования. Я спрашивал, а фашизм откуда взялся. И некоторые мои «друзья-демократы» говорили в запальчивости, что таких как я, вешать надо. Когда я слышу, что достаточно создать хорошие условия жизни и соответствующую идеологию, и все проблемы будут решены, я отвечаю, что вот цыгане есть во всех странах, но живут всё равно своей жизнью. И это притом, что их «перевоспитывали» самыми разными способами, вплоть до казней. Почему же никто не задумается о национальном своеобразии (что, кстати, много обсуждалось в начале 20-го века). Почему все вопросы пытаются решать силой. И т.д., и т.п. Повторяю, здесь мы были абсолютно схожими во взглядах. И это плюс схожие пристрастия в музыке, в литературе, живописи, плюс увлеченность педагогической работой нас, наверное, и объединяло. А ещё, наверное, бескомпромиссность или, может быть точнее, нежелание идти на компромисс в ущерб истине. Это часто осложняло жизнь. А вот наши с ним ученики этим качеством зачастую не обладали. Не удаётся убедить начальство в том, что совершается ошибка, ну и пусть совершается, в конце концов, оно и отвечает. Сейчас многие так поступают. Так легче выжить.

Что же нас сильно различало? Я был спортивен. Легче перечислить виды спорта, по которым у меня не было разрядов. Но даже когда я был в большом спорте и весил 62-64 кило, я не выглядел худым. А Саша в этом возрасте выглядел дистрофиком. Женщинам хотелось его пожалеть, накормить и, наверное, привести в порядок: постирать ему одежду, погладить, приодеть. От меня же всегда ждали, что это я пожалею, помогу, защищу и, вообще, проявлю себя Мужчиной. Я страдал, если не оправдывал это мнение о себе. А Саша, мне кажется, радовался суете вокруг себя. Жены друзей мнили у него посуду и наводили порядок в его жилище. При этом они у себя дома делили эти функции с мужьями и обижались, если те увиливали от части своих обязанностей. Саше прощалось всё. Он никогда не стоял в очередях за билетами в театр, ему их просто приносили. Те же женщины. Они его понимали и баловали. И не искали ему невест, как это было бы с другим «любимцем женщин». Почему? Возможно, что ответ на этот вопрос и объяснил бы причину его одиночества. Ведь, если у тебя нет семьи, да и нет желания её создать, а ты при

этом не Дон Жуан, то обречен на одиночество. Ибо гости уходят, ты остаешься один... Господи, кто бы знал, как это непросто — оставаться наедине с собой не день, не два, а годами. Последние годы жизни в Африке я испытал это вполне. Шла война, жен и детей эвакуировали. Сотрудники посольства как-то «тусовались» на своей территории. А я жил один на огромной вилле, где когда-то располагался банк, а потом торгпредство СССР, а еще позже России. Ночью часто стреляли. Перебои с электричеством и с водой «бодрили», но хуже всего было, когда всё работало. Тогда вообще не хотелось ничего делать. И пьянство не спасало, а только усугубляло все проблемы, перекладывая их на «потом», когда они скапливались в неподъёмных количествах. Жить не хотелось иногда. Но я был поставлен в такие условия обстоятельствами, а он делал это добровольно. Что толкало его на это?

А еще меня спросят, вот я всё время говорю про Сашину гениальность, а из рассказа этого совершенно не видно. Ну что можно ответить на это. Вот Володя Дубровский говорит, что ни до, ни после Землякова не было такого, чтобы в аудитории на спецкурсе не было свободных мест. Сидели на подоконниках, в проходах между рядами. У кого еще так было? Лекции его уже не услышать, так что читайте его труды. Особенно те, что изданы после смерти. Даже, если бы я попытался их пересказать, ничего бы не получилось — исчезли бы интонации автора и своеобразие его мышления. Мои воспоминания показывают человека в быту, а это не тот антураж, где проявляется гениальность. Разве, наблюдая в быту композитора Антона Брукнера, человек, не знающий его творчества, мог бы увидеть гения в полусумасшедшем старикашке? А что уж говорить о М. Мусоргском! Или об А. Блоке, или о С. Есенине, или... Ох какой же длинный был бы список. Поистине, если уж Бог наградил Даром в одном, то обязательно обделил в другом. Нечто, вроде закона сохранения.

Возвращаясь к Саше. Может быть, он был слабохарактерным? Нет, твердо могу сказать что-то, что он иногда плакал — так это просто такой была его реакция. По натуре он был очень сильный человек, о чем я не раз говорил выше. Сильный и, что очень мешало жить, бескомпромиссный. Если он чего-то хотел, он всегда этого добивался. Если он в чем-то был убежден, то убеждения не менял ни при каких обстоятельствах. Но я бросил курить, когда понял, что всё, курение для меня — смерть. Он же практически и не пытался ни бросать пить (за исключением одного раза, описанного здесь, когда он серьёзно испугался), ни курить. Похоже было, что это для него радость, наслаждение. Или, может быть, те немногие радости, что оставались в жизни. А может быть, после многих часов, дней напряженной работы, когда мысли отвлечены ею, вдруг возникала пауза, когда начинаешь видеть жизнь вокруг. Всю её неустроенность, если не убогость. И хочется уйти от этого, закрыть глаза и слушать музыку. А чтобы мысли парили в вышине и не возвращались на Землю, есть проверенный и проторенный путь — нужно выпить...

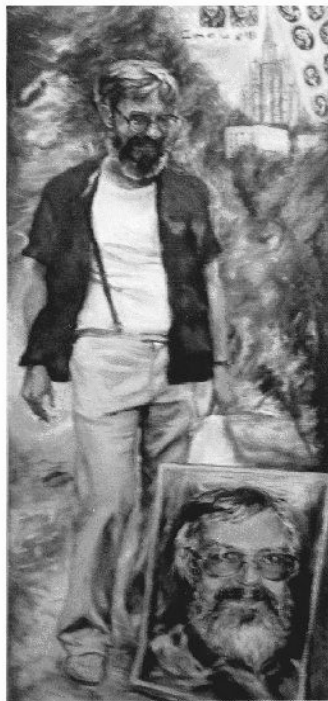
Много можно фантазировать на эту тему. Выпущенная мысль может уйти так далеко, что рассорит тебя с друзьями. Поэтому я остановлюсь и лучше приведу Некролог, написанный одним из его лучших (так считал он сам) учеников В. Копыловым, очень точный и искренний:

О Саше Землякове

Саша был умным, добрым, исключительно талантливым и разносторонне развитым. Он был блестящим ученым-математиком и педагогом. В 18-минтернате и в Черноголовской школе в общей сложности он выпустил более 25 классов.

Он учил детей математике, информатике, литературе, играть в футбол, походной жизни и вывозил их на слеты Клуба Самодельной Песни. Без преувеличения можно сказать, что он учил своих учеников Жизни, и ко всему, чему он учил, прививал любовь. Но, пожалуй, самое главное, чему он их научил — это учиться. Широкое образование, далеко выходящее за рамки школьной математики, которое он давал, и привитое им умение, а главное, постоянное желание учиться дали его выпускникам возможность достичь больших высот в их последующей жизни. Среди его учеников есть не только победители математических и физических всесоюзных и международных олимпиад, множество докторов наук, но и режиссер, и даже священнослужитель в Париже. Саша становился Соросовским учителем столько раз, сколько проводился этот конкурс, а победителями становились учителя, которых называли ученики (а не чиновники от образования).

Он учился всю жизнь, и это позволяло ему всегда оставаться на современном уровне в самых разных областях. Много из того, чему он учил детей, Саша узнавал сам незадолго до этого, часто от учеников, которые приходили в гости накануне. Узнав что-то новое и интересное, сразу же делился этим. Он любил литературу и великолепно разбирался в ней. Всю свою жизнь собирал книги. Саша «доставал» хорошие, только что вышедшие впервые в СССР книги (тогда это стоило немалых трудов), читал Булгакова, Маркеса и других великих писателей и поэтов на своих уроках математики. Ни у учителей литературы, ни в библиотеках, да и у самих учеников тогда этих книг просто не было, и не было другой возможности познакомиться с великими творениями у его воспитанников. Он хорошо разбирался в музыке и был членом клуба меломанов, который периодически собирался на прослушивания, как классики, так и джаза. Со времен МГУ у него была великолепная фонотека. Появлялись новые авторы и исполнители, а он всегда, как и во всем, был в духе времени. Когда появились «Аквариум» и «Наутилус», он ставил всем гостям пластинки и кассеты этих групп. Ученики приносили ему новые диски и кассеты, и с тем, во что влюблялся сам, на следующий день он знакомил других гостей. Точнее сказать, друзей, потому что его ученики быстро становились друзьями и потом оставались ими навсегда. В его день рождения, в студенческие каникулы, перед Новым Годом в его доме было тесно от друзей. Учитывая скромные размеры квартиры, заполненной огромным количеством книг самой разнообразной тематики



Д.И. Гегдзев. "Земляков"

(учебники и монографии, художественная литература и альбомы, литературоведение и искусствоведение), занимавшим почти все пространство, приходилось принимать гостей по сменам. Он угощал всех вкуснейшим кофе, свежемолотым в ручной кофемолке и собственноручно сваренным в джезве по одному из своих многочисленных рецептов.

Саша был центром притяжения очень многих самых разных людей. В гостях у него бывали многие «великие»: бард, поэты драматург Юлий Ким (он учил Сашу литературе в интернате и на Сашином выпускном вечере в песне выпускников он спел: «Земляков — наш образец»),

академик В. Е. Захаров (с которым Саша познакомился, еще будучи аспирантом, на «нелинейной конференции» в Горьком, когда Захаров еще не был ни академиком, ни директором Института теоретической физики РАН и жил в Новосибирске — позже судьба свела их в Черногловке), выдающийся математик академик Я. Г. Синай (он был научным руководителем у Саши в аспирантуре МГУ) и многие другие известные люди — всех просто не перечислить. Но большинство гостей были его ученики, в том числе бывшие, с десятками из которых он сохранял связи долгие годы. К нему приходили просто так, без всякого повода, или поделиться радостями или горестями. Его бывшие ученики, ставшие друзьями, приводили к нему своих невест на «смотрины» и посоветоваться в других самых серьезных вопросах. Саша был очень контактен. После поездки в Грузию в 70-х в составе делегации министерства просвещения у него появилось множество новых друзей, и Грузия стала его большой любовью на всю жизнь. Новые друзья многократно приглашали приехать в гости в любой момент, когда ему удобно, но из-за его фантастической занятости он редко мог себе это позволить.

Саша практически не знал отпусков. За все время, которое его знал, он всего несколько раз на несколько дней съездил навестить близких на родину в деревню Желниха Тверской области, два раза на несколько дней в Ленинград и два раза в Грузию, куда мне довелось его сопровождать в 80-х. Некоторые его грузинские друзья к тому времени достигли высокого положения в Грузии и нас принимали с размахом и истинно грузинским гостеприимством. Во время обеих поездок одну неделю мы проводили в Тбилиси и его окрестностях и одну в Батуми, в современном тогда отеле, расположенном в ста метрах от Черного моря, в котором мы ежедневно купались. Это был весь его отдых более чем за 20 лет. Он попросту не мог отдохнуть, когда есть работа, а работа была всегда.

Саша был талантлив во всем. Из деревенской школы его взяли в престижнейшую, легендарную ФМШ № 18 при МГУ, которую он закончил с золотой медалью. Затем был мехмат МГУ, который Саша закончил с красным дипломом. Он действительно был образцом, и слова Кима — это не гипербола. Саша все схватывал буквально «на лету», ему не только было не нужно, но и нельзя было долго объяснять — достаточно было нескольких первых слов. При попытке расшифровать мысль он, всегда очень спокойный и уравновешенный, слегка раздражался и перебивал: «Ты что, меня за идиота считаешь?» Прекрасно знал, что не считаю, и говорил это очень мягко, только для того чтобы дать понять, что он уже все понял и дальше «разжевывать» не нужно. Те, кто его хорошо знали, понимали, что он не обижается, да и сами тоже не обижались. А тем, кто плохо, он таких

слов просто не говорил. С каждым он умел говорить на его языке. Во многих случаях он сразу видел суть и глубину проблемы лучше, чем собеседник, рассказывающий ему о ней. Он находил нетривиальный смысл в самых простых для «нормального» человека вещах. В последнем полученном мною письме, отправленном за несколько дней до кончины, он задал попавшийся ему вопрос из одного школьного учебника, над которым в эти дни думал: «Почему колбасу режут наискось?». Для обычного человека это просто быт, но не для математиков его уровня.

Если бы Саша не стал Великим Учителем, он был бы Великим Математиком. Саша получил квартиру в Черноголовке под его обещание учить детей в Черноголовской школе. Казалось бы, ничто не мешало ему совмещать эту работу с серьезной математикой — ведь для занятий математикой требуется голова, образование (научная школа) и возможность общения с другими математиками. Да и почти все математики успешно совмещают науку с педагогической деятельностью в ВУЗах. Скорее всего, Саша на это и надеялся. Но этим намерениям не суждено было сбыться. Делать какое-то дело наполовину было не в его характере. С его цельной натурой он не умел разбрасываться. Увлечись одним, не смог делить себя на две половины. Он не мог формально относиться к преподаванию, хотя с его уровнем ему ничего не стоило без всякой подготовки проводить на высочайшем уровне полуженные 18 уроков в неделю. Но Саша увлекся детьми. В этом смысле он сам был как ребенок. Как-то я рассказал ему про появившуюся теорию бифуркаций удвоения периода Фейгенбаума, имеющую очень близкое отношение к тому, чем он занимался в астрантуре у Я.Г. Синая, написавшего для «Успехов математических наук» обзор, посвященный этой новой теории. Саша был восхищен математической простотой и элегантностью теории, и мне даже казалось, что он станет этим серьезно заниматься, благо теория была «свежей», серьезные вопросы оставались, обсудить их было с кем (Синай работал в ИТФ РАН и бывал в Черноголовке еженедельно).

Да не тут-то было. Саша стал учить этой теории своих школьников, как всегда, объясняя очень сложную область современной науки простым, доступным им языком, в чем он был великий мастер. В это время в школе появились первые персональные компьютеры — «Ямахи», и он учил подопечных Бейсику (учась при этом сам) одновременно с теорией Фейгенбаума.

Эра компьютеризации не оставила Сашу позади себя (хотя многие его ровесники безнадежно отстали). Его способность оценить прогрессивное и быстро обучаться позволяли ему всегда идти в ногу со временем. С появлением первых «Ямах» он первый в школе стал печатать на них методические материалы, бланки тестов, билеты для экзаменов и зачетов и бланки собственных ведомостей, в которых учитывал знания по собственной системе (у него во всем была собственная система). После появления первых айбизовских компьютеров и интернета очень скоро все это появилось и у него дома.

Его друг Гена Величко безвозмездно установил Саше его первый компьютер, а потом постоянно его «апгрейдил». Ученик, а впоследствии друг, Миша Дьячков прислал с оказией из Канады первый Сашин модем, а автор этих строк установил его вместе с одним из первых «Нетскейпов» и «подпольно» подключил его к бесплатному интернету через сеть института, в котором работал. Для этого пришлось предварительно установить ком-

мерческий телефон. Сашина скромность не позволяла ему в течение более чем 20 лет обратиться с просьбой о телефоне к «сильным мира сего» (детей многих из них он учил, и ему бы не отказали, но он не любил просить). Телефон у Саши появился только с появлением коммерческих компаний.



Вот таким его помнят многие. Кажется, 1979 год

Все, кто знал Сашу, его очень любили и «наперегонки» старались ему помочь во всем, в чем только было можно. Он не хотел быть обузой для других и часто отказывался от помощи. Но когда он соглашался, те, кому он это позволял, почитали это за честь. Ученики время от времени устраивали «субботники», помогая ему в наведении порядка (из-за постоянной занятости и увлеченности работой руки до порядка доходили не всегда). Когда он болел, ученики, коллеги-учителя и друзья навещали и снабжали его лекарствами, продуктами, горячей пищей и вообще всем необходимым.

Нас связывала четвертьвековая дружба. Очень тяжело писать о Саше в прошедшем времени. Со случившимся трудно смириться всем, кто его знал.

В нашей памяти и в наших сердцах Саша Земляков навсегда останется «нашим образцом»...

*Владимир Копылов, друг Саши Землякова,
доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник Института Физики Твёрдого Тела РАН.*



Вместо эпилога. Возвращаюсь к самому началу повествования. Похороны состоялись в Черноголовке через 5 дней. Была промозглая январская погода. Сверху то сыпался снег, то накрапывал дождь. Дул холодный ветер. Такая унылая погода только усиливала тоску. Народу съехалось много. Поминки были в Доме ученых. Сашу знала масса людей, и многим хотелось высказаться. Поэтому речи звучали и звучали. Все говорили теплые и хорошие слова в память о нем, не замечая, что каждый следующий повторяет слово в слово предыдущих. А от этого становилось еще тоскливее. И я подумал в какой-то момент, что когда хоронят таких необычных людей, ритуалы должны быть другими. Лучше бы рвануть цветной красивый фейерверк под громкую торжественную музыку, прости меня Господь за бедную фантазию.

Саша Зильберман и Женя Сурков

И опять приходится вернуться к грустному началу сего повествования: прошло пять непростых лет и вот 11-го ноября 2010 года мне звонит Саша Абрамов и сообщает, что умер Саша Зильберман. Потом приходит сообщение: «Прощание 15-го в Траурном зале ЦКБ». Его смерть и толкнула меня на написание очередной «порции» мемуаров. Кто знал Александра Рафаиловича Зильбермана? А на прощанье с ним народу пришло больше, чем на прощанье с первым президентом России (свидетельствую, как человек побывавший и там, и там). Саша — практически мой ровесник. Будучи студентом Физтеха, начал преподавать в Интернате. Исаак Кикоин и Яков Смородинский создали мощный коллектив преподавателей физики, но даже среди них сильно выделялись двое: Саша Зильберман и Женя Сурков. Для них преподавание школьной физики было настоящей творческой деятельностью, ради которой они «жертвовали» основной научной работой. На мой взгляд, тот вклад, который они внесли в создание системы преподавания физики в школе, просто неосценим. Хороших физиков много, хороших педагогов тоже немало. А вот чтобы и то, и другое сразу — таких могут быть десятки. Но ведь для того, чтобы этот талант проявился и развивался, нужна и соответствующая среда. Как житель пустыни, не выдавший большой воды, никогда не узнает, что у него были все физические данные, чтобы стать высококлассным пловцом, так и талантливейший педагог не узнает о своем Даре практически (или вообще) ничего без талантливых учеников. И вот здесь повезло обоим — они попали (как и я, и еще несколько счастливых) в качестве совместителей в Интернат. Конечно, творческой работе соответствуют удачи и неудачи, но результат был налицо. Интернат побеждал на всевозможных олимпиадах и прочих соревнованиях. Доходило до того, что чиновники ограничивали для интернатовцев число мест в сборной СССР по физике (да и по математике тоже). Были годы, когда Интернат сам мог бы сформировать на международную олимпиаду две команды, которые и разделили бы между собой первое и второе места.

Чем отличается хороший педагог от педагога экстра-класса? Да прежде всего тем, что хороший педагог большей частью воплощает в жизнь чужие мысли и идеи, а педагог экстра-класса сам ими фонтанирует. Саша и Женя сами были организаторами олимпиад: сочиняли для них задачи, входили в оргкомитеты. А сколько замечательных статей, заметок и проч. они напечатали в «Кванте». Какие читали спецкурсы и какие проводили лабораторные работы! Примером может служить написанная Женей Сурковым в соавторстве с Володией Дубровским и Яковом Смородинским вышедшая в серии «Библиотека Кванта» книга «Релятивистский мир» по мотивам прочитанного Женей спецкурса. Я редактировал эту книгу и полу-

чал истинное удовольствие от ее чтения. В ней в увлекательной форме показано, как решаются задачи о столкновениях и рассеянии частиц в классической физике, и что происходит при увеличении скоростей до субсветовых, т.е. при переходе к релятивистскому случаю (когда на динамику начинают оказывать уже существенное влияние законы теории относительности Эйнштейна). Оказывается, что задачи о соударениях переходят в те же задачи о «решении треугольников», но уже не в евклидовом пространстве, а в геометрии Лобачевского. Делается все это с большим изяществом и с экскурсами в смежные области, читатель получает представления и о неевклидовых геометриях, и о картографии, и о навигации и о... Короче говоря, всем, кто еще не прочел эту книгу, рекомендую бросить все, быстро найти ее и прочесть. Не пожалееете. Женя был физиком-теоретиком из Курчатовского института. В соответствии с этим он больше тяготел к развитию анализа какого бы то ни было явления до построения полноценной теории. Что касается книги, то здесь он очень удачно подобрал для написания математика Дубровского, которому в силу его универсального образования удалось с одной стороны придать больше строгости изложению, а с другой стороны сильно расширить рамки. Получилась книга, где кроме прикладных задач физики изучены неевклидовы геометрии постоянной кривизны.

Саша Зильберман больше тяготел к экспериментальной физике. Было у него замечательное качество — умение в каждом бытовом явлении находить десятки тем для исследования. Причем они шли как вширь, так и вглубь. В результате, начиная с какого-нибудь исследования банального процесса, вы выходили на такие неожиданные открытия, что чувствовали себя альпинистом в физике. Довольно много таких задач-исследований опубликовано им в журнале «Квант», где он, как и Женя, были членами редколлегии. А чтобы фамилия Зильберман не мозолила глаза, он печатался чаще всего под разными псевдонимами, коих у него был не один десяток.

В жизни оба были необыкновенно обаятельными и общительными людьми. И очень много уделяли внимания школьникам. Саша имел большую подборку записей Владимира Высоцкого, с которой регулярно знакомил школьников. Сейчас может показаться странным, но это не одобрялось руководством. Вечера проходили полулегально. Оба ходили в походы, ездили на экскурсии по историческим местам, ходили в музеи. Жили они, как и Саша Земляков, одиноко. Если быть точным, то Женя однажды женился, но жил большей частью времени отдельно от семьи в своей однокомнатной квартире возле «Курчатника». И тот и другой, как и Саша Земляков, были очень гостеприимны. К ним можно было прийти в любое время с любыми своими проблемами, и тебя всегда ждал очень хороший кофе. И люди приходили. И очень часто там собирались совсем не маленькие компании. И пили не только кофе. Сколько дискуссий и споров происходило на этих посиделках. Кстати, Юлий Ким свои новые произведения часто опробовал на нас, смотрел на нашу реакцию. Значит, ему это было нужно. Мы были худыми, и потому нас набивалось ужасно много в эти маленькие квартирки. Мы были энергичными, и потому споры были горячими и длились часто далеко за полночь. Мы были голодными, поэтому все несли с собой что-нибудь съестное (чтобы не нагружать хозяев), и сметали все, что было в доме, подчистую. Выпивали ли мы? Конечно же, да. Но, как я сейчас могу оценить, совсем не так уж и много. Просто водка в России — самый лучший стартер для дискуссий. «На Руси веселье пíti, без того не можем жити» — как сказал князь Владимир, выпроваживая мусульманских посланцев, агитировавших за принятие Ислама. Эти собрания не были просто шумными сборищами. Интеллектуальный потенциал их был достаточно велик, как велик был и авторитет. Когда я

был в гостях у Саши Звонкина в Бордо, они с Аллой Ярхо — его женой — рассказали мне, что как только они поженились, он практически сразу привел ее на «смотринь» в гости к Землякову в Черноголовку. Поводом для сбора был, кажется, День рождения хозяина квартиры или новоселье, сейчас не помню, но в центре внимания был Юлик Ким, только что завершивший своего «Тилия». Собралось не менее двадцати человек, в том числе и Сашин шеф — будущий академик Синай, имевший небольшую квартиру в Черноголовке. Вечер пролетел, как одно мгновение. Алла нам понравилась, а мы, насколько я понимаю, ей. Поздно ночью меня с Юликом забрали к себе Синай, выделили нам комнату, но мы, я помню, так и не ложились спать — вели до самого утра какие-то философские разговоры.

Сейчас, когда я пишу эти строки, понимаю, что большой кусок сведений о Землякове, Зильбермане и Суркове можно писать прямо «под копирку».

Судьбы переплетались. Сестра Жени вышла замуж за Юру Подлипчука и уехала в Хабаровск. В истории со «Словом...» мы с Женей принимали самое активное участие (несравнимое, конечно, с работой самого автора). Мы участвовали в дискуссиях, на нас оттачивалась аргументация. Но, кроме этого, и мне и Жене принадлежит ряд гипотез, подтвержденных затем Юрием Викторовичем. Во Введении нам с Женей выражена благодарность автора, считаю, вполне заслуженная нами.

С Женей же вместе мы работали на Сахалине в стройотряде «Интернатовец», последний раз в пос. Ададьмово на реке Тымь — строили рыбозаводный завод. Женя был командиром отряда, я был бригадиром плотников. Почему-то в архивах Интернета я числюсь комиссаром стройотряда. Ответственно заявляю, что никогда выше бригадира плотников в должности я не поднимался. И никогда не хотел этого — слишком велик был во мне всегда дух бунтовщика-анархиста, защитника масс. Я и сейчас удивляюсь, почему люди проявляли недовольство в форме ропота, в тихих разговорах между собой. Почему боялись высказать свое мнение даже такому либеральному руководителю, как Женя? Почему жаловались мне, а я шел разбираться? И даже был арбитром в ссоре командира и мастера (Володи Колкова — моего однокурсника). Женя был такой уравновешенный, иногда казалось приторможенный. Я, наоборот, резкий и вспыльчивый. Ругались мы с ним почти постоянно, я думал, разругаемся на всю жизнь, но нет, вернулись в Москву — и все забылось. По дороге залетали в Хабаровск в гости к Подлипчуку и Гайдукову (упоминавшемуся в начале изложения). Женя Гайдуков женился на своей ученице Людмиле Флейшер и тоже перебрался в Хабаровск, поскольку перспективы с жильем в Москве не было. Автор этих строк так же, как и они, долго скитался без жилья пока, чисто случайно, не удалось вступить в кооператив. Назанимав денег, где только можно, я потом ездил в стройотряды на Сахалин, чтобы рассчитаться с долгами. Но, кроме заработков, было в этих поездках что-то, что трудно передать. Преодоление себя, своей лени, знакомство с жизнью страны, расширение географического диапазона — все это было, но было и что-то большее. Может быть, это и трудный опыт коллективной жизни, когда все всё время рядом, нигде не спрячешься, всё на виду. Как в армии, или в тюрьме, или в длительном и сложном горном походе, и при этом очень много работы, почти на износ. Серьезное испытание для многих. Не все выдерживают.

А еще я запомнил тот уровень доверия, который был между людьми. Как-то нам вовремя не перевели деньги. Есть было нечего. Я поехал в Тымовск (районный центр), где работал стройотряд Химфака МГУ. Почему опять я — потому, что я уже был преподавателем Экономического факультета, а остальные были студенты, аспиранты, двое школьников(!) или люди, не имевшие прямого отношения к МГУ. Итак, я нашел командира химиков (жаль, что даже не запомнил фамилии), объяснил

ему ситуацию. Он залез в карман, достал деньги — тысяча пять или десять, кажется, и на мою попытку написать расписку, заметил, что она все равно не имеет юридической силы. А выдал он меня первый раз в жизни. Когда я вернулся, народ веселился, шутили, что с такими деньгами нормальный человек удрал бы в Японию.

Внешне Саша и Женя сильно различались. Саша всегда очень опрятно одет, ни единого пятнышка, все выглажено, все блестит. Женя одет, примерно так же, как большинство людей в то время. Вспоминается анекдотический случай. Как-то он и Люда Калинина (в тот момент классный руководитель) со школьниками поехали в Суздаль. Гостиниц тогда практически не было, поэтому все были с рюкзаками, палатками и спальниками. Ночевали на опушке леса, а утром погрузились в проходящий автобус и поехали в Суздаль. По дороге в автобус зашел контролер. То ли просчитались, когда покупали билеты, то ли просчитался контролер, но одного билета не хватало. Контролер, почему-то прицепился именно к Жене, начал требовать заплатить штраф, понося его при этом последними словами. Интеллигентность не позволяла Жене отвечать контролеру тем же, а когда кто-то из школьников попытался за него вступить, тот вообще распалился и начал кричать: «Что вы защищаете его? Я этого алкаша хорошо знаю, он тут каждый день ездит пьяный и без билета!». К счастью, билет нашелся, но мы еще часто подтрунивали над Женей, странное, мол, у тебя хобби — напиваться пьяным и ехать, Бог знает куда, чтобы подразнить там контролера.

Женя Сурков умер трагически. Началось с того, что он серьезно заболел, у него отнимались ноги. Люда Калинина — замечательный педагог Интерната раннего периода, ушедшая из него, когда стала понимать, что контакт со школьниками ухудшается, что в работе стало слишком много бюрократического формализма. Люда стала ухаживать за Женей. Она переехала на его квартиру. Материально в это время вся интеллигенция жила плохо, а уж каково было двум пенсионерам, один из которых лежачий больной, я могу только догадываться. И как себя чувствовал Женя, привыкший постоянно что-то делать, обсуждать, быть в центре внимания. Короче говоря, Люда спала на кухне, а Женя уснул с зажженной сигаретой, которая упала на матрас. Когда Люда почувствовала дым, было уже поздно что-то сделать. Произошло это 24 апреля 2007 года. Вот, что пишут о нем его ученики.

АЛЕКСАНДР АДАМЧУК:

«Львович был учителем физики в нашем классе в Интернате. Ходил с нами в походы. Читал нам лекции. Учил. Многие годы он читал всему Интернату лекции по физике. Замечательные были лекции, необыкновенные. Почти 16 лет он преподавал физику в Интернате, с 1965 по 1980. Львович закончил Физтех, работал научным сотрудником в институте ядерной физики, а потом в теоретическом Курчатника, у Смородинского и Кикоина. Учителем он был по совместительству и по призванию. Львович был бессменным членом редакционной коллегии и редакционного совета журнала "Квант" с самого основания журнала в 1970 году и до своей трагической смерти — 36 лет. Мы все выросли с этим журналом. В библиотечке "Кванта" была выпущена небольшая книжка "Релятивистский мир", написанная Е.Л. Сурковым в соавторстве с В.Н. Дубровским и Я.А. Смородинским по материалам интернатовских лекций о теории относительности и геометрии Лобачевского. Вот и все. Курил.

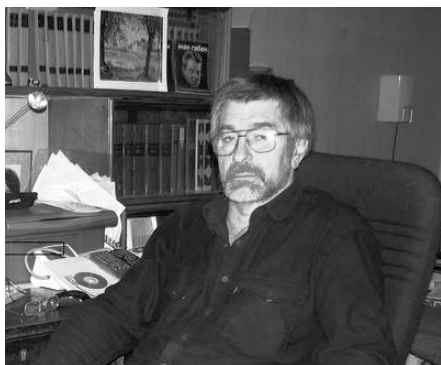
Я почему-то хорошо запомнил, как Львович нам читал вслух "Сказку о Тройке" на привале в походе, где-то на берегу озера в яркий солнечный день в Семхозе под Загорском. А потом мы пошли с ним в Загорск, в Лавру. И пока все как туристы осматривали достопримечательности и слушали болтовню экскурсовода об архитектурных деталях и стилях — "поглядите-ка направо, поглядите-ка

налево" —, пока все наши ребята галдели, бегали, лазили на стены и на колокольню и т.п. — Львович просто сидел на лавочке и курил в одиночестве.

На вопрос, почему он не осматривает достопримечательности вместе со всеми, Львович сказал, что "не надо суетиться" и предложил просто посидеть, помолчать и подумать, чтоб почувствовать, кто мы и где мы находимся. Главное, сказал, не суетиться».



Женя Сурков в 33 года



А Саша Зильберман вот таким остался в моей памяти

КАРАГИЧЕВ АЛЕКСЕЙ, выпускник 1976 г.:

«У него всегда было ясное понимание физики — столь ясное понимание предмета приходилось в дальнейшем встречать очень нечасто. При поступлении на физтех ученики его классов всегда показывали высокие баллы по физике и сейчас среди его учеников много успешно состоявшихся физиков. При этом у него была гражданская позиция — никогда Евгений Львович не выпячивал свои взгляды на общество, на жизнь, но система взглядов — четкая, достойная русского интеллигента — у него была.»

Читаю эти памятные строки из Интернета и снова и снова вспоминаю вот это самое «не надо суетиться», слышанное мною тысячу раз от Жени. И представляю интонацию, с которой это произносится, и даже выражение лица в этот миг.

Саша Зильберман долго и тяжело болел, скрывая свою болезнь от большинства друзей. Последний раз мы с ним виделись в июне 2010 года, на встрече выпускников 1970 года (у которых еще преподавали Подлипчук и Калинина). Он был какой-то уставший и худой. Перекинулись буквально парой слов, начиналось застолье, и мы договорились поговорить в «антракте». Застолье немного затянулось, когда возник перерыв, то Саши уже не было. На встречу меня пригласил Володя Левин. Я не вел занятия в их потоке, но ребята меня помнили по моим музыкальным вечерам, а некоторые и по паре походов, организованных Людой Калининой, в которых я принимал участие. Володя, теперь профессор на Мехмате, сказал мне, что Саша плохо себя чувствовал и приехал только, чтобы отметить. Что следует читать: показать свое уважение присутствующим, дать им понять, что он о них помнит и любит их, как и прежде.

И вот 11 ноября — звонок Абрамова, затем Левина и еще несколько звонков.

— Конечно, приеду, но где, когда?

— Еще не решено, смотри объявления в Интернете.

Прощание был назначено на 15.11.2010 в Траурном зале ЦКБ. Зал не мог вместить всех пришедших, люди заходили, клали цветы (горы роз, тюльпанов и др., я в них не разбираюсь) и уходили, чтобы не мешаться, а кто-то, возможно, и потому, что еле вырвался с работы. Траурная церемония не готовилась, поэтому шла сумбурно и явно затягивалась. Говорили официальные лица, зачитывались телеграммы, выступали сотрудники и друзья, потом выходил кто-то из его учеников и рассказывал, что он никогда не любил физику, но вот Александр Рафаилович, вот Александр Рафаилович... и не находя нужных слов, отходил в слезах. В общем, все как обычно.

В Интернете довольно много слов о нем, хороших и добрых, но я не нашел ничего интересней (для себя, конечно), чем его собственные слова о себе:

«Зильберман Александр Рафаилович — доцент и методист кафедры физики МИОО. Область околопедагогических интересов: физические олимпиады, работа с разумными школьниками, электроника и компьютеры. Придумываю физические задачи. Окончил МФТИ в 1969 году, аспирантуру Гос.НИИ Радио — в 1972 году. Первый официальный выпуск в школе — 1968 год, интернат 18 (СУНЦ МГУ, Колмогоровская школа). Преподаю физику в лицее "Вторая школа". С 1980 года — член редакционной коллегии журнала КВАНТ, с 1990 г. — веду раздел "Задачник Кванта" по физике. В МИОО с 1995 г. Email: alex_zilberman@mtu-net.ru.»

И все — ни про государственные награды, ни про Соросовскую премию, ни про другие виды признания заслуг.

А вот уже и 2012-й год. Наша команда школьников с триумфом возвращается из Таллина, где взяла три золотые и две серебряные медали на олимпиаде по физике. Вот кусочек репортажа о встрече:

Единственной девушке в российской сборной сложнее всего было справиться с волнением. До золота Александра Васильева не добрала всего одну десятую балла. Зато стала первой леди олимпиады, ей присвоили звание «лучшая девушка-физик». Победу посвятили своему учителю по физике.

«Мне чрезвычайно повезло с учителем. Меня учил Александр Зильберман, действительно один из лучших педагогов России. К сожалению, он умер год назад. Именно он показал мне, что физика — это красиво, что это интересно», — заверяет Александра.

А вот еще одна любопытная деталь. Опубликовано 27 сентября 2012 года в Интернете Сашей Адамчуком (подготовлено сотрудниками «Кванта» для спецвыпуска «Голоса» лица «Вторая школа», осень 2011):

Александр Рафаилович Зильберман сотрудничал с «Квантом» без малого сорок лет. Он публиковал задачи под псевдонимами, число которых перевалило за сотню. В выборе псевдонимов отразились одновременно и рационализм, и юмор А.Р. — простые задачи подписаны фамилиями «Простов», «Несложнов», задачи по теории теплоты — «А. Газов», «А. Диабатов», некоторые варианты теперь вполне сойдут за ребус (попробуйте догадаться, о чём мог сочинить задачу человек с фамилией «Базов»?!). По признанию самого А.Р., его любимыми псевдонимами были «З. Рафаилов» и «М. Учителев».

ПСЕВДОНИМЫ А.Р. ЗИЛЬБЕРМАНА В «ЗАДАЧНИКЕ „КВАНТА”»

1. Г. Азов	35. А. Кубиков	69. А. Сложнов
2. Р. Александров	36. О. Кубинский	70. Б. Сложнов
3. Р. Афаилов	37. А. Линзов	71. Р. Сложнов
4. Э. Базов	38. А. Лисов	72. А. Старов
5. А. Блоков	39. А. Мальтусов	73. Р. Старов
6. Р. Блоков	40. У. Множителев	74. А. Стеклов
7. З. Броновский	41. З. Мостов	75. А. Стержнев
8. А. Бусин	42. А. Мостиков	76. А. Стрелков
9. У. Былов	43. А. Несложнов	77. Р. Схемов
10. А. Верёвкин	44. О. Нидерландский	78. Р. Тараканов
11. А. Витков	45. Р. Обручев	79. А. Теплов
12. А. Волнов	46. Т. Оков	80. Р. Теплов
13. З. Волнов	47. А. Очков	81. А. Токов
14. А. Газов	48. З. Очков	82. Л. Толстов
15. Р. Газов	49. А. Палочкин	83. А. Томов
16. А. Гостев	50. Р. Пальцев	84. К. Тото
17. А. Грузов	51. А. Паров	85. З. Точкин
18. А. Диабатов	52. А. Повторов	86. А. Ударов
19. А. Длиннов	53. З. Повторов	87. К. Урицын
20. А. Жучков	54. А. Приборов	88. М. Учителев
21. Я. Злодеев	55. З. Приборов	89. А. Фанатов
22. Ф. Изиков	56. А. Простов	90. С. Фонарёв
23. А. Камнев	57. З. Простов	91. А. Центров
24. З. Каплин	58. Н. Простов	92. А. Цепочкин
25. Ц. Карнов	59. О. Простов	93. А. Циклов
26. З. Катушкин	60. Р. Простов	94. З. Циклов
27. Р. Катушкин	61. С. Простов	95. Р. Циклов
28. А. Клинов	62. Д. Протонов	96. Р. Цифров
29. Р. Клинов	63. А. Птицын	97. К. Чёртов
30. Р. Колесов	64. З. Рафаилов	98. З. Шариков
31. А. Компотов	65. А. Сашин	99. Р. Шариков
32. А. Контуров	66. А. Светлов	100. А. Шаров
33. А. Круглов	67. А. Светов	101. П. Шаров
34. А. Крючков	68. З. Сильнов	102. А. Ящиков

Поминки организовали Институты Академии Образования, там все шло уже менее принужденно и казенно. Говорили все, говорили добрые и хорошие слова о том, какой он был талантище, как необходимо сохранить этот бесценный опыт и развивать его дальше, как трудно стало в последнее время учить детей любить науку, как много стало формализма и т.д. и т.п. В какой-то момент я не выдержал и тоже произнес речь, прозвучавшую полным диссонансом. Она переключила обсуждение и была последней произнесенной речью, дальше были только слова благодарности присутствующим и организаторам с намеком на окончание церемонии. Что же я такого сказал? Я спросил всех, а нужны ли нам сейчас физики? Мог бы Саша, начав свою карьеру сейчас, достичь таких выдающихся результатов? Попробую ниже развить свое выступление, которое было, разумеется, намного короче, но, может быть, резче.

(продолжение следует)



Елена Калашникова

МАЙЯ КВЯТКОВСКАЯ: «МНЕ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ПЕРЕВОДИТЬ СТИХИ»

Майя Залмановна Квятковская — переводчик с французского, испанского, каталанского, галисийского, португальского и английского языков. Автор книг «На языке души. Избранные переводы лирики», СПб, 2003; «Поэты Франции в переводах Майи Квятковской», СПб, 2013; «Poesias ibericas, переводы Майи Квятковской с испанского, португальского, каталанского и галисийского языков», СПб, 2013; «Poesias latinoamericanos. Поэты Латинской Америки в переводах Майи Квятковской», СПб, 2014.



Майя Квятковская

Среди переводов с французского — стихотворения и статьи Шарля Бодлера, стихотворения и проза Поля Верлена, стихотворения Теофиля Готье, Франсуа Малерба, Теофиля де Вио, Ивана Жилькена, Жана Расина, Шарля Кро, Антонена Арто, проза и стихи Жюль Лафорга, басни и забавные истории в стихах Жана де Лафонтена, средневековые фарсы. Переводы с испанского таких поэтов как Рубен Дарио, Антонию Мачадо, Луис де Гонгора, Лопе де Вега, Франсиско де Кеведо, Мигель Сервантес, Рамон дель Валье-Инклан, Луис Лугонес. С португальского — стихотворения Луиса де Камозаса. С английского — стихотворения Эдгара По, Данте Габриэля Россетти и др. Живет в Санкт-Петербурге.

— *Есть ли у вас главный автор — Теофиль де Вио, например, или любимы все, кого вы переводили?*

— Теофиль де Вио — один из самых любимых, близких мне по духу поэтов; он сопровождает меня всю мою переводческую жизнь. Впервые мне на него указала Эльга Львовна Линецкая. У нее было много удивительных свойств, но вот одно из самых удивительных — она видела, что у переводчика «пойдет», что соответствует характеру его дарования, и при этом всегда попадала в точку. Она сурово нас муштровала, требовала точного прочтения и безукоризненной формы, не тер-

пела неуважения к переводимому автору, не прощала небрежности. При этом у каждого из ее учеников сохранялось свое собственное «лицо».

— *А как бы вы охарактеризовали свое «лицо»?*

— Я — лирик с философским уклоном. Иногда мне нравится нечто таинственно-символическое, что я нашла, например, в Метерлинке и Иване Жилькэне (это бельгийский поэт, близкий к символистам, но с иронической стрункой), в Жюле Лафорге, Антонене Арто, в Антонио Мачадо, в Данте Габриэле Россетти. Не помню, кто из переводчиков в вашей книге сопоставлял Мачадо с Тютчевым¹ Для меня Мачадо перекликается скорее с Александром Блоком. Мне необходимо почувствовать у поэта струны, соответствующие моему внутреннему настрою. Я не могла бы всецело сосредоточиться на каком-либо одном авторе или историческом периоде. Меня притягивает и поэзия барокко, и романтики, особенно Леконт де Лиль, и «проклятые» поэты; не чуждо мне и комическое восприятие мира, интересно пробовать себя в таких жанрах как эпиграмма, басня, сатира, комедия (французские средневековые фарсы, комедия Сервантеса «Великая султанша донья Катилина де Овьедо»). Словом, я существо достаточно разноликое и разностороннее.

— *Расскажите о своей семье и родителях. Были ли в вашем детстве какие-то предпосылки для дальнейшего интереса к зарубежной литературе?*

— Пожалуй, влияние отца. Он был инженером и при этом великим книголюбом, знал русскую и мировую литературу, свободно читал по-английски и по-немецки. Следил за моим чтением и постоянно шпынял меня, если выяснялось, что я еще не прочла той или иной книги. Думаю, косвенно повлияла и мать: она и её сестра, моя тетка, были очень музыкальны. Все детство я, можно сказать, провела под роялем, когда мать пела, а тетка ей аккомпанировала. Вероятно, музыка каким-то образом способствует общему восприятию мировой культуры, и не только музыкальной, она создаёт некое романтическое видение мира. Репертуар у нас дома был в основном классический — романсы, оперные арии как русских, так и зарубежных композиторов. Мама в своё время выдержала экзамены в консерваторию, но профессиональной певицей так и не стала. Уже в солидном возрасте, после войны, она посещала оперную студию дома культуры Кировского завода, которой руководил преподаватель консерватории Чарушников. В этом коллективе он ставил «Евгения Онегина», «Царскую невесту», отрывки из опер. Моя мать пела партию Марфы в «Царской невесте» и Татьяны в «Евгении Онегине», а это требовало хорошего вокального уровня. А я была легкомысленной девочкой, прилежанием никогда не отличалась, хотя читала запоем с пяти лет. С детства писала стихи. Первое стихотворение написала не то в пять, не то в шесть лет.

Во время войны мы с мамой жили в Узбекистане, в шахтёрском посёлке Ангрэн, теперь это город. Наряду с обычными лишениями войны, там я испытала большой книжный голод, и за четыре года, кроме школьных хрестоматий, помнится, у меня были только «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, «Таинственный остров» Жюль Верна и том Брема «Членистоногие», освоенный мною настолько, что я могла определять многочисленных местных насекомых. Кроме того, два-три раза отец присылал мне книги с фронта.

— *Эти книжки вы забрали потом в Ленинград?*

— К сожалению, всё взять было невозможно, мы захватили только то, что можно было унести в руках. В Ташкенте с трудом сели в переполненный поезд, ехали на багажных полках. Единственная книга, которую я взяла с собой, — присланная отцом с фронта «Книга песен» Генриха Гейне. Она до сих пор хранится у меня. Разумеется, за четыре года войны я многое упустила и сильно отстала, а после войны оказалось, что я переросла и Майн Рида, и Фенимора Купера, и прочие увлекательные для подростков книги — теперь они мне показались наивными.

В моей школе изучали немецкий. В учебнике восьмого класса мне попались стихи: Гейне, Шиллер, Гёте. Как-то раз нам было задано на дом разобрать стихотворение Шиллера «Кубок» и перевести его, разумеется, прозой. Но оказалось, что мне легче перевести стихами. С тех пор учительница немецкого всегда просила меня заранее к уроку перевести стихотворения Шиллера, Гёте, Гейне. Можно сказать, что это были мои первые «заказные» работы.

— *Вы писали стихи, переводили поэзию и, чтобы выучить другие иностранные языки, пошли во Второй ленинградский педагогический институт иностранных языков? Как вы туда поступили?*

— С детства я хотела стать поэтом и ходила в студию Дворца пионеров к Глебу Сергеевичу Семенову — в 1939-1941 годах, и затем, уже после войны, во второй половине 1940-х продолжила свои занятия в этой студии.

— *В эту же студию ходил еще один из моих собеседников — Владимир Львович Британишский.*

— Так и есть. Ходили туда главным образом будущие поэты (или полагавшие себя таковыми). Владимир Британишский и Лев Куклин действительно стали литераторами; в нашей же студии занимался Игорь Масленников, впоследствии видный кинорежиссер.

Сдурю я подала документы на факультет журналистики в Ленинградский университет имени Жданова и огребла там первую в жизни тройку за сочинение. Я писала экзаменационное сочинение по Некрасову, но точно названия темы не помню. Чуть ли не пятьдесят процентов сочинения заняли цитаты из Некрасова, я многое помнила наизусть. И вдруг — тройка, я не прошла по конкурсу.

— *Так отсеивали ненужных людей?..*

— Может быть, дело в анкете, хотя по паспорту я — русская, у меня мама русская, но, как известно, бьют не по паспорту. Я оказалась в отсеке и была вынуждена поступать в любой институт, куда принимали без конкурса. Больше мне ничего не светило, а надо было куда-то определяться. Выбор был невелик: Финансово-экономический институт (а я всю жизнь относилась с большим презрением как к финансам, так и к экономике), или 2-й Ленинградский педагогический институт иностранных языков. Я подумала и решила, что мне совсем не вредно изучить французский язык. В эту же приемную страду я подала в Ин'яз документы с университетскими оценками, и меня приняли. Там собрались обломки кораблекрушения — абитуриенты, не прошедшие конкурс в престижные вузы. Мы учились, глупо презирая наш институт, потому что не мы его выбрали. Языку нас учили первые два года, а потом пошли школьные практики, методические занятия... Сколько было ненужных предметов! Кроме марксизма-ленинизма — педагогика, история педагогики, методика, история методики, школьная гигиена...

— *Испанский вы там учили?*

— Нет, в институте не было испанского отделения. Вторым языком у нас был английский: два часа в неделю. Тем не менее, в институте были очень хорошие преподаватели французского. И там я встретила со своим будущим мужем, студентом английского отделения. Нашему браку уже шестьдесят один год.

— *А чем ваш муж стал заниматься?*

— Он — преподаватель английского языка (кандидат филологических наук, доцент). Главным образом, фонетист, фонолог, также вел курс страноведения, читал лекции по истории Англии на английском языке.

— *Расскажите о том, как вы стали учить испанский.*

— Я не изучала его специально. Когда в серии «Библиотека всемирной литературы» готовили том, в который вошли стихи пяти великих испанских поэтов XX века, редактор, Валерий Сергеевич Столбов, дал мне подстрочники стихов Мачадо. (Впоследствии вышла отдельная книга его поэзии, а недавно в издательстве «Наука» был издан роскошный сборник — полное собрание произведений Мачадо, — под эгидой Виктора Андреева). Кроме того, я переводила довольно много латиноамериканских поэтов. Сначала по подстрочнику, но через некоторое время обнаружила, что всё меньше смотрю в подстрочник и всё больше — в оригинал. Я стала чувствовать язык, интонацию, стиль. Так что можно сказать, что испанскому языку меня научили испанские поэты в процессе работы над ними.

— *Вы много имели дело с подстрочником?*

— Нет, эпизодически. Впервые это случилось, когда объявили всесоюзный конкурс на перевод стихотворения литовской поэтессы Саломеи Нерис. Участникам дали оригинал и подстрочник, но что можно понять в стихотворении через подстрочник? Я разыскала у нас в городе Машу Григорьевну Рольникайте. Четыре года войны она провела сначала в вильнюсском гетто, а потом в Германии, в концлагере. При отступлении немцы чуть не сожгли узников в сарае, но подоспела наша армия. Книгу Маши Григорьевны о ее пребывании в немецком лагере «Я должна рассказать» перевели на многие языки, она член Союза писателей Санкт-Петербурга. Я просила ее, носительницу литовского языка, помочь мне. Маша Григорьевна сначала читала мне стихотворение вслух, литовский текст я уже знала наизусть, проникалась его звучанием, интонацией, а закончив перевод, опять просила Машу Григорьевну посмотреть, все ли там благополучно с точки зрения литовского языка. Первую премию на этом конкурсе не присудили никому, а вторую получили двое — Наталья Астафьева и я.

— *Владимир Микушевич в интервью мне говорил, что в детстве открыл для себя, что понимает немецкий и думает на нем, хотя у них в семье по-немецки не говорили. Знакомо ли вам подобное ощущение?*

— Нечто подобное у меня происходило с другими языками, которых я прежде не изучала. Труднее всего было с каталанским. В то время, когда я переводила каталонскую поэзию, не было ни каталано-русских словарей, ни учебников по каталанскому языку. Приходилось работать с каталано-испанским словарем и со стихотворными испанскими (очень приблизительными!) переводами с каталан-

ского. Я сопоставляла каталанские оригиналы с испанскими переводами, но они меня не удовлетворяли, поскольку не соответствовали моему пониманию текста, так что пришлось обойтись без них. Помогло знание старо-французского — он ближе каталанскому, чем родственные ему испанский и португальский.

— *Расскажите, пожалуйста, когда и как вы попали на семинар Эльги Львовны Линецкой.*

— Я была тогда уже солидная дама за тридцать, жена и мать. После окончания института нас с мужем отправили по распределению в Сибирь, в Новокузнецк, и я потеряла всякую связь с литературной средой. Большинство выпускников, отработав обязательные два года, уезжали, куда хотели, но мы с мужем там завязли и вернулись домой только через шесть лет. В Ленинграде нас заели бытовые неурядицы, но я тосковала по любимому делу, поэтому иногда захаживала в Герценовский институт (за это время наш Второй Ин'яз слили с Герценовским институтом, ныне Герценовским университетом, но там оставались наши старые преподаватели). И вот одна из тех, у кого я училась, Вера Ильинична Замфилова, устроила мне допрос с пристрастием: занимаюсь ли я переводом, и почему перестала? Узнав, что я забросила перевод, а в Дом писателей пойти не решаюсь, она схватила меня за руку и повела к Ефиму Григорьевичу Эткинду (он тоже тогда преподавал в Герценовском институте). Оказалось, что с Ефимом Григорьевичем мы давно знакомы: еще по Дворцу пионеров (он читал там в то время для студийцев лекции по зарубежной литературе), и что он меня помнит. Он пригласил меня в Дом писателей, на заседание секции перевода. Я-то думала, что он возьмет меня к себе, в немецкий семинар, но он направил меня во французский, к Эльге Львовне Линецкой. Она меня встретила сурово, посмотрела без всякого тепла: «Я не имею права своей волей принимать или не принимать в семинар, это решают его участники. Принесете мне свои переводы, я отдам их на обсуждение, и семинар уже решит, принять вас или нет». Дома я схватилась за голову: у меня ничего не было, кроме детских переводов с немецкого и двух-трех студенческих. Что делать? Срочно переводить! И я, будучи совершенно неискушенной, взялась ни за кого иного как за сложнейшего Поля Элюара. И за две недели до семинара напереводила довольно много.

— *А что именно?*

— Даже не помню. Потом эти переводы я никуда не включала — они довольно бесцветны. Эти же стихи гораздо лучше переводили другие, например, Морис Николаевич Ваксмахер — Элюар у него блистательный. На семинар я пришла «во всеоружии»: школьные переводы из Гейне и Шиллера (где, во всяком случае, стихотворная форма была соблюдена), Беранже (студенческий, от него бы и сейчас не отказалась, хотя нигде его не печатала) и Элюар. На следующем занятии мои переводы разобрали довольно жестко.

— *Кто был тогда в семинаре Линецкой?*

— Инна Чежегова, Константин Азадовский, Геннадий Шмаков, Владимир Васильев... Они-то и глодали мои косточки. Было страшно, но кое-что от моих переводов всё же уцелело, и я поняла, что имею моральное право переводить. А вскоре получила работу от ленинградского филиала «Художественной литературы»: готовили первый в СССР сборник Рафаэля Альберти. Собственно, книга была почти готова, но несколько откровенно плохих стихотворений никто из переводчиков не брал, они

были чужды духу нашего семинара — что-то партийное, «идейное». Но Эльга Львовна сказала мне с сомнением: «Ну, попробуйте». Я попробовала, в итоге один из этих переводов («Рабы») с тех пор многократно перепечатывался.

— *Из рецензии Михаила Яснова на книгу ваших избранных переводов: «Эльга Львовна, — вспоминает М. Квятковская, — справедливо считала, что переводная поэзия должна черпать из источника русской, иначе она не будет живой; поэтому в семинаре всегда шли разговоры о русской поэзии и поэтах — от Державина до наших дней...». То есть, занятия семинара состояли из нескольких частей?*

— Эльга Львовна прекрасно понимала, что жизнь захлестывает, закручивает, и поэтому люди иногда перестают читать стихи — некогда. Она спрашивала: «Кого бы вы хотели почитать в следующий раз?» Мы выбирали, например, Державина или Ходасевича. То есть «домашним заданием» было перечитать поэта, выбрать свое любимое стихотворение и прочитать его на семинаре. Каждый семинар начинался с такого священнодействия: мы по кругу читали русские стихи. Это необходимо для того, чтобы не терять чувства родного языка, чтобы в речи не было, как сейчас случается, сплошных англицизмов или галлицизмов, канцеляризмов, сленга, если не сказать, фени, чтобы мы органически ощущали родную стихию языка.

— *Но переводчик ведь по мере необходимости должен вводить в родной язык нечто новое, обогащать свою культуру, не только ориентироваться на традицию.*

— Вы правы, должен, но лишь тогда, когда этого требует оригинал. Если переводчику встретился поэт-новатор, и в русской поэзии нет ничего похожего на его стиль, тогда и переводчику приходится стать новатором — разумеется, если это ему по силам.

— *А вы что-то придумывали, чему не было аналогов в русской культуре?*

— В цикле «Город в огнях» у Шарля Добжинского совершенно удивительная образность, ничего банального. Оригинальность рифмы. Неологизмы. И у Нуво, и у Арто, и у Лафорга! Вот, например, «Любовь» Антонена Арто:

Любовь? А смыть бы эту грязь
Парши наследственной и грозной
Покончить с этой вошью звездной
Жуирующей развалясь

Орган суровый ветролом
И море в гневном иступленьи
Лишь слабый отзвук по сравненью
С чудовищно нелепым сном

О Ней о нас ли о душе ль
Которой праздник предназначен
Открой нам кто здесь одурочен
О Подстрекатель гнусных шельм

Та что в моей постели спит
Со мною воздух разделяет
Быть может в кости разыграет
Моей души небесный скит.

По-моему, такого взгляда на любовь в русской литературе не было. Здесь новаторство, скорее, в подходе к теме. Если можно, прочитаю его же «Заключение мумии»:

Эти ноздри кожаные шторы
эти входы в кость туда где тьма
абсолюта, этих губ кайма
сморщенная словно сборки шторы

Это золото что в сновиденьях
жизнь дарит, твой ободрав хребет
эти очи два цветка поддельных
через них ты впитываешь свет

Мумия, и эти руки-спицы
рыщущие в полном животе
руки, чья чудовищная тень
обретает очертанья пиццы

Через смерть взыскующего чуда
через всех обрядов колеи
шум теней и золото сосуда
где чернеют потроха твои,

Я иду к тебе прорвав столетья
по сожженным жилам бытия
золото твое как боль моя
худший и надежнейший свидетель.

Бесполезно читать подряд, большими кусками огромные антологии, нужно остаться наедине с одним стихотворением, проникнуться его мыслью. В этом смысл чтения стихов, их нельзя читать помногу — теряется свежесть восприятия.

— *При переводе поэзии вы, как правило, далеко отходите от текста?*

— Напротив: я, как сказал бы тореадор, работаю близко к быку. Особенно это касается стихов, трудных для понимания. Ребус надо непременно разрешить, и результат должен быть живым, естественным, а не косноязычной невнятицей, которую нельзя или не хочется разгадывать. Я подхожу к тексту настолько близко, насколько позволяют законы русского языка. Это увлекательная задача и вопрос чести — я ведь люблю издания-билингвы, где у читателя есть возможность сравнить оригинал и перевод.

— *Отличается ли для вас подход к переводу поэзии и прозы?*

— Мне гораздо легче переводить стихи, здесь я как дома. Для меня проза должна хорошо звучать и не противоречить естественной русской интонации (разумеется, при соблюдении стилистических особенностей оригинала). Работая над прозаическим текстом, я каждую фразу пробую на слух. К переводу прозы я подхожу так же, как к переводу стихов, а поскольку проза гораздо «длиннее», работа оказывается страшно трудоёмкой. Но от прозы поэтов не отказываюсь, она для меня дополняет их образ, а потом они все-таки поэты — даже в прозе. Среди моих переводов

прозы — очерки Бодлера о лигтераторах (несколько статей об Эдгаре По, Эжезиппе Моро и других), проза Поля Верлена («Мои тюрьмы», «Мои больницы», новеллы), новеллы и эссе Жюль Лафорга, удивительная проза Теофиля де Вио и книга Андре Берри — роман-биография «Пьер Ронсар», сплошь пересыпанная стихами.

— *Вы работали больше по заказу или бывало по-разному?*

— И так, и этак, но когда не находила точек соприкосновения с автором, обычно от такого заказа отказывалась. Кроме того, мне часто предлагали тех авторов, к которым я неоднократно обращалась (Верлен, Бодлер, Мачадо, поэты XVII века).

— *А было, что вы уже приступили к работе, но что-то не получалось и вы от нее отказывались?*

— Не люблю сдаваться, уж если взялась, то добиваю до конца. Хотя что-то и не поддавалось, но редко. Удивительно у меня получилось с французским поэтом Шарлем Добжинским. Однажды Михаил Яснов сказал мне, что Добжинский собирается в Санкт-Петербург, и было бы хорошо, если бы за две недели, оставшиеся до его приезда, мы, переводчики, поднапряглись и что-то «выдали», чтобы поэт знал: его тут переводят, читают и любят. Я взяла его цикл «Город в огнях» — пять двадцатистрочных стихотворений, написанных новым для меня языком, с оригинальной, новаторской метафорикой. Я ломала голову и так, и сяк, и уже решила отказаться, чувствуя полную свою несостоятельность. И вдруг, откуда ни возьмись, пошло-поехало, и я залпом сделала весь цикл. Читала его на вечер Добжинского и с тех пор публикую его, где могу, а где не могу, публикуют редакторы, в частности, Евгений Витковский в «Строфах века» и в «Семи веках французской поэзии».

Кстати, Витковский по своему выбору нашел и взял некоторые мои переводы для этих фундаментальных антологий, что для меня очень лестно. Самой бы мне вряд ли пришло бы в голову обратиться к нему, потому что у меня правило: никому не навязываться. «Не рвусь я грудью в капитаны \ И не ползу в ассессора...». Но когда редактор сам меня приглашает, я ему, разумеется, благодарна, к тому же это объективная оценка моей работы со стороны.

— *На вашей страничке на сайте «Век перевода» написано, что на протяжении всей работы над первым изданием ("Строфы века — 2") мало кто так помог составителю, как Майя Квятковская.*

— Я много лет знаю наших ленинградских и петербургских переводчиков и слежу за их творчеством. Есть люди, которые ходят в секцию только для того, чтобы показать себя, или из практических соображений, им неинтересно, что делают их коллеги. Меня же всегда трогают талантливые переводы, есть у меня такая дурацкая черта, отмеченная моей близкой подругой Александрой Марковной Косс, ныне, увы, от нас ушедшей. Она как-то сказала по поводу моей восторженной реакции на чей-то перевод: «Перестань благоговеть!». Но меня всегда радует талантливая работа. Я стараюсь следить за тем, что делают мои коллеги, потому-то я и смогла сообщить Витковскому о хороших переводах, а также помогла связаться с теми из петербуржцев, адреса и телефоны которых были ему неизвестны.

— *Можно ли, по-вашему, говорить о петербургской и московской школе перевода советского времени, о разных подходах к тексту или это миф?*

— Перевод — товар штучный, он во многом зависит от личности переводчика, его подхода к работе, одарённости, вкуса. Я не стала бы делить русскую школу перевода по городам, тем более что талантливые переводчики встречаются не только в Москве и Петербурге. У всех нас изначально общие учителя — Пушкин, Жуковский... Что касается петербуржцев, нам действительно посчастливилось с учителями: Михаил Леонидович Лозинский, Александр Александрович Смирнов, Ефим Григорьевич Эткинд, Юрий Борисович Корнеев и многие другие. Эльга Львовна Линецкая — вообще наша пестунья, она всех нас «высидела», выболела, надеюсь, мы ее не слишком разочаровали. Кто еще? Татьяна Григорьевна Гнедич, Александра Марковна Косс, которая сама стала главой школы переводчиков-испанистов. Мы учились и у москвичей — у Льва Гинзбурга, Анатолия Гелескула, Мориса Ваксмахера и у многих других.

— *А у Вильгельма Левика?*

— Это блестящий мастер, и всё же я бы не назвала его в числе своих учителей. Когда я переводила книгу Андре Берри о Ронсаре, мне пришлось включать в книгу много стихов, переведённых разными переводчиками. И что я увидела? У Левика прекрасно, классически сделаны сонеты Ронсара, но к некоторым стихотворениям Левик подошёл небрежно, особенно к тем, где описывались подробности французской флоры и фауны. А естественные науки — это мой пунктик, и у Левика я нашла неправильности, противоречащие научным фактам, чего не могло быть у Ронсара — охотника, рыболова, знатока родной природы. Я приучена подходить к тексту строже. Вот кто всегда безукоризнен в переводах Ронсара, так это Роман Дубровкин. В книгу Берри я взяла все его работы, потому что это идеальные переводы.

О москвичах, которых люблю. Из редакторов я многим обязана Валерию Сергеевичу Столбову, очень ценю его как литературоведа и открывателя новых переводчиков. У меня было полное взаимопонимание с Олегом Стефановичем Лозевским. Хорошо мне работалось и с латино-американскими редакторами — Альбой Борисовной Шлейфер, Стеллой Александровной Шмидт, Лилианой Эдуардовной Бреверн. Из переводчиков высоко ценю Владимира Тихомирова. Он в 1970-е годы приезжал в Ленинград и разыскал меня, хотя мы не были ещё знакомы. Главной темой наших бесед были переводческие дела. Он много рассказывал о поэтах, которых переводил, говорил, что, например, поэзия Филиппинских островов, которую он изучал и переводил для себя, обогатила его собственную, оригинальную поэзию. Очень люблю переводы Анатолия Гелескула и Бориса Дубина, Марины Бородинской и Григория Кружкова, Натальи Ванханен и Натальи Астафьевой. В 1990-е годы в журнале «Иностранная литература» Гелескул напечатал свое исследование переводов одного стихотворения Верлена. В подборку вошел и мой перевод, что значит для меня очень много. У них у всех я чему-то училась, не только читала и «благоговела». Переводчик учится всю жизнь — у коллег и у каждого переводимого поэта, в его мир переводчик должен войти органично, пропустить через себя, иначе вообще нет смысла браться за перевод.

— *Есть у вас напечатанные переводы, которыми вы недовольны, или подобные тексты вы не публиковали?*

— Была выпущена такая книжечка — португальская современная поэзия, ее составлял португальский коммунист, включил туда даже «Гимн демократической молодежи». Морис Николаевич Ваксмахер хотел было взять в том БВЛ несколько

моих переводов из этой книги. Один из них мне показался особенно плохим, я попросила его не печатать, и Морис Николаевич исполнил мою просьбу.

— *Французский язык у вас любимый?*

— Это мой основной язык, в нем я как рыба в воде. Сейчас могу сказать, что как бы ни был труден французский текст, я в нем, пожалуй, всегда разберусь, хотя зарекаться нельзя.

— *Давайте поговорим про ваши переводы с английского.*

— Вряд ли они стоят отдельного разговора: их слишком мало. Изначально они были вызваны любовью к Эдгару По. Чтобы там о нем ни писали, я считаю его прямым предшественником символистов, а таинственное в поэзии всегда меня привлекает. Эдгара По я переводила для серии «Сокровища мировой лирики», сборник редактировал Борис Борисович Томашевский. Борис Борисович был очень благожелательным редактором, тем не менее, у него находились замечания, я всегда к ним прислушивалась и, думаю, это пошло на пользу дела: эти мои переводы многократно перепечатаются. Взятая я как-то за поэзию Дилана Томаса. Что касается зыбкости, туманности, интуитивности, герметичности стиха — этот поэт даст любому сто очков вперед. Работалось трудно, но то, что мне показалось удачным, как и переводы из Эдгара По, я поместила в своём сборнике избранных переводов «На языке души». Также считаю своей удачей переводы из Данте Габриэля Россетти.

— *Вы уже несколько раз упоминали редакторов, с которыми работали. Какие вам встречались редакторы? Они были для вас полезны, бесполезны или даже вредны?*

— Редакторы мне встречались самые разные, но по большей части благожелательные и профессионально опытные. Лучшими редакторами оказывались те, кто сами были переводчиками: Э.Л. Линецкая, Ю.Б. Корнеев, Н.П. Снеткова, А.М. Косс и другие.

— *Все ли они владели языком оригинала?*

— Не всегда, но в таком случае они либо доверяли переводчику — по работе видно, профессионал он или нет — либо прибегали к консультации специалистов. Замечаний обычно бывало немного, с чем-то соглашалась, а с чем-то — нет. Свою позицию всегда отстаивала аргументированно — ссылками на оригинал, словари, аналогичное словоупотребление у Пушкина или у других русских классиков.

Нина Павловна Снеткова принимала все мои переводы. Конечно, когда у нее были замечания, я с ними считалась. Не всегда это было что-то конкретное. Однажды она сказала: «Майечка, этот перевод мне чем-то не нравится, сама не пойму, чем, но попробуйте сделать с ним что-нибудь еще». Я ещё раз всё осмыслила, кое-что поправила, и перевод был принят. Всякая доработка предполагает, что переводчик ещё раз внимательно продумает все особенности текста, критически проштудирует все, что сделал. Практика показывает, что перевод почти всегда можно улучшить, было бы желание.

— *Вы довольны книгой «На языке души», где собраны ваши избранные переводы лирики?*

— Поскольку я её сама составляла, может ли быть иначе? Правда, мне жаль, что я туда не включила слишком длинные, но поэтически значительные вещи, та-

кие, например, как переложение Камознсом псалма «На реках Вавилонских сидели мы и плакали» — стихи на триста шестьдесят строк, впоследствии я включила эту вещь в свой сборник «Poesias ibéricas» или терцины Леконта де Лиля «Виноградник Навуфея», тоже вариации на библейские мотивы.

— *У вас много неопубликованного? Книга де Вио, к сожалению, не издана.*

— Она входит в план издательства «Наука». В книгу включена и проза Теофиля де Вио, совершенно удивительная: в ней, как в зерне, скрыты будущие пути развития французской прозы. Для этой книги я перевела также отрывок из «Гротесков» Теофиля Готье, посвященный де Вио. Неопубликованных стихотворных переводов у меня мало (за исключением того же Теофиля де Вио). С прозой мне повезло меньше: остался в столе замечательный роман Лириан де Гиньябод «Десислава». Мне его предложил «Северо-Запад», но печатать не стал, хотя и выплатил шестьдесят процентов гонорара. «Десиславу» я предлагала во многие издательства, но безуспешно. Книга написана от лица болгарского князя, жившего на рубеже XIV-XV веков. Это исторический роман-путешествие, к тому же тут и роковая красавица, и ненависть, и предательство, и описание характера и обычаев различных народов Балканского полуострова и Малой Азии. Остаётся в столе сказочная повесть Реми Лорейяра «Карлик Фред и великан Маго» — поэтичная, филозофская и очень добрая, с забавными фантастическими персонажами, которые вполне могли бы стать любимцами маленьких читателей.

— *Какие авторы или тексты оказались самыми сложными для вас?*

— Очень труден бывает Верлен. С ним вообще удивительно: то он возьмет тебя за шкуру и усадит за стол, и ты только записываешь неведомо откуда взявшиеся строки, а иногда очень возмущает. Миша Яснов просил меня перевести несколько стихотворений из поздних сборников Верлена, где он далек от своих классических вещей, от *Romances sans paroles*. В предложенных стихах меня отталкивали физиологические подробности. Одно дело переводить эротику, замешанную на влечении, страсти, другое — изображать то, что переходит за грань пристойности. От некоторых стихов я отказалась, хотя это и дорогой для меня Верлен.

— *Цитата из рецензии Михаила Яснова на вашу книгу: «Майя Квятковская — «классический» переводчик поэзии. «Классический» — так же в двойном значении: природный талант, вкус и такт многократно помножены на блестящую выучку и ежедневный труд...». Если вы переводите, то каждый день?*

— Стараюсь, но переводить каждый день вредно для дела: теряешь способность видеть то, что делаешь, необходимо давать себе передышку на несколько дней, чтобы пополнились внутренние источники. После такого перерыва смотришь свежими глазами и на текст, и на свой перевод.

— *Есть ли стихотворение или автор, которого бы вам хотелось перевести?*

— Есть коротенькие стихи Поля Фора, всю жизнь пытаюсь их перевести. Если можно, я вам их прочитаю:

Il faut nous aimer sur terre,
Il faut nous aimer vivants,
Ne crois pas au cimetiere,
Il faut nous aimer avant,

Ma poussière et ta poussière
Deviendront le jouet des vents.

Даю грубый подстрочник:

Нас надо любить на земле,
Нас надо любить живыми
Не верь в кладбище,
Нас надо любить до того,
Мой прах и твой прах
Станут игрушкой ветров.

Здесь все слова единственные, а ведь перевод — искусство потерь и замен, а тут ничего ничем не заменишь, и ничего нельзя потерять.

Охотно перевожу символистов, лирику. С превеликим удовольствием сижу в XVII веке: неожиданно мне выпала новая радость, я нашла новый для себя жанр и перевела девятнадцать басен Лафонтена для его двухтомника, выпущенного издательством «Вита Нова». Переводить надо было интенсивно — «ни дня без строчки». На девятнадцатой басне я выдохлась. Казалось, больше не возьмусь за Лафонтена и вообще за басню. Но тут мне предложили перевести басни для книги «Французская басня в переводах русских поэтов». Книгу подготовило издательство «Радуга», это билингва, туда входят произведения как известных, так и неизвестных баснописцев, начиная с XVI по XX век. Книга вышла в 2009 году, и меня особенно радует то, что это билингва: мне не стыдно поставить рядом с оригиналом свой перевод. Да и с Лафонтеном я рассталась ненадолго: совместно с Владимиром Васильевым мы сделали книгу Лафонтена, в которую вошли его озорные стихотворные сказки, мадригалы, эпиграфы и эпиграммы. Книга вышла в издательстве «Азбука», СПб, 2012, под названием одной из новелл — «Влюблённая куртизанка».

В заключение скажу, что, хотя знать языки чрезвычайно важно, но одного знания языков недостаточно. Можно хорошо знать языки и при этом быть плохим переводчиком. А вот без свободного владения родным языком — во всём его богатстве — и без особого, чисто переводческого литературного дара не существует и художественного перевода.

Примечание

¹ Имеется в виду книга Елены Калашниковой «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками» (М.: Новое литературное обозрение, 2008).



Игорь Юдович

НЕЗНАКОМЫЙ РОНАЛЬД РЕЙГАН

*Консерватизм — это система идей, которые
используются людьми для защиты своих
социальных и политических институтов,
когда они подвергаются фундаментальной атаке.
Сэмюель Хантингтон*

Политическая и социальная жизнь США всегда была сложной и противоречивой. Я думаю, что по-другому не могло быть, учитывая сложившуюся конституционную систему, по которой определенный консенсус политического курса достигается только ожесточенной борьбой различных интересов, и учитывая то, что население страны в большой степени пополнялось и до сих пор пополняется за счет эмиграции людей различных культур. Тем не менее, примерно до середины 1960-х можно было определить рамки, внутри которых происходила «борьба интересов» и успешная ассимиляция эмигрантов. Само наличие общепринятых, хотя ни одним законодательным актом не утвержденных норм поведения и взаимодействия населения и власти, являлось важнейшей, фундаментальной основой социальной, экономической и политической жизни. И основой политической и социальной стабильности, за известным исключением Гражданской войны, возникшей из-за разногласия по практически одному единственному вопросу, который не удалось разрешить общим согласием. Эти рамки никогда не были жестко определены и исторически то сужались, то расширялись, но всегда ясно ощущались, признавались и даже были частично обозначены в известном американском «кредо». Можно с уверенностью сказать, что в течение длительного времени действительно существовал и соблюдался как народом, так и властью некий **«общественный договор»**, согласно которому можно было с достаточной степенью определенности прогнозировать дальнейшее развитие американского общества.

Основные составляющие «общественного договора» (в том числе включающего сложившиеся общественные институты, традиции и практику) между населением и управляющей политической и экономической элитой сформировались в основном к середине 19 века (хотя впервые частично были сформулированы Алексисом Токвилем еще в 1831 году) и включали в себя следующее:

- основополагающий английский язык;
- религиозность, основанная на диссидентском христианстве протестантских церквей (более поздний католицизм под влиянием традиций американского протестантизма сам превратился в католицизм, весьма отличный от мейнстрима Ватикана);
- индивидуализм и рабочая этика, основанные на идеях протестантизма;
- политическая культура отцов-основателей, республиканизм и «ограниченное государство»;

— главенство индивидуальных прав, в том числе, равных политических прав;

— абсолютное равенство всех перед законом.

Можно сказать, что легендарный «плавильный котел» в основном работал, переплавляя большинство иммигрантов в американцев уже в первом поколении, окончательно — во втором.

В середине 1960-х в результате значительных социальных потрясений, травмы Вьетнамской войны и, особенно, после принятия *Civil Rights Act* Президентом Джонсоном и его декларации «*Великого Общества*», практически все эти составляющие оказались подвергнуты «фундаментальной атаке». В американском обществе, в той его части, которая несправедливо получила название «либеральной» (хотя сегодня все чаще называется «прогрессивной»), в основном среди сторонников Демократической партии возникло, а затем и утвердилось мнение, что время «плавильного котла» закончилось и общество только выиграет если перейдет к модели «тарелки с салатом», где каждая этническая составляющая американской нации может, а по мнению многих — должна, существовать сама по себе. Уже в 1970-е возникло понятие мультикультурности и этнических предпочтений при приеме на работу, зачислении в университеты, карьерного продвижения. Постепенно, под давлением заинтересованных сторон, многие положения мультикультурности и этнических предложений нашли свое воплощение в законах страны.

Желающие узнать, кто, почему и каким образом участвует в атаке на фундаментальные представления, которые в основном сохранялись в течение 150 с лишним лет, могут обратиться ко множеству источников. Для начала я могу рекомендовать последнюю книгу недавно умершего Сэмюэля Хантингтона — «Кто мы?» (Who are We?), в которой он детальнейшим образом отвечает на заданные вопросы. Но в этих заметках я хочу рассказать о политическом лидере, который уже в 1970-х годах пытался противостоять новой, только зарождающейся тенденции в американской политической действительности, о человеке, который был, пожалуй, последним Президентом «старой эпохи».

Речь пойдет о Рональде Рейгане, сороковом Президенте Соединенных Штатов.



В конце 80-х, до эмиграции в США, Рональд Рейган однозначно воспринимался мной как выдающийся американский президент, человек и политик без сучка и задоринки. В Америке, после того как я стал немного понимать английский, читать газеты, разговаривать с «местными» и очень медленно постигать реалии американской жизни, к моему большому удивлению выяснилось, что отношение к Рейгану среди американцев далеко не однозначно положительное. Я тогда не очень понимал идеологическую крайне левую уникальность места моего жительства — Сан-Франциско, но во многом негативное отношение к 8 годам власти последнего, как многие считают, великого Президента (с 89-го президентом стал Буш-старший, но первые годы его президентства были прямым продолжением внутренней и внешней политической традиции Рейгана, так что можно сказать — более, чем к восьми годам), как стало ясно позже, далеко не ограничивалось нашим социалистическим городом. Хорошо помню, как разговорился со случайным русско-говорящим знакомым, доктором-психиатром из предыдущей волны эмиграции. Помню, с какой ненавистью он говорил о Рейгане, политика которого — *по его словам* — привела к закрытию психиатрических отделений в госпиталиях и к выброшенным на улицу тысячам больных, многие из которых просто опасны окружающим. «Посмотрите по сторонам, — говорил он, — в городе никогда не было столько бездомных. Большинство из них — больные люди, которые не могут существовать, тем более, быть безопасными для окружающих без постоянно принимаемых лекарств и надзора. Раньше за этим следили в госпиталиях, а кто следит сейчас?» Должен сказать, что и через двадцать с лишним лет после этого разговора, я чуть ли не ежедневно вижу, что по сути он прав. Правда, как и тогда, так и сейчас, я не знаю была в его словах *правда* в отношении именно Рейгана.

Со времени ухода Рейгана с политической арены прошло уже более четверти века, но на сегодняшний день мало кто сомневается, что он вошел в число трех «великих» президентов 20 века (может быть, не случайно, что все трое — Вильсон, ФДР и Рейган — были победителями трех главных войн прошедшего столетия). Споры об их роли в судьбе страны не стихают а, наоборот, становятся более ожесточенными с годами. Поэтому когда в *респектабельном про-еврейском*, известном своим *консервативным* взглядом американском журнале «Комментари», появилась заглавная статья «Если бы сегодня Рейган был жив, ему было бы 103 года: Как его понимать, и как наконец выйти из его тени» ('If Reagan were alive today, he would be 103 years old: How to understand him — and how to move behind him' by Henry Olsen and Peter Wehner. Commentary, November 2014), я не мог ее не прочесть.

И не пожалел.

Без сомнения — авторы знают свой предмет досконально.

Например, один из авторов — Питер Уэнер — работал в Администрации Рейгана, был важным сотрудником последующих республиканских администраций, в президентство Буша-младшего возглавлял специальный *Office of Strategic Initiatives*, где он, согласно ВИКИ, «генерировал политические идеи, был ответственным в Администрации во взаимоотношениях с американской интеллигенцией, публиковал важные «редакторские» тексты и эссе в главных американских газетах» и много другое.

Даже людям мало интересующимся политикой известно, что Рейган был человеком сложным и противоречивым. Но не это отличало его от других политиков. Известно, что он был человеком умным и добродетельным в старом смысле этого слова, но и эти качества не так уж редки среди политиков прошлого. Рейган

был политиком решительным, вспомним хотя бы решение уволить всех государственных авиадиспетчеров, ушедших на незаконную забастовку или результаты встречи с Горбачевым в Рейкьявике. Но решительные политики и президенты тоже встречаются достаточно часто.

В чем же было отличие или отличия Рейгана от других? Как относиться к этим отличиям сегодня? Могут ли нынешние консервативные политики следовать наследию Рейгана и нужно ли это сегодня?

Наконец, главное — что же такое “консерватизм” по Рейгану и можно ли на его основе «спасти» страну от непрекращающейся атаки на фундаментальные ценности прежних поколений американцев, конечно, при общем согласии (чего нет и в помине!) на то, что эти ценности представляют какую-либо ценность в начале 21 века?

Предлагаю читателям Портала мой слегка сокращенный перевод статьи, где авторы отвечают (пытаются ответить) на эти и другие не менее интересные вопросы.

Прямой перевод статьи я буду выделять кавычками.

* * *

Статья начинается с упоминания того, что в последнее время среди кандидатов на пост президента от Республиканской партии существует не просто «мода», но чуть ли не обязательное условие в своих основополагающих речах ссылаться на ту или иную составляющую политики Рейгана, выставляя себя его прямым наследником. Так Тэд Круз, говорит о, по его мнению, недостатках Рэнда Пола следующим образом: «Я уважаю Пола... Но я не согласен с ним в области внешней политики... Я думаю, что лидерство США во внешней политике является важнейшим фактором в мире... аналогично тому, как проводил свою политику Рейган». На что Рэнд Пол ответил так: «Я величайший сторонник Рейгана. Я полностью поддерживаю его мысль о необходимости сильной национальной обороны (наращивания военного строительства)». Аналогичная «перепалка» произошла между Полом и губернатором Техаса Риком Перри, а совсем недавно сенатор Марко Рубио подтвердил подтверждению следования курсу Рейгана большую часть своего важного «внешнеполитического» выступления.

Четыре возможных кандидата от Республиканской партии считали важным сослаться на роль и политический курс 40-го Президента, причем часто ссылаясь на чуть ли не противоположные положения этого курса.

Это не случайно. «Рональд Рейган остается, если не императором, то главным покровителем, подобно святому покровителю, Великой Старой Партии (американское название Республиканской партии — GOP, Great Old Party) американского консерватизма. Как Рэнд Пол сам сказал, слегка иронически, — «Каждый республиканец видит себя следующим Рональдом Рейганом».

Конечно, оставаться человеком и президентом, на которого постоянно ссылаются, много лучше, чем наоборот. Но слегка подозрительным является именно всеядность обращающихся к наследию Рейгана, упоминание его имени по любому поводу. Известно, что Рейган не был добрячком, удобным «и нашим и вашим», никогда не был сторонником политического курса, устраивающего всех. Гораздо менее известно, что он далеко не всегда поддерживал консервативные предложения, как в понятиях своего времени, так и нашего. «Но он привнес в политику достаточно ясную и определенно свою собственную философию, которая вместе с его не менее отличительными темпераментом и «упертостью» в отстаивании своих

принципов, создали действующую политическую систему для успешного утверждения американского консерватизма».

Рейган оставил после себя достаточное количество исторических документов в виде своих речей, обращений, письменных документов и, главное, дел в общественной сфере, для того, чтобы серьезные исследователи могли определить с достаточной ясностью «в чем были его принципы, за которые он мог сражаться до конца, в каких вопросах он мог пойти на компромисс с самим собой и в каких вопросах он мог пойти на компромисс даже со своими заклятыми противниками».

«Помочь увидеть «широкую картину» политического наследия Рейгана и этим помочь не только современным консерваторам, но и политикам других направлений, является целью данной статьи».

«За свои три десятилетия политической жизни бывший актер Рональд Рейган сыграл множество ролей: он был последовательно профсоюзным деятелем, представителем, а затем руководителем зарождающегося нового консервативного движения, двукратным губернатором Калифорнии, политиком, противостоящим президенту из своей собственной партии, наконец — Президентом США в течение восьми лет, который коренным образом изменил политическую обстановку как в Америке, так и во всем мире. Была в этом «повинна» его система ценностей, его жизненные принципы, политическая философия? Безусловно была, но в своей важнейшей сути ее не понимают даже самые искренние его обожатели.

Для начала скажем, что, возможно, самым главным для него была бескомпромиссная защита человеческой свободы, как правильно подчеркивают его сторонники... , но он никогда не был простым, классическим либертарианцем, пленником определенной доктрины.

Суть его мышления не только и не столько любовь к свободе, как бы сильна она в нем ни была, но что-то еще, что, возможно, лучше выражено в эпитафии на его могиле, где выбиты его собственные слова:

«Я глубочайше убежден в добродетельности каждого. В том, что правда в конце всегда восторжествует. И в том, что есть цель и смысл в жизни любого человека».

Для Рейгана чувство человеческого достоинства, чувство собственного достоинства *каждого* человека — а не просто свобода — являлись главным определяющим фактором его политической жизни».

В далеком 1957 году, выступая перед выпускниками *Eureka College*, университета, который когда-то он сам закончил, Рейган дал определение Холодной Войны следующим образом:

«... это просто борьба между теми из нас, кто верит в то, что человек имеет чувство собственного достоинства, священные права и возможность выбирать и влиять на свою собственную судьбу, и теми, кто в это не верит».

Для Рейгана чувство собственного достоинства каждого человека было важнейшим условием использования, «включения» в активное пользование философского принципа свободы человека: именно его возможности «выбирать и влиять на свою собственную судьбу».

Это, казалось бы, минимальное отличие было критически важным в его жизненной и политической философии. Свой собственный выбор отдельного человека: важный или не важный, героический или весьма скромный — нуждался в за-

щите, стоил защиты, был обязательным для защиты государством. Человеческая добродетель в самом общем смысле должна быть поддержана всеми силами.

В 1964 он писал в *National Review*:

“Консерватизм... видит свою цель в представительстве забытого американца — того простого человека, который ходит на работу, покупает страховку, платит за образование своих детей, не забывает материально помогать своей церкви и благотворительным организациям, и знает, что не существует таких вещей, как “бесплатный завтрак”.

Такой простой, ничем не выдающийся человек, обладающий, тем не менее, совершенно ясным чувством собственного достоинства, наличием добродетели, из которой такое чувство исходит, достоин прожить свою жизнь так, как он ее видит.

По его мнению, те же самые достоинства есть и у людей обделенных, неудачливых, по каким-то причинам выброшенных на обочину нормальной жизни. Проблему велфера Рейган видел не в том, что некоторые получают пособие от государства. “Я признаю без всяких сомнений и колебаний нашу обязанность помогать старикам, инвалидам и тем несчастным людям, которые по независящим от них причинам должны зависеть от других людей”.

Что Рейган категорически не принимал и презирал, это систему, которая «увекочивает нищету, заменяя зарплату постоянным пособием по безработице, таким образом разрушая в человеке уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства и самоуважение». Во втором калифорнийском инаугурационном обращении губернатор Рейган сказал, что предлагаемая им реформа велфера «максимализирует чувство собственного достоинства и спасет обездоленных».

Надо сказать, что мало кто понимал Рейгана даже тогда. Многие из его собственного окружения считали его романтиком или «чересчур сентиментальным». Например, Дэвид Стокман, глава бюджетного управления Белого Дома, жаловался, что для Рейгана «тяжелое состояние, проблемы простых людей стоят на первом месте». Но это было действительно так, он совершенно искренне считал заботу о «простых людях» главной обязанностью государства.

Доказательство такого подхода можно найти и в его отношении к предпринимательству, весьма отличному отношению, в сравнении с общепринятой желаемой экономической моделью консерваторов сегодняшнего дня. С 1979 по 1981 год во время самого жестокого экономического кризиса со времен Великой Депрессии во всех своих многочисленных выступлениях по поводу налогов и экономики он использовал слово «предприниматель» только один раз: в своем первом инаугурационном выступлении только что избранный Президент упомянул предпринимателей только в общем ряду, перечисляя рабочих заводов и фабрик, фермеров и простых клерков как «героев», которые — все — «имеют одинаковое право мечтать о героическом будущем».

В сокращении налогов Рейган видел прежде всего возможность каждого использовать заработанное трудом по своему усмотрению, а не «освобождение» предпринимателей от непосильного бремени. То же самое было причиной его постоянного внимания к дерегулированию отраслей экономики. «За исключением абсолютных необходимых случаев, государственное регулирование посягает на чувство человеческого достоинства, потому что «государство не может контролировать экономику без того, чтобы контролировать людей».

Несмотря на вышесказанное, отношение Рейгана и к идее свободного рынка было далеко не однозначным. Он считал и не один раз говорил о том, что экономи-

ческая база для каждого члена общества должна быть не ниже некоего минимального уровня. «В 1964 году он поддержал идею социального страхования (*Social Security*). В том же году, задолго до возникновения государственной медицинской страховки для бедных — *Medicare*, он заявил, что «никто в этой стране не должен быть лишен медицинского обслуживания только из-за того, что у него нет денег».

«Значит ли это, что он безоговорочно поддерживал программы Нового Курса и Великого Общества (программа Л. Джонсона)? Конечно, нет. Он считал, что большинство этих программ или подталкивают людей к вступлению в программы, которые слишком универсальны и не соответствуют нуждам и особенностям конкретных людей, или дают финансовую и социальную помощь людям, которые либо не нуждаются в ней, либо даже получают вред от нее. Хотя он никогда конкретно не сказал, каким образом он видит идеальную государственную программу помощи, но его конкретные дела в организации такой помощи говорят сами за себя.

Государственная помощь по Рейгану должна быть предоставлена только тем, кто в ней реально нуждается. Но этим людям должна быть предоставлена реальная помощь. Он часто подчеркивал, что разработанная программа в Калифорнии не только значительно уменьшила количество людей на велфер, но увеличила реальную помощь оставшимся в среднем на 43%. В то же время он всячески способствовал ликвидации программ помощи, людям и организациям, которые в ней не нуждались — вне зависимости от их дохода. Так он убрал субсидии Экспортно-Импортному банку и боролся за ликвидацию субсидий государственной ж-д компании «Амтрак», каждый пассажир которой обходился налогоплательщику в 35 долларов».

Рейган всегда подчеркивал, что в идеале к получателям государственной помощи надо подходить индивидуально. «Он никогда не считал *Social Security* и *Medicare* несправедливыми по своей сути или неконституционным проявлением государственной власти. Скорее он возражал против бездумного единообразия программ и в этой связи — «обязаловки». В результате, как он считал, большинство проигрывало, вступая в программы. Человек работающий всю жизнь до пенсионного возраста и получающий среднюю зарплату, по его мнению, значительно выиграл бы просто купив при выходе на пенсию *annuity*. Что касается *Medicare*, то его всегда раздражала обязательность программы и ее одинаковое покрытие расходов вне зависимости от нужд конкретного человека.

Но самым, пожалуй, характерным следствием взгляда Рейгана на главенство и первичность чувства собственного достоинства стало его отношение к миру за пределами Америки. Глубокая и бескомпромиссная оппозиция коммунизму советского типа выразилась для него в совершенно искреннем отношении к СССР, как к «империи зла», империи, в которой живущие в ней люди были использованы «в интересах государства», по воле государства, то есть, отношение к ним мало отличалось от отношения к рабам. «В отличие от Америки, которая призывала своих граждан прожить жизнь в спокойном величии (*quiet nobility*), и тем самым показала миру пример фундаментального принципа первичности гуманности, внимания к развитию человеческой личности, ее индивидуальности. «Зовите это мистицизмом, если хотите», — говорил Рейган; мистицизм или нет, но идея американского характера, идея миссии американцев (наиболее обще выраженная в «американском кредо», «американской исключительности» — в переводе на русский язык) в этом мире сопровождала Рейгана всю его жизнь и была в основе его философских ориентиров.

Из такого жизненного подхода вытекал его *предпочтение* правого направления в политике. Но *не всего* правого. Рейган неоднократно подчеркивал, что это не он оставил Демократическую партию, но это она после резкого смещения влево *оставила* его. В этом было объяснение того, что он никогда не отрицал своего согласия с *Новым Курсом* Рузвельта, того простого положения, что государство может честно и искренне определить — кто нуждается в помощи и помочь этим людям». Интересно, что он никогда не был сторонником известного тезиса об «упадке Америки», тем более — не считал, что население страны делится на производителей ценностей и их потребителей. «Для него все американцы были производителями (скорее, имеется в виду — «полезные члены общества») и каждый при определенных обстоятельствах мог оказаться среди потребителей, в числе вынужденных воспользоваться щедростью производителей».

«Среди главных политических характеристик Рейгана обычно упоминают его общественные обращения — светлые и оптимистичные, что несомненно. Но и другие качества были не менее важными. Одним из них была его неординарная храбрость. Сейчас большинство об этом забыло, особенно удобно об этом было забыть левым, которые буквально травили его своим яростным антагонизмом на всех фронтах. Вспомним, что обычно его называли «неинформированным тупицей» (или, как Кларк Клиффорд сказал — «лобезный балбес»), или же в ход шли слова «расист», «нагнетатель войны», «бездушный преследователь бедных» и прочие подобные эпитеты».

Несмотря на то, что подобная «критика» сопровождала все 8 лет его президентства, Рейган неуклонно следовал своему курсу, который в конце концов привел к падению «империи зла» и, благодаря «рейганомике», привел к возвращению роста благосостояния. Его экономические идеи оказались в 20-м столетии среди самых удачных при практическом осуществлении. Один из экономистов сказал, что они бросили вызов самой важной устоявшейся экономической догме со времен отказа от «классической экономики» в 1930-х.

«Очень важно, что несмотря на свою храбрость в следовании своим политическим амбициям, Рейган понимал суть политической борьбы в свободных странах и всегда ясно осознавал существующие ограничения в этой борьбе. Как бывший актер, он духом чувствовал важность общественного мнения. Конечно, в своей политической карьере он стремился к созданию «правильного», выгодного ему общественного мнения, но он был достаточным реалистом для того, чтобы, с одной стороны, своевременно оказаться в глазах народа глашатаем общественного мнения, с другой, очень осторожно тратить свой политический капитал на борьбу с ним. В частности, он не считал нужным тратить свои усилия на такие достаточно популярные (среди республиканцев) меры, как отмена важных составляющих *Нового Курса* и *Великого Общества*.

Многие помнят его знаменитое «Опять вы за старое!» (There you go again!) в ответе на одно из высказываний Картера в их единственных дебатах 1980 года. Но мало кто помнит контекст, в котором прозвучала эта реплика. Рейган в своем ответе Картеру хотел показать абсолютно ясно, что он не против *Medicare*.

Полностью эта часть дебатов прозвучала следующим образом:

Картер:

— Губернатор Рейган, как всем известно, начал свою политическую карьеру агитируя широкие массы нашей страны против *Medicare*. Сейчас у нас появилась возможность пойти еще дальше... создать национальную систему здравоохране-

ния, важную для американского народа. Губернатор Рейган опять, что для него типично, выступает против.

Рейган:

Опять вы за старое! Когда я выступал против *Medicare* перед Конгрессом лежал другой законопроект на ту же тему. Я был за этот второй законопроект, который по моему мнению был лучше для наших пенсионеров и который предоставил бы им лучшее медицинское обслуживание, чем тот, который был принят. Я никогда в принципе не был против предоставления медобслуживания для пенсионеров.

Интересно, что после своей победы Рейган никогда даже не думал об отмене *Medicare*".

Еще одной характерной чертой Рейгана было отсутствие какого-либо радикализма в предлагаемых им программах. Он был очень осторожен в том, чтобы не "травматизировать" сложившееся американское общество. Его программы предполагали взгляд в будущее, но переход из настоящего в будущее должен был быть медленным. "Он был последователем консерватизма Эдмунда Берка, а не якобинцев". За это он подвергался непрерывным нападкам крайне правых из своей же партии (далее идут примеры) за "отсутствие принципов", слишком большую податливость, продажность истэблшменту и даже был обвинен в том, что он "полезный идиот советской пропаганды". Отвечая на подобные обвинения "истинно верующих", он говорил одному из своих помощников: "Они предпочитают остаться голодными и прыгнуть с обрыва с развевающимся флагом в руках, вместо того, чтобы получить сегодня полбуханки хлеба и вернуться за оставшейся половиной после".

Авторы статьи напоминают, что сегодня консервативное движение насыщено подобными людьми, которые тем не менее называют себя наследниками Рейгана. Но надо обязательно отметить, что Рейган всегда стремился к максимально возможному разнообразию консервативных идей, считая, что таким образом влияние и значение Республиканской партии будет более всеобхватывающим в американском обществе. Поэтому он никогда не призывал к изгнанию из партии людей, с мнением которых он был не согласен.

Стоит напомнить, что Рейган по своей натуре не был легко возбудимым и крайне редко злился по-настоящему. Хотя иногда для пущего эффекта во время выступлений он имитировал крайнее раздражение, «но в общем он был человеком миролюбивым, что означает не только быть в мире с самим собой, но и в мире со своим местом в окружающей жизни. Никто никогда близко не сталкивался с «темными» сторонами его поведения, например, с ревностью в отношении успехов других или отмщением обидчикам, как это было в случае Никсона, или с колючей снисходительностью, как у Обамы». Его помощники часто были удивлены его доброжелательным отношением к своим политическим противникам. Один из помощников, в дальнейшем губернатор Индианы, вспоминает слова Рейгана: «Помни, у нас нет врагов, только оппоненты».

Такой подход был очень привлекателен для избирателей и, безусловно, способствовал решению многих американцев голосовать за Рейгана.

«Но все же, как 40-й Президент в действительности руководил страной: как человек несгибаемых убеждений, или как человек склонный к компромиссам, более податливый, чем большинство его сторонников может признать? Честный ответ — и так и этак.

Первое наиболее очевидно в области национальной безопасности». Его массивное увеличение оборонного бюджета после многих лет безразличия Картера к этому вопросу было встречено в штыки не только демократами, но и большинством республиканцев. Если демократы были против из чисто идеологических соображений, то республиканцы — из экономических. Для них резкое увеличение бюджета на оборону было непереносимым расточительством. Когда он предложил крайне противоречивую программу «Звездных войн», то среди противников были не просто влиятельные республиканцы, но и многие члены его собственной Администрации, включая Госсекретаря и человека ответственного за ведение переговоров о разоружении с СССР. Отказ отменить Стратегическую Оборонную Инициативу («Звездные войны») в обмен на полномасштабный контроль за вооружением — переговоры с Горбачевым в Рейкьявике 1986 года — был принят очень плохо дома в Соединенных Штатах. Журнал «Таймс» вышел с обложкой, на которой портреты Рейгана и Горбачева сопровождались словами — «Звездные войны потопили переговоры».

Действительность была много хуже. Размещение Першингов-2 и других ракетных систем в Западной Европе было предпринято несмотря на массовые протесты, давление на Конгресс с целью помочь анти-марксистским повстанцам в Никарагуа было с яростью встречено демократами и очень холодно — республиканцами. А вспомним, какая реакция была на само название Советского Союза «империей зла»? «Нью-Йорк Таймс» писала об этой фразе как об «отвратительной» и «примитивной». Все, кому не лень, обвиняли Рейгана в объявлении «священной войны». На что он однажды спокойно ответил, что его речь об «империи зла» была сделана со злым умыслом».

Подобная история произошла и с сокращением «подходящего» налога в 1981 году — на 23% в среднем (к концу его срока налог был еще раз значительно уменьшен). Несмотря на резко возросший дефицит бюджета и жестокую экономическую депрессию, несмотря на огромное давление со стороны общества и Конгресса, Рейган отказался отступить. А когда он приказал уволить более 11 тысяч авиадиспетчеров, нарушивших закон о забастовке, то эхо этого решения было слышно даже в Кремле.

Но Рейган проявлял свою волю и неуступчивость далеко не всегда и не во всех вопросах. В 1982 году был принят Закон о выравнивании налогового давления и об ответственности за невыплату налогов. В этом противоречивом Законе (*TEFRA*) не были изменены налоговые «сетки» (уменьшенные в 1981-м), но результатом было фактическое увеличение налогов для многих слоев населения. На следующий год он не сопротивлялся принятию закона об увеличении налога на социальное страхование, при резком увеличении такого налога для работающих на себя. В крайне остром для нации обсуждении в Конгрессе вопроса об абортах Рейган предпочел вообще не участвовать в дискуссии. «И, наконец, не забудем, что в 1986 он подписал закон о предоставлении легального статуса 3-м миллионам нелегальных эмигрантов».

В традиционных для республиканцев обещаниях сократить расходы на федеральные программы и уменьшить количество бюрократии достижения Рейгана были весьма скромными. Он, например, первоначально принял решение сократить пенсии людям, вышедшим на пенсию раньше положенного срока, но вскоре отменил свое решение. В целом, за годы его президентства расходы федерального

правительства в отношении к Общему Национальному Продукту были порядка 22%, что было выше расходов любого мирного президентства в истории. До Обамы.

Авторы пишут, что, как большинство консерваторов, Рейган был против «Большого Правительства» скорее абстрактно, чем на деле. Причина была ясной и определенной — отсутствие желания у избирателей. И, конечно, выигрыв в борьбе за уменьшение «государства» одновременно резко уменьшил бы шансы Рейгана победить в областях, к которым у него было предпочтение или где требовались значительные государственные вложения (и где были значительные шансы на победу): дерегуляция, уменьшение налоговой сетки, строительство вооруженных сил.

Те же противоречия можно проследить в подборе Рейганом своих советников и выдвижении людей. Среди его ближайших советников был прагматик Джеймс Бейкер и консервативный Эдвин Миз. Его директорами по связи с «внешним миром» были Дэвид Герджен и Пэтрик Бьюкканен, люди с весьма отличными друг от друга взглядами. Членами кабинета были Хеклер и Беннетт, которых трудно назвать единомышленниками. В Верховный суд Рейган выдвинул с одной стороны — Антонина Скалиа, с другой — Сандру О'Коннор. В предвыборной компании он основательно помогал самым либеральным республиканцам Перси и Пэквуду. И даже в свои вице-президенты в компании 1976 года Рейган выбрал, пожалуй, одного из самых «левых» среди «правых» — сенатора Ричарда Швейкера из Пеннсилваннии.

Безусловно, Рейган, как любой человек, делал ошибки. «Иран-контра» — самая известная, но не единственная. Но если подвести общий результат, то вырисовывается картина, на которой мы видим «человека, твердо стоящего на ногах своей философии, упорного в достижении поставленной им цели, эффективного в достижении цели... и гораздо более гибкого в своих способах и методах достижения цели, чем большинство его сторонников могут сегодня признать».

В политике, как и в жизни, важен результат. Несмотря на свою гибкость Рейган добился очень многого, при этом, во всяком случае, внешне не стараясь добиться слишком многого. В конце своего второго срока у него состоялся интересный и характерный разговор с Ньютом Гингричем, молодым и нетерпеливым. Гингрич упрекал Рейгана в том, что слишком много осталось не сделанным. Рейган положил руку на плечо Гингрича и сказал: «Согласен. Но у вас будет возможность сделать остальное после моего ухода».

«Многое было оставлено сделать «после», но надо благодарить Бога, что гораздо меньше, чем до него».

«После всего остается вопрос — чему может научить Рейган современных республиканцев, как так называемый истэблшмент, так и низовых активистов?»

В отношении истэблшмента урок может быть следующий. Во-первых, хотя Рейган никогда не был фаворитом истэблшмента (для них он был слишком консервативный\радикальный\пугающий рядовых американцев..), он не был против истэблшмента. Его задачей было не уничтожение элиты, но перетягивание истэблшмента на свою сторону, на сторону своих идей и взглядов. Второе, как результат влияния самого Рейгана, сегодняшняя элита гораздо консервативнее, чем была при нем. Но республиканская элита и сегодня может много почерпнуть из «исторического» Рейгана: из его интеллектуальной смелости и желания опровергнуть принятые догмы, из его легкой и добродушной уверенности, с которой он относился к критике элитной прессы, из его упорства, с которым он формировал общественное мнение, вместо того, чтобы следовать ему, из его искреннего желания

и возможности идентифицировать себя с тяжело живущими простыми американцами». Самое, наверно, важное: республиканский истеблишмент не должен забывать, что Рейган понимал свое избрание не как «отбывание номера», но как возможность изменить мир вокруг него. Он не терял времени представить народу страны свои планы, был очень энергичен в их исполнении и не боялся брать на себя риск.

Что касается активистов с «низа», к тому, что мы сегодня зовем «*Чайной партией*» и ее сторонников, то им Рейган тоже может дать урок — о важности благоразумия и осторожности, о том, что предмет борьбы надо выбирать мудро, и не относиться к каждому поединку как будто это «есть наш последний и решительный бой».

Действительно великая партия должна стремиться к увеличению своих сторонников, а не к крестовым походам за чистоту рядов. Настоящий лидер не должен «в принципе» отвергать политические переговоры и компромисс, не должен быть безумно упрямым. Карьера Рейгана показывает это со всей очевидностью. «Однажды, во времена губернаторства в Калифорнии, он вслух объявил, что его ноги забетонированы и он не сдвинется с места в вопросе штатного налога. Но после изменения своей позиции он пошутил: «Тот шум, что вы слышите, это треск бетона вокруг моих ног».

Еще одним важным уроком может быть предупреждение Рейгана об опасности абстрактных теорий. В своей речи 1977 года перед делегатами *Conservative Political Action Conference* он сказал: «Идеология вызывает в моем мозгу картину жесткого, иррационального следования абстрактной теории перед лицом реальности... Я считаю, что такой подход полностью противоположен принципиальному консерватизму. Если в мире существует какая-либо политическая философия свободная от рабского следования абстракции, то это американский консерватизм».

Очень важен один практический урок современным консерваторам в области внутренней политики. «Даже в случае предложения сокращения социальных программ... он не забывал подчеркивать, что обязанностью государства является защита и поддержка тех, кто не может позаботиться о себе. При этом он не забывал утверждать и убеждать, что его предложение полезно рядовому американцу. И он никогда не позволял себе сказать, как это сплошь и рядом делают сегодня, что благосостояние среднего американца «подымается или опускается» в зависимости от действий энергичных капиталистов (предпринимателей), которые изначально лучше остальных. Сама такая идея была чужда Рейгану». (Здесь, на мой взгляд, прозвучало сильное опровержение идей Айн Рэнд, которая и сегодня кумир для многих республиканцев).

«Рейган понимал, что его политические противники сделают все возможное, чтобы указать на его якобы отсутствие сострадания; поэтому он всегда шел на опережение, говоря о здравом смысле и общей добродетели, не уставая объяснять причину, по которой его внутренний политический курс способствует увеличению общего благосостояния».

С удивлением глядя на все большую популярность Рейгана, на его успех в придании американской политике нового направления, его противники из Демократической партии нашли оригинальный способ дискредитации Рейгана: они стали его хвалить... но с характерными оговорками. Успех Президента они объясняли его приветливостью, выдающейся способностью к общению («*great communicator*») — в этом по их мнению была причина, по которой «он с такой легкостью «пудрил мозги» большинству рядовых американцев, гипнотизировал их настолько, что они не осознавали ужаса жизни в рейгановской Америке. Для левых очевидный факт — то, что Рейган был чрезвычайно популярным человеком — был непереносим и должен был объяснен любым способом».

Действительно, Рейган был очень умелым собеседником, можно сказать — проповедником, и это имело значение. Но его влияние, сохраняющееся через 50 лет после первого вступления на стезю политики, не может быть объяснено его фотогеничностью, сопутствующей удачей и, уж конечно, не тем, как хорошо он говорил. Главное не то — как он говорил, главное — он говорил правду. Главное заключалось в том, что его идеи — о главенстве свободы и конституционного самоуправления, о важности военной силы и политической ясности в мировой политике, и прежде всего — о незаменимой роли простой добродетели и морального характера в свободном обществе — все эти идеи находили понимание и глубокую поддержку. В американском политическом контексте все эти идеи являются консервативными идеями: Рейган был успешным Президентом потому, что успешными были его идеи».

В 2016 году пройдут девятые президентские выборы после первой победы Рейгана в 1980 году. Республиканцы, безусловно, по делу и без будут вспоминать Рейгана и ссылаться на него с поистине суеверным постоянством. По-прежнему в глазах республиканцев Рейган обладает почти мистической силой. Поэтому очень важно вспомнить, что сороковой Президент был человеком многоплановым, не однозначным и для любого кандидата представлять его в качестве идеала и образца только для подчеркивания своей собственной точки зрения будет политической ошибкой. Гораздо полезнее понять реального Рейгана, у которого и сегодня республиканцы могут научиться очень многому.

«Сегодня республиканцы должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в ловушку, в которую попали демократы с их отношением к ФДР и Кеннеди. Не легко жить в чей-либо тени, тем более в тени великих. Рейган был силен еще и тем, что он разработал свой политический курс, который был вызовом реально существующему положению дел в мире: высокая инфляция, высокий банковский процент, агрессивное наступление Советского Союза. Рейган был политиком своего времени и оказался правым именно для своего момента времени, встречая вызовы жизни, какой она была в действительности. К сожалению, некоторые его эпигоны ведут себя так, как будто на дворе 1980 год. Рейган, консервативный политик как мало кто до него и после, никогда не позволял себе оказаться пленником прошлого.

Поэтому, подобно Рейгану, республиканский кандидат, особенно кандидат в президенты, должен жестко определить свою политическую программу «сегодня и здесь». Кандидат или кандидаты должны показать, что они живут сегодня, в реальностях сегодняшней жизни, в контакте с реальными избирателями и понимают проблемы сегодняшнего избирателя, показать, что они готовы к вызовам нашего времени.

Если они смогут это сделать, республиканцы на деле продемонстрируют, что они действительно заучили главный урок величайшего политика и величайшего президента своей партии со времен Линкольна».

На этом заканчивается статья «Если бы сегодня Рейган был жив, ему было бы 103 года: Как его понимать, и как наконец выйти из его тени». Почему я решил перевести ее и опубликовать на Портале, посвященном еврейской истории? Одна из причин очевидна: от политики американской Администрации зависит слишком

много в жизни Израиля. От того, каким будет следующий президент, от его взглядов, его жизненной философии все еще слишком много зависит именно за пределами США, может быть, больше, чем внутри страны. Основной задачей перевода чужой статьи было напомнить читателям о Президенте, который придерживался взглядов и политического курса весьма отличного от нынешнего Президента. Очень хорошо это отличие сформулировал Борис Дынин в частном письме:

“Юмор политического сознания Англии и Америки заключается в том, что “академики” (почти что синоним с “левыми”) не жаловали Рейгана и Тэтчер, но признают их одними из самых важных потому, что несмотря на всю критику (иной раз с основанием) их конкретных политических шагов, они оба **возродили (на время?) дух тех «общественных договоров», что сделали их страны великими в Новое время** (выделено мной, И. Ю.).

Атака на фундаментальные ценности, на которых такое длительное время был основан “общественный договор”, принесла свои гнилые плоды. Очень маловероятно, что любой новый президент США сможет остановить этот процесс, даже Рейган не смог это сделать. Он, однако, смог хотя бы на время “возродить... дух” страны, напомнить о фундаменте, на котором совершенно нормально время от времени добавлять новые этажи, перестраивать старые, заниматься текущим ремонтом. Надо только помнить, что фундамент может выдержать только то, что он может выдержать. Отцы-основатели заложили под здание “Соединенные Штаты Америки” прекрасный, прочный и с запасом на будущее фундамент. Но не для строительства отдельных, не связанных друг с другом, не приспособленных для жизни конструкций- времянок. И не для строительства воздушных замков. Эти замки смотрятся нелепо на *этом* основании.

Другой причиной было вызвать дискуссию по вопросу, который совершенно не был поднят в статье — об отношении Администрации Рейгана и самого Президента к Израилю, Ближнему Востоку и арабо-израильским проблемам. То, что в основном про-еврейском журнале США, в статье о Рейгане об этом даже не вспомнили, вызывает некоторое удивление и подозрение в том, что это произошло не случайно.

Действительно, отношение Рейгана к Израилю и его положению в ближневосточном конфликте было, мягко говоря, неоднозначным. Частично это объясняется не сложившимися личными отношениями Рейгана и израильского премьера Бегина. Частично — сильнейшим про-арабским, про-нефтяным лобби в Госдепартаменте и Минобороны. Частично — вынужденным втягиванием США в Ливанскую войну, что только мешало Рейгану в проведении в жизнь его главных политических идей. При этих явно негативных причинах противоречивого американского курса в отношении к Израилю тем не менее, на мой взгляд, нельзя забывать главное:

При Рейгане был впервые официально формализован план стратегической кооперации Пентагона и АОИ, что привело к плановому постоянному усилению технических возможностей израильской армии;

Американский посол в ООН, Джейн Киркпатрик была яростной защитницей израильских интересов (за исключением голосования США, поддержавшего обвинение Израиля после атаки на атомный реактор в Ираке);

Рейган неизменно боролся за эмиграцию советских евреев и был человеком, давшим добро Операции «Иешуа» — срочной эвакуации эфиопских евреев;

Предоставил 1.5 миллиарда экстренной экономической помощи (без всяких условий) в 1985 году, когда Израиль находился в своем самом сильном экономическом кризисе;

При Рейгане Израиль стал получать ежегодно 3 миллиарда помощи, с 1985 в виде грантов;

Был заключен Договор о свободной торговле с Израилем, внутри которого Израиль получил доступ к серьезным американским технологиям в области космоса, медицины, электроники.

В общем и целом, в памяти народов США и Израиля Рейган остался в памяти как «про-израильский» Президент, может быть — самый про-израильский наряду с Линдоном Джонсоном. Президент, который несмотря на всю свою противоречивую политику всегда твердо поставил Израиль по «эту» сторону в борьбе добра и зла. Президент, который совершенно искренне сказал: «Израиль и Америка всегда будут на стороне друг друга».

Я хотел бы надеяться, что Америка в 2016 выберет себе Президента, который окажется не только про-израильским во внешней политике, но будет противостоять «фундаментальной атаке» американского прогрессивизма, Президента, который хотя бы частично сможет вернуть в жизнь американского общества идеи истинного консерватизма, консерватизма Рейгана. Потому что Америка все еще слишком важная страна и для тех, кто не живет в ней, а внутренний политический курс, жизненная философия Президента все еще значительно влияют на жизнь не только внутри страны, но и снаружи.



Владимир Бабицкий

НЕ ПОВЕРИТЕ!

Памятные встречи на далёких маршрутах

На край света за туманом

В 1966 году руководство Всесоюзного общества «Знание» решило поощрить нескольких организаторов устного журнала «Молодость», проходившего в легендарном главном зале лектория на площади Дзержинского, поездкой на Дальний Восток по маршруту Камчатка-Сахалин.

Ежемесячные выпуски журнала имели огромный успех. Лишние билеты спрашивали часто от метро «Площадь Революции». Каждый журнал включал обычно политическую, научную и художественную 'страницы'. На страницах журнала выступали с новыми стихами молодые поэты, Михаил Жванецкий впервые читал публично свои сочинения под названием: «То, что не вошло в спектакли Аркадия Райкина», Михаил Ромм рассказал о работе над фильмом «Обыкновенный фашизм».

Артисты недавно созданного Театра на Таганке показали отрывки из своей первой постановки — «Добрый человек из Сезуана». Политические темы с аудиторией обсуждали Лен Карпинский и Григорий Померанц, ведущие учёные рассказывали о последних достижениях.

В качестве приложения к журналу был организован первый открытый концерт 'бардовской' песни с участием Владимира Высоцкого, Михаила Анчарова, Ады Якушевой, ленинградцев: Александра Городничского, Евгения Клячкина. Юрия Кукина и других восходящих звёзд, ставший заметной вехой в истории этого жанра.

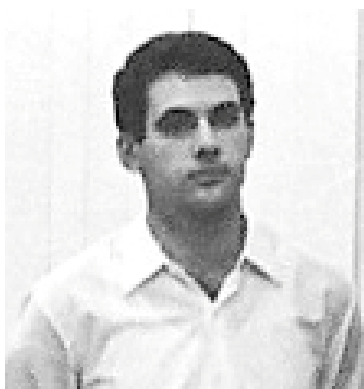
Здесь уже не обошлось без конной милиции. Концерт продолжался без перерыва до часу ночи. Наверное, даже в истории этого зала, видевшего выступления Маяковского, Есенина, такого ещё не было. Слегка опоздавшую Аду Якушеву толпа передавала к входу на руках вместе с гитарой — подойти было невозможно. Зал был заполнен до предела: стояли, прислонившись, у стен, сидели на лестницах в проходах.

Инициатива организации этих мероприятий исходила от референта общества, Лёни Когана, собравшего вокруг себя группу молодых энтузиастов, среди которых оказался мой приятель, Юлий Галкин. Они привлекли меня к созданию научных страниц журнала.

Журнал был одним из последних ярких проблесков быстро замерзающей 'оттепели' — начавшегося было после смерти Сталина культурного возрождения 50-60-х годов.

В поездку на Дальний Восток включили обаятельного, остроумного и популярного ведущего журнала и моего школьного друга — Льва Асновича и меня. Для придания нашей группе 'надёжного политического статуса' к нам подсоединили ещё молодого человека, представившегося как сотрудник Института обще-

ственных наук при ЦК КПСС, кандидат философских наук Игорь Петров. Как нам рассказали организаторы, незадолго до этого он вернулся из Соединённых Штатов.



Лев Аснович — ведущий устных журналов «Молодость» в Политехническом музее

Предполагалось проведение нескольких лекционных выпусков устного журнала. При этом Игорь должен был отвечать за политическую страницу, я — за научно-техническую. Лёва выразил готовность комментировать последние спортивные новости, которыми он очень интересовался, хотя его основным профессиональным занятием были исследования и разработка электроизоляционных материалов.

В администрации общества «Знание» нам объяснили, что поскольку наши лекции будут проходить в пограничной зоне, они, согласно стандартной процедуре, подали запрос в управление пограничных войск на выдачу разрешения на наше пребывание там.

Вскоре нас известили, что разрешение пришло, и мы получили в Обществе проездные документы и сопровождающее письмо, подписанное Начальником политического управления Главного Управления Пограничных Войск КГБ при СМ СССР генерал-майором Г.И. Заболотным. В письме предлагалось оказывать нам содействие в проведении лекционной работы.

Плохо разбираясь во всех этих военных бюрократических распоряжениях, мы восприняли письмо генерала как простое разрешение на перемещения в пограничных районах, недооценив поначалу его административную силу.

В своих лекциях я предполагал рассказывать о достижениях и перспективах кибернетики. В Обществе меня снабдили кассетой с широкоплёночным фильмом о некоторых впечатляющих автоматических системах. Кроме того, мой шеф в Институте, Арон Ефимович Кобринский, дал мне материалы о разработанном в Лаборатории и нашумевшим на весь мир протезе предплечья, управляемого биотоками мозга, известном как 'биорука'.

В начале августа 1966 года мы вылетели из аэропорта «Внуково» в Петропавловск-Камчатский. Прямых рейсов в то время не было и, пролетев восемь часов, приземлились в Хабаровске, пересев там после ночёвки в гостинице на другой самолет, следовавший по маршруту Хабаровск-Петропавловск.

Ещё три часа полёта и наш самолёт приземляется в Петропавловске. Камчатка встретила нас туманом и прохладой, что, как мы поняли потом, характерно для этих мест даже летом.

Сразу же у трапа самолёта нас проверили пограничники, потребовавшие разрешение на въезд в пограничную зону. Мы предъявили письмо генерала и нас отвели в небольшую комнату ожиданий, сказав, что за нами приедет машина пограничников. Вскоре появился военный автомобиль типа 'джип'. Приехавший офицер, сообщил нам, что он доставит нас в гостиницу, а на следующий день за нами приедут из пограничного отряда.

Гостиница представляла собой деревянное двухэтажное строение простейшей конструкции и нам выдали ключи от номеров. Решили не терять времени после размещения отправиться на осмотр Петропавловска. Бросив свои вещи, я направился к двери и услышал в этот момент громкий женский крик: «Бичи дерутся!».

Что это значит, я узнал позже благодаря нашумевшему роману Георгия Владимова «Три минуты молчания», увлекательному и правдивому повествованию о матросских нравах [1], одной из последних публикаций «Нового мира» А. Твардовского.

Бичи — это вернувшиеся из многомесячных заграничных плаваний матросы рыболовческих судов, списавшиеся на берег и дорвавшиеся до спиртного и поджидавших их девиц. Я высочил в холл и быстро подошёл к широкому окну. Внизу около ресторана происходила массовая и жестокая драка, одетых в необычно яркие заграничные куртки мужчин. Поначалу она походила на голливудскую постановку, однако вид льющейся из носов крови, размазываемой по этим дорогам и непривычным для нас одеждам, отрезвил мои впечатления.

Краем глаза я заметил, что с другой стороны коридора ко мне быстро приблизился высокий мужчина, также привлеченный диким зрелищем, происходящего на улице. Я поднял глаза и оторопел. Рядом со мной стоял один из крупнейших мировых физиков XX века, легендарный 'атомный шпион' из английского атомного центра Харуэлл, а ныне советский академик, Бруно Понтекорво.

Я узнал его по многочисленным фотографиям из газет: от мощной кампании после таинственного исчезновения всей семьи во время отпуска в Швеции и неожиданного открытого появления перед журналистами, спустя несколько лет в Советском Союзе, до последующих почётных наградений.

Ошеломлённый этой встречей и ещё не веря до конца случившемуся, я не нашёл ничего умнее спросить: «Вы — Бруно Максимович Понтекорво?!»

— Да, — подтвердил он.

— А что Вы тут делаете?

Двое мужчин подошли к нам.

— Вот с коллегами решили посмотреть эти места, — сообщил он мне с тяжёлым итальянским акцентом. — Хотим посетить Долину гейзеров.

Опустив взгляд, я увидел что 'коллеги' имели совершенно одинаковую 'служебную' обувь.

— А Вы что тут уже были? — спросил я.

— Нет, это моя первая поездка по стране. А Вы, что тут делаете?

— Я тут с группой лекторов. Мы приехали из Москвы.

— У меня тоже здесь запланирована лекция, — сообщил Бруно Максимович. — А Вы собираетесь в Долину гейзеров?

— Туда ведь можно пройти только пешим походом. У нас не получается по времени. Нам ещё надо лететь на Сахалин, — объяснил я.

— Мы тоже собираемся потом на Сахалин. Может быть ещё встретимся. Мы приветливо распрощались, пожелав друг другу успеха. Драка внизу прекратилась из-за появления милиции.

Лёва и Игорь, стоя в стороне, наблюдали за моим общением с Понтекорво, не слыша разговора.

— Кто это был? — спросили они. Я решил заинтриговать их.

— Не поверите! Это человек-легенда, которому хотели бы задать вопросы разведки и полиция многих основных стран мира. Однако любая из этих стран мечтала бы задействовать его для своих нужд.

Мои спутники смотрели на меня с удивлением и недоверием. Я больше не мог их мучить: «Это был великий итальянский физик, Бруно Понтекорво!»

Жаль, что у меня не было камеры зафиксировать их лица.

Мы вышли на улицу, живо обсуждая поразительную встречу. Более невероятное знакомство здесь трудно было придумать. Напомню читателю, что в 1936 году Бруно Понтекорво, работая в Риме, в группе Энрико Ферми, стал соавтором открытия эффекта замедления нейтронов, приводящего, как показало последующее развитие физики, к делению ядер урана и цепной ядерной реакции.

В последующие годы он обогатил ядерную физику серией ключевых открытий, сделав основополагающий вклад в нейтринную физику. Надо было заехать в эту глушь 'на краю света', чтобы встретить выдающегося итальянского физика, фундаментально повлиявшего на развитие современной мировой истории!

Однако до настоящего 'Края света', как потом оказалось, мы пока ещё не добрались. Это ещё предстояло сделать.

Прогулка по городу не заняла много времени. Ряды деревянных домов сменялись случайно разбросанными упрощёнными панельными новостройками. Главным украшением были открывавшиеся под разными углами виды слегка дымящихся вдали вулканов. Не оставили равнодушными, конечно, и памятники Вигусу Берингу и Жану Франсуа Лаперузу. От этих имён веяло романтикой прочитанных в детстве книг.

Пройдя унылое городское однообразие, вышли на берег Авачинской бухты и буквально разинули рты от открывшейся панорамы. Огромная акватория губы, поблескивала оттенками антрацитового цвета из-за большой глубины и нависающих над заливом тяжёлых туч. Говорили, что она способна, вместить одновременно все флоты мира. Края бухты красиво обрамлялась суровыми почти чёрными скалистыми горами, поднимающимися несколькими рядами к окрашенной уже тёмно-голубыми цветами цепочке вулканов. В расщелинах вулканов белели снежные полосы, над вершинами клубились то ли вулканический дым, то ли зацепившиеся облака.

Насладившись видами и осмотрев порт, направились в местное отделение общества «Знание», которое, как обычно в провинции, находилось в одном здании с Горкомом КПСС.

Представитель Общества согласовала с нами программу нашего выступления, намеченного на следующий день, и, поговорив с кем-то по телефону, предложила зайти к секретарю горкома.

Явившись перед начальством, мы подтолкнули вперёд Игоря, представившегося по своей традиционной формуле — научный сотрудник Института общественных Наук при ЦК КПСС. Это явно произвело впечатление, и в дальнейшей беседе секретарь горкома обращался к нему, изредка поглядывая из вежливости в нашу сторону.

После краткого ознакомления с нашими планами, он начал обсуждать с Игорем изданное месяц назад постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению борьбы с преступностью». Сразу стало ясно, что что-то очень волновало хозяина кабинета.

— Понимаете, Игорь Иванович, мы, конечно, провели обсуждение постановления в рабочих коллективах, но в порту произошло неожиданное. Бригадир такелажников заявил, что по поводу запрета сквернословия на работе есть сомнения, по тому, как если не матюгнёшься, то ничего же тяжёлого не поднимаешь. Это встретило всеобщее одобрение, и они записали в решении собрания, что если для дела, то матюгаться можно.

Секретарь вопросительно и испуганно посмотрел на Игоря. Такое отклонение от линии партии было чрезвычайным событием в этих кругах. Игорь держался с предельной серьёзностью.

— Конечно, иначе они ведь не могут поднять больших тяжестей, а это важный участок работы, — рассудил он.

— Это как бы часть технологии, — поддержал я, — а она ведь не обязательно должна быть абсолютно чистой во всех звеньях, важно качество конечного производственного результата.

В результате убедительной поддержки из Института при ЦК КПСС, на лице секретаря горькома появилась усталая улыбка облегчения после перенесённого нервного стресса. Беседа вскоре закончилась, и он проводил нас до двери, пожелав успешной поездки.

Смеялись уже на улице, часто потом повторяя в поездке, что если для дела, то можно.

Я рассказал моим спутникам похожую историю, случившуюся со мной незадолго до этого во время зимней научной командировки. В густо набитом пассажирами дребезжащем старом автобусе, следующим из Новосибирска в Академгородок, я был плотно прижат к какому-то сильно подвыпившему рабочему. Дыша на меня водочным перегаром, он объяснял мне заплетающимся языком причину своего опьянения.

— Ты ведь грамотный человек, ты поймёшь, — повторял он регулярно в качестве рефрена.

У меня практически не было выхода уклониться от обсуждения.

— Я такелажник и бригадир велел нам перенести памятник Ленину на новое место, — рассказывал он. — А как его тяжёлого взять — только один способ, ты ведь грамотный человек, ты поймёшь. Я цепляю верёвку за шею и тяну на себя вниз, а напарники берут его за ноги и тащим ногами вперёд, они спереди, а я сзади, держа за голову. Она ведь пустая, потому легче. Потом, опять за шею, поднимаем на новом месте.

— А бригадир сказал: «Как хотите, переносите, но верёвку на шею Ленина вешать нельзя». — Но ты же человек грамотный, ты понимаешь, что его же иначе не возьмёшь!

Я пытался представить себе другие варианты, действительно, с точки зрения механики, это был лучший.

— Ну вот, мы дождались, когда стемнеет, и сделали всё как надо, — продолжал он. — А кто-то донёс, и всю бригаду лишили месячной премии, вот и написались с горя с ребятами.

— Неплохо отделались, — подумал я тогда про себя.

— Поднятие и перенос тяжестей как-то слабо согласуется с линией партии, — прокомментировал Лёва. — Не те мобилизующие слова. Нужно вообще расширить лексикон в документах и лозунгах с помощью ненормативной лексики. Народу это понравится.

Он привёл несколько впечатляющих примеров, которые я не могу здесь цитировать. Игорь сдержанно хихикал, постепенно привыкая к нашим 'беспартийным' шуточкам.

На следующее утро за нами приехала машина из погранотряда и нас доставили к командиру. Увидев письмо генерала Заболотного, он сказал: «Это письмо у вас золотое. Вам здесь будут помогать все». Дальнейший ход событий подтвердил его слова.

Приезд гостей, как мы убедились в ходе поездки, является важным событием армейской жизни, в какой-то мере разбавляющим единообразную рутину уставных отношений в замкнутом кругу сослуживцев. Наше путешествие было окрашено интересными встречами, запоминающимися беседами и необычными впечатлениями от удивительных и часто закрытых мест, посещаемых в сопровождении гостеприимных хозяев, очень гордящихся этим своеобразием.

Природные особенности Дальнего Востока влекут романтические души, и мы постоянно встречали содержательных людей, сознательно отправившихся работать в эти сложные для жизни места.

В этот день нам была организована поездка в Паратунку, небольшой 'курортный' посёлок, расположенный в 70 км от Петропавловска. Он знаменит своими лечебными термальными водами, идущими прямо из недр. Небольшой открытый естественный бассейн, в который мы погрузились, был наполнен довольно горячей водой и множеством людей, и мы наслаждались этим природным чудом, окружённым прохладным по летним нормам воздухом. Интересно, что за счёт этих источников происходит круглогодичный экологически чистый обогрев домов в посёлке.

Вечером состоялся выпуск устного журнала «Молодость». Игорь рассказал о своих впечатлениях о недавней поездке в США с проживанием в американской семье, я — о перспективах кибернетики с показом фильмов. В заключение, Лёва прокомментировал только что закончившийся в Англии чемпионат мира по футболу, которым он очень интересовался.

Журнал вызвал большой интерес. Было много вопросов и нам преподнесли в подарок огромного камчатского краба, которого пришлось нести подмышкой, завёрнутым в газету. Мы с удовольствием употребили его на ужин со спиртом, привезённым Лёвой. Как истинный химик, он хорошо знал, что нужно брать в поездку.

На следующий день пограничники известили нас, что Игоря пригласили в какой-то морской штаб в городе, а меня с Лёвой в посёлок Советский — закрытую базу Тихоокеанского флота (ныне город Вилючинск). Это был наш последний день в Петропавловске. Наутро, пограничная машина должна была доставить нас в аэропорт Елизово на рейс в Южно-Сахалинск.

Явившись на пристань в назначенное время и предъявив документы встречавшему нас офицеру, мы были посажены в закрытый военный катер, начавший

пересекать Авачинскую бухту. После непродолжительной поездки катер пристыковался к охраняемому причалу посёлка Советский. Нас встречал ещё один морской офицер на военной машине с зашторенными окнами. Повторная проверка документов и машина двинулась в путь. Офицеры поддерживали вежливый разговор.

Наконец машина остановилась, и мы вышли около очень красивого большого пассажирского судна, отделанного внутри дорогами породами дерева. С такими судами мы встречались несколько раз за поездку. Говорили, что они были конфискованы после войны у Германии, но почему-то могли использоваться только во внутренних водах.

Недалеке, у причальной стенки, покачивались выстроенные в ряд подводные лодки. Нас провели в офицерскую кают-компанию, где нас тепло приветствовал контр-адмирал и группа офицеров. После небольшой беседы, нас посадили за красиво сервированный стол и угостили изысканным ужином. Каждая смеяна блюд происходила по команде адмирала, вызывавшего прислуживающего мичмана, который буквально вырастал из пола. Его фамилия была Дёжкин.

Адмирал рассказал нам о планах нашего приёма, рассчитанного на пару дней. Узнав, что уже вечером мы должны вернуться в Петропавловск, он был очень разочарован.

— Дёжкин, — скомандовал он, — приготовить машину и проводить гостей к последнему катеру на Петропавловск.

После ужина предполагалась встреча с моряками. Адмирал сообщил, что они только что вернулись с многодневных учений.

— Может быть им сейчас лучше отдохнуть, чем беседовать с лекторами, — засомневался я.

— Ну, что вы, увидеть людей в штатском и услышать нормальную человеческую речь будет для них лучшим отдыхом.

В сопровождении Дёжкина нас привели на какое-то большое военное судно, и мы спустились в кубрик, заполненный моряками. Они располагались на койках и в проходах и с интересом разглядывали нас. Представившись, я рассказал им, что мы не являемся профессиональными лекторами и кратко рассказал о работах нашей Лаборатории в области новых автоматических систем. Со всех сторон посыпалась вопросы. Стало ясно, что наши слушатели хорошо разбираются в технике и внимательно следят за популярными техническими журналами и инженерными новинками. Получился хороший содержательный разговор с обсуждением различных технических новшеств и перспектив.

В конце беседы появился Дёжкин, и мы попрощались с моряками. Дёжкин усадил нас в машину, назвал шофёру причал, к которому он нас должен доставить, и пожелал счастливого пути. Машина тронулась.

Сидя рядом с водителем, я заметил, что каждый раз при переключении передач в машине раздавался какой-то непредвиденный шум, даже треск.

— Что у вас с коробкой? — поинтересовался я.

— Какая-то проблема со второй передачей, — прокомментировал шофёр.

Мне показалось, что дело было не только в передаче. Проехав значительное расстояние, машина вдруг натужено чихнула несколько раз и остановилась. Из-под капота повалил дым.

Мы выскочили из машины. «Вам на причал вот туда», — махнул рукой водитель и куда-то исчез. Мы бросились бежать в направлении причала. Выбежав на деревянный настил, спросили у стоявшего часового: «Катер на Петропавловск ещё не уходил?»

— Он уже пару месяцев ходит с другого причала, — объяснил он.

— А это далеко?

— Нужна машина, иначе не успеете.

Мы опять выбежали на дорогу. На наше счастье, появилась какая-то штабная машина. Мы замахали руками, и она остановилась. Сидевшие в машине офицеры сразу пришли на помощь. Развернувшись, помчались к причалу, названному часовым. Выпустив нас прямо у прохода, они уехали. Мы выскочили на одинокий пустой причал. Вооружённый часовой подошёл к нам.

— Когда будет последний катер?

— Он уже ушёл, — сказал он. Теперь только утром.

Мы остались одни, в почти полной темноте, в этой пустынной сверхсекретной зоне, не зная, что делать и куда идти. Где-то вдалеке маячили какие-то унылые строения типа пакгаузов, освещаемые одиночными лампочками. Решили двигаться в направлении огней. При подходе к одному из одноэтажных зданий, практически лишенному окон, заметили, что у двери стоит вооружённый часовой.

Мы подошли к нему.

— Можно поговорить с дежурным офицером? — спросил я.

Часовой снял висящую на стене телефонную трубку и что-то доложил. Вскоре дверь за ним распахнулась, и появился морской офицер, пригласивший нас вовнутрь. Мы оказались в типичной дежурной комнате с установленной на столах аппаратурой. Я рассказал офицеру наши приключения.

— Да, не часто к нам приезжают лекторы из Москвы. Вот вчера в Петропавловске была интересная лекция по кибернетике, а меня начальство не отпустило.

— Ну вот, теперь я приехал к Вам сам, — объяснил я.

— Так это Вы и есть, — обрадовался он. — У меня столько вопросов!

Начался профессиональный разговор об автоматических системах, новых принципах управления, адаптации, последних публикациях. Он явно следил за литературой и знал работы многих коллег из Института автоматики и телемеханики, которые я тоже отслеживал. Я даже присутствовал на некоторых семинарах, где они первоначально докладывались.

Лёва, раскрыв рот, слушал наше деловое научное обсуждение в этом заброшенном месте на краю света.

Офицер буквально не мог оторваться от предмета разговора. Наконец, он решил сменить тему.

— Так, теперь расскажите, где вы были в Советском.

Мы объяснили, что нас доставили в машине с зашторенными окнами. Описали, как могли, судно, где проходил ужин.

— Понятно, — решил он и набрал какой-то телефон.

— У вас были сегодня лекторы из Москвы, — спросил он. На той стороне ответили отрицательно. Он положил трубку.

— Так, а еще что-нибудь вы запомнили? Может там стояли подводные лодки?

— Вроде бы да, — подтвердили мы.

— Тогда попробуем эту базу, — набрал он новый телефон.

— У вас были сегодня лекторы из Москвы, — спросил он. В трубке, по-видимому, сказали, что были и давно уехали.

— Никуда они не уехали, — услышали мы, — и находятся сейчас передо мной, в дежурной части. Он назвал свой номер.

Через некоторое время ему перезвонили.

— Сюда идёт за вами адмиральский катер. Он будет минут через пятнадцать.

Ему явно не хотелось нас отпускать, и он пошёл немного проводить нас. Мы опять вернулись на причал. Вскоре подошёл открытый катер, управляемый зашпанным Дёжкиным. Сзади сидел ещё один матрос.

Погрузились вовнутрь, взвыл мотор и катер понёсся через Авачинскую бухту, рассекая слабо переливающуюся под тёмным небом с крупными звёздами чёрную воду залива.

Неожиданно, безмолвная окружающая темнота засветилась множеством огней. Мы попали в пересечение прожекторов и ещё откуда-то замигали световые сигналы. Нас, по-видимому, спрашивали о причинах появления в бухте. Дёжкин начал что-то сигналить в ответ с помощью специального прожектора с регулируемыми створками.

Мы уже были на середине Авачинской губы. Вдруг наш мотор начал задыхаться и катер остановился. Наступила мертвая тишина. Мы плавно покачивались на лёгких волнах, освещённые прожекторами.

Дёжкин и матрос что-то просигналив, матерясь, склонились над двигателем. У нас с Лёвой уже не было сил даже удивляться. Такого стечения обстоятельств нарочно не придумаешь. Теперь главное, хотя бы успеть на утренний самолёт.

Провозившись значительное время, нашей команде удалось, наконец, запустить мотор. Стало ясно, что и ремонт моторов эффективен лишь с помощью ненормативной лексики. К Петропавловску подплыли уже на рассвете.

Прощаясь со сконфуженным Дёжкиным, я сказал: «Нам всем повезло, что сегодня не началась война. Мы бы очень плохо выглядели».

В последующие дни, просыпаясь, Лёва кричал: «Дёжкин!», пытаюсь повторить магию его выращивания из пола, однако, эффект был потерян.

Примчавшись в гостиницу, где нас уже разыскивали сопровождающие Игоря, мы едва успели собраться. Выехав через короткое время в аэропорт Елизово, уже летели вскоре в направлении Южно-Сахалинска.

Устроившись по прибытии в гостиницу, отправились в местное отделение общества «Знание». Наша лекция была назначена на четвёртый день нашего пребывания. Мы решили использовать имеющиеся до лекции дни для посещения Курильских островов.

Явившись в штаб морских пограничников и предъявив наше всеильное письмо, мы встретили весьма благоприятную реакцию на нашу просьбу. Нам сообщили, что через час из Корсакова отправляется тральщик на остров Шикотан, и, если мы захотим, они подождут нас. Согласившись, бросились на железнодорожную станцию и через короткое время уже сидели в поезде, ведомом паровозом-кувшинкой по оставшейся от японцев узкоколейке в направлении Корсакова.

Выгрузившись примерно через час в Корсакове, помчались в порт, расположенный недалеко. У причала стоял тральщик, и около него в шеренгу была выстроена команда в ожидании гостей. После приветствий и проверки наших документов, мы были приглашены на корабль, и он тут же отчалил.

Уже надвигался вечер, море оказалось довольно неспокойным, и наш корабль двигался в полном тумане управляемый с помощью навигационных приборов.

Команда оказывала нам максимум внимания, мы побывали на капитанском мостике. Сразу под ним располагался штурман, прокладывавший путь в направлении пролива Екатерины между островами Кунашир и Итуруп.

Поспав несколько часов на приготовленных для нас койках, опять появились рано утром на капитанском мостике, наблюдая приближение обрывающегося крутыми скалами в море сурового острова Шикотан. Это самый большой остров (протяженность 27 км) архипелага небольших островов Малой Курильской Гряды, отделённой Южно-Курильским проливом от Большой Курильской Гряды. Это уже был 'настоящий край света', обладающий, кстати, мысом с таким названием. Дальше на восток, через необъятный Тихий океан, была Америка.

Нам рассказали, что в окрестности Шикотана происходит основная добыча сайры, перерабатываемой на трёх рыбозаводах, расположенных по берегам. На время сайровой путины на остров свозят до шести тысяч работников, участвующих в переработке рыбы. Основное постоянное население острова — морские пограничники.

Спустившись на берег и попрощавшись с гостеприимной командой, двинулись по довольно грязной грунтовой дороге в направлении предполагаемого общежития. Мы двигались всё время вдоль океана, любуясь уходящими вверх густо зелёными сопками, красиво обрамлявшими небосклон.

По дороге нам всё время попадались стайки девушек, помогавших нам ориентироваться и усиленно приглашавших присоединиться к ним вечером. В качестве обязательной униформы на них были резиновые сапоги. Мы быстро поняли, что сапоги является необходимым средством передвижения по Шикотану.

Прягая между лужами, наконец, дошли до деревянного сруба, использовавшегося в качестве местной 'гостиницы' или лучше сказать общежития.

Первыми в небольшом вестибюле мы встретили симпатичную молодую пару. Они были одеты в яркие заграничные куртки и обязательные резиновые сапоги. Молодой человек, рассказал нам, что он только что списался с краболова, большого судна-завода, после полугодового плавания по всему миру. Девушка смотрела на него восхищёнными глазами.

— Вечером, в пять часов, у меня судно на материк, поеду в отпуск навестить родителей, — продолжал он.

— Во время плавания у нас строгий сухой закон. Может быть, у вас найдётся что-нибудь выпить? — почти умоляюще спросил он.

У нас ещё оставалась заполненная на треть бутылка спирта, и мы отдали её парню. Он был в восторге. Бросившись к стоящему в стороне большому туго набитому чемодану и распахнув его, он принялся щедро одарять нас. Каждый из нас получил по паре красивых заграничных носков. Было приятно, что можно так легко осчастливить симпатичного и доброго парня.

Устроившись в комнате общежития и попрощавшись с молодыми людьми, отправились осматривать остров. Была хорошая погода, на рыбозавод было появляться ещё рано, и мы решили подняться в сопки. Используя малозаметные тропинки среди буйной зелени, вскарабкались наверх и наслаждались видами океана и бьющихся о скалы волн открывавшимися в меняющихся ракурсах за каждым по-

воротом тропы. Мы были совершенно одни в этом прекрасном, суровом и пышущем плотными зарослями зелено-голубом безмолвии на краю света.

Отлично нагулявшись, спустились вниз и проследовали к уже открывшемуся рыбозаводу. Мы прошли в дирекцию и представились главному инженеру.

— Ну как вам наш 'необитаемый остров'? — спросил он, улыбаясь (кстати, именно на Шикотане снималась советская экранизация «Робинзона Крузо»). Мы с восторгом поделились впечатлениями от утренней прогулки. Инженер с тревогой посмотрел на нас.

— А что вас не предупредили, что в сопки ходить нельзя?

— Почему? — удивились мы.

— Там всё покрыто иприткой, растением, которое при соприкосновении с кожей причиняет тяжёлые, часто необратимые поражения.

Мы вздохнули с облегчением, кажется, бог нас миловал.

Нам показали 'завод'. Он представлял собой огромный зал со множеством столов, за которыми покрытые резиновыми фартуками женщины в резиновых сапогах ловко разделявали ножом сайру. Она поставлялась к рабочему месту вручную в плетёных корзинках. Каждую рыбку после чистки разрезали на три кусочка, которые складывали в открытые баночки.

Затем эти баночки после бланширования в специальных печах загружали вручную в единственную имеющуюся на заводе машину, которая закатывала банки крышками. Далее на банки наклеивались этикетки и их собирали в коробки для отправки в торговую сеть. Такая вот 'кибернетика'.

Инженер пригласил нас в столовую и угостил вкусным рыбным обедом с гарниром из морской капусты. За обедом он рассказал, что Шикотан — главное место для добычи сайры. Её ловят ночью на прожекторы. С помощью света, привлекающего косяк, рыбу заводят в невод.

Увидев наш интерес, он предложил договориться со знакомыми рыбаками взять нас на ночной лов.

Созвонившись с кем-то и условившись, он нарисовал нам план нахождения причала, куда мы должны были прибыть поздно вечером. Для надёжности, чтобы не опоздать, прогулялись до причала. День уже клонился к вечеру, и мы отправились в общежитие, чтобы отдохнуть, переодеться и приготовиться к ночному приключению.

Появившись в общежитии где-то около шести часов вечера, мы застали сцену, которая до сих пор стоит у меня перед глазами, вызывая острое чувство вины.

Посредигостиной, на полу, раскинув руки и ноги, лежал мертвецки пьяный краболов. У его изголовья валялась пустая бутылка, подаренная нами. Рядом, на столе лежал раскрытый чемодан. Он был абсолютно пуст. Девушка, конечно, 'испарилась'.

Мы осторожно переложили его на диван и накрыли, он никак не реагировал на наши действия, продолжая спать. Больше ему ничем помочь было нельзя.

В свою комнату возвращались, стараясь не смотреть друг на друга. Три 'гнилых интеллигента' оказались абсолютно не адекватны суровым реалиям дальневосточной жизни. Именно такие драмы будут описаны в романе Георгия Владимова, а мы, 'книжные романтики', оказались не способными разглядеть настоящую жизнь.

Ночной лов сайры производил феерическое зрелище. Мы наблюдали его с капитанского мостика. Небольшой рыболовецкий траулер, ослепительно сверкающий мощными прожекторами, барахтался среди волн во мраке окружающего оке-

ана и морозящего сверху дождя. Вдалеке поблескивали маленькими светящимися пятнами траулеры конкурентов.

В слепящем свете прожекторов на палубе интенсивно работала слаженная команда в ярких оранжевых робах. Освещаемая вдоль борта вода кишела рыбой, которую рыболовы черпали огромными сетчатыми мешками. Каждый раз, когда такой мешок поднимался с помощью механизмов из воды, он был наполнен до краёв шевелящейся сайрой. При открытии сетки рыба мощным потоком проваливалась в трюм, в специальные контейнеры.

Я поинтересовался у капитана, сколько они вылавливают за ночь.

— Набьем сколько можем, а утром поедем сдавать на завод. Желательно, быть в числе первых. Заводы имеют ограниченные мощности и всю рыбу могут не принять.

— И что вы тогда будете делать с оставшейся, — наивно поинтересовался я.

— Вывалим обратно в океан, — сказал он небрежно, — она уже дальше не годится.

— И что, вечером опять ловить заново?

— Ну да.

Никакой связи с заводами у рыболовов в то время не было, и, к их счастью, присутствия экологов вокруг тоже не наблюдалось.

В общезнание явились под утро. Нашего краболова уже не было. По сюжету Георгия Владимова, он должен был теперь отправиться наниматься в следующий многомесячный рейс на какое-то судно. Свидание с родными откладывалось на неопределённое время.

Нужно было подумать о возвращении на Сахалин. Нам сказали, что регулярного корабельного сообщения с Шикотана не существует. Мы отправились на стоянку морских пограничников. Появившись на базе, предъявили командиру драгоценное письмо.

Сделаем так, — объяснил он. — Наш торпедный катер отвезёт вас на остров Кунашир, а оттуда в Корсаков ходят регулярные суда.

Он вызвал кого-то по селектору. Появился красивый молодой офицер, оказавшийся капитаном торпедного катера. Его звали Владимир Шахрай.

— Отвезёшь москвичей заодно на Кунашир? — предложил командир.

— С удовольствием, — Владимир расплылся в улыбке. — Мы выходим на дежурство через два часа, — Жду вас на причале.

В назначенное время, торпедный катер, набрав большую скорость и задрив при этом нос, пулей вылетел в океан. Владимир познакомил нас с командой. Их было всего восемь человек. Сам он оказался ленинградцем, заядлым театралом и с интересом расспрашивал нас о московской культурной жизни, новых постановках, книжных новинках.

Команда заботилась о нас самым трогательным образом. Каждый придумывал свой способ облагодетельствовать нас. Кто-то принёс на капитанский мостик теплые одеяла, которыми мы закутались, другой матрос раздал нам по плитке шоколада, ещё один угостил кофе. Нам показали весь катер, несшийся с огромной скоростью. Недалеко, регулярно выпрыгивая из воды, мчались в параллель несколько дельфинов.

Владимир рассказал, что служебная функция его команды — охрана морской границы, иногда нарушаемой японскими рыбаками.

— Японцы считают меня грозой этого района и даже заочно приговорили к чему-то, — объяснил он, смеясь.

— И что вы делаете с нарушителями?

— Арестовываем и отводим в наши порты, а там с ними разбираются специалисты. Обычно, что-то конфискуют или штрафуют и потом отпускают.

Мы смотрели, раскрыв рты, на этого героя. Увидев наш интерес, он предложил:

— Хотите посмотреть японское судно?

— А что, это возможно?

— Да, только учтите, мы сейчас в нейтральных водах, поэтому я близко подшывать к ним не могу.

— А у вас не будет неприятностей от начальства? — поинтересовались мы.

— Я тут полный хозяин, — небрежно сообщил он и отдал распоряжение в рубку. — Штурман, дайте координаты ближайшего японского траулера.

Получив координаты, Владимир распорядился на смену курса, согласно координатам. Описав красивую дугу, катер помчался по новому направлению. Вскоре на горизонте замаячило японское судно. Приблизившись, на расстояние приличной видимости, Владимир остановил катер и вручил нам полевые бинокли. Мы с интересом прильнули к окулярам. На палубе траулера наблюдалась явная паника.

Дав нам насмотреться, Владимир опять дал команду полного хода, и катер, круто развернувшись, последовал на Кунашир.

Разглядеть японцев вблизи мне удалось лишь спустя сорок лет, будучи приглашённым уже из Англии в Токийский технологический институт в качестве визит-профессора.

На остров Кунашир прибыли в сумерках в сплошном тумане и тепло распрощались с Владимиром, обменявшись адресами и договорившись встретиться в Москве.

В порту прошли к пограничникам, и они соединили нас с заставой, откуда вскоре пришла за нами военная машина-джип. Шофёр понесся на большой скорости прямо по песчаной отмели вдоль океана и набежавших на наш путь волн, веером фонтанирующих из-под колёс. Остановившись около торчащей прямо из воды скалы, он махнул рукой в сторону одиноко стоящего на ней деревянного сруба, сказав, что там можно переночевать.

Мы вскарабкались наверх. Прямо под нами рокотали волны океанского прибоя. Мы вошли в дом. В прихожей на вешалках висели шинели с офицерскими погонами. В полной темноте начали на ощупь медленно продвигаться по комнатам, натываясь на многочисленные кровати, на которых спали пограничники. Кто-то из нас опрокинул стул, захрохотавший по полу. Никто из спящих не пошевелился. Наконец, обнаружили несколько застеленных кроватей и, раздевшись прямо на полу, повалились спать.

Наутро прибежавший вестовой пригласил нас к командиру отряда, и мы рассказали ему о своих планах. Связавшись с портом, он выяснил время отправления ближайшего судна в Корсаков. Это оказалось большое грузовое судно с несколькими пассажирскими каютами, и нам зарезервировали места в них. До отправления судна ещё было много времени и, покормив нас завтраком, хозяева посоветовали спуститься к океану.

Сбежав по тропинке вниз, мы обнаружили совершенно неземную картину. Узкая полоска песчаной отмели, на которую плавно набегали океанские волны, буквально кипела. Из земли вырывались струи пара, обволакивающие всё прибрежное пространство. В песке хлопала пузырями кипящая вода. Застава располагалась у подножия действующего вулкана Менделеева.

На воздухе было довольно прохладно, поэтому каждый из нас вырыл в песке небольшую яму в виде ванны. Она мгновенно наполнилась горячей водой. Разбавив её холодной водой набегавших океанских волн до приятной температуры, разделись и улеглись в блаженном наслаждении этим невероятным комфортом. Перед нами колыхался безбрежный холодный Тихий океан, а мы принимали горячие ванны, лежа в полном уединении на его берегу.

Напарившись, вернулись к нашим хозяевам. Они доставили нас в порт к указанному рейсу. Наши каюты оказались достаточно комфортабельными, и на следующий день мы появились в Корсакове. Пересадка на поезд и ещё через час мы, наконец, в Южно-Сахалинске.

Трудно себе представить объём и концентрацию уникальных впечатлений за эти три дня. Переполненные всем этим, выходим с вокзальной площади на прилегающую центральную улицу и буквально сталкиваемся с идущим навстречу Понтекорво. Он весь бурлит от эмоций.

— Я уже видел объявление о вашей лекции, — сообщает он. — Вы где-нибудь побывали за это время?

— Только что с Курильских островов, — бросаем в ответ.

— Это интересно?

— Да, очень, советуем побывать! А как ваше путешествие в Долину гейзеров?

— Фантастическое!

Перекинувшись ещё несколькими фразами, прощаемся как давние знакомые.

— Понтекорво, после Курил, — это уже крупный перебор, заключил Лёва при нашем полном молчаливом согласии.

Мы отправились в гостиницу. Там нашли записку, что нас ждут после обеда в редакции молодёжной газеты. Передохнув, появляемся в редакции в назначенное время. Главный редактор пригласил нас на интервью.

Мне кажется, Вы напрасно теряете время, — заметил я.

— Почему?

— Два часа назад на углу Вокзальной улицы и Коммунистического проспекта мы беседовали с Бруно Понтекорво.

— Что? — редактор смотрит с недоверием. Затем придя в себя, громко кричит, вызывая нескольких сотрудников. При их появлении даёт указание: «Берите фотографа и бегите, срочно ищите, у нас в городе Бруно Понтекорво!». Сотрудники убегают.

Редактор приступает к интервью.

— Вы у нас в этом году четвёртые, — объяснил он, — до вас были Кобзон, Магомаев и Цирк лилипутов.

Мы с Игорем многозначительно переглянулись, на Лёву в таких ситуациях лучше было не смотреть, рискуя потерять торжественность момента. Интервью заняло более часа.

На следующий день в городском театре состоялся выпуск устного журнала «Молодость». Не избалованная культурными событиями Сахалинская публика заполнила зал театра. Присутствовало много офицеров с нарядно одетыми жёнами. Мы постарались сделать вечер интересным, имея, тем более, теперь такого 'конкурента' как Бруно Понтекорво.



Бруно Понтекорво

Гостеприимные пограничники привезли нас на следующий день на свою заставу недалеко от Южно-Сахалинска. Прямо на берегу залива, окружённого голубыми сопками, нам была приготовлена свежая красная икра-пятиминутка. Её вынули при нас из двух огромных рыб, подаренных плававшими недалеко на небольшой шхуне рыбаками. Подержав её в солёной воде пять минут, хозяева поставили перед нами глубокую тарелку икры и раздали столовые ложки. Двух ложек оказалось достаточно для полного насыщения. Дальний Восток насытил воспоминаниями длиною в жизнь.

Частный хранитель государственного секрета

В 1966 году начальник отдела, в котором я работал, академик Иван Иванович Артоболевский, стал председателем Всесоюзного общества «Знание». Это было очень высокое общественное положение.

После памятной поездки по Дальнему Востоку, я мечтал как-нибудь продолжить свою отпускную активность в виде 'лектора по распространению знаний'. Иван Иванович, человек по натуре доброжелательный, поддержал мою инициативу. Правда, теперь я должен был путешествовать в одиночестве. Одну поездку по среднеазиатским республикам я уже осуществил.

В 1974 году, мне нужно было лететь по работе во Фрунзе (ныне Бишкек), и я попросил Общество дополнить мой маршрут посещением Пржевальска (теперь Каракол), чтобы увидеть заодно озеро Иссык-Куль.

Столица Киргизии оставила очень хорошее впечатление своей парково-зелёной благоустроенностью, ярким национальным колоритом, лишённым, в отличие от других среднеазиатских республик, сильного религиозного влияния, вкусной и оригинальной едой, гостеприимной публикой.

После выполнения своих служебных обязательств во Фрунзе, я поехал в Чолпон-Ату — живописный посёлок на берегу озера Иссык-Куль. Явившись в отделение общества «Знание», расположенном, как всегда, в одном здании с партийными ведомствами, я был принят каким-то функционером, давшим мне направление в общежитие, стоящее на берегу озера.

Вид на озеро был действительно необыкновенный! Простирающаяся во все стороны водяная гладь замыкалась на далёком противоположном берегу цепью гор, поднимающихся к хорошо видимым заснеженным вершинам Тянь-Шаня.

При входе в одноэтажное невзрачное общежитие меня встретила пожилая ключница. Прочитав моё направление, она пошла вдоль длинного коридора с расположенными по одну сторону комнатами. Я следовал за ней. Двери многих комнат были открыты, и я увидел, что они были плотно заполнены двухуровневыми нарами. В каждой из них помещалось до десятка спальных мест, большинство которых было занято обитателями. Небрежно окрашенные простой коричневой краской стены, двери и полы дополняли унылый вид этой 'вороньей слободки'.

Внутренне смирившись с этой безрадостной картиной своего предстоящего двухдневного существования здесь, особо контрастирующей с видом Иссык-Куля сразу при выходе, я подошёл вслед за ключницей к последней двери коридора. Провернув ключ в замке, она распахнула её, приглашая меня войти. Я буквально отпрянул от открывшегося взгляду интерьера.

Огромная, красиво декорированная комната была обставлена модной в то время полированной финской мебелью. Окна обрамлялись тяжёлыми бархатными занавесями, полы были покрыты яркими коврами. На стенах висело несколько оригинальных картин. Две хрустальные люстры и расставленный в серванте столовый хрусталь радужно поблескивали в солнечных лучах. Это был райкомовский номер в общежитии.

Женщина оставила мне ключ и удалилась. Я поспешил закрыть дверь. Мне было стыдно перед этими загнанными в соседние ночлежки людьми. Казалось, что увидев этот контраст, они, по справедливости, должны были бы расправиться со мной.

В комнате наискосок по дальним углам стояли две деревянные полированные кровати с красивыми покрывалами, и я занял одну из них.

Прислушавшись к отсутствию шагов в коридоре, я осторожно открыл дверь и вышел, тщательно заперев дверь за собой.

Лекций в Чолпон-Ате не предполагалось, и я настроился передохнуть после довольно напряжённой программы работы во Фрунзе. Приятно проведя день на берегу Иссык-Куля и осмотрев посёлок Чолпон-Ата, я вернулся в своё 'общежитие'.

Где-то часов в девять вечера раздался стук в дверь. Я открыл. В комнату решительно вошёл крепко сложенный седоватый мужчина, формально одетый в костюм с галстуком.

— Второй секретарь Пржевальского горкома, — представился он, назвав свою фамилию.

— Мне рассказали, что Вы приехали к нам из Москвы. Не возражаете, если я переночую тут с вами одну ночь.

— Буду рад, — улыбнулся я. — Его энергичные и располагающие манеры обещали интересное общение в этом заброшенном углу.

— Сейчас я организую чай, — начал распоряжаться он, выходя в коридор.

Через некоторое время появилась ключница с чайником и сервировала стол, достав из буфета красивый сервиз. Откуда-то появились какие-то сладости печенье.

Мой гость снял пиджак и повесил его в шкаф, пригласив меня к столу. Чувствовалось, что комната была ему хорошо знакома.

Ключница ушла, и мы начали чаёвничать, не спеша беседуя.

Он расспросил меня о моих научных занятиях и был поражён, когда я сообщил ему, что имею степень доктора наук.

— Приятно, что у нас такое новое молодое поколение, — искренне обрадовался он.

— А на Вашу молодость, наверное, пришлась война? — спросил я.

— Я был лётчиком, участвовал в боях за Сталинград. Получил ранение. После войны меня направили на партийную работу, — он почему-то погрузнел.

— Вы знаете куда?

Чувствовалось, что он хочет сообщить мне что-то важное.

— Я был парторгом строительства подводного туннеля через Татарский пролив, — мрачно сообщил он.

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материка. Я подскочил на стуле: «Но это же невозможно! Вот даже под Ламаншем никак не решатся строить! А тут после войны, в разорённой стране и в полном бездорожье?!»

— Все понимали, что это невозможно, но Сталин велел строить и никто возразить не мог. Работы шли полным ходом в обстановке полнейшей секретности. Работали многочисленные проектные институты, несколько десятков тысяч человек, освобожденных под строительство из ГУЛАГА, были направлены для осуществления проекта с обеих сторон. Все они трудились в тяжелейших условиях, хуже, чем в заключении. Завозилось огромное количество техники, специалистов. Как только Сталин умер, всё было тут же свёрнуто. Это спасло мне жизнь.

Во мне боролись смешанные чувства. Сидевший передо мной герой-фронтник, вспоминавший с перекошенным от боли лицом события более трагические, чем Сталинградская битва, вызывал полное доверие. Однако, то, что он рассказал, выглядело абсолютной фантазией.

Нужно сказать, что в моих лекционных путешествиях и вне академических общениях я несколько раз сталкивался с подобной откровенностью этих, в общем, очень осторожных людей из 'правящей элиты'. Царившая в их среде обстановка тотального доносительства, подсиживания и подхалимажа делала их совершенно закрытыми в искреннем общении между собой. Однако, естественная человеческая потребность поделиться несправедливостью царивших порядков вырывалась иногда наружу, когда они сталкивались с 'нормальными' людьми, которым могли довериться.

Однажды, например, я стал свидетелем совершенно уникального аргументированного обличения гнилости советской верхушки, со стороны человека, призванного быть 'опорой' режима. Мне позвонил домой наш новый знакомый, дальнево-

сточный морской офицер-пограничник Володя Шахрай, о котором я писал в предыдущем части. Он сказал, что возвращается с сослуживцем из санатория в Сочи и хочет навестить меня. Я пригласил их приехать в мою холостяцкую квартиру в Давыдково. Вскоре они появились, нагруженные бутылками вина и всяческой снедью.

Мы расположились на кухне, и я с интересом слушал их истории. Это были люди из совершенно другого, незнакомого мне мира. Им было что рассказать. Володя, лихой морской пограничник, уже успел за время нашего знакомства побывать во Вьетнаме (война была в самом разгаре!) и на Кубе в качестве военного советника. Его напарник сообщил, что работает в охране Брежнева.

Я поинтересовался, как он попал туда, и он прямо сказал, что был преподавателем техникума и его 'совратили' квартирой, в которой он очень нуждался, будучи семейным, и повышенной зарплатой.

По мере развития беседы их разговор с Володей всё более напоминал встречу пессимиста с оптимистом. Телохранитель Брежнева, не щадя красок, выражений и подробностей, объяснял оптимисту Володе всю глубину разложения советской верхушки и их окружения. Ему было очень важно откровенно поделиться наболевшим с надёжным Владимиром. На меня он не обращал внимания. Описываемая им картина деградации была абсолютно беспросветной. Разговор происходил ещё до Чехословацких событий 1968 года!

В результате откровения бывшего парторга строительства туннеля между Сахалином и материком, я стал обладателем государственного секрета, о котором никому рассказать не мог, по причине его полной невероятности. Любой из моих друзей высмеял бы мою наивность довериться фантазиям какого-то партийного функционера, выразив наверняка сомнение в его трезвости.

Мы улеглись спать. Наутро, мы попили чай, и мой новый знакомый пригласил меня поехать с ним на конный завод, который, как он сказал, славится на весь мир и недавно был продемонстрирован Брежневу.

Явившись туда, он представил меня главному инженеру, и отправился по своим делам, договорившись о встрече в Пржевальске.

Беседа с главным инженером неожиданно явилась откровением, вызванным, частично, моим полным незнанием предмета.

Для начала он сообщил, что завод основан в 20-х годах кавалеристом-будённовцем, героем Гражданской войны, Леонидом Львовичем Рапопортом. По инициативе Рапопорта была создана также в Чолпон-Ате уникальная многокилометровая аллея тополей, названная его именем.

На заводе разводят лошадей трёх основных пород: арабских чистокровных скакунов, высококровных и ахал текинцев. Чистокровные и ахал текинцы за всю прослеживаемую историю не имели скрещиваний с другими породами. Высококровные имели однажды межпородное скрещивание.

— А кто же основные потребители вашего продукта? — спросил я.

— Большая часть идёт за границу, но есть и отечественные покупатели, например, ипподромы.

— И кто победит, если эти три породы выпустить на соревнование?

Инженер посмотрел на меня снисходительно: «Это невозможно».

— Почему, — удивился я.

— Рысистость чистокровных английских скакунов отобрана многовековой селекцией и не имеет себе равных среди других пород. Их предки, ведущие свою линию от арабских жеребцов, многократно зарекомендовали себя на скачках.

— Значит, они имеют какие-то особые гены, которые могут быть потеряны при перекрёстном скрещивании?

— Конечно, — подтвердил он.

— Тогда зачем нужны все остальные породы?

— Чтобы проявить эти уникальные качества, — терпеливо разъяснял мне инженер, — нужно проделать огромную работу, организовать специальный уход и кормление, режим тренировок. К тому же чистокровные породы часто подвержены болезням. Да и в лучшем случае не все особи способны демонстрировать выдающиеся качества. Так что это очень дорогое удовольствие. Другие породы более дешёвые, устойчивые и используются для других целей.

— Короче говоря, таланты надо холить, лелеять и размножать только в среде соплеменников, а потом ещё подвергать тщательной селекции, чтобы они опять проявились, — обобщил я. — Но об этом ведь можно говорить разве что шёпотом. Хотя иногда история устраивает подобные эксперименты?!

— Про лошадей это написано в учебниках, — засмеялся инженер, — это наше руководство к действию.

Посещение закончилось показом красивых лошадок, свободно гулявших в просторных пастбищах.

На следующий день я посетил своего 'знакового' секретаря горкома в Пржевальске, и он направил меня в Педагогический институт, где я рассказал будущим преподавателям физики и математики о нелинейной динамике.

Уже после распада Советского Союза, история строительства туннеля под Татарским проливом получила полное подтверждение и теперь общедоступна в Интернете [2]. Я вынужден был хранить этот секрет, доверенный одним из руководителей строительства, в течение почти двух десятков лет.

Источники:

1. Г. Владимов, *Три минуты молчания*.
http://moderlib.ru/books/vladimov_g/tri_minuti_molchaniya/read/
2. А. Яковлев, *СТАЛИНСКИЕ СТРОЙКИ ГУЛАГа: Строительство туннеля через Татарский пролив*. <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/60390>



Дмитрий Бобышев
ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ
Трилогия
Книга первая. "Я здесь"

(продолжение. Начало в №12/2014 и сл.)

Вокруг диплома

Для своих дипломников Техноложка расщедрилась и предоставила свободное расписание — одну из тех свобод, ради которых Миха Красильников докручивал свой последний год в Мордовии. Нам она была, как обычно на Руси, дарована сверху.

Все равно жить приходилось центробежно, то есть убегая от самого себя в разные стороны: как всегда, за любовью, за подходящими образцами расчётов и чертежей к дипломному проекту, за музой и стихами, за поддержкою к тем, кто мог бы помочь, и — за разноцветной и всё время упархивающей прочь птичкой-удачей.

Первую, самую изнурительную и непрерывную гонку пришлось отложить: наконец стало не до любви. И что же? Такое отношение, оказывается, ей в самую пору! Вместо вечного профиля она поворачивает к тебе свой фас.

Да и дипломный проект тоже отнюдь не тайна за семью печатями: выбираешь тему, удобную для компиляций, и соединяешь несколько технических идей в одну, под которой можешь смело подписываться. Некоторые при этом модничают, современничают, а я учинил технологический анекдот, выбрав такую вот тавтологию: «Автоматическая линия для окраски банок для краски». Краска банок для краски — это же Хармс! Кроме того, в моём автомате применялся закон Архимеда как принцип действия: впихнутая в раствор банка вышпирала наверх еще 72 предварительно впихнутых туда банки — действуя весом выпертой ею краски! В общем, не проект, а символ прогресса...

Я взял в хранилище дипломный проект Дынника, с которого можно было списать часть расчёта, пошёл наверх и занял пустую аудиторию, запершись в ней изнутри. В тишине работа пошла споро. Премудрость отступала под напором неотягощённой знаниями сообразительности. В дверь постучали. Не желая открывать, я затаился.

— Дима, открой!

Это была Наташа. Как она узнала, где я? Надо же, пришла, чтобы только побыть со мной, принесла два сухих бутерброда.

— С чем это они?

— Куриные котлетки. Мама делала...

Как это она сумела так их пересушить? Из вежливости, из благодарности ем, как это делают благовоспитанные собаки, когда их угощают яблоком или какой-то иной малосъедобной дрянью. Впрочем, единственную конфету мы раздаем символически пополам.

Я часто бывал у Наташи на Тверской, где ещё витал призрак недавней утраты и где её отца, крупного научного специалиста и лауреата, они с матерью поминали в каждой второй фразе. В его кабинете находилось чучело оскаленного волка: в сидячем положении зверь был чуть ли не с «тёщеньку» ростом! Он казался одной из составляющих сложного многоугольника отношений, в которые я все более вовлекался.

Но меня увлекали и дружбы — вернее, сама идея дружбы, причём более всего — эстетически. Мне нравились плечистые мужчины с мрачноватым огнем в глазах и острым словом на языке, и мне нравилось быть одним из них, обедать вместе в шашлычной или где-нибудь, цедя пиво, оценивать нобелевскую речь Камю. С ними можно было даже крепко подраться — разумеется, без членовредительства, но так, чтобы и назавтра, потирая скулу, вспоминать о споре. Идеальным персонажем для таких отношений казался Генрих К., тот самый, кому я дал писать о Хемингуэе для газеты «Культура». Он и сейчас возник с этими воспоминаниями, ворошил старые бумаги, горячился по поводу гонений на свободу. Я горячился тоже, заседал с ним в пивбарах, принимал у себя, даже хаживал вместе с ним на концерты. С Натальей я его не знакомил, мне хватало и соперника-боксёра, чья фигура все более отходила на задний план, но к поэтессам я Генриха водил. Та старая заметка его была довольно дубовата, новыми идеями он не блистал, но необычайно остро переводил всё на политику. Чьё время это было — Хрущева? Ну, так поводов было предостаточно, и я однажды, досадуя, сказал, что ему было бы интересней с Косцинским, чем со мной. Он просто зажёгся, приступая ко мне с требованиями их познакомить, и я уже пожалел, что назвал это имя.

Вокруг Косцинского

То, что молодых литераторов тянуло к старшим, было не удивительно: они искали покровительства. Удивительным было другое — то, что кое-кто из них его находил.

Например, кто такой Назым Хикмет? Без труда, хотя и не без кривой усмешки, вспоминалось: сталинский лауреат, «прогрессивный» поэт, бежавший из турецкой тюрьмы, куда он был заключен за пламенную любовь к товарищу Сталину и к поэзии Владимира Маяковского.

А кто такой Лев Халиф? Тогда — вообще никто, квадратный корень из минус единицы, то есть мнимая величина, поясним это для тех, кто не кончал Техноложки... Но вот Хикмет написал о Халифе в «Литгазете» заметку «Счастливого пути!», там же поместили портрет бронетистого молодого человека, несколько неплохих стихов, к ним добавилось изустно одно отличное четверостишие, и — дело заиграло! Халиф стал знаменитостью (так и подмывает сказать «на час»), вошёл победителем в ресторанный зал ЦДЛ да и остался там безвылазно на полжизни. Интереснее всего то, что и Хикмет от этого выиграл: вызвал любопытство к себе, оказавшись не только не ретроградом, но, с помощью своей умной и хитрой переводчицы Музы Павловой перешедши со ступенек маяковской лестницы на шаткие верлибры, совсем даже наоборот — поэтом европейского кругозора... «Солома волос, глаз синева», — это он о какой-то московской красавице. Не хуже, чем переводы из Элюара. Любит блондинок, как все черноморцы. Всё-таки турок. А Халиф? Нет, он не турок, пышная его фамилия обманчива.

Но это — в Москве, в Питере знаменитостей поменьше и они поскромней. Геннадий Гор. Прозаик-фантаст, пишет для юношества, с сочувствием относится к литературной молодёжи. Отнюдь не какой-нибудь идеологический мракобес, но, конечно, советский писатель: долбаный, дрюченный, «проваренный в чистках, как соль», — добавим из уже найденного нами тогда Мандельштама. И — что он может сделать для Вольфа, например? Или для Наймана, начавшего пером любопытствовать в прозе? Рейн, кстати, тоже пустился повествовать и рассказывать о своих камчатских шатаниях не только в стихах. Да и я сочинил несколько безыдейных опусов в духе Олеси. Вряд ли этот робкоголосый Гор заступится за нас, загнанных в тёмный угол. Его и до «Литгазеты»-то не допустят. Он может лишь угостить нас чаем с печеньем, что он и делает.

Стены его квадратной гостиной увешаны необычной, но и какой-то блёклой, словно на сырмятину нанесённой живописью. Гор оживает, говоря о ней: это произведения самодельных художников малых народов Севера, он написал о них книгу и организовал выставку в Этнографическом музее, что жизненно помогло некоторым из авторов там, у себя, утвердиться.

Картины эти, конечно, не профессиональные, но стильные, и стиль их, скорей всего, напоминает наскальные рисунки с их натуральными красками: то же отсутствие перспективы, такие же олени, глухарь на ветке, белочка вниз головой на стволе сосны, коротконогой охотник, целящийся в неё из ружья. Эта перевернутая белочка как-то особенно убеждает в подлинности. Кого или чего? Её самой, охотника, живописи... Гор вглядывается в наши лица, как бы высматривая, нет ли среди нас представителей малых народов Севера. Нет, к сожалению.

Другое, совсем другое дело — Кирилл Косцинский, он же Кирилл Владимирович Успенский (от природы имея литературную фамилию, зачем-то выдумал себе польский псевдоним)! Помню его остроугольный нос, косую челку с проседью, серо-голубой, но пронзительно глядящий глаз, кадык, жилистость лица и фигуры. Говорил он не очень складно: сначала раздавалось эканье-меканье, переходящее порой в некоторое блеянье, а затем выпаливалась отрывистая фраза, из которой торчали и ирония, и намёк, и параллельный смысл.

К нему шлялась молодежь не за помощью — он и обругать мог, а мог и выставить бутылку коньяку. Да, именно этот золотистый напиток я запомнил во время первого посещения квартиры Косцинского, находившейся в самом великолепном месте города, на канале Грибоедова у Банковского пешеходного моста с грифонами. Народу было много, и Косцинский щедро угощал: он праздновал выход книги рассказов «Труд войны». Не бог весть что, ещё одна книга о войне, которую он прошёл капитаном армейской разведки. Между прочим, своей капитанской властью остановил расстрел австрийского кабинета министров, захваченного в плен скорыми на расправу освободителями. Разумеется, этой истории в книге не было, и вообще его боевой опыт на качестве прозы не сказался, но на литературном поведении — несомненно: в правлении Союза писателей ёжились от его неожиданных резкостей. Свою книгу он мне подарил с надписью: *«Диме Бобышеву с пожеланием, чтобы его проза была не хуже его стихов. Кир. Косцинский, Лнгрд 11.3.57»*. Лёгкий намёк — не за своё дело не берись. Да я и сам так считал.

В его празднуемой книге (редактор Сергей Спасский — уже в траурной рамке, увы!, одна повесть дипломатично посвящена Вере Фёдоровне Пановой) был всё же рассказ, отличный от других фронтовых историй. Написан он был откровенно несамостоятельно, нарочито следуя всем особенностям стиля автора «Войны

и мира», но это оправдывалось предметом — описанием танковой атаки, в котором только военная техника отличала бой от сражения под Аустерлицем. Подражание перу Толстого было настолько явным, что это сработало как литературный прием! Сработало и другое: он там был.

Силу этого обстоятельства я понял значительно позже, сам побывав в моравском городишке Славков. А это и был раньше Аустерлиц. Сверху, от так называемой Могилы Миру, то есть памятника, высившегося в обзорном месте у деревушки Праце (я моментально перевел её на русский как «село Работно», да так и запомнил), виднелись склоны холмов с полями угодий, рощицы в ложбинах — всё как на ладони, хоть опять нагоняй туда конницу, ошетиивай штыками редуты, наполняй воздух облачками разрывов, поливай всё это кровушкой. Стела Могилы с крестообразным навершием и четырьмя опорными фигурами как раз и отдавала военные почести на трёх языках из четырех — французском, немецком и чешском — погибшим солдатам: своим, союзным и вражеским. А на русском языке — только своим.

Тогда у Кирилла собралось сразу три литературных компании: наша с Рейном и Найманом, ерёминско-виноградская и «взрослая», собственно косцинская. Это был кругловато-заурядной внешности Валентин Пикуль, которому оставалось ещё два года до того, как он станет самым читаемым романистом на Руси, да фантаст Север Гонсовский с выражением задумчивой обиды на полнеющем, но ещё тонком лице, — это он впоследствии «сдаст» хлебосольного друга в КГБ. Поэты читали стихи, прозаикам оставалось лишь поджимать губы.

— Надо писать, как Кай Валерий Катулл, — вдруг заявил Пикуль.

— Как Валерий Тур? Москвич?

— Нет, не москвич, а римлянин. И даже весьма древний.

И он четко и с удовольствием прочитал наизусть стихотворение «К Лесбии».

— У теперешнего народа кишка тонка так писать! — заключил Косцинский.

Во время венгерских событий его квартира напоминала штаб — если не сопротивления, то интенсивного сочувствия: звучали радиоголоса, на столе были разложены карты Европы. Кирилл был язвителен и азартен — видимо, и тут сказывался эффект былого присутствия: он видел не карту, а местность. Разворот Дуная, мост, подъём на Буду, раскинувшийся внизу Пешт и — «наши», то есть хрущевские танки. В ту пору я к нему заходил, чтобы узнать, «что слышно из Будапешта», либо же самому сообщить что-нибудь вроде «Имре Надь арестован, конвоирован в Болгарию».

Когда я всё-таки повел к Косцинскому Генриха, перед самой дверью меня осенило: я, может быть, веду к нему стукача. Но дверь уже открывалась. Что ж теперь делать? На полках кричаще выделялись белогвардейские дневники и воспоминания, это была гордость его коллекции, бледным шрифтом на папиросной бумаге пучился явный самиздат, всюду пестрели корешки нелегалщины.

— Кирилл Владимирович, вот этот молодой человек, по-моему, точный Хемингуэй, — необычным образом представил я приятеля.

— Что же он, пишет, как Хемингуэй? Так после папаши Хэма это ж не фонган!

— Да он вовсе не пишет. Зато как выглядит, смотрите: вылитый Хемингуэй.

— Ну, просто выглядеть — это и вовсе не фонган!

— Не скажите, Кирилл Владимирович... А плечи? А мужественный вид?

Генрих быстро заходит в комнату и становится у окна — «засвечивается» для наружного наблюдателя, что ли?

Косцинский выстреливает в меня взглядом, и то, что он видит, ему не нравится: что-то вы, ребята, выкобениваетесь, уж не «голубые» ли вы, или пьяные, или чего ещё? — и он мгновенно решает:

— Вот что, братцы, я очень занят. Прошу извинить. А вас, Дима, рад буду видеть как-нибудь на днях.

С Генрихом я больше не виделся. Да и к Косцинскому долго не заходил — было неудобно. А между тем над ним разразилась беда. Блистательный маэстро Леонард Бернштайн прилетел с гастролями в город на Неве. Музыка к «Вест-сайдской истории», симфонические синкопы Гершвина, ещё раз собственный фортепьянный концерт — словом, «его дирижерское, композиторское и исполнительское обаяние покорило ленинградцев», и в филармонию было не попасть.

А вот Косцинскому было попасть, он даже лично встретился с американской знаменитостью и более того: нарушив ему всё поднадзорное расписание обедов, посещений и встреч, увёз его, оторвавшись от наблюдения, на какую-то дачу и там, видимо, «хорошенько прочистил мозги этому розовому либералу».

Где-то в Смольном хряпнули кулаком по столу, в доме 4 по Литейному хлопнула дверь, и Косцинского арестовали. Шили ему «антисоветскую агитацию и пропаганду» — бывшую 58-ю статью, милостиво изменённую Хрущевым на 70-ю, а заодно прочёсывали с помощью допросов и обысков целый слой художественной интеллигенции. «Прочёсанные» помалкивали, как говорили тогда, «в тряпочку», но не все. Художник Олег Целков, например, рассказывал, что следователь проигрывал ему записи, подслушанные за столом у Косцинского, и требовал их подтвердить. Звучали витийствующие голоса Кирилла, Олега, других знакомых...

— Нет, не могу подтвердить, — упрямылся Олег. — Мало ли что? Может, вы разыграли всё это с актерами. Стрельчика пригласили из БДТ, Копеляна...

Это было самое правильное поведение. Записи нельзя было привести в суде как доказательство, а подтвержденные показания свидетелей — можно. Мише Ерёмину при допросе демонстрировали подобную, а может быть, и ту же самую запись. Следователь замешкался её вовремя выключить, наступила пауза, и вдруг ясно и громко, прямо в микрофон прозвучала фраза:

— Да здравствует ВЛКСМ! Это говорю я, Яша Виньковецкий.

То есть о прослушиванье хозяева и гости не только знали, но ещё и подшучивали над этим. Вызвали и меня.

— По какому делу?

— Там узнаете.

Пришлось явиться. А этот вопрос нужно было задавать. «Дело» означало не повод для разговора, а папку, следственное дело. На кого и по какой статье? Без этого можно было и не являться. Следователь сказал:

— Уверяю вас, ни по какому конкретно. Но Технологический институт распределяет вас на предприятие «почтовый ящик 45», это закрытое учреждение с режимом секретности. Нам нужен ряд дополнительных сведений о вас для Первого отдела.

Следователь, лица которого я не запомнил (в этом, должно быть, состояла одна из особенностей его профессии), уходил, приходил, куда-то звонил, долго писал, задавал множество мелких вопросов, записывал мои ответы на специальных бланках... Словом, не торопился. Между прочим спросил:

— Как вы расцениваете своё участие в издании и распространении газеты «Культура»?

— Это же была стенгазета в одном экземпляре. Расцениваю как несерьёзное занятие, забаву.

— А как вы отнеслись к кригике парткома, к выступлению «Комсомольской правды»?

— К парткому — серьёзно. А «Комсомолка» критиковала в обидных выражениях — например, «мальчишеское невежество»... Но с тем, что это было мальчишество, согласен.

— А какова роль Бориса Зеликсона в этом «мальчишестве»?

— Он все и начал.

— А вы сами собираетесь в дальнейшем заниматься подобной деятельностью?

— Нет.

— Подпишите.

Но что же это он за меня написал? «Своего участия в издании и распространении антисоветского печатного органа, вызванного моей политической незрелостью, не отрицаю... Справедливую критику партийного комитета воспринимаю со всей серьёзностью... Подстрекательскую роль Бориса Зеликсона осуждаю... В дальнейшем антисоветской и антисоциалистической деятельностью обещаю не заниматься...»

Что я должен был сделать? Редактировать каждое слово? Да пропади она пропадом, эта бумажка! Раз отпускают, скорей надо уносить ноги.

Я вышел на Литейный проспект. Было ясное небо, но уже вечерело, свет казался померкшим, пыльным. Всеми порами я ощущал себя пропитанным этой невидимой пылью, потным. Хотелось отряхнуться, а ещё больше — залезть с молчалкой в глубокую ванну.

Вокруг Косцинского (продолжение)

Сколько лет он отбыл в Мордовии? По крайней мере года четыре, тогда это был стандартный срок. Но едва он вернулся, я поспешил к нему. Проседи в голове прибавилось, шкиперская борода совсем поседела, но был он так же прям и жилист, вид — боевой. Только на правой руке, видимо, повредил сухожилие: подавал он не раскрытую ладонь, а три пальца с поджатыми безымянным и мизинцем. Ну — как?

— Вы знаете, там, конечно, гадко. Но эти годы я не считаю бесполезно выброшенными. Наоборот. В сущности, я даже рад, что оказался в лагере.

Позже я не раз слышал подобные парадоксальные похвалы заключению от бывших зеков. Но тогда это меня ошеломило...

— Что же вы делали — лес валили? Кирпичи обжигали?

— Нет, попросту был прорабом в пошивочных мастерских. А работала над коллекцией для словаря ненормативной лексики, иначе говоря — «блатной музыки» или «фени». Подобного словаря ещё не существует в природе, и где ж его собирать, как не в лагере? А коллекция — вот она.

Показывает два фанерных чемодана, набитые картотекой.

— Зековской работы. Есть ещё два, да лень их вытаскивать. А каждая карточка — это слово, его толкование и не менее двух примеров каждого употребления. Да что там! У меня же на днях выступление в Математическом институте Стеклова. Приходите.

Ай да Кирилл: из зоны — прямо на выступление! Никаких афиш, но довольно много любопытствующих. Тема уж больно экстравагантная. Косцинский подаёт ее своим обычным слегка блеющим голосом, отрывистыми фразами, но весьма научнообразно. То и дело повторяются «Бодуэн де Куртэн» да «Воровской словарь Одесского угрозыска (для служебного пользования)» — единственные его предшественники. Остальной материал — необозримая целина.

Переходим к примерам. «Оголец» (форма множественного числа «огольцы») — в обычной разговорной речи так называют мальчика-подростка. В жаргонном толковании — это мальчик-подросток, готовый оголять свой зад для гомосексуального соития. Пример употребления... Из второго ряда шумно поднимается пунцовая дама и пробирается к выходу. Хлопает дверь. Другой пример... Другая ученая дама...

В середине 70-х Косцинский настроился на отъезд. Сначала куда-то в Канаду наметил путь его сын, молодой врач.

— Сексолог, — отцовски любясь, говорил о нём Кирилл, едва лишь не добавляя: «Весь в меня»...

Уехал и он сам. Отчасти через общих знакомых, отчасти по радиоголосам я следил за его передвижениями. Остановка в Вене. Кабинет министров 1945 года до сих пор не собрался покидать этот мир, и теперь они воздавали должное своему спасителю. После гастролей (вполне триумфальных) по немецким университетам и можно представить себе, с какими рекомендациями, Косцинский перенёсся через океан и осел в Бостоне, прямо в Кембридже, при Гарвардском университете.

Счастливая посадка, но не конец всем испытаниям: у него обнаружился рак. Однако то, что считалось смертным приговором в Союзе, оказывалось излечимым в Америке.

В 80-м году я уже был там, и мы с моей американской женой проводили месяц в Новой Англии, в благоустроенной деревне Леверетт. Её коллега, отсутствовавший по своим делам, оставил в наше распоряжение дом у подножия чьей-то частной горы и старую машину-жучок жёлтого цвета. Деревня находилась поблизости от Амхёрста, где располагался огромный Массачусетский университет и жил Билл Чалсма, ученик Юрия Иваска, — пожалуй, мой единственный американский приятель. От этого места до Бостона — часа два-три езды, и «мы решили показать мне Бостон».

Билочка, как вцепился в баранку битла, символа и выразителя его молодости, так и вёз нас в оба конца, не сменяясь. По пути остановились на пруду Уолден. Средних размеров озеро между лесистых холмов. По склонам легко прослеживались пунктиры индейских троп. На месте хижины Генри Торо была асфальтированная стоянка, где мы и поставили желтого «жучка». В моей голове бушевали читательские воспоминания: иступлённый трансцендентализм, который стал мне люб в тот год, когда эта четырёхколесная букашка сходила с конвейера, да образы американского опрошения с томом Гомера в руке... Я был поклонником и даже полупоследователем этого практического мудреца, был, а теперь восхищаюсь им с другой стороны, как вечным диссидентом: трактат «О гражданском неповиновении» до сих пор воспринимается официальными лицами как бестактность...

— Всё, поехали! Вперёд, в город Бостонского чаепития — *Boston tea drinking!*

— *Boston tea party*, — поправляет меня Билочка.

Я уговорил моих спутников нагрянуть к Косцинскому в русской манере, без звонка, и вот он, уже седой, с красноватым, но тем же худощаво-жилистым лицом остро рассматривает и оценивает нашу пёструю компанию, запросто переходит на ухабисто-ржавый английский. Я уверяю его, что все — русскоязычны.

— Джоэни предпочитает английский.

Это — чуть ли не вдвое моложе его американская жена-секретарша. «Молодец, зек!» — одобряю я в уме его точный прагматический выбор. Секретарша в условиях непрерывной добычи грантов — это ж как повариха в голодное время! Она вдруг произносит:

— Я немного понимаю. Пожалуйста, говорите по-русски.

Тут уж я порасспрашивал его обо всем... Во-первых, я облегчил себе душу, признавшись, что, кажется, привёл в его дом стукача. Он подробно расспросил меня о Генрихе и успокоил, сказав, что в его следственном деле такое имя не упоминалось. Ну, может быть, это был от силы какой-нибудь мелкий наводчик. Вообще же, на него стучало такое количество народу, что этот мой подозрительный мальиш не имел в его деле какого-либо значения...

Во-вторых, он уже не писатель, а учёный-исследователь. Живёт он на хорошие гранты, возобновляемые каждые два года, — то есть под тот же словарь. Когда он выйдет из печати, грант прекратится. Так что зачем торопиться?

А как же аналогичный словарь Козловского, вот-вот собирающийся выйти из печати, как насчёт близкого по тематике словаря гомосексуалистов, который тоже уже объявили к изданию? Кстати, когда он вышел, я заметил этот том, раскрыл его, меня аж шатануло от горячего запаха зверинца, — как тут не вспомнить о пунцовых дамах, которым я невольно уподобился?

Но результат Косцинского не тревожил, его завораживал процесс. Гранта хватало ещё на четыре года, до самой кончины Кирилла.

Чтобы проверить основные сведения о нём, я просмотрел несколько литературных справочников. Нашлись там его молодые друзья — угощаемые им поэты, прозаики, литературоведы и художники, — нашёл я там даже себя, а Кирилла не было. Увы, как-то прошла, проскользнула его жизнь между литературой, политической и наукой.

Яркая жизнь!

Малая каторга

На физиономии моей жизни появилась первая задумчивая складка: началось самостоятельное существование, которое у большинства людей делится на три неравные части — работа, семья и (у некоторых) какое-то увлечение, занятие для души. Работа у меня уже была, начало своего собственного семейства я видел в близости с Натальей, что же касается увлечения, то оно ставило весь существующий порядок с ног на голову, потому что было не «увлечением», а, по моей глубокой вере (изредка терзаемой сомнениями), — призванием, главным делом жизни. В этом и состояла вся загвоздка. Можно ли, не повредив и даже его развивая, следовать ему, но отдавать при этом время, свободу и внимание чему-то другому — чуждому, извне навязанному и надоедному занятию, то есть работе? В сущности, это был гамлетовский вопрос выживания, и мне пришлось решать его в течение всей жизни.

Быть или не быть самим собою? И чем, если понадобится, жертвовать — свободой или независимостью (ведь эти понятия совпадают не полностью, а нередко и конфликтуют)? Можно казаться себе и другим вольным литератором, а жить с семейством за счёт пенсий матери и няньки, — это ли независимость? Да и свобода ли? Можно заставить работать свою супружницу, а самому (буквально!) валяться на диване. Можно, наконец, «закосить» под психа и жить на инвалидную пенсию, но это не свобода и не независимость, это — нищета.

Но в то время проблема повернулась ко мне ещё и с никак не ожидаемой, прямо-таки оглушившей меня стороны. Оказалось, что номерное учреждение, куда я попал по распределению, занималось тем, что производило Бомбу. Да, да, ту самую, атомно-водородную. Ту самую, которой царь Никита размахивал перед Западом и которую грохнул-таки о ледяной панцирь Новой Земли, загадив радиоактивностью пол-Арктики. Это уже была проблема посерьёзней, чем быть или не быть захребетником у престарелой няньки. Служить, работая пусть даже младшим подметалой на такого непредсказуемого буйна, который хулигански стучал туплей по столу ООН, да не просто служить (все ведь были подневольны), а участвовать в изготовлении самого опасного оружия, которым он шантажировал мир, — или... Или — что, не служить? Поздно — по трудовому законодательству молодой специалист, подготовленный в системе бесплатного образования, обязан был три года (а где и пять лет) отработать по распределению, прежде чем искать себе новое место. Иначе говоря, я осознал, что получил независимость в виде 120 рублей в месяц, но потерял свободу.

Моя малая каторга располагалась в многоколонном здании сталинской постройки, имитирующем дворец, в действительно дворцовом месте с видом на Большую Невку и Елагин остров. Это была одна из мозговых коробок многоглавого ядерного Горыныча: проектный институт п/я 45, где директорствовал силовой человек Гувов. Оттого часть Старой Деревни по обе стороны улицы Савушкина, куда выходили задыпсевдодворца и фасады квартирных домов того же ведомства, называлась Гувовкой. Живущие там служащие имели сомнительное счастье прямо из дома видеть работу и наоборот. Жителей Гувовки было, наверное, не меньше, чем в хорошем довоенном селе до раскулачивания, а когда они все шли на службу, к ним присоединялось ещё вдвое-втрое «поселян», приезжавших туда из города на автобусах и трамваях. Так что хозяйство было большое, но это составляло ещё не всё. Помимо далёких таинственных полигонов и испытательных стендов в сибирских зонах, над которыми простиралась власть других силовиков, Гувову принадлежала ещё одна, весьма лакомая городская собственность — яхтклуб, причем императорский. Но не тот, который когда-то так назывался и действительно был клубом петербургской парусно-спортивной элиты, а тот причал, где стояла когда-то личная императорская яхта «Штандарт». Высокий вал от наводнений, на котором росли столетние липы, убеждал в подлинности этого места. В середине огороженного насыпями зелёного участка стояло старое здание с башней, флагштоком и кают-компанией, где лишь разохшийся дубовый стол с люстрой над ним да несколько продавленных кожаных кресел напоминали о прежних владельцах.

Единственный раз именно на этой спортивной базе я увидел нового хозяина. Прямо к причалу подкатил чёрный лимузин ЗИЛ. Из него вышел холёный рослый барин в костюме спортивного покроя, с уверенным и благодушным лицом, за ним — длинный, благородного вида подросток со столь же породистым немецким ретривером и две высокие дамы, постарше и помоложе, обе в шляпках. Пока вся

компания фланировала между липами, а собака восторженно носилась кругами, к причалу был подан катер. В закрытом салоне играла музыка, матрос посадил пассажиров на борт, и катер пошел катать их по заливу. От его волны яхты в заводи принялись качать своими грот-мачтами.

Грот, стаксель, спинакер

Если бы я сейчас не описывал свою пёструю жизнь, а стегал бы лоскутное одеяло, то на этом месте я пришёл бы клочок грубой ткани, выкрашенной кубовой краской, а затем — шаровой, потому что это цвета Балтийского моря, соответственно, для бурной и тихой погоды. А потом я пристроился бы туда треугольник простой парусины, и тогда получилось бы морское приключение, которое я испытал, служа в почтовом ящике. Директорский катер, отчалив от пристани, не только раскачал мачты спортивных судёнышек в заводи, но и расшевелил во мне скрытого путешественника. Это заметили наши «романтики моря». Собственно, парусной фанатичкой была Наталья Кублицкая, старший инженер смежного отдела, которая подбивала в поход нашего молодого техника. Он ходил на шверботе, но мечтал управлять настоящей килевой яхтой. А капитанских прав у него не было, образование не позволяло. У Кублицкой такие права были; страсть к парусам уже стоила ей замужества, и, свободная от семейных обязательств, она всё послеработное время проводила теперь в яхт-клубе, оглаживая выгнутые борта лодки, облизывая их лаком, или же прогуливая свою любимицу по Морскому каналу Маркизовой лужи. Даже утрами умудрялась заехать до работы её навестить. Одного капитанше недохватало: команды. Почему-то никто не шёл ей в матросы, — возможно из старинного суеверия, хотя это были и образованные люди: инженеры, ядерщики, атомщики... А в одиночку на такой яхте в море не пустят.

С молодым техником у меня установились запанибратские отношения, я кликал его «Мастер», он меня почему-то «Грек» и очень сильно зазывал к капитанше в команду. На «Грека» я не возражал, понимая под ним эллина, а в остальном ссылался на отсутствие моряцкого опыта. Но это был слабый аргумент:

— Ни разу не ходил под парусом? Так пойдём с нами в воскресенье на форты!

Как тут устоять? Форты представлялись мне чем-то военно-закрытым, запретным, а, оказывается, это уже стало местом ограниченного водного туризма!

Тоскливо было отдавать воскресное утро той же процедуре *ездок* и пересадок, что и каждый день в будни, но, миновав место своей работы и проехав аж за буддийский храм, я вновь был возвращён к чувству досуга, к волшебному ощущению непочатого свободного дня.

Вместе с течением Невки яхта легко скользила к месту впадения реки в залив, и встречный ветер несколько не задерживал её движения. Напротив, даже и ускорял! Как же так? А — чудо *паруса*! Работая как крыло, он влёк яхту вперёд под острым углом к ветру. Кроме того, — ни шума, ни запаха солянки, а только тихий плеск и журчание воды, раздвигаемой корпусом лодки с её совершенными обводами. По тогдашней моей заворожённости она даже напомнила мне Вичку, мою сердечную занозу, — как у той для любовных дел, так у этой всё было устроено для воздушного скольжения по воде, и — ничего лишнего, ни единой детали.

Вышли в Морской канал, пошли, маневрируя, между буёв и вешек, но ветер скис. Стало ясно, что к фортам и обратно не обернуться до вечера. Пустились ходить мелким зигзагом, то есть галсами. Только и звучит капитанское:

— К повороту... Поворот!

Тяжёлый гик, растягивающий большой парус, проскальзывает над тобой, а не успел вобрать голову в плечи — получай деревянную затрещину! Это помогает запоминать морские термины. Гик.

В общем, морской поход показался мне заманчивым, я даже готов был взять на это время отпуск за свой счёт, если отпустят. Но, оказалось, что и этой жертвы не нужно. Поход считается спортивным деянием, наравне с соревнованиями, чем-то вроде единичной регаты. Администрацией это даже поощряется, а спорткомитет оплачивает отпуск. Что ж тогда не попробовать и не пуститься? Нужен лишь четвёртый член экипажа. Юнга, так сказать... Кого бы пригласить? Никто не идёт почему-то... А можно со стороны? Чего ж нет! И я приглашаю моего школьного друга Казанджи, такого же сухопутного моряка, как я.

Он окончил Академию тыла и транспорта, но вместо блестящей штабной или преподавательской карьеры, молодого старлея без блата и связей упекли служить в гарнизон в отдалённую дыру на окраине Империи. Армянское население ближайшей деревни смотрело на военных настороженно и угрюмо, офицерам оставалось развлекаться лишь чебуреками и пряными соусами, порой проливая их на подкладную шинельную грудь, и мой друг затосковал. С большими усилиями он комиссовался из армии и прибыл отставным «микроролковником» в родные пенаты на Смольный проспект, где когда-то пережил и блокаду. Нашёл себе как раз по специальности работу в Горелове. Это был почтовый ящик, гигант военно-промышленного комплекса, наподобие нашей Гатовки, только делали там не бомбы, а танки, и не мне было его осуждать за это. Он томился на проектной работе, но возможности жить интересно всё-таки были, — не то, его в развлекательное путешествие... Он рассуждал в точности, как и я: отпуск на воде, дядя платит, и глупо отказываться.

...Утро мы потратили на доставку и загрузку припасов: горячая пшённая каша в гигантском китайском термосе, крупы, хлеб, консервы и концентраты. Проверили и перепроверили снаряжение. Катер нас отбуксировал в горло Невки. Ну, теперь не подкачай, красотка класса «Дракон»!

— К повороту... Поворот!

Гик посвистывает над склонённым затылком. Идём в устье Морского канала. Стоим там час, два, три, ждём «добро» от погранзаставы. Долго, истово заливаем компас. На часах уже крепко за полдень, когда мы «добро» это получаем и вырываемся на простор.

...Капитанша, вперившись вдаль и вцепившись в румпель, уже четвёртый час держит курс норд-норд-ост бейдевиндом, при котором яхта носом жестоко бьёт о волну. Остальным делать нечего, но матросам, оказывается, не положено отдыхать. И Грек с Полковником завивают это положение не верёвочкой, а морским шкотом, складывая его в спиральные бухты, плетут огоны, ставят метки на штаги, проверяют крепления стоячего такелажа. Переставляют резиновые сальники на вантах, подумывают о том, не залить ли комингсы клеем. Вместе с Мастером, ставшим как бы старпомом, все разом смотрят карту и лоцию до Приморска.

Это — первый порт нашего каботажного плавания. Второй и последний — Выборг. А пока ищем створы, чтобы войти в пролив между берегом и Берёзовым

островом ветер крепчает. Створ не видно. Низкие тучи секут по лицу холодным дождём. Близкий маяк на берегу то и дело заливает нас светом. Зажигаются и створные огни, но их из-за маяка толком не разглядеть. Ветер ещё пуше крепчает. Мы убираем грот, но этого мало. От порывов ветра надо спасать и стаксель. Мастер лезет на нос, долго, очень долго возится, снимая рвущийся парус. Беспарусных, нас начинает сносить к маяку Стирсуддену на меля. Если снесёт туда, это — крапты. Киль верно служит на глубине, а на мелях он переворачивает лодку, и волны делают из неё щепу. Мастер ставит брезентовый малый парус и, вернувшись, без сил падает на кокпит. Он ложится рядом с Полковником, вырывает у того ведёрко, травит... Хватит ли штормового стакселя, чтобы отвести нас от маяка, от берега, который стал теперь так опасен?

— Вот ты и пробуй, а я не могу, — говорит Капитанша. — В темноте ничего не вижу.

У неё, оказывается, куриная слепота! А здесь — спасаться надо. Мастер с Полковником валяются, разбитые морской болезнью, и яхту несёт на Стирсудден.

— Бери, я тебе подскажу, что делать, — передаёт мне румпель ослепшая Капитанша.

Стада водяных слонов нас хотят растоптать, — растереть, размолоть своими боками и хребтами. Стада не слонов — скорей водяных ущелий, отрогов шевелящихся гор, грозящих нам тоннами водянистого мяса.

Я беру у неё румпель и чувю: лодка слушается, идёт. Хорошее чувство! Решаем, — всю ночь придётся ходить между двумя маяками: Стирсудденом и Гогландом, который сверкает издалека, сквозь тьму и горбатые воздыманья. Штормовой стаксель тащит нас прочь в спасительные глубины от близости маяка. Яхта повинуется румпелю. Мне. Несёт сохранно четыре жизни. Свет Гогланда становится ярче, видней, — значит надо назад, ложиться на обратный курс до Стирсуддена.

— К повороту... Поворот! — звучит уже моя команда, а кому?

Да самому себе, ничьи головы уже не торчат. Стаксель хлопает, но выдерживает, и опять — курс на Гогланд. Не стихая, ветер сдёргивает с небес тучи, и сумасшедшие, дикие звёзды соперничают с маяками. Чем на Гогланд, я лучше буду держать на Юпитер, сияющий выше, чуть справа.

В середине блужданий Капитанша вслепую кормит меня с ложки тёплой кашей из термоса, — румпель я не могу отпустить, а передать некому.

Пока мой взгляд ходил между двумя маяками, а наша лодочка не давала обрушиться на нас водяным тоннам, сама взбираясь на тёмные громады шевелений, восхитительное и никогда прежде не испытанное чувство охватило меня — сравнимое, наверно, с родительским. В нём была и трубно-героическая нота, будто я весь мир вёл, держа за запястье, и нота нежной ответственности, чуть ли не материнства, когда я думал о жизнях, включая туда и мою, качающихся на нашей смелой лодчёрке.

С рассветом я подвёл её как раз к тому месту, где начались наши злключения. Створы были чётко видны на берегу острова. Наши матросики высунули наружу свои бледно-помятые небритые физиономии. Морская болезнь их, бедолаг, уже отпустила, а когда мы свернули в пролив, прекратилась и качка. На причал собралось, кажется, всё население островной деревушки. Они-то понимали, что мы вышли из шторма! Когда мы причалили, лакированной скулой ни на чуть не касаясь дощатого настила, сразу несколько указательных пальцев было ткнуто в какую-то избу.

— Медпункт там!

Это мою физию так разнесло за ночь флюсом, покрытым щетиной. Однако медпункту мы предпочли деревенскую баню, где на полке в пару я совершенно сомлею. Спали мы всё-таки лёжа на гроте, укрываясь вдвое сложенным спинакером. А под головой, конечно, был стаксель.

Дальнейшее путешествие было уже туризмом, хотя и изрядно нагруженным матросской работой, после которой стройная кирха в Приморске, где помещался дом культуры, или вид с башни Выборгской крепости на шхеру, так же, как и вид обратно, казались лакомством для глаз, уже объевшихся чёрствыми корками балтийских волн. Но на пути назад случались и чисто морские экстазы: попутный ветер! Вот когда можно было расслабиться на корме, распустив паруса белой бабочкой. А если поставить огромный лёгкий спинакер, и он надуетя впереди, то не только яхта, а и ты сам превращаешься в лебедя-шипуну, беспохотно топчущего, сидя на ней, холодную, да хоть бы и ледяную Леду-волну. Картинка, неправда ли? Но — точная, поскольку яхта особенна тем свойством, что с попутным ветром она обгоняет волну, а может и ехать на ней с шипением и звоном пузырьков об обшивку. И — ещё: в полный штиль, какой мы застали в Морском канале, она умеет ловить неощутимые дуновения и, словно чудом, скользить по серо-зеркальной воде.

Там, когда мы почти возвратились, с капитаншей нашей случилась ещё одна неожиданность, — она впала в оцепенение. Уловленных дуновений хватало, чтобы галсами маневрировать в сторону устья Большой Невки, но, как только мы столкнулись со встречным течением, наш ход остановился. И оставалось-то до родимого яхтклуба чуть-чуть, с полмили, а может быть и меньше, и что-то хотелось предпринять и придумать, а наша Кублицкая с остановившимся взглядом сидела за румпелем без движения час, другой, третий... Только тут стало ясно, почему ей не удавалось подобрать экипаж: она была явным пациентом и, конечно же, в качестве капитана представляла опасность.

Но, к нашему моряцкому счастью, погода в Питере есть величина переменная... Дохнул западный ветер, и мы белой распахнутой бабочкой впорхнули в бывший императорский яхт-клуб, то есть в Гутовку.

Малая каторга (продолжение)

Всё население большой Гутовки (и я в том числе) жило в режиме секретности. На вопросы посторонних о том, где ты работаешь, предписано было отвечать неопределенно: «Так, на одном предприятии...» Номер «почтового ящика» сообщать только должностным лицам в необходимых случаях. С иностранными подданными ни в какие общения не вступать, о случаях вынужденного контакта немедленно сообщать заместителю директора по режиму. Хотя иностранцы были тогда исключительной редкостью, это последнее ограничение стесняло и даже мучило меня тем, что оно распространяло запреты даже на будущее. Но не мог же я предчувствовать, что сам стану когда-нибудь иностранцем!

Во всяком случае для вхождения внутрь заколдованного пространства требовались пухлые корочки с фотографией, рядом с которой нашлапывался причудливый штамп, время от времени менявшийся: пальма или сидящий сокол, — даже странно, что там была не советская символика, а какая-то романтическая ахинея. Эти корочки нужно было предъявлять не только на входе и выходе из здания, но и

глубоко внутри, на входе в «мой» отдел, представлявший, видимо, секрет в секрете. И это ещё не всё: ватманы и миллиметровки с технологическими схемами сворачивались и укладывались в оцинкованные баулы, а расчётные тетради с пронумерованными листами — в оцинкованные же чемоданы. И то и другое залеплялось размягчённым пластином и — с плевком на него, чтоб не прилипло — личной металлической печаткой с номером. Всё, что ты нанесёшь на эти листы в течение дня, — любая чушь, вплоть до карикатур или эпиграмм, — считалось секретной информацией и хранилась бетонно-свинцово-цинково.

Печатку и «корочки» пропуска нужно было таскать с собой всё время: а вдруг ты, паче чаяния, загуляешь и из гостей должен будешь поехать прямо на работу? Гуляй, но если потеряешь хотя бы один из этих знаков — заведут расследование: где был, с кем и что делал? Печатка неизменно хранилась в кармане брюк с ключами, «корочки» — во внутреннем кармане пиджака. Однажды в тёплый вечер я шёл вдоль канала Грибоедова (изначально — Екатерининского) с молодой «англычанкой» из Ливерпуля, уведя её из накуренной компании у Славинского, и после двух с половиной часов хождений с пиджаком в руках я обнаружил вдруг, что мои «корочки» пропали. Но — большая удача и для меня, и для королевской подданной, и для Славинского! — вернувшись назад, я нашел их на гранитной набережной ровно в том месте, где я снял пиджак, перекинув его через руку.

Охрану несли несколько сменяющихся команд, одетых в чёрные костюмы с галстуками, несколько мятые, — видимо, в пересменок не давали им болтаться без дела: тренировали хватать, задерживать и обезвреживать.

Мне не сиделось в отделе, я часто выходил, то бредя в библиотеку, то навещая копировщиц либо знакомых из других отделов. Каждый раз, возвращаясь, предъявлял. Однажды, предъявив, задержался у входа и услышал, как охранник повторяет вполголоса:

— Бобышев, Бобышев, Бобышев...

Это он учил меня наизусть. Фамилии у большинства из нового набора были простые: Васильева, Васильев (не родственники), Тихонов, Комаров. Это, должно быть, отражало кадровую политику на текущий момент. Правда, у многих старших (по возрасту и положению) были фамилии посложней: Брагинская, Асиновский, Зильберман, и отражало ли это какую-либо из предыдущих политик, мне было неведомо.

Но... представим себе последний день недели, к тому же — день полочки! Старшие уже куда-то смылись. Молодые специалисты резвятся, досиживая последний час. Дурачатся. С моего стола как-то незаметно исчезают корочки пропуска, которые там только что лежали. Слышен хихик из-за соседнего кульмана, где сидит моя бывшая однокурсница Тania Васильева. Ладно, главное — не показать, что тебя так уж взволновала кража пропуска, без которого тебя попросту не выпустят. Надо лишь фаталистски произнести в пространство:

— Что ж. Придется, видимо, звонить замдиректора по режиму или прямо идти и сдаваться страже.

Оглядываюсь — мои корочки на месте. А твои — тут. Хорошо ж! Вот ты и исчезла, чтобы припудриться перед уходом. И у меня есть две-три минуты для ответного розыгрыша. Конец дня, конец часа... Сначала — очередь сдавать оцинкованные коробка и баулы в секретный отдел. Затем — очередь перед охранниками на выход в бюро пропусков. Я становлюсь за Таней в предчувствии веселья и уже в предвкушении разочарования. Вот она перед охранником, подаёт пропуск. Он бе-

рёт его двумя руками, начиная, видимо, привычную процедуру сверки фотографии с оригиналом: два глаза, один нос, рот... И тут он видит нечто необычное, вцепляется крепче в пропуск и даже перебирает от возбуждения ногами. Повторяет процедуру: два глаза, один нос, рот, подбородок... А это — что? На снимке — усы и даже эспаньолка, а в оригинале их нет. Да и женщине вроде не подобает... Ха-ха! Мне уже не смешно.

Страж уводит недоумевающую жертву куда-то внутрь. Я жду минуту, другую, иду за ней. Она уже пишет объяснительную записку, бросая на меня гневные взгляды. Я каюсь, но также стараюсь объяснить, что излишние детали нанесены на снимок с помощью мягчайшего грифеля и их ничего не стоит удалить одним касанием.

— Вот, смотрите...

Нет, этого мне не дают доказать, и ещё недели две я хожу по инстанциям с покаянными объяснениями...

Мешая с этими пустяками серьезное, сообщу, что узнал я в той лавочке и капитальные вещи:

Что за три-четыре года до моего поступления на одном из спроектированных заводов произошла авария, подобная Чернобылю. Перегрелось и взорвалось, взлетев на воздух, наиболее загрязнённое радиоактивностью хранилище отходов производства. Куда и насколько опасность распространилась, осталось неизвестным. Население, и без того в тех местах редкое, оповещено не было. Почву срезали бульдозерами и увозили прочь, кладбища населяли переоблученными трупами солдат, рабочих и зеков в среднем двадцатилетнего возраста.

Что Никита, раскачав мировой баланс, передал секрет производства бомбы Китаю, после чего тот сразу стал враждебным «северному соседу».

Что главный секрет был краденым.

Что самым главным секретом, охраняемым, как Кощеева смерть, была степень отставания от Запада.

И — что Никита, натешившись угрозами тем и этим, перешёл на политику мирного сосуществования, не оставляя при этом возможности развернуть новейшие техно- и бомбологии, если надо, во мгновение ока, немедленно. Конкретно это значило, что такое заведение, куда я попал, должно было годами не останавливаясь выдумывать новые и новые способы производства плутония или обогащенного урана, разрабатывать компоновочные, монтажные и даже рабочие чертежи таких заводов, вплоть до детализовки последнего вентиля и даже последней вентиляющей прокладки, но, вместо того чтобы строить по ним, откладывать эти проекты в сторону и приниматься за якобы ещё более совершенные.

Это обозначало для меня очень многое: за все пять лет пребывания в том институте ни одна гасчка к болтику не была привинчена по моим чертежам, исполненным на великолепном ватмане, ни кирпич на кирпич и ни бетон на бетон не был нашлёпнут в так называемых «каньонах», где собирался накапливаться тот самый экстракт, из которого потом мастерилось бы оружие массового уничтожения.

Какое облегчение! И — какво было недоумение, когда я прочёл в биографической справке о себе, составленной для одной из антологий на английском языке: «Разрабатывал химическое оружие». Написали бы уж лучше: «Работал в той же сфере, что и академик Сахаров». Но только и это было бы неправдой. Правдой было: сочинял стихи.

Физики-лирики

Вернее — пытался. Казалось бы: пиши не хочу. Сидишь в тепле, в светлом помещении с огромными окнами прямо на весенне-летне-осенне-зимние метаморфозы Елагина острова и Большой Невки, у тебя вагоны почти не учитываемого времени, избытие бумаги (правда, строго нумерованной), карандаши, свой стол, своя щель между кульманом и окном, так пиши! Нет, мысль не взлетала, она, присев на корточки, недоуменно озиралась вокруг:

*Вот солнца луч. Он точит ли стекло?
Течет ли под лежащий камень?
Проносит ли в ладонях Лужниками
цыплячее, комочками, тепло?*

Мне охотно уступила свое место Таня Васильева, трудовая пчёлка: там, мол, слишком отвлекаешься от работы. Действительно... И я, как в кино, заглядывался летом на манёвры академических четвёрок, на осенние рденья-радения дубов и клёнов да на трапеции и ромбы колотых льдин по весне. И — на погонные километры небес, набегających с балтийского Запада.

А по диагонали через весь зал в противоположном от меня углу, прикрывшись ото всех, как щитом, таким же кульманом, сидел печально-сосредоточенный молодой человек в чёрной занушенной паре от хорошего портного. На доске у него был наколот чертёж, но он безостановочно писал ноты. Он был саксофонист и дирижёр, по вечерам его ансамбль играл в каком-то молодёжном подвале, а днём он писал аранжировки для всех своих не шибко грамотных музыкантов. Время от времени наши взгляды понимающе встречались, а встретившись, закатывались под потолок: «Мол, что мы здесь делаем?»

Присутствуя в этом зале, и он, и я были «атомщики», как и все остальные, там находящиеся. Только чувство абсурда и отличало нас от них, тарыхтящих (с осторожной оглядкой на доносчиков) о сардельках и спорте, модах и телезрелищах, тёщах и комнатных растениях, болезнях и поквартальных премиях, одновременно мастера с невольными, конечно, ошибками, с привычной халтурой, но — современный, по существу, Апокалипсис, годный для многократного уничтожения всех живущих, включая самих себя.

Между тем в «оттепельной» литературе образовался ходячий стереотип такого «атомщика» (или, скорее, «ядерщика»): молодой гибрид Хемингуэя и Эйнштейна, — ироничный, читающий Кафку, увлекающийся альпинизмом и джазом. Одним щелчком стряхивающий мю-мезоны с рукава своего клубного пиджака... Но в то же время жертвующий собою ради Науки (под которой скрытно подразумевались и Партия, и Родина). Этот не совсем ясный для публики (да и для исполнителей) конфликт хорошего с ещё лучшим был даже разыгран в кинематографе самыми что ни на есть обаятельными актерскими силами того времени: Баталовым и Смоктуновским.

Но самую звонкую песнь о «физиках» неожиданно спел кирпичный тяжелоступ тогдашней поэзии Борис Слуцкий:

*Что-то физики в почете,
что-то лирики в загоне.
Дело не простом расчёте,
дело в мировом законе.*

Даже непонятно, почему этот зажигательный афоризм не притушили сразу, а наоборот, дали от него прикуривать от дискуссии к дискуссии, от «Литгазеты» до «Юности». Видимо, относился к проблеме он лишь по касательной, потому и был подхвачен по всему спектру «либеральной» прессы.

Ну, а если говорить о «физиках-лириках», то есть условно беря меня самого и, предположим, того саксофониста, то что? Ведь производственная тематика, наподобие геолого-разведочной или рабоче-крестьянской, даже если б меня на неё потянуло, оказалась бы под запретом секретности. То же и с «пролетарским» происхождением. Вот, например, появилось новое литературное имя: «Виктор Соснора, слесарь Кировского завода», — газетчики обожали давать зелёную улицу рабочим титулам. Разве стало бы такое возможно, будь он «Дмитрий Бобышев, инженер-атомщик п/я 45»?

А между тем лирик изловлен был именно там.

— Что это у вас в кармане? — спросил меня охранник на выходе.

— Записная книжка с личными записями.

— Покажите.

Он долго ее листал. Раньше я записывал придуманное на случайных клочках бумаги, а затем переписывал набело. Но, сочиняя в рабочее время, я перешёл на новую технику. Компактные книжицы в коленкоре продавались наравне с тетрадками всего за 2 руб. 15 коп. дореформенных хрущёвских денег, или за 22 копейки после реформы (цены с дробями округлялись только в сторону повышения). Книжицы удобно помещались в кармане, но эта, к тому же и ярко-желтая, неосмотрительно высунулась.

— О чем эти записи? Что это — шифр?

— Это стихи о столетии русской демократии. Черновики.

— Ладно, проходите.

Пойманной и пожёванной мышью я выплонулся на улицу. Подумаешь, легкий шмон. Но противно.

А подлинный обыск на рабочем месте я едва не проморгал спросонья.

Всё ещё вкушая сознанием вчерашние ночные впечатления, я тупо стоял в очереди в хранилище первого отдела. Предъявил, получил свои оцинкованные сокровища, потащил их на рабочее место. Опять предъявил, вошёл, расселся, автоматически сорвал печать с баула. Стал срывать и с чемодана, и вдруг... Что-то мне показалось неправильным в этой привычной процедуре. А вот что: номер на печати — не мой, не тот, которым я запечатывал вчера!

— Марина Петровна! — зову я нашу групповую начальницу. — Смотрите!

Она смотрит, бледнеет, бросается к телефону, звонит, рукой прикрывая трубку. Наконец успокоено говорит:

— У вас просто была выборочная проверка. Это печать сотрудника Первого отдела. Всё в порядке, работайте, как обычно.

Целый день я чувствовал вокруг себя безвоздушное пространство. Никто не заговаривал со мной, не подходил. В коридорах отворачивались, не здоровались, курительные места, когда я заходил туда, тут же пустели. А вернувшись с обеда, я увидел на своем столе «Известия» № 209 (13445) за, кажется, 3 или 4 сентября 1960 г. с броским заголовком, характер которого заранее давал знать, что хорошего там будет мало. Это был пасквиль с прямыми деловыми последствиями. Моё имя было в нём всего лишь названо, и этого оказалось достаточно для «выборочной проверки» моих рабочих бумаг. Но Александр Гинзбург был уже к тому времени

арестован, а я и не знал. Этот пасквиль затронул большой круг лиц, причастных литературе, многих, топящихся у входа в печать, — и вот они оказались отброшенными с карикатурными характеристиками назад. Но для меня он был интересен ещё и тем, что подписал его уже старый знакомый, тот, кто громил стенгазету «Культура». Иващенко из «Комсомольской правды». У меня сохранилась газетная вырезка, и я хочу выдержками из этого картинного документа украсить мой человекотекст:

Бездельники карабкаются на Парнас

...Передо мной несколько номеров машинописного журнала под названием «Синтаксис». Судя по различным шрифтам, он печатался не в трех-пяти экземплярах, чтобы украшать собой книжную полку любителя поэзии, а был рассчитан на значительно больший круг читателей. Что же им предлагается в качестве поэтического образца, точнее сказать, в качестве «последнего крика поэтического творчества».

Вот, например, М. Еремин пишет:

*Полночно светнение
бухты Барахты,
В бархатных шкурах
тюленей утешны игры,
В утолении губных гармоник
кисельные берега,
Вытеснение бедр бедрами
из окружности рук.*

Такого или примерно такого типа стихи принадлежат перу Н. Котрелева, С. Чудакова, Г. Сапгира, Д. Бобышева и некоторых других.

Москвич И. Холин, например, обнаруживает вполне определённый вкус к описанию всяческой дряни и мерзости. Где-то муж побил жену, кто-то напился и подрался с собутельником, нерадивый хозяин расплодил клопов в квартире — ничто не проходит мимо внимания И. Холина. Он скрупулезно фиксирует все эти детали в своем очередном опусе.

Быть может, И. Холин протестует, обличает пороки? Нет, он их коллекционирует. И в этом солидарен с небезызвестным Глазковым, который по простоте душевной признался: «Я на мир взираю из-под столика». Такова, с позволения сказать, «позиция» и Холина. Он глядит на окружающую действительность с высоты помойки, из глубины туалетной комнаты. Сознательно лишив себя того, что делает человека человеком, — труда, он слоняется возле жизни, брызжит, изливая желчь в своих плохо срифмованных упражнениях.

Да, именно безделье, тунеядство, привычка жить за счет других приводят к такой «позиции»...

Далее давались «краткие, но достаточно убедительные характеристики» ленинградской тройцы — Л. Виноградова, М. Еремина и В. Уфлянда: отчисление из университета, уклонение от призыва в армию, тунеядство. Еще в статье упомина-

лись Эльмира Котляр, Ю. Галансков, И. Иослович и «примкнувшие к ним» поэты Б. Ахмадулина, М. Павлова, Ю. Панкратов. Но особо был «отмечен» издатель и распространитель «Синтаксиса» Александр Гинзбург. Заканчивалась статья грозным окриком-предупреждением А. Гинзбургу и его «приспешникам». «Не тем занимаетесь, идите поработайте. Труд — он и из обезьяны человека сделал, так что и у вас не всё еще потеряно».

Так жили поэты

Официально причисленный к бездельникам (а термин «тунеядец» пока ещё не вошёл в практику юриспруденции), я тем не менее регулярно отбывал часы на своей малой каторге, которая уже не казалась мне столь комфортабельной, как прежде. Зарплата замерзла на изначальной точке, премии меня обходили, и все это в купе давало повод для «тёщеньки» адресовать мне великосветские укоризны:

— Вы, Дима, типичный *papillon*!

Впрочем, почему я её ставлю в кавычки? Она ведь уже и была моя тёща. Как же я мог это запомнить? Прости, Наташка, забыл, забыл описать свою первую в жизни женитьбу! Да и твою ведь тоже. Ну, хотя бы коротко. Долгое ухаживание, решительное объяснение, заключительное: «Да!». Желая все устроить по-благородному, я обратился к тогда ещё закавыченной тёще:

— Ольга Ефимовна! Я прошу у вас руки вашей дочери.

— Вы просите руки у меня?

— Да, но вашей дочери Натальи...

— Ах, при чем же здесь я? Ну и просите у неё.

Вот так! Что-то вроде огурца, разрезанного неправильно. В общем, мы с Натальей решили, что с Таврической я не выписываюсь, но мы будем жить у них на Тверской. Благо что рядом. В малой комнате, где помещались тахта, письменный стол, два книжных шкафа и чучело волка. Обои я переклеил.

— В голубой цвет? Окно-то на север. Надо было — в желтый, оранжевый, кремовый...

Какое там венчанье! Меня бы устроил районный ЗАГС, но только что открылся Дворец бракосочетаний на Сенатской набережной, и молодым парам надо сочетаться только там. К тому же Гутов даёт новобрачным свой лимузину! Ну, что поделать: когда происходит испытание пышной пошлостью, остается лишь перетерпеть обряд.

Что ещё надо? Молодая взаимность... Только и разговоров что: «Ты меня любишь?», «А ты?»... У Натахи — преддипломная практика в Боровичах, а я-то уже инженерю. Как бы мне туда к ней смотаться? Сдаю кровь (за это полагается два дня свободных), беру ещё один за счёт отпуска, плюс выходной, но — вместо моей поездки туда она сама вдруг является навестить своего обескровленного мужа!

Нет, через неделю я всё-таки беру отпуск и приезжаю в Боровичи, мы снимаем картонный домик, беседку в саду, изо дня в день льёт ливень, Мста разливается, и мы сутками остаемся наедине — только и травим охотами любовного зайца.

Зато после — спокойные отношения. Она, правда, время от времени срывается, и — не по делу. Передний зуб у неё неправильно растет, она комплексует, по-деревенски закрывает лапой улыбку. Но красивая — до невозможности!

А мои стихи — о красоте: её, и не только её. Вот она и ревнует.

Промка. Знаменитая тройца, которая выпукло красовалась даже в известинском фельетоне. Лёня Виноградов, который в виде практической шутки культивирует своё сходство с молодым Сталиным: разворот в профиль, брюнетистая небритость. Он представляет Мишу Ерёмину. У того — наоборот, прямая блондинистая чёлка в фас, голубой банг, — он неофутурист.

Виноградов:

— У меня много гениальных друзей. Но всех гениальней — Ерёмин.

Правильно! Вот ведь и Пастернак, как сказывают, говаривал: «Надо гениальничать!» Что он имел в виду? А вот что: каждый раз прыгать выше головы, держать гениальность как рабочую гипотезу впереди следующей ненаписанной вещи. Только тогда она и получится настоящей.

Виноградов, максималист в оценках, в собственной поэзии — минималист, пишет строчками. Держится теоретиком, но пока придумал лишь лозунг, хотя и, возможно, подходящий для всего нашего движения:

*Мы фанатики, мы фонетики,
не боимся мы кибернетики.*

Слов тут мало, а смысла много: и самоутверждение, и противопоставление, и игра, и намек. Глубокомысленней этого — лишь футуристический лозунг: «Мы — умы, а вы — увы!»

Его моностихи держались на стилистическом абсурде, из которого сам собою рождался насмешливый смысл: «Марусь! Ты любишь Русь?» Или: «А в государстве Гана / есть богема? / А «Сцена у фонтана» / у них в искусстве тема?» Кто-то, видимо, упрекнул его в творческой миниатюрности, и он начал поэму, где в каждой главе описывалась... голова. Первая была лысым черепом поэта Азарова в бинокулярных очках. Не знаю, пошло ли дело дальше, но Виноградов вернулся к микростихам: «А Пастернак играет в шашки?» Или: «Читал Хрущёв Хемингуэя?» Он учился на юридическом, женился на актрисе, и эта комбинация подала ему идею написать для поправки финансов пьесу «Адвокат Ульянов», привлекая к тому и Ерёмину, и Уфлянда. Замысел казался обречённым на самый крупный официальный успех, тем более что надвигалось столетие основоположника государства. Но большой сцены пьеса не удостоилась — результат упомянутого фельетона! — и пригом поставила авторов в двусмысленное положение. Я как-то спросил у Ерёмину, не мешал ли ему официоз пьесы быть и оставаться неофициальным поэтом.

— Нет, — решительно ответил он. — Это как в анекдоте: мухи отдельно, вино отдельно.

А загуливали они круто, но весело, даже не без абсурдной шутки в самых мрачных обстоятельствах. Например, выпили, показалось мало. Не все ли российские истории так начинаются? Собрали пустые бутылки, Миша пошел их реализовывать, выйдя с двумя авоськами не в дверь, а... в окно! В результате — перелом обеих ног, инвалидность, всю жизнь ходит с палкой. Хорошо ещё, что квартира была всего на втором этаже! С гордостью Миша рассказывал позже, что бутылки в падении он уберёт:

— Ни одна не разбилась!

Для меня градус их веселья был высококоват. Но это ведь и неважно, всяк веселится по-своему. А за одну лишь процитированную в фельетоне и миллионно растиражированную «Известиями» «бухту Баракху» да ещё за вынесенную в заголовок другого фельетона строку «Боковитые зерна премудрости» Ерёмину причитается исполать от потомства. А сколько он ещё самоцветных словес нафилигранил!

Виноградов со своими однострочиями, как мне долго казалось, загрюк, забряк и закочумал, но нет! Дотянул-таки свой моностих аж до третьего тысячелетия, выпустив несколько минималистских сборничков, снабжённых таким же лапидарным, как стихи, шаржем работы Света Острова.

*Там в траве забвенья.
Там в траве забвенья.
Там в траве забвенья
камень преткновенья.*

Трудно о такую мысль не споткнуться, а споткнувшись, не поразиться монументальности этого микро-шедевра.

При тогдашних общениях друзья-поэты старались как можно скорей перейти на уровень мудрёного или абстрактного шуткования, по-сегодняшнему — стёба. На мой вопрос, кто как пишет стихи, Ерёмин ответил:

— Я — по утрам и с похмелья!

А Горбовский вместо того поведал мне доверительно верный способ, как с защитой в ягодицу «горпедой» скорейшим путем снова начать пить. Оказалось, что требуется на это, как в сказке, три дня. В первый день алкаш выпивает всего лишь одну чайную ложку пива, и то с молоком. Его выворачивает, колотит, покуда он не засыпает. На второй день — полчашки пива, и — те же последствия. Ну, а на третий день зато — пей чего хочешь и сколько влезет. Мне лично этот совет, к счастью, не пригодился, хотя и не отяготил сознания. Застрял в памяти ещё один эпизод. Я как-то за разговором засиделся у Рейна в его полквартире на Красной (Галерной) улице. Вдруг — звонок в дверь, вошел Горбовский:

— Ребята, у меня новость. Лидка родила дочку. Есть у вас чем-нибудь это дело отметить?

Он был женат тогда на Лиде Гладкой, геологической поэтессе. Но отметить, увы, было нечем. Глеб нас тут же утешил:

— Ничего, я уже отметил. Достал трешку на букет, а сам пропил её, как скотина. Ребята, неужели не найдется на цветы для Лидки? Это ж позор будет!

На цветы даже у Рейна нашлась какая-то мелочь. Я оставил себе пятак на автобус, высыпал Глебу на ладонь остальное. Он сам покопался у себя в карманах, добавил. Получилось рупь сорок девять.

— Ну, спасибо. Я пошел.

Я тоже заторопился домой. Мы вышли вместе.

— Это который же час? Без пяти десять? Чуть не пропустил. Ведь у «Водников» закрывают ровно в десять!

И он помчался по направлению к площади Труда. Рубль сорок девять стоила тогда маленькая водки. Каким-то образом всё это не мешало ему писать постоянно, «каждый секунд», помногу, накапывая стихи авоськами, служившими для всего: как для покупки хлеба и мороженых пельменей, так и для сдачи стеклотары. Однажды мы столкнулись в Книжной лавке писателей:

— Ну, что? Как?

— Гостил у отца в деревне два месяца.

— Что делал? Скучал?

— Нет, на целую книгу стихов понаписал. По два, по три в день. Впрочем, кому это я говорю! Ты ж каждое слово отдельно выписываешь, каждую букву шпифуешь. А я-то: 40, 50 в месяц! — закончил он то ли виновато, то ли горделиво.

Нет, я себя считал способным на длительный разгон, но не на такую сверхпродуктивность, конечно. Тут уж скорее Виноградов с Ереминым были ему противоположны, и Уфлянд тоже, а я лишь оказывался на их стороне. В то время я увлекся «Дневниками» Жюль Ренара, найдя в нем французскую аналогию нашему Олеше, которого после укоров Аркадия Белинкова я стал почитать меньше.

«Стиль — это всего лишь нужное слово», — писал Ренар, и даже в переводе его точные, ёмкие метафоры насыщались единственным содержанием — рефлексией всех его чувств, и прежде всего — вкуса, причем литературного. Правда, и он трепетал перед многопишущими гениями и называл их литературными волами. Но в конце концов признавал, что лишь урывки являются частью истинного художника. Стало быть — что? Продуктивность противоречит художественности?

В какой-то степени — да: многопишущий Горбовский, когда настал его час, оказался легким материалом для редактора из «Совписа», который высыпал из авоськего рукописи и, отхватив прочь легенду о ярком бунгаре, скроил из оставшегося материала умеренно одарённого советского поэта, члена Союза и Литфонда.

Но нет, не могу я на этой ноте закончить разговор о Горбовском. Мы с ним не раз ведь встречались: и у него, и у третьих лиц, и, случалось, на совместных выступлениях. От меня и моих сверстников отделял его прежде всего возраст и житейская «стрельность» воробья, которого на мякине не проведешь. Он был на пять лет старше, и ему, может быть, попросту надоело мыкаться в переростках среди нас, все ещё молодежных неофициалов, у запертой двери в литературу.

Доверительней всего он бывал у себя дома, я посещал его, кажется, по двум из его адресов: на Васильевском острове и на Пушкинской улице, и в обоих местах это были пролетарские коммуналки с картинной бедностью, будто поставленной МХАТом для горьковской пьесы. Глебова комнатуха на одного вполне отвечала общему стилю горькой насмешки над бытом: на окне вместо занавески — женская юбка, водка — в лучшем случае из захватанного стакана, а то и из мыльницы. Окурки, торчащие из консервной банки... Словом — берлога, логово алкаша. Но эстетика — цельная, уличная, даже плебейская, не без кабацкой ёры ярыжной, с кивком, конечно, на Серёжку Есенина. И в нём самом, и, что важно, в стихах всё это было естественно, как желание опохмелиться с утра. Простонародный и, в сущности, целомудренный стыд перед красивым, как перед неприличным, нашёл ему многих приверженцев, чующих — свой.

Так, вероятно, и было (и есть), но Глеб Горбовский сложнее и, да будет позволено выразиться, двойнее: лицо своей личности он сделал литературной маской, прикрывающей что-то, кого-то, — возможно, ранимого лирика. Возможно... Или — холодного профессионала. Но он играет себя — здесь упор не на слове «себя», а на «играт», что и слывет искусством.

Юный Бродский

Найман относит своё (и, стало быть, наше) знакомство с Бродским к 58-му году, но говорит о возможной ошибке в полгода, по моим прикидкам это и должен быть 59-й, никак не раньше, а может быть, и позже. Другое дело — Рейн, загода перед этим оказавший внимание нервному, распираемому вдохновением и тщеславием юноше. Он забавно рассказывает, как того не понимая, отвергали в компании Швейгольца-Мельца-Ентина-Славинского, из которых двое последних жили с мо-

лодыми жёнами, снимая квартиру где-то на Разъезжей. Или нет — в Ново-Благодатном переулке, это подтверждено. Рейн к нему расположился и поддержал, сняв себе отзыв в душе памятливого юноши. Видимо, тот внимал ему бурно, а Рейн мог выступать и перед единственным слушателем.

Так когда это было? Людмила Штерн для своих воспоминаний запросила Славинского и его ответ процитировала: «Познакомились мы с Иосифом летом 59-го на Благодатном...» Стоп-стоп! Так цитировать некорректно: взяла, да и переправила дату внутри кавычек... Я запросил того же Славинского, и он, чтобы не возиться, прислал ксерокопию этого же письма со справкой для Штерн. Там было написано: «Познакомились мы с Иосифом летом 60-го...» Так, может быть, он путает? Я позвонил ему в Лондон, и как раз вовремя: у него гостил приехавший из Парижа Лёня Енгин — два друга вспоминали минувшие дни. Оба подтвердили эту дату, а Енгин еще и добавил, что он-то и привел Иосифа на Благодатный, познакомившись с ним в литобъединении при газете «Смена». Этим ЛИТО руководил тогда Юрий Верховский, человек из органов, — возможно, всего лишь печатных. Итак, лето и осень 1960-го...

В ту пору я там не был, иначе бы пересекся с Бродским раньше, но людей этих знал хорошо. Поездку со Швейгольцем в Крым я описал здесь чуть раньше, в то время он сам был полон честолюбивых планов по части математики или/и музыки (этот дробный знак я заимствую из экономного английского), но планы его провалились. В своих способностях он был уверен и объяснял неудачу антисемитизмом. Я бы добавил сюда и его максимализм: в ЛГУ его по математике не взяли, а в Педагогический он сам не захотел. Прежде чем загреметь в армию, он познакомил меня со Славинским, с которым мы хорошо задрружили с тех пор.

Горбоносый и смуглый, тот был похож на ворона, летающего над крупорушкой нашей жизни. Залетелон из Киева да и завис в Питере, для начала поступив в Холодильку, куда кондором спланировал и Рейн, вернувшийся из экспедиции на Камчатку. Славинский занимался «холодильными делами» спустя рукава, они ему претили, и он бросил учёбу совсем. Он женился, хотя б и питаясь одним воздухом, на Гале Патраболовой (её сокращенно звали все Болова), нежноликой и нежно лепечущей блондинке с фигуркой Евы и, что было нелишне, с ленинградской пропиской. Тем не менее молодожёнам жить было негде, и они в долгу с Енотом и его Эллой Липпой сняли какую-то «хату» на Разъезжей. Нет, не на Разъезжей — на Благодатном! Многоспособный Славинский воспринимал, не уча, языки, в библиотеке погружался в мир польских журналов, откуда извлекал множество захватывающих сведений о жизни на Западе: литературные моды, культурные сенсации, стиль. В польских перспективах фигура Марека Хласко заслоняла весь свет, но в его тени все ж отнюдь не тонули, барахтаясь, Беккет с Камю, а движение битников, пожалуй, затмевало даже и Хласко. Тем более что сам Ефим Славинский, которого кликали тогда не «Фимой», а «Славой», ходил у нас за битника No 1. Он говорил исключительно на молодёжном сленге, превозносил экзистенциализм, но во-время останавливался, не доходя до «Тошноты» Сартра, и мы неожиданно сошлись, посчитав пробой и мерой нашего литературного вкуса стихи Наймана, или, как он выражался, «мы оба заторчали на Толиной «Пойме»... Годами позже, в Москве, когда Найман познакомил нас по отдельности с образцами своей новой прозы под странным названием «Рукопись», мы со Славой опять оказались единодушны: она ближе всего стояла к нашему идеалу — «Четвёртой прозе» Мандельштама. И потому мы нарекли её в наших дальнейших беседах «Пятой прозой».

Тогдашние стихи Иосифа не могли произвести большого впечатления на эту команду интеллектуальных бездельников, которые хоть и не карабкались на Парнас, но в подобных делах ведали толк и вкус. Ентин-Енот, Мельц и Хвост экзистенциально ловили кайф, и что-то им было не в жилу, не в масть в юном поэте, чтобы признать его за гения. Аронзон с Волохонским сами наведывались к ним с малого Парнаса, а с большого, вот, Рейн. Да и меня они звали Деметром (Ди-мэтром). Славинский был связью, даже внешне походя на латунного Меркурия: черен, худощав, он умел чувствовать и потенциал, и слабинку. Покритиковал юношу: «Много воды и ложного пафоса», но и Нобеля предсказал как достижимый ему уровень качества, ежели тот постарается, конечно.

На Меркурия — да, но смахивал и на химеру, ту самую, что сидит на свинцовой крыше на правой башне Парижской Богоматери и смотрит на Новый мост, по которому все мы многократно прошли: маленькая Наташа Горбаневская, толстая Кира Сапгир, мы с Кублановским под мухой, Енот с Хвостом, оба под кайфом, а вот и Жозеф, еще живой, но уже и не моложавый.

Его так стали называть с момента появления в этой компании, потому что тогда на слуху были у всех африканские страсти, которыми развлекались газеты: прогрессивный Патрис Лумумба, антигерой Жозеф Чомбе, полковник Менгисту Сесе Секу... Это ведь даже не кличка, а версия имени. Но прикладные эффекты его манеры, такие, как форсированное чтение, картавость, не скрывали в стихах общих мест и даже не то чтобы литературно-книжного, а просто никакого их языка — языка переводов с подстрочника.

Бродского я увидел впервые в Промке на выступлении Наймана. Пришли, как всегда, члены ЛИТО и слушающая публика, довольно много против обычного. Решили перейти в соседний зал, и напрасно: во-первых, публика расселась, зияя, по всему залу и потеряла спайку, а во-вторых, там над сценой висели ни к селу ни к городу пропагандистские кумачевые тряпки с лозунгами «Плюс химизация!». Это была хрущевская поправка к известной ленинской формуле коммунизма.

Зазвучали благородные стихи, исполняемые в благородной, чуть замороженной манере. Найман стоял прямо, глядел вполоборота. Оранжево поплыли образы осеннего Павловска, редющего клена, остывающей любви, уже проколотой игольчатым холодом разлуки. Точно, тонко, четко, первоклассно!

Аплодисменты. Заслушавшись, с трудом возвращаешься мыслями в зал. Звучат довольно предсказуемые взвешенно-критические речения друзей. Рейн — о предметности. Авербах — об органичности. И я быстро ишу слова, готовясь к высказыванию. Меня увлекает параллель всего, только что прочитанного и услышанного, с «Козлиной песней» Константина Вагинова. А именно — перевёрнутость нашей ситуации по отношению к той, из романа. Там — поэт, выпустивший несколько сборников, ищет укрытия в безвестности, даже в безумии. Здесь — звучащий, как классик, известный в своей среде поэт, наоборот, не напечатал ни строчки... Пока я придельваю коду этому ещё не произнесенному суждению, кто-то уже высказывается, выйдя к сцене. Голос с картавничкой, говор быстрый, бесвязный. Трудно понять — что-то про химизацию, словно бы реплики его оставались висеть со вчерашнего собрания в этом зале... Что он такое мелет? Химизации не хватает в стихах, недостаточно, мол, её приплюсовано?!

Нет, не из комсомольских деятелей — слишком юн, даже зелен, и рыжевато-рус, одет кое-как, но все-таки в тон... Значит, просто-напросто себя перед публикой кажет. Раскраснелся, жестикулирует. Но что это он опять, уже в другую сто-

рону, — предлагает сорвать кумачи с поэзии?.. Сбился совсем, смешался, закончил. Мне уже расхотелось выступать, прения закрылись. Но народ не расходится. Что мне напоминала эта сумбурная выходка, уж не Хромова ли на вечере в Горном? Точно, Боженьку Хромова с его геологическими молотками!

Эра Коробова просит меня:

— Пригласи этого юношу к нам после чтения. Его зовут Иосиф. Да, Иосиф Бродский.

— Как? Несмотря на всю чепуху, что он тут намолол после стихов твоего мужа?

— Что ж, он молод. Но зато — примечателен. Пригласи, я прошу.

— Ну, а меня-то ты приглашаешь?

— О чем ты спрашиваешь! Ты же наш друг...

Подхожу к этому странному выходцу из молодежи, уже зная, как его зовут. Думаю, знает и он обо мне, так что знакомиться не нужно.

— Простите, мне показались ваши демарши излишни. Найман — прекрасный поэт и мой друг, и вряд ли стоило перебивать настроение от его стихов замечаниями по поводу лозунгов. Мы оказались тут, в этом зале, непреднамеренно.

Видя его готовность возражать, я опережаю его:

— Впрочем, это уже неважно. Вы всё-таки произвели впечатление. Наши дамы желают вас пригласить, чтобы вместе отметить сегодняшнее событие. Вы придете? Отлично! Адрес: улица «Правды», 12, квартира 5. На углу, извините, с Социалистической.

На вечеру у Эры и Толи он был уже очень мил и, общаясь, просто светился от удовольствия. Я пригласил его заходить ко мне на Тверскую.

Юный Бродский (продолжение)

И что же? Без телефонного звонка прикатил в промозглый холод, втащил велосипед на третий этаж нашего с Натальей Тверского жилья, и — куда ж его, колёсного, теперь деть? В комнату ведь негоже, в тесном коридорце будет не пройти, останется загромоздить лестницу — авось не сопрут. Да кто сопрут? Не драматург же Рошин, живущий выше: чай, не сценическая фабула...

Ну, отвлеклись наконец от этой суеты, заговорили о стихах, о поэтах. О Цветаевой: какая мощь, сколько движения, страсти! И — ревнивой несправедливости в любовных стихах... Ну и что — поэт всегда прав! По крайней мере там, где неправота его ведет к шедевру. И ему и мне такой оборот мыслей нравится, ведь мы оба — поэты. А может ли поэт быть дурным человеком? О! О!! Примеров слишком много, чтоб их называть. А как же пушкинская формула о гении и злодействе? Да сам Александр Сергеевич разве не злодей был по части дам хотя бы?

В разговоре он не так сумбурен, как при недавнем злосчастном выступлении, но про то и не вспоминаем. Он уже быстрее подыскивает слова, но все же экает, мекает, хватается за голову, наконец выпаливает словесную формулу — иногда совершенно нелепую, усмеяется как-то внутрь себя, улыбается восхищенно-умильно на удачную реплику собеседника.

Иронизирует (наденось): вот придет он из экспедиции — конечно, с кучей денег, снимет комнату. Понапишет там столько стихов, что со стола рукописи будут соскальзывать вниз, заваливая пол. Потом будет лежать на тахте, исписывая и роняя новые листки, рассматривать на ноге жёлтый, как солнце, ноготь, в то время как литературоведы и критики будут ползать внизу на четвереньках и, схватив оче-

редную бумажку с возгласами: «О, это шедевр!», станут, привстав на колени, зачитывать его вслух.

Однако! Но пока в том, что он читает из своего, настоящих удач, кроме авторской уверенности в них, не замечается. Даже редкие, с преувеличенным тактом произнесенные замечания он воспринимает недоумевая.

Я читаю ему тоже: «Девочку Наталью», «Где ты бываешь», «Вот солнца луч», «Земли-планеты населенный глобус», что-то ещё... Некоторые стихи ему уже знакомы. Как? Самиздат уже действует...

Ему явно нравится у нас с Натальей, но пора уходить — верней, уезжать на велосипеде в холодный сумрак, в промозглость, а одет он легко. Я сую ему из одежды что-то тёплое, шерстяное. Нет, ни за что! Решительно отказывается то ли из гордости, то ли из эстетства: пуловер-то ярко-синий, а этот цвет ему не идёт. Носил он хоть мягое и не новое, но в табачных, коричневых, желто-зелёных тонах.

Побывал и я у него на углу удушенного Пестеля и летейского Лигейного: вход в коммунальный, но сравнительно опрятный коридор, и — налево, там уже домашнее жильё, убранное и ухоженное, — просторный куб комнаты и темноватый закут. Комната служит гостиной, столовой и родительской спальней, о чём свидетельствуют обширная кровать чешского гарнитура, хранительница отгадок к некоторым неожиданным строкам молодого поэта, прочный дубовый стол и старинный буфет с горками тарелок и чашек, с сине-белыми блюдами и подносами, стоящими на ребре. С этого натюрморта начнется интерьер и ландшафт, упирающийся в бесконечность его «Большой элегии Джону Донну», но до неё ещё надо освоить немало. Позже литературоведы, которых Жозеф уже тогда презирал, приделают ему «царственную» родословную, и Пушкин в ней будет числиться ещё самым младшим среди «великих латинян», но осваивал он в те времена то, что было значительно ближе. Шероховатых Слуцкого и Горбовского, ни за что не желающих «говорить красиво». Рейну следовало текстуально, повторяя вполтона его рефрен.

Примеры? Вот они, замеченные даже Кузьминским в его «Лагуне».

Рейн:

*За 4 года умирают люди, умирают кони,
выживают люди, пишутся законы.
За 4 года на моих рубашках
до конца не выгорит клетки знак оранжевый...
Приезжай обратно за 4 года. (1956)*

Бродский:

*Через 2 года высохнут акации,
упадут акции, поднимутся налоги.
Через 2 года увеличится радиация,
истреплются костюмы... износятся юноши...
Мы с тобой поженимся через 2 года. (1959)*

Преодолевал он и Наймана, поставив себе задачу написать не только не хуже, а и лучше лучшего, что было тогда у него, — «Поймы». И написал «Сад», на тот же примерно мотив, что и Найман, и тоже с библейским подъемом.

Найман:

*Всем, что издревле поимела
обильная дарами пойма... (1957).*

Бродский:

Великий сад! Даруй моим словам... (1960).

Положим, тут у обоих наличествует и Баратынский, и Иосиф применяет его в качестве инструмента, чтобы одолеть Наймана. И он действительно перебарывает старшего друга и ментора в тот уже отлетающий в прошлое момент, не учитывая, впрочем, что Найман и сам уже пишет иначе и лучше.

То же и тут: «Со мною девочка идет Наталья...» Он отвечает по-своему: «Девочка-память бредет по городу...», посвящая эти стихи мне и тем оправдывая опробывание меня — к его чести, без тогдашних моих никчемных диминитивов. Что ж, это было щедро и мило, и я надолго оказался ему одолжен, пока не написал ответное стихотворение сразу на два — его. Боюсь, мое посвящение дошло до него уже за пределами нашей дружбы. А вот в стихах: «Теперь всё чаще чувствую усталость, / всё реже говорю о ней теперь, / о, промыслов души моей кустарность, / весёлая и теплая артель» — я вижу оперирование лучшим, чем я тогда оперировал, и в этом опять же была проба — мол, могу ли я написать так, как он, и даже сверх? Мог. Да, но «он», то есть в данном случае «я», и сам менялся. А имело ли это какое-то значение для солипсических самооценок Иосифа, который вступал тогда на свою стезю и, несомненно, переживал осознание высокой миссии? Скорее всего, я существовал лишь в моменты его интереса ко мне.

Его мать Мария Моисеевна приняла меня радушно, сразу же предложила блинчики с творогом, — правда, я тогда отказался. А встречала всегда хорошо, как своего, улыбаясь даже после нашего разрыва с её сыном. И — рассказывала о нём том, из детства, свои легенды, зная, что я их запомню.

Первый класс школы. Ранние уроки русского языка. Учат по букварю даже не «Мама мыла раму», а самые начальные буквы. Ося заболел, пропустил много занятий. И вернулся как раз к контрольной: написать надо было слово «КОНЬ». Конь! А — как?! Он собрался, напруг из последних сил все мыслимые и немыслимые возможности и — всё-таки написал. Но тут же сомлел, и случился с ним обморок. — Всё же оседлал он своего коня... — сказал я тогда его матери и вспомнил, конечно, стихотворение, которое написал Иосиф в период наших частых общений, — странное, романтическое и даже демоническое, которое он читал, прямо заходясь голосом:

*В тот вечер возле нашего огня
Увидели мы чёрного коня...*

В нем нагнетались мрачно повторяющиеся образы наружной и внутренней черноты и была зловещая, многозначительная концовка:

Он всадника искал себе среди нас.

Всё-таки конь нашёл своего всадника, и тот его оседлал...

Александр Иванович, отец, тоже принял меня хорошо. В первый раз, когда я был у них, он вошёл с улицы в морской шинели без погон, что напомнило мне не только об отчине Василии Константиновиче, но и о месте, где все мы жили: ведь, помимо царской столицы, это был морской порт, Балтика. У него тоже, как у моего отчима, видимо, были какие-то утопические планы относительно «спасения» сына. Узнав, что я инженер (и, конечно, поэт, но это интересовало его меньше), он горячо и сумбурно-тревожно заговорил:

— Вот, вы инженер, убедите его... Как можно так жить? Ведь не учится, не работает! А мы с его матерью...

— Отец, хватит! — оборвал его Жозеф и, уводя меня в свой закут, тихо, но внятно произнес:

— Сед, как лунь. И — глуп, как пень.

Этот афоризм дальнейшего хождения через меня не получил, но вспоминал я его не раз, когда приходилось иметь дело с поколением наших отцов и отчимов, которые всегда и в точности знали, как нам жить. Правда, и Жозеф не мог на «копей» своих жаловаться: блинчики с творогом у него всегда оказывались на столе, мать перед уходом рубашку в тон выдавала, воротничок поправляла, отец вот свою пишущую машинку ему в закут поставил. А мне мою тещеньку, между прочим, каждый раз приходилось просить о машинке. Конечно, он был зависим, но свободен, в отличие от меня, имевшего обратную комбинацию тех же свойств. Школу бросил, когда надоела чушь, которую порет учитель. Работа? Последняя была в монтажной бригаде на заводе «Арсенал». Ему нужно было лазать в трубы, проверять их после сварки. Однажды он сошел с трамвая: завод был в одной стороне, а солнце встало с другой — огромный красный диск. И он пошел в сторону солнца.

Отец не оставлял своей идеи трудоустроить сына: нашёл ему работу на маке. Романтично, не правда ли? Нет, через день он ушёл. Я изумился:

— Что ж может быть лучше? Сидишь один. Светишь. Пишешь стихи...

— Если бы так! А меня этот моржовый поц в отставке пытался заставить лестницы драить...

— Кто-кто?

— Да отставной боцман, смотритель. А я ведь не поломойка.

А как же армия, военкомат? Как они упускают такого здорового парня? Оказалось — здорового, да не совсем. Белобилетчик. В дальнейшие вопросы я не вдавался, это считалось деликатной сферой, где каждый «косил» от армейской службы по-своему, я придумал лишь рифму на слово «белобилетчик» — «было бы легче»...

Выражение, пришедшее из будущего, — «невynosимая легкость бытия» наваливалась на каждого из нас. Нуждаясь друг в друге как слушателях и ценителях стихов, мы для того и встречались, и не только по своим домам, но и у пишущих друзей — Наймана, Рейна, Авербаха. Стала прорезаться Люда Штерн, собирая порой общество у себя. Она предложила мне выпустить машинописный сборник стихов, и он тиражом в 5 экземпляров вышел под названием «Партига», потому что в памяти у меня в ту пору непрерывно звучала баховская «Партига No 6» в исполнении Глена Гульда. А остальные экземпляры, недостающие до нормальных издательских 10 тысяч, я практически начитывал людям устно. Иосиф мечтал выступить в сопровождении джаза и ностальгически восклицал в стихах: «Играй, играй, Диззи Гиллеспи...» Мы, все четверо, а порой и в расширенном составе, стали читать полуофициально в разных местах и разных комбинациях друг с другом: Математический факультет, Кафе поэтов, преображённое из столовой, Институт каких-то высокомолекулярных соединений. Некоторые из сочетаний бывали забавны...

Так, однажды Толя меня зазвал выступить с ним в Доме архитектора одной командой со Степаном Исаакином, укротителем крокодилов, с его удавом и клоуном Енгибаровым. Появились приверженцы и поклонницы, — «львы и гимнасты», цитируя позднего Наймана. Минна Попенкова, приятельница Гали Наринской, распространяла мои стихи по Москве. Она приехала в Ленинград, и надо было уделить ей внимание. Наташа моя жутко меня взревновала, и в нестерпимой обиде я уходил в бывший мой дом на Таврической, писал горький «Романс» о душе, которая «лежит и лечится бедой», а Наталья в слезах уводила меня обратно на Твер-

скую, куда Иосиф позднее привез стихи «Дорогому ДБ», первые же строчки которых резанули приговором: «Вы поёте вдвоём о своем неудачном союзе»... Ведь мы уже помирились и союз мне казался навсегда восстановленным! И потом — она ему, оказывается, «пела», жалуясь на меня!

На этот счёт Жозеф излагал мне отдельно свою бравурную философию:

— Настоящий мужчина должен быть брутальным.

Или:

— Настоящий мужчина должен переболеть триппером — хотя бы ради верного взгляда на женщин.

Или:

— В уборной человек отделяет Я от не-Я.

Или (возможно, цитируя кого-нибудь из великих джазистов):

— «Я и мой саксофон остались вдвоем. Так чем же мы не компания?»

И — зажигал спички об откуда-то перепавшие ему американские джинсы.

Признаться, не все положения этой философии мне подходили, но спички зажигать о седло у него научился.

Однажды после работы я задержался на приёме у зубного врача. Я следил за собой и, желая нравиться моей миловидной жене, не пренебрегал визитами к дантисту, хотя бы для профилактики. Вернувшись, я услышал почему-то не от Натальи, а от тещи:

— К вам заходил уж не знаю кто — ваш друг? Приятель? На письменном столе он оставил вам записку.

В пишущую машинку, выпрошенную накануне у тещи, был вставлен лист бумаги с таким знаменательным текстом (восстанавливаю по памяти):

Деметр!

Пока ты там ковырялся в своих жёлтых вонючих зубах, я написал гениальные стихи. Вот они:

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров...

И далее весь текст. И — подпись от руки: *И. Бродский*

Первый вопрос был: “жёлтых... вонючих...” — можно ли посчитать это, хотя бы с натяжкой, за дружеский юмор?

Второй вопрос: Сколько времени на глазах моих близких (недоброжелатель) красовалась его паршивая и плоская шутка? Я скомкал листок и бросил его в корзину.

Жозеф исчез надолго.

Украдено у...

Здесь, по-видимому, требуется разъяснение, которое я, несмотря на потерю темпа повествования и со значительным колебанием, вставляю из более поздних времён.

Стихотворение «Ни страны, но погоста», будучи (на мой вкус) не самым лучшим в его наследии, тем не менее стало культовым для поклонников поэта, они

поллюбили его настолько, что даже вознамерились поставить памятник Бродскому на Васильевском острове, чтобы таким образом исполнить его невыполненное обещание прийти туда умирать. Я стал обладателем рукописи стихотворения, наверное, в тот день, когда оно было написано.

Заканчивая предыдущую главу, я был совершенно уверен, что содержимое корзины отправилось в мусор, и, таким образом, рукопись стала жертвой моей досады на автора. У меня сохранилось несколько других автографов Бродского, но этого стихотворения среди них нет, и я предположил, что тот лист был уничтожен. Однако дело оказалось сложней.

В 1979 году я покидал Советский Союз и был уверен, что навсегда. Хотя я уезжал, не теряя гражданства, мне пришлось пройти все те же процедуры, что и остальные эмигранты, включая строжайший таможенный досмотр и личный обыск. В то время существовало множество ограничений: вывозу не подлежали старые книги, документы, ценности, у некоторых отъезжающих отбирались записные книжки с адресами и телефонами, фотографии. Поэтому я свой архив частично раздарил, а наиболее дорогую мне часть передал на хранение доверенному лицу, надёжному другу. Этот человек прошёл испытание брежневским Гулагом, поддерживал меня в тяжёлое время перед отъездом, и ему я доверял полностью. Но, как выяснилось, напрасно.

Через десять лет я вернулся в Ленинград на побывку, и с тех пор стал ездить сюда ежегодно. Естественно, я захотел получить свой архив назад. Но каждый раз, когда я его запрашивал, у доверенного лица находилась отговорка. В архиве хранились мои старые записные книжки, которые мне позарез стали нужны для этой книги, я начал настойчиво требовать и, наконец, получил заветный чемоданчик. Опись я в своё время, увы, не составил, поэтому, хотя и смутно сомневаясь, посчитал, что вернулось всё.

И вот вышла эта самая книга, которая получила некоторый критический резонанс. Что и неудивительно, в ней попадаются нелюбезные описания, а многие участники былых событий живы, и у них есть собственный взгляд на вещи. Кроме того, по словам некоторых читателей, отдельные детали оказались неточны. Например, я написал, что после моего разрыва с Бродским у него остались две книги: Экзюпери и Дос Пассос, которые я ему дал почитать, а теперь их уже не вернуть — собственность музея. Музейные работники меня поправили: Экзюпери, действительно, есть, а Дос Пассоса нет. Возможно, это абберрация памяти, но могут быть и другие объяснения. Помню только, что книгу ему давал, а она не вернулась.

Позвонила мне и жена доверенного лица, увы, теперь покойного. У неё тоже нашлись замечания к моему человекотексту, правда, совсем небольшие. Я, оказывается, не совсем точно процитировал записку Бродского, сопроводившую стихотворение „Ни страны, ни погоста”: он назвал свои стихи не «гениальными», а немного иначе. Но как же она могла знать точный текст, если рукопись утрачена? Ответ может быть только один — утрачена, но не уничтожена. Вернее, утрачена у меня и присвоена хранителем. Тогда остаётся ещё один вопрос: почему же я так ясно помню, как скомкал листок и бросил его в корзину? Потому что это так и было. И память, снова включившись, подсказала мне продолжение. Я тогда подумал секунду и решил, что время покажет и я, может быть, получу какое-то удовлетворение от этого листка. Я вынул его из корзины, расправил и забыл среди своих бумаг. Дальнейшее известно.

У некоторых библиофилов был такой обычай, — они наклеивали на свои книги экслибрис с надписью „Украдено у...“ И дальше ставили своё имя. Это, конечно, не очень учтиво по отношению к возможным читателям, но суть дела передаёт совершенно точно.

„Украдено у...“, — на многих утраченных рукописях такая надпись незримо присутствует.

Ну, а теперь перелетим обратно в начало шестидесятых.

Московские звёзды

Прошел слух, что в Ленинград приехали — ну, все-все новейшие московские знаменитости, полупризнанные властями: Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Окуджава, а с ними и ряд прославленно-признанных, что было куда менее интересно. Надо сказать, что первые своим половинным признанием дорожили и пользовались, даже его умело продлевая, ради своей растущей за мыслимые пределы популярности. Их уже баловали привилегиями системы, а они принимали их, естественно, как плату за талант и труды, очень, конечно, немалые, но перед выступлениями неизменно накладывали тень гонимости, как грим на лицо, и публика их за это еще крепче любила.

Приехав, они расселились по люкс-номерам привокзальных гостиниц и объявили смотрины местных талантов.

У Беллы было трезво и чопорно, она и сама этим тяготилась. Почитали. Послушали голосовые гилянды и трели её вдохновенной, велеречивой поэмы о предках (даже, на удивление, итальянских), чья миссия благополучно завершилась рождением Беллы. Из примыкающего покоя выглянул на минуту её новый муж — коренастый, густо седой со сморщенным лицом и цепкими глазами: писатель Юрий Нагибин. За его раннюю повесть «Трубка» сам Сталин подарил ему свою... трубку? Может быть, свою Премию? Нет, но явно — своё расположение: эта повесть звучала без конца по радио, оставаясь высокой меркой и в после-, и в анти-сталинские времена. Написал несколько свежих рассказов, чего от знаменитостей и не требовалось. И — без счёту киносценариев, которые ставились, шли в прокат и орошали из золотой лейки их с молодой женой вертоград. Оглядев посетителей, исчез в проёме.

Евтушенко. Помещение поскромней, но народу побольше, чем у его бывшей жены. На столах накиданы листы черновиков с минимальной правкой: видно, что пишет единым духом сразу по нескольку строф. А самого — нет. Угощаться тоже нечем. Наконец является: высокий, в светлых брюках и ярко-красном пуловере.

— Какой интересный свитер на вас, Женя! — замечаю я на правах «старого знакомого».

— Свитер? У меня их полно. Смотрите...

Внимает из шкафа один пёстро-шерстяной предмет, швыряет в мою сторону. Не в меня, но так, чтобы я мог поймать. А я не собираюсь ловить, и вещь падает на пол. Ещё, ещё и ещё одна. Найман смотрит на меня одобрительно. Так эта куча и остается лежать на полу.

— Ну, почитайте лучшее!

Моложавый мастер слушает рассеянно, с сочувственным интересом смотрит лишь на старшего среди нас, Горбовского, читающего стишок про циркового ослика, у которого «кульками уши».

Служит ослик, как я, искусству.

— Сколько уж лет этот «Ослик» остается его самым лучшим! — замечает мой язвительный друг.

Что ж, он в этот момент прав. Пора бы и грохнуть чем-нибудь поувесистей. Но «Фонарики» еще под спудом, а «Квартиру No 6» и «Мертвую деревню» Глеб тем более читать не решается. Вот «Ослик» и вывозит...

Теперь уверенно выступает Сам: он знает, как здесь, в этом городе, тяжело пробиться в печать, и дело даже не в сталинистах, их время вышло. Но появляется новый тип бюрократа — молодой приспособленец, мальчик «чего изволите». Вот они-то, эти «мальчики», и задерживают прогрессивные преобразования в обществе. Он сам только что выпустил свою одиннадцатую книгу стихов, но не ради славы — зачем ему она? — а ради того, чтобы у нас вышли наши первые...

И он читает стихи, в которых «волком выгрызает бюрократизм». До первых книг у нас еще годы и годы...

У Окуджавы номер — как театральные кулисы. Обстановка непринуждённая. Стол с винами, диваны. Здесь хорошо, я чувствую, что хозяин меня как-то выделяет из прочих — быть может, в ответ на мою раннюю к нему приязнь. Впрочем, тут все — его поклонники, но мои стихи ему интересны, он то ли вслушивается, то ли вглядывается в их образы. Он обращается ко мне на «ты», остается отвечать ему так же.

— Что ты сейчас пишешь, Дима?

— Я бьюсь над одной небольшой вещью — назовем её условно «Портрет с учениками». В центре — лицо седой дамы. Ты, вероятно, слышал о нашем знакомстве с Ахматовой?

— Да, слышал что-то...

— Так это она. А вокруг нее — четверо, молодые лица. Вообще-то портрет — это статичный жанр, но тут все дело в том, кто куда глядит. Она-то смотрит вдаль, один глядит на неё, двое — друг на друга, а оставшийся — внутрь себя.

— Как у Генриха Бёлля: «Групповой портрет с дамой».

— Да, но дело в этих разнонаправленных взглядах...

— Я это понял. Интересно.

— Правда, нравится? Если через месяц не пришло тебе готовое стихотворение, бери этот образ себе.

— Договорились.

В большую, как сцена, гостиную заходят новые люди. За портьерами еще одна комната, там растерянно стоит молодая женщина в шубке. Я обращаюсь к ней:

— Вам, наверное, жарко? Давайте мы куда-нибудь эту шубу повесим.

Она вдруг выпаливает:

— Слушай, ты ведь Дима Бобышев, муж Наташки Каменцевой?

— Ну да, предположим...

— Мы с ней вместе в школе учились, в соседних классах... Слушай, я не могу снять шубу, на мне ничего нет. Муж все мои платья в шкаф запер, а ключ взял с собой.

— Зачем?

— Чтоб я к Булату не сбежала. А я уже здесь. Шуба-то на вешалке висела. Дим, позови мне сюда Булата, а?

В это время в гостиной раздаются гитарные аккорды. Булат пытается из посетителей организовать хор:

*Не бродяги, не пропойцы
за столом семи морей...*

— Ну, все вместе:

*Вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!*

А женщина эта — за портьерой, прямо как в оперетте... И я это один знаю! Даже забавно...

— Булат, тебя там спрашивают...

— Подождут.

Пока я был «за кулисами», появился еще один гость — Андрей Вознесенский, который теперь сидит на диване, гордясь собой и... пришедшей с ним девушкой. И есть чем гордиться! У нее матовое лицо, спокойные черные «оки», чуть сонный вид. В общем, если она не Джекки Кеннеди, то, значит, это существо — её филологическое совершенство Ася Пекуровская.

Разбредив свои чувства, любящий Наташкин муж отправился домой на Тверскую...

На следующий вечер гигантская толпа осаждала Дом актера на Невском. Редкое явление — конная милиция усмирляла страсти. Бочком, бочком, но в своем ведь праве, с контрамарками, мы с Натальей пробрались в зал — разумеется, переполненный. В соседнем ряду я увидел вчерашнюю «опереточную» знакомую, уже не в шубе на голое тело, а в платье с огромным вырезом. Она сделала мне страшные глаза, чтоб я ее не узнавал. Рядом сидел какой-то мрачный амбал — видимо, муж.

На сцене лысеющий брюнет с усиками, в свитере под пиджаком и в джинсах взял гитару, поставил ногу на стул и, чуть наклонясь, запел. Полетели ошалелые птицы, загрохотали сапоги, зазвучали причитания «Ах, война, что ты сделала, подлая», затем покатил по ночной Москве голубой троллейбус. И уже утренний автобус остановился, чтобы подобрать городского певца у пекарни, у занавешенных окон, за которыми мелькали руки работниц и откуда несло духовито запахом поджаристой корочки свежеиспеченного хлеба.

Сколько раз его концерты отменялись, вновь назначались и опять разгонялись, и вот, наконец, своим малым, но на оттенки исключительно богатым тенорком он заговорил по душам с каждым из этой несусветной толпы, все разрастающейся, перепутанной своими бобинами и кассетами, — по существу, со всем говорящим по-русски населением, со всеми, чьи глаза не потеряли способность увлажняться от песенной красоты или поюшей правды. Так началась его слава.

Я с ним уже и не виделся — зачем? Песни, конечно, долетали, среди них и та, с разнонаправленными взглядами:

*... я гляжу на вас.
Вы смотрите на него,
а он глядит в пространство.*

И вот я гляжу на него опять, а он на меня, на мою американскую жену, которая его уже обожает. Мы — в Мюнхене, году в 90-ом. Он по пути в Париж, а мы с Ольгой, прилетев из Чикаго, собираемся на прокатной машине проехать через Югославию и Восточную Европу в Чехословакию.

— Ты поправился, Дима, — замечает он. — Был такой тоненький юноша...

— Так что ж, Булат, — питание хорошее, жизнь спокойная. Да и возраст располагает... Впрочем, ты, кажется, худеешь с годами.

— Да, это так. А ты ведь вроде бы раньше курил? Курил. А теперь бросил, вот и поправился.

Неужели нам не о чем больше поговорить? Мы прощаемся, — его жена, тоже Ольга, следит за расписанием. А еще через два года я получаю от него письмо:

Здравствуй, дорогой Дима!

Подарили мне в Москве твою петербургскую книжку «Полнота всего». Прочитал ее с большим удовольствием и очень порадовался за тебя. Хотел написать тебе, да было лень, да и адреса не знал.

А тут под впечатлением твоих стихов получилось о тебе маленькое стихотвореньце. Ну, тут я, конечно, сообразил позвонить Толе и взял у него твой адрес, и пишу.

Надеюсь, ты здоров и все у тебя хорошо.

Я зарылся на даче. Понемногу пишу. В основном прозу. В Москве бываю редко и в крайнем случае.

На всякий случай — мои координаты... Кланяйся дома. Обнимаю. Булат

*Дима Бобышев пишет фантазии
по заморскому календарю,
и они долетают до Азии —
о Европе и не говорю.*

*Дима Бобышев то ли в компьютере,
то ли в ручке находит резон...*

*То, что наши года перепутали,
наострился распутывать он.*

*Дима Бобышев славно старается,
без амбиций, светло, не спеша.*

*И меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.*

Б. Окуджава 9.11.92, Москва.

Вот теперь бы и поговорить, да уже — когда? Стихами я ему ответил, написав «Университетскую богиню» с эпиграфом из знаменитой «Комсомольской богини»... В поздние годы массовая популярность его несколько обесцветилась, выцвела, как флаг на ветру. Отошла к старшим. А молодежь увлеклась Хрипатым до самозабвения, до мстительных уколов и нападок на Булата. Бродский вообще поместил всю итээровскую интеллигенцию (читай: «образованщину») — «меж Булатом и торшером».

И вот вдруг Окуджава умер, оказавшись в очередной раз в Париже. Его жена жаловалась на непонимание в больнице, на отсутствие переводчика. Это страшное, малопонятное и, увы, всем нам, живым, предстоящее заклятие совершилось 12 июня 1997 года.

Я оказался в тот день в Нью-Йорке, по пути из нашего под-Чикажья в Россию, на «Ахматовские чтения», куда я вез доклад «Преодолевшие акмеизм». В Бруклине в газетном киоске мне бросился в глаза заголовок «Умер Булат Окуджава». Я купил газету — то был «Вечерний Нью-Йорк», тамошняя эмигрантская

«Вечёрка», выходящая на русском. Главный редактор в своей передовице грустил о потере знаменитого барда, автора столь любимых народом песен — таких, как «Из окон КУРОЧКОЙ несёт поджаристой...» Что это — опечатка? Шутка? Оговорка? Эх, Бруклин, Бруклин...

Гуляя с Довлатовым

Подросток с длинными руками и ногами, юноша, на голову, на две возвышающийся над толпой на Невском проспекте, — таким я впервые увидел Довлатова, еще не зная его. Я подумал: вот идет баскетболист из несуществующего белого Сенегала, и стал воображать ему олимпийское будущее. Эти фантазии были настолько конкретно-зримы, что у меня в голове даже успели проскочить кинокадры о его поездке (тоже, конечно, воображаемой) на соревнования в Рейкьявик — флаги, аэропорт между угрюмых сопок, освещённых низким солнцем, крашенные домики...

Потом я узнал, что он действительно мечтало спортивных успехах, подался почему-то в боксёры, но настоящего спортсмена из него, к счастью, не вышло. Я тогда же рассказал ему об этих первых впечатлениях — «подросток с длинными руками и ногами...», но, заметив его смущение, сообразил, что тут-то я не прав, руки-то у него как раз коротковаты — обстоятельство, решающее для боксёрской карьеры. А то быть бы ему на ринге самым вежливым, самым интеллигентным из всех кулачных бойцов.

Познакомила нас героиня его романа в прямом и переносном смысле — черноокая, спокойная красавица Ася, позднее выведенная им под именем «Тася», которую я увидел впервые с Андреем Вознесенским.

На следующий день, пока я еще живо помнил это яркое явление, ко мне пришел Бродский и привёл её с собой. Скоро Иосиф уехал в геологическую экспедицию, и она, позвонив мне, зашла в гости и привела своего нового друга — Сергея Довлатова. Его я поторопился усадить в кресло — мне показалось, что общаться с ним будет трудно из-за его громадного роста, да ещё при красавице. Но тут же неловкость исчезла навсегда: с таким говоруном и стоять, и ходить рядом оказалось необыкновенно легко и весело. Он стал забредать ко мне с «Тасей» и без нее, и разговаривали мы долго, неизменно и упоённо о том, что любили больше всего на свете: о литературе. Он уверял, что не пишет, я его уговаривал начать, он отвечал, что не я первый ему это говорю. Между тем его устные рассказы были ярки, психологически точны и тонко-забавны. Он оказался в родстве и, через это, в близком знакомстве с литераторами хоть и мелкого разбора, но набравшими известность. Их дремучая небрежность, языковая глухота были главной мишенью довлатовских насмешек. В частности, фигурировал в них Валентин Пикуль. Я и сам с ним как-то виделся у Косцинского, и он отнюдь не показался невеждой, но чем знаменитей Пикуль становился, тем смешней были довлатовские рассказы о нем.

О женитьбе Сергея на «Тасе» мне сообщил Бродский, вернувшийся до срока из экспедиции. Он вдруг зашел и, как-то не церемонясь, поставил в известность, что позвал ко мне своего знакомого, о котором я, впрочем, уже был слышан. Вскоре выяснилось, почему пригласил: этот приятель, известный шлейбой, был, оказывается, на довлатовской свадьбе и, как уверял, сумел запереться с невестой (то есть уже с новобрачной) в пустующей спальне родителей. А разбушевавшегося по

этому поводу жениха гости отвлекли водкой. Не знаю, что правда и что ложь, и кто выглядит лучше в этой истории, но Иосифа она, кажется, удовлетворила. Во всяком случае, в американской жизни он «простил» растоптанного Довлатова, принимал его похвалы и даже оказывал ему литературные услуги.

Чрезмерность была свойственна Довлатову не только в росте, но и во многих других жизненных проявлениях. Наше многолетнее общение не раз прерывалось то его армейской службой, то его отъездом в Таллин, то не совсем совпавшими «хронотопами» нашей эмиграции. В памяти оно распалось на целую серию разговорных эпизодов, сначала в виде бесед и совместных прогулок, потом — литературных застолий, которые поначалу доставляли острое интеллектуальное наслаждение, а затем и немало огорчений, когда винный дух стал все чаще возобладать над духом нашей дружбы, — иными словами, когда выпивки становилось все больше, литературного остроумия поубавилось, а сам Довлатов оказывался опять же не в меру, по-достоевски, «широк». Я, например, узнал от него, что верным средством от венерических заболеваний является погружение детородного органа в раствор марганцовки. Что одна замужняя дама, известная мне, хороша с ним. И другая — тоже. Назывались имена — причем прилюдно, упоминались интимные детали. А ведь и сам он был женат уже вторым браком, имел ребенка...

Однажды я не выдержал — набросился на него, мы стали бороться. Неожиданно Довлатов рухнул, и это было потрясающее зрелище... Он как бы перешел в другое измерение: вся его немыслимая вертикальность превратилась в горизонталь, в противоположном углу комнаты брякнулась на пол фарфоровая чашка, семейная реликвия. Хозяева сокрушались о чашке, а я объявил о своей победе над «гигантом на глиняных ногах», что было, увы, преждевременно. Сергей поднялся, на ходу отредактировав мою фразу: «Колоссом на глиняных ногах называли Советский Союз немецко-фашистские полчища, потерпевшие в конце войны сокрушительное поражение», затем навалился всем своим весом и попросту задавил меня до бездыханности.

Всё-таки понять его было сложно: зачем он так настойчиво бесчестил своих подружек, раскрывая секреты их походов? Для утверждения собственного мужества? Чтоб раззадорить слушателей — в частности, меня? Но теперь я думаю: а может быть, приятельницы и сами были не прочь покрасоваться в его описаниях? Убедила меня в этом публикация писем Довлатова к вышеупомянутой даме, которая была хороша. Она в предваряющей заметке сообщает, что, мол, некоторые письма носят сугубо личный характер и время для их обнародования не пришло. Да, но как удержаться и не напечатать такое, например, стилистическое великолепие, обращенное к ней: «Целую ланиты, стопы, длани, выю и прочую мелочишку». Чем не Тургенев? Или вот: письмо о его первой публикации в «Юности»...

Ну как же, помню — рассказ Довлатова «Интервью» о журналисте, который набирается классовой мудрости у рабочего. В том же письме приводится и эпиграмма, написанная на автора рассказа и содержащая вульгарное словцо. И — довлатовский вывод: «Это кто-то напрягся из тусклой челяди Бобышева...» Могла ли у меня быть «челядь», даже тусклая? Это все очень любопытно, хотя у публикаторши многое остается за пределами комментария: как, например, отнестся к рассказу её муж, выведенный там в клоунском виде под собственным именем и фамилией, и при этом — дующий в трубу? Или — к тому, что его жена публикует письма любовника? Оперетта, даже мыльная опера! Но самое пикантное обстоятельство заключается в том, что автор эпиграммы — это, скорее всего, и есть Довлатов, ко-

торый собственноручно вписал её в дарственный экземпляр журнала и преподнес Андрею Арьеву, а тот вставил эту яркую деталь во вступительную статью к трехтомнику Довлатова.

Пожалуй, можно эпиграмму и привести, раз уж она там напечатана:

Портрет хорош, годится для кино.

Но текст — беспрецедентное говно!

И действительно, первая строчка — это явное самолюбование, а вторая — ироническая самооценка. Как это похоже на многое, что говорил и делал тогда Довлатов! И более всего — на автопортрет в предчувствии постмодернизма...

Папаша Хэм, которого мы «лорнировали» и снобировали из-за того, что его изображение в толстом свитере продавалось в газетных киосках, всё-таки выразился точнее: «Мир убивает... самых добрых, самых нежных и самых храбрых без разбора». Не уверен насчёт именно этих свойств, но во всех своих непомерностях Довлатов-то и был самым, самым... и высоченным, и здоровенным, да и самым, пожалуй, молодым из участников тогдашних литературных компаний, например той, куда он меня пригласил и вовлёк. Там были прелестные люди, заменившие мне общение с Бродским, который стал для меня соперником и даже противником, с Рейном, взявшим его сторону, и с переехавшим в Москву Найманом. То были умный даже во хмелю Арьев, про которого говорили, что это он, редактируя, «создает Довлатова», талантливые прозаики Чирсков и Севастьянов, ревниво обожавшие своего друга, над которыми он снисходительно посмеивался, одного называя «безумным Федькой», а другого «деревенским фрейдистом».

А на бумаге ему было свойственно удивительное чувство меры, даже стилистической элегантности, и великолепное, гибкое чувство смешного. При том, что писал он о грубом абсурде, из которого сляпана жизнь, порой о страшных вещах, он, насколько я помню, не злоупотреблял сильными стилистическими средствами.

Конечно, на первых юношеских порах он наверняка был в восторге от Аксёнова, от его «Звёздного билета». Об этом уже не говорилось, но можно было догадаться: ведь сам Довлатов повторил путь «звёздного мальчишка», отправившись на Запад в Таллин и круто разойдясь с торными путями молодёжи того времени на Восток — в Казахстан на целину или на сибирские стройки. Но со временем его настоящим кумиром стал Сэлинджер, в особенности восхищал Сергея рассказ «Посвящается Эсме» в исключительно хорошем переводе (по-моему, Райт-Ковалёвой). Я тоже наслаждался этой прозой, но Довлатов, очевидно, испытывал тут особенное, личное чувство: ведь герой Сэлинджера — интеллигентный и застенчивый от своего чрезмерного роста солдат в увольнительной. Странно представить, но Довлатов служил в лагерной ВОХРе!

Лагерь или армия — и та и другая доля мало кого привлекали, а Довлатову они достались сразу обе. Когда он освободился от службы, из него при встречах так и выпрыгивали экзотические истории, одна жутче другой: о шахматной партии, буквально проглоченной зеком, о зашитых драугою веках и т. д., но вскоре появилась и первая проза. Это была совершенная, законченная, как стихи, миниатюра «Псы», от которой на голове у меня зашевелились волосы. Мне вообразилась целая серия таких рассказов, затем книга, выпущенная за рубежом, и... ещё один герой и мученик, крупный талант, гонимый режимом. Но Довлатов, как он многократно заявлял, мечтал лишь о том, чтобы стать профессиональным писателем...

Однажды у меня в гостях на Петроградской стороне собралась литературная компания: бывшие политические заключенные Наталья Горбаневская и Кирилл

Косцинский и недавний надзиратель Сергей Довлатов. Косцинский не преминул тут же прицепиться к Довлатову:

— Думал ли я в лагере, что буду пить с «попкой». А вот, с удовольствием пью.

Попугаями зеки называли охрану. Где более, как не в той ситуации, было применимо излюбленное речение Сергея: «Обидеть Довлатова легко, понять его гораздо труднее». Он его и произнес, но увы...

— О себе? В третьем лице? — продолжал напирать Косцинский.

Я срочно откупорил пробку, и разговор покатился в другом направлении.

Довлатов не был литературным теоретиком, но в разговорах высказывал соображения острые и совсем не прикладные. Например, утверждал, что образ — это уже и есть мысль. Убедительно говорил о влиянии языка переводной литературы на современную нам прозу — большем, чем воздействие русской традиции и классики. И приводил примеры американских влияний — на Аксёнова да и на себя самого. Задавался вопросом: «Возможно ли такое же явление в поэзии?» Ждал от меня ответа, но на мгновение раньше сам же его и находил — Бродский. Им он восхищался, превозносил до небес его успехи, от остального отмахивался: «В стихах я ничего не понимаю». Но, конечно же, понимал и из своей прозы изгонял все именно поэтическое, так же в ней неуместное, как, например, междометие «чу!», над которым он потешался.

Мы были с ним чопорно, по-питерски, на «вы», несмотря на свойские отношения. А он пускался в иронические нежности и прощался по телефону, пародируя московский выговор:

— Цалую вас в коришневые губы.

Срисовал с меня словесный портрет, дав мою внешность какому-то вору из «Зоны». Говорил за глаза гадости. Я предупредил его о двух эпиграммах (обе — убийственные, а одна еще и отравленная), которые, ежели что, я смогу пустить в оборот. Он поверил, и правильно сделал. Иногда меня «озаряло»: может быть, он был женщиной?

В последние месяцы перед отъездом в эмиграцию Сергея понесло по ухабам, причем уже и без тормозов. Так, вероятно, он изживал из себя всё — и плохое, и хорошее, что связывало его с оставляемой жизнью. Встречи с ним стали пугающи — было страшно за него, за то, что он начал с собой вытворять. Возможно, он нагнетал это чувство сознательно, но, увы, по крайней мере некоторые из его наветов на себя подтверждались извне. В его разговорах появились такие сюжеты, как прихватывания его госбезопасностью, книжные кражи, задержания в милицейских кутузках... Он, оказывается, очаровывал библиотекаряш и выносил под одеждой огромное количество книг. Даже попытался похитить две картины в Доме актера на Невском... Однажды у меня дома он вытащил из кармана кастет, и я изумился — и оттого, что писатель, как уркаган, носит это мрачное оружие, и оттого, что кастет — пластмассовый, а не свинцовый, как можно было бы ожидать.

— Плексиглас, — пояснил Довлатов. — Милиция не любит свинчатки. А здесь главное не тяжесть, а конфигурация. Таким можно и сквозь пыжик голову проломить...

С другой, положительно-сентиментальной стороны, кто-то (нет, не я, кто-то ещё) познакомил его с Львом Друскиным и его женой Лилей, и он начал трогательно ухаживать за увечным поэтом: вывозил в кресле на прогулки, подарил ему (или одолжил на время) огромную теплую куртку, чтобы укутывать от холода. Но вскоре эта идиллия закончилась форменным безобразием. Сергей отвез Друскиных в

Комарово на литфондовскую дачу (ту самую, прославленную Ахматовой «Будку»), а затем устроил в их городской квартире грандиозную вечеринку с молодежью. В результате, конечно, пострадала посуда и, что хуже, библиотека. А заодно, как Сергей похвалился мне, он лишил невинности не вполне взрослую воспитанницу Друскиных, «купая ее в ванной». Рассказывая, он вытащил у себя из-под одежды довольно толстую стопку книг и предложил мне парочку редких сборников:

— Берите. Остальное я все равно пропью.

Я поколебался, решив было хоть что-то вернуть кружным путем Друскину, но передумал, потому что не желал даже на время принимать краденое.

Я не провожал Сергея в эмиграцию. О его перелёте на Запад рассказывались фантазмагории, но излагать их с чужих слов я не собираюсь. Замечу лишь, что эти эпизоды так и не вошли в последующую прозу Довлатова, во многом автобиографическую, хотя он подобными материалами пользовался, не щадя себя. Видимо, в том состоянии он всего и не помнил.

Оказавшись по своему безусловному и естественному западничеству в Америке, Довлатов, казалось, должен был влиться в американскую жизнь, почувствовать себя как рыба в воде. Но не тут-то было... Когда мы встречались то у него, то у меня (оба жили в разных «продолжениях» Нью-Йорка), Сергей признавался, что английский язык для него тяжеловат, затруднителен и он предпочитает, чтобы подрастающая дочка была его представительницей во внешнем мире.

Я как-то сбился в разговоре с ним на «ты». Он это иронически подчеркнул, но принял.

Он бросил выпивать, говорил, что ему зашили «вот сюда» так называемую торпеду. В другой раз уверял, что очень даже выпивает, но лечится: мать выдает ему деньги на сеанс гипноза, а он вместо этого отправляется за бутылкой.

Как бы то ни было, а писал он хорошо и много. Появились его рассказы в переводе на английский, причем в престижных изданиях. А на русском каждый выпуск еженедельника «Новый американец», который он формально возглавлял, открывался его небольшим эссе, всегда одинаковым по объему (одна машинописная страница) и безупречным по форме. Это были те чеховские капли, по которым он выдавливал из себя раба, делая это скорей не для себя, и без того раскованного, а для читателей — вырвавшихся на волю поселенцев Брайтон-Бич, бывших одесских биндюжников. Конечно, их умозрения часто влияли на тематику довлатовских эссе, но и при этом редакторские материалы были, пожалуй, самыми интересными. В остальном то была газета, всюю заискивающая как перед спонсором, так и перед подписчиками. Когда я спросил у Довлатова, почему они так несуразно раздувают нормальные успехи какого-нибудь зубного техника, получившего разрешение практиковать, или его жены, поступившей всего лишь на курсы программистов, он как-то по-накатанному ответил:

— Как и у советских газет, у нас есть лозунги. Только они другие. Один из них: «Эмиграция должна иметь своих героев!»

Кажется, это был наш последний разговор о газете, но ещё замечу, что позволял он себе и марк-твеновские резвости: например, интервью, взятое у американки о российских мужчинах. Ответы были точные и выдавали незаурядное знание предмета, а с фотографии почти по-американски улыбалась — нет, не та же, но другая из вышеупомянутых ленинградских дам. Все интервью было довлатовской выдумкой, шуткой для посвященных.

В 1981 году в Лос-Анжелесе была устроена для русских писателей-эмигрантов дискуссия на тему «Две литературы или одна?». Наум Коржавин, полемизируя с редактором «Нового американца», упрекнул его в сходстве с журналистикой столетней давности. А именно: после покушения на Александра Второго был принят полицейский опрос всех газет, в том числе популярной газеты «Копейка». На вопрос московского полицмейстера о политическом направлении редактор ответил: «Кормимся, Ваше превосходительство!» Нет ли тут параллелей?!

На это Довлатов почти беззаминки скаламбурил, что да, пускай будет сходство или даже, можно сказать, скотство, но он вполне гордится тем, что задает *корму* в инакоязычной стране двадцати трем русским журналистам.

Еженедельник в конце концов закрылся.

Довлатов внезапно и безвременно умер. В России вышел его трёхтомник. Учреждена премия имени Довлатова. Грустный «хеппи энд». Его мечта исполнилась, он стал литературным профессионалом.

(продолжение следует)



Борис Юдин

БЕРЕГИНИ

Стихи

Городок

Домишек квадратные тушки,
На площади — гусь-ротозей.
Цветных куполов погремушки —
Как шлемы монгольских князей.

А в окнах — терпение вдовье,
На стёклах — потёки дождей.
И харкают голуби кровью
На бронзу великих вождей.

Утро после войны

На рассвете дом крыльцом взмахнёт,
Клюв трубы звезду ночную склонет,
Стукнет луч в оконный переплёт —
Всё, как полагается в июне.

Пальчик мела в грязном кулачке —
Справедливый бой рисует мальчик.
Красный мяч в девчоночьей руке
По асфальту утреннему скачет.

Ветерок полощет транспарант,
На скамейке в сером макингоше
Костя, одноногий лейтенант,
Воробьям кусок черняги крошит.

Радио о подвигах поёт,
Мрачный дворник козью ножку крутит,
И играет чёрно- белый кот
С нитями путей и перепутий.

Вечернее

Третий месяц всё вторник да вторник.
Лампа, кресло, Ахматовой том.
За окном мелкий дождь, пьяный дворник
И дворняга с поджатым хвостом.

Кот в корзинке глядит осовело,
Запотели немного очки.
“Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.”

Скромный ужин — подарок желудку.
Чашка, блюдце, ломоть калача.
“Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал...”
И бретелька — с плеча.

Берегини

Зернь песка, клочки осоки, болтовня весла,
Тростниковая шетина, облачный мираж.
Невозможные бикини, стройные тела.
Молодые Берегини украшают пляж.

Очень белый пароходик, шустрый, как тюлень,
Спит, лицо накрыв газетой, пожилой кенгавр.
В полдень облака на землю не роняют тень,
Чтоб на юных Берегинях бронзовел загар.

Берегини, берегуши, струнный перебор.
Взгляды жарки и липучи, как паучья нить.
И прелюдия к романсу — глупый разговор.
А беременность случится — так тому и быть.

Обнимают торс озёрный руки берегов.
О любви своим подругам вдруг коростели.
Растворились Берегини в запахах веков:
То ли нечего беречь им, то ль не сберегли.

Снежный романс

А снег не падал. Он летел.
Он привораживал и гладил,
Бросался в облачные пряди
И опускаться не хотел.

А день скользил на свежем льду,
Чтоб — навзничь в снежные объятья,
Чтоб пуговики взлетели с платья
И упорхнули в темноту.

Как привлекает снегопад
Самой возможностью паденья
Туда, где кружев кружевенья
И зеркала туманный взгляд.

Там можно плакать, воспаря,
Гадать по линиям ладони...
А снег висит на закофье
В пастельном свете фонаря.

Ключи

Художник! Отвори мне дверь туда,
Где ключ скрипичный шлёпает по лужам,
Скрип своих петель стягивая туже,
Чем торс русалки чёрная вода.

И ключ басовый возле родника
Стоит пружинкой, словно запятая,
Свой завиток слегка приподнимая,
Как завиток лесного орляка.

И пролитые тёплые дожди
Просты, как для ребёнка слово “Мама”.
Но всё-таки натруженно упрямы,
Как кисть твоя, зажата в горсти.

Как простота нательного креста,
Как мудрое молчание конверта,
И на Голгофе твоего мольберта
Суровое распятие холста.

Садись, художник! Будем пить до дна,
И рассуждать немного хрипловато
О многословье “Чёрного квадрата”
И ужасах пустого полотна.

Окно потеет, сладко врут врачи,
Чёрнь туч висит над вялыми хлебами,
И страшно клацает замок зубами,
Глотая откровения ключи.

Путное

Летних вечеров протуберанцы,
Редкий взгляд автомобильных фар,
Тусклые огни забытых станций,
Тамбура табачный перегар.

Пегая корова у перрона,
В облаке завязший самолёт.
Жизнь в пенале спального вагона
Под чечёточку колёс течёт.

Как на жёсткой полке сладко спится!
Ночь глуха и незнаком маршрут,
И противны крики проводницы,
Что стоянка только пять минут.

Той весной

На яблонях — взрывоопасность почек,
Ждёт плуга прошлогоднее жнивье,
А по лугам — ледок меж рыжих кочек
И чибисов крикливое тряпье.

С утра по рощам птичье вдохновенье.
Трепещут крылья у березняка.
И если б не земное приращение,
Он всплыл бы дирижаблем в облака.

Недвижен прут гадюки на припёке,
На сливах зайнтарилась камедь.
А счастье бродит по лесной дороге.
Появится. Но нужно потерпеть.

Прошлогодие

О прошлом говори, не говори,
Тревожа струны на груди гитары,
Но за окном — сплошные январь,
А год в календаре, как прежде, старый.

И город стар и вечная река
Бормочет, что в неё не входят дважды,
И прокисает кружка молока.
Та самая, что ты разбил однажды.

И всё навзрыд, но быт полузабыт,
А летний вечер гаснет понемногу,
И женщина возле дверей стоит
И гладит взглядом пыльную дорогу.

И смерть сладка, но тоже не нова,
А всё, что было — только ингермешо.
И застывают на губах слова:
Им в январях не суждено согреться.



Дмитрий Быков

СЧАСТЬЕ

1.

Старое, а в чем-то новое чувство начала февраля,
Небо серое, потом лиловое, крупный снег идет из фонаря.
Но ясно по наклону почерка, что все пошло за перевал,
Напор ослаб, завод кончился, я пережил, перезимовал.

Лети, снег, лети, вода замерзшая, посвети, фонарь, позолоти.
Все еще нахмурено, наморщено, но худшее уже позади.

И сколько ни выпади, ни вытеки — все равно сроки истекли.
(Я вам клянусь: никакой политики, это пейзажные стихи).

Лети, щекочущее крошево, гладь лицо, касайся волос.
Ты слышишь — все кончено, все кончено, отпраздновалось, надорвалось.

Прощай, я пережил тебя, прости меня, все было так бело и черно,
Я прожил тут самое противное и вел себя, в общем, ничего.

Снег, снег, в сумятицу спущусь твою, пройдусь, покуда все еще спят,
И главное, я чувствую, чувствую, как моя жизнь пошла на спад.

Теперь бы и жить, чего проще-то, довольно я ждал и горевал —
Но ясно по наклону почерка, что все идет за перевал.

Кружится блестящее, плавное, подобное веретену.
При мне свершилось тайное, главное, до явного я не дотяну.

Бессонница. Ночь фиолетова. Но я еще наплююсь, наплююсь.
Все вверх пойдет от снегопада этого, а жизнь моя на спуск, на спуск.

Нравится мне это испытание на разрыв души моей самой.
Нравится мне это сочетание, нравится до дрожи, Боже мой.

2.

Но почему-то очень часто в припадке хмурого родства
Мне видится как образ счастья твой мокрый пригород, Москва.
Дождливый вечер, вечно осень, дворы в окурках и листве,
Уютно очень, грязно очень, спокойно очень, как во сне.
Люблю названья этих станций, их креозотный, теплый чад —
В них нету ветра дальних странствий, они наречьями звучат,

Подобьем облака ночного обьяв бессонную Москву:
Как вы живете? Одицово, бескудниково я живу.
Поток натруженного люда и безысходного труда,
И падать некуда оттуда, и не подняться никуда.
Нахлынет сон, и веки тяжки, и руки — только покажи
Дворы, дожди, пятиэтажки, пятиэтажки, гаражи.
Ведь счастье — для души и тела — не в переменах и езде,
А в чувстве полноты, предела, и это чувство тут везде.

Отходит с криком электричка, уносит музыку свою:
Сегодня пятница, отлично, два дня покоя, как в раю,
Толпа проходит молчаливо, стук замирает вдалеке,
Темнеет, можно выпить пива в пристанционном кабаке,
Размякнуть, сбросить груз недели, в тепло туманное войти —
Все на границе, на пределе, в полуживотном забытии;
И дождь идет такой смиренный, и мир так тускло озарен —
Каким манком, какой сиреной меня заманивает он?
Все неприятно, некрасиво, неприбрано, несправедливо, ни холодно, ни горячо,
Погода дрянь, дрянное пиво, а счастье подлинное, чо.



Вильям Баткин

ЭТЮДЫ ДУШИ*

Стихи последних лет

Публикация и вступительное слово
Леи Алон (Гринберг)

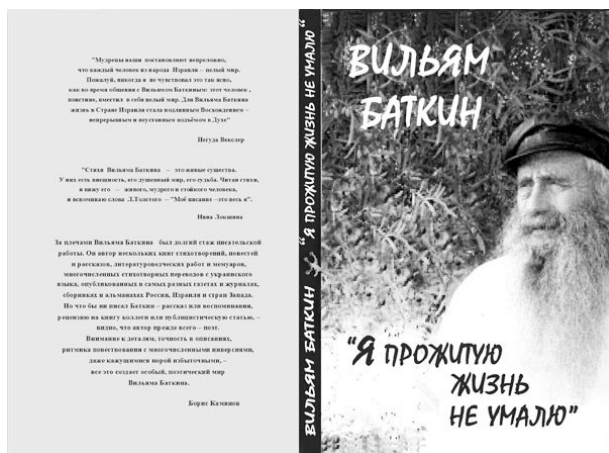
От редакции:

Автора книги «Я прожитую жизнь не умалю» уже нет с нами, но в ней бьется его сердце, звучит его голос. В книгу вошли стихи разных лет, в том числе и самые последние, которые автор не успел опубликовать.

Редактор и составитель книги Лея Алон (Гринберг)

Оформитель Ителла Мастбаум.

Издательство «Филобиблон»



«Я прожитую жизнь не умалю...»

Память подобна морю, куда стекаются ушедшие навсегда мгновения нашей жизни. Ещё вчера трепетные, полные красок и звуков, покидая нас, они становятся нашим прошлым. И как волны, уносимые ветром от берега, отдаляются всё дальше и дальше... Но порою, словно обманывая нас, они возвращаются, обретая краски,

* Из книги «Я прожитую жизнь не умалю...», Иерусалим, «Филобиблон» 2015

звуки, дыхание. И тогда кажется, что тот, кто ушёл навсегда, не в неведомой тебе стране душ, а по-прежнему рядом с тобой...

Такое чувство я испытала, коснувшись архива Вильяма. Мне вдруг показалось, что его душа витает над этим дорогим ему миром, подобно птице над гнездом, где ждут её не оперившиеся ещё птенцы.

Стихи и проза. Газетные публикации. Переписка с друзьями. Наброски. Черновики. Порой на белом листке — лишь несколько летящих строк. Издали они напомнили мне крылья птицы, устремлённой куда-то в небо. Он записывал их на обороте напечатанного листа: вкривь, вкось, лишь бы не потерять мысль. Я знаю: это проза, работа над книгой, которая пока не издана. Стихи вызревали где-то вдали от компьютера, он вынашивал их до поры до времени, не записывая. Словно берёт ото всех, согревая своим теплом...

Порой они долго не шли. Он переживал. Однажды сказал с горечью:
— Было время, что я их не мог остановить. Они словно рвались из меня.
— Но ведь раньше ты не писал прозу, — заметила я.
— Может быть, ты права, — ответил он задумчиво.
Через какое-то время вышел из своей рабочей комнаты с листом бумаги:
— Вот послушай, как ты находишь эти строчки?

Сколько кануло в прозу заветных стихов,
Сколько чужих созвучий сравнений, метафор!
Но не так ли и кварц насыщает стекло,
И окатыш руды — блеск и ковкость металла?

Есть и в повести свой вольнодумный накал,
И новелла наваяна свежестью ветра,
И сюжет наполняется, словно река
Долгожданным раздольем дождливого лета.

Неужели лишь груз навалившихся лет
Клонит к прозе суровой, как молвил Поэт,
Преподав неизбежность подобного крена?

Но порой, прорываясь в размеренность глав,
Шаловливая рифма вбегает стремглав
И тебя озаряет созвучьем катрена.

Стихотворение родилось легко, как в те былые времена, о которых он тосковал, как будто только и ждало моего напоминания о прозе. Есть в нём что-то от осеннего листа, подгоняемого ветром, какая-то необъяснимая красота и грусть по прошлому.

Может быть, Вильям увидел себя в эти минуты прежним, полным творческих сил, когда стихи «рвались из него» и он не мог остановить этот поток?

Был он молод, закончил горный институт, постигал жизнь среди шахтёров, трактористов, монтажников, и она учила его мужеству.

Бывал я хлипким,
Бывал я робким...
Но так случилось —
не день, не два —
в шершавой мокрой шахтёрской робе,

едва растаивала синева
донецкой ночи,
в толпе негромкой,
делясь затяжкой табака,
я слушал шахты тяжёлый рокот
и посвист свежего ветерка...

Перечитываю ранние его стихи. В них «...норов порой прорывает запруду мятежно». В них что-то от того угловатого, выросшего в войну и тянувшегося вверх паренька, в купленной по случаю шинели, в кепчонке и с отмороженным ухом, который скажет о себе, подытоживая свой путь: «Штормами меня, словно щепку, носило по жизни».

И продолжая ту же мысль:

Должно быть, я вышел того волевого пошиба,
Что выжил во взрыве — болотном метановом газе.
Подобно минёру, единожды я не ошибся, —
Судьба, как свеча, на российских ветрах не утасла.

Он слушает себя, свой внутренний голос. Так художник, вглядываясь в своё изображение, рисует автопортрет. Глаз ведёт его. Поэт, писатель вслушивается в голос своей души. Вот она словно опьянена весной, светом её, красками ожившей после зимы природы.

Нагрянула пора каштанов:
Пьянящий памятный пейзаж,
Когда, как парубки в кафтанах,
они по Харькову спешат.

А белое свечей свеченье
Сквозь арки парковых аллей
Оставлено на попеченье
Души встревоженной моей.

Каштановый Харьков вновь возникнет в его стихах, но в нём прозвучит мелодия расставания:

Каштановый Харьков мне снится порой по ночам,
В звенящих трамваях — до боли знакомые лица.
.....
И, словно туман, непривычная застит печаль...

Он знал, что уходит... Жизнь не оставляла ему времени. Он торопился. Однажды оторвался от компьютера, подошёл ко мне с новыми стихами. Как-то виновато и грустно произнёс:

— Пошли стихи, как компенсация...

И тут же оборвал себя, чтобы сдержать рвущуюся наружу боль.

Это были его последние стихи. Он объединил их с написанными в разные периоды жизни под общим заголовком «Восьмой десяток». Так пишут книгу воспоминаний: ты ещё здесь, но взгляд твой обращён в прошлое... И видится тебе свеченье каштанов, которое любил, друзья, которым хранил верность, ты сам — мальчишка военной осенью:

Детство моё пролетело по тёплым затонам Ворсклы,
Юность моя шальная шаталась по берегам Оби...
Годы мои сгорают, как загодя собранный хворост,
Рушатся вдруг, как будто от рыка Иерихонской трубы.

Он словно идёт по своим следам, и это возвращение лишь подчёркивает верность самому себе, своей душе, своему характеру...

Так порой в постаревшем, изменившемся со временем лице явственно проглядывает прежний взгляд, всё той же осталась улыбка — нечто характерное для духовной сути личности, не исчезнувшее с годами.

Я прожитую жизнь не умалю —
Неладную, нескладную — мою.
Не вымараю в мрачную смолу,
Не брошу на заснеженном молу.

Вильям любил это стихотворение. Им он многое сказал о себе. Он написал его в Израиле, вскоре после репатриации. Будто чудится ему чей-то упрёк: где ты был раньше, почему так поздно прибилю тебя к этому берегу? Нет, он не оправдывается, просто отвечает себе: «Я прожитую жизнь не умалю». Никогда и ни в чём он не изменял себе, своим жизненным принципам. И со всей страстью природы верен тому, что обрёл здесь, в этой «крохотной израиленской стране».

Тема прожитой жизни вновь и вновь возвращается в его стихах, порой в ней звучит боль по тому, что кануло в вечность, порой — мысль об упущенном.

Изменить судьбу или дорогу
старости порой не по плечу.
Забреду в субботу в синагогу,
Тихо постою и помолчу.

Уяснить настойчиво пытаюсь,
чем же мне загадочно милы,
бережно обёрнутые в талес,
кровные собратия мои?

Вильям ещё не знает, что вернёт себе всё сторицей, что с жадностью молодой души приникнет к Источнику: «Несколько лет тому назад, уже в Израиле, взял в руки сидур, да так и, образно выражаясь, не выпускаю по сей день...» — писал он другу-поэту. Придёт час, он и сам станет Учителем для тех, кто, подобно ему, начинает с опозданием. Его огромная любовь — псалмы. Остались тетради с комментариями к каждому из 150 псалмов. Он мечтал написать о языке псалмов, метафоре в Торе... В том же письме признаётся:

«... Знакомство с псалмами Давида бен Ишая меня восхитило, потрясло, удивило... Предельно-исповедальный трагический настрой псалмов, незнакомый или непривычный для меня <...> Не могу представить, что двигало его перо: образная, яркая, красочная речь, щедро и к месту рассыпанные метафоры, сравнения, гиперболы, плюс — жатость и точность, ни одного лишнего слова... Любовь к Творцу и страх перед Ним... Это общеизвестно, но Давид в своих псалмах с таким вдохновением передал нам оба эти чувства: любовь и страх — неоднократно и настойчиво подчёркивая Его вознесённость и непостижимость и свою незначительность — не понимая, отчего Всевышний, благословенно Его имя, выделил его, Давида, из всех других...»

Эти строки — искренние, образные, яркие — невольно перебрасывают меня к его прозе. Было время, когда прозу он воспринимал как измену поэзии. В эссе «Незнакомый Симонов» вспоминает, как в шестидесятые годы во время одной из встреч Константин Симонов, уже знавший его стихи, долго расспрашивал о шахте, новых проектах, процессе производства... Вильям рассказывал, как всегда ярко, со знанием дела, войдя во вкус, вставлял строки недавно написанных стихов, явно стараясь обратить на них внимание собеседника. И вдруг, прервав его, Симонов сказал: «Вильям, вам обязательно надо писать прозу». Пройдёт много лет, прежде чем Вильям поймёт, насколько прав был Симонов. У прозы, действительно, больше возможностей выразить то знание жизни, которое ему подарили суровые шахтёрские будни.

К тому времени накопилось так много мыслей, наблюдений, что он как-то очень естественно потянулся к прозе. Книга «Галисман души» была написана и опубликована в Израиле. Он закончил её тем самым стихотворением, которое родилось, казалось бы, случайно в нашем разговоре о поэзии и прозе:

Сколько кануло в прозу заветных стихов,
Сколько чутких созвучий, сравнений, метафор!

У его прозы высокий и чистый голос. И тот, кому дано принять эту образность, этот язык поэтической души, не забудет имя автора, его повести, эссе, публицистику. Пишет ли он о Генрихе Гейне, Иегуде Галеви, Эли Визеле, Борисе Пастернаке или о своём современнике поэте Савелии Гринберге, ты чувствуешь биение его сердца, беспокойный, мятущийся дух: «С тысячеклетным опозданием припал я, словно к родниковым истокам, к творчеству Иегуды Галеви»; «До осознания сопричастности со своим великим народом долгий путь прошла душа моя, да и поныне движется, перемещается, трепыхается — во времени и в пространстве. В раздумьях и потрясениях, намереваясь понять подлинные причины нынешних трагических событий — в стране и в мире...»

Мы не говорили о болезни. Он не хотел ни жалости, ни сострадания. И я старалась беречь его от проявления этих чувств. Бледный, измученный, он садился с утра за компьютер и начинал работать. Бывало, откинется на спинку кресла, посидит молча и вновь продолжает писать. И так до позднего вечера.

— Почему ты не идёшь отдохнуть, — не выдерживала я.

Ответ был всегда один и тот же:

— У меня нет выхода.

Он думал о книге, должен был её закончить. Работал над повестью о Рутмоавитянке уже четыре года. Оставалось совсем немного, но это требовало сил, которых не было, и времени, которое иссякало...

И только в субботний вечер, когда мы садились за стол, делился написанным. Порою словно ветром относило его в прошлое. Однажды вспомнил стихотворение «Учитель», посвящённое М.В. Чернякову, которое было ему очень дорого. Мне оно было знакомо, но когда я читала его впервые, оно не затронуло моих чувств, и вдруг, услышав несколько строк в устах Вильяма, я прониклась ими, будто и мне передалось очарование гаёжной природы. И он, вдохновлённый, принёс из своей рабочей комнаты первую книжку стихов «Пойте песни о верности», изданную в Харькове в четырёх тысячах экземпляров и тут же раскупленную, и начал читать:

Я прихожу к учителю не часто,
Переминаюсь вежливо в дверях,
Кто я?

Его надежда иль несчастье?
Мне б самому ходить в учителях!
Греметь с эстрады
и полос газетных,
и, хватаясь гурьбой учеников,
к нему врывать признанным поэтом!
А я ношу листки черновиков.
Я привожу из Западной Сибири
неслыханные запахи тайги.
Под стул неловко прячу башмаки,
заплатанные, рыжие от пыли...

И я увидела его прежним, дерзко мечтающим о признании, но при этом сохранившим в душе чувство сомнения, неудовлетворённости собой, хотя к тому времени готовилась к выходу его вторая книга стихов «Надежда». И вновь тот же вопрос к самому себе: «Кто я?», прозвучал в стихотворении, написанном много лет спустя. Оно оказалось среди последних стихов, которые он сложил стопкой рядом с компьютером, так и не успев опубликовать.

Когда я из артельных подмастерьев
Не призван был в когорту мастеров,
Мне показался приговор суров,
Сравним он с высшей мерою — расстрельной,
С диагнозом жестоким докторов.
И я стоял, как пред судом, растерян,
И стих мой, и невидящ, и рассеян,
Терял свой пламень, словно жар костров.
Но вдруг услышал Свыше: «Без истерик!
Широкий путь был пред тобой расстелен,
И небо натянуло прочный кров, —
Вот и твори, сомненья поборов,
А Мне решать, кому быть менестрелем,
Кого учту в когорте мастеров».

И вновь эта покоряющая искренность, идущая из самых глубин души, постоянный с ней диалог. Мне кажется, я слышу его, когда читаю цикл «Иерусалимские сонеты», вошедший в его первую израильскую книгу стихов «Неприкаянный мир».

Согрелись горы: красный фон — на синем,
и ранних красок странная игра.
Кем был я прежде? Где меня носило?
Как без меня здесь жить Земля могла?
А я как мог? В надеждах на взаимность
её вбираю жадно, ненасытно.
Боль прошивает душу, как игла.

К нему пришло чувство любви к этой земле, принятие её особой красоты. Он оказался «среди Иудейских гор», «на поселеньях, вознесённых в скалах» И именно отсюда, с этой высоты, начинается его духовное восхождение...

Из тысяч однокровников моих,
Мир озаривших душами своими,
Благодаря усердью их молитв
Лишь я один с семьёй в Ерусалиме.
.....
Но мне — за что? За что дарован мне?
Прижмусь в слезах к разрушенной стене,
Что сбереглась, как чудо, после Храма.
Рождён еврейской мамой, был я гой...
Здесь я шепчу с любовью и тоской:
— Благословенна твоя память, мама...

Я люблю возвращаться к книге «Неприкаянный мир», вслушиваться в музыку его стиха. Это книга избранной лирики. Любимый жанр Вильяма — сонет. О нём он пишет: «Сто тысяч тайн в себе хранит сонет». Эти стихи рождались в то холодное лето в беспросветных дождях, когда всё было смутно, душа маялась в тревоге и рассвет не принесил облегчения: лето на пороге расставания со страной рождения, той, что до сих пор считал своей единственной родиной... Но вместе с тем в этих строках так много красок, отражающих мир близкой его сердцу природы, что и тебе передаётся грусть расставания, озарённая светом любви.

Июньский крупный пух
с разлапых тополей,
как будто санный путь
вновь лёг среди полей...

* * *

В зелёных латах, недоступно строг,
среди лесов днепровских не затерян,
вяз, словно вигязь, на развилке троп
со мной беседу светскую затеял.

* * *

Грибная прихотливая пора:
дни, как утята, к осени мостятся,
и, словно рифмы в острие пера,
под хвоей хороводятся маслята.

Стихам он доверяет свою боль о том, что уже не вернуть, ломке привычного уклада жизни, потере своего профессионального статуса, чувства уверенности в себе. Это лирическая исповедь души, её самых сокровенных тайн, когда медленно и тяжело открывается суть: «...твой Исход явился не бездумьем, / а Свыше предначертанной судьбой».

Как непрост его путь к самому себе!.. Порой он останавливается в смущении:

Кто этот старый ропшущий еврей
в кипе округлой — да из тонкой ткани
над сивым чубом, некогда шикарным,
и взглядом скорбным — вдруг — из-под бровей?
.....

И, сокровенных мыслей не тая,
спрошу себя: «Ужели это я?» —
И выдохну с улыбкой робкой: «Вот я...»

И всё чаще в стихах израильского периода появляется образ неба. Поначалу это просто очаровавшая его нежность негасимо синего неба, потом высокое небо Бейгара, но незаметно на смену красоте пришла открывшаяся ему глубина Небес, как символа духовности, веры, судьбы...

И только теперь, когда седина белоснежна,
И годы, как коды, насытила генная суть,
Поймёшь, что Судьба, та, что Свыше дана, — неизбежна,
И если есть Милость, то есть непременно и Суд.

Словно набегающая на небо туча, грустные мысли о возрасте. Нет, это не страх, его я не почувствовала даже в последнем стихотворении, которым он подвёл итог прожитому. Пока это лишь раздумья о жизни, неизменном приближении старости... Но дух его по-прежнему молод. Он спешит навстречу жизни, любви, отдавая всей полнотой своему чувству.

Тебя ищу я в биополе строк,
Как в чистом поле вольную жар-птицу,
Как вспыхнувшую яркую зарницу,
Тебя в душе лелеял и берёг.

Я помнила рождение его нового израильского цикла стихов «Этюды души». Он вынашивал их в долгих прогулках, когда оставался один на один с тишиной, но дозревали они у компьютера, когда он открывал свой толстый потрёпанный словарь в поисках точного слова...

Не вчера я постиг: ностальгия меня не настигла
И неведом мне плач о российских метельных снегах.
Я бегу по годам, как по брошенным брёвнам настила.
От себя убежать — не дано мне. Похоже, никак.
Впрочем, ради чего? Да, изгибы судьбы непростые,
Изменили, как грим: седина в бороде и в висках.
Но себе изменить — никогда, ни за что не простил бы.
Ни в толпе, ни в семье, ни в бегущих из сердца строках...

Они осталась рядом с компьютером, последние отобранные им стихи. Стол был непривычно чист, комната, где он работал, как-то вдруг потеряла все свои краски. В ней поселилась тишина...

Эти стихи он показал мне за несколько дней до ухода... Так бывало, когда каждый из нас хотел услышать мнение другого. Я перечитывала их, собранные вместе, совсем ранние и написанные гораздо позже. Им словно дано было оживить мгновения его жизни, наполненные творчеством, любовью, разлукой, обретениями...

И они приближали меня к тому, которое он поставил последним...

Обозначен диагноз...
Как настигнутой коршуном жертве
Трепыхаться до срока
В негнущихся острых когтях.

Я успел осознать —
Навалился навязчивый жребий,
Не успел ощутить
Не испытанный низменный страх.
.....
Я живу, как и жил,
Не тоскую украдкой о прошлом,
Что в ближайшую вечность
Исторгнутой лавой стекло...
И пишу, словно дар
Надиктованный, добрую прозу,
И ловлю, словно чудо,
Созвучия чутких стихов.

Оно поразило меня, это стихотворение. Казалось бы, в нём должны быть ощутимы боль, страх, смятение духа. Но этого нет. Как будто человек знает, что перед ним пропасть — ему не обойти её, но он устремлён к чему-то, одному ему видимому, и это держит и ведёт его...

Вильям завершал книгу о Рут-моавитянке. Он ещё не решил, как назовёт её, и один из вариантов был «Повесть о любви». Он жил судьбами своих героев, книга, подобно реке, вбирала всё новые и новые притоки, бережно сохраняя библейскую основу. И образ Рут, чистой, светлой Рут, становился всё ярче, словно обретал плоть. И Боаз, великий судья своего поколения, переживший смерть жены и детей, мудрец-старец Боаз, вдруг совсем по-молодому влюбился...

— Знаешь, Боаз у меня играет на арфе. Вот послушай, его монолог, — однажды сказал мне Вильям.

Листок с текстом чуть дрожал в его руке. Он читал сначала тихо, потом всё взволнованней, на какие-то секунды останавливаясь, словно пробуя на вкус каждое слово.

«Простит ли Г-сподь, что я, вдовец и старец почтенный, нежданно-негаданно полон к неведомой женщине — нежности, ласки, любви?..

— Как ты прекрасна! — звучало в душе, как молитва.

— Как ты желанна! — упорствовал сердца порыв.

— Ужель неразгаданной тайной от глаз моих в мире сокрыта?

Отзовись, где бы ты ни была, свет мой и отрада, во поле чистом, в бейт-лехемском доме чужом, в дали неведомой... Или приблизишься, встанешь, смущенная, рядом... Рядом... Отныне наш Боаз не мыслил уже об ином».

А я вспоминала строки его стихотворения о Суде и Милосердии и думала, что та полнота чувств, которая дана была ему на пороге расставания с жизнью, и есть проявление Высшего Милосердия...

Порою мне кажется, что вот сейчас он выйдет из своей комнаты с листком бумаги в руке и, пряча смущение, скажет:

— Вот послушай, что я написал...

...Ушедшие навсегда мгновения нашей жизни становятся нашим прошлым. Ещё вчера трепетные, полные красок и звуков, они как волны, уносимые ветром от берега, отдаляются всё дальше и дальше...

Вильям Баткин ЭТЮДЫ ДУШИ

Стихи последних лет

* * *

Мне не забыть, когда стихов поток
Наваливался паводком весенним,
Но краткий срок тот полагал потом
Удачей личной, чудом и везеньем.

Невидимо раскрытая ладонь
Дарила щедро уголья созвучий,
Но их бегущий по строкам огонь
Едва ли впрок остудим и изучим.

Да что стихи?! Суровая судьба...
Ее, как пот, нам не смахнуть со лба,
Но все провалы, пробы и успехи,

Но данный Свыше праведный урок,
Как и огонь, бегущий в гуще строк,
На долгой ниве осознать успеем?

* * *

Не вдруг осознаешь, что далеко за сорок.
И пятьдесят в полях истаяли, как дым,
И помнятся следы истоптанных кроссовок —
В них бегал по утрам, рысцой, не молодым.

И в шестьдесят сухим ещё казался порох.
Был легок на подъем пред рокотом дорог.
Но громом в ясный день, и как ушат за ворот.
Все семьдесят и семь грохочут о порог!

И дорог каждый день, рассветом острым вспорот.
Но каждый час его ты расточаешь в спорах.
На свой и страх, и риск... А это я к тому,

Что осознать пора — и ты в поре рисковей.
И тяжело читать по зову огласовок
Давидовы Псалмы, и мудро — Талмуд.

Этюды души

Из прочих пристрастий мне мил загрузованный холст.
Да миловал Б-г — не спешу по утрам на этюды.
Брожу по горам — не оливок лазоревых горсть, —
Этюды души приношу неизменно оттуда.

Манил меня прежде распахнутый белый рояль.
Да на ухо слон наступил ненароком как будто.
Маэстро вчера в переполненном зале играл,
Этюды в душе отозвались тревожно наутро.

Прелестнейших женщин успел разглядеть я в толпе.
Да Б-г мой безмолвно подвел отчего-то к тебе
И двери прикрыл, оттесняя настырную старость.

Любовь даровал, о которой мечтать я не мог.
Этюдам души догадаться пока невдомек.
За что мне краса ненаглядная эта досталась.

* * *

Мой римский профиль — крупный нос, прямой,
Высокий лоб, глубокие глазницы, —
Не пожелав с годами сохраниться,
Скукожился, как жухлый лист зимой.

Нос — крючковат, и лик седобород,
Все атрибуты предков мне достались
И белоснежный, полосатый талес —
Он, как броня, спасает мой народ.

Сефардский друг, из Пензы ашкеназ,
Что отличает неизменно нас
И накликает ненависть и зависть?

Что сквозь века нам удалось сберечь.
Не только облик — нос, глаза и речь.
Но и души Б-жественную завязь.

* * *

Тебя ищу я в биополе строк.
Как в чистом поле вольную жар-птицу.
Как вспыхнувшую яркую зарницу,
Тебя в душе лелеял и берёг.

Твой слог возвышен, благодушен, строг.
В глубинах сердца до поры таится. —
Так завязь почек укрывает листья,
Пока раскрыться не нагрянет срок.

Вдруг голос твой на радиоволне
Я отыскал... Он показался мне
Таким далеким, как с чужой орбиты.

Не обессудь — дороже во сто крат,
Когда близка ты — рядом, без преград.
Моим дыханьем любящим обвита.

Проза поэта

Сколько кануло в прозе заветных стихов.
Сколько чутких созвучий, сравнений, метафор!
Но не так ли и кварц насыщает стекло.
И окатыш руды блеск и ковкость металла.

Есть и в повести свой вольнодумный накал.
И новелла навеяна свежестью ветра.
И сюжет наполняется, словно река
Долгожданным раздольем дождливого лета.

Неужели лишь груз навалившихся лет.
Клонит к прозе суровой, как молвил Поэт.
Преподав неизбежность подобного крена?

Но порой, прорываясь в размеренность глав.
Шаловливая рифма вбегает стремглав.
И тебя озаряет созвучьем катрена.

Возраст

Затея зряшная — скрывать свои года.
И без тебя отмерен возраст Свыше:
Компьютер подключен, надежны провода.
Пока их гарантийный срок не вышел.

Претензии судьбе творить не торопись.
Похоже, это не в твоей манере.
Всех книг не написать, не выкрикнуть реприз.
Намеренно возникнув на манеже.

И без побудки в срок ты вскочишь поутру.
И талес, словно плащ, трепещет на ветру.
А то, что шепчешь ты, — светло и свято.

И к вечеру не грех принять на посошок.
И, как солдат в строю, тащить свой вещмешок...
Но вышел возраст — не берут в солдаты.

* * *

Как загодя обещана.
Когда — не назову.
Подарена мне женщина
Всерьез и наяву.

Не выигрыш, не премия.
Не долг минувших дней.
И все красоты-прелести.
Мне видится, при ней.

Как под парящим парусом.
Доставлена по адресу.
Погрешности не быть.

И мне навек завещано:
Прелестную ту женщину
Любить... Любить... Любить!

* * *

Когда я из артельных подмастерьев
Не призван был в когорту мастеров,
Мне показался приговор суров,
Сравним он с высшей мерю — расстрельной,

С диагнозом жестоким докторов.
И я стоял, как пред судом, растерян,
И стих мой, и невидящ, и рассеян,
Терял свой пламень, словно жар костров.

Но вдруг услышал Свыше: «Без истерик!
Широкий путь был пред тобой расстелен,
И Небо натянуло прочный кров, —

Вот и твори, сомненья поборов,
А Мне решать, кому быть менестрелем,
Кого учту в когорте мастеров».

* * *

Наши тексты, как тесты, бродят по Интернету
На глазах завидующих вселенского люда,
И пока, будто спутник, облетают планету,
Мы бродим с тобой по Яффо и Бен-Иегуда.

Эти строки катрена — давняя страсть к сонету,
Повод отбросить полог, признаться прилюдно:
Если в конце тоннеля жадно тянусь к свету,
Со мной сотворила чудо твоя причуда.

Если вдруг удостоен такого подарка,
Верно, вмещались силы иного порядка, —
Именно наши тексты ими и объяснимы.

Что выпало нам с тобою бродить по Яффо.
Солнечно-бесподобной, по дивной, по яркой
Улице во Вселенной — в центре Иерусалима.

* * *

Не вчера я постиг: ностальгия меня не настигла.
И неведом мне плач о российских метельных снегах.
Я бегу по годам, как по вымокшим бревнам настила.
От себя убежать — не дано мне, пожалуй, никак.

Впрочем, ради чего? Да, изгибы судьбы не простые
Изменили, как грим, седина в бороде, на висках.
Но себе изменить — никогда, ни за что не простил бы. —
Ни в толпе, ни в семье, ни в бегущих из сердца строках.

Полной грудью дышу в нерушимых горах Иудей.
И по праву живу в заповеданном Свыше наделе.
И высокое небо сквозь ветви струится в окно.

Трижды в день я молю — быть услышанным в тайной надежде.
Но, наивен в мечтах, и в стихах простодушен, как прежде. —
От себя убежать — мне, пожалуй, уже не дано.

* * *

И только теперь, когда седина белоснежна,
И годы, как коды, насытила генная суть,
Поймешь, что судьба, та, что Свыше дана, — неизбежна,
И если есть Милость, то есть неизбежно и Суд.

Но норов порой прорывает запруду мятежно,
И ноги, как йоги, в запретные топи несут,
И если дано тебе выжить в тоннеле крошечном,
То коды на годы судьбу непременно спасут.

Есть тайна Любви, но и есть ощущение Страха,
Не ужас, а трепет, и место моления — не плаха,
И Небо тебе оказало вниманье и честь.

Не дай тебе Б-г возгордиться везеньем... Однако
И в буквке каждой — в пергаментном свитке ТАНАХа
Сумей о себе достоверную повесть прочесть.

* * *

Восьмой десяток подходил к концу,
Как гром в ночи, чудил восьмой десяток.
Я полагал: мне явно не к лицу
Его округлость в старческом дизайне.

Настырен шаг его: так по плацу
Из сил последних семенит десантник,
Бегун по эстафетному кольцу
Так взмокшей грудью ленточку достанет...

Восьмой десяток я признать готов:
Любовь и боль, отметины годов,
Он мне судья и с будущим посредник.

Когда уйду на круг рисковый мой,
Добро бы мне на финишной прямой
Прийти последним.

* * *

Что творится ночами с душою моей?
Словно шторм тревожит побережье морей,
Будто ветер утробный — в сугробах полей...
Разве ж распри и боль — в доме добрых друзей?

Так надолго ль душа непокой сохранит?
Средь убранства убежищ — в надежной из нищ,
Оказался я загнан — одинок и нищ,
И сгибаюсь в молитве, и падаю ниц...

А наутро как будто утихли ветра,
И сменила ночные печали пора,
Когда радость разбросана, как семена

Распустившихся ярких нехрупких цветов,
И покой обрести каждый ждущий готов,
И другого зовет за собой, и меня.

* * *

Обозначен диагноз...
Как настигнутой коршуном жертве
Трепыхаться до срока
В негнущихся острых когтях,
Я успел осознать —
Навалился навязчивый жребий,
Не успел ощутить
Не испытанный низменный страх.

В заключение врача —
В его слове, волнении, жесте,
И в его молодых, одновременно
Добрых и жестких глазах,
Я прочел приговор,
И воскликнул в сердцах: — Неужели?!
Отозвался диагноз
И горестным громом в горах...

Я живу, как и жил,
Не тоскую украдкой о прошлом,
Что в ближайшую вечность
Исторгнутой лавой стекло...
И пишу, словно дар
Надиктованный, добрую прозу,
И ловлю, словно чудо,
Созвучия чутких стихов.



Владимир Фридкин

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Рассказы

Пианист из “Ла Скала”

Познакомился я с ним в Милане на улице Сольферино, в доме номер 40. Я хорошо запомнил этот адрес, потому что на третьем этаже этого серого, ничем не примечательного дома находится немецкое консульство, куда мне пришлось тогда часто навещаться.

Весь девяносто второй год я проработал в Северной Италии, в Тренто, в местном университете. По работе мне пришлось несколько раз ездить в Германию, во Франкфурт. Итальянцы, как и все другие европейцы, путешествуют по Европе свободно, без виз. Покупают билет и летят, куда им надо, в Париж или Лиссабон. А вот с российским паспортом, все еще серпастым и молоткастым, никуда не пойдешь: нужна виза. А визу в это время стало получать все труднее. Центральная Европа, в особенности Германия, стала отгораживаться от потока беженцев, хлынувших с востока в поисках работы в спокойной и сытой стране. Германию наводнили российские кандидаты наук, врачи и музыканты. наших музыкантов там стали звать бременскими. Они бродили из города в город, давали концерты на площадях под открытым небом, в уличных переходах и метро. Однажды в Мюнхене, на Marienplatz, я встретил знакомого скрипача из уважаемого московского ансамбля. Он играл концерт Моцарта в сопровождении радиолы, исполнявшей партию оркестра. Накрапывал дождик. Несколько прохожих слушали, стоя под зонтиками. На тротуаре у ног музыканта лежала вышитая узбекская тубетейка. В нее кидали монеты. Я разглядел в ней даже две бумажки по десять марок. Один мой московский коллега, известный физик, все послеперестроечные годы любил повторять: “Без сосисок я обойдусь, а вот без свободы — нет”. Но и он недавно уехал.

Консульство в Милане работает до полудня. А ехать из Тренто в Милан нужно часа четыре поездом да еще с пересадкой в Вероне. Чтобы успеть, я вставал ночью, шел пешком из нашей деревушки до станции, садился в полупустой поезд и дремал у окна. За темным окном до самых звезд поднимались огоньки, и по ним угадывались горы и долина реки Адидже, вдоль которой шел поезд. Небо постепенно розовело, огни гасли и яснее проступал силуэт гор. С них в долину спускался туман. В Милан я приезжал уже при свете дня и, сбегав по ступенькам с высокого перрона, бросался в метро. Если быстро добраться до станции “Moscola” и пробежать с полкилометра вдоль длинных и унылых банковских зданий, можно успеть к консульскому окошку к одиннадцати, то есть за час до закрытия. Часа хватает на то, чтобы ответить на вопросы анкеты и протянуть ее в окошко вместе с паспортом. Продолав это, я немедленно пускался в обратный путь, чтобы засветло вернуться домой. Через неделю ночью я снова отправлялся в Милан получать эту самую визу. На этом мытарства не кончались. Так как ехать в Германию поездом намного дешевле, чем самолетом, нужно обзавестись еще австрийской транзитной визой. А

для этого приходилось ехать в Милан снова. Очень скоро я возненавидел этот знаменитый итальянский город, так и не увидев его.

И на этот раз консульский офис выглядел как обычно. В небольшой комнате за столами сидели над анкетами несколько человек, африканцы и вьетнамцы, молодые люди в джинсах и свитерах, видимо, студенты или наемные рабочие. Время от времени они подходили к окну и сдавали чиновнику бумаги, объясняясь по-итальянски. Я был в очереди последним. Сидя за столом, я лихорадочно быстро писал, стараясь успеть до закрытия, как вдруг услышал итальянскую речь, заставившую меня поднять голову. У окна офиса стоял господин средних лет в элегантном костюме и расстегнутой белой рубашке без галстука с гривой густых волнистых слегка седеющих каштановых волос. По-итальянски он говорил бегло, но с русским акцентом. Из его объяснений с чиновником я понял, что он пианист из миланского оперного театра “Ла Скала” и едет на два месяца по контракту в Дрезден, в оперный театр. Потом он подошел ко мне и сказал по-русски:

— Мы, кажется, соотечественники. Не можете ли мне с этой анкетой. Говорить я кое-как говорю, а вот писать...

Заполняя графы его анкеты, я узнал, что зовут его Николай Тарасюк, ему пятьдесят лет, родился он в Киеве, не женат и вот уже пятый год работает в “Ла Скала”. Так что и знакомиться было не нужно.

Николай спросил меня:

— Вам приходилось бывать в Дрездене?

Я ответил, что приходилось, и много раз. Тогда он спросил:

— Ну и как вам там оперный театр?

— Здание очень красивое, рядом с Цвингером, со знаменитой Дрезденской галереей. А как там сейчас поют или играют — не знаю. Я был там давно, еще во времена ГДР.

Когда мы вышли вместе на улицу, Николай сказал:

— Я вам так благодарен. Вы просто спасли меня. Вот этими руками, проигравшими без малого сорок пять лет, я не написал ни строчки. Да еще по-немецки... Нет, правда, скажите, что мне для вас сделать?

— Ну что вы... само собой... какие пустяки, — бормотал я. — А впрочем, — сказал я, развеселившись, — я знаю, о чем попросить. Достаньте нам с женой билеты в “Ла Скала”, конечно, не самые дорогие.

— Вот этого я не могу. Не по чину. Впрочем, и “звездам” это не всегда удается. На днях Мирелла Френи устроила скандал. Каким-то ее друзьям не оставили билетов на ее концерт. А моя должность скромная — пианист-концертмейстер. Аккомпанирую солистам и хору, помогаю режиссеру с партитурой. Рабочая лошадка. Иногда работаю по двенадцать часов в сутки, как тапер на свадьбе. Говорю: ну, не могу больше, устал. А режиссер смеется и заказывает мне еще один кофе.

И Николай улыбнулся. Улыбка у него была странная: глаза оставались грустными и какими-то растерянными.

Разговаривая, мы дошли до метро, и я собрался уже попрощаться. Но Николай сказал:

— Послушайте, ведь вы никогда не были в “Ла Скала”. Давайте я покажу вам театр, а потом зайдем куда-нибудь выпьем кофе. Сегодня я свободен. Зачем вам спешить? Ну приедете в свое Тренто поздно вечером. А можно и у меня переночевать. У меня тут рядом, на улице Андреис, просторная квартира. А утром я вас подкину на вокзал на своей машине. Раньше у меня был старенький “фольксваген”,

а недавно я купил новый “гольф”. Только не подумайте, что из любви к Германии. Экономичнее.

И Николай улыбнулся, и опять как-то грустно.

И в самом деле — подумал я. — Когда я еще попаду в этот знаменитый театр. А заодно и город, наконец, увижу.

И я согласился. Пока мы шли к театру, Николай во всю ругал администрацию. Директор Карло Фонтана стар и на все махнул рукой. А главный дирижер Рикардо Мути, недавно женившись на молодой певице, оркестром не занимается. Он горд, сух и неприступен. Театр разваливается.

Разговаривая, мы прошли через piazza di Duoma, через знаменитую галерею Виктора Эммануила с модными магазинами и вышли на площадь к театру, где стоит памятник Леонардо. Обогнув слева здание и пройдя кассы, мы вошли в гараж, где Николай почтительно поздоровался со старичком, дежурившим у служебного входа. Один или два пролета лестницы, и мы вышли на сцену. Огромная сцена была пуста, и оркестровая яма закрыта. Был ноябрь, но оперный сезон еще не начался, в “Ла Скала” шли концерты. На помосте, закрывавшем оркестровую яму, стояли попугаи. Видимо, шли репетиции оркестра, но музыкантов не было, и только двое скрипачей, сидя, о чем-то негромко разговаривали. Николай вывел меня на середину сцены, и я увидел зал. Он был меньше, чем у нашего Большого. И скромнее. Николай показал мне справа от нас, в бельэтаже, ложу, в которой на премьерах своих опер сидел Верди. Ложы ярусом расположены не по радиусу, а под углом, и все разные, одни с зеркалами, другие — без. Николай сказал, что многие из них арендованы богатыми миланскими семьями чуть ли не с прошлого века. Я подумал, что вижу зал со сцены таким, каким его видели Карузо, Джили, Каллас... В углу у входа на сцену стоял рояль ярко-красного цвета.

— Вот на нем я играю, — сказал Николай. — А зал, как видите, так себе, ничего особенного. Разве можно сравнить его с нашим Киевским оперным, не говоря уже о Большом. Но что здесь замечательно, так это акустика. И сейчас я вам это покажу. Пропойте что-нибудь.

— Как... здесь? Да я не пою. А что спеть?

— Да что хотите. Хоть вполголоса, хоть про себя. И сами увидите, вернее услышите.

Зал был пуст. Один скрипач ушел, а оставшийся разбирал ноты. Николай, грустно улыбаясь, смотрел на меня и ждал. И меня вдруг охватило отчаянное озорство.

*La donna e mobile
Qual piume al vento...*

Мне показалось, что пою не я, а кто-то рядом, и очень громко. Скрипач на секунду поднял голову и тут же снова углубился в ноты, даже не взглянув на меня.

— Вот видите, — сказал Николай. — Архитектор Пьермарини, который построил театр, гениально знал акустику. Кстати, “Риголетто” как раз пойдет в этом сезоне и, говорят, петь будет Паваротти. Лично я в этом сомневаюсь. В прошлом сезоне он пел в “Дон Карлосе”, пустил петуха, и его плохо приняли. А билет, между прочим, стоил миллион лир. Паваротти обиделся и отказался петь в “Паяцах”. А может быть, все это из-за ноги, которую ему тогда оперировали в Риме.

Потом Николай провел меня по ярусам, где не было ни позолоты, ни хрусталей, по нижнему фойе со скульптурами Россини и Доницетти и верхнему с боль-

шой люстрой и огромным бюстом Тосканини, обращенным к окнам, выходящим на площадь к памятнику Леонардо. На лестнице по дороге к выходу Николай поцеловал ручки двум очень спешившим куда-то дамам. Дамы не обратили на него никакого внимания. А Николай сказал, как будто извиняясь:

— Ничего не поделаешь, такие здесь порядки.

И улыбнулся своей странной улыбкой. Выйдя из театра, мы снова прошли в галерею и уселись в баре за столик.

— Скажите, Николай. Я знаю, что вы едете в Дрезденскую оперу. Зачем?

— Меня пригласил мой приятель скрипач из Свердловской оперы. Играет в Дрезденской опере уже пару лет. Он и контракт устроил. Хочу попытать счастья. Может, устроюсь там.

— А здесь у вас кончился контракт?

— Да нет, мне его недавно продлили.

Я с изумлением уставился на него. Он спокойно пил свой кофе.

— Как? Вы по своей воле хотите оставить “Ла Скала”, уехать из Италии... Оставить самый блистательный, самый профессиональный оперный театр. Почему? Мало платят?

Николай молчал и улыбался. Теперь, сидя напротив, я, наконец, разглядел его улыбку. Она была широкой, во весь рот. Печальной ее делали глаза, как будто избегавшие моего взгляда.

— Да нет, платят мне хорошо. И квартира удобная, и для Милана недорогая. И знаете, здесь, в Италии, я пить перестал. Разве вино иногда. Каждое лето недели три на Капри отдыхаю. Всю Италию вдоль и поперек объездил... Кстати, вы в Равенне бывали? Нет? Поезжайте, очень советую. Такая тихая седая старина. Почему-то наших туда редко заносит. Да... Так вы спрашиваете, почему в Германию. Как бы это вам объяснить...

Николай задумался. Официант принес еще по чашке кофе и по стакану воды.

— Между прочим, итальянский эспрессо — лучший кофе в мире. Я всегда его запиваю холодной водой. Я думаю, самая лучшая еда — у нас, а лучший кофе — в Италии. Так почему в Германию... А вот скажите, приходилось ли вам прийти, ну случайно, в дорогой ресторан в приличную компанию небритым и в грязной рубашке?

— Нет. Да я в дорогие рестораны и не хожу.

— Не в этом дело, это я к примеру. Чужой я здесь. Пятый год вкальваю, пятый год на мне ездят, и все равно чужой. На днях Бенини, второй дирижер, встречает меня, смотрит, как будто не узнает, а потом говорит: “А, это вы... а вы все еще у нас?” Поймите правильно. Итальянцы — добрые, даже сердечные люди, хоть и любят пыль в глаза пустить. Но я — артист, мне нужна не только свобода, но и уважение. А здесь мое искусство никому не нужно. Ведь они даже не знают, что Киевскую консерваторию я окончил с отличием, что давал сольные концерты, мальчишкой аккомпанировал Гмьре... Кому это здесь интересно...

— Ну а в Дрездене, думаете, будет иначе?

— Не знаю. Будет видно... Хотите еще чашку?

— Нет, спасибо. Хочу еще вас спросить. А как вообще вы здесь оказались? И почему вы один? Одному трудно... вы, кажется, не женаты?

— А я и сам не знаю... В общем, нет, не женат. Но у меня взрослый сын в Свердловске. Была со мной такая история, лет двадцать назад. Приехал я с Киевским оперным в Свердловск на гастроли. После концерта в какой-то компании познако-

мился со студенткой. Была она спортсменка, училась в физкультурном институте. Красивая такая, тонкая, стройная. Жила одна, в общежитии, в комнате с двумя подругами. Там было строго, я к ней через окно лазил. Потом снял комнату, стали жить вместе. Ну а какая у музыканта жизнь, сами понимаете. Сегодня здесь, завтра — там. Из Киева в Свердловск на такси не приедешь. Да к тому же в это время стал я выездным. Ездил с театром и солистами то в Европу, то в Японию. Как-то приезжаю в Свердловск и узнаю от нее, что ждет ребенка. Я обрадовался. Начал строить семейные планы. Но сначала к себе в Киев улетел, а потом на пару недель в Прагу. В Киеве я жил с матерью, а два моих брата жили в Клинцах. Я матери все рассказал, и она к братьям переехала, квартиру в Киеве нам уступила. Приезжаю я за невестой в Свердловск. Помню, зимой это было. Прихожу к ней, на столе бутылка. “Выпей, говорит, с морозу, нам поговорить надо”. И ставит одну рюмку на стол. Сама она тоже выпивала, но тогда на седьмом месяце была. Выпил я, поел, и тут она мне и говорит: “Вот что, Коля, ни в какой Киев я с тобой не поеду. Жизнь у тебя сумасшедшая, и ты сам такой же. Я замуж выхожу”. И назвала мне имя штангиста, ставшего перед этим олимпийским чемпионом. Я его, между прочим, и раньше знал по компании, в которой мы встречались. Я говорю: “А как же ребенок?” А она так спокойно: “А ребенок не твой”. Я уехал в Киев, а она родила сына. Сын вырос, сейчас ему девятнадцать. Все говорят похож на меня, одно лицо. Меня отцом считает. Прошлым летом приезжал ко мне в Милан. Мы с ним на Сардинии две недели отдыхали. А муж ее спился, сейчас на пенсии. Все эти годы я им деньги посылаю, сыну и ее мужу. Без меня пропали бы... А в Милане я оказался после Чернобыля. Было это так. Я уже сказал, что был выездным. Когда театр выезжал на гастроли за границу, с нами всегда ехал “сорок первый”. Так у нас звали сопровождающего кагэбэшника. Много их поездило с нами. Были они люди тихие, незаметные, мне и другим забот не причиняли. Разве что иной раз просили помочь отovarиться. Никаким иностранным языком они, конечно, не владели, а домой без подарков не приедешь. А тут просто зверь какой-то попался, говорят, полковник. Были мы тогда в Токио. Уж не знаю, на какую я ему мозоль наступил. На обратном пути в Хабаровске мы с ребятами из оркестра поддали в гостиничном баре, засиделись допоздна. И он с нами был. Мы еще за него платили. О чем трепались — не помню. Ну устали ребята, расслабились после гастролей. А утром за завтраком он, наклонившись и сверля меня глазами через очки в золотой оправе, тихо так говорит: “Все, Тарасюк, больше ты за границу не поедешь, отъездился”. Я тогда еще подумал — шутит или только грозит. Чего с похмелья не бывает. А когда меня в очередную поездку не пустили, понял, не шутил полковник. Вот так, в одночасье стал я невыездным. Уж куда я ни обращался, кого ни просил. К помощнику Щербицкого ходил, своему старому знакомому, — все напрасно. Из театра пришлось уйти. На работу перестали брать. В Киевской филармонии говорят — не можем тебе дать работу, у нас выезжать надо. В каких я тогда кабаках не играл, чтобы себя и мать прокормить. Там подошла перестройка, а весной восемьдесят шестого случился Чернобыль. Мать жила тогда с братьями в Клинцах, рядом с Чернобылем. Забрал я их оттуда и перевез в Киев, а сам по туристической визе уехал в Загреб, в Югославию. С этого все и началось. Из Загреба приехал в Милан, в “Ла Скала”. Послушали меня. Видимо, я им понравился, но на работу меня тогда не взяли. Сказали, что места нет, да и по туристической визе работать не разрешалось. Обещали на следующий сезон. Я вернулся в Загреб и стал ждать. Пока ждал, еще в Вену съездил и там в оперном театре показался. Скоро получил приглашения сразу в два места: в Милан и Вену. Выбрал “Ла Скала”, и вот уже пятый год здесь.

— Ну а по Киеву скучаете?

— Еще бы! Да я был там недавно, мать похоронил. И друзей навестил. Некоторые уехали, а те, кто остался, бедствуют и говорят, вроде вас, — уходить из “Ла Скала”, да ты с ума сошел! А когда узнают, сколько мне здесь платят и как я живу, просто за голову хватаются... Странно устроен человек. Может, и вправду — хорошо, где нас нет. Каждому свое... Вот я бы променял этот эlegantный бар, где мы с вами сидим, на наше киевское театральное кафе. Там коньяк пили из граненых стаканов, и Катя, наша буфетчица, если ее хорошо попросить, наливала в долг... Мне сейчас пятьдесят. Я решил так. Поработаю до пенсии и вернусь в Киев. На тамошнюю пенсию мне петь — какая это пенсия! Деньги у меня будут. А работа, пока жив, всегда найдется. Вот только болеть у нас нельзя, лекарств нет. Я отсюда в Киев и Свердловск даже аспирин посылаю. Ну а смерти не боюсь, она и здесь, кого нужно, найдет. Я к ней отношусь как пионер...

Увидев мое удивление, Николай пояснил:

— Придет с косой, встанет в дверях и спросит: готов? А я отвечу: всегда готов. Ну так как, поедем ко мне ужинать?

— Спасибо, но не получится. Я вспомнил, что как раз завтра утром у меня семинар. А мне ведь долго добираться.

— Жаль. А то бы я вас галушками угостил, нашими, почти как в Киеве. На соседней со мной улице семья из Закарпатья ресторанчик открыла — “Днипро”. Так я у них борщ и галушки на дом беру. Итальянцам нравится. Они говорят, что похоже на их тортеллини, только вкуснее. Жаль, что не остается...

И Николай проводил меня до метро у Миланского собора. Но прежде он подвел меня к быку, выложенному мозаикой на полу недалеко от выхода из галереи. Он заставил меня наступить каблуком быку на известное место и повернуться к кругом.

— Это такая здесь примета. Теперь в Милане вас всегда ждет удача.

— Спасибо, — сказал я. — Я подозреваю, что перед отъездом в Германию вы придете сюда и сделаете то же самое.

— Конечно, — ответил он. — Кто его знает, как там в Дрездене дело обернется. Может, еще и вернусь в Милан.

И еще раз грустно улыбнулся на прощанье.

Первая любовь

Была ранняя весна. Огромные американские дубы стояли еще голые, похожие на вылепленных из пластилина мускулистых великанов. Но прогретая солнцем земля уже проросла зеленой травой, на которой лежали солнечные и синие джинсовые пятна. Гарвардские студенты, группами и поодиночке, лежали под деревьями и потягивали пепси из больших пластмассовых бутылок. К ним слетались по-прошайки белки, какого-то пепельного цвета, и стоя на задних лапах, брали пищу из рук. Гарвардский двор был огорожен высокой чугунной решеткой и зданиями темно-красного кирпича с ослепительно белыми оконными переплетами. А в центре двора перед таким же темно-красным кирпичным домом сидел в каменном кресле бронзовый Джон Гарвард. За его спиной у входа было растянуто звездно-полосатое знамя.

Недалеко от памятника под деревом расположилась пара студентов. Он — худощавый длинноногий негр в выгоревших джинсах и светлой фуфайке и она — ярко-рыжая веснушчатая блондинка в отороченной белым мехом джинсовой куртке. Обнявшись, они полулежали, прислонившись к стволу и смотрели вверх, в высокое бледное небо с редкими облачками. Из рюкзака, лежавшего у их ног, выглядывали книги и связка бананов.

Я сидел под таким же деревом, и от весеннего хмельного воздуха у меня кружилась голова. Наверно, я устал после долгой утренней работы в Гарвардской библиотеке Хутон. Там в архиве Зинаиды Волконской я разбирал сегодня пачку писем императора Александра Первого, адресованных княгине. Это был полустершийся след ее первой любви, продолжавшейся до самой смерти Александра и, кто знает, может быть всю ее жизнь...

В октябре 1810 года на балу у министра двора Петра Михайловича Волконского семнадцатилетней Зинаиде представили молодого князя Никиту Григорьевича Волконского, брата будущего декабриста. Князь Никита не был хорош собой. К тому же был угрюм и болезненно застенчив. Иногда на него нападали приступы черной меланхолии, и он по неделям небритый, в халате, валялся у себя в кабинете, не подпуская никого. Его мать, Александра Николаевна Репнина, советовалась с петербургскими врачами. Одни рекомендовали лечение на Баденских водах, другие советовали побыстрее женить князя. Время шло, а в Петербурге между тем объявилась молодая княжна Зинаида, дочь покойного князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского. О ней только и слышно было в свете. Круглая сирота, к тому же богата и хороша собой. О ее пении говорили во всех петербургских гостиных. Поговаривали и об особом внимании царя Александра. Не проходило бала, чтобы царь не танцевал с Зинаидой. Татищевы и другая московская родня быстро ее сосватали. Лучшей пары, чем князь Никита, было не найти. И на следующий год, третьего февраля, сыграли свадьбу. В конце того же года княгиня Зинаида родила сына и назвала его Александром...

Кто бы мог подумать, что князь Никита окажется нежным и заботливым мужем? В войну двенадцатого года, назначенный штабным адъютантом и сопровождая царя в походе, он чуть ли не каждый день находил время увидеть жену или послать ей записку. Зинаида вместе с другими придворными дамами следовала за войском в обозе. К мужу она была холодна, и в этом боялась себе самой признаться. Она ждала других писем. Александр посылал их с фельдъегерем, а иногда и с князем Никитой. Это было жестоко, и думать об этом молодой княгине Волконской было тяжело. Царь не скрывал своих чувств, был нетерпелив. Князя Никиту он не любил и ревновал его к княгине. В письмах называл мужа Зинаиды не иначе как "Ваш человек" (*Votre homme*) и "нервный курьер" (*courier fievreux*). В одном из писем Александр с сарказмом пишет, что князь Никита держится за женину юбку. Но ни муж, ни ревнивая опека сестры императора великой княгини Екатерины Павловны не могли помешать их встречам и письмам. Письма приходили к Зинаиде из Аустерлица, Парижа, Вены... И после войны, когда Зинаида надолго задержалась в Париже, эта переписка продолжалась. В письме Петерсвальдау 28 мая 1813 года Александр пишет: "С той поры, как я встретил Вас, охватившие меня чувства становились еще сильнее после того, как Вы позволили мне приблизиться к Вам (<...> Вы не раз говорили мне, что Вы уверены в чистоте моих чувств к Вам, и это утешает меня до глубины сердца" (оригинал по-французски).

В декабре 1814 года во время Венского конгресса княгиня Зинаида родила сына. Вскоре мальчик умер. И примерно в это же время замирает переписка между княгиней и императором. Была ли связь между этими событиями? Последнее письмо Александр отсылает ей из Шаффхаузена в декабре 1813 года. Проходит три с половиной года. Зинаида пытается забыть, рассеяться, путешествуя по Европе. И только в мае 1816 года из Петербурга к ней приходит письмо Александра.

Царь торопил княгиню вернуться в Петербург. Уже в России, узнав о смерти Александра в Таганроге, Зинаида выехала навстречу. И эта их последняя встреча случилась в Коломенском. Княгиня просидела у гроба всю ночь. Позже распространился в народе слух, что гроб был пуст и что Александр не умер, а ушел от мирских дел и объявился в Сибири в образе умудренного жизнью старца Федора Кузьмича. Вот бы спросить об этом княгиню Зинаиду, ведь она наверняка знала правду. Но княгиня никогда и ни с кем об этом не говорила. Покинув через несколько лет Россию навсегда и поселившись в Риме, она поставила на своей римской вилле возле церкви Сан Джованни ин Латерано памятник Александру. Мрамор для памятника привезли с севера, из карьеров Массы и Каррары. Выбитая на нем надпись говорила, что он сделан из того же монолита, что и Александровская колонна перед Зимним дворцом в Петербурге.

Жизнь не обделила княгиню любовью. Веневитинов, Мицкевич, Баратынский были у ее ног. Вот только Пушкин избежал этой участи. Может быть, княгиня была не в его вкусе, — слишком ярка, смела и темпераментна, отнюдь не застенчивая, таинственная мадонна, а может быть, причиной был граф Миниато Риччи, которого московская молва при толках виста и бостона объявила любовником княгини. Наверно, так оно и было на самом деле. Красивый итальянец покинул Россию чуть раньше Зинаиды и прожил в ее римском доме до самой смерти. Риччи знал об Александре, но никогда не расспрашивал о нем княгиню. Однажды в Венеции, когда они плыли в гондоле по Большому каналу, тень покойного императора промелькнула между ними. Стояли теплые дни поздней осени. В Венеции не видно времени года, кругом — вода и камень. Осень только выглядывала из воды в канале — темной, свинцовой. Пустые лодки и гондолы подпрыгивали на волне у деревянных шестов. Гондольеры, широкоплечие, в матросках и широких соломенных шляпах с лентами, облокотясь на перила, напрасно поджидали *viaggiatori*. Был мертвый сезон. Зинаида, сидя на корме, смотрела в сторону скрытого туманом моря и вполголоса напевала баркаролу на слова Козлова. Потом, задумавшись, сказала, что Козлов не был в этих местах, не видел Бренгы, да к тому же был слеп, но верно передал этот простор и движение. Помолчала и добавила, что такое же верное чувство было у покойного императора. Риччи стал было расспрашивать ее об Александре, но Зинаида отвернулась и стала смотреть в сторону моста Риальто, где под звуки мандолины шумная компания молодых людей вываливалась на набережную из траттории...

Был ли Александр красив? На знакомых мне портретах он выглядел высоким, статным и лысоватым. Я вспомнил знакомого римского антиквара Саво Расковича. В старом американском фильме “Война и мир” по Толстому он играл роль Александра. Видимо, постановщики фильма нашли сходство во внешности серба, бежавшего из оккупированной немцами Югославии, и русского царя. Я познакомился с Саво в начале восьмидесятых в Риме, когда ему было уже за шестьдесят. Он был почти двухметрового роста, строен, с красивым орлиным носом и холодными стальными глазами. Слегка выющиеся седеющие волосы кудрявились на за-

тылке. Удивительны лабиринты судьбы. Уже снявшись в фильме, Саво-Александр встретился со своей Зинаидой. Было это так. В середине семидесятых на аукционе в Риме распродавались вещи, принадлежавшие Зинаиде Волконской, — картины, рисунки, посуда. Большая их часть принадлежала римскому коллекционеру, выходящу из России Василию Леммерману, скупившему их у обедневших потомков княгини. Вот тогда Саво и приобрел на аукционе несколько картин, и среди них портрет Зинаиды, нарисованный ее другом художником Федором Бруни. Эту картину я видел у него за ужином. Саво вынес ее откуда-то из глубины квартиры и поставил на пол лицом к стене. Потом неожиданно повернул, и я увидел ослепительную красавицу, смотревшую с холста вполоборота. Тогда я подумал, что Зинаида и Александр встретились снова. Со временем Раскович с большой выгодой распродал эти картины, но с портретом Зинаиды Волконской расставаться не хотел. Помню, я уговаривал его подарить эту картину пушкинскому музею в Москве. Саво не отвечал, только посмеивался. Недавно, работая в лаборатории Фраскати, я снова встретился с ним в Риме. Картина была все еще у него.

Письма Александра... В библиотеке они лежали в конвертах, которые собственноручно надписывал царь, с осыпавшимися сургучными печатями, которые собственными руками разламывала княгиня. Я представил себе, как они дрожали у нее от волнения. Наверно, эти письма Зинаида хранила где-нибудь в секрете под замком. Они были ее тайной. Могла ли она представить себе, что когда-нибудь их прочтет посетитель университетской библиотеки в маленьком американском городке.

От солнца и воздуха меня разморило, и я очнулся, когда белка, соскочив с ветки, прошуршала у моего уха. Мои соседи, по-прежнему обнявшись, ели банан. Рыжая студентка держала его полуочищенным в руке, и они по очереди откусывали от него. Иногда их головы, рыжая коротко стриженная и черная курчавая, сталкивались, и они опрокидывались от смеха на траву. А мне неожиданно пришло на память еще одно письмо, попавшееся на глаза тем же утром в библиотеке. Оно было написано Иваном Сергеевичем Тургеневым и адресовано сыну Зинаиды Волконской вскоре после ее смерти. Тургенев хвалил статью Александра Никитича в “Вестнике Европы”... Почему я вспомнил об этом письме? Но разве разберешься в себе, когда сквозь ресничную радугу смотришь в весенний простор и то ли грезы, то ли воспоминания плывут, как облако в небе. Письмо Тургенева из Бадена... За несколько лет до этого он написал “Первую любовь”. Зинаида... Так звали героиню повести, тоже княжну. Нет, она не похожа на Зинаиду Волконскую. Да и любовь у тургеневской Зинаиды была хоть и первой, но несчастной. А бывает ли первая любовь счастливой? И герой повести, Владимир, был несчастен... Обе Зинаиды жили в одно время. Тургеневская Зинаида влюбляется в отца героя весной 1833 года. Владимир не подозревает об этом. Он читает Зинаиде “На холмах Грузии...”, пушкинские стихи, напечатанные всего за два года до их встречи. Пушкин в это время — в Петербурге, а Зинаида Волконская — в Риме и, видимо, уже переехала на виллу из своей зимней квартиры во дворце Поли. А герои Тургенева живут в Москве на даче напротив Нескучного, рядом с Донским монастырем. Подумать только, тогда это было дачное место... А сейчас там — памятник Гагарину, швейцарский магазин деликатесов, дом, который строил заключенный некто Солженицын. А впрочем, и в мои студенческие годы это была еще окраина, известная благодаря знаменитому “капишнику”, институту Капицы...

Мысли мои поплыли дальше, и я вспомнил свою Зинаиду. Она жила примерно там же, где тургеневская Зинаида снимала дачу, около Донского. Было это давно, в начале пятидесятых, в студенческие годы. Владимир (это я) и Зинаида были тогда студентами-физиками предпоследнего курса университета. Тургеневский Владимир только готовился в него поступать, а мы собирались навсегда расстаться со зданием на Моховой. До Зинаиды я с девушками не дружил. Жил анахоретом. Занимался, слушал музыку и не обращал внимания на свою внешность. На лекции приходил плохо выбритым, зимой в старом тулупе, летом в перешитом кургузом пиджачке. Да и время было трудное. Мать работала врачом в районной больнице, и ее зарплаты не хватало. А когда началась история с “врачами-убийцами”, и осенью пятьдесят второго она потеряла работу, то и вовсе жили на мою стипендию. Я знал Зину с первого курса, но как бы не замечал. И вдруг увидел. Когда и как это случилось — точно не знаю. Наверно, сидел на лекции, смотрел на длинную черную доску с формулами, повернул зачем-то голову и увидел. У нее были огромные карие лучистые глаза, в которых как будто застыло любопытство и удивление. Мы сидели в разных концах огромной аудитории, черным амфитеатром поднимавшейся до самого потолка. И куда бы я ни смотрел, эти глаза преследовали меня, я боялся встретиться с ними взглядом. Девушки всегда взрослее ребят, своих одногодок, и Зина сразу все поняла. Да и окружающие заметили во мне перемену. Я стал смотреть на себя в зеркало, купил галстук и плащ какого-то дикого цвета, который тогда называли пыльником. Стал рассеян, плохо спал и вообще потерял голову. А от одного поступка я и сейчас краснею. Как-то она пригласила меня на день рождения. Нужно было купить подарок, а денег не было. Тогда я тайно от матери отнес в ломбард на Арбате бабушкины серебряные ложки. Да так и не выкупил их, когда получил стипендию. Мы стали заниматься за одним столом в Горьковской библиотеке. Я краем глаза следил за ней. Она сосредоточенно читала, перебирая рукой у виска темно-каштановые волосы, собранные сзади в пучок. А я делал вид, что читаю. Выходить вместе из библиотеки я стеснялся. Дорога шла мимо всем известного памятника Ломоносову, обращенного лицом к Манежной площади. Ломоносов в опущенной руке держал длинный свернутый в трубку манускрипт. Со стороны Манежной — памятник как памятник. А из дверей библиотеки, откуда Ломоносов смотрелся вполоборота, вид был совершенно похабный. Студенты-физики называли это эффектом Ломоносова. Потом памятник “исправили”. То ли руку подняли, то ли манускрипт укоротили, но “эффект” исчез.

Мы часто ходили с ней в консерваторию. Она не была музыкальной, но по доброте уступала мне. Там же мы находили место побыть наедине. Мой друг, тоже студент-физик, жил во втором этаже флигеля, в комнате с окнами в консерваторский двор, где сейчас стоит памятник Чайковскому. Тогда памятника еще не было, и на его месте у разбитой клумбы рос огромный куст сирени, всегда живой от неутомимой воробьиной стаи. В том же флигеле жили знаменитый органист Александр Федорович Гедике с женой, воспитывавшие несметное количество кошек. В весенние дни Зина и я частенько сидели на подоконнике у раскрытого окна. Гедиковский кот выходил из подъезда, по-пластунски, мягко выгибаясь, крался к сиреневому кусту и замирал у самой клумбы. Куст гудел как улей, и воробьи, казалось, не замечали опасности. Наконец, разжавшись как пружина, кот делал отчаянный прыжок, и воробьи разлетались по деревьям. От стыда кот широко зевал и делая вид, что ничего не произошло, лениво отходил в сторону... После первых летних дождей в консерваторском дворе остро и свежо пахло липой и сиренью. Шли экза-

меня. Из открытых настежь классных окон вразнобой звучали голоса, фортепьяно, скрипки и гобой. На душе было тревожно и сладко — и казалось, что вот-вот придет настоящая радость и что все еще впереди.

Осенью и зимой пятьдесят второго мы редко виделись. Она училась на ядерном отделении и была где-то на практике. Меня “на ядро” не приняли из-за анкеты. В то время жизнь ядерного отделения была овеяна романтической тайной. Студентам-ядерщикам запрещалось в разговорах не только упоминать место практики, но даже называть фамилии своих преподавателей. Забавно сейчас вспоминать, как в дымной папиросной компании под звон посуды один говорил другому: “А ты слышал вчера, какую хохму в питомнике отмочил Лев?” И другой отвечал: “Да, но Сереженька ему тоже вставил”. И я не знал тогда, что Лев — это знаменитый Ландау, Сереженька — менее знаменитый Тябликов, а питомник — лаборатория в Физическом институте Академии наук. Поговаривали, что нашим ядерщикам запрещено ходить в рестораны и даже дружить со студентами других отделений. Мало того, сами эти запрещения были строжайшим секретом. На этих вечеринках мы часто сидели рядом. Она принимала участие в общем разговоре, говоря на этом непонятном для меня условном языке. Иногда ее сосед шептал ей что-то на ухо, и она громко смеялась. А потом, увидев вопрос на моем лице, говорила: “Это об одном из нашей конторы. Так, ничего особенного...”. А я не мог понять, почему в веселой и бестолковой компании мне становилось тяжело на сердце.

В эти месяцы мы иногда встречались где-нибудь, и я провожал ее домой. Мы долго гуляли вдоль стен Донского монастыря, прокладывая дорожки в припорошенных снегом кленовых листьях, и замерзшие приходили к ее подъезду затемно. Потом мы стояли на площадке перед ее дверью и я, прощаясь, целовал ее. Это не приносило облегчения и затягивалось надолго. Она вздрагивала от каждого стука парадной двери, прислушиваясь к шагам на лестнице и торопила меня. Жила она в одной комнате с больной матерью. Мать была парализована и не вставала с постели уже несколько лет. За ней ухаживала женщина, то ли соседка, то ли родственница. Я часто бывал у них дома и, пока Зинаида собирала на стол, развлекал больную разговором. Но в эти поздние часы она меня не впускала и отсылала домой. И я шел ночью мимо Нескучного под снегом через всю Москву.

В декабре незнакомый голос по телефону сказал мне, что мать Зины чувствует себя плохо и просит меня приехать. Зина была на практике, ее не было дома уже несколько дней. Я приехал и застал мать в ее обычном виде в постели. Потом мы пили чай, говорили о каких-то пустяках, и я уже собирался уходить, так и не поняв, в чем дело, как она сказала:

— Я хотела поговорить с вами. Зина мне много рассказывала о вас; у нее нет от меня секретов, и я знаю о ваших отношениях. Видите ли, у нее такая специализация, что она не может выйти замуж за человека, у которого... как бы это сказать... ну, например, есть родственники за границей.

— Но у меня за границей родных нет.

— Но ведь вы по национальности...

— Да, я — еврей. Вы это хотели сказать?

— Не обижайтесь на меня. Ведь она моя единственная дочь. Если она выйдет за вас, то не сможет работать. Подумайте сами...

В январе пятьдесят третьего я получил диплом и свободное распределение. Прошел еще год. На исследовательскую работу меня не брали, и Зины я не видел с тех самых пор. Как-то утром она неожиданно позвонила и сказала, что придет ко

мне. Я открыл ей парадную, мы прошли длинным темным коридором коммуналки и, как только дверь закрылась за нами, бросились друг к другу... Я проводил ее до Арбатской, и у дверей кафе “Прага” она на прощанье поцеловала меня.

Через несколько лет на юбилейном вечере курса где-то в ресторане она подошла с бокалом вина, чтобы поздравить меня с защитой докторской. Вечер договорал. Мы постояли среди танцующих у разграбленного банкетного стола с красными винными пятнами на скатерти. Больше мы не встречались. Я видел в журналах несколько ее статей по ядерной спектроскопии. Она подписывалась фамилией мужа. Рассказывали, что с мужем она развелась и снова вышла замуж. Недавно второй муж умер. Ее единственная дочь, очень похожая на нее красивая девушка, уехала куда-то далеко, кажется, в Южную Африку...

Я оглянулся на соседей. Они собрались уходить. Юноша негр, забросив рюкзак на плечо, свободной рукой обнимал свою белую, а точнее рыжую, подругу. Уж не Зинаидой ли ее зовут, подумал я. Да нет, если она из местных, то ее предки — какие-нибудь англичане или ирландцы, а у них таких имен не бывает. И пара, о чем-то весело болтая, направилась к воротам, выходящим на Harvard Square. Я подумал, что и мне пора. Пора возвращаться в библиотеку, где меня ждала княгиня Зинаида. Мой перерыв сильно затянулся.

Живи как барон

В итальянской деревеньке Вела, где мы с женой жили в ту пору, на крутом склоне холма стояла старая вилла. От шоссе к ней вела широкая тропа между двух каменных оград, поросших самшитом и диким виноградом. Из-за кипарисов, окружавших виллу, окон видно не было. Перед виллой на лужайке стоял старый высохший фонтан, а вокруг фонтана — статуи из серого камня. Лица у статуй были стерты, а иные стояли и вовсе без голов. Если бы у статуй были глаза, они глядели бы вдоль склона вниз, на сельское кладбище, каменной стеной выходящее на шоссе. По склону шел виноградник. Скорее это была не вилла, а каменный трехэтажный деревенский дом с чердаком, служившим дровяным сараем. Так раньше строили дома в деревнях Тренгино, на севере Италии.

Хозяином дома был барон Антонио Сальвати. Когда мы познакомились, барону шел девяностый год. Жена его давно умерла, детей не было, и старик одиноко жил в своем доме. Ему прислуживала женщина из нашей деревни. Каждое утро я встречал хозяина виллы на остановке автобуса у ограды кладбища. Я ехал в университет, а барон Антонио в банк, где служил многие годы. Если я приходил на автобусную остановку раньше времени, то видел, как низенький старичок мелкими частыми шажками семенит по каменистой тропе. Одет он был всегда тщательно: светлые выглаженные бродюки, темный пиджак с белым платком в нагрудном кармане, белая рубашка и темно-синяя бабочка в белую крапинку. В руках портфель, а на голове — шляпа. Шляпу он носил всегда, даже в жаркую погоду. Пока не подошел автобус, мы здоровались и обменивались впечатлениями о погоде. Если же наши места были рядом, барон Антонио успевал рассказать о видах на урожай винограда и осудить христианских демократов.

Старик был бодр, держался прямо. Маленького роста, в шляпе, он напоминал гвоздь, крепко вколоченный до середины. Когда на меня находила хандра или я жаловался на нездоровье, жена говорила:

— Тебе не стыдно? Бери пример с барона. Живи как барон.

По соседству с нами жила Антонелла, молодая женщина лет тридцати, снимавшая комнату у хозяина большого многоквартирного дома. Антонелла подражала актрисе Софи Лорен. У нее были длинные стройные ноги, очень высокая грудь и большие подведенные краской черные глаза. Свои прелести она подчеркивала короткими открытыми платьями и туфлями на высоком каблуке. В профиль ее фигура напоминала знак доллара. На остановке автобуса Антонелла любила поболтать с бароном. Во время разговора шляпа барона почти касалась ее открытого бюста. Я стоял сзади, и шляпа не мешала мне видеть ее лицо и перекинуться с ней парой слов. Пожилые синьоры стояли поодаль и, казалось, с осуждением смотрели на нашу группу.

Работала Антонелла в Тренго кассиршей в супермаркете “Товацци”. Раз в неделю мы приезжали туда делать покупки. Машины у нас не было, а “Товацци” доставлял продукты на дом. Мы набирали две полных тележки и подкатывали их к Антонелле. За кассой Антонелла сидела как в театре: в нарядном платье со смелым декольте, открывавшим ослепительные перспективы. Она быстро считала и укладывала покупки в ящики. Кончив, нагибалась и доставала из под кассы подарок: бутылку красного трентийского вина или граппы. Говорила, что это не от нее, а от хозяина.

Она часто советовала жене купить мне какие-то особые духи.

— Signora, ti consiglio di comprare questo profumo per tuo marito. На uno specifico aroma di uomo. (Синьора, советую купить для мужа эти духи. У них специфический мужской запах. ит.)

Жена благодарила и говорила, что специфический мужской запах не выносит.

За спиной Антонеллы суетился Франко, высокий молодой человек лет двадцати. На своей машине, похожей на инвалидную коляску, Франко развозил продукты по домам. Не поворачивая головы, Антонелла кидала ему:

— Subito, a Vela. (В Велу, сейчас же. ит.)

Дома нас встречали полные ящики, стоявшие перед закрытой дверью.

Через год, когда мы вернулись в Тренго и поселились в Веле, нас ожидала новость. О ней судачили женщины на автобусной остановке. Барон Антонио и Антонелла поженились.

Барон уже не ездил в банк на автобусе. Теперь Антонелла отвозила и привозила мужа на недавно купленной “тойоте”. Иногда я видел их, когда “тойота”, съезжая с холма, поворачивала на шоссе. Барон улыбался, а Антонелла сидела за рулем и махала мне рукой. Вид у молодой баронессы был счастливый. Мы продолжали ходить в супермаркет “Товацци”, но за кассой сидела теперь незнакомая седая синьора. И Франко тоже не было видно. В Веле нам сказали, что Франко теперь работает на вилле барона и занимается виноградником. Вместо инвалидной коляски он ездит на тракторе с прицепом, собирает виноград. Стояла осень, и на вилле работало несколько сезонных рабочих, поляков. Для Велы с ее виноградниками и яблочными садами это было обычным делом.

А еще через два года умерла моя жена, и в декабре я приехал в Велу один. В деревне мне рассказали, что Антонелла овдовела. Барон скончался на девяносто третьем году. Ходили разговоры, что Антонелла сошлась с Франко, но он изменил ей с девчонкой из Пово, соседней деревни. Антонелла выгнала его, и он уехал на “тойоте”, которую она ему подарила. Мне показалось это сплетней. Антонеллу в деревне не любили.

Обедал я в университете, кое-как вел свое одинокое хозяйство и в “То-вацци” не заглядывал. Но как-то проходя мимо супермаркета, увидел в окне Антонеллу и зашел в магазин. Антонелла сидела на своем месте у кассы. Она не изменилась. Только одета была в темное закрытое платье с накинутой на плечи кофточкой. Впрочем, подумал я, зимой открытых платьев не носят. Антонелла улыбнулась, протянула обе руки и на ее вопрос “Come va?” (Как дела? ит.), я сказал о своем несчастье. А она спросила, знаю ли я о смерти ее мужа. И еще предложила посидеть в соседнем баре на углу улицы Манчи. Она кончала работу через десять минут.

В баре я ждал недолго. Антонелла присела и вынула из сумочки нарядную коробку.

— Con i migliori auguri di Buon Natale. (Поздравляю с Рождеством. ит.)

Я понял, что это те самые духи. Со специфическим мужским запахом. И поблагодарил.

Антонелла спросила о моей жизни. Я сказал, что приехал ненадолго, и что живу в Веле, в том же доме напротив автобусной остановки. И тогда она неожиданно предложила мне переселиться к ней на виллу. Сказала, что мне будет удобно писать книги (так и сказала, — писать книги) на балконе с видом на снежные альпийские горы. И что такую лазанью, которую она приготовит для меня, едят только в Болонье. Я спросил Антонеллу, зачем ей нужен еще один старик. Понял, что задал бестактный вопрос, но было поздно. Антонелла, казалось, ничего не заметила.

— Lei non e vecchio. Gli uomini vivi devono vivere. (Вы совсем не старый. Живые должны жить. ит.)

Я проводил ее до стоянки машин. Она открыла дверцу новой “альфа ромео” и усадила меня рядом. В Велу нам было по пути. Я спросил, где ее прежняя “тойота”. Она ответила, что подарила ее Франко. Тогда я спросил о нем. И она ответила, не отрывая глаз от дороги:

— O, mamma mia! Questi giovani uomini... (Ах, эти молодые люди. ит.)

Я иногда приезжаю в Велу, но Антонеллы больше не встречаю. Говорят, что она все еще живет на вилле. Каждый раз, когда я смотрю на старый дом на высоком холме, я вспоминаю слова жены: “Живи как барон”. Я ведь тогда не догадался, что это завещание.

История болезни

Сергея разбудил телефонный звонок. Он посмотрел на часы: час ночи. Из Москвы звонил брат. Брат сказал, что накануне умерла мать. Мать болела недолго, ей было за девяносто. Сергей ответил, что вылетает сегодня. В запасе был один день. Через два дня его вызывал по какому-то важному делу шеф, и отложит встречу Сергей не решался. Разница во времени с Москвой — девять часов. Чтобы похоронить мать, в Москве оставалось меньше суток.

Сон отлетел. Сергей подошел к окну. Небо было чистым, звездным. В темноте под ветерком шептались американские дубы-великаны. Пахло сиренью.

Сергей не видел матери уже лет пять. В Америку он приехал в девяносто четвертом. Ему тогда исполнилось тридцать лет. Хотелось продолжать заниматься физикой. А в России было не до науки. В московском академическом институте, где он работал, зарплату не платили. Сотрудники разбегались кто куда. В институте оставались немногие. Их почему-то называли энтузиастами, хотя работать было невозможно.

К тому времени первая волна надежды давно спала. Но вспоминая прошлое, московские интеллигенты еще вдохновлялись неожиданно пришедшей свободой. В августе девяносто первого Сергей две ночи стоял в живом кольце вокруг Белого дома. Свобода забрезжила на рассвете двадцатого августа, когда люди в кольце поняли, что штурма не будет. И уже на следующий день вечером Сергей сидел в институте у раскрытого окна, курил, смотрел на шпиль сталинского университетского небоскреба, на Ленинский проспект, по которому, как ему казалось, в панике проносились кортежи черных волг, и думал: “А ведь хватило всего трех дней, чтобы жизнь здесь, наконец, изменилась. Три четверти века и три дня”. А через несколько дней смотрел по телевизору “Взятие Бастилии”. Из подъезда дома на Старой площади, окруженного милицией, выбегали испуганные партийные чиновники, прижимая к груди портфели. Сергей узнал секретаря МК Прокофьева, робко пробиравшегося по узкому коридору в улюлюкавшей толпе. И вдруг поймал себя на хорошем. Он не только торжествовал, но и злорадствовал.

Москва изменилась будто в одночасье. Рынки обросли развалами заграничного тряпья, которое “челюпки” свозили с восточных базаров в Турции. Теперь здесь можно было одеться с головы до ног. Однажды на Черемушкинском рынке Сергей видел такую сцену. Толстая рыжая девка, стоя в резиновых сапогах в густой жидкой грязи, примеряла норковую шубу. Продавец держал перед ней зеркало. Шуба не сходилась. С проезжей стороны из-под колес на нежный мех летели брызги...

Нижние этажи московских домов оделись в мрамор. У мраморных подъездов ресторанов и магазинов в ожидании клиентов покуривали коротко стриженные молодые люди в белых рубашках и черных галстучках. У супермаркетов в два ряда стояли припаркованные “мерседесы” и “вольво”. В самих супермаркетах деловито скучали охранники в маскировочных костюмах. Охранников было больше продавцов: в Москве грабили и убивали. Как грибы, росли ночные клубы и казино. За миллионы долларов строились и продавались особняки. Продавалось все. Деньги стали зелеными, и слово “дефицит” исчезло. Зато появилось слово “престиж”: престижный район, престижная квартира после “евроремонта”. Евро — значит, европейский. Про деньги “евро” тогда еще не знали. Престижными называли некоторые театры, например, Ленком. Престижным стало ходить на конкурсы знаменитых гастролеров в Большой зал консерватории. Партер был заполнен деловыми людьми в малиновых пиджаках и ярких галстуках. Во время концерта, когда над залом повисало нежное скрипичное тремоло, то и дело раздавались сигналы пейджеров. Деловые люди доставали из малиновых пиджаков трубки и тихо переговаривались по сотовой связи.

Московские дворы стали большими помойками. Мусор из переполненных баков растаскивали голуби и воронье. Люди копались в помойках, искали пищу, собирали бутылки. Однажды, проходя по двору, Сергей видел, как человек в телогрейке, накинутой на синий рабочий халат, доедал кем-то выброшенный кусок сыра. Рядом ворона расклеивала брюхо еще живому голубю. Несчастный голубь, раскинув крылья, содрогался от боли. Человек в телогрейке ел сыр и равнодушно смотрел на птиц. Сергей бросил в ворону камнем. Ворона отлетела, но не успел Сергей оглянуться, как она снова терзала добычу... Улицы и метро заполнили нищие. Студенты Гнесинки играли в переходах метро.

Сергея раздражала бессовестная реклама. Раньше рядом с его домом, на углу Профсоюзной и улицы Дмитрия Ульянова, висел огромный плакат. На нем лысый человек с бородкой и хитрыми прищуренными глазами протягивал руку в

сторону соседнего вьетнамского ресторана “Ханой”. На плакате было написано: “Верной дорогой идете, товарищи!” Теперь на этом месте стоял щит с рекламой кухонной мебели. Наглый молодой человек со свирепым выражением лица держал на руках обвисшее тело измученной девицы. Под рекламой стояла подпись: “Это я делаю на кухне”.

Сергей жил с матерью в двухкомнатной кооперативной квартире. На еду и курево не хватало. Сергей выкуривал две-три пачки в день. Кое-что им подкидывал брат Саша, работавший программистом в банке. Роман Сергея с девушкой из отдела, где он работал, продолжавшийся пять лет, кончился внезапно. Девушка вышла замуж за бизнесмена и уехала с ним в Англию. Приятель его, уже несколько лет работавший в США в университете Линкольна, предложил ему место “пост-дока”. И Сергей уехал в Штаты.

Линкольн был столицей кукурузного штата Небраска, провинциальным городом среднего Запада. Одноэтажную Америку Сергей представлял себе по Ильфу и Петрову, но увидел впервые. За городом на сотни миль расстилались кукурузные поля. В центре города стояло несколько небоскребов. Но самым высоким было административное здание штата. На его куполе стояла статуя сеятеля. Сеятель держал в левой руке сумку, а правой разбрасывал зерна в плодородную землю прерии. В остальном город напоминал огромный садовый участок. Вдоль улиц — белые дачные дома с крыльцом, с белыми деревянными колоннами у ступенек, со звездно-полосатым флагом. У домов побогаче — перед крыльцом пара белых гипсовых львов или каменная ваза с цветами. Попадались дома из красного кирпича, чаще всего церкви или синагоги. Вдоль улиц — аккуратно посаженные изумрудные газоны, по которым прыгали зайцы, белки и красногрудые малиновки. Белки жили в дуплах огромных дубов и лип.

Можно было часами гулять по городу и не встретить ни одного пешехода. Только большие широкие машины шуршали колесами по асфальту. Изредка попадалась компания молодых людей, сидевших на крыльце и потягивавших пиво из банок. На решетке под круглым металлическим колпаком жарились сосиски и бифштексы, “barbeque”. И от крыльца тянуло родным шашлычным дымком. Летом улицы были совсем пустынные. В теплые летние вечера жирные коты с ошейником бродили возле домов. Они ласково терлись о ноги Сергея и валялись на спине, приглашая их приласкать.

Улицы тянулись на многие мили и не имели названий. Те, что шли с севера на юг обозначались цифрами, с запада на восток — буквами. Сергей снял квартиру в доме на углу улиц “F” и шестнадцатой. Магазинов, ресторанов и супермаркетов в городе почти не было. Они располагались в больших торговых центрах за городом. Супермаркеты напоминали огромные ангары без окон. На площади перед супермаркетом — стоянка автомашин и поезда из тележек. Сергей брал тележку и объезжал с ней сотни метров торговых залов. Расплачивался у кассы, которая не только считала, но и произносила сумму каждой покупки. Потом забивал продуктами багажник и отвозил домой. Первое время его подвозил приятель. Потом Сергей купил по дешевке подержанный “крайслер” и ездил сам. Без машины было не обойтись: городского транспорта почти не было.

Американцы жили на больших автострадах. В окнах автомобиля мелькали пестрые щиты рекламы, звездно-полосатые флаги, супермаркеты, безколонки. Ели тоже в машине, разворачивая на стоянке фирменные пакеты из Мак Дональда. В ресторанах еда была невкусной, а самирестораны однообразны до уныния. В них

не было того, что в Европе принято называть атмосферой. В ресторанах Сергея поразили здешний обычай брать остатки недоеденного блюда домой. Девушка, обслуживающая стол, приносила специальную корзинку из пенопласта и укладывала в нее гарнир и остатки мяса или рыбы. Сергей как-то сказал приятелю, что американцы не едят, а, подобно своему автомобилю, заправляются горючим. За двести пятьдесят лет они так и не научились наслаждаться едой. У них не было для этого времени.

Зато от работы в университете Сергей давно не получал такого удовольствия. И лекции, и лаборатории, — все было организовано прекрасно. А лабораторная техника по выражению Сергея — на уровне фантастики. Еще ему нравился здешний обычай улыбаться при встрече. Незнакомые люди, встречаясь в университетском кампусе или на улице, говорили друг другу “hi!” или “how are you today?” (Привет, как дела? англ.) и улыбались. Сергею особенно нравилось, когда ему улыбались молодые девушки. Девушки улыбались широко и радостно. Первое время Сергею казалось, что они улыбаются ему. Потом он понял, что они улыбаются всем. За четыре года у Сергея не появилось здесь ни сердечной привязанности, ни близких друзей. Огромная страна, в которой он теперь жил, казалась ему бескрайней и неуютной. И он думал, что этот простор, эти гладкие автострады, уходящие за горизонт, шахматный, квадратно-гнездовой порядок домов и улиц и есть настоящая причина одиночества.

Сергей скучал по лесу, по воде. По воскресеньям он уезжал за город в парк. В Линкольне было много парков. Там по краям зеленых лужаек с теннисными кортами росли могучие деревья. По загонам, огороженным проволокой, бродили бизоны. Издали бизоны походили на холмы и вздыбливали ровную скучную прерию. Чаще всего он ездил в парк Шрамм. Гулял в низкорослом сосновом лесу вдоль прудов, в которых плескались большие жирные карпы.

По вечерам он выходил из дома и один гулял по центру города. Если было невмоготу, заходил в пивную. За стойкой выпивал стакан пива, играл в бильярд. Как-то встретил за стойкой соседа по дому. Подвыпивший сосед в ковбойской шляпе, в джинсовой рубашке с подтяжками крест-накрест, рассказывал ему о видах на урожай, о смерче или, как здесь говорят — торнадо, налетевшем на соседний городок Лонг Айленд и о мерзавке-жене, оттяпавшей у него дом при разводе.

— А вы женаты? — спросил сосед, вставая и поправляя широкий ремень на джинсах.

— Нет еще.

— И не женитесь. Все они одинаковы. Чуть что, — обдерут как липку.

“Да кому я здесь нужен?” — думал Сергей. — “И содрать с меня нечего...”

Саша встретил его в Шереметьево и повез в своем “москвиче” на Профсоюзную. Из весны Сергей прилетел в зиму. Москва встретила снежной пургой. Машины проезжали через озера грязной талой воды, поднимая фонтаны брызг. С порога квартира показалась Сергею пустой и незнакомой.

Еще по дороге Саша сказал, что гроб на ночь оставили в Троицкой церкви. В этот небольшой храм на Воробьевых горах мать иногда ездила по воскресеньям. Сергей зашел в ее комнату. Все было на месте. Напротив кровати стоял книжный шкаф с его фотографией за стеклом. Сергей подумал, что все эти годы мать, просыпаясь, смотрела с постели на него. На кровати, застеленной старым клетчатым пледом, лежали ее очки, склеенные липкой лентой. Сергей стоял и смотрел на очки. Он наконец понял, что матери нет.

В тот же день после похорон были поминки. Стол накрыли в комнате Сергея. За стол село семеро: Сергей, Саша с женой Зоей и взрослым сыном, соседка, служившая в доме лифтершей, и две старушки, соученицы матери по московской гимназии. Сергей давно не пил водки и как-то сразу тяжело опьянел. Потом вспомнил, что улетать надо в семь утра, так и не повидав ни друзей, ни Москвы. Сейчас он уже не понимал, почему не отложил встречу у шефа в Линкольне.

Брат провожал его. В передней, уже надев куртку, Сергей что-то вспомнил, полез в боковой карман и вынул пачку долларов. Протянул Саше. Саша замотал головой. Зоя взяла деньги и, зорко оглядев пачку, сунула ее под кофту.

Лететь надо было почти сутки с пересадками во Франкфурте и Чикаго. В экономическом салоне было, как всегда, тесно. А тут еще толстая соседка придавила его локтем. Сергей не спал уже третьи сутки. Хотелось курить, но на американских самолетах не курят. До Чикаго оставалось часа два полета. Когда Сергей почувствовал тошноту и боль в левой руке. Он расстегнул рубашку и стал массировать руку.

— Вам плохо? — спросила проходившая мимо стюардесса.

— Не беспокойтесь... просто устал. Нельзя ли соку? — спросил Сергей, а про себя подумал: “Пить в Москве надо было меньше”.

После сока затошнило сильнее. До туалета он не дошел, вырвало по дороге. Стюардесса усадила его в кресло в свободном бизнес-салоне и принесла тонометр. Сергей не сопротивлялся. Она измерила ему давление. Оно было нормальным.

— Вот видите, — сказал Сергей. — Не беспокойтесь. В Москве я похоронил мать и очень устал.

— Сэр, я должна вызвать “emergency”. (Скорая помощь, англ.) В Чикаго вас доставят в госпиталь и тут же отпустят домой, если с вами все в порядке.

— Вы с ума сошли! — взорвался Сергей. — Я из Чикаго лечу в Линкольн. Завтра у меня там важная встреча.

— Сэр, вы на борту американской компании “United”. И я несу за вас ответственность, — ледяным вежливым тоном ответила стюардесса.

Она принесла плед и укрыла им Сергея. Стоило ей отвернуться, как Сергей с отвращением скинул его с себя.

Сразу же после приземления пилот объявил по радио, что на борту — больной пассажир и что после его эвакуации всех пригласят к выходу. Сергей понял, что с ним не шутят и сопротивляться бесполезно. В проходе появились два санитары, одетых в полувойенную форму с многочисленными карманами на рубашке, рукавах и брюках и с ключами на поясе. Не обращая внимания на возмущение Сергея (“я могу идти сам!”), они усадили его в кресло и вынесли на руках по специально приставленной лестнице. Самолет стоял на летном поле вдали от рукава аэропорта. Рядом с самолетом ждала машина скорой помощи. В машине Сергея уложили на застеленную простынею каталку, проткнули вену, подключили капельницу и кардиограф. Все это было уже в пути. По дороге санитары переговаривались с госпиталем по радиотелефону, то и дело справляясь у Сергея, как он себя чувствует, и ему стоило большого труда не послать всех к черту.

В помещении “скорой” действовали быстро и без суеты. Сергея раздели и уложили на другую каталку. На запястье правой руки нацепили пластиковое кольцо с его именем и каким-то номером. “Вот и окольцевали”, — подумал Сергей. Каждые десять минут автомат сжимал руку и измерял давление. Каждые полчаса брали на анализ кровь. Кардиограмма измерялась непрерывно, но ее Сергей не видел: дисплей был за спиной. Потом подкатили рентгеновский аппарат и сделали

снимок грудной клетки. Через пару часов подошла сестра и записала название его страховой компании, номер полиса и адрес. Спросила, кто из близких живет в США. Сергей ответил: никого. Он успел примириться с положением и теперь спокойно разглядывал помещение. Задернутые слева и справа шторы образовали бокс, в котором он лежал. Слева, за шторой, лежала старая женщина. Сергей слышал ее голос. Видимо, она была глухой, так как сестры говорили с ней громко и медленно, часто повторяя одно и то же. Впереди было открытое пространство. В центре большого зала стоял круглый стол. Там работали за компьютерами и говорили по телефонам. Еще дальше был стенд, на котором висели подсвеченные рентгеновские снимки. Время от времени мимо его бокса проезжали каталки, на которых белые и черные санитары везли больных. Приглядевшись, Сергей сообразил, что двое молодых мужчин, обходивших стол в центре, — врачи. Один из них вскоре подошел к нему.

— Привет, Сергей, — сказал доктор так, как будто они уже давно знакомы. Сергей знал этот обычай, и он ему нравился.

— Меня зовут Джордж, — продолжал доктор. — Как вы себя чувствуете?

В руках Джордж держал папку в твердом переплете, и Сергей понял, что завели его историю болезни. Он ответил, что чувствует себя хорошо и повторил то, что сказал в самолете стюардессе. Потом добавил, что хочет успеть на вечерний самолет в Линкольн.

— Послушайте, Сергей. Ваши предварительные анализы нормальны. Но мы все-таки думаем, что это был сердечный приступ. Мы решили оставить вас на ночь в госпитале. Завтра утром посмотрим вас еще раз и после ланча отпустим. О'кей?

Не успел Сергей открыть рот. Как Джордж приветливо махнул рукой и удалился. Через полчаса историю болезни положили ему на грудь, подняли на лифте на двадцатый этаж и ввели в палату.

Палата была на двоих. Рядом лежал старик и тяжело дышал. Между Сергеем и стариком протянули занавес и Сергей снова остался один. На стене напротив висел телевизор, слева стоял столик с телефоном. Сергей набрал номер в Линкольне. Был поздний вечер, и в лаборатории никого не было. Сергей позвонил приятелю домой и рассказал о случившемся. Приятель долго смеялся и сказал, что на встречу с шефом можно не спешить. Ее перенесли на будущую неделю. И Сергей опять пожалел, что второпях уехал из Москвы.

В палату вошла молодая негритянка. Поставила на столик поднос с ужином и сказала:

— Сергей, меня зовут Дженифер. Что вы будете пить?

За годы жизни в Америке Сергей видел много черных девушек. Некоторые, особенно от смешанных браков, были привлекательны. Но таких он еще не видел. Дженифер была прелестна. Голубые глаза, чуть задранный нос, длинная шея и покатые узкие плечи. Больничный халат, крепко затянутый на узкой талии, открывал пригорки маленькой плотной груди. Она была похожа на красивую европейскую девушку, которую зачем-то выкрасили в черный цвет. На белую актрису, играющую в пьесе негритянку.

Вместо ответа Сергей молча смотрел на нее. Потом спросил:

— А что с моим соседом?

— У Гарри инсульт. Ему восемьдесят восемь. Принести сока?

— Да, апельсинового.

Дженифер принесла стакан апельсинового сока со льдом и села в кресло.

— Почему вы не едите?

— Не хочется, устал. Хочется курить.

Сергею вдруг захотелось поговорить с ней. И он рассказал незнакомой девушке про то, как приехал в Линкольн и про смерть матери. Про то, как нелепо было торопиться и провести в Москве одну бессонную ночь. И про глупый случай в самолете.

— Ничего страшного, — сказала Дженифер. — Встречу отложили и торопиться вам некуда. Завтра утром сделают “велосипед” и изотопный анализ. И отпустят. И вы вечером улетите в свой Линкольн... А я маму похоронила в прошлом году. Она жила в Оклахоме. Сейчас там живет мой брат с семьей.

— А отец?

— Отца я не помню. Говорят он был ирландец. У меня ирландская фамилия О'Брайен. Вскоре после моего рождения родители разошлись.

— И вы по образованию медик?

— Что вы! В Оклахоме я окончила музыкальный факультет университета по фортепьяно. В Чикаго у меня несколько учеников. По воскресеньям играю в церкви. А няней подрабатываю здесь, в госпитале... Ну, мне пора. Завтра утром — мое дежурство и я повезу вас к кардиологам.

— Зачем меня везти? Если бы в России я был на обследовании, то звался бы ходячим больным. А я совершенно здоров.

— Ну это в России. А здесь всех возят в кресле... А что в Москве сейчас очень холодно?

— Да нет, не очень. Сейчас там ранняя весна, талый снег, лужи по щиколотку...

Сергей вдруг вспомнил, что так и не понял, какая стоит погода в Чикаго. И спросил об этом Дженифер.

— Очень тепло. И давно нет дождей. Каждый день поливаю в саду тюльпаны.

Дженифер улыбнулась и вышла. Очень скоро Сергей уснул. Засыпая, ему казалось, что он видит ее улыбку: голубые искры в глазах, морщинки в углах глаз и жемчужный белозубый рот.

Утром пришел паталтный врач с историей болезни. За ночь папка в твердом переплете заметно распухла. Врач объявил ему, что сейчас его отвезут к пульмонологу.

— Хотели к кардиологу. Разве у меня что-то с легкими?

— На снимке нашли новообразование в левом легком. Доктор Бэрри считает, что надо повторить снимок и сделать компьютерную томографию.

Дженифер вкатила кресло и усадила в него Сергея. Лицо ее было серьезно. Через пару часов обследование было закончено. Доктор Бэрри пригласил Сергея в кабинет, где висели подсвеченные снимки томограммы.

— Вы курите?

Сергей утвердительно кивнул головой.

— Вот смотрите. Это верхушка левого легкого. Видите? Нужна биопсия и, возможно, операция.

— Это что, рак? — спросил Сергей и не узнал своего голоса.

— Покажет биопсия. Думаю, что рак.

Наступило молчание. Сергей зачем-то продолжал смотреть на снимки. Доктор Бэрри внимательно и строго следил за ним. Оглянувшись, Сергей сказал:

— Сегодня я улечу к себе в Линкольн. Там сделаю биопсию и, если нужно, операцию.

— Хорошо, — быстро согласился Бэрри. — Советую там обратиться к доктору Лиски в Общем госпитале. Он прекрасный хирург.

— Можно взять эти снимки с собой?

— Не беспокойтесь. Снимки вместе с историей болезни будут в Линкольне через день. Советую не терять времени.

Дженифер с креслом уже ждала его за дверью. По ее лицу Сергей понял, что она все знает. У лифта она спросила:

— Вы полетите сегодня в Линкольн?

— Да. Самолет в восемь вечера.

— Через час я кончаю дежурство. Здесь вам делать нечего. Поедем ко мне. Я живу на юге, у железнодорожной станции. Покажу вам свои тюльпаны. Дома есть все, и ланч, и обед.

— А я проголодался. Французы говорят, аппетит приходит во время еды. У меня он, как видно, приходит в другое время.

— Итак, в час ждите меня в вестибюле. Я со стоянки приеду за вами на Тэлкот авеню.

В машине Сергей достал из куртки пачку сигарет и с наслаждением закурил. Дженифер, оторвавшись от дороги, с осуждением молча посмотрела на него.

Дома она изжарила яичницу с беконом, распечатала пакет сэндвичей с ветчиной и принесла из кухни литровую бутылку калифорнийского “мерло”. Сергей наполнил фужеры.

— За что выпьем? — спросил Сергей. — Вы, американцы, пьете просто так. А в России предлагают тост за что-нибудь хорошее.

— За ваше здоровье.

— За здоровье мы еще успеем. Выпьем на брудершафт. Это такое немецкое слово. В английском есть только обращение на “вы”. Слово “ты” вышло из употребления, его найдешь разве что у Шекспира или в Библии. Выпьем за то, чтобы наше “you” было бы как “thee” из Библии.

Они выпили и поцеловались...

В узкой кровати было тесно. Они лежали рядом, два влажных горячих тела и тяжело дышали. Полуоткрытым обессиленным ртом она касалась его закрытых глаз. Потом Сергей уснул. Дженифер на цыпочках вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь.

Когда Сергей проснулся, то увидел в окне солнце, висевшее над крышей здания старой железнодорожной станции. Было шесть вечера. Дженифер сидела в кресле и смотрела на него.

— Можно я буду звать тебя по-русски Женья?

— Как-как? — переспросила Дженифер.

Сергей повторил. Она несколько раз повторила свое новое имя. Ей это плохо удавалось.

— О'кей. Тебе пора. Я отвезу тебя в аэропорт, вернусь, а утром улечу в Оклахому к брату. Оттуда через два-три дня прилечу к тебе в Линкольн. Жди моего звонка. Сделай срочно биопсию. Если диагноз подтвердится, ложись на операцию. Я буду там с тобой. Бэрри сказал, что опухоль нашли во время и у тебя хорошие шансы.

Когда вышли из дома, она вспомнила, что не успела показать Сергею тюльпаны. Они обогнули дом. В сад выходили окна ее квартиры. Тюльпаны, красные и черные, росли на клумбе под березой. Черных Сергей раньше не видел.

— Они тебе нравятся?

— Да. Похожи на тебя. Черные и красивые.

Дженифер нарвала букет черных тюльпанов и сказала:

— Как приедешь домой, поставь их в воду. В воду брось таблетку аспирина. Они дождутся меня.

Вечером она позвонила ему в Линкольн.

— Это я, Женя. Как долетел? И тюльпаны поставил в воду? О'кей. Знаешь, я вот о чем подумала. Ведь все, что с тобой случилось — это Божье Провидение. Сам бы ты никогда не пошел обследоваться, а потом было бы поздно. Представь себе, что стюардесса уступила тебе и не вызвала “скорую”. Что бы тогда было?

— Тогда бы я не встретил тебя.

История болезни и снимки пришли в Общий госпиталь через день. А еще через три дня биопсия подтвердила диагноз. Дженифер не звонила и в Линкольн не прилетела. Сергей забыл спросить у нее телефон брата. Из палаты он звонил ей домой в Чикаго, но в квартире никого не было. А в ее госпитале ответили, что она взяла отпуск. На столике рядом с телефоном стояла ваза с тюльпанами.

В палате Сергей провел одну ночь. Наутро его уложили на каталку и повезли в операционную. В ногах лежала распухшая история болезни. В руке Сергей держал черный тюльпан.

Негр санитар посмотрел на цветок и сказал:

— А это не разрешается. На что он вам?

— На счастье.

Перед операционной он увидел доктора Лиски в марлевой маске. Лиски посмотрел на тюльпан и улыбнулся одними глазами. Потом Сергеем сделали укол в вену, и все пропало.

Эти дни Сергей телевидения не смотрел и газет не читал. Над Оклахомой прошел торнадо невиданной силы. Были разрушены сотни домов, погибли десятки людей. Среди них — Дженифер и семья ее брата. О случившемся Америка говорила и писала две недели. Но Сергей узнал об этом последним.



Виктория Жукова

ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

Сегодняшний день был обречен. Утром навстречу попался сосед, он уныло тащил вверх по лестнице пустое ведро. Надя суеверно поплевала и побежала на работу. Успела с трудом, поскольку смогла попасть только в пятую электричку метро. Рядом стояла вжавшаяся в нее пожилая дама. Ее опущенная почти до пола сумка была старой, «до исторического материализма», как говаривала обычно ее бабушка.

Твердые острые углы ерзали по Надиным колготкам и больно царапали ноги. Пошевелиться и откинуться не было никакой возможности. Даже если бы кто-нибудь умер, он так и стоял бы «по стойке смирно» до ближайшей пересадочной станции.

Когда Надю вынесло на «Площади Свердлова», она отскочила в сторону, чтобы оценить ущерб, причиненный дамой. Надя отошла к лавочке и заплакала от горя. Как всякая работающая и немного зарабатывающая женщина, она покупала колготки расчетливо и носила бережно, а тут опять расходы. В юбке с разодранными колготками на работе не побегашь, значит, нужно будет купить новые. Так и опоздала, правда, чуть-чуть. Но, как повелось истари, пришлось долго оправдываться перед девочками, укоризненно качавшими головами и многозначительно поглядывающими на кабинет начальника.

Начальник был свой, выращенный в стенах лаборатории, поэтому подводить его считалось плохим тоном. Слава Богу, тьфу-тьфу, все обошлось. Надя сидела за кульманом и с грустью думала о том, что до зарплаты осталось еще четыре дня, но колготки выбили ее окончательно из финансовой колеи. Придется ту же затянуть пояс и сесть на картофельную диету, а это непременно отразится на талии, значит, придется потом голодать, чтобы придти в норму. Хотя, если начать голодать сразу... Боже, когда это кончится! Или я научусь планировать свою жалкую зарплату, или так до конца жизни и придется метаться между кефиром и картошкой.

Тут прибежала Галка из соседнего отдела, притащила на продажу свою сумку, которую давно у нее выключивала Надежда. Сумку Галка отдавала как новую, за тридцать рублей. Она имела форму баула. Кожаная, выстроченная толстым шелком, сумка позволяла выглядеть рядом с собой богатой беспроблемной женщиной.

Галка была и слыла непростым человеком. На груди у нее висели золотые дамские часики фирмы Павла Буре с откидывающейся двойной крышкой на толстой золотой же цепочке. В ушах сияли сапфировые серьги в окружении бриллиантовой россыпи, пальцы были унизаны старыми кольцами. Как-то Надежда спросила, остается ли у Галки что-нибудь дома, или все она надевает на себя. Галка с подозрением посмотрела на Надю и промолчала.

Одевалась она тоже стильно. Много рюшек, кожаный красный жакет, темно-синие эластичные брюки — казалось бы резковато, но не для Галки. Она была блондинкой, причем почти натуральной, с густыми вьющимися волосами. Так что подкрашенная, с мелкими чертами лица и сухощавой фигурой, она выглядела хозяйкой модного салона, дамой лет тридцати пяти, хотя была лет на десять

старше. Лишних денег у нее не водилось, поэтому она потребовала у Нади заплатить за сумку сразу, полностью.

Это была огромная сумма, и пришлось влезть в весьма обременительный долг в отдельскую черную кассу. Любящая все анализировать, Надежда отнесла этот день к сильному, поскольку состояние острого счастья, которое возникло в ее душе от обладания шикарной сумкой, несколько омрачалось тоже сильным горем от разорванных французских колготок, приобретенных у той же Галины как подарок себе на первое мая.

Затем ее вызвал Вовик, начальник, и устроил разнос за несданный в срок отчет, пригрозив лишить премиальных. На крик в кабинет вползла его подруга Ленка, державшаяся в отделе особняком, и вытеснила Надежду из кабинета. У Вовика была язва. Стерва жена не обращала на нее внимания, поэтому Ленка самоотверженно кормила Вовика паровыми котлетками и вареной рыбкой. И, конечно, нервничать ему было противопоказано.

Надежду хоть и спасли от гнева начальства, но прощать доведение Вовика до такого состояния, никто не собирался. Она проходила в отделе под кличкой «эти новые», хотя работала вместе с ними около семи лет; остальные работали вместе уже лет по двадцать, кто пришел еще до института, кто после техникума. Дружбы между старыми и новыми не было.

Старые были монолитом. Судьбы их переплелись давно, они женились на братьях, сестрах, подругах сослуживцев, и две новые женщины, попавшие в этот слаженный коллектив по блату, были лишние, ненужные и даже опасные, так как первоначально немногочисленные мужчины отдела смотрели на них с большим интересом. Но корпоративность перевесила, хотя никто тогда не употреблял такого мудреного слова.

Новым тоже многое пришлось не по вкусу, им было неловко наблюдать эти почти семейные отношения, любовные связи там были также прочны и узаконены, как и семейные.

Надю вызвали в коридор на перекур и там, стоя под стендом «победители соцсоревнования», где их отдел числился на первом месте, долго объясняли, каким балластом она является для всех. Как надоела им это ее Галка, которая приходит сюда трясти тряпками, отрывая людей от работы. Будь их воля, они бы давно ее вместе с Галкой вышибли, две старорежимные ... кто они, не договаривали, так как ставить точку в отношениях никто не собирался, но поучить эту Надю было надо.

Действительно, отчет не сдан, и из-за нее они могут оказаться на втором месте. Вовика она подведет, и премии всем снизят. По поводу премий. Надя не очень на них рассчитывала, так как сумма спускалась централизованно и делилась в отделе, где ей, по сложившейся традиции, почти никогда ничего не доставалось. Как, собственно, и прочие блага: все эти конференции, месткомовские путевки, билеты на вечера и пропуски в распределители. Их институт давно заключил любовный договор с «Вандой», где их сотрудницы, особо ценные, иногда отоваривались польской косметикой.

Обсудив между собой намечавшуюся командировку в Киев и искося посмотрев на ревушую Надежду, они наконец смилостивились и в утешение скупой похвалили купленную сумку.

Надя успокоилась к вечеру. За час до низкого старта, как она это называла, Надя решила переложить вещи из старой сумки в новую. После работы она соби-

ралась пойти в консерваторию со своей институтской приятельницей. И тут из недр старой сумки появился сложенный вчетверо лист бумаги.

Записка была отпечатана на отдельской машинке, она определила это по букве Л, которая пропечатывалась очень слабо из-за тугой клавиши. Листок был такой белый, что белизна бумаги резала глаз. Это тоже указывало на происхождение записки, такой бумаги было немного, и она лежала отдельной пачкой в запирающемся шкафу. И только после тщательного анализа внешнего вида пришла очередь обратить пристальное внимание на текст.

Там было написано, что, если Надежда не уберется из отдела подобру-поздорову, пускай пеняет на себя. Возмездие будет страшным.

Идти было абсолютно некуда, никаких грехов она за собой не числила, но неконкретность угрозы пугала больше и заставляла предположить все что угодно. Формально в стране безработицы не было, но на работу в нормальный институт брали только по блату. Ее же блат закончился два года назад с нелепой смертью влиятельного родственника, занимавшего высокий пост в большой академии наук. Приходить с улицы было бесполезно, Надя как-то попробовала и поняла, что на приличный оклад в 120 рублей у каждого отдела кадров есть свои кандидаты.

Надя отложила сумки в сторону и решила все обдумать. Времени до концерта было достаточно, билет лежал в кошельке, а посещение кафе теперь, после безумной покупки, можно было бы и отложить. Она позвонила подруге и договорилась встретиться у входа в зал. Времени оставалось больше часа, и можно было посидеть в тишине, тем более что сотрудники не любили задерживаться и убегали, как только предоставлялась такая возможность.

Надя сидела задумавшись, рисуя на полях миллиметровки со схемой дешифратора бесчисленных коров, белых, черных, с пятнышками, полосками и цветочками. Когда она волновалась или у нее возникала проблема, количество коров на метре ее стола увеличивалось раз в двадцать.

Предметом раздумий был Николай, старший инженер соседнего отдела, где работала Галка. Только здесь было слабое место. Только этот эпизод было больно и неловко вспоминать.

Разнузданных отдельских праздников, с водкой, винегретом, селедкой и большим кремовым тортом, было в году четыре. Новый год, 23 февраля, 8 марта и 1 мая. Остальной мелочи — посиделок в честь дней рождений — было не счесть, но они проходили скромно, в рабочее время, пили чай с тортом, вручали символический подарок и все — церемония считалась завершенной.

Большие праздники оба отдела отмечали одновременно. Светла судьба их недавно, чья-то начальственная прихоть, чей-то барственный замысел, облеченный в производственную необходимость. А может, помещение дали и, чтобы оно не пустовало, заселили его двумя не особо нужными институту подразделениями. Начальство из главного здания их не тревожило, но вся остальная производственная и месткомовская жизнь текла плавно, в русле основной институтской.

Неукоснительно проводились собрания, выдвигались передовики производства, делились с соседним отделом призовые места, сотрудники вступали в общество книголюбов и привозили с основной территории дефицитные книги, получали продовольственные заказы; словом, все было как у людей, за исключением того, что праздники проходили совершенно бесконтрольно. Существовал единственный цензор, в собственной голове, но иногда и он отказывал. Тогда женщины,

уезжая на последнем троллейбусе, оставляли спящих по углам мужиков, а иногда и прихватывали кое-кого из них с собой.

Совместные праздники внесли интригу в сплоченную жизнь обоих отделов. Устоявшиеся связи не то чтобы начали разрушаться, нет, они слегка дрогнули и, как колесики слаженного механизма, стали чуть заедать. Два-три танца, легкий поцелуй в полутемном коридоре, касание коленкой, влажная рука на груди — и все, и ни-ни. Но, охваченные всеобщим любовным томлением, не встроенные в систему институтских отношений, граждане сначала стали заходить на рюмочку-другую к друзьям-противникам, потом задерживались на «подольше», а там, глядишь, и оставались, лишь изредка заглядывая, пряча глаза, к своим.

Так у Надежды завязались любовные отношения с Николаем из соседнего отдела. Вначале это случалось на очередных праздниках, дальше — больше, стали ходить вместе обедать, а потом ей позвонила жена и объяснила, что с ней сделают ее родственники, если еще раз подобное повторится. Надя была разведенная, и ей не перед кем было отчитываться и некому было хранить верность.

Так бы это все и вылилось в банальный сюжет с традиционным концом, не вмешайся Галка. Заставляя мерить в туалете очередную дефицитную кофточку, Галка, прикинув к Надиному уху, шептала, что она наблюдает за Николаем и тот точно в Надю влюблен. С женой по телефону разговаривает грубо, Элле, последней своей пассии, откровенно хамит, словом ... он твой, мужики нынче на дороге не валяются... подумаешь, алименты, теперь все их платят, а у тебя квартира, бери и пользуйся. Плюнь, думай только о себе, все-таки он старший инженер, 140, детям треть, хватит всем, у тебя участок, надо его застраивать, а Колька мужик рукастый. Да брось, ну пополируют тебя, так у них у всех рыльце в пуху. Взять ту же Ленку, подругу Вовика... Его ведь в партию не принимали, скандала боялись, в партбюро так и думали, примем, а жена точно в райком пойдет на нас жаловаться, сейчас хорошо, жена себе хахла завела, заткнулась, а то такой скандал могла бы закатить... Теперь его по-быстроу и протянут, а то он в институте единственный зав. отделом беспартийный. И ведь тоже все началось с миски салата, заснул мордой в тарелке, так Ленка раньше всех приехала, выгащила, отмыла, спасла, короче, потому что знала: институтская проверка намечается... Это только ты, дурочка, ничего не знаешь, у меня ведь тоже друг, не скажу кто, нет-нет, не проси, эти сведения от него. Ленке в месткомке шепнули (зря она там, что ли, отирается), как едет в основное здание, так и торчит у них, чай распивает. А что за отчет тебя Вовик гоняет — нормально, он на тебя глаз положил, вот и вызывает по каждому удобному случаю, небось, и Ленка за тобой тут же топает. Тебе тоже нужно за кем-то спрятаться. Все-таки Колька — член партии, в институтском парткоме, жена ему скандала громкого устраивать не будет, он давно блядует. Позвонить может, напугать, а реально что-то сделать — побоится. Ну как уйдет — дети лишатся садика, да и он, слышала, пригрозил перейти на менее выгодную работу, и тогда алименты — пшик и пшик. А у тебя он точно приживется, женится, детей еще нарожаете...

Галка испуганно повертела головой. Грохот входной двери заглушил ее шепот, так что последней фразы Надя не расслышала.

Сегодняшняя записка показывала, что в их отношения вклинился еще кто-то, не учтенный Галкой, и надо было срочно понять, кто же этот ревнитель нравственности, столь усердно защищающий честь отдела. По поводу угрозы... что же, посмотрим, что еще можно с ней сотворить.

Вдруг она поняла. Деньги, отдельные деньги, взятые сегодня на сумку. Кассой пользовались все, но в коробочке обычно оставался отчет, кто и сколько взял. Надо проверить. Если она права, то там не хватает двадцати рублей, которые оставались после Надиного набега. Если их нет, то нет и ее записки о тридцати рублях, взятых на сумку.

На слабых, трясущихся от ужаса ногах, Надя двинулась к сейфу. Ключ лежал у Вовика в столе, пришлось лезть к нему в ящик. Как Надя и предполагала — коробочка была пуста. Она зачем-то перевернула старые бумажки, несколько квитанций, ее записки не было. В ушах зазвучал голос Ольги, хранительницы и распорядительницы общественных денег. Надя вспомнила, что завтра у Мишки день рождения и утром Ольга отправится за подарком, а Мишка побежит за тортом. Тащить его с собой утром было невозможно, автобусы брали штурмом, и хрупкую коробку смяли бы моментально. Завтра Ольга полезет в сейф и обнаружит его пустым.

Все знают, что Надя купила сумку, но ни оставшихся денег, ни расписки там не найдут. Вывод — Надя обчистила кассу. После этого можно будет только застрелиться.

Надя позвонила подруге, она, к счастью, еще не вышла с работы, но денег перезанять не получилось. Твердое и небезосновательное мнение, что кредит портит отношения, в виде новой морали довольно прочно вошло в общественное сознание. Но Надя не сдавалась. Она села на телефон и стала методично обзванивать знакомых и родственников. Результат был нулевым. Все начинали стонать и жаловаться на трудности. Некоторых Надя прекрасно понимала, некоторых — нет. Список таял, Надю подташнивало то ли от голода, то ли от страха, но как выкрутиться из создавшегося положения, она не представляла.

В отделе несколько раз пропадали из сумочек деньги, суммы были небольшие. Надя знала, что обсуждалась и ее кандидатура. Что же, она понимала всю ущербность своего положения: изгой, новая, не сумевшая вписаться.

На стенке висел плакат «Дело Ленина живет и побеждает». На другой — не менее красочный, «Народ и партия — едины». Над входом — третий. Кто, когда и зачем повесил эти плакаты — никто не знал. Они были принадлежностью интерьера и находились здесь как будто всегда. Веселую девушку с гвоздикой, с третьего, она даже полюбила и, отрываясь от кульмана, обязательно скользила взглядом по красному цветку.

Однажды девушка исчезла. Народ всполошился, начались поиски. К счастью, вскоре лаборант отыскал плакат за батареей, куда тот свалился, видимо, от сухости в помещении. Пока его искали, Надя вышла в коридор покурить. В углу стоял парторг Дима с ворохом свернутых чертежей. Прищурившись, он посмотрел на Надю и вдруг спокойно так произнес: «я видел, это ты плакат сорвала, я давно к тебе присматриваюсь». Надя похолодела, зная, чем это может закончиться. Насупившись, она пошла в атаку: «А я всем скажу, что произошло это нечаянно, когда ты пытался меня изнасиловать, а я отбивалась». Дима посмотрел с ненавистью и пошел по коридору.

Месяц назад Надя застучала Диму, когда тот рылся в столе Маргошки, местной красавицы, о чем утром и сообщила всем. Ну вот, еще один активный враг. Какое счастье, что она не партийная, сейчас бы ее уже мытарили по парткомам. Или Ирочка, это ведь она на Надю анонимку накатала в прошлом месяце, шум поднимать не стали, а премии лишили.

На собрании, во время невразумительного выступления Вовика и такого же нудного Диминго, Надя отвела душу, нарисовав на них карикатуру. Получилось, будто она намекнула, что Дима — гомосексуалист. За ним, правда, тянулся неясный флер, но толи да, толи нет, было нечетко, размыто. Ирочка, так, кто еще? Собственно, больше половины отдела могли с ней проделать подобное. Оставалось найти пятьдесят рублей и вложить их в кассу.

Надя вытерла слезы, написала расписку на все деньги и заперла сейф. Где она найдет эту огромную сумму, она не представляла. Одно она знала твердо, оставаться на этой работе ей больше нельзя. Закрыв дверь, она понуро пошла к выходу, решив придти завтра пораньше, чтобы покараулить сейф. Когда она сдавала ключ на вахту, ее нагнал Николай.

Наклонившись, он шепнул, что ждет ее за углом на лавочке во дворе.

Солнце шарило нещадно, нежные клейкие листочки липы и тополя покрылись первыми слоями вязкой городской пыли, но еще выглядели свежими. Завернув за угол, она увидела Николая, сидящего около короба грязной детской песочницы с камнями и окурками на дне. Разбитая бутылка играла отраженными лучами, забытый совок и соска, лежащие на бортике, указывали, что чахлые городские дети не пренебрегают скудными дворовыми удовольствиями. Пробежавшая бездомная собака пописала на угол короба, понюхала соску и, беззлобно гавкнув, вспугнула помойного кота, тоже направлявшегося к песочнице.

Увидев Надю, Николай поднялся, отряхнул брюки и пошел навстречу. Вытащив из кармана яблоко, он протянул его Наде и молча подождал, пока та его съест.

Надя с благодарностью подняла на Николая большие глаза и спросила, нет ли у него взаймы пятидесяти рублей. «Есть, — неожиданно ответил он, — возьми». Он полез в карман, вытащил бумажник и протянул Наде пять красненьких бумажек. «Не волнуйся, они не запланированные, бери. Знаешь, я тут подумал, тебе пора отсюда свалиться. Вчера звонил приятель, ищет референта, я ему тебя и сплавил. Обещал завтра привести. Так что давай причипуривайся и поедем. А сейчас я тебя покормлю. Поехали на Садовую, там классная чебуречная, мне вдруг выпить захотелось, а потом к тебе рванем». Надя вздохнула и подумала, что с музыкой сегодня ничего не получится, жаль только — подруга будет ждать, но она поймет. Они сели в подошедший троллейбус и устроились на задней площадке. Надя молчала, отвернувшись к окну. Народ прибывал на каждой остановке, и вот уже какая-то сволочь задирает ей юбку, она пытается увернуться и чувствует, что сумка, висящая на плече, странно шевельнулась. «Деньги», проносится у Нади в голове, она мгновенно разворачивается и вцепляется в торчащую из сумки чужую руку.

Николай протискивается к ней, и они вместе прижимают к поручням маленького худенького парнишку. Все трое молча сопят. Надя разжимает руку ворюжки и вырывает свой кошелек. Она передает его Николаю и ощупывает свою сумку. Она порезана. Это какой-то проклятый маршрут, сколько сумок у нее уже здесь испортили.

Она шипит сквозь зубы: «Ах ты, сволочь, давай деньги на ремонт, иначе тебе не жить. Сдам в милицию или сама прирежу». Она колет его маникюрными ножницами в ляжку и сжимает руку, стараясь причинить побольше боли. Николай, не на шутку испугавшись ее безудержной ярости, пытается вырвать ножницы. Вдруг парнишка, всхлинув, лезет в карман и сует Наде в сумку толстую пачку денег. Потом вывертывается и кидается к открытой двери. Надя кричит ему вслед: «Ну, погоди, увижу — в милицию отволоку». Николай обнимает трясущуюся, пла-

чующую Надю, и они под ропот пассажиров — дескать, развелось бандитов, куда милиция смотрит — едут дальше.

Надя разглядывает сумку и думает, что, если подойти творчески, «шрам» будет не очень заметен. Правда, элегантность пропадет, зато появится шарм, это не смертельно.

В кафе Надя пересчитала деньги, которые сунул ей парень. В пачке оказалось три ее зарплаты. Отдав долг отчаянно сопротивляющемуся Николаю, Надя подумала, что до первой полочки на новом месте она непременно доживет. А набравшийся храбрости Николай вдруг признался ей, что думает о ней с первой минуты, когда они встретились в коридоре — помнишь, мебель перевозили, и я еще помогал тебе папки тащить.

Черные цыганские глаза Николая, в которые она заглянула с благодарностью и нежностью, вдруг увлажнились, и он смущенно опустил голову. «А дети? Как же без тебя?» — сказала, покраснев, Надя, как будто уже все было решено. «Сейчас они тоже без меня, Анька увезла их к матери в деревню и только глаза ими колет, так что буду брать их по воскресеньям. Ты не возражаешь? А тебе надо по любому оттуда уходить. Не дадут спокойно работать. Такое осиное гнездо, а ты еще палкой там поворошила, Димку начала разоблачать, как тебе такое в голову-то пришло? Ладно, переживем».

Обмирая, Надя смотрела на Колю, и думала, что еще ни разу в жизни никто не пытался взвалить на свои плечи ее заботы. И это было так непривычно и так замечательно, что ее душа, сжавшаяся давно на манер обороняющегося кулака, дрогнула, как предутренний цветок в предвкушении жаркого летнего дня.

Вечером, когда солнце уже село и границы тропинки были неразличимы, мимо Николая с Надей, пробирающихся через пустырь к дому, промелькнула черная тень, это был дворовый кот «Котя-котя», или «ах ты, мерзавец». Кот пересек тропинку и зашуршал в траве. Надя на ходу по привычке поплевала через левое плечо три раза, осторожно нащупывая туфлями неровности кирпичной кладки. Сейчас кот проходил у Нади под кличкой «мерзавец». Он был старый, тощий, почти дикий, передвигался стремительно и грациозно. Надя позвала его, вынув из сумки кусочек колбаски. Кот ее знал. Надя не раз его подкармливала, вот и теперь он развернулся и построился на зов. Съев колбасу, кот мявкнул басом и потерялся о Надину ногу. Надя, посмотрев на ожидающегося Николая, подумала, что, хотя кот утром тоже перебегал ей дорогу, оно вон как обернулось, значит, примета должна быть пересмотрена, и еще, что счастьем надо делиться, иначе нечестно. Она взяла Котю-мерзавца на руки и понесла домой.



Сергей Баймухаметов

САУРАН

Морок, или 35 лет спустя

Руководитель семинара прозы в Литературном институте снял мой рассказ «Сауран» с обсуждения. И все его поняли. Мало ли что могли наговорить в запале обсуждения мы, легкомысленные и безответственные студенты. А руководителю потом будут выговаривать, что «развел на семинаре антисоветчину» (в Литинституте «стук» был поставлен образцово).

На защите моей дипломной работы секретарь Союза писателей РСФСР Валерий Дементьев, человек сдержанный, официальный, заявил: «"Саурана" надо печатать в антологии мирового рассказа!»

В какую бы редакцию я ни приносил рассказ, мне его возвращали: «Старик, ты же сам понимаешь...» Я прибежал к демагогии, честно смотрел в глаза и говорил, что здесь ведь описаны перегибы хрущевских времен, давно и решительно осужденные нашей партией... Мне отвечали: «Только вот этого не надо, старик!»

Потом я читал «Саурана» на собрании московского клуба рассказчиков в Центральном доме литераторов. Вела его Галина Васильевна Дробот, ветеран Великой Отечественной, прозаик, редактор отдела русской литературы еженедельника «Литературная Россия». В конце обсуждения она стукнула кулаком по столу:

— Мы будем печатать это!

Рассказ набрали, сверстали газету. Но цензор заявил, что такое он пропустить не может.

А если однажды зарубила цензура — это волчий паспорт.

Заместитель главного редактора начал с цензором долгие переговоры. Вызвал меня: надо переписать финал. Что я и сделал. Не помню прежней концовки. Но то, что написал заново, по мнению друзей, было страшней, чем прежний финал. А цензура — пропустила! Рассказ вышел в «Литературной России» в 1980 году.

Вскоре я сдавал госэкзамен по экономике социализма. Зав. кафедрой марксизма-ленинизма Михаил Иванович Ишутин, бывший работник ЦК КПСС, угловатый в опалу, не дал мне даже взять билет, а сразу же поставил в зачетку «пятерку» и громко сказал: «Экономику социализма можно изучать по вашему рассказу "Сауран". Гуляйте!»

Повторю: «стук» в нашем институте был поставлен образцово. А тут, главное, даже не слова, а то, что сказаны публично, при аудитории. Вызов! Такое особенно не прощалося. Может, Ишутин считал, что терять ему уже нечего, но все же, все же, все же...

Если вещь один раз пропущена цензурой («залитована»), то потом она идет автоматом, цензура ее и не смотрит. В 1984 году, увидев рассказ напечатанным в журнале «Наш современник», сотрудник «Правды» (ставший через десять лет министром по делам печати) сказал: «Вы что делаете, вас же всех посадят!»

Вот какой была реакция... Морок.

Сегодня, тридцать пять лет спустя, я предлагаю рассказ «Сауран» вниманию читателей журнала «7 искусств».

С.Б.

САУРАН

Рассказ

Я живу в большом старом доме, и окна моей комнаты выходят во двор, старый московский двор, который летом становится похожим на просторный тенистый парк. Но сейчас зима, тополя прямые и голые, и только рябина, что растет под моим окном, доставая до третьего этажа, все еще не сбросила ягоды. Несколько гроздьев осталось, темно-рубиновых сморщенных гроздьев, и я все жду, что и они исчезнут, что их склюют воробьи, которые суетятся за окном весь день. Но воробьи почему-то не трогают оставшиеся ягоды, как будто берегут их, и прыгают с ветки на ветку, не задевая гроздьев, или сидят молча — надувшись, растопырившись.

Я люблю воробьев. Осенью, когда холодный дождь стекает по голым веткам, когда земля становится неприютной для всякой божьей твари и все, что может летать, улетает туда, где тепло и сытно, эти серые невзрачные пичуги остаются. Что их ждет здесь, кроме зимы, голода и холода? Но они остаются, живут, терпеливо ждут весну.

И неправда, что первыми о весне возвещают грачи. В феврале еще лежит снег, еще ничто не говорит о скорой оттепели, но человек, ждущий весну, уже чувствует ее по утрам, когда неведомо откуда, ранним-ранним утром вдруг ударит в ноздри холодной свежестью, и закружится голова. Но еще раньше, еще до первого талого ветра, кричат о весне воробьи. Послушайте, как чирикают они ранним февральским утром. Они чирикают совсем не так, как осенью, зимой или даже летом.

Они чирикают торжествующе!

Я сидел у окна, думал обо всем этом, когда в форточку вдруг влетел воробей. Он растерялся, на секунду завис под потолком, трепеща крыльями, и заметался по комнате, пересекая ее наискось из угла в угол. Но потом опомнился, увидел, куда надо лететь: туда, где деревья. И спокойно уже полетел прямо в окно — и натолкнулся на что-то, удивился, забил крыльями по стеклу, заскреб коготками, но это «что-то» не пускало.

Тогда воробей резко взлетел, разогнался и, пролетев над моей головой, как черная торпедка, ударился грудью о стекло и... упал на подоконник. Полураспахнутые крылья скребнули по подоконнику, клюв раскрылся, глаза закатились в обмороке, как у человека.

Я схватил его и испугался: в моих руках отчаянно колотилось живое сердце. Такой испуг испытываешь, когда, погладив по голове ребенка, вдруг почувствуешь под пальцами, под легкими пушистыми волосами, мягкое, продавливающееся темя, родничок называется.

Воробей скоро очнулся: я почувствовал, как он весь собрался у меня в ладони, напряжился. Клюв закрылся, с глаз ушла поволока. Я подошел к форточке и выставил на улицу руку, разжав ладонь. Воробей встрепнулся, встал, цапнув ладонь коготками, и вмиг сорвался вниз, прижав крылья, и уже у самой земли взмыл вверх по пологой восходящей кривой.

Я вернулся к столу, посмотрел в окно, сквозь чисто промытое прозрачное стекло, посмотрел на деревья, на дома и на серое небо, на такой близкий, доступный, видимый мир — и испугался еще больше. Я представил вдруг, что чувствовал этот воробей, эта живая божья тварь, глаза которого так же, как и мои, ясно видели и небо, и дома, и деревья, — что чувствовал он, когда между ним и этим видимым миром

встала вдруг невидимая, непонятная преграда, и ужас, какой воробьиный ужас испытывал он от ее непонятности, чуждости, непостижимости и безжалостности.

После седьмого класса отец отправил меня на месяц в тюменскую деревушку Козловку, к своему тамыру Назымбеку.

Тамыр на казахском означает: друг. Но это же слово имеет еще одно значение: корень. Друзья, тамыры, то есть люди одного корня. Сейчас я вспоминаю, как мы, пацанятами еще, подражая старшим, говорили: это мой кореш. Или: мы с ним корешки, корешата. Теперь, по-моему, так не говорят.

Козловка — маленькая деревушка на самом юге Тюменщины, на границе с Казахстаном. Вокруг — и на сибирской, и на казахстанской стороне — большие села: Александровка, Усово, Советское, Раздольное... а в центре этого громадного круга — необозримые березовые леса, чистые, просторные, пересеченные мягкими зелеными дорогами, поросшими в колеях низкой мшистой травой. Едешь в бричке через эти леса, перелески, пересекаешь огромные лесные поляны — и невозможно представить, что сейчас, за опушкой, откроется вдруг большое село, с разбитыми в пыль улицами, с проржавевшими, выброшенными за околицу бородами, сеялками и прочим железным ломом, с мастерскими, земля вокруг которых залита машинным маслом, с нелепыми, холодными каменными домами, похожими не то на скворечники, не то на двухэтажные бараки; нет — здесь должна быть деревушка.

Она и есть. И это — Козловка.

В ней двенадцать дворов, вытянувшихся в одну ровную линию, и ни в одном из дворов нет ворот — просто открытое место, в лучшем случае — два покосившихся столбика со скобами, сквозь которые продета легкая жердина, чтобы скотина не забредала. Народ здесь живет пастушеством, здесь любой карапуз сидит на коне так же ловко и удобно, как на горшке, и без труда управляется с большим стадом. Назымбек с сыном Амангаем тоже пасут скотину, каждый год берут в совхозе стадо в двести голов.

Тамыротца Назымбек и впрямь был похож на корень: на узловатый, крепкий, черный от земли корень. А жена и дети его — на удивление светлицы, светлоглазые и светловолосые. Шестилетняя дочь Алия, круглолицая, маленькая, но, как водится по-деревенски, вполне самостоятельная, всех называла только по имени, и перед тем, как что-нибудь сказать, произносила, подражая отцу, протяжное «э».

«Э, Назымбек, — говорила она отцу, — скажи своей жене, что пора уже обедать». Или: «Э, Серко, ты с ума сошел? Куда лезешь?». Серко — это конь.

Амангай, сын Назымбека, был младше меня на один год, закончил шестой класс. Но что значит — младше? Он был старше меня ровно настолько, насколько деревня старше города. Он работал наравне с отцом, умел запрячь, взнуздать, оседлать коня, он подлезал под коня с молотком и стамеской и начинал, к моему ужасу, обрубать коню копыта. Он ругался на скотину, как взрослые пастухи, всякими словами, и никто из взрослых и не думал сделать ему замечание; он... да что говорить, и так ясно. Амангай и физически крепче меня был: коренастый, с широкой грудью и большими руками. Белокожий, в мать, он почти не загорал: лицо было красным, облупившимся, и только руки чернели. А когда он разделся, мы в одной комнате спали, я поразился: тело его было молочно-белым, стыдливо белым, совсем не тронутым солнцем.

— Ты почему не загораешь? — удивился я. — Посмотри на меня: видишь?

И я повел худыми черными плечами.

— Живешь в деревне, и белый, как сметана, — вот смешно.

— Загорать? — переспросил он. — Это пусть городские загорают, а у нас тут комары, и...

Он замолчал, не стал продолжать, но я и так понял, что по его меркам это баловство, занятие бездельников — лежать и загорать.

На следующий день мне дали коня. Назымбек дал мне своего рабочего коня — Серко. Это был громадный, как гора, конь серой масти, весь какой-то бугристый, нескладный и на редкость смирный. Я взгромоздился на него и ударил пятками: Серко, не поднимая головы, сделал первый шаг. Я еще наддал пяткой, неловко держа поводья обеими руками, и Серко тяжело затрусил, подбрасывая меня в жестком седле. Амантай на совхозном гнедом коне Гашке крутился рядом, горяча его, натягивая поводья, и Гашка круто выгибал шею, грыз удила, мелко перебирая ногами. Я тоже захотел так и дернул повод, но мой Серко и не почувствовал: продолжал трусить, не поднимая головы. «Битюг ты, битюг», — подумал я, но не огорчился: главное, я ехал на коне!

— Ну как? — спросил Назымбек, когда мы вернулись, проехав деревенскую улицу из конца в конец.

— Хорошо! — расплылся я. — Только трясет.

— Привыкнешь, — успокоил меня Назымбек, поглаживая Серко по слоновьей шее.

— Скотина рабочая и есть скотина! — выругался Амантай. — И никогда конем не будет. Ты смотри! — повернулся он ко мне. — В быструю рысь его не пускай, а то этот битюг головы от земли оторвать не может, все под ноги себе смотрит, на каждом шагу будет спотыкаться!

— Почему же? — удивился я. — Если под ноги смотрит, то ведь не должен спотыкаться?

— Э-э, — сказал Назымбек. — Только тот конь не спотыкается, который высоко голову держит. Понял?

Весь день мы с Амантаем провели на конях. Когда выехали за околицу, проехали первый березовый лесок, второй, Амантай вдруг остановился и спросил: «Покажи, где Козловка?» Я показал. «Правильно, — сказал Амантай. — А вон те деревья видишь?» — и он указал на несколько раскидистых берез, стоящих посреди поля. «Вижу», — сказал я. «Давай поспорим, — сказал он, — что я завяжу тебе глаза, три раза обведу вокруг рожи — и ты заблудишься?» — «Давай», — согласился я, не очень понимая, о чем он говорит и почему я должен заблудиться.

Платка у нас не было, на мне была старая фетровая шляпа, которую я выпросил у Назымбека. Он не хотел давать, говорил, что шляпа старая и грязная. Но я выпросил, и сейчас воображал себя ковбоем. «Только честно!» — предупредил Амантай. «Честно!» — сказал я и двумя руками прижал шляпу к лицу, влез в нее носом. «Пошли!» — скомандовал Амантай.

Серко тронулся, и я замер, придавленный наступившей вдруг темнотой и мерным шагом коня, несущего меня сквозь темь. Я колыхался в седле, в абсолютном мраке, и душа моя дрожала неведомо отчего. Этот путь в крошечной тьме был долог, почти бесконечен: я услышал, как звенит жаркий летний день, как на все голоса поют и стрекочут в траве невидимые кузнечики, стрекозы и другие букашки, и несть им числа. Я услышал, как гудят, проносясь мимо, пауты и шмели, как вдали, в дальних лесах, жужжит и рокочет в густой траве мягкий мохнатый шар — страшный осиный рой, а мы все ехали и ехали, конь подо мной все шел и шел, и я чувствовал, как плывет, качается в жаркой темноте земля.

— Ну, покажи теперь, где Козловка? — раздался голос Амантая, и мы остановились. — Шляпу, шляпу сними!

Я медленно стянул с лица шляпу, зажмурился и так же медленно открыл глаза.

— Ну? — торжествовал Амантай. — Где?

У меня хватило сил только помотать головой: где мы, куда попали, куда я попал... И хотя раскидистые березы были все те же, но в то же время как будто и не те, а поляна так совсем не та, и лес вокруг... — нет, все было не то, и если бы не наш уговор, то я подумал бы, что Амантай обманул меня, завел неведомо куда, но я знал, что все честно, а просто мир вокруг непонятно как изменился, и главное — я не мог как следует видеть и слышать, потому что во мне еще качалась и звенела земля.

— Я тоже так могу заблудиться, — успокоил меня Амантай. Он, наверно, подумал, что я расстроился. — Заведи меня куда-нибудь далеко и обведи три раза вокруг одного леса — и все, заблудился. Любой заблудится. Хочешь земляники?

— Хочу, — сказал я.

— Ну тогда пошли! — вскинулся он в седле, и Гашка с места рванул рысью. Я изо всех сил ударил пятками по чугунным бокам Серко, но он, не поведя ухом, только чуть прибавил шаг.

— Э, погоди, — сказал Амантай, возвращаясь. Он достал нож, срезал с березы длинный тонкий прут, очистил его от листьев и протянул мне.

— По брюху бей, — сказал он. — Кони не любят, когда их по брюху тонким прутом хлещут. Только... — он не договорил, так как я уже хлестнул Серко по брюху, он рванулся вперед, как тигр прыгнул, и я опрокинулся, ударился поясницей о высокую луку седла и вывалился бы, если б не держался за повод.

— Говорил же тебе! — рассмеялся Амантай. — Не бей сильно, только щекоги его, щекоги...

И мы погнали коней рысью — и начались мои муки. Битюга моего было не узнать: он по-прежнему не поднимал головы, набывшись, но покорно бежал, и стоило мне даже не хлестнуть, а просто опустить руку с прутом, как он рвался вперед, и я колотился в седле, как шарик в погремущке, в глазах у меня все прыгало: деревья, небо, спина Амантая и крутой круп Гашки. Самое мучительное, что никак нельзя приспособиться: меня подкидывало, и только я думал, что сейчас опущусь в седло, как Серко делал шаг, и меня на полудете поддавало снизу еще раз, и еще: седло било меня в воздухе, не давая сесть и укрепиться.

— Трясет? — спросил Амантай, останавливая Гашку. — Ничего, привыкнешь, ты вначале вот так попробуй.

И он показал, как: поехал рядом, в такт шагам коня приподнимаясь на стременах. Я тоже попробовал, и через некоторое время у меня получилось: я возликовал! Главное — поймать такт, и тогда даже никаких усилий не надо: конь подкидывает — и я приподнимаюсь на стременах. Через шаг седло идет вниз и как бы застывает в воздухе — и я опускаюсь. Затем резкий шаг — сейчас подбросит, но я, уже зная, на секунду раньше приподнимаюсь на стременах — все получалось!

— Только казахи так не ездят, — сказал Амантай, глядя на меня сбоку.

— А как они ездят? — удивился я, потерял такт и тут же получил такой удар по копчику, что лягнули зубы и запрыгали шарики в голове.

— А вот так! — сказал Амантай, не замечая моих мук, и пришпорил Гашку, полетел по широкому полукругу, слегка откинувшись в седле, чуть повернувшись ко мне корпусом. Гашка мчался, сильно и широко выкидывая ноги, а наездник си-

дел неподвижно и спокойно, как на стуле, и рассеянно смотрел по сторонам, как будто и не подозревая, что под ним не стул, а трясущее жесткое седло.

— Понял?

— Понял, — сказал я. — Научусь.

— Ну хватит, приехали, — сказал он и спрыгнул с седла.

Я тоже слез и пошел, забыв про Серко, и тут же почувствовал, как болит копчик, как болят, горят ноги, натертые жесткими стременными ремнями. Зато идти на ногах было восхитительно легко, как будто с плеч сняли груз, но в то же время и как-то неудобно: я шел, почему-то широко расставляя ноги, и меня слегка покачивало.

— А где же ягоды? — спросил я, облизывая пересохшие губы, и опустился на траву.

Амангай занимался конями. Разнуздал их, обмотал поводья вокруг шеи и отпустил пастись.

— Где сидишь — там и ягоды, — ответил он и лег рядом со мной. — Вот, перед носом.

Перед носом у меня, на высоком стебле, прикрытая сверху разлапистым листом, покачивалась ягода земляники: крупная и вся в пупырышках, красная, перезрелая, облитая выступившим соком, готовая вот-вот упасть на землю каплей сиропа. И рядом еще одна, и еще, и еще... Мы ползли тихонько вперед и ели, ели и ползли.

— В городе мороженое продают, да? — спросил вдруг Амангай.

— Продают, — ответил я. — А что?

— Ниче, так, — сказал он. — Я ел в прошлом году, когда в город ездили, в Ишим.

Я удивился: ну, ел мороженое, ну и что с того.

— А Петропавловск большой город? — спросил он. — Больше Ишима?

Про Ишим я знал, что это большой районный город в Тюменской области, и все, что ни говорилось в этих краях про «город» — говорилось про Ишим. Ну, а Петропавловск какой-никакой, а областной центр, один новый вокзал чего стоит.

— Большой, — сказал я. — Раз в восемь больше Ишима. Или в десять.

— И нравится тебе там, в городе?

Вот уж о чем я не думал, так об этом: нравится — не нравится, жил и все. Но что я мог сказать ему?

— Конечно, нравится, — сказал я. — А что?

— А мне здесь нравится, — сказал он и перевернулся на спину, бросив взгляд на коней: как они там.

— Мне здесь нравится, — повторил он, глядя в небо.

— Ну и что, — сказал я. — Мне тоже здесь нравится.

Мы замолчали. Он просто лежал молчал, а я ел землянику, вытирая рот листьями: от этого на губах было горько, зато потом земляника казалась еще слаще.

И сейчас, вспоминая тот день, я все думаю: а что же он хотел сказать. Я-то просто говорил: там нравится — здесь нравится — везде нравится, но он, он-то что-то свое имел в виду, но что — я не знаю. Да и стоит ли сейчас об этом думать, мало ли о чем могли говорить двое мальчишек: деревенский и городской.

Так и жил я в Козловке, не замечая дней. Вставал в пять утра, пил молоко, седлал коня, научился уже, выезжал вместе с Амангаем, выгонял из загона жую-

щее, мычащее, шибяющее в нос запахом свежего навоза стадо, щелкал кнутом, тоже научился, а когда не было рядом Назымбека, щелкал кнутом и устрашающим голосом ругался, вроде совсем как Амантай или Назымбек.

Но как-то я обратил внимание, что Назымбек и Амантай нет-нет да спрашивают друг друга: «Бурого коня видел?» — «Видел», — отвечает тот, кто выгонял в этот день стадо. И так — почти каждый день. Стал замечать, что иногда кто-то из них выезжает вечерами со двора, и не просто так, а с мешочком, с торбой у седла. И в торбе той — овес. И эти выезды тоже связаны с загадочным Бурым.

— Что это за Бурый? — спросил я наконец у Амантая. — О чем вы говорите все время?

— Наш конь, — неохотно ответил Амантай.

— А что, у вас еще конь есть?

— Есть.

— А где же он?

— Там... — сказал Амантай и махнул рукой в сторону леса.

— Ну, а почему он Бурый?

— Почему, почему? Масть такая!

— А-а, — сказал я. — Понятно.

На следующий день после этого разговора, который так и закончился ничем, Амантай вдруг предложил: «Хочешь на Бурого посмотреть?» — «Хочу» — сказала я.

Мы оседлали коней и помчались. Миновав околицу, углубились в густой молодой березняк, долго ехали по нему, миновали какие-то чащобы, завалы: старые порубки, деляны и поднялись наконец на гребень, где деревья были большие, просторно росли, далеко друг от друга, и оттуда, с гребня, открылась поляна, круглая, как блюдце, с ярко-зеленой сочной травой, какая бывает в низинах, и на другом конце поляны, у белой кромки березового леса, я увидел пасущегося коня. «Вот он, Бурый», — сказал Амантай.

Мы шагом тронули своих коней, и чем ближе подъезжали к Бурому, тем почему-то медленней и медленней. Наконец Амантай остановился, слез, отвязал торбу с овсом, и мы пошли к Бурому пешком. Он стоял, застыв недвижно, смотрел, как мы спускались с гребня на конях, как мы спешили, и только когда мы подошли к нему совсем близко, он негромко, будто приветствуя нас, заржал, задрожав ноздрями.

И сто, и двести лет пройдет, и, может быть, вырастут на земле люди, которые проживут всю жизнь, так и не увидав живого коня, но и тогда дети и внуки их, увидав хоть раз настоящего коня, поймут с первого взгляда, что это — настоящий конь.

Бурый смотрел на нас, чуть повернув голову, ноздри его трепетали; я никогда больше ни у одного коня не видел таких широких ноздрей, таких широких, что при любом беге ему должно было хватить воздуха, чтобы наполнить мощную грудь, чтобы остудить жаркую кровь, застилающую глаза. Он смотрел на нас, а мы на него, и даже Амантай молчал.

Это был конь-гигант, но я понял это только тогда, когда случайно, краем глаза увидел Гашку, который рядом с Бурым выглядел как жеребенок-двухлеток. Так слеплен был Бурый, что взгляд обнимал его сразу всего, как единое целое, как слиток металла, тяжесть и мощь которого не видны за плавностью и обтекаемостью линий. Тусклой бронзой отсвечивал Бурый, и стоял он, как на постаменте: перед-

ние ноги на маленьком бугре, на возвышении, грудь вперед, и хвост, густой, как поток воды, низвергался с крупа и терялся в низкой траве. Выгнутой длинный корпус, начинаясь с литой груди, хищно суживался в паху, а по спине, могучей спине с ложбинкой посередине, по хребту, от гривы и до репицы хвоста, проходила широкая черная полоса.

— Это был сауран.

Я думаю, каждый народ создает свой образ легендарного коня, и образ этот, как и живой, реальный конь, возникает не сам по себе, а в зависимости от условий жизни народа, как, например, своеобразным плодом древней арабской цивилизации, рано прошедшей искус утонченности и изящества, стал знаменитый арабский скакун — тонконогий, сухой, легкий и горячий. В метельных казахских степях, где, чтобы жить, надо было выжить, где история народа — это история набегов и войн, таким конем стал сауран, в жилах которого слились воедино кровь благородных «арабов», ахалтекинцев и неприхотливых, выносливых, как волки, низкорослых степных лошадей. Тысячи и тысячи коней бродили по степи, и каждый из них отличался или красотой линий, или резвостью, или неутомимостью — но среди этих тысяч и тысяч, непонятно по каким законам, благодаря слиянию каких кровей, вдруг появлялся один, который воплощал все эти качества: и мощь, и красоту, и выносливость, и легкий, летящий бег; и это был конь с черной полосой по хребту — прославленный в песнях и легендах степной скакун сауран.

Молча возвращались мы в Козловку, и Амантай, догадываясь, о чем я думаю, сказал:

— Тебе нельзя на нем, не удержишь. И я тоже не удержу.

— А кто удержит?

— Отец. Но чтобы на полную рысь пустить, в ходок надо запрягать, чтобы вожжи в руках были.

— Значит, в ходке можно на полную рысь?

— Можно. Только особый ходок нужен, крепкий. У нашего колеса не выдержат, разлетятся.

— А есть где-нибудь еще такой конь? — И я повел рукой, не то показывая на весь мир, не то на округу.

— Нет, — сказал Амантай. — И никогда не было — так отец говорит. В Александровке раньше жил Кожамет такой, лучших коней в округе держал. А как Бурый вырос, так этот Кожамет с носом остался. Сейчас он в Ишиме живет, заготовителем работает, каждое лето к нам приезжает и просит продать Бурого.

Так мы разговаривали, едучи рядом, опустив поводья, и кони наши шли голова к голове по мягкой лесной дороге, и в вечерней лесной тишине все виделся мне, стоял перед глазами конь с широкими трепетными ноздрями, с литой грудью и пышным хвостом, стелющимся по траве.

Уже у самой Козловки я, увидев табун деревенских лошадей, пасущийся за околицей, в ближних лесах, спросил, а почему Бурый пасется так далеко и один, а не ходит в табуне. И домой никогда не приходит.

— Нельзя ему, — сказал Амантай и поперхнулся. И только я хотел спросить, почему это нельзя, как он поспешно добавил: — Он привык один, вот и ходит, коню ведь не прикажешь.

Но это он мог раньше, еще неделю назад, сказать мне такое, и я бы поверил. А сейчас-то я знал, что так не может быть, и понял, что от меня что-то скрывают.

На следующий день, вечером уже, я увидел Бурого в табунах на околице; кони напались по вечерней прохладе, а когда стали одолевать комары, подошли ближе к деревне, к большому навесу, оставшемуся от старой конюшни. Я только хотел сказать Амангаю, что Бурый появился в деревне, как увидел, что он, ни слова не говоря, вскочил на Гашку, не оседывая его, и помчался к табунах. В руках его был недоуздок. Я видел, как он надел недоуздок на Бурого и быстрой рысью повел его в поводу прочь от деревни, туда, за гребень, на круглую поляну. И я окончательно убедился, что от меня что-то скрывают. Обидно было. Получалось, что я мальчишка и мне нельзя доверять. Амангаю можно, он взрослый, хотя и младше меня, а мне — нет.

Но Назымбек был так добр, жена его во мне души не чаяла, они так носились со мной, что я не мог долго держать обиду. Да и другим был я занят: я каждый день ездил туда, на круглую поляну, к Бурому.

Едва наступало утро, как меня охватывала дрожь нетерпения. Серко, мой любимый Серко, которого я не перестал любить, потому что Серко — это мой конь, а Бурый — это что-то совсем другое — Серко уже ждал меня за базом: спокойный, громадный, отъевшийся за ночь. Я взвздывал его, гладил по холке, проверял, как заправский мужик, не сбита ли у него спина, аккуратно подкладывал под седло потники, проверял, не защемило ли подпругой шкуру, и, наполненный ожиданием непонятно чего, пускал его мерным шагом за околицу, навстречу встающему солнцу.

Приехав, я оставлял Серко пастись среди берез, на гребне, а сам шел на поляну к Бурому. Иногда его там не было, и я пересекал лес, искал его, и, увидев, вздрагивал. А он, как и в первый день, поднимал спокойно голову и приветствовал меня тихим ржанием, и мы долго так стояли, смотрели друг на друга.

Я хорошо помню, что никогда не всматривался, не вглядывался в него, разве что в глаза, большие, тенистые, добрые, а видел все в целом: зеленую траву под его копытами, белые стволы берез. И так проходили часы. Я сидел, смотрел, а Бурый изредка поднимал голову, будто проверял, здесь ли я, или переходил на другое место, а я — за ним. Он без пут ходил. Все деревенские кони ходили-прыгали в путах, а Бурый — самый быстрый на свете — ходил свободный.

Но настало время уезжать. Назымбек запряг в ходок Серко и отвез меня в Александровку, большое село с улицами, покрытыми закаменевшей весенней грязью. Подошел автобус, «пазик», и я, похлопав Серко по шее, погладив его по теплым замшевым ноздрям, пожал руку Назымбеку и полез в автобус, вместе с громкоголосыми женщинами в плюшевых жакетах, с красными лицами и большими корзинами в руках. «Ждите на следующий год!» — крикнул я в окно Назымбеку, когда автобус тронулся. Назымбек махнул рукой. А Серко стоял, привязанный к крыльцу магазина, рядом с такими же конями, запряженными в ходки, тарангасы, брички, и, отмахиваясь от мух, мотал большой головой вверх-вниз, как будто кивал мне.

На следующий год я в Козловку не поехал. Ездил отец, он мне все и рассказывал. Что я тогда понимал, городской мальчишка, далекий от взрослых, тем более деревенских дел? Ничего не понимал. Из рассказа отца я понял только одно: в те годы почему-то не разрешалось держать коней. Надо было сдавать, даже совхозных, и уж тем более личных. В хозяйствах, во дворах, оставались только рабочие лошади, без которых нельзя. И Назымбек был поставлен перед выбором: или Бу-

рого сдавать, или Серко. Но без рабочего коня нельзя, а Бурого, Бурого он не мог сдать. И тогда, как раз в то лето, когда я жил в Козловке — тогда Назымбек угнал Бурого в лес, и конь, умный конь, будто все понимая, жил один, лишь изредка, забывшись, приходил в деревню.

Но наступил ноябрь, выпал снег, и Назымбек, отчаявшись, привел Бурого в старый баз на огороде, повесил замок, и по ночам, как вор, выводил его на проминку. Амантай жил в Александровке, в интернате, Алия тоже: в первый класс пошла — тихо было в доме.

Однажды вечером приехал управляющий совхозным отделением. Назымбек сходил домой к продавцу, принес водки. Выпили, закусили копченой кониной. Жена поставила казан, но гость отказался, сказал, что сейчас уедет. Еще выпили.

— Сдавать надо Бурого, Назымбек, — сказал наконец управляющий. — Ничего не поделаешь...

— Нет у меня Бурого. Продам, — спокойно ответил Назымбек: он знал, о чем будет разговор.

— Как знаешь, как знаешь, — сказал управляющий. Он был толстый и быстро покраснелся, дышал тяжело, со всхрапом. — Мое дело предупредить. Но Бурый ведь не иглока, в стогу не спрячешь, все видят и говорят.

— Кто говорит?

— Не мое это дело, — сказал управляющий. — Я тебя всегда уважал. Мое дело предупредить. И вообще, я у тебя не был, понятно?

Он выпил, опрокинул рюмку, взял толстыми пальцами кусочек мяса, понюхал.

— Я у тебя не был, понятно? — повторил он. — И теперь скажу тебе так: все сдали коней, да? Один ты, допустим, не сдал, да? И вот среди тех, кто сдал, всегда найдется человек, которому плохо от того, что у тебя есть Бурый. И он, этот человек, не молчит. Ты понимаешь меня?

— Понимаю, — сказал Назымбек. — Спасибо тебе. На той неделе барана буду резать, приеду за тобой в Александровку, гостем будешь. Не отказывайся, не обижай.

— Тебе спасибо, — сказал управляющий. — Я тебя всегда уважал.

Как только управляющий уехал, Назымбек оделся, вышел во двор, бросил в розвальни мешок овса, уложил несколько тюков прессованного сена. В передке саней установил большой ящик с инструментами. И рано утром, затемно, запряг Серко и выехал со двора.

Бурый бежал рядом, привязанный за повод к оглобле, всхрапывал, втягивая ноздрями морозный воздух, и все рвался, рвался вперед, не мог допустить, что Серко бежит на полголовы впереди него.

Назымбек ехал в аул Керей, маленький аул, жизнь которого кончилась много лет назад: молодые разъехались, старики умерли, и остались лишь дома, загоны для скота да длинный баз с толстыми саманными стенами.

Дорога была хорошая. Снег плотный, улежался, и Серко бежал легко, швыряя комья снега в передок саней. Бурый утомился, бежал ровно, от него уже валил пар: застоялся. И глядя на него, Назымбек думал о тех людях, которым этот конь, это бессловесное чистое создание Господа почему-то не дает покоя. Он думал не о тех людях, что приедут исполнять свою службу. Они приедут скоро, он знал это — спасибо управляющему. Но им-то дела нет до Назымбека и до Бурого, они просто службу исполняют; он думал о тех, вернее, о том человеке, о своем, из Козловки, которому, как сказал вчера управляющий, плохо оттого, что они, Назымбек

и Бурый, не расстанутся друг с другом несмотря ни на что. Плохо ему от этого, душа у него не спокойна, а? И это в Козловке, где людей-то столько, сколько пальцев у меня на руках, а?

Грустное зрелище являл собой заброшенный аул. В стороне от больших и малых дорог, в непрохожем и непроезжем месте, после ухода последнего человека он начал разрушаться сам по себе: обвалились стены, сгнили столбы, завалились изгороди, как будто какая-то злая сила прошлась по обезлюдевшему становищу, радуясь, что теперь она здесь полновластный хозяин.

«Э-э, — думал Назымбек, оглядывая обвалившиеся стены, двери, неведомо кем сорванные с петель, черные провалы раскрытых ворот в базе. — Были люди, жили люди — и нет их, нет аула Керей. Что же изменилось в мире? Еще годы пройдут — и сама память о нем исчезнет. Не зря ведь говорят: живая мышь лучше мертвого льва!»

Назымбек обошел длинный баз, разгороженный внутри на несколько сараев: нет, ничего, все годится. Вот просторное, крепкое помещение, здесь стоял конь старика Мирзагали. Назымбек хорошо помнил его, спесивого, надутого, кичившегося своим родом. Не понимал старик к концу жизни, что спесь его вызывает у людей только жалость. Э, все прошло, и не дай нам бог такой старости.

Назымбек выгреб мусор из сарая: какие-то разломанные доски, сенную и соломенную труху, перегнившую в углах. Огляделся: ничего, просторно, Бурому здесь хорошо будет. И полез на крышу. Крышу надо было укреплять, такую крышу волки быстро разроют. Он разыскал несколько коротких бревен, распилил на слегу уцелевшие жердины загона, выдрал, выбил, где можно было, еще крепкие скобы, взгромоздил все это на крышу и залез сам. Отсюда, с возвышения, аул казался еще более заброшенным, разоренным: развалины под низким угрюмым небом. Глухой черный лес окружал эти развалины.

Стропила и балки были еще крепкие, скобы входили туго, держались прочно. Так, хорошо... никакой волк не разроет. Волк, волк... — бормотал он. Он вдруг представил, как будет стоять здесь Бурый один, в лунную ночь, и лунный свет будет пробиваться сквозь щели, а вокруг, выйдя из урмана, будут выть волки — и поежился. А сам я кто? — кривя губы, думал он. — Не волк разве, а? Живу ночами, ночам вывожу Бурого, и сюда буду приезжать только ночами, в глухой урман, по сугробам, при луне, а?

И мелькнула мысль: а зачем это все, может, сдать Серко — и конец мучениям? Но тут же опомнился: как жить без рабочего коня...

Смеркалось, когда Назымбек закончил невеселую свою работу и ввел Бурого в стойло. Чисто, хорошо и просторно здесь стало, пахло свежим, привезенным им сеном. «Живи, — сказал он коню. — Тебе здесь будет тепло и спокойно. А об остальном пусть у меня голова болит».

И поехал домой через сизые вечерние сугробы.

Управляющий приехал через месяц. Назымбек понял: «Все...» Они стояли во дворе, управляющий не стал заходить в дом. Назымбек только что выгреб из-под Серко навоз, выскреб дощатый настил и стоял во дворе, у дымящейся кучки, держа лопату в руках. На улице, у машины управляющего, собирались люди. Назымбек их не видел, не смотрел.

— Я слышал, что заготовитель Кожамет хочет купить себе хорошего коня, — сказал управляющий.

— Да, — сказал Назымбек. — Я тоже слышал.

— Я считаю, что тебе надо ехать в Ишим, — сказал управляющий. — И как можно быстрее. Понял?

Назымбек молчал. Он стоял, смотрел на управляющего, тая еще какую-то нелепую, детскую надежду: так дети смотрят на взрослых, веря, что они, взрослые, могут все. Управляющий отвернулся и пошел к машине, матерясь бессильно сквозь зубы. Потом он повернулся и громко, на всю улицу, сказал:

— Ну, если ты заболел, то болей спокойно! Я скажу бригадиру, чтобы на ферме тебя подменили! Понял?

— Спасибо, — сказал Назымбек.

Ночью он привел Бурого в Козловку. Хотел седлать и ехать немедленно. Но опомнился: куда на ночь глядя. Лег и уснул. Жена не спала. Она разбудила его.

Назымбек вывел Бурого во двор, надел на него уздечку: его, Бурого, уздечку, с пышной кистью, с двойными ремнями, верхние ремни в медных блестящих бляшках. Потом вынес седло, кавалерийское, редкое сейчас седло, обитое коричневой кожей толщиной чуть ли не в палец: все его, Бурого, для него сделано и куплено.

— Может, собрать чего-нибудь в дорогу? — спросила жена.

— Брось, — отмахнулся Назымбек. — Не в пустыне живем, через людей ехать буду.

И тронул коня.

Давно уже Бурый не ходил под седлом — душа Бурого ликовала. Он закусывал удила, рвал повод, требуя свободы, требуя выхода распиравшим его силам, но Назымбек, держа поводья обеими руками, как вожжи, да еще намотав их на кулак для крепости, сдерживал его: слишком долго стоял конь, запыл жиром, не запалить бы ненароком.

Но километр за километром одолевал Бурый сбивающейся рысью, хрипел, и постепенно дыхание прочистилось, сошла с боков первая пена, и Назымбек чуть ослабил поводья: можно пускать немножко, и конь, почуввав свободу, рванул резко вперед. Назымбек дернул повод, Бурый сбился с рыси, но тут же выправился и пошел, пошел, выбивая снег крепкими копытами, незаметно, с каждым метром убыстряя ход, все туже и туже натягивая повод. Назымбек не сдерживал его: он сидел, нахохлившись, опустив плечи, ничего не видя, подчиняясь только коню, его движению, его крупной, раскачивающейся рыси, и ему хотелось бы сейчас перевоплотиться в Бурого, лететь по снежной дороге, радуясь воле, простору, радуясь своей силе и ничего не зная... Беги, мой конь... — бормотал Назымбек. — Беги, Бурый, беги...

Взошло солнце, и леса вокруг засверкали. Мир, придавленный предутренними сумерками, вдруг раздвинулся, стал таким необъятным, каким и должен быть. И Бурый летел, распластав хвост по ветру, радуясь огромности этого мира, который он бы мог проскакать из конца в конец.

Беги, мой конь, беги, — беззвучно бормотал одно и то же Назымбек. — Нет, правду говорят старики: что толку в широте мира, если жмут сапоги? Широкий мир поднебесный, только для нас с тобой он почему стал тесен, а? Беги, мой родной, беги, — бормотал он, и жесткий ветер вышибал из глаз слезу, не давая ей скатиться, сносил ее к вискам.

Назымбек вернулся в Козловку через неделю. Один. Отдал жене ситцевый мешочек с деньгами и велел бросить его в дедовский деревянный сундук, обитый узорными железными полосами.

На другой день после щедрого угощения, которым отметил Кожухмет покупку Бурого, на другой день после отъезда Назымбека из Ишима, Кожухмет вывел коня на пробный выезд. Во дворе стояла легкая шегольская кошевка, приготовлена сбруя. Пришли соседи, друзья. Бурый тревожно косился, вздрагивал ноздрями, привыкал.

Кожухмет, легко охлопывая коня по шее, ввел его в оглобли. Запрягли быстро, в несколько рук. И все было впору: и новый, отливающий желтой кожей хомут, и шлея, и высокая дуга, расписанная красными и черными полосами.

Раскрылись ворота. «Ну, с богом», — тихо сказал Кожухмет и тронул вожжи. Выехав за ворота, Кожухмет направил коня по длинной окраинной улице и затем свернул к центру. Он хотел проехать через площадь перед автостанцией и выбраться за город, на простор. Но едва конь вылетел с улицы на площадь, как прямо перед ним, натужно рыча мотором, прошел большой автобус. Он как раз разворачивался на площади.

Бурый, шедший размашистой рысью, врос в землю всеми четырьмя копытами, так что хомут налез на уши, затем взвился на дыбы, кинулся в сторону: затрещали оглобли, кошевка накренилась, встала боком. «Тпру!» — кричал Кожухмет, барахтаясь в снегу, пугаясь в длинных концах вожжей, а Бурый храпел, пятился, кидался из стороны в сторону, и только когда Кожухмет подбежал и взял его под уздцы, немного успокоился. Но уши были злобно прижаты, глаза налились кровью, он весь дрожал крупной дрожью.

Кожухмет развернул кошевку и направил коня к дому. «Вот бешеный, — удивлялся он. — Никогда машин не видел?»

А Бурый шел, косясь по сторонам, и в душу его заползал страх. Все здесь было чужим — дом, двор, стойло, не было ни одного знакомого лица, ни одного знакомого запаха, не было почему-то Назымбека, и даже запаха его не было. И кружились, кружились в глазах ряды и ряды домов, один за другим, один за другим, частокол заборов и штакетников надвигался на него со всех сторон, и вырваться из него было невозможно.

Но кто знает, может, Бурый скоро и привык бы к новому хозяину, к городу, и, скорее всего, привык бы, но в этот момент, как будто нарочно, еще раз, как на площади, по глухому перекрестку пролетел, грохоча и лязгая, самосвал с прицепом. Бурый взлетел вверх, а потом — чего с ним никогда не было — как бы осел на передние ноги, а задними так саданул по передку саней, что разнес его в щепы, и понес, понес бы, закусив удила, если бы Кожухмет, сразу выпрыгнувший из саней, не держал его уже под уздцы.

И с того дня Бурого стало не узнать. Не раз, и не два пробовал выезжать на нем Кожухмет, но конь дрожал всем телом, храпел, пятился, пугался всего: взмаха руки, крика ребятишек, грома репродуктора на столбе, далекого шума машин. С месяц, наверно, бился с ним Кожухмет, пока не понял, что коня надо продавать, отдавать его куда-нибудь далеко, в глухую тихую деревушку. А кто его купит в деревне, кто пожертвует рабочим конем ради ездового? Никто. Да и слава пошла про Бурого, что порченый...

Еще месяц стоял Бурый во дворе Кожухмета, и только потом, убедившись, что все бесполезно, никто не купит, — Кожухмет решился.

С утра все в доме было готово. Пришли родичи Кожухмета, двое соседей. Просторный двор расчистили, кошевку, бричку и тарангас загнули под навес.

Вывели Бурого. Надели на него два крепких недоуздка с двумя арканами: два человека держали его с двух сторон. Остальные мужчины начали заводить арканы под задние и передние ноги коня, под каждую отдельно, и, по знаку Кожакмета, разом рванули, подсекли — и Бурый всей громадой своей грянулся оземь. Раздался крик: «Голову держите, голову!», но голову не сумели удержать, и Бурый, разрывая стянутые арканами сухожилия, вскочил и понес по двору. Но двое мужчин, повисших на арканах недоуздка, удержали его. Это были крепкие мужчины, не знающие страха, не думающие даже о том, что обезумевший конь может прибить их насмерть. Они остановили его.

Трудно справиться с конем, если не удалось свалить его с первого раза. Тем более с таким конем.

Закрутку надо, — решили мужчины и начали готовить закрутку, нехитрое подлое орудие из деревянной палочки и ремешка.

Двое мужчин держали Бурого, другие готовили арканы для новой подсечки, а один подошел к нему спереди. И когда он ловким движением скрутил, еще и еще раз, верхнюю губу коня, свет померк в глазах саурана. Сдавленный человеческий стон вырвался из его теплых ноздрей, конь осел на задние ноги и янтарная моча полилась на серый снег...

Мужчины быстро завели арканы, подсекли, и конь рухнул. Двое мужчин оттянули арканами и придавили его голову к земле — но Бурый уже не сопротивлялся. Тело его еще противилось насилию, мощные ноги пытались разорвать путы, но сам он уже не сопротивлялся. Он понял, что они сильнее его, их больше, и остается только, не унижая себя бессмысленным сопротивлением, с достоинством принять все, что ему уготовано... — так подумалось невольно людям, когда сауран спокойно, не сопротивляясь, откинул голову назад и замер. Шея его вытянулась, могучая длинная шея, четкой линией прочерченная по снегу, и только горло трепетало.

Кожакмет взял нож, сделанный из обломка сабли, большой нож с тусклыми медными заклепками на деревянной самшитовой рукояти, и протянул его соседу. Тот дважды, с двух сторон, провел плоскостью клинка по ладони, прошептал: «Бисмилля!» — и сильно, протягивая лезвие снизу вверх, полоснул по оттянутому горлу, одновременно погружая клинок глубже и глубже. Кровь ударила фонтаном, обрызгав всех, конь дернулся, захрипел, мужчины разом налегли на него, в горле коня заклокотало, и кровь начала извергаться вместе с частыми хрипами: белая кровь била из горла коня с каждым выдохом, и мужчины, сами не замечая этого, тяжело дышали в такт предсмертным хрипам саурана.

Хрипы становились все тише, тише, наконец, закаменелое, сведенное последней судорогой тело коня обмякло, и все стихло: душа саурана вылетела на волю, пролетела над дымным городом, над черными лесами, пролетела над заброшенными домами аула Керей, над окрестными полями, все ближе и ближе к Козловке.

Над Козловкой душа саурана обернулась бурым жеребенком, куцехвостым и длинноногим; снег сошел вдруг с полей, и жеребенок, подпрыгивая, взбрыкивая всеми четырьмя ногами, бодая головкой воздух, помчался по зеленой траве, очерчивая широкий, суматошный круг, а в середине этого круга стоял молодой, бригаголовый Назымбек, щелкал кнутом, скалил белые зубы и кричал в азарте: «Айда! Айда! Айда! Айг! Айг! Айг!»

И старики из аула Керей тоже были здесь. Они смотрели на жеребенка, пьяного детской шалой радостью, шурились, качали головами и говорили друг другу: «Сауран, а? Ешки бас, а?», что означало: козлиная голова, ибо, помимо черной по-

лосы по хребту, еще и этим — маленькой точеной головкой на крутой шее — издревле отличались легендарные степные скакуны саураны.

Вскоре Назымбек приехал к нам в гости. Они с отцом долго сидели за остывшим чаем, говорили о делах деревенских, о Буром, и говорили о нем так, как говорят старые казахи о человеке, который прожил много-много лет, вырастил детей и внуков, и счастье знал он, и горе, и вот, наконец, покинул юдоль скорби, этот мир, избавившись и от радостей его, и от печалей. «Не надо горевать, тамыр, — сурово утешали они друг друга. — Зато душа саурана теперь вольная, и никто уже не властен над ней».

1979-980



Александр Лозовский

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР

Роман

От автора

Некоторые писатели придумывают для своих героев страну. К примеру, глубокоуважаемый классик Уильям Фолкнер. Или очень любимый мною романтик Александр Грин. Я страну не придумывал, а просто вырезал из географии район, включающий город Одессу и Израиль. Это и есть ареал обитания моих героев.

Почему я выбрал и увязал именно эти точки на карте? Так получилось. Возможно потому, что я жил и живу попеременно то в Израиле, то в Одессе. Впрочем, я не мало лет прожил и в Москве, но ни один из моих героев не попадал туда даже проездом. Значит, дело не только в этом.

У одесситов и израильтян много общего? Не сказал бы. Только у той части, которая и в Израиле осталась одесситами — вы знаете, кого я имею в виду. Остальные не только не похожи, но скорее являются антиподами.

Общим для них является Юг, южный темперамент, темп жизни и яркие краски. Эта почва сама по себе уже содержит живые сюжеты, будоражит воображение. А уж напряжения и сложностей — впрочем, как и во всем мире — с избытком.

И еще одна, на мой взгляд, очень важная особенность. Одесса не самый большой и, признаемся, все-таки провинциальный город. Израиль тоже маленькая и достаточно провинциальная страна. Но, несмотря на это, о них знают повсюду. Поэтому есть надежда, что мои герои не окажутся непонятными чужаками — прекрасное начало для знакомства и сопереживания. Звучит банально, но мы все действительно в одной лодке.

Вместо вступления

Я очень надеялся, что в каюте на двух человек окажусь один. Денег и на эту хватило с трудом, а об одноместной и речи быть не могло. Возможности израильского репатрианта на социальном пособии по старости невелики. Но мне очень хотелось провести с удобствами почти четверо суток на комфортабельном судне, совершающем рейс Хайфа-Одесса, и вопреки логике, я до последней минуты надеялся, что второй пассажир не появится. Вся эта поездка в город моей юности была затеяна для того, чтобы успокоиться и сбросить проклятое напряжение...

Но второй пассажир все-таки появился вместе с небольшой сумкой и, как впоследствии оказалось, со своей занимательной и невероятной историей. Он оказался гражданином Украины, в Израиль ездил на экскурсию. Как он многозначительно сказал, по памятным местам. Я тогда намек не понял — много всяких мест в Израиле, в том числе и памятных.

Виктор Сергеевич был невысок ростом, около метра семидесяти сантиметров. Плотно. Круглое, загорелое, я бы даже сказал, цветущее лицо почти без морщин, хотя ему было, я думаю, лет шестьдесят.

Июль месяц, жара. Большую часть дня мы волей-неволей проводили в одних шортах, и Виктору Сергеевичу (к сожалению, в отличие от меня) стыдиться было нечего. Весь он был какой-то упругий, округлый и смотрелся вполне достойно. Тело почти без дряблости, разве что над поясницей иногда проглядывали два симметричных жировых валика, такой же признак старения мужского организма, как целлюлит у женщин. Я впоследствии заметил, что эти валики серьезно беспокоили моего соседа. По утрам он с особой тщательностью раскатывал их специальным приспособлением в виде набора роликов с хитро изогнутой ручкой. И вообще, он очень заботился о своей физической форме. Утром на час исчезал в фитнес-зале, возвращался энергичный и явно довольный собой. Затем десять-пятнадцать минут фырчал в душе, появлялся оттуда свежим и благоухающим. Лысина у него безусловно была, и довольно большая, но он ежедневно брил венчик оставшихся в живых волос, и гладкая блестящая загорелая голова несомненно молодила его, придавала современный и молодцеватый вид. Советую людям с солидной лысиной взять этот метод на вооружение.

Каждый раз он извинялся, что надолго занял душ, хотя уже на второе утро твердо знал, что я не поднимусь с постели ещё как минимум час. Я вставал только тогда, когда по радио приглашали первую смену к завтраку. Естественно у меня был вторая и то только потому, что третьей смены на корабле не было.

Виктор Сергеевич был приятным и явно неглупым человеком в хорошей форме и постоянно в отличном расположении духа. Что-то преподавал, это я знаю точно. В каком-то институте. Даже фамилию его не знаю, я не спрашивал, а он не говорил.

Что я запомнил, и что меня поразило — это его глаза. Они были черные, но какие-то прозрачные. Согласитесь, странное сочетание, и мое впечатление трудно описать и объяснить. Казалось, кто-то изнутри смотрит сквозь эти глаза, и видит что-то такое, чего нам, простым смертным видеть не положено. Может причиной такого эффекта были чрезмерно расширенные зрачки... Нет, не то.

Мне иногда, помню, приходили на ум другие глаза, но тоже какие-то странно прозрачные.

Незадолго до этой поездки я с группой журналистов побывал на собрании паствы церкви Иисусовой. Там было несколько человек, которые чудом спаслись от смерти, а некоторые из них уже побывали за чертой. Именно чудо возвращения к жизни — говорили они, рассказывая свои жутковатые истории — привело их в лоно этой церкви. Вот у них в глазах было нечто похожее. Я тогда ещё подумал, что встреча со смертью даром не проходит. Но Виктор Сергеевич был слишком полон жизни, чтобы подавать повод для подобных аналогий. Вот разве что только глаза...

Мой сосед был корректен, вежлив, не надоедал разговорами, так что можно сказать в этом смысле мне ещё повезло. Вначале особого контакта у нас не было, и в основном по моей вине. Я подолгу лежал в койке, или неподвижно сидел в кресле на палубе, бессмысленно уставясь в море. На его немногочисленные попытки завязать разговор отвечал односложно, короче говоря, давал понять, что единственное, в чем я нуждаюсь — тишина и одиночество. И сосед принял мои условия. Первые сутки плавания мы едва обменялись тремя предложениями.

Но на второй вечер Виктор Сергеевич не выдержал и предложил мне пойти на концерт в салон. Я после ужина уже расположился в койке и, естественно, вежливо, отказался. Виктор Сергеевич без особой надежды и нажима сказал, что так и жизнь пройдет. В ответ я проворчал, что-то вроде:

— Уже прошла. Да и была ли она вообще, эта жизнь...

На меня внимательно взглянули прозрачные глаза и у кого-то за ними, там внутри, появилось понимание. Я почему-то это почувствовал. И в этот момент Виктор Сергеевич удобно устроился в кресле напротив моей кровати и предложил:

— Александр Михайлович. Я догадываюсь, что вы не расположены вступать в беседу, и привык уважать чужие настроения. Но в таком случае наша поездка, согласитесь, будет выглядеть мрачновато. Но может быть, слушать вы захотите, особенно если мой рассказ покажется вам интересным? Тем более, интуиция мне подсказывает, что его сюжет в какой-то мере связан с вашими невеселыми размышлениями. А мне это будет совсем не в тягость: я давно хочу с кем-нибудь поделиться. Да и самому хочется послушать эту историю, даже в своем собственном исполнении. Хотя бы в своем. Я еще никому ничего не рассказывал. И знаете почему? После случившегося не хочу, чтобы возникли сомнения в моей нормальности. Боюсь, что и без моих откровений появились такие слухи. Я даже обследование проходил в психоневрологическом диспансере. Преподаватель должен быть в смысле психики вне подозрений не меньше, чем жена Цезаря. Он может быть тупицей, каких мало, но абсолютная психическая надежность не должна вызывать сомнений. А когда я попытался рассказать об этом близкому человеку, то она посмотрела на меня с такой тревогой и сочувствием, что я закаялся. И превратил все в шутку. Поэтому случайный попутчик — как справедливо и часто пишут в своих рассказах классики — самый лучший вариант для переполняющего меня желания освободиться от своей истории. Как у Марка Твена в рассказе "Режьте билеты". Помните?

Я помнил.

Он говорил грамотно, хорошо построенными фразами. Действительно чувствовался немалый опыт. Нет, Виктор Сергеевич определенно был человеком толковым и образованным.

Первая реакция моя на неожиданное предложение была негативной — я испугался длинной и тоскливой истории, а по долгу службы мне часто приходилось такое выслушивать. Но Виктор Сергеевич был наготове.

— Не бойтесь, я педагог со стажем. Я сразу почувствую, когда вам станет неинтересно, это у нас профессиональное. И в тот же момент торжественно клянусь немедленно прекратить рассказ.

Короче говоря, я завершаю преамбулу. С перерывами на еду и на сон, в каюте, на палубе и даже в шезлонгах возле бассейна Виктор Сергеевич рассказывал мне свою историю. Началась она прямо скажем невесело — оказывается, такое внимание своей физической форме Виктор Сергеевич уделял не из желания продлить молодость. Вопреки своему цветущему виду чуть больше года тому назад он перенес тяжелый инфаркт и даже четыре с половиной минуты находился в состоянии клинической смерти. То есть его глаза не лгали. Он был там, за чертой. Видел классический тоннель. В этом я ему, безусловно, верил. Но все дальнейшие события... Я не знал, как к этому относиться.

Теперь небольшое отступление. Я решил воспроизвести рассказ Виктора Сергеевича на бумаге только спустя два года со времени описываемой поездки, так что о свежести впечатлений говорить не приходится. Многие подробности стер-

лись из памяти. Поэтому мне придется допускать кое-какие вольности, например, приводить (в общем-то сочинять) диалоги и прямую речь, хотя как журналиста это меня определенно смущает. Моя профессия всегда требовала чужие слова воспроизводить педантично и точно по магнитофонной записи во избежание скандалов и даже судебных разбирательств. Но если не будет диалогов вы, избалованный современной литературой дорогой читатель, затоскуете на второй странице и захлопнете книгу. По-настоящему весь рассказ Виктора Сергеевича должен бы звучать от первого лица, но я решил первую короткую часть, в которой говорится о его жизни до произошедшего с ним случая все-таки рассказывать от своего имени. Не исключено, что кто-то узнает себя в описании, и в этом смысле изложение от автора более прилично. Тогда все, что я забуду, проверю или приукрашу, будет на моей совести. В этом мое оправдание перед рассказчиком, который уже ни на что не может повлиять. Просто я постараюсь не уходить далеко от первоисточника, то есть свободная форма при добросовестном, максимально правдивом содержании. Но всему последующему свидетелей нет, и я с чистой совестью передам слово самому герою, стараясь, чтобы мое влияние на сюжет было минимальным. Добавлю — насколько это возможно.

И еще. Поскольку я не являюсь участником событий, о себе писать ничего не буду, кроме самого необходимого. А необходимым является только одно — мое настроение и отношение к жизни в тот период. Согласитесь, интерпретация услышанного очень зависит от настроения и состояния слушателя. Вольно или невольно в пересказе будет слышаться мой голос.

И для того, чтобы вы могли сделать соответствующую корректировку, я "как честный человек" — говорят в пошлых анекдотах — должен рассказать правду о том, что этот слушатель — то есть я — представлял собой в тот период. В то лето я был в самом пике кризиса перзрелого возраста.

Когда говорят "переходный возраст" то имеют в виду подростки, со всеми их проблемами, связанными с половым созреванием. Есть ещё кризисы зрелого возраста. Книги, фильмы, ученые статьи — огромный массив информации посвящен этим темам. Но почему-то мало кого беспокоит (разумеется, кроме непосредственных участников) кризис перзрелого возраста, тоже связанный с половым, но, увы, увяданием. Согласитесь, не менее веская причина для кризиса, не говоря уже о прочих неприятностях. А ведь этот кризис по силе воздействия ничем не уступает тем, о которых так много говорят и пишут. Я догадываюсь, почему так происходит — просто люди нашего возраста уже мало интересуют общественность. Их почти списали...

Но это очень нелегкий момент, можете не сомневаться. Еще только вчера тебя называли немолодым человеком, некоторые злопыхатели даже пожилым. Бог с ними, к этому привыкаешь. И вдруг внезапно осознаешь, что не за горами день, когда произойдет превращение в... старика!

"Мои года — мое богатство", "золотой возраст" — это все риторика. Старик, старуха — обнаженная правда. Многие этого не хотят признавать, демонстрируют негибкость в одежде и манерах, что у окружающих чаще всего вызывает чувство неловкости и жалости. Но все равно шила в мешке не утаишь. Даже о бодром и жизнерадостном старичке говорят одобрительно: "Он не выглядит стариком". Что в сущности означает только одно: выглядит — не выглядит, а стариком является.

И когда человек осознает, что до этого статуса рукой подать, наступает кризис во всем мрачном величии этого слова. Надо выбирать другие ориентиры, другие цели. Другие способы наслаждения жизнью. В такой момент ясно представля-

ешь, что тебя ожидает. Пить-есть запретят врачи, увлекаться женщинами — возражает природа. Успехи в работе — это в лучшем случае подчеркнутое уважение окружающих к твоим сединам, ничего более. Путешествия могут быть только в комфортных условиях, а на это мало у кого хватает возможностей, да и с желанием не все обстоит благополучно... А нашествие болезней?

Можно для полноты картины добавить не исчезающее ни на мгновение сознание неизбежной смерти — в любой момент... Человек хоть и не думает, как правило, об этом, но знает. А не зря говорят: "Знание — сила". И какая непреодолимая сила заключена в этом знании! Не случайно, когда людей — особенно немолодых — спрашивают, что самое удивительное и замечательное в их жизни, они все, как один, радостно отвечают: "Прежде всего — это сама жизнь". Иначе говоря, они не перестают удивляться тому, что все ещё пребывают на этом свете. Дальше следует пауза в поисках дополнения, и чаще всего продолжение не следует. Ответ, если вдуматься, неконкретный и довольно уклончивый. "И лучше выдумать не мог".

Собственно говоря, многое из перечисленного уже стало реальностью сегодняшнего дня. Основной — и едва ли не единственной — целью отныне будет борьба за продолжение жизни, как правило путем отказа от того, что раньше составляло её прелесть. А дежурным тостом: главное — это здоровье.

Я постарался нагнать на вас беспросветную тоску, и, судя по всему, мне это удалось. Зато теперь вы представили себе мое состояние в то лето. У меня наступил кризис перзрелого возраста в очень тяжелой форме. Хандра, депрессия — слишком мягкие понятия для определения моих настроений. К этому добавилась лавина дополнительных неприятностей, обрушившихся на мою голову, бывают такие совпадения. Именно от этого кризиса я и пытался сбежать на судне, направлявшемся в Одессу.

О моих настроениях, надеюсь, вполне достаточно. Можно продолжать.

Виктор Сергеевич предложил другие условия игры. Словно подслушав мои мрачные мысли, в своем рассказе он убежденно и подробно доказывал мне, что реально существует возможность, которая мне казалась миражом. Возможность продолжения жизни после смерти, то есть реинкарнации. Или, говоря более понятным языком, некоего варианта перевоплощения. То есть, уже имея опыт прожитой жизни, даже получив кое-какое представление о будущей в новой ипостаси, человек может все начать заново, с чистого листа. А старую жизнь стереть из памяти бесследно. Не было её — и все. Должен вас предупредить — не нужно торопиться с выводами. Это не такое очевидное благодеяние. Одно дело абстрактно хотеть или не хотеть новой жизни, понимая, что это лишь мечты. А если все всерьез?

Знаете, о чем я думал, слушая рассказ Виктора Сергеевича? Представлял себе, что было бы, если бы мне сейчас реально — главное реально — предложили примерно ещё одну такую же жизнь, как моя. Такую, какую вероятней всего сможет выделиться мне судьба-лотерея. В чем-то чуть лучше нынешней, где-то чуть похуже.

Я бы согласился обречь себя на еще одну жизнь? Как оказалось жизнь длинную-длинную, хотя мы все время твердим, что она пролетела очень быстро. И к тому же... словом, вы не хуже меня знаете какую, у вас такая же. Не уверен. Вряд ли. И думаю, в этом я не оригинален. Меня и до нашего с Виктором Сергеевичем разговора, признаюсь честно, время от времени посещала очень горькая мысль: если бы меня до рождения — именно до рождения — поставили в известность о реальных составляющих жизни человека, я, возможно, отказался бы от этой не очень осмысленной и плохо продуманной затеи. Кое-что, безусловно, потерял бы, но зато скольких неприятностей и страданий избежал! Несравнимо больше, на по-

рядок! А после рождения выбора уже не остается. Властно вступает в свои права основной закон живой природы — инстинкт самосохранения, и ты сразу начинаешь борьбу за выживание, за место под солнцем, за здоровье, за...за...за... Впрочем, может этот скепсис тоже следствие кризиса перезрелого возраста?..

А как вам кажется?

Но мы об этом ещё поговорим чуть позже.

Мне было интересно узнать, как поступил Виктор Сергеевич. Почему оказался в будущем? Что он там увидел? Как опять очутился здесь?

И безусловный интерес вызвал описанный им, отличающийся от всего, о чем до сих пор я слышал, вариант реинкарнации. Не переселение душ и не возрождение человека в новой ипостаси, а временное — на несколько дней — присоединение сознания уже почти отошедшего в мир иной человека к его будущему воплощению для того, чтобы не исчез бесследно жизненный опыт. Как бы пробный опыт новой жизни. Своеобразная интеллектуальная связь поколений. Невольно напрашивается сравнение с прививкой, скажем, плодового дерева черенком или глазком, методом, хорошо известным всем садоводам. Вероятно наш главный "садовод" таким же способом пытается совершенствовать природу каждого отдельного человека, а вместе с тем и всего человечества. Идея хорошая, хотя иной раз сомнения в благотворных результатах селекции возникают. Человечество, особенно последнее время, дает для этого немало оснований... Но не буду отвлекаться.

Словом, была в рассказе Виктора Сергеевича рассказе определенная логика, была интрига.

Кстати сказать, он не слишком настаивал на доверии и заранее предупредил, что обижаться на мое ироническое отношение не будет. Любой, сказал он, на моем месте отнесся бы ко всей этой истории как к развлекательной байке. Но при этом видно было, что говорит он очень искренне и, во всяком случае, верит в то, о чем рассказывает. А когда вспоминал (или сочинял?) особенно печальные события своей одиссеи, то на глазах у него едва ли не появлялись слезы. Нет, так притворяться было невозможно. Другое дело, нормален ли был источник его убежденности...

Признаюсь, возможно под влиянием экзотической обстановки на корабле, особенно теплой ночью на палубе, под звездами средиземноморья, когда казалось, сказки Шехерезады вещь вполне возможная, я слушал его с интересом. Тем более, что рассказчиком Виктор Сергеевич был хорошим и убедительным. Он не пытался обобщать результаты своего краткосрочного визита в будущее, делать далеко идущие выводы. Нет, он просто рассказывал встречах с людьми и о своих впечатлениях. Но все равно трудно было относиться к этому всерьез. Не напрасно уважаемый Виктор Сергеевич решился рассказать все это случайному попутчику, слушателю, которого больше никогда не увидит. И все-таки, несмотря на естественные сомнения, благодарному слушателю. В то время моим настроениям вполне подошел бы эпиграф: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!"

Рассказ окончился тогда, когда на горизонте появился одесский маяк. Как раз вовремя. Рассказчик успел выложить все, что хотел, а слушатель был лишен возможности задавать вопросы. Я подозреваю, что так было задумано. Даже фамилию свою, как я уже говорил, Виктор Сергеевич не назвал, не говоря уже о координатах. Он, мне это было ясно, избегал будущих возможных контактов. Я не настаивал. Мы проявили взаимопонимание в этом вопросе, но на прощание наговорили друг другу много хороших слов. Вывод был единодушным — время в плавании провели отлично, мне было интересно, ему — полезно.

Когда корабль причаливал, мы, как и все пассажиры, вышли на палубу. Внизу на пирсе толпились встречающие. Я смотрел равнодушно — встречать меня было некому. Виктор Сергеевич искал кого-то глазами. Вдруг он встрепенулся и радостно замахал рукой. Молодая женщина, стоявшая чуть поодаль от толпы, помахала в ответ. Я засомневался — дочь или жена, подруга? Но спросить не решился, да и не успел. Виктор Сергеевич горячо пожал мне руку и умчался в каюту. За вещами. Спустя несколько минут слегка перегнувшись через перила я увидел его на нижней палубе. Он с сумкой в руках энергично пробирался поближе к выходу.

Больше я его не видел.

Прошло два года. Время от времени я вспоминал об этой поездке и о рассказе Виктора Сергеевича. Воспоминание это было каким-то ностальгическим. Нечто похожее на светлое огорчение далекого детства, когда я немного повзрослев понял, что добрые волшебники бывают только в сказках.

Сам я за эти годы уже прошел пик перезрелого возраста, но облегчение не наступило. Просто я стал привыкать и к такому состоянию. Человек ко всему привыкает, особенно, если нет другого выхода... Впрочем, как я уже говорил, речь не обо мне.

Но совершенно неожиданно последнее время стали поступать новости, которые волей-неволей заставили меня более активно и с подозрением вернуться к его истории. Впрочем, новости можно было считать простым совпадением. Я многократно убеждался в том, что в нашей жизни совпадения занимают огромное место. Их намного больше, чем мы можем себе вообразить. Но напрасно довольно часто многие ищут в простых совпадениях какой-то глубокий смысл.

Первый предупредительный звонок прозвучал месяц тому назад — на выборах четвертого ноября 2008-го года. Я вспомнил, что в каком-то контексте Виктор Сергеевич на пароходе упомянул: "Это было еще при черном президенте Соединенных Штатов". Я тогда не очень обратил на это внимание. Во многих голливудских фильмах мы видели негров президентов США, и особым пророком не нужно было быть, чтобы сообразить — это вполне может произойти в будущем. Может даже не таком уж по историческим меркам далеком. Но не в настоящем. Напомню, тогда было лето 2006 года, и о существовании Барака Обамы мало кто знал даже в Америке.

Я насторожился, но все-таки отнес появление черного президента США к разряду совпадений. Одно совпадение, даже такое внушительное, а главное, неожиданное ещё не могло быть основанием для доверия к фантастической истории Виктора Сергеевича. Но сомнения, пробудившиеся после победы Обамы, толкнули меня на прошлой неделе на смелый и неожиданный шаг. Без этого толчка, ничего подобного я бы не затеял.

Итак, ровно неделю тому я по заданию редакции пошел интервьюировать экстрасенса, который уверял, точнее уверяла — это была женщина, — что вернула к жизни пациента через четыре минуты после его клинической смерти. Пациент лежал на операционном столе в больнице, а она по просьбе его подруги вешала, внушала, словом шаманила по телефону из другого города. То что пациент действительно находился в состоянии клинической смерти редакция проверила. А чудеса исцеления вызывали большое сомнение. Меня ждало интервью, заведомо обреченное на провал. Но выбирать не приходилось, спасибо и на этом. В газете мои седины уже не слишком ценились. А деньги были нужны.

Свидание мне было назначено в квартире экстрасенса. Хозяйка оказалась не слишком красивой женщиной лет под сорок, одетой довольно прилично, но судя по окружающей нас обстановке во всем остальном она была основательной неряхой. К сожалению, это нередко случается с женщинами очень духовными и высокоинтеллектуальными, когда у них не хватает средств на обслуживающий персонал. Присутствовал и пострадавший — впрочем, точнее будет называть его спасенным — худощавый и малоэмоциональный человек лет пятидесяти, не слишком цветущей внешности. Он мало реагировал на меня и даже на свою спасительницу. Всем заправляла она сама. Но её рассказ был настолько шит белыми нитками, что я почти сразу перестал в него вникать. Тем более, что заинтересовало меня другое — я увидел странные прозрачные глаза спасенного. И конечно же вспомнил Виктора Сергеевича. Правда могло быть и более приземленное объяснение прозрачности глаз у тех, кто побывал в состоянии клинической смерти — остановка сердца, возможно, влияла на цвет радужной оболочки, а может и на роговицу. Но мне чудилось в этой особенности вернувшихся "оттуда" людей нечто более значительное.

Если бы не ни в чем не повинный Барак Обама, я бы не решился на авантюру. А так, как только хозяйка вышла заварить кофе, я смело направился к спасенному пострадавшему и драматическим шепотом сказал:

— Я тоже был там. Все семь дней. Почему вы вернулись?

И тут его меланхолично как корова языком слизала. Глаза загорелись, тело напряжилось. Я даже невольно испуганно подался назад. Он прошипел:

— Если у вас есть желание выглядеть идиотом, дело ваше. Я прослыть идиотом желания не имею. И ни о какой реинкарнации не знаю. Шли бы вы подобру-поздорову отсюда, папаша.

На "папашу" я почти не отреагировал — тоже мне юный отрок нашелся! Но его совету последовал. Когда хозяйка вернулась, я извинился, распрощался и ушел... подобру-поздорову. Тем более, что ключевое слово "реинкарнация" я от него услышал, хотя ничего в моем вопросе не могло натолкнуть на мысль об этом явлении. Только сопричастность к нему...

Два таких серьезных совпадения с моей точки зрения ещё не дают оснований утверждать, что реинкарнация в варианте Виктора Сергеевича существует. Но являются достаточно веской причиной, чтобы его рассказ был записан и издан. К чему я — как вы наверно заметили — уже приступил.

Начало

История Виктора Сергеевича началась очень обычно. Хотя и вся его жизнь тоже была обычной. Без особых приключений, без взлетов и падений. Жизнь как жизнь.

Он приехал в Одессу из небольшого украинского села. Поступил в один из местных институтов. Из такого же села приехала учиться его будущая жена. Они были одноклассниками и поженились на четвертом курсе. Их родители остались в своих родных краях.

Виктор Сергеевич с женой жили неплохо. Она преподавала в школе, он как вы уже знаете, в институте. Лет через десять после женитьбы приобрели приличную трехкомнатную кооперативную квартиру в местных Черемушках. У них роди-

лась дочь, которая в положенный срок вышла замуж за москвича и переехала в столицу, как потом оказалось, соседнего государства.

В назначенное им свыше время скончались родители Виктора Сергеевича и жены. Поездки на похороны, слезы — все как у всех. Жизнь чередуется со смертью, и пока все в пределах отведенных природой сроков, это обычные житейские драмы. Но к сожалению не все в нашей жизни логично и последовательно.

Жена Виктора Сергеевича довольно быстро и довольно рано начала полнеть. То ли обмен веществ, то ли — скорей всего — не могла удержаться от желания покушать. Последствия были предсказуемы. Виктор Сергеевич всегда держал себя в форме, в том числе и спортивной, и чего греха таить, стал время от времени забегать налево. Не слишком часто, так что это не превращалось в привычку. Но особых угрызений совести он не испытывал, и я тоже воздерживаюсь от осуждения.

Компании чаще всего образуются "по интересу". Жена Виктора Сергеевича, любила застолье, веселые сборища, и не случайно: её ближайшее окружение было настроено примерно так же. Выгнать её на концерт было довольно сложно; в отличие от Владимира Ильича из всех искусств для неё важнейшим являлся телевизор. Виктор Сергеевич значительно больше интересовался театром, музыкой, хорошей литературой, но жене не перечил и безропотно подключился к её интересам и компании. Таким образом, казалось ему, он искупает вину за не слишком большую семейную верность.

И вот обычное, не слишком оригинальное, но спокойное течение жизни было нарушено. Жена Виктора Сергеевича явно преждевременно — ей было всего 54 года — скончалась от инсульта. Но, судя по её комплекции и ярко розовым щекам, в этом случае больше подходило старое вышедшее из моды название "апоплексический удар".

Виктор Сергеевич остался один в своей ухоженной трехкомнатной квартире. Он нелегко перенес смерть жены и получил первое серьезное предупреждение. Сердечный приступ врачи определили как микроинфаркт и рекомендовали быть настороже. Впрочем, признаки болезни довольно быстро прошли — тело Виктора Сергеевича было для его возраста достаточно тренированным и в хорошей кондиции.

Связь с друзьями, которые скорее были друзьями его жены, довольно быстро прервалась естественным способом. Звонки в квартире раздавались все реже, приглашения тоже поступали только от случая к случаю. Неожиданно для себя Виктор Сергеевич оказался в одиночестве.

Наш герой вполне мог бы ещё раз жениться. По мнению старушек, дежуривших у лифта дома, он был ещё мужичек хоть куда. Но на его жизненном пути встретилась "соседка" (так её для конспирации именовал Виктор Сергеевич). Это была довольно приятная особа, которая жила в соседнем подъезде того же дома. Она была примерно его возраста, разведенная. То ли муж от неё ушел, то ли она его выгнала — важен результат. "Соседка" окончила музыкальное училище и работала аккомпаниатором в каком-то клубе — на пенсию прожить было невозможно.

У неё было две дочери. Замужняя старшая дочь жила отдельно, родила соседке внука и внучку, а младшая была в разводе и вернулась в квартиру к маме. К чему я об этом рассказываю? К тому, что съезжаться наши сожители не собирались.

У "соседки" хватало своих забот. По совковой привычке она считала своим первейшим долгом служение детям, даже уже ставшим взрослыми. Нужно было обслуживать и кормить младшую, внуки непрерывно по очереди болели, и безза-

ветная бабушка регулярно сидела с ними. Поэтому переехать к Виктору Сергеевичу она не могла. А может и не сильно хотела. Да и сам "жених" не очень этого добивался. Его все устраивало. Раза три в неделю она "забегала" к нему, а уж в субботу на ночь оставалась обязательно. Кроме того «соседка» готовила ему, помогала по хозяйству — хотя скорее помогал ей Виктор Сергеевич. Зато он в свою очередь привозил ей продукты на своей старенькой "Вольво". Как это по-научному называется — симбиоз?

Несмотря на непрерывные хлопоты, а может быть именно поэтому, «соседка» была в форме — довольно стройная и подтянутая. Правда лицо всегда выглядело немного усталым и, нужно признать, слегка увядшим, что в принципе свойственно бывшим советским, ныне постсоветским женщинам на их бесконечной трудовой вахте. Зато характер был хороший, не только мирный, но и заботливый. А это наверно самое важное для одинокого вдовца. Было у неё еще одно хорошее качество, о котором рассказал Виктор Сергеевич — не удержался.

Её очень легко было удовлетворить в постели, свойство не так уж часто встречающееся у современных женщин. Он это знал по личному опыту.

Секс она никак не называла, а особенно модным в наше время выражением: "Давай займемся любовью". Может полагала, что солидной женщине это говорить не к лицу. Или искренне не считала это любовью. Она просто говорила:

— Давай займемся, мне уже пора домой.

Займемся. И все.

Но зато она удовлетворялась каждые две-три минуты и делала это бурно, со стонами и вздохами, с нарастающим энтузиазмом. И не возражала против различных экзотических поз и способов, которые изобретала не слишком изощренная фантазия разгулявшегося вдовца. Правда, "соседка" не уставала повторять, что ей это все совершенно не нужно, и она с трудом преодолевает свои врожденные понятия о нравственности только ради Виктора Сергеевича. "Мужчины без этого не могут". Но вряд ли стоило слишком уж доверять этим утверждениям. К концу "занятий" она оставалась буквально без сил. А Виктору Сергеевичу все это безусловно льстило, он чувствовал себя половым гигантом. "Нам года не беда!" — не без самодовольства напевал он, когда соседка, усталая, но довольная уходила домой.

Словом, жаловаться на удобную и стабильную связь им и в голову не приходило. Оба были довольны. И оба считали — не без оснований — что время мечтать о большой любви уже безнадежно упущено. Но как известно, располагает не человек...

Нельзя сказать, что не было соблазнов. Например, на его работе сложился крепко спаянный мужской коллектив, по дороге домой, они частенько заглядывали в недорогое кафе по соседству. Но Виктор Сергеевич от приглашений сослуживцев решительно отказывался — он не был любителем подобного времяпрепровождения. Как видите, наш герой был человеком серьезным и нелегкомысленным, и "соседка" в этом тоже ему не уступала.

Виктора Сергеевича на работе ценили, были предложения и из других мест, с более высокой зарплатой. Но он был консервативен, к тому же для одинокого немолодого человека с квартирой и машиной, с не очень большими запросами денег на жизнь хватало. Они с "соседкой" даже ездили отдыхать в Карловы Вары, но его подруга за границей так волновалась из-за внука, который некстати в это время заболел, что поездку вполне можно было считать неудачной.

Опять-таки из-за консерватизма, наш бывший театрал потерял контакт с современными формами искусства. Бесконечный шоу бизнес и антрепризы у него восторга не вызывали. Он редко выбирался в свет, тем более что у "соседки" такой потребности, не говоря уже о возможностях, практически не было. Тоже своеобразная экономия. Оставался телевизор и книги.

Последние годы Виктор Сергеевич фактически оказался в стороне от бурных изменений в обществе. Его они почти не касались. Чтение лекций, личная жизнь, включая "соседку" — все как-то устоялось. Многим он просто не интересовался, за многим не успевал. Молодежь не очень понимал и смирился с этим. Стал сознать себя представителем старого и отживающего поколения. Впрочем, это ему не мешало.

Нередко на лекциях, взгляды в лица студентов, он пытался понять, о чем они думают, к чему стремятся, к какой цели идут? А может быть, их просто уносит бурный поток современной жизни? Куда? Что их ожидает? В каком-то смысле ему было легче, чем им, во всяком случае, спокойнее. Виктор Сергеевич уже стоял на якоре в тихой гавани, туда штормы и шквалы почти не доходили. Правда время от времени он все-таки чувствовал какое-то усыпляющее однообразие, но смотрел на вещи реально: в последней четверти отпущенного ему свыше срока — так он определял свой нынешний статус — спокойствие и стабильность намного важнее лобых острых ощущений. Он был доволен такой жизнью (а может смирился с ней) и не искал приключений.

Но однажды приключения нашли его. И с этого момента на однообразие Виктору Сергеевичу жаловаться не пришлось.

В литературе большое чувство называют счастьем. Как-то принято считать, что рано или поздно оно неотвратимо настигает человека. Не уверен. Я лично знаю многих людей, которые всю жизнь обходятся в лучшем случае очень умеренной любовью, а то и просто привычкой. И вполне довольны. А, кроме того, всему свое время. Для Виктора Сергеевича внезапно нахлынувшие страсти оказались страшнейшим испытанием, обрушившимся на старости лет на его голову. "Напасть какая-то", — иначе он свое новое состояние не называл.

Вечером 23 февраля 2005-го года Виктор Сергеевич в своем родном коллективе отмечал полузабытый день Советской армии. Теперь он считался праздником мужчин, в том числе и невоеннообязанных. Иницировал это празднование тот крепко спаянный мужской коллектив, о котором я уже упоминал. Как сказала заведующая кафедрой, немолодая, полная и серьезная женщина: "Им главное повод". В ответ послышались обиженные доводы: "Скоро восьмое марта, это всенародный праздник. В наш век эмансипации мы на такое уважение даже не претендуем, но скромно отметить присутствие мужчин на этом свете было бы не лишним".

Вышеупомянутая инициативная крепко спаянная группа взяла организацию вечера в свои руки, поэтому выпивки оказалось на удивление много, а закуски на удивление мало. И коллектив, традиционно избегающий чрезмерных возлияний, на этот раз неожиданно для себя "набрался" очень прилично. Все без исключения. Даже те, кому это было запрещено медициной. Даже страдающая гипертонией серьезная заведующая кафедрой. Таково влияние коллектива, который может увлечь за собой любого и в любом направлении.

За столом у каждого было свое привычное место. Виктор Сергеевич, как обычно, сидел рядом со своей "сотрудницей", которая недолго в его рассказе проходила под этой конспиративным именем. Вскоре он раскололся — звали её Мариной.

Виктор Сергеевич покровительствовал Марине еще с тех пор, когда она была студенткой их института. Затем приложил определенные усилия, чтобы она осталась на кафедре. Впрочем, у неё для этого были все основания — отличная учеба, активная общественная работа. Но и протекция со стороны не последнего человека на кафедре и в институте тоже была не лишней. Причина внимания Виктора Сергеевича была основательной — он приехал в Одессу из того же села, что и родители Марины. Домами они не дружили, не были в одной компании, но вполне могли считаться не только земляками, а и просто хорошими знакомыми. Виктор Сергеевич даже был безнадежно влюблен в восьмом классе в маму Марины, но та училась уже в десятом, считалась признанной первой красавицей школы и на него внимания не обращала.

Может быть из-за былой влюбленности Виктор Сергеевич благоволил к Марине совершенно бескорыстно, без задних мыслей, хотя по мнению некоторых сплетников, намерения его были не совсем безгрешными. Основания у сплетников были — относиться к этой девушке только альтруистически было действительно не просто.

Во время учебы за Мариной с первого курса закрепилось прозвище Мальвина, и не только из-за созвучия с именем очаровательной куклы из "Золотого ключика". Почему так прозвали? Судите сами.

Длинные и пышные белокурые волосы, большие, очень большие синие с длинными черными ресницами глаза. Овал лица скорее круглый, чем продолговатый. Всегда свежие, но не слишком румяные щеки с ямочками. Нос немного, совсем чуть-чуть курносый. Может быть только губы не кукольные, а какие-то по-детски пухлые. Фигурка точеная, а о её походке Виктор Сергеевич говорил с особым вдохновением. Она не раскачивала бедра справа налево и слева направо, как это делают модели на подиуме или спортсмены на соревнованиях по спортивной ходьбе (сравнение Виктора Сергеевича). Но оказывается, когда красивые женские формы, те о которых мы сейчас говорим, по очереди перемещаются при ходьбе вверх-вниз, вверх-вниз, то это радует глаз никак не меньше, а выглядит в то же время строго и не вызывающе.

Но где-то на втором курсе Мальвина стала взрослеть и осовремениваться. Появилась короткая стрижка, ажурные цветные платья сменил современный брючный ансамбль в сочетании со свитером или кофточкой чаще всего голубых оттенков — под цвет глаз. Лицо приобрело менее наивное и доверчивое выражение. Безмятежность уступила место деловитости. Но душевная и внешняя красота Мальвины — по мнению явно пристрастного Виктора Сергеевича — оставалась неизменной. Не исчезала и таящаяся в уголках губ и глаз готовность улыбнуться навстречу любой доброжелательности.

За прошедшие после окончания института семнадцать лет Марина стала солидным и уважаемым преподавателем, который в покровительстве уже не нуждался. И все-таки патерналистские отношения у них с Виктором Сергеевичем по старинке сохранялись. Он ей — Марина и ты, она — по имени отчеству и на вы.

Оба использовали любую возможность, чтобы переброситься несколькими словами, и на многое в этом мире смотрели одинаково. Каждый их разговор обязательно заканчивался стандартно: "Маме привет". Только маме — отец Марины давно ушел из семьи. С первыми красавицами такое нередко случается.

После смерти жены Виктор Сергеевич старался как можно реже встречаться со своей первой любовью. Ему иногда казалось, что та не станет возражать, если

он предложит ей удочерить Марину. Вроде бы прозвучало парочку прямых намеков. А впрочем, возможно только показалось, но береженого и бог бережет...

Виктор Сергеевич на правах старого друга был более-менее в курсе домашних проблем Марины. Дети у неё были очень хорошие, воспитанные — мальчик тринадцати и девочка десяти лет. А вот с мужем время от времени возникали проблемы. Он был высоким, красивым и способным, может даже талантливым. В литературе и вообще в искусстве такие признаки определенно указывают — от этого персонажа жди беды. Это скорей всего персонаж отрицательный. Иногда и в жизни такое тоже происходит. Но в данном случае это было верно только отчасти. Муж Марины оказался не то чтобы плохим человеком, а — как бы это поточнее выразиться — нестабильным. Да, именно нестабильным. Это будет правильное определение. И согласно Фрейд, причины гнездились в его детстве.

Он был сыном генеральши. Его отец тоже имел к этому званию прямое отношение, поскольку был самым что ни на есть настоящим генералом. Но только у себя на службе. Дома он был в лучшем случае рядовым. Мужчины — отец и сын — на равных подвергались муштре в прямом и переносном смысле. И результат: воспитанный в духе казарменного матриархата, сын — а ныне муж — стал не слишком волевым человеком, скорее слабохарактерным. Так довольно часто в жизни бывает. Вы это знаете. Он не мог противиться соблазнам, не мог при необходимости наступить на горло собственной песне... Не раз и не два муж Марины менял работу, чуть только там даже в отдалении предвиделись трудности или неприятности. Пока его выручали несомненные способности, ему относительно легко удавалось находить новое место. Но, как я уже говорил, с такой же легкостью он это место терял. Сколько времени везение могло продолжаться? Кроме того он не мог противостоять поступающим в большом количестве авансам и предложениям со стороны женщины, что вполне естественно при таких внешних данных. Время от времени он сначала грешил, а потом каялся. Словом, чувствовать себя за ним, как за каменной стеной Марина не могла.

К этому времени назрел еще более серьезный конфликт. Умер генерал. Све-кровь, с которой Марина, понятно, не ладила, осталась одна в большой и красивой квартире в центре Киева. Она потребовала — просить органически не могла — чтобы любимый сын и любимые внуки жили с ней. И их жена и мать в качестве неизбежного приложения. Марина даже слышать об этом не хотела. Разразилась настоящая война, тайная и явная. Глава семьи ужом вертелся между женой и матерью.

И вот под вечер в среду двадцать третьего февраля две тысячи пятого года поспыпались одно за другим совпадения — а я уже предупреждал, что в реальной жизни они возникают гораздо чаще, чем мы думаем.

Сидя за праздничным столом, сразу же после первого тоста, Марина потихоньку пошпакалась в жилетку Виктору Сергеевичу — муж с детьми сегодня утром укатил в Киев. День рождения генеральши совпадал с днем рождения Советской армии (а как могло быть иначе?). И любимая свекровь прямым текстом передала через любящего сына, что если Марина очень занята на работе, то она её поймет и простит. Марина подтвердила, что занята ужасно, поехать не может, но настроение у неё было препоганое. В результате пара лишних рюмок за беззакусочным столом проскочила незаметно. Эти лишние рюмки разрушили естественную линию обороны, и за ними последовало несколько раз "по чуть-чуть", что, каждый знает, является самым опасным за праздничным столом для нетренированного человека.

Градусы все новых тостов подогревали обстановку. Беседа постепенно превращалась в дружный хор, где каждый вел свою партию одновременно с остальными. Децибелы росли, как на дрожжах. Но даже в этом хоре стал слышен голос Марины. Она говорила непривычно громко, размахивала руками, пару раз даже основательно стукнула по столу, требуя внимания. Она буквально покатывалась со смеху в ответ на любую дешевую остроу собутыльников. Это было совершенно на неё не похоже. Стиль Марины был — по уверению Виктора Сергеевича — мягкий, сдержанный. Могли бы вы представить себе Мальвину из сказки Толстого, перекрывающую всех вокруг и ожесточенно размахивающую руками? Марина определено была сама не своя.

Такое поведение обеспокоило её соседа и куратора. Он даже старался незаметно отобрать у неё рюмку. Но после очередного тоста и сам утратил бдительность. Веселье тем временем разгоралось не на шутку, а в бутылках ещё оставалось много горячего.

И тогда заведующая кафедрой тихонько попросила Виктора Сергеевича воспользоваться своим авторитетом и пока не поздно завершить торжества. Виктор Сергеевич был, как я уже говорил, игриво настроен. Он сложил руки рупором, и, подражая объявлениям по радио на пляже, прокричал:

— Господа, вы нарушили границу заплыва. Немедленно вернитесь!

Это вызвало общий хохот, Марина едва не сползла со стула. Виктор Сергеевич был польщён неожиданным успехом немудрящей шутки.

Женщины стали убирать со стола, а крепко спянный мужской коллектив быстро собрал в сумку недопитое и по-английски — не прощаясь — удалился, скорей всего в направлении ближайшего кафе.

Марина пыталась участвовать в уборке, но у нее это плохо получалось. Заведующая кафедрой тихонько попросила Виктора Сергеевича присмотреть за ней.

— Наверно, что-то случилось, я её такой никогда не видела.

— Я тоже. Обязательно провожу, не беспокойтесь.

Виктор Сергеевич помог Марине надеть курточку, подхватил её под руку и вывел на улицу. Их походка, хоть в этом неловко признаться, была не слишком твердой и уверенной. Марина окинула окружающую среду каким-то игривым и вызывающим взглядом.

— Мне еще никогда в жизни не было так легко и весело!

Виктор Сергеевич, несмотря на гул в голове и легкое покачивание, успел подумать, что если бы Марине сейчас попался под руку кто-то достойный или хотя бы привлекательный, то она с удовольствием наставила бы мужу рога. Не задумываясь.

— И поделом!

— Что вы сказали?

— Нет, ничего, Марина, это я так.

К чести Виктора Сергеевича нужно сказать, что он себя в этот момент на роль кандидата даже мысленно не выдвигал.

Машину он утром оставил возле дома, предвидя результаты празднования. А тем временем стечение обстоятельств продолжалось. Обесточенный трамвай сиротливо и без признаков жизни стоял посреди улицы, так и не доехав до остановки, где толпился народ. Стоял наверно давно — людей скопилось много.

— Виктор Сергеевич, давайте пешком. Нужно разветься. Я утром слушала прогноз. Погода хорошая, без осадков. Солнечная!

И она подняла руки к небу, как бы подтверждая прекрасные результаты прекрасного прогноза. На улице, правда, уже давно было темно, но Марину сейчас такие несоответствия не смущали.

Им было по пути. Всего минут сорок ходьбы. Дом Виктора Сергеевича по дороге был первым, её чуть подальше. В одном районе.

Марина взяла Виктора Сергеевича под руку, и они довольно бодро, почти не отклоняясь от прямолинейного равномерного движения, зашагали к намеченной цели. Говорила в основном Марина, видимо шутила, потому что почти каждое предложение завершалось приступами смеха. К концу пути Виктор Сергеевич стал понемногу приходить в себя и почувствовал, что на улице довольно прохладно. И ветрено.

— Марина, а ведь не жарко. Конечно, когда мы выплыли на улицу под парами, было не заметно...

— Под парами, ох, не могу. Как два парохода... Под парами...

Смеха хватило еще на полквартила.

Они были примерно в сотне метров от парадной Виктора Сергеевича. Шли вдоль длинного здания института, безмолвного, закрытого на ночь. И внезапно хлынул не дождь, а настоящий ливень. Потоп. В феврале. (В Одессе такое редко, но бывает). Вопреки прогнозу. В виде исключения из правил. В виде стечения обстоятельств. Или совпадения. Считайте как хотите. Когда они заскочили в парадную Виктора Сергеевича, на них сухого места не было. Оба без головных уборов, короткие модные курточки. Насквозь мокрые брюки приняли форму ног. Ручьями стекала вода. Оба дрожали и лязгали зубами. Но трезвость не наступала, для возвращения трезвости кроме ситуации форс-мажор требуется еще и время.

— Бегом, ко мне домой. Немедленно согреться и переодеться. По курсу пароходов маячит воспаление легких.

Марина попыталась ответить на шутку смехом, но получилось жалкое всхлипывание.

— Ладно. Пошли. Меня никто не ждет. Дома дети не плачут...

Как бывает в таком состоянии, от бесшабашного веселья до жалости к себе рукой подать. Особенно в мокром и холодном виде...

Они вбежали в квартиру. Марина была иссиня-бледной, тело её сотрясала крупная дрожь.

Виктор Сергеевич втолкнул её в ванную.

— Раздевайся, становись под горячий душ. Сейчас принесу полотенце и что-нибудь переодеться.

Марина не слишком твердо держалась на ногах, не слишком уверенно забралась в массивную мраморную ванну, над которой был душ, и Виктор Сергеевич испугался, что она поскользнется, упадет и ударится. Это могло кончиться плохо. На памяти у него был такой печальный случай с одним нетрезвым родственником. Её нужно было страховать, и при этом не смотреть, куда не положено. Правда, она стояла под душем в белье, но эти современные трусики оптически полностью растворялись в воде. Он принес огромное полотенце, выключил душ, укутал её. Не было тапочек, он легко взял её на руки, перенес в спальню. Уложил в постель. Накрыл теплым одеялом.

— А теперь снимай все и давай мне...

Марина пыталась ответить, но у неё зуб на зуб не попадал. Что было делать? Виктор Сергеевич растерялся. Его тоже трясло — вот уже несколько минут мокрый насквозь он метался по квартире, исполняя свой долг хозяина.

— Извини, я сейчас.

Он заскочил в ванную, вытерся, переделся — надел свой домашний спортивный костюм с лампасами. Вернулся к Марине — ситуация не изменилась. Оба дрожали в унисон. И Виктор Сергеевич не смог придумать ничего лучше, чем налить ей и себе ещё по солидной порции коньяка.

Ему коньяк помог, а Марина все еще не могла отогреться...

Давайте не будем затягивать то, что давно уже всем очевидно. Но инициативу проявила она...

Последняя цепочка мыслей, которая появилась у Виктора Сергеевича перед тем, как он провалился в бездну, была примерно такой. Неужели он способен воспользоваться тем, что Марина сейчас не владеет собой? Ведь это настоящая подлость! Она ему этого никогда не простит. Да и он тоже, как он будет с этим жить дальше? Их почти родственные отношения разрушатся навсегда. Он внезапно осознал — оказалось, Марина уже давно стала в его повседневной жизни самым близким и нужным человеком. Как он будет без её дружбы, без почти ежедневных немногословных, но теплых разговоров, без привычной заботы о ней? Дочь живет в далекой — по нынешним временам — Москве, а "соседка"... да что там говорить, она и есть соседка.

Возможно, если бы Марина не притянула его к себе, он бы удержался...

Виктор Сергеевич был серьезным и уравновешенным человеком, он наверняка намеревался об этом событии рассказать коротко и корректно. Но в тот момент обстановка способствовала раскрепощению. Был вечер, мы сидели на пустынной палубе в легких удобных креслах, между нами на полу стояла полураспитая бутылка коньяка, в одной руке у каждого бокал, в другой яблоко. Чудесная погода и опять-таки звездное небо средиземноморья. Мне кажется, он временами забывал о моем присутствии и просто предавался воспоминаниям вслух. Конечно, ни о каких деталях и речи быть не могло, любителям клубнички придется разочароваться. Но все-таки чувства у него брали верх над сдержанностью.

Он откинулся в кресле, запрокинул голову к звездам и заговорил так тихо, что я с трудом улавливал сказанное. Может даже в результате немного нафантазировал. Но мне кажется, это его слова. Именно так он говорил. С небом.

— Я, наконец, по-настоящему понял, какое огромное различие между ощущением блаженства и, скажем, наслаждением. Наслаждение раньше бывало и у меня, грешного, чаще на стороне, чем в семье. Но блаженство совсем другая категория. Напрасно это слово истрепали все, в том числе и поэты. Если бы не Марина, я бы тоже оказался в числе тех — а их большинство — которые понятия не имеют, что это означает. Конечно у нас был и секс, фетиш нынешних времен. Но это оказалось только одной составляющей, не больше и не важнее всех прочих.

Он стал говорить еще тише и еще неразборчивей, ветер до меня доносил только обрывки фраз. Переспрашивать, как вы понимаете, было слишком бестактно.

— Мы крепко обнялись, и не отпускали друг друга до утра... Говорят, что между любящими должна быть химия. Я чувствовал не только химию, но и физику, и биологию, и высшую математику... Две души и два тела стали одним. Вот что с нами происходило... Я без слов понимал, что Марина чувствует то же самое. В такие минуты слова не нужны... Мы уснули, когда начало светать. Обнявшись. И проснулись также. А ещё говорят, что в обнимку спать неудобно. Руки затекают, тело... Что они понимают!.. И я ни разу не вспомнил ни о её муже, ни о своей вине...

Тут он спохватился и вернулся на землю.

— Простите, увлекся.

И продолжил рассказ уже спокойней и громче.

Разбудила его Марина. Виктор Сергеевич не сразу осознал, что прошедшее не было сном. Он попытался что-то сказать, объяснить, но Марина прижала ладошку к его губам.

— Ни слова, о друг мой, ни вдоха. Впрочем, вздыхать можешь. Но без слов. И лучше дай что-нибудь надеть. Где утюг и гладильная доска. Есть такая? Мне на работу к девяти.

Она легко и без напряжения перешла на ты. Как будто это было делом привычным. И правильно сделала. Было бы очень неловко, если бы она продолжала ему "выкать". Как в старом анекдоте — "секс еще не повод для знакомства".

Виктор Сергеевич подобрал ей самую длинную и красивую рубашку из своих не слишком богатых запасов. Для рубашки на Марине она была достаточно длинна, но в качестве платья на Марине не дотягивала даже до самой короткой мини. В ней она выглядела очень соблазнительно и современно. Как в голливудском фильме. Утро после ночи любви. Виктор Сергеевич в лыжном костюме с лампасами немного не вписывался в этот фильм. Он и сам это сознавал. Но на самокритику не было времени. Нужно было жарить яичницу и варить кофе на завтрак.

Марина тем временем гладила свою одежду, почти высохшую за ночь. Между прочим — с удовольствием отметил Виктор Сергеевич — прихватила и его костюм.

Она безусловно заметила следы пребывания женщины в доме и усмехнулась довольно ехидно. Он ответил ей взглядом, который без слов говорит: "А у тебя есть муж".

— Ладно, проехали, — подвела итог Марина.

Сели за стол. Виктор Сергеевич заметил, что Марина выглядит на удивление свежей и отдохнувший. Как будто не было перегрузок за праздничным столом, а потом почти бессонной ночи. Определенно — подумал он — женщины намного выносливее мужчин. И с горечью добавил — а некоторые и значительно моложе.

Во всяком случае никаких признаков душевной борьбы и сомнений он в ней не заметил. Ему даже почудилась в её настроении какая-то умиротворенность. Может быть напрасны и преувеличены его страхи, может этот эпизод не грозит ей плохими последствиями? Другое дело, если он попытается сделать его не просто эпизодом. Двадцать два года разницы в возрасте — это целое поколение. А он не был ни олигархом, ни знаменитостью, чтобы компенсировать такой разрыв. Он окинул взглядом свой спортивный костюм. С лампасами. Н-да.

Молчать было больше невозможно. И Виктор Сергеевич тут же выложил эту пришедшую ему в голову мысль. Не сомневаюсь, это был не самый лучший вариант. В решающий момент ни в коем случае нельзя говорить первое, что пришло на ум.

— Для меня главное, чтобы тебе было хорошо. Ты это знаешь. Но самое худшее, что я могу сделать, это попытаться навесить на тебя хромую утку.

— Какую утку?

— Так американцы говорят о президенте, который отработал свой срок. И мало что может сделать. Они называют его хромой уткой...

— Ты себя имеешь в виду? Не хочешь навешивать? Ясно.

Марина внимательно посмотрела на него. Глаза синие, синие до черноты. Огромные.

— Нет, погоди, ты пойми меня правильно...

Но и эту попытку объясниться Марина прекратила таким же способом, как это сделала утром. Способ приятный, но ситуация от этого яснее не становилась. Виктор Сергеевич поцеловал теплую ладошку и замолчал.

— Все бегу, — Марина вскочила, стала одеваться.

— Я останусь, мне сегодня к двенадцати.

— Пока.

— Когда мы сможем поговорить?

— Другой раз. Завтра.

— А будет у нас это "завтра"?..

Ответа он не услышал.

Она на ходу поцеловала его — поцеловала в губы — и исчезла.

Виктор Сергеевич остался стоять — по его собственному выражению — дурак дураком.

Не больше часа понадобилось ему, чтобы понять, что с этого момента жизнь его изменилась окончательно и бесповоротно. Он просто задыхался от мысли, что потерял Марину. За какой-нибудь час соскучился так, "как будто с ней век не видался". А сердце болело, как у ямщика в этой известной русской народной песне.

И тогда впервые со вчерашнего вечера он подумал не о том, что будет с Мариной, а что будет с ним. В худшем случае нынешний эпизод — он продолжал так мысленно именовать прошедшую ночь — подтолкнет её к разводу с флюгерообразным мужем. Это сердце ей не разобьет, давно пора уйти от него. Молодая, умная, красивая, чудная женщина — тут Виктор Сергеевич печально вздохнул — она найдет свое счастье. А для него ситуация может оказаться просто угрожающей, если он не возьмет себя в руки.

Вся прошедшая жизнь, которая раньше казалась ему самой обычной и нормальной, даже неплохой, после этой ночи стала выглядеть просто ужасно. Унылая, невыразительная. Беспросветная. Зачем она такая бессмысленная была ему нужна? А о последующем, заключительном этапе — без Марины — даже думать не хотелось. Его ожидала каторга, может многолетняя, которую следовало отбыть. И при этом не выглядеть несчастным, вести себя вполне достойно. Наш Виктор Сергеевич был человеком самодовольным и не хотел вызывать чувство жалости у окружающих.

Неужели так может быть, неужели одна ночь так может изменить жизнь человека? Даже ночь с прекрасной молодой женщиной? Можно так безнадежно и с точки зрения здравого смысла глупо влюбиться за несколько часов? В жизни, а не в дамском любовном романе?

Нет, наверно это было не совсем так. Наверно он все время её любил, но не считал такое возможным даже в глубине подсознания. Когда со всех точек зрения — в том числе и моральной, тоже немаловажный аспект — что-то абсолютно недопустимо, то полный запрет безоговорочно действует. Каждый из нас это знает. У каждого из нас есть табу, дальше которого мы и в мыслях не заходим. Есть вещи, которые мы не позволяем себе даже желать. Исключением являются люди совершенно раскованные, к счастью таких пока меньшинство...

Но когда волею судьбы и совпадений несбыточное стало возможным, плотину прорвало. Его любовь к ней как к близкому человеку слилась с любовью к женщине. Образовалось море. И он понял, насколько одинок был всю свою жизнь. Так одинок, как многие из нас, кому не выпал шанс соединить большую любовь к человеку с ещё большей любовью к женщине.

Но выделено было ему этой любви только на одну ночь. И не больше.

Он бесцельно бродил по квартире. Пытался взять себя в руки. Но мысли тисками сжимали голову, молотом стучали в висках. Душили. Все сильнее болело сердце. Наконец Виктор Сергеевич сообразил, что виноваты не только мысли и чувства. Он измерил температуру. Так и есть, тридцать восемь и семь. В его возрасте нельзя долго слоняться по квартире даже из самых благих соображений в насквозь мокрым костюме.

Он позвонил своему участковому врачу, старой многолетней знакомой. Та обещала прийти после обеда. Потом связался с заведующей кафедрой, сообщил о случившемся и попросил его заменить. Улегся в кровать. Чувствовал себя все хуже и хуже. Хотел по привычке позвонить "соседке", но испуганно отдернул руку. Только не это...

Врач действительно вскоре появилась, внимательно его осмотрела, прослушала и определила — воспаление легких. Вне всяких сомнений, ясно и без рентгена. Прописала пиполо и уколы, сказала, что все передаст "соседке" — она была в курсе дел не только Виктора Сергеевича, но и всего многоквартирного дома.

— Я сестру присылать не буду. У вас под боком есть личный мастер на все руки, она отлично делает уколы.

И врачиха игриво кулачком ткнула больного.

Через час с лекарствами, молоком и какими-то баночками "соседка" была на своем посту. Судя по сумке с вещами, она явно уходит в ближайšie дни не собиралась. У неё действительно был хороший и заботливый характер, что совсем недавно одинокий вдовец считал самым важным. Сейчас он в этом уже сомневался.

Как боялся и в то же время надеялся Виктор Сергеевич, к вечеру позвонила Марина. Голос у неё был по-настоящему взволнованный. Он рассказал о воспалении легких. О температуре, которая уже была почти тридцать девять. Она сказала, что обязательно... Но тут появилась с подносом, на котором были шприцы, "соседка", наклонилась к нему и громко сказала:

— Витяня, снимай трусы, подставляй зад. Будем делать укол.

Марина положила трубку. У Виктора Сергеевича все попыло перед глазами.

Воспаление легких было тяжелым, добавился плеврит. Дело затягивалось. Марина больше не подавала признаков жизни. Он несколько раз пытался звонить по мобильному — она трубку не брала. Звонил пару раз домой — отвечал муж, который снова не работал и добросовестно сидел дома. Виктор Сергеевич пытался убедить себя, что так даже лучше. Он должен перестать набиваться. Тем более что хромая утка ещё дополнительно охромела. Уговоры помогали плохо.

Когда через две недели, еще не полностью оправившийся и заметно побледневший, он вышел на работу, то узнал, что Марина уволилась и вместе с семьей переехала к свекрови в Киев.

— Как, вы не знали об этом? Вы же так с ней дружили...

Это было в начале марта. Два месяца прошли в депрессии, в попытках справиться с собой. Спортом он заниматься перестал. О сексе с соседкой даже думать не мог. Вас наверно удивит, но эта безусловно добросердечная женщина тем не менее перестала подолгу проводить у него время, тем более оставаясь на ночь — какой смысл? Ей уже не приходилось бороться с врожденными понятиями о нравственности. Потом и днем стала появляться все реже. Может Виктор Сергеевич слишком разбаловал её раньше? Может дело в этом? Впрочем, чужая, а тем более женская душа и в возрасте шестидесяти лет все равно потёмки. Виктор Сергеевич не протестовал.

Он стал после работы присоединяться к крепко спяющему мужскому коллективу. Сначала изредка. Потом все чаще.

Однажды краем уха услышал, что кто-то встречал детей Марины в городе. Может быть, они вернулись в Одессу? Он не расспрашивал, не уточнял.

А пятнадцатого мая прямо на лекции случился у него инфаркт.

Скорей всего, если бы не история с Мариной, у него бы инфаркта не было. Да, но тогда у него бы не было Марины...

Передаю слово Виктору Сергеевичу.

Рейнкарнация

Меир

Сознание время от времени возвращалось ко мне. В скорой помощи, в приемном покое. Последний раз я очнулся на операционном столе и увидел склоненную надо мной голову врача в белой марлевой маске. И вдруг не просто потерял сознание, а почувствовал какое-то качественное изменение состояния. Что-то в моем организме выключилось. И ощущение самого организма исчезло. Сразу же после этого я увидел мчащийся навстречу знаменитый тоннель, освещенный длинными, уходящими в бесконечность какими-то холодными флюоресцирующим и осветителями. Я понял — это смерть.

Полет продолжался долго, сознание заволакивал ужас. Но мысли были вполне разумными и отчетливыми. Только мысли, тела не было. Я даже пытался подшучивать над собой: от такого представления вполне можно получить инфаркт... если бы у меня было сердце. Я тогда не знал, что инфаркт уже был.

Вдруг тоннель, полет, освещение — все исчезло. Наступила темнота, но не полная. Как бывает, когда закрываешь глаза при свете. Какие-то блуждающие слабые цветовые пятна. И снова появилось ощущение тела. Неужели вернулся к жизни? Я попробовал открыть глаза, пошевелиться — ни малейшего результата. Неужели инсульт? Полная неподвижность? Или кома?..

Неожиданно, как по команде страх исчез, и постепенно в сознании стала всплывать твердая уверенность, что я присоединился к чему-то или к кому-то. Источник этих мыслей назвать не могу, но если вы хотите узнать продолжение этой истории, то должны хотя бы временно принять мой рассказ на веру. Как с полным доверием принял эту неизвестно откуда появившуюся информацию я. А пока удивлялся тому, насколько четким и незамутненным было мое сознание. И память, такая ясная, как будто жизнь и не прерывалась.

К сожалению или к счастью, трудно сказать, но память о прошлом — таково свойство человека — тут же дала о себе знать. Я перестал задавать себе вопросы, прогнозировать будущее. Что будет, то и будет. Народ говорит: "Ничего хуже смерти быть не может", а она уже произошла. Но боль от потери прошлого и, прежде всего Марины, не только не отпускала, но становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее. Теперь я даже увидеть её не смогу. Как глупо я поступал, ведь жизнь — когда она еще была — давала шанс встретиться с нею. Я только теперь с особой ясностью осознал, что при жизни любые надежды могут осуществиться. Можно было хотя бы постараться восстановить отношения. Простые человеческие отношения. А может... Тем более, что она — раз видели детей в городе — вернулась в Одессу, а значит скорее всего разошлась с мужем. Дурацкие комплексы самобичевания. Я бы все отдал, чтобы повернуть время вспять. Но возврат невозможен, да и отдавать нечего...

Я даже с горечью подумал, что лучше бы вообще все прекратилось и память пропала вместе с печалью. И в следующую же секунду испугался этой мысли — не смотря на боль воспоминание о Марине было единственным, что позволяло чувствовать себя живым даже после смерти.

Неожиданно сумбурное течение мысли прервал приятный женский голос с каким-то неуловимо странным произношением:

— Меир, уже без пяти восемь. Пора просыпаться и слушать новости.

Тело, к которому я теперь несомненно относился, заколыхалось само по себе. Зевнуло. К своему удивлению я почувствовал — или осознал, не знаю, как это точнее определить, — зевок. И неожиданно, как шторы, распахнулись глаза, через которые смогли смотреть мы оба. Я увидел светло-серый потолок, излучающий мягкий приглушенный свет. Тело пришло в движение. Глаза видимо повернулись вбок-вниз, потому что в этом направлении стало перемещаться изображение. В зону видимости попала рука, которая придвинула поближе лежащий на прикроватном столике пульт управления, нечто вроде клавиатуры компьютера. Пальцы — длинные, ухоженные, явно мужские, стали по очереди нажимать кнопки пульта. Посветлел потолок, все залил мягкий теплый свет, не слишком яркий. Женский голос — наверно будильник — больше не повторял призывы. Тело уселось на кровати — опять я все отчетливо почувствовал. Наш общий взгляд (а я довольно быстро осознал, что он у нас общий) переместился на противоположную стену. Она вся — с низу до верху — оказалась прекрасного качества телевизионным экраном, на котором пошла подборка новостей в сопровождении дикторского текста. Выяснилось, к моему удивлению, что я все отлично понимал. Предчувствие, о котором я вам до этого рассказывал, не подвело. В какой-то степени я оказался одновременно и "им".

Новости по телевидению, как и положено, начались с даты.

— Сегодня пятница семнадцатого мая 2036 года. Израильское время восемь часов утра. Передаем новости из Иерусалима, — торжественно возвестил диктор.

Прошло тридцать лет со дня моей смерти. Местом действия оказался Израиль. Вот это да! А где же моя бессмертная душа или точнее мое сознание скиталось целых три десятилетия? Ответа я, естественно, не получил, но какой-то намек на то, что объяснение существует, все-таки был. Моя смерть и рождение моего продолжения по условиям реинкарнации должно совпадать по времени. То есть мое появление, или осознание себя здесь и сейчас было предопределено тридцать лет тому назад. И если новому хозяину моего сознания, подумал я, окажется примерно тридцать лет, это подтвердит такое предположение. Будем ждать...

Начало знакомства было удачным и многообещающим. Мы оба с интересом смотрели и слушали часовую утреннюю подборку новостей. При отличном и даже объемном изображении телевизионной стенки-экрана было ощущение непосредственного присутствия в других странах и на разных континентах.

И каково было первое впечатление? Меня удивило, как незначительно изменился мир за целых тридцать лет. Никаких катаклизмов, последовательные и вполне ожидаемые изменения как в межгосударственных отношениях, так и внутри общества. Да, судя по комментариям, у человечества появились некоторые новые проблемы, но и старые, начиная с конфликтов и экологии, продолжали разрастаться с опасной скоростью.

А впрочем, по здравому размышлению, драматических перемен не стоило и ожидать. "Целых тридцать лет" это в то же время и "всего тридцать лет". В мое время за тридцать лет тоже, в сущности, было только одно существенное изменение — об-

рушился железный занавес, распался Советский Союз. Но это политическое событие. А в остальном? Примерно те же автомобили, поезда, самолеты. Они и в новом времени не слишком изменились. Отличие небольшое, по форме — следствие моды — и не больше. Те же дома, улицы, где-то чуть поновее, где-то чуть поистрепаннее. Где-то модерн, но большая часть из прошлого или позапрошлых веков. Люди, судя по тому, что я видел, нисколько не изменились. Даже одежда. Только женщины стали ходить в одних странах ещё более обнаженными, чем раньше (на пляжах — абсолютно), а в других еще более задрапированными. Причем до такой степени, что невозможно было ничего разглядеть внутри кокона. Видимо последователи ислама и прочее человечество ментально расходились все дальше и дальше.

Но особенно неприятные изменения произошли в распространении атомного оружия.

— Старожилы еще должны помнить, — говорил диктор, — что во времена холодной войны был очень силен страх перед атомным концом света — схваткой Запада и Востока. Тогда писали, что у проигрывающих сторон запасов ядерного оружия хватит, чтобы несколько раз уничтожить все живое на земле. Но с развалом Советского Союза осталась одна сверхдержава — США, и опасения постепенно развеялись. К сожалению ситуация в двадцать первом веке снова изменилась к худшему. На сегодняшний день тридцать две страны имеют эти смертельные для существования мира запасы на всех без исключения континентах. Начали гонку Иран, Венесуэла и пошло, и пошло. Пакистан вместе со своими ракетами стал вотчиной талибов. Подтвердилось сведения о наличии атомной бомбы у Алькаиды. Северная Корея открыто торгует ядерными технологиями. Чем более нестабильна и безответственна власть, тем больше усилий она тратит на приобретение атомного оружия. И именно эти страны время от времени позволяют себе нарушить многолетнее табу на его использование. Последние события в Судане, где режим полстолетия боролся с повстанцами провинции Дарфур, стали для многих уроком. Нет провинции — нет повстанцев. Атомная бомба решила проблему, а правительству Судана все равно — будет провинцией больше или меньше. Этот метод многие страны взяли на вооружение. Угрозы применения ядерного оружия стали модным способом межгосударственных отношений.

— Экспертов удивляет только одно — завершил тему диктор — почему мир до сих пор не очистился от всего живого. Именно это является божьим чудом.

Он суеверно постучал по столу — чтоб не сглазить.

И все-таки на закуску речь зашла о действительно выдающихся достижениях науки и техники, произошедших за последние буквально пятнадцать-двадцать лет. Эти новации уже давно зрели в экономике передовых стран и бурным потоком ворвались в жизнь. Имелся в виду огромный прогресс в средствах коммуникации и информации. Тоже, кстати сказать, вполне ожидаемое изменение. В новом столетии это было, пожалуй, единственное бурно развивающееся направление.

Диктор исполнился гордости.

— Стоит ли вам об этом говорить? Ведь перед вами прекрасные стены-экраны в вашей квартире и офиса. Голлография вошла в каждый дом. Облицовка стен плоскими тонкими телеэкранами стала не намного дороже любой другой качественной обработки поверхности. Это настоящий прорыв. Мы гордимся тем, что наша страна и наши ученые сделали немало для свершения этого, не побоюсь сказать, чуда.

И опять вернулся к внутренним делам Израиля. Голос поскутнел, тема, судя по всему, была надоевшей всем, не новой. Даже для меня, недавнего пришельца из прошлого.

Оказывается после видимо большого землетрясения 2016 года, которое произошло на пашу, палестинцы и израильтяне, занятые восстановлением жилья и разрушенной инфраструктуры, прервали на несколько лет борьбу за безопасность и мир в регионе. Поэтому почти перестали взрывать и бомбить друг друга. Но сейчас мирные переговоры с палестинцами и арабскими странами со всеми вытекающими из них последствиями развернулись с новой силой... Рост еврейских поселений приводит к взрывоопасному состоянию всего района... Каждые три-четыре года война, малая или большая...

Когда диктор стал сообщать о том, что в Иерусалиме палестинец с ножом напал на двух проходящих мимо евреев, одного убил, второй..., Меир с отвращением выключил экраны.

— Ну вас, осточертели. Сколько можно об одном и том же?! Вечная тема...

Голос Меира мне не понравился. Слишком гортанный и резкий. И слишком громкий. В объеме черепа он резонировал. Комментатор звучал приятнее. Придется привыкать...

А телеизображение тем временем зажглось снова. На экране появилась довольно большая комната, возможно, спальня. Или салон. У дальней стены ближе к углу стояла большая кровать, может диван, покрытый какой-то розовой воздушной материей. Рядом прикроватная тумбочка. Ближе к другому углу располагался изящный из прозрачного пластика овальный столик на тонкой хромированной стойке. Возле него четыре легких кресла с мягкой, чуть розоватого оттенка обивкой. Посредине стены дверь из матового то ли стекла, то ли пластика, инкрустированная какими-то символами. Остальная часть этой стены от пола до потолка представляла собой встроенный шкаф — поверхность вся была изрезана дверцами различных размеров с хромированными ручками. Роль окна выполнял фонарь-потолок, прозрачность которого, как я уже упоминал, можно было регулировать. Все в этом помещении было обустроено разумно и функционально. Больше ничего не было... если не считать стоящего возле кровати обнаженного молодого мужчины лет тридцати (!!!), атлетического телосложения, смуглого, черноволосого. Красивого и высокого мужчины. Меир почесал голову, то же сделал его визави. А действительно, при такой телевизионной технике и зеркала не очень нужны. Так вот мы какие сегодня! Не без удовольствия я смотрел на свое новое воплощение. Такой внешности можно было не стыдиться. Хотя что-то после смерти доставляло удовольствие...

Широкие плечи, узкий таз. Глаза очень черные, кажутся немного злыми, но может только на вид, время покажет. Волосы густые и длинные, почти до плеч. Нос с небольшой горбинкой. Безусловно восточный типаж. Интересно, еврей или араб? Если еврей, то эмигрант из арабской страны. Я, как и каждый житель Украины, легко отличал своих, европейских евреев, сказала долгая тренировка. Но Восток дело тонкое; турки, арабы и любые уроженцы этих стран были для меня все на одно лицо. Я не националист, и испытывал простое любопытство, предубеждения не было. Впрочем, Меир имя еврейское, у меня был знакомый в Одессе, Шульман Меирович Гринберг, который упорно не желал менять свое имя и отчество. Всем на удивление...

Значит теперь мы с ним евреи. И нам около тридцати лет. Моё сознание после смерти оставило свое брэнное тело и перенеслось на тридцать лет в будущее. И я вдруг понял, почему. Сознание моего нового воплощения уже должно полностью сформироваться, быть достаточно зрелым, иначе контакт между нами пользы не принесет. Мы просто не сможем понять друг друга. И природа (или кто-нибудь повыше, не осмеливаюсь судить) выбрала для реинкарнации период жизни, который в специ-

альной литературе принято называть кризисом тридцатилетия. То есть оказалось, что неожиданная ломка взглядов, приступы депрессии и прочие неприятности в этот период являются следствием контакта двух сознаний. Доказательства этого обнаружились в дальнейшем, в статье профессора Файера. Но не буду забегать вперед. Просто запомните эту фамилию — профессор Файер — и следуйте за мной.

Теперь самое время рассказать то, что мне стало ясным в течение буквально первых часов после пробуждения Меира. Все что осталось от прежнего Виктора Сергеевича, это сгусток сознания в чужом мозгу. Мозгу Меира, которого я стал про себя называть "хозяином". Самое существенное — наша связь с сознанием "хозяина" была абсолютной, но односторонней. Я видел и чувствовал все то — и только то — что видел и чувствовал Меир. Но сделать ничего не мог. Не имел ни на что ни малейшего влияния. Меня для него просто не существовало. И хочу заранее предупредить — он не будет даже догадываться о моем появлении до конца дней своих. Живые даже не подозревают о реинкарнации, о ней знают только мертвые. А мертвые, как известно, умеют держать язык за зубами. Поэтому утечка информации практически невозможна.

Я читал — причем синхронно — все мысли Меира, но совершенно пассивно, как будто подслушивал их. Вначале меня удивило неожиданное отличное знание языка иврит, я без перевода прекрасно понимал все, о чем говорилось. Но потом дошло — это не так. Какой язык звучит не имело значения. Я понимал первоисточник — мысли "хозяина". Смотрел его глазами и слышал его ушами. Странное чувство. Я себя ощущал пассажиром, совершающим вынужденную поездку в голове Меира, а внизу независимо от меня болтаются руки и ноги. Впрочем, я их в какой-то мере чувствовал, как и тело — к примеру определял, что "хозяин" ощущает боль от удара. Но сам боли не испытывал.

Но вернемся в салон. Меир надел плавки, выдвинул из-под кровати тренажер, одним движением плоскую конструкцию превратил в довольно сложную просторную — тренажеры усовершенствовались за тридцать лет! И приступил к зарядке. На неё ушло сорок минут — Меир, а значит и я, регулярно посматривали на часы, появившиеся на экране. Время от времени он с явным удовольствием демонстрировал себе (а значит и мне) мускулатуру, напрягал мышцы как на конкурсе культуристов. "Хозяин" к своей физической форме был явно неравнодушен. Но впрочем, основания для этого были.

Затем через уже описанную дверь мы вышли в небольшой коридорчик. Две двери. Справа — в туалет и ванную комнату. Слева открытая дверь в кухню среднего размера (у меня в Одессе была поменьше). Здесь было два окна на улицу. Мраморный прямоугольник вместе с мойкой, шкафы, газовая плита, холодильник и еще оставалось место для стола с г-образным диванчиком. Скромно, но уютно. Над диванчиком полка с литературой для отдыха. Может для Меира, может для его гостей. Он автоматически достал и бегло просмотрел несколько газет и журналов. На мой взгляд, их было тяжело отличить друг от друга. Это были глянцево-издания на отличной бумаге с отменными фотографиями. Роскошная реклама, красивые мужчины и изумительные женские фигуры, драгоценности, дорогие унитазы и между ними не очень многословные, тщательно разжеванные, несложные для понимания новости и вроде бы серьезные мысли в игривом изложении. Гламур победил. Чего и можно было ожидать.

Ванная комната тоже была средних размеров, но душевая кабинка слишком большая. И два душа, один жестко закреплен сверху, другой на гибком шланге.

Впрочем, как выяснилось позже, все это лишним не оказалось. Ванны не было по понятным причинам — в этих краях вода в дефиците. Зато было зеркало, а не телевизор. Ничего особо нового и никакой роскоши. Меир привел себя в порядок и перешел в кухню. Он что-то все время мурлыкал, иногда звучали восточные напевы. Мне эти звуки казались слишком громкими и непривычными. Но увы, уменьшит громкость я не мог. Затем последовал завтрак, тоже обычный — молоко с кукурузными хлопьями. Я как будто ощущал глотание, прохождение пищи, но ни голода, ни удовольствия не испытывал. Нужно будет и к этому привыкать!

Все эти звуки и ощущения до поры до времени отвлекали меня и приглушали размышления Меира. Оказалось, что привыкнуть к неразрывной связи с мыслями "хозяина" было еще более сложным делом, чем не реагировать на все остальное. Во всяком случае, первое время.

Мы с вами даже не представляем себе, что творится у нас в голове, какая каша из мыслей и впечатлений там непрерывно варится. Что-то увидел, о чем-то мимоходом подумал, параллельно что-то вспомнил. Переводишь взгляд с одного на другое — меняются зрительные образы и в свою очередь вызывают бездну мыслей и ассоциаций. Это настоящий бедлам.

И весь этот бедлам транслировался бедному моему сознанию, а я не мог даже на время отключить приемное устройство. Только дня через два с грехом пополам удалось научиться отличать "мейнстрим" этих мыслей от различных "шумов", подобно тому, как мы, горожане, стараемся не замечать непрерывный гул, который сопровождает нас всю жизнь, только слегка затихая на ночь.

Меир вернулся в салон, открыл шкаф, надел легкие шорты. Я уловил ясную мысль, более громкую, чем остальные:

"Становится жарко. Придется включать кондиционер".

Я жары не чувствовал. Ничего не чувствовал. Но понимал, что ему жарко. Впрочем, свои ощущения я уже пытался описать. Жаль, если это не удалось...

Потом в голове у Меира зазвучала какая-то смесь соображений на тему неплаченных счетов и вслух подведен итог:

— Хватит лениться, пора приниматься за дело.

Меир придвинул столик почти вплотную к экрану, перенес на него клавиатуру (проводов не было) от прикроватной тумбочки, придвинул к столику кресло. Уселся в него. Поднял из клавиатуры экран примерно такого размера, как наши компьютерные, может чуть больше, набрал что-то на пульте, и загорелась знакомая надпись "Windows". Я не удивился тому, что бессмертная компьютерная программа прожила еще каких-нибудь тридцать лет.

Авива и Ронит

Но работу пока пришлось отложить. Знакомый приятный голос (куда более приятный, чем у Меира) доложил:

— На связи Ронит.

Меир опять что-то набрал на клавиатуре, снова загорелся большой экран. Изображение было необычно четким и объемным. Живая картинка за тонким стеклом.

По ту сторону была точно такая же комната, как у Меира. Близнецы. Только покрывало на кровати было голубое, а обивка кресел цвета морской волны. Ронит,

что-то поправляла на своем столике. Она оказалась очень миловидной и тоже смуглой молодой женщиной лет двадцати пяти. С высоты своего возраста я бы скорее назвал её девушкой. Невысокого роста с отличной фигурой и очень свежим и молодым телом. Привлекательным телом. Увидеть все это было нетрудно. К моему удивлению она была топless, да к тому же легкие и, нужно признать, изящные трусики цвета морской волны были очень воздушными. Очаровательными. Я остолбенел от удивления. Образно, конечно, — а как я мог сделать это иначе? Скромно старался не смотреть в её сторону, но увы, это не от меня зависело. Впрочем, — если не фарисействовать — я был на этот раз не слишком огорчен своей зависимостью.

"Наверно они в близких отношениях. Очень близких, — тактично подумал я. — И к тому же это Израиль, лето, жара".

— Доброе утро, Меир. Наша знаменитость. Ты читал статью о себе в газете "Маарив"?

Голос у неё был еще приятней, чем у секретарши, произношение тоже казалось странным, но к этому я уже стал потихоньку привыкать.

— Нет.

— Ах, скромный ты наш. Только не утверждай, что не уплатил за неё. И заплатил немало, уж слишком тебя расхваливают. Самый популярный не только у нас, но и за рубежом рецензент!!! Читатели все как один доверяют тебе и толпами бегут покупать книги, которые ты рекомендуешь!!!

— Ну и язычок у тебя, Ронит.

— Говорю как есть. И даже не спрашиваю, сколько ты за эту статью заплатил. А говоришь денег нет на новую машину.

— Ничего не платил. Обещал написать рецензию на его новую книгу. Немного позже, когда забудут, кто написал эту муть...

— Рука руку моет. Нет, написано неплохо. Не муть. Как будто даже искренне. Он действительно о тебе хорошего мнения.

— А ты?

— А что я? Я всегда твой друг. Кстати, Авива тебе ещё не звонила?

— Нет.

— Сейчас позвонит. У неё новости. Но лучше пусть она сама о них расскажет. Вмешался голос секретарши:

— На связи Авива. Не забудьте включить конференцию.

Загорелся экран на левой стенке — а я уже задавался вопросом, почему боковые стенки квартиры такие гладкие и голые. Неуютные. Ни картин, ни зеркала, ни какого-нибудь коврика или гобелена.

Авива была в отличие от Ронит высокой и довольно крупной светлокожей блондинкой, явно европейского происхождения. И даже славянского. Еще красивей, чем Ронит подумал бы я, если бы не боялся, что меня обвинят в расизме. Но на этом все отличия от предыдущей картинки закончились. Такая же комната, такая же обстановка, примерно такой же возраст и аналогичная экипировка хозяйки. Трусики на ней были примерно такие же, тоже цвета морской волны, и волна эта была не менее чиста и воздушна.

Может быть так принято и никакая это не полигамия? Просто мода? Может не случайно в репортаже новостей о летнем сезоне были только нудистские пляжи? В конце концов, и при жизни Виктора Сергеевича — я уже понемногу стал отделять себя от него — дело к этому шло. А он вместе со своими современниками-сограж-

данами просто большой дикарь, чем аборигены Африки? И более древний, чем древние греки?

Я отложил выводы и размышления до лучших времен. Сейчас хватало живых и довольно приятных впечатлений.

— Привет компании. Меир, ты читал статью?

— Я уже Меиру рассказала, — в реплике Ронит были ревнивые нотки.

— Ты рассказала о газете, больше ты не читаешь, — парировала не без ехидства Авива. — А я говорю об Интернете. И перепечатано в "Монинг стар" и еще где-то. Молодец, реклама де люкс.

Голос у Авивы был глубокий, певучий. Манера разговора неторопливая, степенная. Ронит была внешне более темпераментна, она стрекотала и по-еврейски-итальянски жестикулировала. Но обе были хороши, каждая по-своему. Меиру можно было позавидовать... если стоит завидовать самому себе.

Ронит надулась и замахала руками.

— Можно подумать, ты много читаешь.

— Читаю. Даже вслух. Бабушке, она плохо стала видеть. Но больше старые книги, классику. Современную литературу бабушке читать неприлично. Бабушка стесняется и пугается. Нет, я ей читаю классику.

Ронит пыталась что-то возразить, но судя по всему не нашла аргументов. А Авива, не встретив сопротивления, продолжила:

— Но тебе, Меир, я не перестаю удивляться. Даже Ронит читает газеты, а ты никогда...

— Утренних новостей с экрана мне с лихвой хватает. Вы знаете, я не перепошу даже слово "политика".

Тут и Ронит, наконец, нашла доводы.

— Ему чтения хватает по работе. Он за день и без того проглатывает тысячу страниц.

Но Меир решительно прекратил диспут и поменял тему.

— Ронит говорит, у тебя экстренное сообщение.

Авива стала серьезной и даже напряженной. На лице Ронит появилось удовольствие, очень похожее на злорадство. "Женская дружба", — иронически подумал я.

— Я решила, что мы с Эли поженимся. Официально. Поедем регистрироваться на Кипр. Назначим день. Через месяц.

Наступившая после этого пауза должна была подчеркнуть важность заявления. Авива смотрела прямо в глаза Меиру.

Мне передались чувства "хозяина" — смесь сожаления и облегчения. Облегчения было больше.

— Поздравляю. От души поздравляю.

— И я от души, — прострекотала Ронит.

— Полное единодушие, — не слишком весело улыбнулась Авива.

— Почему ты говоришь — я решила? Наверно вы решили? Вместе с Элиягу? — подлила масло в огонь Ронит.

Авива не ответила и даже не взглянула в её сторону. Она продолжала так пристально смотреть в глаза Меиру, что у меня невольно появилось желание спрятаться... Увы...

— Мне скоро будет двадцать восемь. Пора завести детей. Брак дает уверенность, что поднимать их я буду не одна при... ну, при любых поворотах. И потом

мне до смерти надоел этот дурацкий холостяцкий стандарт. — И она обвела глазами все три одинаковые комнаты. — Мы снимем нормальную квартиру. На двоих это реально. У Эли машина, а на службу его отвозит армейская. Без машины это не жизнь, особенно в шиши-шабат, два дня из пяти. Все время приходится просить кого-то, чтобы подвезли и вернули на место.

Ронит тяжело вздохнула:

— Какая там машина. На мою зарплату социального работника не очень-то развернешься.

— Гидам, Ронит, тоже платят как нищим.

— Что на эти гроши сделаешь? В отпуск за границу с трудом раз в год. И то со спонсором, который не всегда по душе. А по телу тем более. Разумеется, о присутствующих не говорят.

Им было жаль себя до слез.

— Наверно ты решила разумно, — задумчиво продолжала Ронит. — Элигу парень хороший, и на тебя не надышится. Но я пока себе все это с трудом представляю. Может, потому что я моложе, — не преминула она уколоть. — Все время с одним мужчиной. И какой может быть секс все время с одним и тем же? Иной раз и двух-трех не хватает. Конечно, — она спохватилась, — о присутствующих не говорят.

— У тебя на уме только одно...

— Нет, погоди, Авива. Во-первых, у тебя это тоже на уме. А во-вторых, везде пишут, что в семейной жизни секс тоже главное. Без него и семьи нет. Есть только коллектив по выращиванию детей.

Ронит была очень довольна своим определением и с вызовом посмотрела на Авиву — и мы не лыком шиты!

Меир в дискуссию не вступал. Отодвинул кресло на середину комнаты, переводил взгляд с одной выступающей на другую и снисходительно улыбался.

— Секс, секс. Сколько можно о нем говорить. С тринадцати лет я занимаюсь сексом.

— Увлекаюсь, — хихикнула Ронит.

— Как все вокруг. Так же как ты, — отпарировала Авива. И продолжала, повернувшись к Меиру. — Даже на год раньше, чем нам начали в школе читать лекции о безопасном сексе. И вообще о сексе. Мне подружки все объясняли.

— А я с пятнадцати, — вздохнула Ронит. — В секс без груди не принимали. Меня поразил и даже шокировал такой откровенный разговор на щекотливую тему. Без комплексов. Но, впрочем, и без лицемерия. Нужно привыкать. Новые времена...

"Сколько же человек через них с Ронит прошло", — так громко подумал Меир, что казалось Авива и Ронит должны были услышать. Нет, громко было только для меня. И все-таки Авива если не услышала, то угадала мысли Меира. Наверно, она его хорошо изучила.

— А чего ты хотел? С тех пор, как я себя помню, со всех сторон слышу только одно — каждую секунду все может провалиться в преисподнюю. В любой момент могут достать террористы, а нет — так бросят ракету, а нет — начнется война. Вот-вот начнется. Особенно на нашем Ближнем востоке. А не местная, так мировая. Потепление, наводнение, засуха. С самого детства становится ясно — нужно ловить сегодняшний кайф, не строить планы на будущее. А какой кайф — не вопрос. По всем каналам без конца о сексе. Какое это удовольствие, лучше не

бывает. К тому же самое дешевое и доступное развлечение. И со временем оно действительно становится слишком дешевым...

Меир и я одновременно подумали, что у Элиягу будет умная жена. И красивая. Но вслух это высказал только Меир. Ронит, как и следовало ожидать, такое мнение не очень понравилось, и она возразила, подчеркивая свои мысли температурными жестами.

— Но секс действительно самое приятное, что есть в жизни. И я не понимаю, почему на это нужно накручивать сложности. Меир, ты сам всегда говоришь: "Если человек хочет, почему не пойти навстречу". Мы нормальные люди, такие, как все. Ничем не хуже других.

Вмешался голос секретарши:

— Экстренное сообщение по новостной программе.

Меир включил третью стену. А я себя похвалил за сообразительность — уже давно догадался, что там тоже есть экран телевизора, стена была слишком гладкой и блестящей.

Передали сообщение, что Индия объявила войну Пакистану. Их общий ядерный потенциал составляет сотни единиц. Совету безопасности с трудом удалось уговорить стороны пока воздержаться от начала военных действий и атомных бомбардировок...

Меир выключил экран.

— Кто тут может оставаться нормальным, в этом сумасшедшем доме? — пожалала плечами Авива. — Кроме Ронит...

Повисла невеселая пауза.

— Ладно, девочки. Жизнь не кончается. Выше нос. Завтра шабат. Наши предлагают собраться. Вечером, как обычно. И та же программа. В начале небольшой эстрадный концерт — в основном юмор — чтобы развеселить Авиву. Потом прощвырнемся по разным шоу. У Эли есть на завтра планы на твой счет?

— Нет, его отделение на территориях. Там опять что-то взорвалось. И какой-то палестинец застрелил проезжающего в машине поселенца...

— Без подробностей, надоело, — в голосе Меира прорезался металл. — Сама говоришь, нужно ловить кайф. Словом я за вами заеду, и тебя, Авива, к ночи верну на место.

Авива была в сомнении.

— Не знаю. Эли не слишком доволен, когда мы собираемся с тобой без него.

— Сомневается, что все кончится благоразумно. И редко ошибается, — не упустила возможности укусь Ронит.

Я отчетливо уловил желание Меира закончить встречу. Промелькнула мысленная команда — незаметно нажать какую-то кнопку. Команда наверно была выполнена, потому что в эфире прозвучал голос секретарши:

— Прошу прощения. Через полчаса встреча с Гершоом. До этого нужно прочитать его книгу — двести сорок пять страниц.

— Все девочки, вы слышали. Будем разбегаться. Пора работать.

Ронит немедленно согласилась.

— Все, все, исчезаю. До завтра.

Экран потух.

Авива не исчезла. Она молча и глядя прямо нам в глаза сделала несколько шагов вперед. Казалось, еще мгновение, она перешагнет через экран и окажется у нас в комнате. Пауза затянулась, напряжение было почти физически ощутимо.

— Ты уверен, что я поступаю правильно? Мы не будем потом об этом жалеть? Авива преобразилась, вся её сдержанность и даже вальяжность исчезли без следа. Голос прерывался. Я почувствовал себя очень неловко, как и положено приличному человеку, который невольно подслушивает интимный разговор, да еще и подсматривает в замочную скважину. Но что было делать?..

Меир подумал: "Опять "мы". Когда это кончится?.." Но ответил довольно мягко.

— Авива, Эли тебя любит...

— А ты? — нетерпеливо перебила она его.

Речитатив Меира был по содержанию немзыкальной копией арии Онегина. "Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе недостойн я" и далее по тексту, вы наверно помните. Почти дословно. Синхронно он думал примерно то же, только в более резкой форме. Иногда грубой. Правда, в его мыслях вполне определенно звучало и сожаление вместе с восхищением красотой и обаянием отвергнутой. Хотя вполне возможно, что эти чувства принадлежали не ему, а мне. Я стал время от времени путать мысли "хозяйна" с моими собственными. При таком тесном симбиозе это было неизбежно.

— Зачем тебе нужен такой эгоист как я?

— Ты не эгоист. Эгоист любит только себя, а ты и себя не любишь.

— Да, похоже, — в ответе Меира определенно чувствовалась горечь. Авива попала в цель. Наверно он и от себя был не восторге. — Тем более. Мы правильно сделали, что перестали встречаться...

— Это ты называешь перестали... — Авива иронически усмехнулась.

Должен признаться, я время от времени терял нить разговора, хотя все мне было интересно. Причина для этого была более чем убедительной. Передо мной на расстоянии вытянутой руки стояла Афродита, выходящая из морской пены. Я старался не очень смотреть на эту пену. Новая женская мода все еще на меня действовала оглушающе. Такое зрелище могло увлечь даже более стойкого и хладнокровного человека, чем я... был в недавнем прошлом. Впрочем, я изо всех сил старался не отвлекаться.

— Да, — жестко подтвердил Меир, — перестали встречаться. Секс не повод для знакомства, как говорят французы. Теперь я бойфренд Ронит. Мы с ней подходим друг другу. Если она завтра с каким-нибудь спонсором укатит в круиз — я и ухом не поведу. А у тебя все всерьез. И дети... Я об этом даже думать не могу. Мало того, что сам не уверен ни в чем, так еще трястись за их жизнь, за будущее, которого скорей всего может не быть.

— Но Меир, живут же люди. И семьи. Не заглядывая далеко вперед и не замечая, что происходит рядом. Может так и нужно — просто жить, несмотря ни на что? Мне все чаще так хочется быть нормальной женщиной...

Я услышал мысли Меира: "Это уже целая философия. Кажется я избежал больших неприятностей. Бедный Эли!"

И вслух:

— Не будь душой. Сама говоришь, что мир становится похожим на сумасшедший дом. А в сумасшедшем доме нормальными являются ненормальные. Ну ладно... Оставим это. Ты о своем согласии уже сказала Эли?

— Пока нет. Я хотела раньше посоветоваться с вами. С тобой.

— Мы тебя поздравили.

— Поздравили! Черт бы тебя побрал!

Авива определенно стала терять над собой контроль.

— Да, я дура, и понимаю это. Наверно начиталась бабушкиных романов. И никак не могу от тебя отстать. Люблю, что поделаешь. Тебя. А себя за это же не люблю. Видишь, мы оба себя не любим, но причины разные. Нет, я себя даже презираю за это...

"Все, пора заканчивать мелодраму, — подумал Меир. — Не ожидал. Всегда сдержанная... Надо же. И действительно, скоро заявится Гершой. Надо ей что-то пообещать, иначе этот цирк никогда не кончится."

— Так, Авива, — голос его был сухой и злой, еще менее приятный, чем обычно. — У меня через двадцать минут встреча с писателем. А я его книгу даже не открывал, двести пятьдесят страниц. Не подготовился. Это бизнес, а не игрушки. Бери себя в руки и уноси ноги. Эли пока ничего не говори, завтра я к тебе заеду пораньше и обсудим все серьезно.

Он сам отключил экран Авивы. Эту операцию я уже научился определять.

Меир облегченно вздохнул, послал вслед Авиве пару недоброежелательных и довольно неприличных мысленных посланий. Я на его примере лишний раз убедился в том, что человек в мыслях на порядок резче и грубее, чем в разговорах. Хорошо, что мы не телепаты, наше счастье.

В моем новом воплощении мне определенно не все нравилось. Но я решил не делать поспешных выводов. Педагогический опыт говорил мне, что не так просто сходу разобраться в человеке.

Меир снова уселся за стол, включил компьютер.

— Пнина, будь добра, перешли мне роман Гершоя.

— Хорошо, Меир. Осталось шестнадцать минут, — ответил уже знакомый мне приятный голос.

— Знаю.

Оказалось, что секретарша не автомат, а вполне живое существо. Я переоценил прогресс, решив, что секретарь нечто роботизированное. Но стал более уважительно относиться к своей реинкарнации — секретаря может позволить себе не каждый.

На экране компьютера появилось заглавие книги: "Крайности". Это было последнее, что я мог прочитать. И последняя мысль Меира, которую я уловил: "Где это чертово авточтение..." Он набрал что-то на пульте. Изображение исчезло, его сменило мелькание, сразу зарябило в глазах. Спустя пару минут у меня начались отчаянные боли в том, что служило мне органом зрения и в том месте, где прежде была моя голова. А не смотреть я не мог. Меир между тем думал с такой скоростью, что до меня ничего не доходило, какие-то бессвязные обрывки мыслей. Казалось, так продолжалось бесконечно. Пытки прекратил милый голос Пнины:

— Меир, появился Гершой. Начнете встречу?

— Минут через семь-восемь.

Меир пошел в ванную, сполоснул лицо, на кухне прихватил бутылку воды со стаканом, поставил на стол. Никаких бумаг на столе не было — компьютеризация! Надел, насколько я успел заметить футболку, сел в кресло лицом к экрану, спиной ко входу. Я догадался, что аудиенция будет тоже телевизионной, как и утреннее свидание с девушками. А действительно, эффект присутствия полный, стоит ли тратить время, силы и деньги на бензин для поездки?

Я услышал торопливые размышления Меира:

"Не успел почти ничего прочитать. Придется использовать запасной вариант".

Он был готов к встрече.

Что-то нажал на пульте.

Шимон Гершой

Я оказался прав, это было телесвидание. Напротив тоже за столом сидел, видимо, сам Гершой.

По ту сторону экрана все выглядело более солидным, но менее современно. Судя по обстановке это был рабочий кабинет, достаточно большой, полки с книгами, явно дорогие кожаные кресла, удобный диван. Все выдержано в мягких коричневых тонах. В тех же тонах был выдержан сам Гершой — солидный мужчина лет под шестьдесят, очки в коричневой оправе на загорелом бронзовом лице, волосы тоже какого-то бронзового оттенка, рубашка цвета кофе с молоком, но ближе к кофе. Брюки чуть светлее.

Когда начался сеанс связи, оба вежливо встали и поздоровались. Представились.

— Шимон.

— Меир, очень приятно.

Гость оказался высоким и худощавым, держался ровно и подтянуто. Чуть-чуть равновесие нарушал слишком мясистый для такого худого лица нос, который, казалось, заставлял своего хозяина немного склонять голову вперед. Манеры Шимона были вежливыми и тактичными, голос негромкий и мягкий, хотя легкая возрастная хрипотца время от времени давала о себе знать. Сугубо интеллигентный человек, сомневаться в этом не приходилось. Вот только взгляд его был, пожалуй, немного напряженным. Слово он все время ожидал чего-то неприятного. Мне он казался по внешнему виду и манерам бывшим прибалтом. Во всяком случае похож.

Они одновременно сели в кресла и пододвинули к себе компьютеры. Никто никого сесть не приглашал. Оба сознательно вели себя так, чтобы нельзя было почувствовать, кто у кого в гостях.

Начали с общих тем. Но не о погоде. Вместо погоды у них — я в этом убедился позже — были другие стандартные темы. Начал Шимон.

— Ты не слышал, нет ничего новенького из Пакистана? Там совещание у президента.

— Обойдется. Будем надеяться на лучшее.

Сначала меня удивляло, что незнакомые люди, да еще значительно отличающиеся по возрасту, тем не менее друг с другом запросто на ты и по имени. Оказалось, в Израиле так принято. Проверено неоднократно.

На правах старшего по возрасту, Шимон перешел к делу.

— Я давно хотел заказать рецензию, но ты стоишь недешево. И только сейчас, с очень важной для меня книгой, я решился на такие расходы. Меир, я давно пытаюсь разгадать причину твоих успехов. Как получается, что после рецензии продажи растут? Все знают, что рецензия пишется за деньги, на правах рекламы. Но читателям это не мешает. И в последнем обзоре ты тоже на одном из первых мест по эффективности. Ведь это факт статистики. То есть объективная реальность.

Я услышал, как Меир ехидно подумал, что эта объективная реальность тоже была оплачена. "Хотя — не без самодовольства отметил он про себя, — продажи действительно растут. Но даже правда нуждается в поливе".

Шимон вел себя в высшей степени сдержанно и корректно. Но я заметил, что он все время чем-то занимается. То поправит очки, то снимет их и протрет стекла. То слегка дернет себя за ухо. То почешет затылок. Потом потрет пальцем переносицу. Поведеет плечами. Он все время был в движении. Не в суете, а именно в движении.

Об этом же подумал и Меир, мысленно повторив свое недавнее изречение: "В сумасшедшем доме нормальными являются ненормальные". Это был перебор, но все-таки у Шимона определенно были какие-то странности при всей его интеллигентности и серьезности.

— И что интересно. Ты, Меир, авторов то хвалишь, то разносишь в пух и прах. Как это понимать? Они платят, а ты их потом ругаешь? То есть ты борец за правду? На их же деньги?

— Не волнуйся, Шимон, — я почувствовал, что Меир улыбнулся. — Тебя это не коснется. Все зависит от клиентов. Одни писатели хотят, чтобы их уважали, а для других самое главное, чтобы их покупали. Можно так похвалить, что никто не купит, и так обругать, что в магазинах будут очереди. А тебе бы чего хотелось?

Шимон растерялся.

— Ну-у-у. и чтоб хвалили, и чтобы покупали. Так может быть?

— Может. Но это будет намного дороже.

Шимон со скрытой обидой сказал:

— Но ведь и от качества книги кое-что зависит. Не правда ли?

— Да, если она дойдет до читателя. Но в бескрайнем море книжной продукции она может до него просто не дойти.

Шимон очень расстроился. Это было заметно.

— Да, сейчас есть деньги — есть книга. Каждый пятый что-то не только пишет, но и издает. Миллионы авторов. Все, кому ни лень. Напечатал на компьютере, обложку подобрал по фотошопу, переслал по Интернету, там же заплатил — и пожалуйста, везде стоит новый автор. Никаких ограничений. Может графоман, их так просто не отличишь. Заходишь в магазин — и пропадает охота читать. Море необъятное. Ты прав, в этом море без навигатора не обойдешься. Но как это у тебя получается? Как читатель попадает на крючок?

Меир засмеялся.

— Это секрет фирмы, но часть я могу открыть. Прежде всего, как и любой автор, я должен писать интересно, иначе никто рецензию не дочитает до конца. А тогда вообще говорить не о чем.

— Да, я заметил, что всегда дочитывал твою статью. Увлекала. Меир, а ведь это писательский талант.

Шимон, судя по всему, восторгался искренне, не льстил, иначе почему бы он так усердно одной рукой чесал затылок, а другой тербил кончик носа?

— Надеюсь, и ты мою дочитал, хотя бы из чувства долга.

Он явно рассчитывал на активное подтверждение Меира и тоже в сопровождении комплимента, так сказать обмен любезностями. Но нарвался на очень спокойный ответ.

— Прочитал. Пятьдесят страниц. Тоже с интересом.

— Как? Из двухсот сорока пяти? — Шимон настолько растерялся, что замер в неподвижности. Рука застыла по дороге к очкам.

Меир спокойно и методично объяснил ему, что у него свои приемы работы. С каждым жанром по-разному. Развлекательную литературу он, конечно, читает сразу. Там никаких особых хитростей нет, главное интрига и более-менее приличный язык.

— Но ведь твоя книга ближе к публицистике. К раздумьям.

— Да, — стал успокаиваться Шимон, — "раздумья" — это отличное определение.

— С таким серьезным материалом, — Шимон расцвел, — я работаю иначе. Поняв стиль и смысл, останавливаюсь на полдороги. Пытаюсь в беседе с автором выяснить то, что осталось за кадром. Его взгляды, позицию. И донести до читателя. Пока общая масса материала не забила свежесть восприятия. Это наиболее перспективное направление рекламы для литературы раздумий.

Шимон задумчиво потер лоб. Снял очки. Он был слишком умен, чтобы принять все за чистую монету. Но даже неглупые люди не способны устоять против лести. Словом, видно было, что он решил принять все сказанное за признак уважения к нему и его труду.

— Ну что ж, пытай меня. Я готов.

Все-таки смена настроений у него происходила с легкостью необычной для такого солидного человека.

А Меир с удовольствием отметил про себя: "Трюк сработал. Отлично!"

Но мой "хозяин" был профи и к беседе все-таки подготовился. Он знал о клиенте довольно много, наверняка порылся в Интернете. Познакомился с этими сведениями и я — у Меира от меня секретов не было. Оказалось, наш гость начинал как подающий надежды серьезный литератор. Его первый сборник рассказов и первый роман были довольно заметным явлением в израильской литературе. Но потом он довольно резко свернул в фэнтези и стал что называется "клепать" книги, которые в моей юности называли довольно точно — "ширпотреб". Сейчас — я понял из беседы — вся массовая развлекательная литература называется "желтой". Так у них принято. Наверно, это правильно. Любимая тема Шимона — выдуманные люди, выдуманная планета, немного мистики и немного секса. Меир по-деловому, без излишних реверансов спросил, почему произошли такие перемены.

Шимон несколько не смутился, а как и положено уважающему себя еврею ответил вопросом на вопрос.

— Вот ты много читаешь. Во много раз больше, чем нормальный человек, — и он радостно рассмеялся своей невольной остроте — Ха, нормальный человек! Тебе часто попадается хорошая литература?

— Крайне редко, — Меир все время что-то заносил в компьютер.

— И не потому, что сейчас выродились талантливые писатели. А потому, что писать хорошо уже смысла не имеет.

Шимон сделал паузу, надеясь услышать вопрос: "Почему?". Меир молчал.

— Чтобы писать хорошо, кроме таланта нужно приложить немало усилий. Хорошая книга требует это несколько раз больше сил и времени, чем плохая. Это нелегкий труд. Зачем? Бессмысленно и просто глупо. Какие шансы, что её найдут в море, о котором мы говорили? Ноль. А если за это время написать несколько "желтых" книг, то по законам рекламы, хоть что-то может дойти до читателя. Кто-то запомнит фамилию. Стоит на витрине целая подборка, уже солидно.

Меир щелкал клавишами. Оратору не мешал. Оратора подгонять было не нужно, только не прерывать. Шимон распался.

— И читателя это тоже вполне устраивает. Читать хорошую книгу сложнее, чем дешевую. Не только писать. Нужно думать, соображать. И при этом затрачивать усилия и время. Поэтому большинство, которое торопится жить, опасаясь просто-напросто ничего не успеть, предпочитает что-нибудь попроще. Какой у меня был выход? Биться головой о стенку? Семья, дети... Есть правда еще один путь к успеху — эпатаж на грани извращения, но это не для меня.

Он опять подождал вопроса. Вопросы не было.

— Есть ещё одна причина общей серости. Хороший автор всегда пишет с расчетом на будущее. Даже если книга о прошлом. Раньше в сознании человечества всегда было будущее, а сейчас такая мысль и в голову не приходит. Какие там вечности, ценности и идеалы, не до жиру... Даже завтрашний день не гарантирован, не говоря уже о послезавтрашнем.

Меир по-прежнему молчал и, не глядя на экран, что-то быстро печатал.

— Зачем излишне нагружать себя культурой, когда можно использовать отведенное тебе может очень короткое время для удовольствия? Люди чувствуют себя бабочками-однодневками. А ведь это противно природе человеческой. Это не может не калечить душу, какую защиту не изобретай. В какую веру не бросаешься.

Меир с улыбкой спросил:

— Не слишком ли это глобальное объяснение падению нравов? Может есть причины попроче? Сегодня мне один человек, — он имел в виду Авиву, — уже приводил подобное объяснение. В свое оправдание.

В это время раздался звук сирены. Шимон заметно побледнел:

— Это у вас, или у меня?

— У вас. На юге. Из Газы. Пойдешь в убежище?

— Нет, я сделал бетонную крышу. Полгода тому назад попал под взрыв, отделался только шоком. Так что прошу меня простить за неадекватную реакцию.

Мы синхронно подумали: "Вот откуда странности". А Меир добавил: "Для сумасшедшего дома он еще достаточно адекватен".

Наступила тишина ожидания. Затем где-то раздался еле слышный взрыв.

— Далеко, — облегченно вздохнул Шимон. — А вот и ответ, Меир, на твою иронию. Иллюстрация к моим размышлениям. К нашим общим размышлениям. Это написано крупными буквами на лице у всех, даже у тех, кому кажется, что он ни о чем таком не думает. В нашем мире все сильнее звучат, я бы сказал, какие-то истерические нотки. Твой человек, о котором ты только что говорил, не очень ошибается. Можно просто ничего не успеть. Вот и бросаются либо в крайний цинизм, либо в фанатичную религию, полное злость и агрессия, одно другого стоит. В крайности. Так книга моя и называется — "Крайности". Смысла в жизни ни то, ни другое не добавляет.

Он замолчал, выжидательно глядя в глаза Меиру. Пришлось подбросить дров в затухающий костер.

— Шимон, но вера все же пытается поддержать человека. Ведь каждая религия, каждое учение, каждая мало-мальски приличная секта ищет свое понимание смысла жизни. На том и держатся.

— Вот-вот, вот оно! И что они нашли? Что они нам продают? Только одно — различные способы продолжения существования после смерти, в том или ином виде. Ад, рай, загробная жизнь, реинкарнация, бессмертие души и прочие вариации на эту тему. О чем это говорит, если вдуматься? Они пришли к выводу, что без продолжения в нашей жизни смысла нет. Любая вера это, в сущности, замаскированная надежда на продолжение. Я бы даже сказал — мольба о продолжении. А его не будет. И нет особого предназначения человека, связи с мирозданием. С высшими силами. Ничего этого нет.

Меир не перебивал. Заносил все в компьютер. Но я уловил скепсис — это мысль далеко не новая. Впрочем, Шимон, как мне показалось, зашел с неожиданной стороны.

— Тщетная надежда! Есть только факт жизни, а не смысл её.

Кстати, эту фразу я запомнил, интересная мысль. Шимон между тем продолжал:

— Наша жизнь возникла на земле путем объективных случайных подходящих условий. И смысла в ней не больше, чем в зарождении амёб. Если бы все закончилось амёбами, искали бы их связь с мирозданием? Или смысл амёб? Верили бы, что амёбами сверху кто-то руководит? Ну, так получилось — пошло развитие дальше.

Меир прекратил печатать.

— Если не ошибаюсь, ты сторонник теории о пришельцах, которые оставили на Земле...

Гершой пренебрежительно махнул рукой.

— Это только для литературы. Цивилизация из космоса, а мы то ли потомки, то ли всходы их посева... Даже если так, то это не отвечает на вопрос, а только отодвигает его чуть дальше.

— Почему?

— Возникает следующий — а откуда взялась та цивилизация? Вопрос-то остается.

Меир поднял руки, признавая его правоту. А ободренный Шимон продолжал с прежним энтузиазмом:

— Нет уж, просто получили мы волей случая и естественного развития в подарок разумную жизнь. Кстати сказать, амёба и прочая живность на земле живут уже миллионы лет, а на венец творенья всевышний не очень расщедрился. Выделил "человеку разумному" с гулькин нос, каких-нибудь от силы десятков-другой тысяч лет. Крохи. Дорожить этим надо. И не строить себе иллюзий, что кто-то старался именно для нас. Если судить по отпущенному времени, то скорее для амёб. И даже этот — по сравнению с жизнью на земле — краткий миг гомо сапиенса стремительно подходит к концу. По нашей инициативе. Судя по всему, ждать осталось недолго.

Тут даже негибаемый Меир был заинтригован.

— Почему же ты решил писать эту книгу? Если все бесполезно?

— Из медицинских соображений, — у Шимона опять произошла смена настроения, он неожиданно развеселился, улыбка пересекла его худое лицо от края и до края. — Я почувствовал, что если не напишу и не издам то, что у меня не выходит из головы, то просто взорвусь. Или рехнусь. Окончательно.

Он неожиданно и пронзительно посмотрел нам в глаза и серьезно спросил:

— У тебя возникали уже такие мысли на мой счет, признайся?

Я мысленно сказал: "Да", Меир вслух вежливо сказал:

— Нет.

Мой разум, или, точнее, то, что от него осталось, активно поддерживал Шимона. Связь с другими мирами, перевоплощение, кто-то всесильный над нами, продолжение земной жизни — в эти чудеса трудно поверить в здравом уме и твердой памяти. Хоть и очень хочется. А как же тогда то, что со мной происходит? Как это прикажете объяснить? Никак не стыкуется! Но впрочем, я никого ни в чем не убеждаю. Я и себя до конца убедить не могу...

Признаюсь, как на духу. Если мне иногда кажется, что все происшедшее со мной не больше чем галлюцинации после клинической смерти, то основной базой этих сомнений является логичная и здравая проповедь не совсем адекватного Шимона Гершоя. Но в таком случае и никакой проповеди бы не было! Нет, определенно не стыкуется...

Я не буду пытаться со стенографической точностью передавать все разговоры и события, невольным слушателем и зрителем которых мне довелось быть. Только то, что мне кажется наиболее интересным.

Немного успокаивала мысль, что Шимон сгущает краски, и не все обстоит так безнадежно. Он определенно был заиклен на этой теме до такой степени, что каждый час просил включить пятиминутную новостную программу. Меир внутренне ругая гостя последними словами, среди которых чаще других звучало определение "чокнутый", тем не менее, вежливо это делал. Но как назло, оба раза диктор вносил новые краски, которые подтверждали лейтмотив книги "Крайности". Ракета, взрыв которой мы слышали, попала в стоянку автомобилей. Есть раненые и один из них в тяжелом состоянии. В Париже обнаружили и обезвредили большое взрывное устройство в одном из центральных магазинов. Обошлось без жертв. На лице Шимона после каждого новостей проступало выражение: "Я говорю!" С восклицательным знаком!

Нет, я определенно за эти тридцать лет не много потерял.

Кстати, примерно посредине беседы мы услышали осторожный стук в дверь, затем женский или детский голос сказал:

— Меир, я здесь. Начну с кухни.

— Хорошо.

Он не повернул голову, поэтому у меня не было возможности увидеть, кто это был.

Часа через два беседа закончилась. Меир согласился писать рецензию на оговоренных прежде условиях. Каких — оба собеседника мне не сообщали. Но вздох Шимона при этих словах подтверждал, что для него условия были непростыми. Договорились о ещё одной встрече, в четверг, тоже в десять часов утра.

Оба дружно встали, сказали буквально хором: "Было очень приятно", экран потух, аудиенция закончилась.

Португальский кораблик

Меир встал, потянулся, сделал несколько движений. Мне их делать было нечем. Затем мы вышли в коридор. Проходя мимо кухни, Меир задержался и сказал:

— Орна, можешь переходить в комнату. Я немного пройдуся.

— Хорошо, я здесь почти закончила.

Голос — теперь я мог точно определить — был девичий, но владелицу его я увидел только частично. На нас был направлен средних размеров зад в длинной, широкой темной юбке. Слегка помятой. Все остальное было под столом и, судя по колебаниям видимой части, что-то там вытирало.

Меир вышел на улицу, прихватив и меня с собой. Он прищурил глаза от яркого солнца, надел слегка затененные очки — за что я был ему очень благодарен. Не только солнце, но и вся открывшаяся передо мной панорама была очень яркой, насыщенной самыми разнообразными оттенками. Это был настоящий цветовой удар.

В своем недавнем путешествии по памятным местам Израиля — памятным для меня — я разыскал этот район. Он называется Рош-ха-Никра, заповедник и одно-времененно граница Израиля и Ливана на средиземноморском побережье. Изумительное место для экскурсий, красивейшие гроты, я там облазил все, что возможно. И теперь не совсем уже различаю, что я видел, будучи в какой-то степени Мэиром, а

что в эту поездку по Израилю. Помню только, что первое впечатление было каким-то более неожиданным и праздничным. По майски свежая зелень кустов и деревьев, весело взбирающихся на гору. Часть из них переливалась сочными разноцветными красками — то ли листья, то ли цветы. Фантасмагория! Белые, мелованные скалы побережья, бурые безлесные участки горы. Светло-голубая гладь моря, вот оно, совсем недалеко, рукой подать, метров сто-сто пятьдесят, не больше. В таких случаях стандартным является определение "буйство красок", и здесь оно будет к месту.

Но в эту поездку я обнаружил и некоторые отличия от того, что видел во время моей реинкарнации.

Самым существенными для этого рассказа отличиями были (или будут?) два новых поселения, утопающих в густом и пестром массиве растительности у самого подножья горы. Эти поселения должны появиться только лет через пятнадцать, после уже упомянутого мною пасхального землетрясения. Если мне не изменит память, они займут часть территории нынешнего заповедника.

Но естественно, все эти подробности я узнал позже, а пока позвольте мне не только не слишком соблюдать хронологическую последовательность и времена глаголов, но и перестать извиняться за это. Извинения и пояснения становятся утомительными. Надеюсь, вы прекрасно сами во всем разберетесь.

Итак, возвращаюсь в будущее. Ближе к морю располагался светский поселок, примерно тридцать коттеджей, беленских, стандартных, каждый на четыре квартиры. Одна квартира в каждом доме была холостяцкой однокомнатной. В такой квартире, ближней к морю, жил Меир. Мне тогда показалось — он жил в раю.

Другой поселок, через метров пятьсот, подалее от моря, был построен для бывших поселенцев, еврейских ультраортодоксов, которых удалось не без труда эвакуировать из по-прежнему оккупированных Израилем территорий. Таких "добровольцев" пока нашлось не слишком много, и их неперемным условием было поселить всех вместе, подалее от светских районов. Может показаться, что поселки расположены слишком близко друг к другу, но это не так. Пятьсот метров, уверяю вас, достаточно солидное расстояние для маленького Израиля.

В религиозном поселке были коттеджи примерно такой же конструкции и размеров, но рассчитанные на две, а то и на одну квартиру — каждая ортодоксальная семья считала своим долгом воспроизвести на свет божий не менее десяти детей.

Все эти сведения я выяснил, порывшись в памяти Меира, который, мягко говоря, не благоволил к своим благочестивым соседям. Но это отношение не распространялось на обычных верующих евреев. Только на ультраортодоксов, которых он считал религиозными фанатиками. Наверно были для этого основания.

В первый наш совместный с Меиром выход мне удалось рассмотреть не слишком много. Мой "хозяин" все видел много раз и не стал осматривать окрестности. Глядя прямо перед собой, он прошел маленький дворик, бросил взгляд на невысокий забор из кустов по его периметру, на садовый столик в углу двора, над которым был закреплен небольшой навес от солнца. От соседей участок Меира отделялся стеной чуть больше человеческого роста. На дворе была трава, но на траве дров не было (я пошутил).

Затем Меир повернул в сторону моря и неторопливо зашагал, глядя в основном себе под ноги. По другую сторону не очень широкой, но отлично заасфальтированной улицы, ещё немного ближе к морю строился новый коттедж. Меир подумал, что работы идут не слишком активно. Там уже месяца три работали два араба. Один израильский, звали его Саид, а другой палестинский гастарбайтер, имя

которого Меиру не давалось. Проходя мимо, он вежливо поздоровался с рабочими. Саид, мужичек лет тридцати, ответил тоже вежливо, сопровождая "шолом" белозубой улыбкой на смуглом лице. Я бы лично его от сефарда — еврея восточного происхождения — ни за что не отличил. Второй араб, невысокий парнишка не старше двадцати лет, пробурчал что-то не слишком приветливо. И все время смотрел куда-то в сторону. Я его в анфас так толком и не разглядел.

Меир пошел дальше, посмеиваясь над собой за недавнюю, не свойственную ему общительность и демократичность. Воспоминания были свежими и я даже, казалось, увидел картинку в цвете и звуке. Несколько дней назад, когда был жестокий хамсин, жара и пыль, Меир неожиданно для себя попытался изобразить доброго самаритянина. В его холодильнике в жару всегда стояло несколько пластмассовых бутылок с водой, в которую он по примеру древних греков добавлял совсем немного кислого красного вина. Отличное средство для утоления жажды. И вот войдя в положение жарящихся на солнце арабов, он вынул одну такую бутылку, надел сверху на горлышко два пластмассовых стакана, не поленился перейти дорогу и презентовать её Саиду. Но демонстрация дружбы народов не удалась.

Саид как обычно расплылся в улыбке, с благодарностью принял угощение, разлил воду по стаканам, стал пить и нахваливать. А палестинец с обычной мрачной миной, полуотвернувшись пригубил воду и вдруг ощерился.

— Вино? — гневно спросил он.

— Здесь есть вино? — продолжая пить, тоже поинтересовался Саид. Его это открытие не слишком взволновало. — Нам аллах вообще-то запрещает.

И он с удовольствием отпил ещё немного.

— Всего пару ложек на бутылку. За такую малость вас из рая не выгонят, — неловко попытался отшутиться Меир.

Судя по всему, палестинец иврит все-таки понимал, потому что в ответ он выдал какую-то злую фразу на арабском.

— Что он сказал.

— Сказал, что есть много способов попасть в рай.

После чего Меир беседу закончил и больше с ними в разговоры не вступал. Он подумал, что этому палестинцу любить его пожалуй не за что. И еще подумал, что общаться нужно только с себе подобными. С такими же бабочками-однодневками — припомнился Гершой — как и он сам. И желательно той же национальности. Но тогда выходит Шимон прав?

Меир шел к морю, упорно глядя себе под ноги. Туда же пришлось смотреть и мне. Краем глаза я видел только отсветы "буйства красок", о которых уже упоминал. Наконец я не выдержал и истерично беззвучно завопил что есть силы.

— Да остановись ты, черт бы тебя побрал! Что ж ты смотришь только под ноги? Какая красота вокруг, чурбан бесчувственный!

Результат был неожиданным. Не сразу, но через несколько шагов Меир остановился, глубоко вздохнул, расправил плечи, поднял голову и — представьте себе — окинул взглядом панораму. Мало того, он подумал:

"Почему последнее время я перестал получать удовольствие не только от природы, но и вообще от жизни. Даже от... — тут он дал такое определение секса, которое я из цензурных соображений повторить не решаюсь. — Хандра, определенно хандра. Нужно что-то с этим делать. И эта ночь была на редкость беспоконной...".

Но на долго его не хватило, мой "хозяин" пошел дальше, снова глядя себе под ноги.

Еще одна случайность, или Меир все-таки немного реагирует если не на мои мысли, то на эмоции? Сам того не сознавая?

Я попытался командовать — стой, подыми голову, поправь очки! Никакой реакции. Все не так просто...

Меир тем временем дошел до моря, на невысоком обрыве стояло несколько удобных скамеек со спинками, он снял футболку и уютно устроился, подставив плечи для загара не очень злому майскому солнцу. В голове у него (по соседству со мной) зарождались варианты рецензии на книгу Гершоя. Очень интересно было при сем присутствовать. Содержание вам пересказывать не буду, отмечу только, что история с бутылкой воды по рецепту древних греков вошла в замыслы...

Постепенно мне удалось почти отключиться от размышлений Меира и просто наслаждаться морским пейзажем. Вода казалась такой чистой и свежей, что даже у меня, бестелесного, возникло желание искупаться. Но желтая лентя песка вдоль берега была пустынной. И купающихся в море не было. Только левее нас на расстоянии метров двухсот, расположилась группа в основном немолодых мужчин и женщин. Это были туристы, которые после посещения заповедника устроили пикник на лоне природы. Как я догадался? Очень просто. Оказывается, об этом подумал Меир, а я снова пристроился к нему в кильватер, если продолжить морскую тематику.

Шум развеселившейся компании долетал и до нас. В ход пошло пиво. Меир решил, что это немцы. Пиво пили прямо из горлышка. Может это англичане? Меир настаивал на немцах. Уж очень аккуратно они бутылки и мусор складывали в пакетики. Он не без ехидства добавил, что во всяком случае на израильтян это не похоже. Ему виднее. И мы дружно перестали обращать на них внимание.

Жаль, что уже практически нельзя купаться в море, думал Меир. Он с ностальгией вспоминал детские годы, когда еще можно было входить в воду где угодно, хотя и рекомендовалось купаться только в специально отведенных местах под присмотром спасателей. Уже тогда в море были маленькие кусающиеся рыбки, дальние родственники пираний. Но со временем рыбки подросли и вошли во вкус. Меир выдвинул ногу и взглянул на небольшую вмятину на икре, память о встрече в далеком детстве с маленьким хищником.

Я внимательно прислушивался к его мыслям. Это было интересно.

А последние годы ситуация стала еще хуже. Из Атлантического океана в Средиземное море забрела популяция медуз-убийц. Все газеты писали, что это было следствием все возрастающего нарушения экологического баланса. Нашествие распространялось относительно быстро. От берегов Испании к Италии, Греции, Турции и в конце концов обосновалось по всему побережью. Появлялись медузы рано, в середине мая, исчезали только в августе. Практически все лето было испорчено. Кстати до этого весь июль — самая жара — море было забито огромными медузами. Они обжигали, но хотя бы не до смерти. А эти убийцы и жили дольше и были намного опаснее. Если с кусачими рыбками еще можно было сосуществовать — они плавали только внизу, кусали за пятки, икры, но шловцов не трогали — то медузы были страшнее. Назывались они красиво "португальский кораблик", их щупальца, наполненные сильнодействующим ядом, были до пятидесяти метров длинной. Я даже подумал, что не точно понял Меира, разве такое возможно? Увы, да. Хотя он уточнил, что в распрямленном состоянии. Что это означает я не совсем понял... Ядовитые щупальца оглушали человека и в большинстве случаев убивали его.

Правительство делало все, что могло. Или почти все. С рыбками бороться было невозможно, но для уничтожения медуз-убийц не так давно даже создали специальную береговую службу. И на официальных пляжах дежурили наблюдатели, которые следили, не появится ли вблизи заметный голубой гребешок, выступающий из воды на 10-15 сантиметров, отличительный признак "португальского кораблика". А специальные катера охотились за ними по всему ареалу израильского побережья.

"О, легки на помине", — услышал я мысленное восклицание Меира, и увидел где-то между нами и туристами на расстоянии метров ста от берега две ярко-голубые полоски, покачивающиеся на небольших волнах довольно спокойного моря.

— А вот и жертвы, — уже вслух добавил он, перенеся внимание на «бивак» туристов.

Там произошли изменения. Пиво начало бродить. Мужчины сняли рубашки, шеголяли в шортах. Некоторые женщины уже разделелись до купальников, но не топless — все-таки группа была возрастная, и распугивать спутников не стоило. А два лысых и крупных мужика с приличными пивными животами пошли ещё дальше — они разделелись догола и явно намеревались нырнуть в прохладу моря. Их с трудом удерживали две молоденькие и тоненькие девушки, наверно местные гиды. Удерживали недолго, мужички ласково похлопав их по плечам, ринулись в воду, подняв кучу брызг, и сразу поплыли. О кусающихся рыбах они, судя по всему, знали.

Их соотечественники сразу разделелись на две команды, и стали хором что-то скандировать, наверно каждый в поддержку своего фаворита. Они хлопали друг друга по рукам, очевидно заключая пари. Галдеж стоял отчаянный. Пловцы плыли в море, медузы одна за одной медленно, еле заметно двинулись в направлении пловцов.

Меир очень спокойно сказал себе:

"Я бы на их месте держал пари, кто из лысых первым отдаст богу душу".

Я пришел в ужас от этого спокойствия. Взывал к совести, матерился последними словами, призывал к действию. "Хозяин" был невозмутим.

Его образ мыслей был примерно таков:

Там есть люди, которые за это отвечают.

Добежать я не успею и не вижу в этом необходимости. Тем более что обрыв довольно крутой.

Орать как дурак благим матом не буду, тем более никто меня не услышит.

А вот доложить, кому положено, это мой гражданский долг.

Законопослушный и не слишком чувствительный член общества не торопясь вынул мобильный телефон, набрал номер. Ответила справочная служба. Довольно долго приятный женский голос расхваливал свою организацию. "Мы самые надежные, мы всегда рады вам услужить...". Потом тот же голос предложил подождать, пока служащий освободится, заиграла приятная музыка. В это время пловцы и медузы неторопливо сближались. Немцы плыли неуклюже и медленно, а медузам... некуда было спешить. Мне казалось, я корчился в судорогах. Меир сохранял удивительное спокойствие.

Наконец, справочная ответила. Меир попросил номер телефона срочного вызова береговой охраны. Набрал продиктованный ему номер.

Прозвучал зуммер, затем точно такая же самореклама срочного вызова береговой охраны. Затем тоже приятная музыка. Расстояние между охотниками и жертвами уже сократилось до нескольких десятков метров. Если я правильно понял Меира по поводу длины щупалец, то приближался финал.

Служба, наконец, ответила. Мужской голос. Меир заговорил неторопливо, взвешенно. Чувствовался опыт, но не волнение. Начал он с того, что попросил не отключаться, пока все не сообщит. Разумное предупреждение, переждать снова рекламу и музыку времени не было. Потом сказал о появлении медуз и дал координаты. Затем сообщил, что два пловца движутся медузам навстречу. И все четко, членораздельно, голос его от волнения не дрожал...

— Они что, идиоты? Не знают, что сейчас опасно?

В телефоне послышался звон посуды.

"Пьет кофе", — понял Меир.

— Идиоты, но они не знают. Туристы, по-моему, немцы.

— Иностранцы? — На том конце, наконец, зазвучало беспокойство. Тут тоже ценят иностранцев больше, чем своих. — Срочно высылаю катер.

— Возле нас на горе есть пограничники и вертолеты. Я видел, они стреляли по медузам...

— Хорошо. Свяжусь.

— С кем я говорил?

— Саул, — безропотно ответил дежурный.

"Все, — подумал Меир, — теперь я знаю твое имя, и тебе будет не до кофе. Возможно расследование. Придется приложить максимум усилий. Если сильно поторопиться, успеешь... на похороны".

С чувством исполненного долга он откинулся на спинку скамейки и стал ждать завершения истории. Мягко говоря, не впадая в отчаяние. Это было ужасно. Хочу быть объективным, никаких садистских чувств он не испытывал, скорее сочувствовал. Но не более того.

Может это было рационально. Но как-то не по-человечески. Я бы на его месте кубарем скатился с обрыва, побежал бы к туристам, крича и размахивая руками. Может, стал бы камни кидать в медуз, хоть они и были далеко. Пытался бы что-то сделать, даже бесполезное...

"Есть ситуации, когда человек помочь не в силах, нужно уметь это признать и не рвать без всякой пользы волосы на голове..."

Разумеется, это он сказал себе, не мне. И продолжал наблюдать трагедию, вступившую в последнюю фазу.

Но жизнь в данном случае поддержала мою точку зрения. Хотя только частично.

Туристы по-прежнему толпились на берегу, продолжая азартно кричать и размахивать руками. В воду зашла только одна довольно полная женщина, вошла по колено, не опасаясь кусающихся рыбок. Она не раздевалась, была в шортах и ярко-красной футболке. Даже на расстоянии заметно было напряжение в её позе. Наверно, один из толстяков был её мужем.

Вдруг кто из туристов увидел медуз; он что-то закричал, отчаянно тыча пальцем в их сторону. Очень быстро вся группа поняла, какая смертельная опасность нависла над пловцами. И стали все вместе, хором призывать их обратно. Но уставшие и увлеченные соревнованием, подбадриваемые пивом соперники не уловили разницу — кричат и кричат. Они продолжали плыть навстречу гибели.

И тут женщина, стоявшая в воде, сделала внезапно рывок вперед, вошла по горло в море и неожиданно издала душераздирающий вопль. Она ушла под воду, потом, взбивая пену, вынырнула, и снова раздался отчаянный крик о помощи. Немного отставший пловец — очевидно её муж — мгновенно развернулся и не тратя ни

секунды ринулся её спасать. Откуда силы опять взялись! Жена продолжала очень натурально "тонуть". Первый пловец тоже притормозил, пытался, видимо, понять в чем дело, развернулся и поспешил на помощь. Но у него все было немного замедленно. Скорости ему не хватало. Вдруг он выскочил по пояс из воды — и исчез. Больше на поверхности так и не появился. Над тем местом, где он исчез вскоре заковылялся голубой гребешок. А второй "кораблик" кажется изменил курс и двинулся к берегу. Очень медленно, еле заметно. Но если учесть длину шупалец...

Второй пловец уже выбился из сил, но "гонушая" удвоила усилия, и продолжала издавать буквально предсмертные крики. У меня даже появились сомнения — а может это не игра? Может действительно что-то под водой происходит? Рыбки?..

Наконец муж доплыл до неё, и все — на большее у него сил не осталось. Жена перестала кричать и энергично стала тащить его из воды. Это было нелегко. Группа столпилась на берегу, но заходить в море никто не решился — "кораблик" плывал уже совсем близко. Наконец два человека — мужчина и одна из гидов — с криком отчаяния бросились в воду и поддержали достоинство рода человеческого. В обнимку они все вышли на берег, буквально волоча обессиленного пловца. Там их подхватили остальные.

"Счет один-один," — подвел итог Меир.

На берегу оба главных действующих лица упали на песок и — насколько можно было судить издали — потеряли сознание. Часть группы стала хлопотать над ними, а часть безмолвно стояла на берегу и смотрела на победительниц медуз. Труп не всплывал.

Раздался шум вертолета, он завис над местом трагедии, море расскледи кипящие полосы.

"Порезал лазером. И телу досталось. Ничего не попишешь. А вот и катер. Будет убирать. Погрузить на борт триста килограмм отборного яда тоже не просто. И остатки трупа".

Меир наверняка не первый раз присутствовал на такой операции. Действительно из-за мыса появился катер.

"Все дальнейшее ясно и не очень эстетично. Пора домой".

Он решительно поднялся со скамейки и пошел к поселку, не оглядываясь.

"Об этом хватит. Если на все реагировать..." — привычной формулой подвел черту Меир, и легко переключился на обдумывание очередной рецензии. Больше воспоминание об этой трагедии в его сознании мне не попадалось. Может в подсознании? Даже и в этом сомневаюсь. Вряд ли. Интересно, он такой толстокожий от рождения или жизнь обкатала? Мои перспективы в новой ипостаси становились все более безрадостными...

В отличие от "хозяина" я не мог думать ни о чем другом, все происшедшее как бесконечная лента прокручивалось у меня в сознании снова и снова. Удивительно, как этой немолодой женщине пришла в голову спасительная идея? Может она когда-то читала нечто подобное? Или опасность привела к мгновенному озарению? Ведь это была наилучшая, а может и единственная возможность мгновенно мобилизовать все силы, которые оставались у её мужа и даже те, которых уже не было. В любом другом варианте он бы сначала потратил время, чтобы разобраться, что к чему. Потом его мог сковать страх. Могли быть потрачены те доли секунды, которые его и спасли.

Вот что значит сильнейший стресс в сочетании с любовью и верностью. Это в равной степени относится и к мужу, и к жене.

А погибший в группе, судя по всему, был один. Один. Нет, дорогой Меир, не все поддается рациональному эгоизму.

Мы приближались к дому. Вокруг по-прежнему была экзотика и красота. Но жить на морском побережье и не купаться летом в жару... Как и в наше время экологический дисбаланс продолжает жестокие шутки над жителями земли, наказывая их за безответственность.

Орна

В салоне Орна что-то вытирала на столе. Когда Меир вошел, она медленно, с достоинством обернулась, и я смог её как следует рассмотреть. Это была девушка лет семнадцати, не больше. Среднего роста, безусловно не "тростиночка", но ничего более определенного о фигуре сказать было невозможно. Одетая она была совсем не так, как две представительницы нового времени, с которыми я уже познакомился. Наверно очень похоже одевались женщины две тысячи лет тому назад. Серая с длинными рукавами то ли кофта, то ли рубаха из не слишком тонкого материала, так и тянет сказать полотна, заправленная в неопределенной формы юбку, более темную, но ещё более плотную, едва не касающуюся кромкой пола. Одежда не выглядела грязной — не буду брать грех на душу, — но уж не глаженной была наверняка. Из стиральной машины на веревку и затем на хозяйку — вот её путь. И это объяснимо: в жарком климате Израиля её приходилось стирать ежедневно, но уж гладить — сил не напасешься. Одетые по минимуму светские граждане Израиля носили либо что-то самовывравнивающееся и обтягивающее, либо нарочито мятое и, естественно, выглядели намного элегантней. Словом, я сразу же признал (разумеется, не без помощи Меира) в Орне дитя ортодоксального религиозного еврейства. Даже шея была прикрыта каким-то бесформенным и довольно-таки мятым воротником.

Все в Орне от пола и до этого злосчастного воротника выглядело допотопным, бесформенным и невыразительным. Но зато её верхняя видимая часть была вполне симпатичной. Она не была красавицей, да к тому же совершенно не пользовалась макияжем, без чего мы женщин в любом возрасте уже не воспринимаем. Но многое заменяла свежесть молодости. Лицо её было продолговатой формы, немного смуглое, как и положено еврейке марокканского происхождения, хотя светлее чем у Ронит, скорее матовое. Может потому, что она не загорала? Аккуратный носик, средних размеров лоб, хорошо очерченные и немного пухлые губы, чуть вопросительно приподнятые тонкие брови. Все в пределах пропорции и нормы. Как и часто бывает, глаза являлись решающим фактором для принятия решения, насколько симпатичной является их хозяйка.

Не хочу обидеть марокканских евреек, но у них глаза довольно часто полагаются слишком близко к переносице и это придает лицу постоянно недовольное выражение. Но у Орны они были большие, безусловно выразительные и широко расставленные. Мне они показались черными, но временами в них появлялся медный отблеск, особенно тогда, когда в ней загорался интерес. Определение "загорался" я выбрал не случайно, в таких случаях, похоже, словно кто-то внутри щелкал переключателем, светились и широко распахивались глаза, вся она подавалась вперед, даже волосы, казалось, увеличивали художественный беспорядок на её голове. О волосах стоит рассказать особо. Не о прическе, потому что таковой не было.

Блестящие черные, слегка волнистые, довольно густые и не слишком длинные волосы её были чисто вымытыми и ухоженными, а это всегда очень заметно со стороны. Хаос на голове выглядел естественным и даже каким-то продуманным. А может, так и было, может, не столь Орна была непосредственна, как мне казалось? Нет, вряд ли. А впрочем... Иногда какая-то прядь падала ей на глаза, и она лихо сдувала её, очень симпатично выпятив нижнюю губу. Я такое видел только в кино, а в жизни не приходилось. Но ведь Орна в кино этого видеть не могла. У жителей соседнего ортодоксального поселка — я потом узнал — с этим было строго. Только относительно недавно в их общине разрешили смотреть одну программу по телевидению — специальную для ортодоксального населения. Там кроме чтения торы и обсуждения этого чтения практически ничего не было. Иногда театрализованные иллюстрации все на ту же тему. Судя по всему, в знак протеста против растущего на глазах легкомыслия и деморализации светского общества, ультраортодоксальные общины отодвинулись ещё как минимум лет на тысячу-другую вглубь веков.

В обычном, не "включенном" состоянии Орна двигалась неторопливо, говорила чинно и серьезно. Наверно так она представляла себе правильное поведение религиозной еврейки, связанной с тысячелетиями истории. В это время на лице её и в не очень легкой походке можно было заметить уже накопившуюся усталость — она была старшей дочерью в доме, где было девять детей, со дня на день ждали десятого. Старше её — на три года — был только один брат, но тот давно сиднем сидел в ешиве и в помощники не годился. Я не раз слышал, как она говорила Меиру, что ходит к нему на уборку в надежде отдохнуть от вечных забот, а главное от непрерывного шума и гама. Восемь детей в одной квартире, представляете себе это? И начинаются летние каникулы, когда они все будут в доме круглые сутки. Иной раз она появлялась совсем безблеска в глазах и даже с опущенными уголками губ, что было странно в её возрасте. Но уже через час-другой выпрямлялась, движения становились легкими и даже почти изящными (до изящных она все-таки не достигала, видно было, что в "институтах, школах танцев и фитнесах" не обучалась). Иной раз даже начинала что-то мурлыкать вслух. И это несмотря на работу, правда, не слишком тяжелую. Да и Меир ей время от времени говорил:

— Куда мчишься, отдышись. Не так много работы, чтобы надрываться.

Наверно он её жалел. А Орна пугалась. Она приходила шесть раз в неделю, кроме субботы, по условиям договора на два часа, но они, как правило, выливались в четыре. И очень боялась, что малина кончится, что её снова зашлют на постоянное отбытие срока в семью. Без отпуска и выходных.

Орна была девочка работающая. В пятницу она с семи утра до десяти убирала у живущей через два дома от Меира бабы Розы, а к десяти появлялась у Меира.

Баба Роза несколько лет тому назад овдовела, дети и внуки уехали в Америку, в Израиле она осталась в своей неплохой трехкомнатной квартире. Но одна. Старушка в Орне души не чаяла, кормила и поила её, ждала, как дорогого гостя.

И все-таки местом у Меира Орна дорожила гораздо больше. Здесь, кроме приличного заработка, был другой мир. И в этот мир входил телеэкран и компьютер, которыми она пользовалась вопреки официальному распоряжению отца и формальному запрещению Меира. С этой темы и начался первый их разговор, на котором я присутствовал в качестве невидимого соглядатая.

— Меир, — солидно и по-деловому начала она, — ты знаешь, какие последние новости из Индии?

— Не знаю, и знать не хочу, — буркнул Меир.

— Как ты можешь? Это смертельно опасно для всех.

— Мы в состоянии что-то изменить? Если на все реагировать, никаких сил не хватит.

— Я тебя иногда не понимаю, — это прозвучало довольно смело.

Меир развеселился.

— Только иногда? Это не так плохо.

Орна смутилась.

— Ну ладно, — в этот момент в Орне шелкнул «переключатель» и она заговорила быстро и энергично. Даже тон голоса изменился, стал выше. — Действительно ужас что творится. Тысячи индусов бросились в провинцию Кашмир, там живет много мусульман, и считается что ни Индия, ни Пакистан их бомбить не будут. Но начались драки с местными мусульманами, уже есть жертвы. И немало. Смотреть на это просто невозможно!..

— А кто тебе разрешил смотреть? Я обещал отцу, что ты телевизор включать не будешь. И компьютер кстати тоже.

Орна потухла. Безнадежно махнула рукой.

— Отец. Он больше для меня рав Барух, чем отец. Он думает — главное, чтобы не было соблазнов. Не видеть и не слышать того, что тебя не устраивает. Истинно верующий, — в голосе Орны появился металл, — не должен бояться соблазнов. Он должен их преодолеть. И что это за вера, которой страшны испытания?

— Ух ты, — еще больше развеселился Меир. — Так я скоро пойду в ешиву. Ты меня перевоспитаешь.

— Смейся, смейся, — смутилась Орна, — а дела вокруг такие, что пора всем о душе подумать. И тебе тоже. Как бы не опоздать.

На меня эта фраза произвела впечатление. На него, судя по всему, не очень. Меир уселся за стол, пододвинул компьютер. Работать по-прежнему не хотелось. Он вздохнул и повернулся к Орне. Та уже собиралась уходить из салона, но уловив желание хозяина продолжать разговор, с готовностью остановилась.

— Вот ты и подумай о душе, — насмешливо продолжил Меир. — Чти отца своего. Почему не слушаешь его? Почему включаешь телеэкраны?

Снова возмущенно загорелись глаза, и волосы пришли в движение.

— А что я должна делать? Смотреть только наш единственный канал? Я о Торе знаю не меньше, чем бубнят нам телераввины, все как один косноязычные. Или читать газетку на двух листочках, где тоже о делах в мире ничего не пишут? Если бы я не покупала нормальные газеты — за твой деньги, Меир — и не записалась в библиотеку, тоже без разрешения отца, то о чем бы мы говорили?

— А родители знают, что ты читаешь? Их взгляды на воспитание...

— Меир, у нас девять детей, ждем десятого. Плюс ешива. Откуда у них время и силы на воспитание? Я ничего давно им не рассказываю. Или сокру, чтоб не ругались.

— Я не помню, есть в Торе такая заповедь — не обмани?

— Такой заповеди нет, — она неожиданно засмеялась. Смех был приятный, а улыбка её определенно украсила. — Если бы была такая заповедь, то евреи бы давно вымерли вместе с другими народами. А мы до сих пор живы.

— Ты, оказывается опасный человек. Что из тебя получится, когда вырастешь?

— Вырастешь... — покраснела от возмущения Орна. — Мне уже... будет семнадцать.

— Ты действительно непредсказуема. Отец меня предупреждал, что нужно быть с тобой постороже. А почему тебя называют "пцаца"?

Я вначале это слово перевел как "бомба", но Меир представил себе самодельный заряд взрывчатки, вероятно, это связано с привычными представлениями о терроре. По-русски «бомба» звучит не совсем точно. Поэтому я буду использовать слово "пцаца" — с ударением на последнем слоге — без перевода. Тем более, мне кажется, оно как-то сочетается с обликом Орны. Созвучно.

Орна задыхнулась от возмущения.

— И это тоже отец обо мне рассказал?

— Да, он сказал, что как честный человек должен меня предупредить. И сказал, что года три тому назад ты стукнула старшего брата бутылкой по голове, так что он потом неделю провалялся в больнице. И двух подруг отдубасила, еле тебя от них оторвали...

— Меир, — буквально прошипела Орна. — Я пойду на кухню. Обед готовить. От греха подальше...

Она нарочито спокойно и неторопливо повернулась, вышла из салона и аккуратно прикрыла за собой дверь.

— Пцаца на сей раз не взорвалась, — вслух сообщил себе Меир и нехотя повернулся к компьютеру.

Начались мои пытки. Он опять включил программу авточтения, снова боль овладела всем моим сознанием. Нужно было срочно искать противоядие, чтобы не сойти с ума. Я перепробовал различные варианты, но так и не нашел способа уменьшить муки. Где-то около часа меня поджаривали на сковородке. Этот час мне показался вечностью — в аду. Утешило только то, что Меир дал себе обещание в обозримом будущем авточтение не включать. Да, пожалуй, он все-таки испытывал какие-то негативные ощущения от моих страданий.

Прервала мои мучения Орна. Она появилась в дверях и очень спокойно, как ни в чем не бывало, сказала:

— Меир, иди обедать. Сегодня пятница, мне уже скоро пора домой.

Она не притворялась спокойной, скорей всего была действительно не злопамятной. Меир не повернув головы сказал:

— Ты еще не приняла душ и не переделалась. В таком виде я тебя к столу не пушу.

— Но Меир...

— Орна! — это уже с раздражением.

Я услышал, как захлопнулась дверь. Дисциплина в этом доме все-таки была.

Меир с облегчением закрыл компьютер, сделал несколько физических упражнений — мне кажется, это было для него делом привычным — и пошел на кухню. Там вкусно пахло. Оказывается, запахи я ощущал — тоже через обоняние "хозяина". На плите в прозрачной синтетической посуде довольно аппетитно выглядели — не только пахли — цыпленок, тушеные овощи, что-то на первое, кажется это был бульон. Какие-то приправы, мне неизвестные. Увы, слонки у меня не потекли, желудочный сок не стал выделяться... Но хватит жаловаться, я вас уже достаточно приучил к мысли, что у меня остался только голый разум. В том количестве, в котором он у меня был. К сожалению, отсутствие желания участвовать в трапезе оказалось еще не самым тяжелым разочарованием в моем новом качестве. Меня ждали испытания покруче. Но не будем забегать вперед.

На столе стоял только один прибор. Меир проворчал

— Каждый раз одно и то же.

Установив напротив первого прибора ещё один, помыл руки под краном для посуды — ванная занята. Был этим нарушением санитарии очень недоволен — он, кажется, у нас педант. Уселся за стол. Стал про себя ворчать, что с его стороны это непорядочно — готовка в ранее оговоренные обязанности домработницы не входила. Только уборка.

Тут появилась розовая и помолодевшая — еще! — Орна. Вместо рабочей одежды на ней была другая, которая отличалась от предыдущей только тем, что на этот раз верх был темнее низа. Все остальное под копиру, включая замятый воротник.

Она приняла новый прибор как должное, и стала весело раскладывать порции.

Меир все тем же недовольным тоном вслух сообщил то, о чем думал недавно про себя.

Где-то посредине тирады Орна его довольно бесцеремонно перебила:

— Это у нас как чтение недельной главы Торы. Обязательное блюдо. Меир, мы не договаривались и насчет моего питания. Правда? — она уселась напротив и со вздохом продолжила. — Дома бы я не могла готовить то, что мне нравится. И так вкусно. Ты же знаешь, мы очень бедно живем. Во всем отказываем себе. И на наряды тоже денег нет. Все собираюсь на твои деньги купить что-то получше, чтобы не позорить своего знаменитого хозяина. А что делать? Из одиннадцати человек — ждем двенадцатого — только я работаю. Да отец в ешиве стипендию получает. Все остальное на пособие. Каждая копейка на счету.

— И все равно как-то это не хорошо. Мы с твоим отцом договаривались...

— А одному сидеть и жевать покупную пищу лучше? — Орна почувствовала, что переборщила и застеснялась.

Меир только погрозил пальцем. А сам подумал, что он действительно стал привыкать к нормальной еде и к общению с "этим нахальным младенцем". Вот для сравнения, по субботам к нему приезжает Ронит, но во-первых, она любит, чтобы её угощали и за ней ухаживали, а потом... Нет, с имеющей первую академическую степень девичей разговор не слишком получается. Правда, зато отлично получается все остальное, потому что, пожалуй, только это остальное по-настоящему Ронит и интересует.

А Орне ещё все в этой жизни интересно, и она слушает Меира как пророка. Хотя не боится вступать в споры и пререкания. Ну, это у неё типично еврейской черта — твердая вера совместно с неукротимым желанием возражать... Но все в пределах естественного такта, который неожиданно для Меира оказался у почти беспризорного члена многодетной семьи. Все-таки уважение к старшим было в их среде, скорей всего, органичным. Одна из немногих с точки зрения Меира положительных черт ортодоксального воспитания. Зато бесконечные условности, ограничения, ханжество. И даже невежество во всем, что касается современной жизни. Хотя "нахальный младенец" с этим невежеством борется по собственной инициативе и безуспешно. И говорит вполне прилично, куда лучше, чем заиклинные только на одной Торе ортодоксы, с которыми Меиру доводилось общаться...

Они с аппетитом ели, переговаривались друг с другом привычно и неторопливо. И обед и беседа им давались легко. Время от времени наступали естественные паузы. А когда кто-нибудь продолжал заброшенную раньше тему, то другой сразу улавливал, о чем речь. Подхватывал мысль без напряжения. По-моему, это было признаком взаимопонимания. Так было и при очередном витке разговора.

— А кто вас заставляет? Зачем иметь десять детей...

- Пока девять...
- Если их нельзя содержать прилично. Это же люди, а не стадо баранов.
- Господь нас учит...
- Не наговаривайте на него. Если вам поверить, он какой-то, садист.
- Меир, не богохульствуй!.. — Орна в ужасе закрыла глаза. Потом открыла. Меир по-прежнему сидел на месте неспеленный. Тогда она мысленно искала возражения и конечно нашла стандартное и привычное.
- Если бы не мы, то евреев бы уже давно не было. Много веков мы хранили... Меир только пожал плечами.
- Я не спорю. Но сколько можно жить тем, что было? И это не повод, чтобы тащить всех за волосы назад к предкам. В пещеры. Орна, я не богохульствую. Это вы возводите на бога напраслину. Зачем он вас создал? Чтобы вы отказывали себе в радости, соблюдали кучу мешающих жить условностей? Носили неудобную одежду? Рожали бездумно, безответственно и без конца? Для этого вы появляетесь на свет?
- Господь сказал: "Плодитесь, размножайтесь".
- "Соображайте, когда размножаетесь", — этого он не сказал?
- Орна собралась с силами и ответила на пределе серьезности:
- Нас бог создал для того, чтобы мы ему служили и славили его. Мы народ бога. Служить ему — главное в жизни еврея. И славить.
- Меир неожиданно и довольно схибно засмеялся:
- Это ж надо до такого додуматься — бог создал нас для того, чтобы ему служили и его славили. "Я сам их создал специально для того, чтоб они меня же и славили!" Это что-то запредельное. Такое тщеславие! Это чересчур даже для бога. Нет, вы определенно на него наговариваете. Ваши раввины. Если пастырь говорит: "Главная цель человека — служить богу, для этого вас господь создал", — все, с этим пастырем и с его богом не о чем больше разговаривать.
- Орна забыла закрыть рот. Такие мысли в её юную голову не приходили. А Меир продолжал с ещё большим сарказмом:
- И уж если вы ему служите, то пусть он вам и зарплату выдает. Почему вы сидите на пособиях государства, то есть за счет работающих?
- Прямых возражений Орна не нашла, поэтому просто перешла в контрнаступление по проверенному принципу "сам такой?".
- А что, лучше так, как у вас? Ходить голыми, всем на показ? Не жизнь, а какая-то сплошная собачья свадьба. Это лучше? — чувствовалось, что возмущение в ней зрело давно. — Содом и Гоморра какая-то.
- Причем тут Содом и Гоморра?
- Орна покраснела, долго колебалась, видно было, что она изо всех сил старается сдержаться. Уважение к старшим, к хозяину и все такое прочее... Но соблазн оказался сильнее.
- Меир, я каждый день убираю твою кровать. Я же не слепая. Два а то и три сорта шпилек утром... и волосы разного цвета...
- Мне показалось, что Меир покраснел. Во всяком случае, должен был бы по моему мнению...
- Все, детям до шестнадцати лет это кино обсуждать не разрешается.
- Мне уже шестнадцать.
- Смотри, как бы я не превратил тебя в соляной столб. Тогда будет и Содом и Гоморра.

Нет, мне показалось. Мой "хозяин" никак не реагировал на разоблачение. Он искренне считал это вполне нормальной ситуацией. Впрочем, я не был уверен в том, что понял Орну правильно.

Но судя по всему, мои подозрения имели основания. У Меира действительно был дефицит моральных установок, на мой взгляд, даже минимальных. Когда Орна встала и направилась к мойке для мытья посуды, он, глядя ей вслед, мимоходом, небрежно подумал:

"Интересно посмотреть, какая у неё фигура под этой хламидой. Как-нибудь стоит вроде бы случайно заскочить в ванную, когда она будет под душем". Я возмутился до крайности, буквально вскипел от такого цинизма. Словно в ответ Меир только пожал плечами:

"А что такого? На востоке девушки взрослеют рано".

И даже пошел дальше:

— Интересно, зачем господь создал твое тело, если его никто не видит и никогда не увидит? Даже муж.

Орна покраснела до корней волос. Отвернулась к мойке. Но промолчала.

Они были, безусловно, из разных миров.

Утешало только одно — нетерпимости в их отношениях, несмотря на противоречия, не было. Меир разговаривал с ней с мягкой сочувственной иронией, а она в свою очередь старалась не переступать границы уважительного отношения к его возрасту, положению и знаниям. Разговор продолжался все так же спокойно, без внутреннего напряжения. По-прежнему неторопливо, с паузами. Как ни странно...

Орна быстренько вымыла посуду, протерла стол. Сказала, что список покупок на следующую неделю висит, как обычно, на дверце холодильника, и попрощалась до воскресенья. В будни она появлялась после четырех часов дня, потому что училась в девятом классе — в переводе с Меира на русский — церковно-приходской религиозной школы. Разумеется, еврейской. В том, чему их там учили, опять-таки по мнению Меира, была только одна приятная идея: женщина произошла не от обезьяны, а из ребра Адама. Мысль, что женщина родом из обезьян была ему неприятна. Мужчина еще куда ни шло. Все остальные темы обучения в реальном мире применения не находили. Я не берусь оспаривать это мнение. Все-таки ему виднее...

Орна ушла. Меир побродил по кухне, попытался что-нибудь положить на место — ничего подходящего не нашел. "Младенец" все убрал качественно.

— Ну что ж, пора на заслуженный отдых, как обычно, — громко сказал он. Я обратил внимание, что у него уже появилась привычка одинокого человека — думать вслух.

Он на скорую руку принял душ. Стол и кресла поставил на место, пульт вернул на прикроватный столик — аккуратный и педантичный холостяк. Кстати сказать, когда просыпался, то обязательно снова переносил стол вплотную к экрану. И не лень было? Снял шорты и улегся в кровать. Затем связался с секретаршей и вежливо попросил позвонить ему через два часа. Как обычно. А пока ни с кем не соединять.

Через несколько минут он уже спал. Это и было — "как обычно". Его мозг при столь напряженной работе нуждался в обязательном дневном отдыхе.

А я? Я то ли дремал, то ли бодрствовал. Стало довольно темно и тихо. "Хозяин" почти отключил мои контакты с внешним миром. Наконец-то меня перестала

оглушать масса новых впечатлений, и можно было попытаться хотя бы приблизительно представить себе, что меня ожидает. Останусь ли я навсегда "пришпиленным" к Меиру, или в конце концов сольюсь с ним и исчезну навсегда? Скорее всего второе. Никаких даже самых туманных ощущений, что кто-то живет внутри моего сознания, у меня никогда не было, и вероятно точно так же произойдет и с Меиром. Вряд ли мой случай станет исключением из правил.

А хотел ли я им стать? Рано делать выводы, да и приглашения я еще не получил. Придется ждать развития событий.

Мои невеселые размышления были прерваны на самом интересном месте. Внезапно словно в тумане появилось цветное изображение. И звук. Приглушенная космическая музыка. Изображение становилось все более четким, но по-прежнему фантастическим, нереальным. Я понял — Меиру что-то снится. Да, это был сон.

Голубое небо. На белом облаке весь в белоснежных одеждах сидел, судя по всему, бог. Он был не то очень обижен, не то рассержен поведением и образом жизни Меира.

— Зачем ты живешь, без цели и без смысла? Одно легкомыслие и цинизм. Как бабочка-однодневка — строго, но почему-то голосом Шимона Гершоя спросил бог. И добавил уже голосом Орны. — Дела вокруг такие, что пора всем о душе подумать. И тебе тоже. Как бы не опоздать.

Меир стал шевелиться и даже постанывать.

Я присмотрелся к богу. Он был лысым. И кого-то мне напоминал. Туман рассеивался, и я узнал ... себя! Вот это да! Как я мог сниться Меиру, который не только меня никогда не видел, но даже не подозревал о моем существовании? Так значит связь все-таки существует?

Меир вздрогнул, проснулся и сел. Тряхнул головой, прогоняя наваждение.

— Что за черт! Приснится же такая чушь. Лысый господь бог! Тьфу, какая гадость.

Это уже было обидно...

Меир снова лег, перевернулся на другой бок и через минуту спал сном праведника. Железная нервная система. Можно только позавидовать.

А я продолжал думать свою думу. Но с постепенно угасающим энгузиазмом. Мое сознание тоже нуждалось в отдыхе.

Элиягу

Очнулся я от нескольких вспышек света. Это "хозяин", промаргивался, что вполне естественно для человека после здорового сна. Потом мы оба сладко в унисон зевнули. Он потянулся, бодро вскочил с кровати и снова сделал несколько физических упражнений — к этому я уже стал привыкать. Потом душ, потом стакан чего-то непонятного, заранее приготовленного Орной — он не забыл её мысленно поблагодарить. Потом Меир вернулся в салон, решительно воссоздал рабочее место и уселся перед компьютером. А я отчаянно и безнадежно то ли взмолился, то ли просто завыл — нет, умоляю, ни в коем случае не включай свою адскую машину авточтения!

Меир включил компьютер. И застыл в нерешительности.

"Чем заняться? Книгу Гершоя я уже днем закончил. По плану нужно бы пробежать роман мадам Бейль "Я на всех и все на мне", эротическая муть. Женщины, как всегда, в первых сексуально озабоченных рядах. Не вдохновляет..."

У меня появилась надежда, и я добавил стенаний и даже угроз. В том смысле, что я могу двинуться, как говорят в Одессе, мозгами, а это дело заразное. Его мозги размещаются попеременно с моими. Но больше, конечно слезно молил.

"Ладно, — решил "хозяин", — начну писать рецензию на Гершоя".

На этот раз я издал такой вопль восторга, что если бы мог действительно зазвучать, то заткнул бы за пояс любого индейца или Тарзана.

"Смотри ты, даже настроение улучшилось, — одобрил мои старания "хозяин". — А действительно, до чего нелепо тратить силы на просеивание этой желтой мути. И потом рекомендовать людям оглушать себя всякой чушью. И сам волей-неволей становишься идиотом. Все-таки при чтении никогда не удастся полностью отключать мозги. И все труднее их промывать..."

Нет, что ни говорите, а связь между мной и "хозяином" прослеживалась. При должной настойчивости я мог бы попытаться сыграть роль серого кардинала.

Меир начал печатать будущую рецензию. За этим процессом я мог следить без напряжения. Даже читать, потому что он писал по-английски. Этот пока еще полуфабрикат был неглуп, оригинален и, безусловно, вызывал интерес. Мое мнение о способностях "хозяина" находило реальное подтверждение.

Так мы дружно работали часа два. Прервал работу зуммер мобильного телефона. Он был в кармане шорт Меира. Значит, мобильные телефоны дожили и до их времени...

Я услышал мужской очень напористый и решительный голос.

— Привет, Меир. что новенького?

— Привет, Эли. Все хорошо. Работаю.

— Брось, — безапелляционно заявил Эли. — Я знаю, что по пятницам ты работаешь до шести. А сейчас шесть минут седьмого. Дружище, я недалеко от тебя. Еду в часть. Хочу к тебе заехать на полчаса. Есть серьезное дело.

Меир расстроился. "Знаем мы твое дело. Опять Авива. Ты меня достал до печенок."

Но вслух вежливо сказал:

— Я хотел поработать. А о чем пойдет речь?..

— Это не телефонный разговор, — отрезал Эли. — Буду через двенадцать минут. Виски у меня с собой. Сто долларов бутылка, вкус изумительный.

И он повесил трубку.

"Я никогда не мог с ним бороться, — безнадежно подумал Меир. — столько лет его знаю и не найду противоядия. Он мной командует, как своими солдатами. Впрочем, он с детства был такой. Как танк. И кличка в классе была у него "Миркава". Еврейский танк".

Судя по командирскому голосу, мне казалось, что должно появиться что-то такое бравое и подтянутое -- военная косточка. Офицер лучшей армии востока. И большое впечатление на меня произвело указанное время прибытия: не через десять или пятнадцать минут — как сказал бы человек гражданский — а через двенадцать. Но получилось не совсем так.

Где-то через полчаса раздался звонок в дверь. Меир пошел открывать. На пороге появился человек в военной форме, которая довольно небрежно сидела на нем. Пилюлька в перекрученном погоне. То ли гимнастерка, то ли рубашка цвета хаки была слегка скособочена. Брюки слегка вытянуты на коленях и немного помяты. Ботинки грубые, на толстой подошве, нечищенные. Нет, подтянутости и молодцеватости в нем я не обнаружил. А время прибытия... тут армейская привычка

указывать точные сроки боролась с израильской тенденцией вечно опаздывать. Побеждала тенденция.

В последнее посещение Израиля я убедился, что в чрезмерной аккуратности и подтянутости израильских военнослужащих от рядового до генерала обвинить нельзя. Скорее наоборот. Но армия-то воюет хорошо! Может действительно главное — чтобы солдату было удобно? Не знаю. А с другой стороны вроде бы разболтанность... Нет, не берусь судить.

Но вернусь к Эли. Среднего роста, крепкого телосложения. Есть подозрение, что в будущем будет склонен к полноте. Но пока это только намек на нее. Темные, коротко подстриженные волосы. Продолговатая с довольно мощными челюстями физиономия. Лицо — несмотря на загар — выдает европейское происхождение, кожа от природы светлая. Темные очки с диоптриями не снимает: не то дальновзоркость, не то близорукость. Довольно симпатичный, какая-то мужественность перемежку с легкой небрежностью в нем есть. Вполне может нравиться женщинам. Это все я определил по внешним параметрам. А внутреннее содержание...

Он пробыл у нас около часа, и за это время у меня сложилось довольно полное впечатление о нем. Помогли мне в этом его разговорчивость и саркастические возражения и замечания Меира, чаще всего мысленные.

Родителей Эли привезли из Польши ещё в детском возрасте. Так что он был настоящим сабром — рожденным в Израиле. Их семья покинула Польшу в конце семидесятих годов прошлого столетия. Тогда, когда партийный босс Гомулка объявил "пятой колонной" последние тридцать тысяч евреев, еще не убежавших от местного социалистического антисемитизма. Это были жалкие остатки некогда мощной диаспоры. Конечно же, вся семья изгнанников стала убежденными сионистами — не без помощи польской общественности. А у Эли странным образом сочетались еврейский патриотизм и гордость за свое европейское происхождение. Он объяснял это тем, что каждый еврей должен помнить не только о своих древних национальных корнях, но и корнях галутных. Впрочем, Меир считал, что в этом есть скрываемое даже от себя сознание превосходства ашкеназов перед сефардами. Иначе почему бы Эли время от времени смачно произносил "пся крев" — других польских слов он уже не помнил. И слишком часто повторял фразу "ваша восточная ментальность..." по поводу и без повода.

Они учились в одной школе, довольно часто сталкивались — Израиль маленькая восьмимиллионная деревня. Но настоящей близости между ними не было. Эли был человеком активным, боевито-политизированным и в этом смысле, безусловно, мог считаться полной противоположностью Меиру и его демонстративно эпикурейскому отношению к жизни. Я так до конца и не выяснил, была такая позиция моего "хозяина" протестной или вызванной необходимостью — безнадежным и бесконечным напряжением.

Но в последнее время Эли зачастил. И причину этого ни от кого не скрывал — он явно "запал" на Авиву. Она — по его убеждению — была самой серьезной женщиной в их компании, и если бы не разлагающее влияние общества и лично Меира, из нее вполне мог бы получиться отличный человек. Это следовало понимать так — человек достойный самого Эли. К этому времени Меир уже практически разошелся с Авивой и переключился на Ронит. Что означает понятие "практически", которое мысленно употребил Меир, я тогда не понял. Но, опять таки внутренне, Меир соглашался с Эли и по поводу достоинств Авивы и по поводу характера его негативного влияния. Но особого раскаяния в нем я не обнаружил. До сих

пор ни в чем похожем на самокопание, или, упаси бог, раскаяние "хозяин" мною замечен не был.

Все усилия и недюжинное упорство Эли направил на то, чтобы оторвать Авиву от этого порочного окружения. И сейчас он приступил к намеченной цели сразу же после обычных для израильтян автоматических приветствий:

— Что слышно?

— Все в порядке. Что нового?

— Все прекрасно.

Отодвинув плечом зазевавшегося Меира, Эли прошел прямо на кухню, на ходу вытаскивая из кармана брюк бутылку виски с эффектной наклейкой.

— Давай стаканы и маслины, я сейчас еду на границу с Сирией по меньшей мере на неделю, неплохо бы минералки, и хочу кое о чем тебя попросить. Это касается Авивы.

"Ну вот, началось", — безнадежно подумал Меир.

— Насколько я понял.. сыр тоже можешь добавить, у тебя с Авивой все давно закончилось?

— Закончилось, — соврал Меир. Точнее подумал, что соврал. Интересно, почему? Вроде бы действительно закончилось?

— Я очень хотел бы, чтобы ты не тягивал её в ваше болото.

Эли не церемонился. Меир на это отреагировал с ленивым безразличием. Достал банку маслин, тарелки, вилки. Сыр. Попутно пытался поменять тему, но неудачно.

— Постой, ты же должен быть на территориях?

Эли прекратил разливать виски и уставился прямо нам в глаза.

— Откуда ты знаешь? А где минералка? Ты опять разговаривал с Авивой?

Меир, я же просил!

Слово "просил" звучало, как "приказал".

— Нет, — соврал Меир, — Ронит сказала, что ты все время на территориях.

Эли долил виски в свой стакан.

— Лехаим.

— Лехаим.

Этот тост я знал и без перевода.

Они сели и стали закусывать маслинами и сыром.

— Изумительное виски.

— Прекрасное, — соврал Меир. Виски ему не нравилось.

— Я скажу тебе напрямую, не люблю хитростей... Сыр острый, это хорошо. Надеюсь, что ты не будешь с ней созваниваться, а тем более видеться. Оставишь её в покое.

— Конечно, о чем речь, — соврал Меир, даже не моргнув глазом. Если бы моргнул, я бы это заметил.

— Я прошу тебя по-хорошему.

— А что, может быть по-плохому? — не выдержал пассивный нейтралитет Меир.

— В наше сумасшедшее время чего не бывает. Я твердо решил насчет Авивы. А меня, подвинь мне маслины, ты знаешь остановить трудно, пся крив.

— Тебя не остановишь, — опять соврал Меир. На него командирские замашки Эли впечатления не производили.

На лице Эли отразились колебания: сообщать — не сообщать. Решился.

— Знаешь... я предложил Авиве выйти за меня замуж.

Меир чуть не сказал "знаю". Вот был бы скандал! Но вовремя спохватился и соврал:

— Откуда мне знать? И что она ответила?

— Обещала подумать.

Мне показалось, что за командирским апломбом Эли скрывалось беспокойство. Во всяком случае в том, что касалось Авивы.

Следующие минут двадцать продолжался примерно такой же разговор на ту же тему. Но после третьей «порции» Меиру все-таки удалось изменить направление беседы.

— Зачем ты направляешься на границу с Сирией? Да ещё в пятницу. Вы же обычно по субботам дома?

И Эли с удовольствием пересел на своего запасного любимого конька, а скорее даже на основного. Борьба, война и политика — все это для него было одним общим понятием.

— А кто-то должен защищать таких как ты, которым на все наплевать? Кто-то за вас должен это делать?

— Может, если бы вы нас меньше защищали, на нас бы меньше нападали... — не удержался Меир.

Он подумал, что два политически зацикленных клиента в один день — это уже слишком. Правда, при всей увлеченности Шимона и Эли политикой, их позиции были прямо противоположны.

Оказывается, Эли был не каким-то специфическим израильским явлением, аналогичные идеи стали программой для значительной части населения, которая в мое, то есть в наше время, еще считалась прогрессивным человечеством. Агрессия стала проникать и в доселе благополучные либеральные страны. Там появилось новое явление — разрастались воинственные общественные отряды борцов с эмигрантами. Нелегальных эмигрантов (а за компанию не только нелегальных) вылавливали и буквально вышвыривали за границу. Те отвечали уличными беспорядками, актами насилия и вандализма. И, естественно, терактами. Это в свою очередь вызывало... словом, известная всем цепная реакция. Израиль уже не является исключением, просто везде свои нюансы общих неприятностей.

Патриоты для решения проблем признавали только силу. Их взгляды сводились к усовершенствованному известному изречению Торы по поводу ока и зуба: нужно вынуть око и вырвать зуб у противника раньше, чем он это сделает тебе. Просто и убедительно.

— Ты помнишь, был черный президент США? Он предложил протянуть руку всем, кто разожмет кулак. И что получилось? Пшик. Мы должны крепко сжать кулаки и не бояться бить ими. Речь идет о существовании нашего образа жизни в борьбе цивилизаций. Они понимают только силу. Исламское подбрюшье нашего континента...

Время от времени Эли добавлял в пустеющие стаканы виски.

Постепенно Меир стал отключаться и не слишком вникал в его рассуждения, а значит, ничего не понимал и почти ничего не слышал и я. Но вот наше внимание привлекла новая тема.

— Я тебе скажу по секрету то, что и так знают многие. Те, кому положено. На следующей неделе мы начнем мощным наступлением оборонительную войну

против Сирии. Поэтому я туда и направляюсь. На границу стягиваются наши войска. И сирийцы не дремлют.

— Они собираются на нас напасть?

— Неважно, мы должны их опередить. Сколько можно терпеть? Они требуют вернуть Голаны, поддерживают палестинцев, вооружают Хизбаллу. Надо отбить у них охоту раз и навсегда. Но это не так просто. У Ирана наготове ракеты. Но и мы не лыком шиты... У нас тоже есть атомное оружие... Вопрос идет о жизни и смерти... Слушай, кончились маслины... Тут нельзя ограничиваться полумерами...

Меир молодец, он изо всех сил старался не слышать — и не переводить мне — разглагольствования Эли. Которые, к сожалению, имели серьезные основания и вписывались в картину, нарисованную Шимоном Гершоом. Я стал понимать, почему Меир не включает новостные передачи телевидения. Одной утренней с лихвою хватало на весь день.

Когда Эли поднялся и направился к выходу, его основательно качало. К сожалению, у него была не очень типичная для евреев слабость, возможно, связанная с европейскими корнями. Увы, эмигранты из стран Восточной Европы нередко грешат этим. Он иногда перебирал спиртного, правда довольно редко и только вследствие серьезных причин. В таком состоянии Эли мог позволить себе лишнее, становился не очень управляемым. Сейчас перспективы на сирийской границе наверняка были солидным основанием для стресса. А Меир почему-то подумал, что фiasco его планов по поводу Авивы могло вызвать аналогичные последствия. Если не более серьезные.

— Как же ты в таком состоянии поедешь?

— Все в порядке. У меня за рулем солдат. Ну ладно, прощай друг, — и он обнял Меира. — Я еду исполнять свой долг, а ты добросовестно исполняй свой.

— Какой? — не понял Меир.

— Для Авивы ты умер. Пока умер условно, — последнее замечание прозвучало двусмысленно.

— Не сомневайся, — последний раз соврал Меир.

Когда за Эли закрылась дверь, Меир подумал:

"Нужно позвонить Авиве, чтобы она не проболталась. Ну и денек. Эли догрузил по полной программе. Это все реально. Такие как он не шутят."

Меир зябко передернул плечами.

"Сирия, Иран. Рукой подать. Ну, после таких новостей, надеюсь, мы загугляем завтра на всю катушку".

Мы поужинали — очень легко — и отправились спать. Мне кажется, я отключился раньше, чем "хозяин". Сегодня я это заслужил.

O tempora, o mores!

Утро началось так же, как и предыдущее, за одним приятным исключением — секретарша молчала и телеэкран не включался. Я понял, что по субботам Меир давал себе полный отдых — без новостей и без работы. Я воспрянул духом. Отлично!

Зарядка, на сей раз легкая. Душ. Легкий завтрак. Затем состоялась субботняя часовая пробежка вдоль морского побережья. Я позавидовал Меиру, наверняка он ощущал приятную легкую усталость. Я же только испытывал раздражение, по-

тому что изображение непрерывно в течение часа дергалось вверх-вниз при каждом толчке бегуна. Это вполне могло бы привести к головной боли, если бы она — голова — у меня была. Но в конце концов даже скачущий прекрасный пейзаж все-таки примирил меня с действительностью.

По возвращении домой, естественно, опять душ. Затем Меир открыл баночку со светлой жидкостью, на которой я успел заметить надпись "Enegy" — какой-то энергетический напиток — и расправился с ним в два глотка. Надел футболку и шорты, сунул в карман список Орны и отправился на машине делать покупки на неделю. Поверьте, машина была самая что ни на есть обычная и далеко не новая. Красная Вольво. Она не заслуживает описания. Не буду повторять и восторгов перед окружающей природой, тем более что ехали мы всего несколько минут и ничего нового я в принципе не успел увидеть. Магазин был недалеко от поселка.

По дороге Меир мысленно и временами вслух ворчал, что Орна и компания не только сами себе портят жизнь, но и других не забывают. В единственный выходной день в Израиле по их требованию закрыты все магазины, кроме арабских. Но природа не терпит пустоты, и в арабском магазине, в который мы вошли, жизнь была ключом. Наглядное доказательство того, что самое невыгодное дело в мире — принципы.

Магазин был большой, с тележками, все как положено. Супермаркет. На полках лежали... Короче говоря, признаков того, что прошло тридцать лет на прилавках я не обнаружил. А вот покупатели представляли интерес. Это был Вавилон. Как писал когда-то Пушкин в одной не слишком серьезной сказке: "Тут их было всех сортов, всех размеров и цветов". Правда, он писал не о посетителях магазина, уж простите и мне некоторую фривольность...

Беленькие, такие как Авива. Смугленькие, такие как Меир и Ронит. Чуть смуглее, такие как Саид с палестинцем. Черные — абсолютно — эфиопы. Серенькие — вероятно смесь эфиопов с белыми, такая смесь дает сероватый оттенок кожи. И довольно большое количество желтеньких, с косым разрезом глаз. Последние в Израиле проходили под обобщенным названием "филиппинцы". Их долго и в больших количествах завозили в качестве гастарбайтеров. Вполне естественно, не мытьем так катаньем, они оседали и получали гражданство. Единственное в мире национальное еврейское государство выглядело очень пестрым. И я подумал, что население в мире перемешивается все больше и больше. Это неизбежно. Неотвратимо. Борьба за национальную идентификацию, за чистоту веры или расы просто безнадежна.

Тем временем Меир связался по мобильному телефону с Авивой и рассказал о визите Эли. Предупредил, чтоб была осторожна. Обещал заехать за ней часов в восемь вечера. Даже воспоминания о слове, данном Эли, я в его мыслях не обнаружил. Такие мелочи Меира не волновали.

День прошел без всяких приключений. Он пообедал, потом поспал — ночь предстояла нелегкая. Я уснуть не мог, поток впечатлений извне уменьшился, и я снова затосковал по несвершившемуся прошлому. По Марине. Я даже кажется почувствовал свое сердце. Во всяком случае оно определенно ныло.

Часов в восемь Меир стал собираться. Надел красивую полупрозрачную рубашку, выгодно подчеркивающую его мускулистый торс. Полоска живота оставалась голой, так сейчас одеваются летом наши молодые девушки, впрочем и некоторые немолодые тоже. Те, кто не может примириться с возрастом.

События в этот вечер развивались по нарастающей.

Сначала мы заехали за Авивой, потом за Ронит. В сумме дорога заняла минут двадцать, не больше. Было уже темно, красот вокруг я не различал, тем более, что шоссе было освещено скудно. Гораздо хуже, чем в мою экскурсионную поездку по Израилю. Наверно к тому времени обострятся проблемы с арабами, усилятся нефтяной кризис и тому подобное...

Авива нас встретила в полной боевой готовности. Ронит была не готова. То и другое соответствовало моим ожиданиям. Макияж, прическа были у Ронит полностью оформлены. Но еще несколько минут она дефилировала взад и вперед в таком виде, в каком появилась на телеэкране вчера утром. Кстати сказать, я стал к этому привыкать и уже не выглядел дикарем в своих собственных глазах. Не знаю, насколько её сборы могли затянуться, если бы Меир очень спокойно не сказал:

— Еще пять минут — и мы уезжаем.

Результат был налицо — Ронит не мешкая надела платье, всунула ноги в туфли, взяла сумочку и объявила:

— Я готова.

Наверно Меир в таких случаях угрозы выполнял.

Девушки были в длинных платьях. Вечерних. Очень красивых. Ронит в светло-голубом, с глубоким вырезом. Авива в темном, с не менее глубоким декольте и открытой спиной. Обе -- просто очаровательны. Впрочем, признал я без ложной скромности, Меир тоже был им под стать.

Интересно, где должен произойти встреча? В ресторане, в театре?

Но к моему удивлению мы вернулись в квартиру Меира.

Один стол, четыре кресла, где разместятся гости?

— Все на кухне и в холодильнике. Как обычно. Девочки, за работу.

Меир перенес стол на центр комнаты, к нему придвинул кресла, но расставил их не вокруг стола, а только с одной стороны. Это я понял — чтобы можно было смотреть на телеэкран. Рядом поставил прикроватный столик с пультом.

Авива принялась готовить салат — насколько я успел заметить — из овощей и фруктов, комбинированный. У нас такое не принято. Ронит раскладывала по тарелкам маслины, сыр, фрукты и все это переносила на стол. Потом посреди натюрморта появилось две бутылки воды, бутылка вина и бутылка виски. Бокалы, салфетки, приборы — все как положено, в быстром и, по-видимому, привычном темпе.

Когда они все закончили, уселись за стол и выпили по бокалу — женщины вина, Меир виски — зажегся один боковой экран и в нем появилась примерно такая же компания, только столика было два и соответственно за ним и народу побольше. Не прошло и двух минут — на другом боковом экране появилась третья, еще более многочисленная группа. Почти одновременно! Удивительная пунктуальность для израильтян. Приветствия, шуточки, тосты — полное ощущение, что компания одна и помещение одно, настолько качественным было объемное изображение. А стереофоническая система подавала звук точно из той точки, где был говорящий. Наверняка новые технологии.

Все чувствовали себя свободно, подходили с двух сторон к вроде бы не существующей, во всяком случае невидимой стене, общались накоротке. Даже чокались, и была полная иллюзия, что это раздается звон бокала о бокал. Наконец-то я увидел в будущем что-то по-настоящему новое и непривычное.

Меир вчера говорил Авиве и Ронит: "Наши предлагают собраться, вечером, как обычно". Значит это была его постоянная компания. А может в недалеком будущем и моя. Поэтому я наблюдал за всем происходящим с вполне объяснимым

интересом, старался ничего не пропустить. Компания на первый взгляд показалась мне симпатичной.

Женщины, так же как наши с Меиром спутницы, были тщательно причесаны, одеты в длинные, я бы сказал роскошные вечерние платья, туфли на высоких каблуках. Смотрелись они очень эффектно. Смелые разрезы и вырезы платьев не слишком скрывали их женские прелести.

Присутствующие были довольно молоды. Мужчины в районе тридцати, женщины немного моложе. Выглядели свежими, загорелыми, можно смело утверждать, что от непосильной работы и недоеданий никто из них не страдал.

Компания была этнически смешанная. Одна пара определенно арабы; я так решил, потому что мужчину звали Ахмед, по-моему, веское основание для такого подозрения. Молоденькая и очень симпатичная девушка с хитрющими раскосыми глазками явно появилась на свет не без участия филиппинской диаспоры. Правда, эфиопов не было.

Мой педагогический опыт подсказывал, что большинство присутствующих — с образованием. Типичные представители среднего класса, я бы так сказал по первому впечатлению. Идовольно-таки цивилизованные. Не было резких и грубых интонаций, женского немелодичного визга, всего того, чем отличаются компании попроще. Нет, эти молодые люди были довольно воспитанными и цивилизованными, во всяком случае по форме. А содержание...

На мой взгляд, цивилизованность и культура уже давно не одно и то же. Хотя понимаю, что это спорное утверждение представителя отживающего поколения. Я считаю, что не может быть культуры без хоть какого-то знания хорошего искусства, литературы и без — скажу высокопарно — хотя бы намек на идеалы. В беседе, даже застойной, должны быть какие-то следы этих понятий. Но даже следов и намеков подобного в их разговорах я не заметил. Правда, я не все и не всех мог слышать и понимать — только то, на что обращал внимание Меир. Поэтому выводы, возможно, основываются на неполной информации.

О чем они говорили? Ни о чем. Во всяком случае, ни о чем серьезном. О работе, в том смысле, что она надоела ужасно, и если бы были деньги, то нашлось бы занятие поинтересней. Завидовали Меиру — тому не нужно с утра бежать на службу. Обменивались новостями типа сплетен местного происхождения или почерпнутых из гламурных изданий — конечно, не о политике, упаси бог. Что носят, где купить, как сохранить фигуру, о тренажерах — о здоровье пока еще не очень заботились. Кто с кем и что вытворяет. Самой серьезной оказалась "филиппинка", она попросила у Меира совета, что почитать. Ей бы хотелось что-нибудь полегче и "пожелтее".

— На серьезное у меня нет ни сил, ни желания. Я читаю или десять минут вечером, чтобы уснуть, или в туалете.

Удивления такое отношение к литературе у окружающих не вызвало. Соседи одобрительно покивали головой...

Все сведения я выловил из громких и становившихся все более возбужденными разговоров. Вполне возможно, кроме спиртных напитков, стоящих на всех столах, в ход шла и "травка". Ронит и Меир определенно причащались — угощала Ронит, — а Авива пока воздерживалась.

В самом начале вечера кто-то спросил у Меира, почему их сегодня так мало. Но за него ответила Ронит:

— Шушана со своими укатила на две недели в Европу. А Эли — и она сделала интригующую паузу — сегодня не будет.

— Он в части, на севере, — неохотно дополнила Авива.

Раздался демонстративный вздох облегчения. Кто-то сказал:

— Слава богу, не будет агитировать нас за еврейскую власть.

По-моему, это был Ахмед. Эли с его патриотическими взглядами в фаворе у них не был. А "филиппинка" глядя с почти нескрываемой завистью на Авиву, добавила:

— Но зато Меир сегодня внесет свой посильный вклад в дело обороны Израиля. Вместо Эли...

Мой "хозяин" только улыбнулся в ответ. И подумал:

"Я ей позволю. Если человек хочет, почему не пойти навстречу".

Я сделал вывод, что в этой компании никакие разговоры о смысле жизни, о высоких чувствах просто невозможны. И вообще само собой разумелось, что ни к чему серьезно относиться нельзя. А уж строить далеко идущие планы — признак полного идиотизма. Думали ли они подобным образом, или разыгрывали демонстративный цинизм, не знаю. Но, увы, боюсь, что примерно так и думали.

Невольно мне припомнилось известное по литературе "потерянное поколение". Но оно было результатом уже прошедшей тяжелейшей войны, а это формировалось в предчувствии будущей, которая на глазах становилась настоящей.

Кто-то в соседней комнате громко рассказывал, что следующим летом поедет отдыхать в Финляндию. Говорят, на тамошних озерах до сих пор отменная рыбалка. Меир переспросил:

— Когда, когда?

— На следующее лето.

— По этому поводу расскажу вам свежий анекдот, — предложил Меир.

— Анекдот, анекдот! — все повернулись к нам.

— Хаим спрашивает у Моше: "Сколько тебе лет?" Моше отвечает: "Летом исполнится семьдесят пять". "Э, батенька, — говорит Хаим, — да ты оптимист".

Анекдот был принят на "ура" и наверняка вошел в анналы компании. В течение вечера я не раз слышал, как в ответ на любой глагол в будущем времени следовала немедленная реакция: "Э, да ты, батенька, оптимист", сопровождаемая громким смехом.

Такая вот атмосфера... На ожидание светлого будущего мало похоже...

Но самой популярной темой, я бы сказал общим фоном, были скользкие остроги ниже пояса не только на грани фола, но и далеко за гранью. В этом они оказались поистине неистощимы. Английское слово fuck было самым употребляемым и далеко не самым сомнительным в разговорах.

Вели ли они себя прилично? Пожалуй да, хотя и излишней скромностью не отличались. Пары обнимались, целовались, было и то, что во времена моей юности называлось "обжиматься". Может немного покруче, чем мы себе позволяли. Словом, вполне естественное и ожидаемое в такой ситуации поведение. Одна беда — я не мог понять, кто чей, как говорит молодежь, "френд". А по старой привычке пытался это уяснить. Присутствующие непрерывно совершали за столами броуново движение, но перемена мест на поведение гуляющих абсолютно не влияла. На новом месте те же объятия, те же поцелуи... и те же остроги. У Меира разнообразия было меньше, в пору было ему посочувствовать. И все-таки все происходило — как бы точнее определить — в пределах разумного, без неэстетичных крайностей. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. На известные из истории пиршества эпохи заката римской империи это похоже не было.

Но я уже говорил, что события развивались по нарастающей.

Я бы хотел, пока не поздно, заранее оправдаться. Волей неизвестной мне власти я был присоединен к молодому человеку в самом расцвете сил. Который безусловно имел успех у женщин и не был аскетом, скорее наоборот. И поэтому я не мог — при всем желании — избежать щекотливых положений. Поймите меня, я просто вынужден рассказывать вам обо всем, иначе вы мало что поймете. Мы взрослые люди и знаем, что секс играет серьезную, временами решающую роль в нашей жизни. Как и любовь, хотя эти два понятия все больше и больше отдаляются друг от друга на практике. Разумеется, никаких эротических описаний не ждите, но сами факты и настроения из жизни, как и слова из песни, не выкинешь. Останется пустота.

Но вернусь на вечеринку. Примерно через час на центральном экране на фоне красивых и технически совершенных декораций появились артисты. Зрители радостно их приветствовали, те еще радостней отвечали. Боюсь, артисты уже тоже были «в тонусе», зрители им в этом не уступали, поэтому обстановка была самая раскрепощенная.

Концерт продолжался примерно час. К этому времени они мне... основательно надоели. Темы и тексты выступлений были примерно такими же, как и беседа за столом. Я и сейчас не понимаю, почему зрители смотрят за деньги то, что могут рассказать себе сами, и примерно на том же уровне. Это были все те же «Кварталь» и "Зеркала" с тем же набором острот. Живучий жанр! Должен признать, пошлость не увеличилась, может потому, что резервы были использованы еще в наше время. Иногда остроты рождались прямо на глазах, тяга к экспромту только увеличилась со временем. Но чаще всего роды явно были преждевременными. Кто-то из умных людей сказал, что хороший экспромт должен быть отработан и отшлифован заранее. С нашими артистами этот умный человек пока не встретился.

Наконец концерт благополучно завершился. Продолжением вечера занимался адвокат Моти, человек с остреньким носом и веселыми глазками, из ашкеназийцев. Его Меир называл "половым разбойником" (в моем переводе), и кажется, был с ним дружен. Во всяком случае они несколько раз чокались у стенки и тихонько разговаривали на темных «волонтерок», которых у Моти про его словам было несметное количество.

Так вот этот Моти объявил, что заказал поход в Мюнхенский "Рай", секс парти де люкс. Каждая комната может идти самостоятельно. Это сообщение было встречено бурными аплодисментами, особенно женской половиной.

Я уже не удивился, когда мы, переключив все три экрана — и соответственно попрощавшись с соседями — оказались в центре огромного и богатого помещения "Рая". Музыка, пестрое освещение, помосты, на которых хозяйничали атлетичные красавцы в белых, трикотажных, в обтяжку, как у принца в балете "Лебединое озеро", трико — очень эффектно! А некоторые уже без них — работа есть работа. Вокруг помостов толпы зрителей, они же соучастники.

Веселье было в разгаре, раскованность буквально захлестывала всех. Вот тут пиршества времен распада римской империи могут сравнения и не выдержать.

Мне как-то показывали — я имею в виду наше время — по Интернету такие секс партии. Они и в наши дни не слишком редкое явление. И растущее со дня на день. Я человек старой формации и поэтому спустя непродолжительное время отключился. Нет, человечество даром тридцать лет не теряет.

О, в этом "Раю" были масштабы!.. Думаю, несколько сот человек, как на приличном концерте. Добавьте не меньшее число невидимых гостей, таких как мы. Абсолютное большинство составляли молодые и вполне симпатичные женщины, были и в возрасте, но тоже вполне ничего. То есть я хочу этим сказать, они наверняка могли найти себе индивидуальные развлечения. Что их собрало здесь в таком количестве? Увы, я не только не культуролог и не социолог, но даже не сексолог. Объяснить тенденцию не пытаюсь. То ли причина в боязни "ничего не успеть", как считает Гершой, то ли в этом просто проявилось свойство человеческого характера — не знаю.

В воздухе витало возбуждение, и равнодушных зрителей не было. Помните замечательную фразу из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" — "Танцуют все!?" Это был тот самый случай. Все в той или иной мере были участниками, как пишет обычно в обвинениях прокуратура, "развратных действий" в той или иной степени. Иногда и в самой, самой что ни на есть прямой. А так как бойцов-стриптизеров на всех не хватало, то выстраивались очереди.

С удивлением я услышал, как Меир процедил сквозь зубы: "Собачья свадьба!" От этого циника и вольнодумца я такого не ожидал. Все вокруг были веселы и не скрывали возбуждения. Может только Авива, которая — я заметил — как антенна воспринимала настроения Меира, чувствовала неловкость. А Ронит была всей душой с ними.

Вдруг она радостно закричала:

— Смотрите, смотрите, Шушана. Что она творит! Шушана, Шушана!

— Не кричи, — остановил её Меир, — она, во-первых, тебя не слышит и не видит. А во-вторых, сейчас все равно ответить не может.

Ронит закатилась со смеху:

— Ой не выдержу, сейчас она действительно ответить не может...

— Собачья свадьба, — опять Меир.

— Что ты сказал, какая свадьба?

— Нет, ничего.

О своих впечатлениях вам рассказывать не буду. Для человека, который ничего не чувствует, только видит это все, испытание не из легких. Представьте себе на моем месте высохшую до основания старую деву, которой показали разгул. Этой старой девой был я.

К счастью, и Меир был явно не в настроении. Поэтому несмотря на отчаянные протесты Ронит, минут через пятнадцать-двадцать экраны потухли. Вот преимущество телевечеринок — нажал кнопку и ты у себя дома. Ронит надулась, Авива вздохнула с облегчением. Стали убирать со стола посуду и остатки еды. Когда Ронит была на кухне, Авива улучшила момент и спросила:

— Ты собирался со мной поговорить...

— Не к спеху, Эли не будет целую неделю.

Вошла Ронит, и разговор прервался.

— Ты отвезешь меня домой?

— Авивочка, я выпил. И накурился. Оставайся.

Авива не отвечала.

Меир тоже понимал её без слов, поэтому сказал:

— Не волнуйся, я тоже устал как черт. Обещаю, будем просто спать.

Ронит судя по всему знала, что Меир слов на ветер не бросает, и зло уронила:

— Тогда я тоже бы лучше поехала домой. Может вызовем такси?

— Девочки, вы же знаете. Ездить на такси сейчас тоже не безопасно. Все дороги по субботам кишат обкурившимися юнцами, которые ничего не соображают. Таксисты ездят с автоматами...

— Тем более, мы остаемся не первый раз, — реплика Ронит явно относилась к Авиве. — Но если Меир собирается провести эту ночь, как обещал, то это действительно будет всем нам в новинку...

— Идите под душ. Я уберу на кухне.

Ронит сделала последнюю попытку:

— Ты не пойдешь с нами?

Так вот почему два душа и большая площадь...

— Ронит, успокойся. Идите.

Меир ловко и привычно стал хозяйничать на кухне. Мои ощущения в этот вечер — что-то близкое к брезгливости. И одновременно, подозрение, что я ханжа. Неожиданно Меир вслух сказал, обращаясь, разумеется, не ко мне. В воздух.

— Ай-яй-яй, у миллиарда людей на земле многоженство разрешено.

Чем-то я его все-таки тревожил...

Через некоторое время из душа вышли Авива с Ронит, но не в обычной спортивной форме, как я ожидал, а в очень красивых узорных ночных пижамах и даже в комнатных туфлях. Комплект всего самого необходимого на такой случай они хранили у Меира.

Он принял душ. В салоне была почти полная темнота. И группа заняла явно привычные позиции: Меир на спине в центре, обнимает подруг, их головы на его предплечьях.

Ронит пыталась делать какие-то телодвижения, но Меир прикрикнул:

— Ронит, я же сказал, успокойся.

Она затихла.

Авива тихонько поцеловала Меира щеку. Но подтекст этой ласки был не такой, как у попыток Ронит. Прямо противоположный. И Меир это понял. Он понял, что сегодня для неё последний такой вечер. Она была благодарна ему за то, что он выполняет обещанное. Если бы он начал любовную возню, вряд ли Авива удержалась от участия в ней. Она, во-первых, любила Меира. А во-вторых...

Для тех, кому Авива симпатична — так же как и мне — хочу сказать не в оправдание, а скорее просто в объяснение. Опыт двух проведенных мною в этом мире дней подтвердил то, что она говорила Меиру прошлым утром. Авива почти с детских лет была приучена к тому, что секс это просто секс — и не больше. Что-то вроде приятной игры. В книгах она читала, что есть иные, высокие чувства, связанные с сексом, но воспринимала это как романтические фантазии, не связанные с жизнью. Таков был общепринятый в её обществе взгляд на любовь. Она должна была пройти через необъяснимую и непреодолимую тягу к Меиру, чтобы понять, что кроме удовольствия в этой жизни есть что-то куда более серьезное, есть чувства, которые могут быть источником и других отношений, более значительных и важных.

Впрочем, кажется, я навязываю свое мнение...

Ронит все никак не могла успокоиться. Она совершенно справедливо считала Авиву причиной испорченного вечера, и потому ехидно спросила:

— Ты уже назначила Эли день свадьбы?

— Нет, я передумала. Свадьбы не будет.

— Будешь ждать принца на белом коне?

— Буду.

— Или на красной Вольво.
— Может и на красной Вольво, — согласилась Авива.
Наступила длинная пауза в разговоре. Никто и не пытался уснуть.
Спустя некоторое время Авива спросила Меира:
— Тебе сегодня не понравился "Рай"? Ты же сам упрекал меня в ханжестве.
— Собачья свадьба, — Меир становился однообразным.
Он по аналогии вспомнил автора этого изречения и задумчиво сказал:
— А может наши антиподы все-таки в чем-то правы?
— Кто? Кто? — в один голос спросили Авива и Ронит.
— Кто наши антиподы? Мои соседи, ультраортодоксы. У них строго насчет нравственности. В приказном порядке.
Ронит оживилась.
— Ты что? У меня родственники там. У них вместо любви долг и богоугодное дело.
— Они даже мужа толком не выбирают. Родители им предлагают в лучшем случае пару вариантов, и все, — включилась Авива.
— И не пробуют, как у них секс получится, — это Ронит убивало больше всего. — Рожать всю жизнь от человека, который тебе оказался физически неприятен. Не говоря ни о чем другом. А ведь такое вполне может быть. Ужас.
— Я не верю в нравственность по приказу, — тихо добавила Авива.
— А вообще в нравственность ты веришь? — это прозвучало резко. Меир почувствовал неловкость. Уж кто бы в этом упрекал, но не он. Тем не менее продолжил. — Чертово секс шоу! Вы видели, какой плакат висит при входе? "Содержите в чистоте ваши места общественного пользования!"
— Он давно там висит. Ну, смешно. И что? — хихикнув, встала Ронит.
— А я только сейчас обратил внимание. Проходил мимо, как все... Черт те что!
Я тоже плаката не заметил, но на меня произнесенный Меиром текст произвел просто удручающее впечатление. своей пошлостью. И главное — никто не видит в нем ничего из ряда вон выходящего. Всего-навсего черный юмор, не более того.
Этот вывод тут же подтвердила Ронит.
— Да что такого в этом плакате?
— Ты соображаешь, что стало местами общественного пользования?
— Я-то уж точно соображаю. Ты сейчас скажешь — святая святых. С тебя станет. Но ведь это секс-шоу. Для того туда и ходят. И сегодня это самый популярный, между прочим, проект в Европе и Америке. Обошел по посещаемости концерты поп звезд.
Меир неожиданно, в первую очередь для себя, очень задумчиво и отчетливо сказал:
— А я вряд ли хотел бы стать совладельцем мест общественного пользования. Авива тихонько ойкнула.
Меир спохватился и постарался превратить все в шутку:
— По-моему я становлюсь на старости лет моралистом.
— Действительно, с тобой сегодня что-то творится. Ты стал настоящим занудой, — Ронит ничего толком не поняла, но интуитивно обиделась.
Авива, мне кажется, все понимала, но переживала молча и в разговоры не вступала. Сейчас прозвучал ответ на тот вопрос, который она вчера утром задавала Меиру. Обещанный разговор оказался не нужен.
Наступила долгая пауза. Нарушил её Меир, постарался оправдаться.

— Последние дни со мной действительно черт знает что творится. Ничего не хочу делать, просто отращение ко всему на свете. И то не так, и это не так. Мне кажется, я скоро начну думать о смысле жизни, — его смех прозвучал натужно и искусственно. — Может этот чертов Гершой меня заразил своими "Крайностями"?

И тут неожиданно устами младенца — Ронит — заговорила истина.

— А я знаю, в чем дело! Это у тебя кризис зрелого возраста. Кризис тридцатилетия, так он называется. Я читала во вчерашней газете. Сейчас он косит всех без разбора. Тех, кому в районе тридцати. Как там сказано? Сейчас вспомню. Переоценка ценностей, сопровождается глубокой депрессией. Поиск смысла жизни, все так, как ты говоришь.

И она обратилась к Авиве.

— А ты почему лежишь, как бревно? Не отмалчивайся. Ты читала статью про кризис? Или он у тебя тоже наступил? В твоём возрасте самое время...

Ронит пыталась оживить компаньонов по койке скандалом. Но не получилось. Прервал зуммер мобильного телефона.

— Это мой, — со вздохом сказала Авива. — Эли с проверкой...

— Может не брать трубку, и он отстанет?

— Нет, Меир, он будет звонить до утра.

— Миркава, еврейский танк...

Авива встала, подошла к столу, там лежали их с Ронит сумочки.

— Эли, ты знаешь, который час? Я уже сплю.

— Меир, — зашептала Ронит, — зачем ты её таскаешь за собой? Мне это надоело!

— Тихо, он услышит.

— Пусть слышит. Я сама ему расскажу...

Авива тем временем теряла терпение:

— Не командуй. Я не твой солдат... Я всегда переключаю домашний на мобильный... Эли, ты меня достал. Я выключаю телефон. Делай, что хочешь. Приезжай, проверяй... Бери с собой артиллерию...

Пора их оставить. Я-то отключиться не мог, но вас избавлю от затянувшегося почти до утра бесконечного вечера.

Диагноз профессора Файера

На сей раз обошлось без артиллерии.

Только стало светать, потихоньку ушла Авива. Примерно через час проснулась Ронит — ей тоже нужно было на работу. Перед уходом она все-таки от Меира своего добилась, правда, и сопротивления с его стороны никакого не встретила.

"Если человек хочет, почему не пойти навстречу...".

Только одна подробность, и то потому, что это имело последствия в дальнейшем.

После совместного с Меиром мытья в душе — не пропадать же излишней площади — Ронит вышла из кабинки и подошла к умывальнику и зеркалу. Там на полках стояла целая батарея в расчете не только на хозяина, но и на разнообразные вкусы посетительниц. А их, судя по всему, хватало, потому что полка напоминала небольшой суперфарм. Ронит в зеркале обнаружила у себя где-то какой-то прыщик и попросила Меира дать йод. Он вручил ей что-то в зеленом пузырьке. Предупре-

дил, чтобы она не запачкалась, так как это зелье отмывается с трудом. И тут же Рониг залила яркой зеленью сверкающий белизной умывальник. Наш педант-холостяк был этим расстроен, вынул из стоящей отдельно тумбочки какой-то флакон, резиновые перчатки и поручил безответной Рониг все смыть. И опять предупредил, что моющее средство очень сильное...только в перчатках... чтоб не попало на тело... не говоря уже о глазах... обязательно положи на место в тумбочку... С тем и ушел досыпать.

Потом мы с "хозяином" спали часов до одиннадцати. И он опять проснулся раньше меня. Немного постонал, вслух пожаловался, что "после вчерашнего" болит голова. Я впервые почувствовал преимущество — у меня ничего не болело.

После душа и обычного завтрака мы уселись за компьютер. Меир стал дорабатывать рецензию на книгу Гершоя. Она рождалась легко и явно удавалась, может быть потому, что неожиданно нашла отклик в его душе. Мы с "хозяином" это отметили с обоюдным удовольствием. И я тоже увлекся, время летело незаметно. Судя по всему, к четвергу она будет вчерне готова, но рассказывать — подумал Меир — автору об этом ни в коем случае нельзя. Чтобы заработать такие деньги нужно время, хотя бы месяц, иначе это будет выглядеть просто неприлично.

Работу прервал осторожный стук в дверь. Появилась Орна, значит четыре часа. Она вежливо поздоровалась предложила что-нибудь перекусить. Меир дисциплинированно прервал работу и пошел на кухню. Его уже ждали бутерброды и кофе. С молоком. Ивритяне пьют с молоком.

— Орна, мы вчера немного насорили. Ты начни с кухни, потом душевая, прихожая. Можно во дворе прибрать. А завтра уберешь салон.

— Хорошо. Как скажешь. Еще кофе?

— Спасибо, можно...

— Меир, какой-то дедушка новый у вас в поселке появился. Ты его знаешь? Каждый раз его вижу под красным деревом, когда сюда иду. Чуть дальше нового дома. Сидит на ящике. На другом ящике вода и еще что-то.

— Еще один сумасшедший, — недовольно буркнул Меир, у него все еще побаливала голова. — Говорят, какой-то еврей из Америки. Ни слова на иврите. Язык вроде бы английский. У нашего брата-еврея есть такая привычка — живут там, где лучше, а умирать приезжают сюда. Он купил такой стандарт, как мой, но на другом краю поселка. Его все зовут "американец".

— Как он под красное дерево добирается каждый день? Такой дряхлый! Ему наверно лет сто. На вид. Вот у меня прадед Рувен, ему девяносто два, так он еще хоть куда.

— Ну, это от человека зависит. Как кому повезет. Да, дедок так себе, не слишком бодрый. Но приветливый. Когда я прохожу мимо, он каждый раз встает и машет ручкой. Мол, привет. Я машу в ответ. Он хоть и сумасшедший, но безобидный. Все, спасибо, было вкусно. Я пошел к морю. Работать сегодня видимо больше не буду.

— Ужин в шесть, не забудь.

— Не забуду. А ты в шесть отправляйся домой.

— Как же я без недельной главы Торы за ужином?

Меир безнадежно махнул рукой. Её не переспоришь. Но не удержался от мести:

— Ладно, пшца, веди себя хорошо.

И поспешно захлопнул за собой дверь. Он вспомнил, что бутылки с пивом стояли на полке прямо под рукой у Орны.

Меир вышел на улицу, повернул к морю. Прошел мимо строящегося дома, поздоровался с рабочими. Через несколько шагов вновь приветливо взмахнул рукой. И тут я увидел под деревом старичка-"американца". Когда мы первый раз проходили здесь, я был слишком увлечен красотами природы, чтобы обратить на него внимание. Тем более, что сидел он под довольно крупным деревом с ярко красной плоской сплошной кроной, вполне заменяющей надежный навес от солнца. Это дерево заслуживало уважительного внимания, чего нельзя было сказать о человечке под его сенью.

"Американец" поднялся и тоже приветливо помахал Меиру рукой. Я подумал, что это было единственным доступным ему развлечением — приветствовать редких прохожих. Насколько я успел заметить — Меир взглянул на него лишь мельком — дедок был какой-то ссохшийся, в белой панамке на голове (может платочке). Стоял не слишком ровно и махалрукой не слишком энергично. Похоже, что если этот еврей приехал на родную землю умирать, то долго ждать ему не придется...

Я переключился на природу. Это море было намного светлее, нет скорее зеленее того, к которому я привык. Вода, прибрежный песок, да и весь берег, даже весной казался слегка выгоревшим от яркого, никогда не прячущегося даже за легким облачком солнца. А что будет летом в разгар жары? Какой жизненной силой обладать местная флора, чтобы сохранять яркие, да ещё столь разнообразные цвета в таких нелегких условиях?

Меир пристроился на той же скамейке, что и прошлый раз. Наверно это тоже была традиция. Я подумал, что он уже обрастает привычками, а это определенно тенденция к переходу в статус старого холостяка. Жаль, если это действительно так.

Мой "хозяин" нежился на солнышке и все пытался разобраться в себе самом. В том, почему меняется его отношение к работе. И меняется отношение к своему времяпрепровождению. К своим привычным успехам на сексуальном фронте. А самое главное — почему такие скептические мысли у него появились? Не было раньше этого. В общем и целом он всегда был в ровном хорошем настроении, и нужно было очень постараться, чтобы его испортить. В этом смысле он был довольно толстокожим и старался никого слишком близко не подпускать. Я повторяю ту оценку, которую он в эти минуты откровения давал самому себе.

Размышления прервал звонок мобильного телефона.

— Шолом, Меир, что слышно?

— Все в порядке. Как дела?

— Прекрасно.

"Моти" — прочитал я в его памяти.

— Я тут недалеко. Закончил разговор с идиотом клиентом. Если ты свободен, давай перекусим в твоём кафе. Поговорим... настроение ни к черту.

— Моти, по-моему, это заразно. И у меня не лучше. Давай, только есть я не буду, у меня в шесть обед. Дома.

— Ты становишься рабом привычек. Ладно, выпьем кофе, а может и не только кофе. Я могу быть через пятнадцать минут.

— О-кей.

Меир еще немного посидел на скамейке, покопался в себе и подвел неутешительный итог:

— Хандра, хандра, — так громко сказал он, что сидевший неподалеку удод испугался и отлетел на безопасное расстояние.

— Ухожу, не волнуйся, ухожу, — успокоил он птицу и пешком направился на свидание с Моти. Я сопровождал его с удовольствием.

Кафе было не далеко. Бельенкое небольшое здание, навес, столики под ним. Мух не было — я обратил внимание — хотя стерильной чистоты вокруг тоже не замечалось. Как и в то мое посещение, в будущем Израиль чистотой и аккуратностью не отличался. Увы. (В "будущем" и "не отличался". Нелепое сочетание. А как прикажете сказать?).

Моти уже был там. На столе стояли два красивых тяжелых стакана с виски и в вазочках минимальный израильский закусочный ассортимент — маслины и орешки. Плюс обязательные две бутылочки минеральной воды.

Внешность Моти я в двух словах уже описал. Больше не стоить, он не главный герой. Могу только добавить, что наш "ходок" был на полголовы ниже Меира, но с вполне приличной и стройной фигурой, чем и привлекал женский контингент. Плюс, разумеется, напор и откровенное желание как можно быстрее добиться своего, а это всегда ценилось и будет цениться.

Моти сразу без прамбулы приступил к делу. Это была его манера.

— У меня есть отличный вариант — две волонтерки. Еще нет семнадцати. Свежести неописуемой. Рост под метр девяносто. Ты знаешь нынешних акселератор?

Он любил не просто высокие, а высоченных.

Меир не очень бодро ответил:

— Я не знаю...

И Моти неожиданно скис:

— Хуже всего, что и я не знаю. Удивляюсь себе — такой рост, такие фигурки, такая свежесть... Что-то я не в тонусе последнее время.

— Но вчера ты был в форме.

— Притворялся, из последних сил. Хотел у тебя найти поддержку.

— Не найдешь. Я совсем развалился. Работу забросил...

Они с сочувствием глядя друг на друга, чокнулись, сделали по паре глотков.

Моти уныло сказал:

— Не знаю, замену этому делу я не найду. И время сейчас золотое. Клев отличный. Ты знаешь, я заметил, когда где-то рядом война, а тем более у нас — предложение превышает спрос. Женщины любого возраста бояться опоздать.

— Может переключиться на что-нибудь другое? Найги работу, с перспективной, солидную, с дальним прицелом...

— Ха, с дальним прицелом. А кто нам даст время прицелиться? Мы все время на мушке.

Они еще сделали по паре глотков. Орешки, маслинки...

Моти продолжал:

— У меня дядя в Америке, богатый.

— Я знаю.

— Он говорит: "Сколько можно разводами заниматься? Тебе тридцать один год. Займись делом. Мне нужно деньги пристроить. Я собираюсь заложить какой-нибудь завод, солидный. Может это сделать в Израиле? А ты на нем будешь главным юристом, и вообще моя правая рука. У вас ведь там в этом смысле целина. Никакой техники кроме танков и "узи" вы не делаете.

— Да, в основном мощные средства и что-то из солей Мертвого моря. Это точно. Никакой техники, кроме военной. Абсолютно, — подтвердил Меир.

— Вот! За семьдесят лет ни одного самого плюгового завода не построили. Только всякий "хай-тек", одни разработки. И электроника из купленных за границей деталей. То что можно взять в карман и бежать. И земля ничья, и границ нет, а надежность, как на болоте. Раз — и ушел под воду. Пол страны не работает, а молится. Кто будет здесь обосновываться? Я дяде так и сказал. Пусть лучше даст наличными.

И Моти горько рассмеялся.

Выпили.

— Моти, сейчас везде один черт. В Индии и Пакистане лучше? Хотя знаешь, я раньше во все эти дела не вдавался. Жил себе в свое удовольствие. Твердил всем, что думать об этом себе дороже. А смысла никакого. Помогало.

Я подумал, что у Моти тоже появился гость. Такой, как я. Словно подслушав мои мысли, Меир спросил:

— Слушай, у тебя это давно?

— Что это?

— Мысли. За тобой такого дефекта раньше не замечалось.

— Последнее время. А у тебя?

— Я просто сдвинулся. Все время зол на себя, недоволен собой до отвращения, честное слово.

— А у меня наоборот. Я зол на всех. На тех, кто виноват, что мир такой идиотский. Ты знаешь, стыдно сказать, я даже Ахмеда видеть последнее время не могу. Везде, где взрывают, без арабов не обходится. Или других мусульман. Если бы не они, все могло бы быть иначе. Иногда такие мысли лезут в голову — дали бы мне автомат, я бы всех подряд...

Я подумал: "Значит, вот тебе какой "напарник" попался. Агрессивный".

Меир удивленно протянул.

— Слу-у-шай, Моти! Ты заметил? Нас как будто подменили. А ты знаешь, что мне вчера рассказала Ронит?

И передал её версию о кризисе тридцатилетия. Моти на это не отреагировал. Для лечения заказал еще порцию виски. Не помогло, пришлось заказывать еще одну. Я удивился: "Смотри, что творится. А говорят, евреи не пьют. Неужели это мое влияние?"

Около шести Меир спохватился, что Орна ждет его с обедом. "Нужно идти, неудобно". Тоже странная чувствительность для него.

Они с Моти допили виски, попрощались и разошлись, так ни о чем толком не договорившись. Длинноногие и свежие акселератки были предоставлены сами себе. Отпущены на волю, в пампасы...

А по дороге домой Меир принял решение, оказавшееся очень важным впоследствии для нас обоих.

Моральное состояние Моти произвело на него большое впечатление, сходство с его собственными мрачными мыслями сомнений не вызывало. Похоже на то, что его хандра не просто случайный выброс настроения, а нечто более существенное. Имеющее серьезную подоплеку. И это действительно может быть кризис зрелого возраста. Меир, вполне естественно, об этом явлении кое-что слышал, краем уха. В суть особенно не вникал. Как многие из нас, он считал эту проблему преувеличенной, может быть даже надуманной. Просто отдельные люди, по его

мнению, проявляли истеричную слабость характера и искали этому оправдание. А психологи с удовольствием воспользовались этим и оформили все наукообразно и солидно. Появилась еще одна отрасль медицинского бизнеса. Не первый и не последний такой случай.

Но теперь он приходил к мысли, что не все так просто и однозначно. Кажется это не просто фикция. И Меир решил сегодня же порыться в Интернете, посмотреть что к чему. Тему запроса он знал: "Кризис тридцатилетия".

Орну он застал на кухне. Она сидела и неотрывно, с каким-то детским сожалением смотрела на приготовленную и уже остывающую на плите еду.

Преувеличением будет сказать, что дома Орна голодала, но золотистая, умело обжаренная и, судя по размерам, молодая курочка так аппетитно выглядела, да еще в обрамлении не менее золотистого риса с розовенькими кусочками моркови... Я подумал, что полчаса, на которые опоздал Меир, наедине с этим блюдом бедной девочке стоили немало усилий.

— Я уже думала, что ты не придешь, и собиралась идти домой.

На её лице явственно читалось дополнение — "не поевши". И уже давно на полную мощность работал скрытый темперамент. Глаза недовольные, волосы торчком...

А Меир понял, почему торопился домой, только сейчас понял. Он знал, что Орна без него ни к чему не притронется, и уйдет не солоно хлебавши. Её было, оказывается, жалко... Если он к каждой домработнице будет торопиться к назначенному времени, до чего дело может пойти? Ответа на этот вопрос у него не было.

Орна, которая явно собиралась высказать недовольство опозданием хозяйина, учуяла запах спиртного, а потому от дальнейших комментариев отказалась.

Они молча сели ужинать.

Ели с удовольствием. У Меира после виски и прогулки аппетит удвоился, а у Орны за полчаса наедине с курицей тоже не уменьшился.

Но молчание долго не продлилось. Орна не способна была копить отрицательные эмоции.

— Ты знаешь, что бомбардировщики с атомными бомбами НАТО сейчас бардажи ... бомбражи ...

Меир едва не поперхнулся. Во рту пересохло.

— Бомбят? Бомбардируют?

— Нет, что ты. Хасва халила, нет. — Я понял, что это означает "не дай бог". — Они летают в том районе.

— Барражируют, — с огромным облегчением догадался Меир. — Орна, сколько раз тебе говорить — не пользуйся словами, смысл которых не понимаешь.

Он основательно перепугался, несмотря на свое демонстративное хладнокровие.

— Смысл я понимаю, а запомнить слово не смогла. И они предупредили пакистанцев и индусов, что если вылетит хоть одна ракета, они немедленно бросят туда атомную бомбу, будь там хоть город или не город.

Меир ответил любимым рефреном:

— Мы на что-то можем повлиять? Тогда сменим тему.

Но отвлечься было совсем непросто. Каждый из них ясно представлял себе, как гудящие самолеты, словно огромные мухи, летают взад-вперед над Индией и Пакистаном. Мухи, начиненные атомными бомбами...

— Чертовы идиоты, — в сердцах сказал Меир. К кому это относилось, было не ясно. Наверно ко всем. — Настоящие идиоты! И главное, что все понимают — кто первый начнет, тот и победил. Кто быстрее выхватит пистолет, как в вестернах.

— Почему?

— Один залп из всех установок — и нет противника. Ну перехватят одну-две ракеты с ядерными боеголовками. Остальных хватит на всех. Вот и нервотрепка.

Они продолжали есть молча. Орна уже сожалела, что затронула эту тему. "Но нельзя же жить, закрыв глаза! Все-таки я права".

Так прошло несколько минут. Молчание становилось тяжелым. И Орна предложила новый предмет для разговора. Молодость отвлекается от проблем легче.

— Меир, ответь мне на один вопрос. Ты давно обещал. Что такого хитрого в этом авточтении, и почему его никому не дают? А тебе дали.

Он с охотой откликнулся на предложенную Орной тему. Это лучше, чем представлять себе что произойдет, если какая-нибудь гудящая в небе муха... Бр-р-р.

— Во-первых, это два вопроса, а не один. Что такое авточтение — это одно, а почему его мало кому дают — совсем другое. С чего начать?

— С начала. Как это делается. Я подсматривала, когда ты читал. Ничего на экране не видно. А ты смотришь. Что там происходит?

— Это немного сложно. Ладно, ладно, не обижайся. Попробую объяснить. Ты знаешь, что в кино и телевидении заложен принцип — быстро меняющиеся одна за одной картинка-кадры? А вместе получается движение.

— Конечно знаю, — Орна даже оскорбилась.

— У нашего глаза есть такое свойство — Меир говорил медленно и четко, стараясь быть понятным — если изображение появится на очень короткое время, скажем, сотую долю секунды, то мы его просто не увидим. Но вот лет шестьдесят тому назад разгорелся скандал. Оказывается, наши глаза действительно не видят изображения, которое длится эту долю секунды, но в сознание оно как-то попадает и там закрепляется. Этот эффект принято называть "двадцать пятый кадр". Так условились, для простоты. Потому что в то время фильмы пускали с частотой двадцать четыре кадра в минуту. Затем кто-то сообразил, что в короткие промежутки между сменой картинок основного фильма можно показывать другой фильм, который ты вроде не видишь, но в памяти он остается. И стали таким образом показывать рекламу. Нелегально.

— То есть как это?

— Ну представь, ты смотришь фильм про любовь. Хотя про любовь вам нельзя... Смотришь фильм про Моисея. И вдруг тебе страшно захотелось купить памперсы. Или йогурт. Потому что пускали два фильма сразу. Один ты видела, а другой проникал в тебя бессознательно. И второй действовал сильнее. Вгрызался в мозги. Понимаешь?

— Ух ты!

Меир подумал, что рассказывать Орне что-нибудь не нагрузка, а удовольствие. Она так замечательно слушает. Глаза широко открыты, подалась всем телом вперед, каждое слово хватается на лету.

— А потом какая-то японская секта решила невидимо пускать фильм, разрушающий психику.

— Террористы? — привычным термином отреагировала Орна.

— Да. Человек смотрит все тот же фильм про... про... ну да, про Моисея, но на этот раз памперсы не хочет. Он впадает в истерику. Или сходит с ума. Особенно дети. Поэтому были введены законы, которые приравнивали любое такое контрабандное кино к тяжкому уголовному преступлению.

— Ну и?

— Но наука не Тора, она не может допустить, чтобы ничего не менялось тысячи лет. И вот относительно недавно обнаружили, что если способом контрабандного кино, то есть двадцать пятого кадра, пускать печатный текст, то ты вроде ничего не видишь, но глотаешь, сам того не замечая, страницу за страницей с огромной скоростью. Но к этому нужно постепенно приучать мозг. И нужна специальная компьютерная программа, которую дают только по особому разрешению. Под подписку.

— А почему всем не дают? Пусть бы себе читали.

— Не уверены, что это безопасно. Перегрузка. Огромное количество информации в мозг заталкивается быстро и насильно. Автоматически.

Меир уже говорил не столько Орне, сколько самому себе, и смотрел куда-то в пространство:

— Тысяча страниц ежедневно, и на девяносто девять процентов не нужная никому дребедень. Все извилины забиваются этим мусором. Уж кто-кто, а я отлично знаю, что все рекламируемые специальные способы очистки мозгов полная чушь. Это промывка мозгов в переносном смысле, но не в прямом. Таблетки, гипноз ничего не дают. Только дополнительный вред. А мозги не резиновые. Можно совсем без них остаться. Вот я и думаю, может в этом тоже причина моего кризиса?.. Нет, надо бросать эту работу.

Меир остановился, услышав непривычные звуки. Орна громко хлопала носом и размазывала по щекам слезы.

— Меир, брось обязательно. Ну их, эти деньги. Сам говоришь, что опасно... Я тебя очень прошу... Меир!

Она остановилась. Поняла — умная девочка — что это не очень прилично. Кто она ему? И попыталась шуткой смягчить ситуацию:

— Сэкономить на мне. Я буду убирать бесплатно.

Меира такая забота растрогала, и к тому же он почувствовал жалость к себе. Самонадеянный толстокожий стоик становился мягче, и эти несомненные изменения характера его пугали.

— А знаешь Орна, мне интересное сравнение пришло в голову. Как раз по теме. Один человек — Гершой — мне заказал рецензию на книгу. Там главная идея — непрерывно барражирующие над нами атомные бомбардировщики, барражирующие террористы и патриоты, барражирующие палестинцы и поселенцы, короче бесконечное напряжение и тревога, — он обрисовал руками свод над собой, — вгрызаются нам в мозг и душу насильно и незаметно. А это, в сущности, двадцать пятый кадр и есть. И что-то в нас изменяют. Мы этого не признаем, не замечаем. Мы говорим себе — нет, ни о чем таком я даже не думаю, у меня своих личных забот хватает. А оно уже внутри...

Орна с трудом удержалась, чтобы снова не начать шмыгать носом, на этот раз от жалости не только к нему, но и к себе, и ко всем вообще. Она интуитивно чувствовала правоту Гершоя.

Меир остановился. Разговор становился слишком доверительным. Все-таки дистанцию нарушать не стоило. Он поблагодарил Орну за вкусный обед и за

заботу, попрощался с ней авансом и решительно направился в салон. Там он уселся за компьютер и стал выяснять, как говорят врачи, возможный диагноз своего заболевания.

В Интернете он сразу нашел нужную тему, по каким-то ему ведомым признакам браковал или отбирал нужные статьи, делал все на удивление быстро и ловко. А уж пальцы по клавишам летали просто неувлимо. Профессионал! Впрочем, наверно они все с детства приучены к компьютеру... Статьи были на английском языке. Это было очень даже кстати. Я мог читать независимо от него, хотя если я смотрел не совсем туда, куда он, то приходилось напрягаться.

Наконец Меир остановился на большой действительно серьезной статье некого профессора Файера из Лондонской центральной психоневрологической клиники. В преамбуле говорилось, что статья скорее научно-популярная и предназначена не только для специалистов. Она действительно была не слишком наукообразна и вполне понятна простому смертному (интересно, а кем я мог считаться в тот период?).

Экран компьютера все-таки был довольно большим, и на странице размещалось много строк. Меир внимательно стал читать начало, где подробнейшим образом описывались признаки, затем последствия этой болезни, в том числе депрессия, бессонница, пессимизм, суицидные настроения и так далее и тому подобное. Предупреждали, что легкомысленное отношение недопустимо, приводились впечатляющие примеры, как говорится с цифрами в руках. Меир читал и перечитывал эту страшилку, впрочем, основанную на фактах. Так как последствия кризиса касались только его, то я быстренько пробежал это глазами и в конце наткнулся на нечто, обращенное непосредственно ко мне.

Оказалось, что не так давно стал известен вполне четкий и конкретный симптом, относящийся только к этому заболеванию. В период пика кризиса появляется новый, очень четкий и достаточно сильный, в некоторых случаях даже мощный сигнал, расположенный в районе передней спайки мозга. Сигнал появляется у пациента во сне, держится не меняя своих параметров в течении семи суток, а затем так же внезапно исчезает примерно за десять-пятнадцать минут. Он как бы бесследно растворяется в мозгу. Энцефалограмма показывает следы сигнала, которые словно затухающие искры расходятся по всей поверхности коры головного мозга.

Эти показатели удивительно идентичны для практически всех пациентов. Поэтому во многих научных источниках кризис тридцатилетия стал именоваться *"недельным синдромом"*. Дальше говорилось, что всевозможные анализы не показывают никаких изменений в организме человека, отклонения отмечаются только в плоскости психики. И снова подчеркивалось, что эти факты достоверны и тщательно проверены.

На этом месте Меир перевернул страницу, но главное я усвоил — сегодня воскресенье, а в ночь с четверга на пятницу я снова отдам богу душу. А Меиру, возможно, свое сознание. Во всяком случае связь между таким явлением, как реинкарнация и кризисом тридцатилетия стала для меня абсолютно доказанной.

Кроме различных процедур и медикаментов, естественно рекомендовали перемену обстановки, отдых. В том числе туристические поездки с их непрерывной сменой впечатлений.

Я с солидной долей иронии отметил, что такое вполне может быть. При интересных путешествиях "гость" может увлечься красотами природы, переменной мест и перестанет морочить голову и приставать с поучениями к "хозяину". А знаете, вполне может оказаться, что в этой шутке есть доля... и так далее.

Заканчивалась статья очередными страшилками, которые ждут всех, кто отнесется к предупреждению несерьезно.

Мы оба печально задумались. Меир решил прогуляться. Я не возражал. В кухне было темно — Орна уже ушла. Мы вышли на полутемную улицу, спустились к берегу и побрели по плотному песку вдоль полосы прибоя. Дышали озоном. Я мысленно.

Судьба моя стала очевидной — повлияю на его сознание, насколько удастся, и затем растворюсь без следа. Такова моя миссия. У меня все время перед глазами была картина — искры моего затухающего сознания на коре головного мозга Меира. Впечатляющий образ! Чтобы избавиться от этого зрелища, я прислушался к его мыслям. За это время он твердо решил немедленно отправиться в поездку минимум дней на двадцать куда-нибудь на экзотические острова. Я понял, что о днях Меир не задумывается, а значит они у него есть. Тем более в его мозгу промелькнуло изображение довольно солидного коттеджа, на который он, судя по всему, нацелился. Нет, Меир не зря страдал, он зарабатывал неплохо. И еще раз промелькнул коттедж немногим меньше. Я понял — поездка и здоровье требовали жертв, но пока не очень больших. На черный день еще денег на особнячок останется.

Больше всего его занимало, с кем поехать. Одному было бессмысленно, только еще больше заиклившись на переживаниях. Я бы не сомневаясь поехал с Авивой, но этот дурень...

— Решено, поеду с Авивой, — громко, словно возражая самому себе сказал Меир. — Похоже, что я был просто идиотом последнее время. А Ронит я сыт по горло!

Это было сказано так громко и с таким остервенением, что идущая навстречу парочка метнулась в сторону. Как недавний удад, помните? Мой "хозяин" определенно терял равновесие.

Смешно, но мысль о грядущем путешествии меня привлекала. Интересно, успеет он уехать при мне? Нужно попытаться его подтолкнуть. И я стал зудеть, что ехать нужно как можно быстрее. Это меня как-то отвлекало от картины угасающих искр на фоне коры головного мозга...

Мы рано легли с намерением хорошо выспаться. Но это нам не удалось. Мой "хозяин" ворочался с боку на бок и не давал мне покоя. Его мысли гудели у меня в голове — или в сознании, не важно — набатом.

Знаете, какое "оригинальное" открытие пришло Меиру в голову прежде всего? Если что-нибудь будет не так, то Ронит даже в его сторону не посмотрит, а Авива будет с ним "и в горе и в радости". Пока "все было так" он о ней всерьез не задумывался. Я советую тем, кто решает свою судьбу, прислушаться к этой тривиальной, но совсем не глупой мысли. Задуматься, не дожидаясь неприятностей, тогда, как правило, бывает уже поздно.

Где-то под утро он окончательно решил бросить свое доходное дело и заняться... представьте себе каким-нибудь творчеством. "В конце концов, я действительно способный человек, зачем размениваюсь на мелочи", — уговаривал он себя.

Я ему не поверил, и с не слишком доброй насмешкой подумал: "Укатали сивку крутые горки. А где ты был раньше, когда спихивал любящую тебя Авиву к этому боевитому Эли, который ни тебе, ни мне не нравится? Когда все, кроме твоего драгоценного спокойствия было тебе по барабану". Я почему-то в эту ночь был уверен, что когда уляжется "недельный синдром" (царство мне небесное!) Меир снова станет таким, как был. Или почти таким. В эту ночь никакого желания стать

им у меня не было. Я даже взбунтовался против... не знаю против кого. Но взбунтовался. "Дали бы мне умереть спокойно, мне Виктору Сергеевичу, и не устраивали приключений на мою голову!"

А беспокойное поведение "хозяина" в течение всей ночи только вызывало у меня сильнейшие приливы недоброжелательности. Я вспомнил героиню чеховского рассказа "Спать хочется" няньку Варьку и обрадовался, что не имею возможности поступить так же, как она. Хотя желание иногда появлялось. Вдобавок ко всему он время от времени вспоминал о барражирующих бомбардировщиках и это спокойствия не добавляло. Меня бомбардировщики занимали меньше, хотя впервые за все время я подумал: "Если действительно им на голову что-то сбросят, куда денут меня?" Вопрос конечно интересный...

Благими намереньями...

Наступило утро понедельника. Как у старательного школьника накануне экзамена перед моим мысленным взором висело мрачное напоминание: "Осталось четыре дня!"

А может это не так уж плохо? Лучше, чем "проклятая неизвестность".

С утра у Меира снова болела голова, и у меня тоже была очень достоверная имитация этого явления. Но тем не менее телевизор Меир включил еще до традиционного сообщения Пнины. До начала новостной программы. Без пяти восемь. Отношения Пакистана и Индии приобретали для него интерес.

Но оказывается, общественность в основном уже успокоилась и пообвыкалась. И редакция новостей тоже. Диктор где-то на пятом-шестом месте после всяких, на мой взгляд ерундовых, сообщений, наконец, упомянул и о бомбардировщиках. А какие поводы для волнений? Он напомнил, что во время холодной войны такие бомбардировщики были на постоянном дежурстве с обеих сторон долгие годы, летали круглые сутки, и никто этому не ужасался. И сейчас летают, ну и что? Я правда подумал, что тогда все-таки бардака было меньше, во всяком случае со стороны американцев. И хотел было постучать по дереву, чтоб не сглазить, но было не чем и не по чему... А я, признаюсь, немного суверен.

"А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо". И в ту же секунду дитя своего времени Меир выбросил бомбардировщиков из головы. Я лишний раз убедился, что принцип: "Если на все реагировать — сил не хватит", — один из основополагающих в их обществе.

На этот раз он новости выключил до демонстрации голодающих, убегающих, истекающих...

Зарядку Меир не делал, было не до того. Он снова вернулся к своим проблемам и развил бурную деятельность. Сел к компьютеру и стал просматривать предложения на отдых в районе островов Океании на ближайшие два-три дня. Оказалось, утром в пятницу есть рейс на Сейшелы, куда он давно хотел попасть. И есть возможность заказать туристический маршрут с остановками в приличных гостиницах, но лучше — советовали — об этом поговорить непосредственно с гидом агентства. У Меира был собственный гид, который, как ему казалось, будет лично заинтересован в этой экскурсии.

И он позвонил по телефону Авиве.

Разговор оказался деловым и на удивление коротким.

- Привет, Авива, что слышно?
— Полный порядок. Как дела?
— Прекрасно!
Ритуал соблюден, можно переходить к делу.
— Ты на работе?
— Конечно.
— Я хотел спросить, ты действительно решила не выходить за Эли?
Пауза.
— И не собиралась.
— Ты ему сказала об этом?
Пауза.
— Я ему уже много раз говорила, что за него не выйду. И ничего другого.
— А почему же ты...
— Это я сказала для тебя. Хотела...
Пауза.
— А почему он говорит...
— Мало ли что он говорит. Ты не знаешь Эли?
Пауза.
— Авива, Мне нужно отдохнуть. У меня проблемы...
— Я знаю. Видно по тебе.
— Я решил в эту пятницу полететь на Сейшелы. На двадцать дней.
Пауза.
— С кем? С...
Меир её энергично перебил.
— С тобой Авива. Поедешь?
Без паузы.
— Поеду. Когда ты говоришь?
— В эту пятницу. А работа?
— Договорюсь. Мои проблемы. Но денег...
— Это мои проблемы.
Длинная пауза.
— Меир, что бы дальше с нами не произошло, я рада.
Везет же этому Меиру. У меня даже снова возникло такое же ощущение недоброжелательности по отношению к нему, как этой ночью. И почти кровожадные мысли. Я боялся, что он снова обидит Авиву. Вполне возможный вариант... Но кажется Меир всерьез пытался себя убедить, что начинает новую жизнь.
После этого они регулярно перезванивались в течении часа. Обсуждали маршруты. Авива наводила справки. Уточняла подробности. Согласовывала это с Меиром. Голос её с каждым звонком становился все веселее. В конце разговоров он просто звенел от счастья.
Меир перевел деньги со своего счета, и поездка стала делом решенным. Остались кое-какие формальные мелочи.
— Авива, не стоит ничего говорить Эли.
— Почему?
— Для него это будет катастрофой. А ты его знаешь, напьется, прибежит сюда с автоматом и всех перестреляет сдуру.
— Перестань говорить глупости.

— Но зачем нам лишняя нервотрепка? Ты же ему ничего не обещала и ничего не должна объяснять. Или я не прав?

В голосе Меира прозвучало подозрение.

— Не должна, — пауза. — Но Эли, ты же знаешь...

— Да, он до сих пор не может понять, что секс это всего лишь секс. И не повод... ни к чему.

— Я уже тоже этого не понимаю, — твердо сказала Авива.

"Похоже, она говорит то, что думает", — мы с Меиром были единомышленны.

Пауза.

— Целую.

— Целую.

Поцелуй Авивы был теплее, но и Меир звучал не безразлично.

Тонус его поднялся. Он даже стал напевать что-то на восточный манер. Его голос, а тем более слух, мне по-прежнему не нравились, такое исполнение не улучшало настроения. Наконец он перестал фальшивить и решил заняться делом.

"Теперь нужно исполнить сыновний долг. Сегодня понедельник, мама должна быть дома, она во вторую смену".

Он сел к столу и взял пульт. Оказывается разговаривали они по телефону из дома примерно так, как проходила беседа с Шимоном Гершоом. Теперь я понял, для чего стол днем стоит вплотную у экрана, а кресла повернуты к нему. Разумно, телефонный разговор превращается в беседу за столом. Двойным столом.

И действительно, когда зажегся экран за почти таким же столом с расположенным на нем пультом сидела женщина моего возраста, может чуть помоложе.

— Шолом, мама. Что слышно?

— Шолом, сынок. Все в порядке. Как дела?

— Прекрасно. Как папа?

— Слава богу. Возится со своими птицами. Сейчас весна, у орнитологов хлопот много.

Она не была похожа на Меира. Более смуглая, черные с сединой коротко стриженные волосы, глаза — должен признать — довольно близко к переносице, но постоянная улыбка не позволяла ей выглядеть недовольной. Сухошавая, подтянутая, в симпатичном розовом спортивном костюме. Приятная, в общем, женщина, но Меир наверное пошел в отца.

Его мать говорила так же быстро, как Ронит, так же жестикулировала. И вообще, я подумал, что Ронит в возрасте будет примерно такой же. И вспомнил, что у той тоже, пожалуй, близко посажены глаза. При первой встрече я этого не заметил, мое внимание тогда отвлекли другие подробности...

В семейном разговоре не было ничего интересного для посторонних, пересказывать не буду. Обычные родительские претензии — почему не приезжает, почему так редко звонит. Должен понимать, он у них один, а судя по всему, внуков ждать придется долго. Меир оправдывался, ближе, чем теперь, он к ней, даже если придет, не будет. И в доказательство протянул руку. Она сделала то же самое, было полное впечатление, что коснулись пальцами.

Меир подумал, что пора её отвлечь от этой темы, и спросил как дела в больнице. Он знал, что делает. О работе она могла говорить долго и охотно.

Оказалось, что в больнице, где она работала медсестрой, произошел очередной скандал. Расскажу об этом скандале и был посвящен почти весь наш визит. Со

всеми подробностями и даже в лицах. Большой дал по физиономии врачу, с которым она дежурила. Тот ходит теперь с огромным синяком.

— Но мама, это происходит регулярно.

— Да, — она вздохнула, — все чаще.

— Распустились люди, — поддакнул Меир.

— Ты знаешь, дорогой, все друг друга стоят. Этот врач так с ним разговаривал, что у меня самой руки чесались. Большой не выдержал и говорит: "Вы нас, больных не любите". А наш умник отвечает: "Я и здоровых не люблю, а от больных меня просто тошнит". И схлопотал. Знаешь Меир, я слышу разговоры наших врачей, и думаю — куда это все идет? Все-таки в наше время так не было. Знаешь, как говорит наш анестезиолог? Большой интеллигент.

Это было сказано с презрением. Смотри ты, и у них интеллигентов не любят. Мать Меира стала кого-то копировать, говорить в нос, растягивая слова:

— Если жизнь человеческая сейчас ничего не стоит, то почему врачи должны так уж усердно за неё бороться? В этом нет логики, только одна клятва Гиппократа взамен. Мучаешься, мучаешься, а он вышел за порог — и пиф-паф. Или наелся химии, надышался отходами производства. Его калечат все, кому не лень. И опять к нам. Что, нам больше всех надо? Другое дело за хорошие деньги...

Наконец рассказ о больнице был закончен и Меир сказал то, для чего звонил. Что он устал, неважно себя чувствует и в пятницу улетает на двадцать дней на Сейшелы.

— С Ронит?

Мама была в курсе дела.

— Нет, с Авивой.

Она с явным облегчением вздохнула.

— Это уже лучше.

Бедная Ронит, за что ей так достается?

— Знаешь Меир, а ты выглядишь неплохо. Поправился. К тому же ты стал какой-то ухоженный, честное слово. Видно, что питаешься регулярно, не по этим пиццериям. Орна...

— Да, это все Орна. Мне даже неудобно, я ей сколько раз напоминал — готовишь мы не договаривались.

— Хорошая девочка. Я с ней иногда болгаю по телефону. Не испорченная, и не заикленная, как эти ортодоксы. — Она неожиданно, без улыбки и строго посмотрела на Меира. — Знаешь, не вздумай её обидеть!

Я почувствовал, что Меир покраснел, не то от неожиданности, не то от возмущения.

— Да что ты, мама. И в мыслях такого нет. Как ты можешь подумать.

У него действительно и в мыслях такого не было, а кто их — его мысли — знает лучше меня.

Следующим был Моти. Но по мобильному.

— Я еду в отпуск. На Сейшелы. На двадцать дней.

— Ух ты. Завидую. Хотя... с Ронит?

— Нет, представь себе, с Авивой.

— Тогда завидую. Хотя... Ты знаешь, что рецидив бывает гораздо опасней заболевания?

— В наше время все может случиться, — философски заметил Меир.

Они пожаловались друг другу на настроение, на депрессию. Моти с сожалением констатировал, что теперь вечерами в кафе "Пингвин" в Нагарии ему придется одному ловить волонтерок, хотя клев сейчас дай боже. Оказывается, Меир все-таки выезжает в город, а я уж думал, что он сиднем сидит в этих своих экранах.

После разговора с Моти Меир недолго колебался по поводу Ронит — сообщать, не сообщать. Решил себя не беспокоить. Вместо этого вернулся к заботам о себе родном и сделал легкую разминку. Потом перед дневным сном пришла пора легкого обеда, приготовленного Орной. Основной будет в шесть часов вечера. Жизнь была неплохо налажена. В пять минут третьего он уже спал.

Я тоже время от времени дремал. Но в основном думал о Марине. И о прожитой жизни. Больше о Марине. Я не хочу навязываться вам со своими чувствами, в принципе не в моем характере плакаться в жилетку. Но как только выдавалась минута, когда я принадлежал себе, то... оказывалось, что в воспоминаниях я себе не принадлежу. Как и не принадлежал последние полгода жизни. Как это называется — парадокс? Можно считать и так.

В четыре часа раздался голос Пнины. Они очень недолго обсуждали свои дела — минут пять. Я не вникал. Потом обычная разминка — без тренажера — и душ. После душа его в кухне уже ждали жизнерадостно улыбающаяся, но как обычно старающаяся держаться солидно, Орна, бутерброд с красной рыбкой и стакан сока. Я бы на его месте на жизнь не жаловался.

Потом мы ушли на берег. Я понял, что Меир обычно не мешает Орне убирать. Традиционное "шолом" рабочим на стройке, традиционный взмах рукой с трудом поднявшемуся, но приветливо улыбающемуся дедку — и вот она любимая скамейка. Впрочем, сегодня возбужденный Меир на скамейке долго не усидел, и пошел по берегу вдоль прибоя.

Я думать не мог, хотя было о чем. Он строил такие громкие и яркие мысленные планы своего грядущего отпуска, что буквально оглушал меня. Короче говоря, когда он повернул домой, я был счастлив. И подумал, что мне еще повезло. А если бы он с самого начала был таким темпераментным и впечатлительным?

— Что-то ты сегодня рано, — недовольным тоном встретила нас Орна. — Я еще не дожарила стейки и не была в душе.

Она заметно помрачнела. И вскоре простодушно выдала причину недовольства. — Убирала салон, — и с брезгливостью, — меняла постель.

Понятно, она нашла следы Авивы и Ронит.

На Меира это никакого впечатления не произвело, он только лихо подмигнул — знай наших!

Орна укоризненно покачала головой.

— Орна, ты скоро будешь хозяйкой в этом доме. Я уезжаю на двадцать дней в отпуск. Также сможешь приводить сюда кого захочешь в любых количествах.

И он немелодично заржал после этой бестактности. Не сомневаюсь, мы с Орной оценили острогу и её сопровождение одинаково.

Орна довольно долго боролась с собой, но в конце концов спросила:

— С Ронит?

— С Авивой, хотя тебя это не касается.

— Уже лучше.

Все как сговорились. Мне даже стало Ронит немного жалко.

Орна продолжала:

— Она красивая. И умная, я слышала, как вы разговаривали. И к тебе хорошо относились. И не очень легкомысленная. Не то, что эта Рониг.

Но с каждым комплиментом в адрес Авивы её голос становился все суше.

Потом она некоторое время молча возилась у плиты и затем неожиданно и тихо спросила:

— Это вроде как свадебное путешествие?

— Много будешь знать, скоро состаришься. Детям до шестнадцати лет это кино смотреть...

— Мне уже есть шестнадцать. И даже больше, — очень резко сказала, почти прикрикнула Орна. Переключатель в ней сработал на полную мощность, глаза сверкали, волосы казалось шевелились от возмущения.

— Что с тобой, — удивился Меир, — дома что-то не так?

— Дома все так.

Орна повернулась к мойке и... уронила тарелку. Стала вынимать осколки и немного порезалась. Пососала палец. Затем с видимым усилием взяла себя в руки, поставила стейки на медленный огонь.

— Я пойду в душ. Присмотри за мясом.

Уже в дверях еле слышно пробурчала:

— Жених...

"Что с ней?", — подумал толстокожий Меир. Я кажется догадывался. Не исключено, что предполагаемое свадебное путешествие Меира, выбившее Орну из равновесия, сыграло не последнюю роль в будущих событиях.

Меир проверил стейки. Сделал очень маленький огонек. На столе стоял один прибор, он недовольно поставил второй. "Каждый раз одно и то же". С ворчанием помыл руки, старательно вымыл после этого раковину специальной тряпочкой...

И в это время из ванной донесся отчаянный визг:

— Ой, глаза, ой печет. Боже, что это? Я не вижу, где душ? Я ничего не вижу!

Ой, мама!

Мы даже в первую секунду не поняли, что это Орна.

Меир опрометью кинулся в душ.

Чтобы вам было все понятно, я сразу расскажу то, что выяснилось впоследствии. Дверца душа открывалась так, что можно было, протянув руку, взять что-нибудь с полки у зеркала. Ближе всего стояла батарея шампуней. Орна взяла флакон, где оказалось мало шампуня, начала намыливать голову. Обнаружила хватку и, естественно не открывая глаз, взяла следующий. Но эта безответственная Рониг — вполне, признаю, заслужившая свою недобрую славу — вчера утром (помните?) ядовитый раствор для отбеливания раковины, конечно же не поставила на место в шкафчик внизу. Он остался стоять среди шампуней. Раствор был жидким, текучим и теперь пол флакона оказалось на голове и на теле бедной девочки. Она выпустила из рук шланг душа, а когда попыталась его увидеть, то глаза пронзила резкая боль. И почти сразу началось сильное жжение по всему телу, особенно в чувствительных местах. Словом, для крика были все основания.

Меир ворвался в душевую кабинку, увидел на полу флакон, из которого уже вытек весь раствор, сразу понял, что случилось, и очень испугался. Дело могло кончиться трагедией. Он ловко поймал мечущийся под напором воды по дну кабинки душ на гибком шланге, другой рукой одновременно открыл кран холодной воды жесткого душа, поставил ничего не видящую и не соображающую Орну под поток. Затем одной рукой стал манипулировать гибким душем, а другой старательно сти-

рал с головы, с лица, потом с тела пену вместе с ядовитой жидкостью. Жидкость была маслянистая, скользила под рукой, нужно было тереть до тех пор, пока кожа под ладонью не начнет скрипеть. Орна как могла ему помогала.

Вначале он обругал дикими словами Ронит, но потом переключился на пострадавшую. Голос его стал очень сочувствующим, заботливым и даже неприлично нежным.

— Ну миленькая моя. Маленькая. Хорошая моя. Все будет в порядке. Я с тобой.

Пока Орне было больно, все это было кстати. Но насмерть перепуганный Меир затянул акт милосердия. Она стала приходить в себя и осознавать, что происходит. Меир тщательно стирал следы жидкости со спины, с груди, не задумываясь ни о чем, кроме возможных последствий от ожогов, опускался все ниже. И при этом почти бессознательно приговаривал слова, которые Орна никогда в жизни не слышала. Внизу спины в ложбинке собралось много не то пены, не то раствора, и Меир принялся их добросовестно смывать и стирать. Всему на свете есть предел, даже для религиозного человека. Сначала стресс, боль, затем спасение, потом боль стала уходить, а прикосновения и ласковые слова остались. Короче говоря, когда Меир сказал ей "хамуда" — в переводе милая, лапушка, самое ласковое в Израиле обращение к ребенку или девушке — ноги у Орны стали ватными, голова закружилась. Она вся обмякла. Испуганный Меир подхватил её и повернул к себе.

— Что, что такое, хамуда, тебе плохо?

Опять "хамуда"! Все, сопротивления не осталось. Орна обхватила Меира за шею, прижалась к нему всем телом и сказала:

— Мне хорошо. Меир.

С этого момента она повторяла только одно слово. Меир. Меир. Меир...

И что сделал этот паршивец? То же, что и я в бытность живым. Он по-своему повторил историю, связанную с душем, и тоже с успехом воспользовался обстоятельствами. Ирония судьбы. Впору добавить "Или с легким паром", что вполне соответствует ситуации.

Но отнесся Меир ко всему намного проще.

"Если человек хочет, почему не пойти навстречу, — привычно подумал он и добавил, словно обращаясь ко мне. — Я же говорил, на востоке девушки взрослеют рано".

Он завернул её в большое полотенце и отнес в салон.

С этого момента часа на два я постарался отключиться, как мог, а вас отключаю полностью.

Когда они успокоились, в голове у Меира мелькали примерно такие мысли: "Кто бы мог подумать? Она и нежная, и страстная. И откуда что берется? Природа... А без робы она очень неплоха... Очень...". Ничего даже отдаленно похожего на угрызения совести по поводу соращения религиозной девочки у Меира не было, можете мне поверить. Боюсь, что у него бывал контингент и помоложе...

А Орна? Вопреки моим ожиданиям она не казалось испуганной или оглушенной. Скорее была, я бы сказал, умиротворенной, скорее так. Некоторое время я этому поудивлялся, а потом вспомнил, что примерно так же выглядела и Марина утром. Пришлось окончательно смириться с тем, что женщин в любом возрасте и положении я никогда понять не смогу.

А между тем в настроении Меира наступила перемена. Он стал молчалив и задумчив. Охлаждение еще раньше меня почувствовала Орна и истолковала это по-своему. Она вспомнила, что в иврите есть другие слова, кроме "Меир, Меир, Меир", и сказала:

— Ты не думай, я все понимаю. Ну, случилось. Я во всем виновата, но ви-сеть на тебе не собираюсь. Это больше не повторится.

"Не повторится, если ты больше не будешь у меня работать. Знаем мы это все, проходили. Но жалко, я уже привык к тебе... Хотя дело не в этом".

В чем дело, я пока не понял. В голове Меира вертелись какие-то смутные подозрения.

— Ты не переживай, я рада, что так вышло.

Вот уж переживать Меир даже не собирался. Не в его характере.

— Ты прав, наши раввины врут. Не мог бог лишит людей радости, от которой.., от которой... — она долго подыскивала слова — умереть можно. Не жалко. Не мог он любовь заменить долгом.

Меир молчал и о чем-то раздумывал. Но я слушал Орну. Она говорила не очень связно, с придыханием, еще не пришла в себя как следует.

— То что... ну, случилось, поможет мне уйти от них. Я давно хотела, но все духа не хватало. Их невежество. И то нельзя, и это нельзя. Все бояться друг друга... И еще у меня есть одна причина их не любить... Теперь все, хватит. Спасибо тебе, Меир... Меир, конечно не только за это. За все.

Молчание Меира стало осязаемым.

— Ты почему молчишь? Я не то говорю?

Наконец Меир высказался.

— Слушай, подруга, а ведь я у тебя не первый.

Это был не вопрос, а утверждение. Он меня ошорошил.

А Орна... теперь мы увидели, что такое настоящая истерика отчаяния. Она задохнулась, стала хватать ртом воздух, потом зарыдала так, что мы испугались, как бы к нам не прибежали соседи, подумав, что здесь кого-то в лучшем случае насилюют. Её тело трясло, как в лихорадке. Для такой истерики нужна серьезная причина... и настоящий темперамент.

Меир снова перепугался, стал её успокаивать, прижал её к себе, говорил, что ничего плохого в этом нет, дело житейское. Постепенно приступ стал стихать, и она смогла выдать из себя:

— Это Шломо... когда мне было двенадцать лет...

— Твой старший брат? Которого ты бутылкой по голове? — стал кое-что понимать Меир.

Орна с трудом, преодолевая затухающую истерику, рассказала свою историю. Я понял, что в этих ортодоксальных, выпавших из общества замкнутых системах, где все или обязательно к исполнению, или запрещено, такое, увы, время от времени происходит. Человеческая натура не может без вреда для себя находиться в жестком корсете из суровых, во многом бессмысленных правил. Она приобретает форму этого корсета, но при этом уродует свою природное содержание, свое естество... Это не носи, так не поступай, а поступай только так, вне зависимости от своего желания. Этого с этим не ешь, а этого вообще не ешь ни в коем случае. Лишай себя удовольствий, они от дьявола. Молитвы, посты и прочее, и прочее... В этих замкнутых системах обязательно бытует прикрытие, наущничество. И нередко неизбежное — наряду с моральным — и физическое насилие.

История Орны не скажу что типична — конечно нет — но и не является таким уж из ряда вон исключением. В этой роли выступают не только братья, но и отцы. Впрочем, вам это и без меня известно. .

Орна лет с десяти оборудовала себе на чердаке у слухового окна тайное убежище. Пригатила туда какой-то старый матрас, тумбочку, в которой стала хранить свою "нелегальную литературу". Как только появлялась возможность скрыться от непрерывного шума и гама, Орна забиралась на чердак, укладывалась на матрас и чигала все, что ей удавалось добыть.

Когда ей едва исполнилось двенадцать лет, её брат Шломо, которому уже шел шестнадцатый, выследил её и изнасиловал. Воспитанная в подчинении к старшим, она не решилась кричать, звать на помощь, только отбивалась, как могла. Но силы были неравны.

Когда он ушел, у неё была только одна мысль — как скрыть от всех следы своего позора. Она была в крови, юбка разорвана, рукав висел на одной нитке. Это был ужас, который она не могла как следует осознать. Девочка ничего не сказала родным, ей было стыдно. И культовое почтение к старшим... Так часто бывает в аналогичных случаях, а уж в ультраортодоксальной семье под спудом молчания скрываются иной раз и не такие вещи.

Может все так бы и закончилось, если бы Шломо не повадился преследовать её. Безнаказанность его поощряла. Но после третьего такого нападения Орна набралась мужества и рассказала все матери. К её удивлению та не пришла в ужас, а может просто сохраняла хладнокровие. Главное, сказала она, никому ни слова. Даже отцу. Честь семьи. Я поговорю со Шломо. И помни о *Рехилут*.

— Рехилут?

— Это заповедь о неразглашении. "Не ходи сплетником в народе своем".

— Какая же это сплетня? Чистая правда, — возмутился уже давно переполненный сочувствием Меир.

— Даже если это правда, лучше её скрыть. Промолчать. Нас так учат. Есть законы "лашон ха-ра", то есть «плохие слова». Даже если официально попросят рассказать о случившемся, даже официально, ты понимаешь, что я имею в виду, то лучше солгать, чем давать правдивые сведения. Это может нанести вред нашей общине. Мир превыше всего. И, главное, это не разрушает единство евреев. Так нам объясняют.

— Ну да, даже ложь во имя единства. Хорошо единство! Это какая-то заповедь об укрывательстве. А отец знал?

— Я думаю, сделал вид, что не знает. Я тебе уже говорила, для рава Баруха главное не видеть и не слышать того, что его не устраивает. А в наших домах женщины всем заправляют.

Месяц разговоры матери действовали. А потом началось все сначала. И тогда Орна стала носить с собой бутылку пива, благо покрой её одежды позволял спрятать и более громоздкое оружие. И при первом же нападении в соседнем лесочке Орна от души дала брату бутылкой по голове. Он упал, лицо залила кровь. Орна не торопясь пришла домой и сказала маме:

— Шломо лежит в лесочке, ему нехорошо.

Её никто ни о чем не спросил. Даже отец. Шломо пролежал в больнице неделю, наложили швы. С тех пор он обходит её десятой дорогой. Он человек трусливый, но пакостный. Да и родители сохраняют дистанцию. Пцаца!

— Видишь, Орна, — задумчиво сказал Меир, — если все запрещено, это значит, что все разрешено, только с черного хода.

— Так оно и есть. У нас был еще случай, совсем недавно. Отец моей соученицы... Сам рав Марзель этот скандал еле потушил. — И она повторила. — Когда все запрещено, то все разрешено с черного хода. А если все разрешено? Как у вас?

— Тогда... тогда все обесценивается.

— Обесценивается? Да, наверно... А середины не видно. Все-таки, Меир, ты очень умный, — она немного подумала и со вздохом добавила. — И красивый...

Потом чуть-чуть придвинулась к нему. Это был опасный поворот, и Меир поспешил поменять тему.

— Я видел, тут бродил один из ваших. Невысокий, толстенький такой. Мне показалось, следит за тобой. В черной шляпе. Молодой. Это наверно брат?

Орна только пожалала плечами.

Они помолчали, потом заговорили, каждый о своем.

— Это плохо, когда все можно и все доступно. Играючи. Перестаешь уважать и других, и себя. И себя... и других..., — он почему-то с грустью подумал об Авиве.

— Играючи... А мне тоже иногда кажется, что мы играем, — это уже Орна. — Ты знаешь, что сказала моя тетья из Ашдода, которая не так давно ушла из общины? Страшный был скандал. Она сказала, что мы не живем, а продолжаем разыгрывать какую-то пьесу, написанную кем-то три тысячи лет тому назад. Отгородились от мира и играем. Текст выучили. Одежда театральная, мечи бутафорские, и чувства такие же, — в глазах у неё стояли слезы.

Мы с Меиром с удивлением и с уважением посмотрели на Орну. Девочка понимает и чувствует...

Они разговаривали на равных. Не было взрослого и ребенка. И причина была не в недавней физической близости, а в том, что Орна была уже сложившимся и неглупым человеком.

— Теперь я уйду от них. Это точно. Поеду к тете в Ашдод. Но она пока в Европе. В отпуске.

К моему стыду Меир слушал с сочувствием, но помощь не предложил. Орна наверно этого и не ожидала. Она знала его лучше, чем я.

Разошлись они где-то около девяти. Попрощались тепло, по-дружески. На прощанье Меир чмокнул её в щечку. Это ни о чем не говорило — на востоке принято так прощаться. И здороваться тоже.

По дороге Орна зашла на кухню и выбросила в мусорный ящик дымящиеся угольки бывших стейков.

Меир был не слишком доволен происшедшим. Лишние неприятности, которых и без того хватало. Плохо будет, если она уйдет от него. И дело не только в том, что нужно будет искать новую домработницу, а в том, что он уже по-человечески к Орне привязан. И снова ходить в пиццерию...

Лишние хлопоты, то что он не любит больше всего. Ладно, впереди отпуск, а там посмотрим...

"Пора на заслуженный отдых", — вспомнил он не без самодовольства свои сегодняшние ратные подвиги. И улегся спать.

Что ж, я опять убедился, что моё продолжение было далеко от идеала.

Но определенно его нервы и хваленая уравновешенность стали сдавать. Он опять не давал мне уснуть. Ворочался, вздрагивал. Я понимал, что вопрос спорный,

может — и даже скорей всего — это я тревожил его покой. До моего появления он из-за подобных мелочей, включая недавний тет-а-тет с Орной, даже не подумал бы расстраиваться. А сейчас "ни сна, ни отдыха измученной душе". Но в таких случаях каждый считает другого виновным.

И снова я — в который уже раз — задумался над главным вопросом: а есть ли вообще у меня желание становиться Меиром?

Я попробовал понять, что для человека является самым главным. Для отдельного человека. Вне времени и технических достижений. История намного более долговременна, чем вспышка успехов последних двух столетий. И поэтому, такли важен прогресс для конкретного человека? Ведь он сравнивает свою жизнь не с предками, а с современниками. Так все-таки, что стабильно и не подвержено времени?

Самое главное, думал я — чтобы не было ощущения одиночества. Не аутофобии, то есть не страха, а именно чувства одиночества. Чувства! Потому что бывает — рядом уйма народу, даже больше, чем нужно, но все равно кажется, что ты на необитаемом острове. Так было у меня с "соседкой". Лучшее средство против чувства одиночества — любовь. Чтобы ты мог быть уверен — есть кто-то еще, кроме тебя, реальный, не фантом в этом ужасающе бесконечном огромном мире. Только любовь рождает эту уверенность...

Меир не имел на это шансов, и я не испытывал ни малейшего желания влезть в его шкуру и в его безнадежное время. Настроения протеста, которые появились у меня прошлую беспокойную ночь, только усилились. Как бы в ответ Меир глухо застонал. Я увидел, что ему снится пустой, ужасающе бесконечный мир, наполненный зловещими фантомами.

Кажется я на себя, на него — и на вас — нагнал страху. Но в моем положении это было простительно. Шутки шутками, но я аки бестелесный дух или призрак фактически не четыре дня, а целых тридцать лет как неприкаянный брожу по земле, вмешиваюсь в чужую жизнь и никак не успокоюсь. Я почувствовал усталость. Есть ли возможность шумно вздохнуть с облегчением — как и полагается призраку в рождественских историях — и, наконец, отбыть... не знаю куда, туда куда положено отбывать призракам? Впрочем знаю. Назад в свое время. И упокоиться на Таировском кладбище, в присутствии не слишком большого количества близких людей. Даже может быть и Марины...

В этот момент мне и зашла в сознание мысль, что если я буду искренне, активно несовместим с Меиром, если все будет в нем раздражать, то на меня махнут рукой, не будут насильствовать и отправят назад. Не могут же они допустить, чтобы в человеке растворилось враждебное ему сознание? Впрочем, мы знаем много примеров, когда люди живут в вечном раздразе с собой. Может это следствие такого симбиоза?

Нет, я все-таки верю в доброе начало операции «реинкарнация». И мне показалось, что кто-то в моем подсознании одобрительно подмигнул, так, мол, держать.

Я успокоился, вернулся к привычным мыслям о Марине и незаметно уснул.

Антиподы

Меир с утра начал настраиваться на отпуск. Не включал новости, не делал зарядку. После завтрака спустил рукава, без настроения поработал у компьютера. Подчистил кое-какие хвосты. Связался с Пниной, что-то с ней обговорил. Заплатил коммунальные услуги, и все такое прочее.

Воспоминание об Орне и легкое беспокойство по её поводу возникало все же в его сознании, но мимолетно. Если на все реагировать...

Пару раз звонила Авива и все тем же звенящим голосом предлагала что-то купить, в том числе снаряжение для подводной охоты. Меир покровительственно, но, пожалуй, даже любовно подсмеивался над ней. Ничего, говорил он, покатать не надо. Там все дешевле и лучшего качества. Авива охотно соглашалась. Мне показалось, для неё было главным позвонить и убедиться, что все это наяву.

Но ближе к обеду последовал неприятный звонок. Ронит предлагала купить билеты на итальянскую комедию. На пятницу. Это уже была дилемма — говорить или не говорить о грядущем отъезде? Он сказал. С кем, разумеется, не уточнял. Сцена была в духе той самой итальянской комедии, на которую им попасть было не суждено. С бросанием трубки, криками и неприличными словами. И прямой угрозой — если она узнает, что он едет с Авивой, то выцарапает глаза им обоим. Напоминание, что она за этот год моталась сначала с толстым с греком, потом с худым французом по Европе, её не убедило. Как можно сравнивать? Они на неё тратили деньги, а её собственный бой-френд тратит их на кого попало. Своеобразная логика. С облегчением Меир подумал, что такой непосильный темперамент ему не по плечу и хорошо, что он решился вырваться на волю. Он позвонил Авиве и наказал не признаваться Ронит даже под пытками, потому что если та накапает Эли, скандал ещё больше разрастется.

Все это тянулось до двух часов, до положенного по распорядку дневного сна. Усталый после непривычных напряженных дней и ночей, Меир сказал Пнине, что его ни с кем не соединить до четырех часов, даже если наступит конец света. Мы оба мгновенно заснули.

В четыре часа Пнина нас разбудила и сказала, что насчет конца света Меир не очень ошибся. Он почти наступил. Один из барражирующих бомбардировщиков потерпел аварию над Пакистаном восточнее Карачи. С дымным шлейфом от одного мотора он долго тянул в сторону моря, то есть сам факт аварии скрыть было невозможно. Весь мир — кроме нас с Меиром — с замиранием сердца следил за этой картиной. Не только страны участники конфликта, но и Иран, Россия, а также, естественно, НАТО на всякий случай навели друг на друга ракетные установки и подняли самолеты в небо. Но вот час тому назад выяснилось, что летчики героически дотянули до глубокой расщелины Аравийского моря, утопили две бомбы и катапультировались до того, как самолет нырнул в море. Все кончилось довольно благополучно, если не считать потопленного падающим самолетом небольшого картографического судна с экипажем двадцать два человека. Но об этом почти никто и не вспоминал.

Сейчас идет обсуждение этого инцидента по первой программе за круглым столом.

Меир включил экран. Действительно, несколько человек обсуждало эти новости. Видимо специалисты. И тоже говорили, что незачем особенно расстраиваться. Уже не один раз теряли атомные бомбы вместе с самолетами. Еще в 1968 году американцы потеряли четыре бомбы возле берегов Гренландии. Три нашли, четвертую до сих пор ищут. И пошло, и пошло. Они нудно перечисляли все случаи. Потом объяснили, что атомный взрыв в таких ситуациях невозможен, пока летчик перед самым бомбометанием не произведет некие манипуляции — говоривший сделал вид, что ему-то хорошо известно какие. Лопнувшая бомба может только угрожать радиоактивным заражением на много километров вокруг. Тоже неплохо,

но до нас это заражение не дойдет. Зато все участники и зрители этого шоу немного отрезвели, и Пакистан с Индией решили продолжить переговоры. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Надолго ли?

Но для Меира этих сведений было вполне достаточно, чтобы начисто выбросить инцидент из головы. Вместе с бомбардировщиками.

Он посмотрел на часы — полпятого. Орны нет. Вот это действительно повод для беспокойства. Он даже вышел на улицу и посмотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться. Нет, не видно.

Мне пока еще не приходилось видеть моего "хозяина" столь явно нервничающим. Так продолжалось до пяти. И вдруг раздался стук в дверь. Это не Орна, у нее есть ключи от входной двери. Меир пошел открывать... и это оказалась все-таки Орна. В странной одежде. Юбка короткая, чуть ниже колен, почти лопается на бедрах. Рубашка в обтяжку, с трудом сдерживается пуговицами, как оказалось на довольно пышной груди. Только непокорные волосы и победно горящие глаза убедительно доказывали, что перед нами все та же Орна.

Она не была напугана, расстроена. Она была горда собой.

Орна прошла прямо в кухню, села — поморщившись от боли — и стала рассказывать.

Вчера она вернулась домой в начале десятого. Вся семья уже стояла на ушах. Начался допрос с пристрастием, главным прокурором была мать, следовательно, естественно Шломо, а безмолвным верховным судьей отец.

Что бы не затягивать агонию, она сразу сообщила, что уходит из семьи и из религии. Во всяком случае, из такой религии, как у них. Из ультраортодоксальной.

Начался шумный скандал: бесчестье, разврат, позор семьи! Она скорее умрет, чем ей будет позволено опозорить всю их общину. А потом мать неожиданно и в лоб спросила Орну:

— Ты спала с ним?

В ответ Орна немного растерялась, но сказала:

— Вас это не касается.

Меир, испытывая некоторую неловкость, спросил:

— То есть ты не сказала "нет"?

— Но и не сказала "да". Чтобы не было пути назад. И чтоб они перестали мне сватать этого дурацкого жениха, сына рава из ешвы.

Но мать все поняла. И закричала:

— Бесстыжая девка! Потаскуха! Что он подумает, что подумают люди о нашем честном имени?

— А чего тут думать? Он и так все знает о вашем честном имени. Я ему рассказала, — и она выразительно посмотрела на шрам на виске Шломо..

Мать осеклась, а рав Барух поднялся и сказал, что пойдет в синагогу молиться за заблудшую дочь. Его уход был сигналом. Мать и три старших брата, скрутили её. Шломо собственноручно довольно больно избил её по спине и по мягкому месту заранее заготовленной палкой, правда, стараясь сделать это незаметно от матери, а мать в свою очередь старалась этого не замечать. Затем Орну отвели в туалет на втором этаже, раздели догола и заперли. Есть-пить не давали, но к счастью там был кран. Только время от времени спрашивали: "Ты еще не передумала".

Почти сутки в довольно узком туалете, можете себе представить? Там было маленькое слуховое окно, и все-таки можно было бы попытаться пролезть в него. Но голой, куда денешься? К счастью чуть позже рядом повесили стираное белье.

Орна проявила смекалку и из деталей сливного бачка соорудила крючок. Дотянулась до белья, втянула одежду младшей сестры, кое-как оделась, выждала момент, когда в зоне видимости никого не было, пролезла, исцарапавшись, через окошко, содрала при падении локоть...

— И вот я здесь!

Меир подумал, что в этой одежде ей намного лучше чем в своем обычном балахоне. Нет, он неисправим!

Впрочем, в данном случае я придираюсь. Он проявил большое сочувствие, к тому же пообещал всемерную помощь. Мало того, сказал, что он её не оставит и она вполне может на него положиться.

— Ты голодна? Бедная девочка. Иди в душ, я тебе дам чистую пижаму, вымойся. А я пока приготовлю что-нибудь поесть.

Все это было сказано с такой искренней заботой, что у Орны на глаза навернулись слезы. А я подумал, что если он будет продолжать в том же духе, то антагонизма у нас может и не получиться.

Но по поводу пижамы, несмотря на драматичность момента, Орна проявила строптивость:

— Пижаму я сама возьму. Можно подумать, что твои дамы их стирают. Там есть пару новых, на непредвиденный случай...

Меир подумал:

"Я сам из этой девочки сделал женщину, теперь должен терпеть женский характер".

Но Орна исправила положение, возвращаясь из салона с бельем в руках, она сказала:

— Я тебе очень благодарна, Меир, и нуждаюсь в помощи. Но ты, пожалуйста, не связывай, — она густо покраснела, — одно с другим. Я уеду к тете в Ашдод, у меня все наладится".

И ушла в душ.

Я испытывал уважение к этой девочке. Меир, по-моему, тоже. Но в отличие от него, я не поверил, что все так просто. Слишком красноречивыми были глаза Орны. Они просто пылали восторгом, когда она смотрела на Меира. И все-таки хотелось надеется, что несмотря на молодость, сильный характер Орны преодолет все выпавшие на её долю испытания. Нет, она не сломается, есть в этой девочке жизненная сила...

Меир сделал пару бутербродов с соленой рыбой, пару с колбасой. Подумал и добавил бутерброд с сыром. Еще подумал — и с сыром съел сам. Религиозным запрещается есть молочное вместе с мясным. И кофе без молока. Вечные у них сложности! Сервировал стол — тарелку, вилку, чашку все честь-честью. Вдруг в окне, которое выходило на улицу, промелькнула тень. Он присмотрелся — возле входа на участок, озираясь, стоял собственной персоной рав Барух.

Меир приоткрыл дверь в душ и приглушенно сказал:

— Твой отец к нам пожаловал. Ни звука. Сиди тихо.

Вскоре раздался стук в дверь. Пока Меир шел открывать, я прослушал целую беззвучную лекцию о звонках и о стуке. Оказывается, религиозные евреи стучат в дверь, не звонят. Слишком много моментов, когда кнопку электрического звонка им нажимать запрещено. Суббота, праздники, в будни с двух до четырех и так далее. Сейчас еще можно, а уже через две минуты нельзя. И чтобы не перепутать, они привыкают стучать в дверь. Не прерывая лекции, Меир повернул махо-

вичок английского замка. Вошедший прежде всего коснулся рукой какой-то нашлапки на дверном косяке, чмокнул после этого пальцы, сказал "шолом".

Меир ответил тем же и сразу провел незваного гостя в салон. Тщательно закрыл за собой дверь в коридор. Указал ему на кресло возле стола. Рав сел. Меир остался стоять, всем своим видом показывая, что долго разговаривать не намерен. Могу засвидетельствовать, что желание схватить за шиворот и вышвырнуть рава на улицу у него было с самого начала.

Рав Барух оказался невысоким, зато широким, особенно в бедрах, и довольно рыхлым мужичком, с окладистой бородой, пейсами, в черном двубортном удлиненном пиджаке и черных, немного мешковатых брюках. Рубашка белая, не заправленная в штаны. Из-под рубашки свисали какие-то веревочки. Лицо смышенное, глаза неглупые. Тоже смуглый. С неудовольствием я отметил, что Орна на него похожа. Рав держался солидно, как-то задумчиво. Казалось он все время мыслями где-то высоко, не на грешной земле. Говорил медленно, значительно, казалось, вот-вот изречет что-то очень важное.

— У нас ушла, сбежала дочь... Моя дочь... Орна. Это большой позор... И большие неприятности для всех нас. И для меня тоже... Неприятности лично для меня...

Меир молчал.

— Она может быть либо у бабы Розы, либо у тебя... Больше некуда... Куда грешнице без денег, без одежды? У бабы Розы её нет... Нет её там. Значит у тебя.

— Ну и что?

— Как что? Как что? Она должна вернуться. Тихо. Вернуться. Без этого... без скандала. Ваш безбожный и порочный мир...

Это уже было слишком. Терпение Меира лопнуло. Он схватил рава Баруха за борта пиджака, одним движением вынул его из кресла и поднял так, что тот стал прыгачком на цыпочках.

— Слушай, друг мой безгрешный. Ты лет на восемь старше меня, а уже наплодил кучу детей. Но для этого ума много не надо. А совесть у тебя есть? Ты лучше меня знаешь, где грех. То, что твой Шломо с ней делал! Это и есть содомский грех! А ты все знал, долбаный святоша! Если ты не оставишь её в покое, пойдешь в тюрьму за соучастие. Это я тебе обещаю. А пока пшел вон отсюда!

И он толкнул рава в сторону выхода.

И тут произошло преобразование. Святой исчез. Рав Барух спокойно выровнял лацканы пиджака и подошел к Меиру вплотную.

— Хорошо, поговорим на том языке, который ты понимаешь. На материальном. Нас в общине, в нашем поселке шестьдесят девять семей. Есть всего восемнадцать рабочих мест, которые оплачивает государство. Синагога, ешива, кашрут и ещё... ну там... Все остальные на пособии. Наш рав Мерзель, — он почтительно посмотрел наверх, — должен уйти на повышение в религиозный совет Нагарии. Это большое дело. Освободится должность. Восемнадцать семей ждут передвижки. И я тоже должен получить хлебное место и перестать нищенствовать. А из-за Орны все рухнет. Мы все крепко завязаны. Не то что вы. Уйти некуда, работу и квартиру не поменяешь. Кому мы без общины нужны? Мы все зависим от нашего совета и друг от друга. И мы все, как один. Ты не все понимаешь. Мы тебя зароем, так и знай!

Теперь мне понятной стала их сплоченность. Я из прошлых времен знал, что ультрарелигиозные голосуют, как один, на демонстрацию — как один. Помню, меня удивляло — что творит вера! Но скорей всего тут не столько вера, сколько

зависимость. Действительно, куда они уйдут из общины со своим церковно-приходским образованием? А улучшить жилищные условия, получить паяк, оплачиваемую должность — все в руках их раввинатского начальства. Как же без почтения, поклонов, интриг? И демонстрации единства?

Поэтому любая верхушка ультрарелигиозных отчаянно борется за то, чтобы образование у них было независимым. Это, мне кажется, касается не только евреев, но и любых замкнутых ультрарелигиозных систем. Они обучают и воспитывают подрастающее поколение так, чтобы те в любом другом ареале не могли найти себе применения. Нигде не могли прижиться. Тут и бери его тепленьким...

— Подумай до завтра. До утра. Я предупредил!

Не дав Меиру опомниться, он повернулся и вышел, не забыв коснуться в дверях нащелпки и лизнуть пальцы.

Когда раздался звук захлопнувшейся двери, из душа вышла Орна. Она старалась держаться свободно и независимо, но видно было, что в этой симпатичной розовой с цветочками пижамке, в сужающихся к шиколоткам тонких изящных брючках Орна чувствовала себя голой. Она угрожающе посмотрела на Меира, стараясь предупредить его неизбежные остроты. Но куда там.

— Как хорошо, что у тебя дома отобрали одежду. Иначе я так и не увидел бы, какой цветок скрывался в коконе из ужасной дерюги.

Это была бестактность на этот раз вместе с пошлостью. Но в голосе Меира звучало такое неподдельное одобрение, что щца так и не взорвалась. Только стала более розовой, чем её кофточка. Орна действительно умудрилась еще раз удивить нас обоих. В этом оформлении её смуглая красота — это слово не будет преувеличением — была свежей и чувственной. Да, чувственной — это правильное определение. Это была девочка, но девочка уже вполне созревшая.

— Да здравствует ультраортодоксальная религия, — снова изрек Меир. Я тоже так подумал, мне можно. А он явно нарывался на взрыв. Но, к счастью, вовремя почувствовал перебор. — Извини, молчу. Садись, ешь.

Бутерброды смягчили ситуацию. Меир решил, что Орна нуждалась не только в моральной поддержке, и поэтому поставил на стол два красивых фужера, налил в каждый из них до половины вина.

Орна пригубила и жадно принялась есть. За сутки проголодалась.

— Что сказал рав Барух?

— Рав Барух? Он не похож на человека не от мира сего. А тем более на божий одуванчик. Сказал, что дает нам с тобой сроку до завтрашнего утра. Но что он может нам сделать?

И Меир беспечно махнул рукой. А мысленно вновь принял за свое:

"Ай да Золушка! Нужно отправлять её поскорее, так и до греха опять недолго. Негоже исправляющемуся грешнику, который едет отдыхать, возможно, с будущей невестой, подвергаться такому соблазну". Но буду объективен, он это думал не всерьез, скорее по привычному в его компании пустословию. Сейчас у него — впрочем, как и раньше, до срыва — превалировало какое-то отеческое к ней отношение.

— Ты не прав. Они могут придумать все что хочешь. Рав Марзель очень сильный и опасный человек.

И она повторила примерно то, что сказал рав Барух. О надежде заправил их общины на цепочку повышений. О намеченном скачке вверх всемогущего Марзеля. И все это в случае скандала может не состояться.

Меир почувствовал беспокойство. Может быть она права? Он оставил Орну на кухне, а сам пошел в салон. Там он позвонил на мобильный телефон Моти.

Меир рассказал ему всю историю без купюр, стараясь ничего не пропустить. Адвокату, как врачу, можно и нужно говорить всю правду. Тем более, что стесняться надежного соратника по приключениям смысла не было.

Сначала Моти вставлял в рассказ Меира шутки-прибаутки, в основном одобренные остротами ниже пояса, но потом стал серьезным. В конце рассказа он подвел итог фразой, которую я перевел на русский так — дело пахнет нафталином.

— Слушай внимательно. Я думаю, они не столько боятся ухода Орны, сколько обвинений в инцесте, который родители покрывали. И что всплывет прошлый инцест, который покрывал сам Марзель. Такого рода подозрения бытуют по отношению к ортодоксальным общинам, хотя далеко не всегда справедливо. Но впрочем, и не без оснований. Поэтому они нападут первыми, чтобы иметь возможность сказать: "Он эти гадости про нас придумал в свое оправдание". Я думаю, они тебя будут обвинять в соращении несовершеннолетней. Нет, скорее в изнасиловании.

— Ты с ума сошел! Её изнасиловал брат в двенадцать лет! И мать это знала!

— А кто докажет? Кроме Орны никто не подтвердит. А вдобавок ты стер все улики прошлого преступления. И насколько я тебя знаю, стер их очень добросовестно, — Моти был очень доволен своей остротой. — А то, как ты её насиловал, видело человек как минимум триста, и все, не задумываясь, дадут показания. Это у них называется...

— Я знаю. Лашон ха-ра.

— Умница. Все знаешь.

— Но постой, какая несовершеннолетняя? У неё несколько одноклассниц уже замуж вышли.

— Сколько ей?

— Шестнадцать лет и три месяца.

— Ну, во-первых, триста человек видели, как ты её насиловал три месяца тому назад. Но дело даже не в этом. Есть вилка светского и религиозного законодательства. Для женитьбы она взрослая, для изнасилования ещё ребенок. Все может обернуться против тебя. Дело серьезное.

— А презумпция...

— Не говори красивых слов, не будь наивным. Скоро выборы. Я знаю, что рав Марзель будет баллотироваться в Кнессет. Для них иметь своего депутата... в этом их жизнь, если хочешь знать. Должности, дотации, деньги на ешиву. Какая там презумпция! Лучше подумай, что у вас есть еще?

— Избиение подойдет?

— А было?

— Было.

— И следы?

Меир вспомнил, как сморщившись садилась Орна.

— Наверняка.

— Это именно то, что нужно. Израильское законодательство помешано на неприкасаемости детей. А для битья она по-прежнему ребенок.

Они еще долго беседовали, прикидывали то так, то эдак. Наконец составили план. Моти берет на себя общественные организации по защите детей и прав женщин, при необходимости полицию и общее руководство. Не бесплатно. Дружба

дружбой, а дело делом. Меир едет в больницу с Орной снимать побои и немедленно отсылает её из дому.

— Есть куда ее отправить? Может ко мне?

— Волку ягненка? — мой перевод. — Найдем куда. Подыщем более безопасное место.

На том и порешили. Меир вернулся в салон, где его дисциплинированно ждала Орна. Она почти осушила фужер, съела все до крошки, и её смуглые щеки немного порозовели. Меир тоже почувствовал необходимость поддержать тонус, налил себе еще вина и с удовольствием выпил.

Он в общих чертах рассказал суть разговора с Моти. Сказал, что они должны поехать снимать побои, а потом она пойдет ночевать к бабе Розе. Заметив тень неудовольствия на её лице — все-таки речь шла о родителях — он резко сказал:

— Выбора нет. И очень прошу тебя, не возражай сегодня. Не до того. Они посадят меня за соращение малолетней. Я должен защищаться.

То, что Орна в ответ не сказала ни слова, его напугало. Значит, она понимала, что такой вариант реален. А ей виднее, она своих знает досконально...

И в этот момент Меир спекся, не знаю как лучше определить его состояние. Три беспокойные ночи — включая субботнюю — затем два сумасшедших дня. Даже его тренированный организм не выдерживал. Он стал с трудом реагировать на внешние обстоятельства, глаза при каждом удобном случае закрывались сами. А это означало, что я получал смутную и некачественную информацию. Поэтому ничего интересного о его поездке вместе с Орной в город и в больницу для снятия побоев толком рассказать не могу. Он вызвал такси, за руль не садился, в этом я уверен. Смутно помню, что они сначала заехали в универмаг, чтобы купить ей приличную одежду. Тех, кто помнит аналогичную сцену в фильме "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, должен разочаровать — было мало похоже. Она выбрала три простеньких платья и немного белья, а Меир проспал все представление.

Потом ожидание в больнице, пока врач оформлял побои. Меир это время тоже продремал. Такси на обратном пути остановилось возле дома бабы Розы. Орна хотела благодарно поцеловать Меира, но тот снова отключился. На этом расстались. Мы пошли домой. Почти с закрытыми глазами отправили Моти по Интернету копию заключения врача. Затем приняли душ (он тоже не взбодрил) и дружно провалились в сон.

На следующее утро мой "хозяин" все-таки ожил. И даже по просьбе Пнины включил новости. Не стоило. Новости начались с того, что терпеть происки Сирии просто больше невозможно. Она вооружает Хизбаллу в Ливане, никак не поймет, что Голаны исконная территория Израиля со времен описанных в Торе. Смысл был такой — Сирия может догнаться, если не прекратит свои штучки. Я вам это передал с одесским акцентом, но по смыслу все верно.

Меир тут же отключил экран.

"Кажется, Эли не преувеличивал. Черт бы его, Эли, побрал!"

Но Меир решил, что нужно брать себя в руки. Зарядка, душ — хватит распускаться. После завтрака он успел сесть к компьютеру, но на большее времени не хватило. Раздался громкий стук в дверь. Он вышел в коридор заглянул в глазок — там была Орна бледная с трясущимися губами. Оптика глазка только подчеркивала и искажала её перепуг.

— Меир, они идут. Уже близко.

Меир выскочил на улицу, посмотрел направо — приближалась сплошная темная толпа. Она занимала всю дорогу, а конец скрывался за поворотом. В первых рядах несли несколько самодельных плакатов на палках. Зрелище не для слабонервных. Оба почувствовали, что в сердца невольно заползал страх. В Израиле официально и даже неофициально считалось, что из всех ультрарелигиозных групп в мире самыми мирными и законопослушными являются еврейские ортодоксы. Но мнение это одно, а толпа совершенно иное. Они приближались, доносился какой-то угрожающий гул. Мужчины в черных костюмах и шляпах, женщины в длинных темных платьях. Вся демонстрация в лучах светлого утреннего солнца выглядела контрастно черной.

Что делать? Запереться в доме? Не слишком хороший выход. Толпа очень многочисленна и выглядит агрессивно. Меир вспомнил угрозы рава Баруха, предостережения Моти. Вполне возможны провокации...

На нем были только шорты, но в их карманах всегда лежали мобильный телефон и ключи от машины, на всякий случай. Сама машина стояла на улице, прижавшись к кустам, окаймляющим его дворик, носом к надвигающейся толпе. Он вынул ключи, разблокировал дверные замки. Прозвучал сигнал блокиратора.

— В машину, быстро!

Орна мгновенно нырнула на заднее сиденье, Меир за руль. Он с замиранием сердца повернул ключ в замке зажигания. Только бы завелся! Последнее время у него подсел аккумулятор, давно пора его заменить. И вздохнул с облегчением — мотор сразу взревел. Меир дал задний ход, разворачиваться времени не было, толпа уже находилась метрах в тридцати. С визгом он заехал на открытую площадку перед строящимся домом, развернулся и помчался по дороге к морю. Вслед ему полетели камни мирных демонстрантов. Толпа не может спокойно видеть убегающих от неё, как не могут видеть бегущих ... Нет, не хочу заканчивать сравнение, антидиффамационная лига может обидеться.

Я заметил, что Саид с удивлением следил за этим триллером, а палестинец злорадно улыбался.

Машина выехала на основную трассу, идущую вдоль моря, и направилась в Нагарию. Меир спустя несколько минут быстрой езды притормозил и задумался. Документов у него не было, вид непрезентабельный — в домашних шортах, без рубашки, босиком. Далеко не уедешь, у нас бы сказали — до первого милиционера. Он проехал еще пару километров, затем повернул налево, на первом перекрестке снова налево и поехал назад по верхней дороге. Проскочил перекресток между своим и ортодоксальным поселком. Трасса дальше петляла взбиралась на гору. Из-за зарослей вдоль дороги снизу, от поселков, машина вроде бы не должна быть видна. Меир остановился прямо напротив своего дома, спрятав машину за длинным бараком. Здесь раньше был чек-пост в заповедник, я через него проходил тридцать лет тому назад. Он вышел из машины и, осторожно раздвинув густые кусты, выглянул из-за угла... Наблюдательный пункт был отменный. Все видно, как на ладони. Расстояние метров двести, не больше. И почти слышно. Сверху всегда лучше слышно. Наиболее громкие отдельные голоса вполне можно было различать.

Толпа в черном сгрудилась возле дома Меира, запрудив почти всю улицу. Из окон соседних коттеджей выглядывали любопытные и испуганные лица. Пару человек — было видно — здесь же у окна звонили по телефону. Наверно в полицию. Значит этот цирк долго продолжаться не будет. В толпе вовсю трудились три журналиста, которые, судя по всему, пришли вместе с демонстрантами. Мужчина с телекамерой, женщина с микрофоном и фотограф. Они были одеты более ци-

вильно, но все-таки тоже относились к ортодоксам — мужчины с черными кипами, женщина в длинном платье и аляповатой шляпке. Все было предусмотрено.

— Ух ты, я и не думала, что нас так много.

Орна стояла рядом и тоже рассматривала толпу.

— Осторожно, не дай бог нас заметят! Их человек триста, а то и четыреста. И подростки. Хорошо, хоть малых детей не захватили с собой.

— Почему, захватили — видишь вон там, с краю, у женщин на руках... А вот и рав Барух. И Шломо. В центре.

— А рава Мерзеля нет?

— Нет.

— Понятно, режиссер за кулисами. Ты не видела, что на плакатах?

— "Насильника в тюрьму". И что-то насчет разврата.

— Значит, изнасилование... Это серьезно.

Меир связался с Моти. Быстро и взволновано доложил обстановку. Он был очень встревожен, впрочем как и любой бы на его месте. Закончил так:

— Сейчас они явно обсуждают, что делать дальше, но толпа возбуждается. Размахивают руками, что-то кричат друг другу. Особенно женщины и молодые ребята. Распалываются. Добром это не кончится.

Моти оказался очень деловым. Он сказал, что сейчас как раз беседует с защитницами детей и женщин и они все вместе немедленно выезжают к нему, через полчаса будут.

— Ты в полицию звонил?

— Пока нет.

— Звони немедленно. Там должно быть твое официальное заявление. Я тоже им позвоню. Смотри, не высывайся. Могут покалечить. Все, выезжаем.

Меир набрал телефон полиции, назвал свои данные, затем четко и обдуманно объяснил ситуацию — я понял, что там разговор записывают. Повторять вам не буду. Стоит только отметить один момент. На вопрос: "Почему пострадавшая обратилась именно к вам?", Меир ответил, что больше не к кому. Денег у неё нет, все вещи родители отобрали. Кроме него и ещё одной старушки-соседки, где девочка тоже работала, она никого в поселке не знает. Ночевала она у старушки, но за защитой обратилась к нему. Старушка ненадежная охрана от родителей, которые избивают ребенка.

Ему сказали, что уже звонили соседи, и полиция выехала. Минут через пятнадцать будут.

Орна слушала разговор очень внимательно. Меир выключил телефон и сказал ей:

— Только то, что я им сообщил. Ничего лишнего ни слова, никому, — несмотря на не слишком веселую ситуацию он ей привычно подмигнул и добавил, — лашон ха-ра!

Внизу в толпе росло напряжение, это было видно и на расстоянии. Голоса становились все более резкими. Солнце уже было высоко, жара, темные плотные одежды в таких условиях ощущению комфорта не способствовали. Положение демонстрантов становилось нелепым, и все это неминуемо должно было вылиться в агрессию.

Два жильца соседней с Меиром квартиры вышли и стали в чем-то их убеждать. Судя по жестам, уходите домой, нам нужно проехать. Выглядывающие из окон близлежащих домов соседи тоже стали покрикивать и махать руками в сторону религиозного поселка. И тогда группа молодых ешиботников начала скандировать:

— Вы не евреи! Вы не евреи! Вы не евреи!

На иврите это звучало так:

— Гоим! Гоим! Гоим!

Светских они настоящими евреями не признавали.

Почти сразу подхватили речевку все демонстранты, включая женщин, и мне казалось даже дети на руках кричали:

— Вы не евреи! Вы не евреи! Вы не евреи!

— Ну да, только вы евреи! — зло проворчал Меир.

Орна, казалось, была готова провалиться сквозь землю от стыда.

Дирижировала группка, в которой был Шломо, какая-то злая немолодая фурия и еще один высокий и худой парень, в полной экипировке — шляпа, пейсы, борода, веревочки и в дополнение очки.

— Кто эта женщина, которая визжит не своим голосом, сюда слышно?

— Жена рава из ешивы. Мать моего дурацкого жениха. Видишь, высокий в очках? Это дурацкий жених и есть.

Было видно, что рав Барух вместе с двумя-тремя демонстрантами постарше пытается успокоить народ. Плохо получалось. Разошедшуюся толпу всегда тяжело остановить, молодежь вдвойне, ортодоксальную молодежь тем более. А уж ортодоксальные женщины в борьбе за мораль вообще неудержимы.

Перелом произошел тогда, когда какой-то подросток подбежал к стройке, схватил камень и запустил его в окно кухни Меира. Звон разбитого стекла обозначил новый этап в развитии мирной демонстрации. Одни борцы за справедливость и истинно еврейский образ жизни, бородатые и пока еще безбородые, стали бегать за камнями и бомбардировать окна, другие переворачивали расположенные вблизи мусорные баки.

Журналисты перестали снимать и вести репортаж, они отошли в сторонку с довольной-таки понурой видом. Фиксировать незаконные действия их, очевидно, не занимали.

Наконец один активист — смотри, Меир, это мой дурацкий жених! — нашел занятие поинтересней. Он притащил солидный камень и забросил его на крышу. Крыша была стеклянная, солнечные батареи, система затемнения, немалые деньги...

— Черт бы их побрал. — Меир с трудом сдерживал желание ринуться вниз. — Что творят! Крыша стоит дороже, чем весь дом. Стекло, правда, прочное, разбить тяжело, но все исцарапают.

У "дурацкого жениха" нашлись многочисленные последователи. Другие стали разорять беседку и навес, ломать пластиковые стулья. Кое-кто занялся кустами. Работа нашлась всем. Азарт и озлобление на глазах заражали самых спокойных. Срабатывал эффект разбушевавшейся толпы.

Шломо и "дурацкий жених" нашли тяжелый камень, поднесли его к дому и вдвоем, раскачав, забросили на крышу. Наверно они все-таки добились результата, потому что раздался радостный рев болельщиков, как на стадионе, когда забивают долгожданный гол.

И тут Меир не выдержал. Он выскочил из укрытия и закричал, что есть мочи:

— Идиоты! Что вы делаете! Прекратите немедленно. — За этим последовал ряд выражений, которые я передавать не буду. Точного перевода не знаю, но о смысле догадываюсь.

Орна, судя по всему автоматически, последовала за ним, стала рядом и тоже замахала руками.

Кто-то их внизу заметил, закричал: "Вот они!" так громко, что мы услышали. Все бросили свои занятия и повернулись в нашу сторону. Опять радостный рев. В азарте человек десять-пятнадцать, не меньше, во главе со Шломо и "дурацким женихом", вооружившись, кто камнями, кто палками с плакатами, ринулись к нам. Подъем был непростой, нападающие рассыпались по склону, каждый искал дорожку поудобнее. Все это напоминало какую-то батальную сцену из дешевого кинофильма.

Орна потянула Меира за руку.

— Давай уедем, пожалуйста!

— Ничего, пусть ползут сюда. Я им покажу, кто из нас еврей.

В это время снизу явственно донесся звук милицейской сирены. Из-за поворота показалась легковая машина с работающей мигалкой, за ней еще одна. Услышали сирену и внизу. Демонстранты стали собираться в плотную группу. Атакующие на склоне тоже видимо приходили в себя. Большинство побросали камни и стали спускаться. Я заметил, что Шломо не пошел вниз, он стал наискосок, по склону удаляться от толпы в сторону своего поселка. Достойный сын своего отца следовал мудрому совету из фильма "Праздник святого Йоргена": "Главное в профессии святого вовремя смыться". Журналисты тоже позорно бежали в сторону религиозного поселка.

Только один "дурацкий жених" упорно долез до дороги, шатаясь от усталости с плакатом в руке подошел к Меиру. Тот брезгливо взял его за горло, повернул спиной к себе и дал солидного пинка. Жених обрушился в кусты. Не глядя больше в его сторону, Меир пошел в машину. Орна за ним. Молча они сели на свои места. "Дурацкий жених" выбрался из кустов и поплелся вниз.

В это время зазвонил телефон. Моти.

"Мы уже возле твоей квартиры. Можете возвращаться".

Меир повернулся к Орне.

— Все, как договорились, не забудь. Никогда и ничего не было! — И вдруг засмеялся, один глаз его закрылся, это он опять подмигнул Орне. — Берем на вооружение "лашон ха-ра"! Все-таки мы с тобой еврей!

Экстремалы

Полиция работала часа три. Передвижной штаб с разрешения Меира устроили в его квартире. В салоне писали протоколы, допрашивали родителей Орны, несколько человек, объявленных зачинщиками. Меир указал на Шломо и "дурацкого жениха" и еще на пару активных молодых, которые ему запомнились. Орна называть кого-нибудь отказалась, что было встречено полицией с пониманием — все-таки свои.

Меир, Моти и две общественницы, дамы лет под пятьдесят, в основном сидели в кухне. Одна из дам, полная круглолицая и улыбчивая, была защитницей детей, другая, худая, смуглая и довольно некрасивая, боролась за права женщин. Они долго изучающее смотрели на Орну, пытались понять, кому из них она больше подходит. По-моему, не выяснили.

А сама Орна, ответив на пару вопросов полиции, все время готовила и разносила кофе. Израильяне очень много пьют кофе во время работы. А иногда и вместо работы.

К Меиру вопросов было немного. Главный из них — почему демонстранты имели претензии именно к нему? Он пожал плечами и ответил:

— Я думаю, что дело в её желании уйти из религии. Они решили, что это я убедил Орну так поступить. Для них уйти из религии — страшный грех и разврат.

— А вы её не убеждали?

-Я? Ее? Девочку-домработницу? С какой стати?

Орну тоже спросили, не приставал ли к ней хозяин квартиры. Та даже не сразу поняла, о чем идет речь. Она очень натурально удивилась и тоже, как и хозяин, ответила вопросом на вопрос:

— Кто? Господин Меир? Взрослый солидный человек?

Удивление было настолько убедительным, что даже я засомневался: "А был ли мальчик?".

Эта тема больше не возникала.

Вызванная баба Роза подтвердила, что Орна ночевала у неё. Рассказала ужасы о следах избития на теле.

В нагарийское отделение полиции забрали зачинщиков, в том числе "дурацкого жениха" и не успевшего убежать далеко Шломо. На завтра в суд вызвали родителей Орны. Это будет предварительное слушанье, объяснил Моти, на нем судья вынесет постановление, которое я перевел как "граница безопасности". Оказывается есть такая статья в Израиле. Всем членам семьи Орны будет запрещено подходить к ней ближе, чем на сто метров. Иначе последует уголовное наказание.

Моти тихонько посоветовал Меиру, чтобы Орна до суда поехала ночевать в убежище для жертв насилия в семье, есть в Израиле и такое. В этом случае все будет выглядеть солидней, и у завтрашнего суда не возникнут лишние вопросы. Активистки-защитницы женщины и детей уже забронировали ей место.

Оценщик ущерба от погрома должен прийти на следующей неделе, суд по поводу избития ребенка состоится месяца через три. Фемида не слишком торопилась. Меир может ехать в отпуск и никуда не опоздает. Он подписал доверенность Моти на ведение всех дел и отныне был свободен. Как птица.

Перед отъездом всей делегации в Нагарию Меир улучшил момент и с суровым видом хозяина — полиция была недалеко — сказал Орне, что в четверг поздно вечером он уезжает. Просит её завтра приехать, как только освободится, и помочь ему собраться. Он ей оставит ключи, деньги за два месяца и она может жить в квартире, пока тетка не придет или пока не найдет себе жилье. Заодно убирать, поливать цветы и так далее. Еще суровой и высокомерней он вручил ей причитающуюся за последнюю неделю зарплату. Орна покосилась на бдительную полицию и так же деловито приняла деньги. Там было намного больше, чем зарплата за неделю. Они попрощались, он чуть надменно, она немного подобострастно, как и положено нанятому и домработнице. На мой взгляд немного переигрывали.

Нет, кажется ненависть к Меиру у меня не возникнет...

Все разъехались, он остался один в своей замусоренной, разбомбленной квартире.

Но испытывал только облегчение. Все неприятности закончились, впереди бездумный отдых на сказочных беспечных островах. Он перекусил бутербродами с кофе, и вздохнул — опять придется привыкать к немудрящему питанию. Для

дневного сна поздновато, чем заняться? Выбросил из кухни и коридора камни, чуть подмел, надолго его не хватило. Орна завтра уберет. Заказал по телефону стекольщика, тот приехал минут через двадцать, быстро и ловко вставил стекла в окна. И уехал. Крышей — решил Меир — придется заняться после отпуска. Опять возник вопрос "что делать?". Идти на прогулку ни сил, ни желания не было.

Он сел за компьютер, завтра утром встреча с Гершоём, пытался готовиться. Но к тезисам рецензии перед глазами возникали в виде иллюстраций сегодняшние события. А тут еще Эли стал звонить по телефону — Ронит даром времени не трагитла. Меир, конечно, трубку не брал. Тогда Эли прислал СМС. Из послания было ясно, что он приехать не может, потому что в субботу будет занят известным им обоим делом. Но когда вернется...

Меир невольно улыбнулся, ох этот Эли! Если бы Меир был шпионом, мог бы дорого продать день израильского наступления сирийской разведке.

Но это значит, что в пятницу утром он успеет улететь...

Позвонил Авиве. Предупредил, что завтра вечером он к ней заедет, а от неё в аэропорт. Та обрадовалась и долго щебетала — нет, у неё голос был невысокий, грудной — значит ворковала. Меир стал успокаиваться. Обещал завтра рассказать что-то очень интересное. Нет, только завтра, сейчас устал.

Ложиться спать было еще рано, но он разделся и улегся в постель. Включил экран.

Меир стал переключать программы в надежде увидеть что-нибудь интересное, не политику и не ток шоу. Но кроме этого были только сериалы. Он иногда писал рецензии на фильмы, но на сериалы не покушался. Не любил.

Я слышал, как в мозгу у него лениво ворочались мысли. Он пытался понять, почему бесконечные сериалы вытеснили обычное игровое кино. Наверно огромное количество информации в нашей жизни — думал он — утомляет человека настолько, что во время отдыха он уже не способен даже на минимальную нагрузку. Сериалы чем хороши — не нужно запоминать, как зовут героев, кто они такие, кто хороший, кто плохой. Осваивать новые обстоятельства. В первую неделю всех выучил — и дальше отдыхай. Расслабляйся. Все известно. Это дворец Алонсо, а это квартира Делии. А сюжет — бог с ним с сюжетом. И если зритель пропустит пару серий, или вздремнет ненароком — тоже ничего не потеряет. Действие развивается со скоростью -- одно событие в неделю. В конце сотой серии любящие соединятся.

В том, что развитие техники и поток информации глушит способности человека к интеллектуальному творчеству — лениво размышлял Меир — нет ни малейших сомнений. И дело вовсе не в привычном ворчании современников: "Вот раньше было!". Уже нелегко встретить человека, который устно сможет посчитать что-то, если это "что-то" больше пяти. Подавай ему калькулятор. Конечно, счет еще не творчество... Но его азы. И между прочим, человек с этого начинал свой путь в интеллект из обезьяны. Может поэтому сейчас такие проблемы с искусством? Для творчества все-таки нужен свободный, незагруженный участок мозга...

Или, скажем, современные музыканты — я понял, что Меир несмотря на отсутствие слуха считал себя знатоком и в этой области — их техника на голову выше, чем в девятнадцатом веке. И сравнивать нельзя. А музыка? В ней тоже гармонии и чувства заменила техника или ритм...ритм...ритм.

И в литературе не лучше. Проект писательницы такой-то. Не произведения, а проект. Проект он и есть, проект! Реклама, обложка, внешняя узнаваемость, кон-

вейер. И работает группа товарищей... До творчества руки не доходят. Это тот же сериал, только на бумаге. Ну и бог с ними...

И, как это часто бывает в полудреме, неожиданный поворот мыслей. На сто восемьдесят градусов. Все-таки Авива права. Несмотря ни на что. Не Гершой. Нужно попытаться жить как все обычные люди, дом, семья и все такое прочее. У человека в этих обстоятельствах должен вырабатываться не цинизм, а слегка глуповатый оптимизм. Причем вне связи с окружающей средой. Как будто у тебя впереди вечность. Нет, он завтра утром не позволит Гершою подпортить ему настроение и новый, «розовый» взгляд на действительность. Меир подумал, что с удовольствием бы проспал предстоящее интервью.

Он потихоньку засыпал, так и не выключив телевизор. Но мне звук не мешал. Вы уже знаете — когда "хозяин" не слышал и не слушал, я тоже был "глух и нем". Мы спокойно один за другим погрузились в сон.

Встречу он не проспал. Бдительный секретарь не позволила. Буревестник Гершой появился вовремя. Все было как обычно. Сначала уведомление Пнины. Затем зажегся экран. Оба вежливо встали. Последовало:

— Шолом, Меир.

— Шолом, Шимон.

— Как дела?

— Прекрасно. Что слышно?

— Все в порядке.

На экране со стороны Гершоя по-прежнему преобладали светло-коричневые и бежевые тона, только на этот раз брюки были немного ближе к кофе, а рубашка к молоку. И мне показалось, что наш клиент еще больше возбужден, чем в прошлый визит. На этот раз все его не слишком адекватные движения были еще более резкими и частыми. Может его, в отличие от общности, все еще тревожат барражирующие бомбардировщики?

Я не ошибся. Он начал беседу именно с этой темы.

— Не слышал, как там над Пакистаном? Летают? Больше не падают?

— Летают. И над Индией тоже.

— Может, послушаем новости?

— Пять минут одиннадцатого. Новости уже закончились. Зачем тратить время и нервы? Что мы можем изменить?

— Ничего, — Гершой сник, — ты прав, ничего. Пострадать мы можем, я это знаю по себе. А изменить не в силах ничего.

Он очень наглядно "повесил нос" и даже поддержал его рукой. Меир подхватил тему.

— С этого я бы хотел начать. Ты очень убедительно показал сложность ситуации...

— Ах, так на этот раз ты дочитал до конца?

В голосе Гершоя звучала какая-то детская обида.

— Дочитал, — Меир улыбнулся. И для большей надежности без зазрения совести соврал. — И не один раз. Так увлекся...

Он умел работать с клиентом.

Настроение Шимона мгновенно изменилось. Он широко улыбнулся от уха и до уха. Меир продолжал:

— Я не жду точного рецепта. Но видишь ли ты какой-нибудь выход?

Шимон тщательно протер очки и внимательно уставился нам в глаза.

— Мне кажется, что вижу. То есть это личное мнение. Но высказывать его в книге я не стал.

— Так плохо, по-твоему, обстоят дела?

— По-моему очень плохо. Хочешь, я опишу оптимистический вариант? И — заметь — понимаю, что не делаю открытия. Это уже стереотип для фантастики, но для жизни тоже, к сожалению, близкая реальность. Люди не остановятся, пока не разрушат пол земли. Бомбы, экология, климат — все пойдет в ход. А, собственно уже все в ходу. И вчера бомба вполне могла упасть на Пакистан. Как до этого упала в Судане, только с более тяжелыми последствиями, с цепной реакцией.

Он потер подбородок, почесал кончик носа, откинулся в кресле и печально продолжил:

— Оставшиеся в живых на земле начнут все сначала. Как в фильмах катастроф. Остатки цивилизации, разруха, бродят странные люди... Это оптимистический вариант.

Наш клиент определенно был сегодня не в лучшем расположении духа.

— Да-а-а, — протянул Меир, — ты правильно сделал, что не включил этот "оптимизм" в книгу. И в рецензии его тоже не должно быть. Такое никто не купит. Люди всегда надеются на лучшее...

— Я бы сказал иначе. Люди всегда думают, что не произойдет то, что должно произойти. Что пронесет. А оно происходит. Чудес не бывает. И никого это уму разуму не учит.

— Как-то до сих пор обходилось... Люди всегда ждали конца света. А когда где-то зарождалась цивилизация, и жить становилось лучше, появлялись варвары или вандалы и все разрушали. И все начиналось сначала.

— Да, обходилось. Но почему?

Меир промолчал.

— Если бы у людей была такая возможность, они бы давно все полностью разрушили. Не сомневаюсь. Это в них — в нас — заложено. И мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Но сначала человек не мог сильно навредить природе. Потом разрушить её могли только несколько якобы цивилизованных стран, которые дорожат жизнью. Во всяком случае своей. А сейчас? Ядерное оружие есть у всех и, наконец, можно осуществить вековую мечту обиженных, а таких большинство. Ломать не строить.

Он посмотрел куда-то вверх и неожиданно изрек:

— Тем более, что нас на земле стало невыносимо много.

И сам удивился сказанному:

— Кажется, меня сегодня заносит.

— Есть немного.

А я подумал, что в каждом обиженном сидит Карандышев из "Бесприданницы" Островского, и мощный вопль: «Так не доставайся же ты никому!» по отношению к Земле может раздаться одновременно из двух-трех миллиардов глоток. Единственный выход — обиженных должно быть меньше. Но на это мало похоже...

Шимон уже не мог усидеть на месте. Он поднялся с кресла и стал не то чтобы ходить вдоль стола, а как-то топтаться около него. И попутно что-то перекладывать с места на место. Но и очки, и ухо тоже не забывал. Это было немного смешно, но добавляло напряжения в разговоре.

Впрочем, выражение его лица было серьезным и, безусловно, вполне осмысленным. Адекватным. Без всяких натяжек.

Неожиданно он застенчиво улыбнулся и сказал:

— Прошу простить. Нервы. Вспомнился шок после взрыва. И не удивительно. Вчера мы с вами были в двух шагах от моих пророчеств. Если бы пилот не дотянул до моря... Все, все. Извини. Задавай свои вопросы, Меир. Я постараюсь...

— Хорошо. Но ведь обиженные понимают только силу, и как в таком случае быть? "Исламская цивилизация", к примеру, в основе своей не ценит ни свою жизнь, ни чужую. Террор, движение самоубийц, шахиды, попадающие прямо в рай — все это только отдельные примеры общей картины.

Шимон откровенно обрадовался оригинальному ответу, родившемуся в его голове.

— Допустим, так оно и есть. Я сказал — допустим. Но именно это и должно было бы настораживать. Если обществу, которое выше всего ценит безопасность своих граждан, противостоят люди, готовые с радостью пожертвовать жизнью, своей и чужой, то у кого больше шансов победить? При фактически одинаковых разрушительных возможностях? Это, мне кажется, должно привести к мысли, что война с таким соперником рано или поздно закончится печально. Только силой оружия с ним не справиться. Нужно искать другие пути. А демократические страны не снисходят до равноправия. Все свысока, с позиции силы. Мы отличный пример тому. У нас с соседями и с палестинцами все вообще много лет доведено до абсурда. И к такому же абсурду за нами движется мир. Разве это не тупик?

— Тупик, тупик, — успокоил его Меир и продолжал печатать, не глядя на клавиатуру. Я понял, что он ищет возражения к доводам Гершоя. Но то, что он сказал, прозвучало скорее как дополнение.

— Шимон, не все сводится только к борьбе государств. Смотри, везде повстанцы, теракты, междоусобицы, племена режут друг друга без зазрения совести. Черт-то что творится...

Меир вспомнил о черной демонстрации у своего дома, впрочем, он о ней и не забывал. Такое не забывается.

— И религиозные фанатики размножаются делением по всему миру, хотя казалось бы им уже давно пора исчезнуть. В наше-то время!

Гершоя тоже совсем раскис. И только огорченно развел руками.

Меир перестал стучать по клавиатуре. Кажется, Авива действительно была ближе к истине...

— Может так и нужно — просто жить? Не слишком реагируя на все вокруг. Чтобы сохранить разум.

Слова Меира произвели впечатление. Шимон задумался, поднял вверх указательный палец, давая понять, что ему в голову пришла очень важная мысль.

— Меир, как обычно говорят о том, что у нас сейчас происходит?

Меир не задумываясь ответил:

— Мир сошел с ума.

— Правильно. И до нас с утра до вечера доносят эту информацию, отлично доносят, с полным эффектом присутствия. Только включи экран — в собственной квартире тебя ежедневно убивают, насилуют, рядом с тобой несчастные женщины и голодные дети. Туг же гриб атомной бомбы. И реальная перспектива большого урожая этих грибов. Урожая, который некому будет убирать. В жизни, не в научной фантастике. Что тогда происходит с нами?

— Двадцать пятый кадр, — вслух подумал Меир.

— Что? — переспросил Гершой. Но образованный человек, быстро сообразил. — Да, пожалуй. Вне нашего желания. Не каждый может быть экстремалом, они особенные люди, и — пусть на меня не обижаются — все-таки не совсем нормальные. А если в такой ситуации оказывается обычный человек?.. Сейчас нам всем вместе и каждому в отдельности приходится выступать в этой роли. Каждый день сплошной экстрим. Нельзя в таких условиях сохранить разум. Никому. Это иллюзия. Так только кажется.

Вид Шимона с указующим в небо перстом был наглядной иллюстрацией к его словам.

Даже Меир стал проявлять эмоции и неожиданно предложил:

— Я знаю, как назвать рецензию на твою книгу.

И в третий раз за эту неделю я услышал фразу:

— "В сумасшедшем доме нормальными являются ненормальные".

Расстались Меир и Шимон почти друзьями. Старший по возрасту высказал уверенность, что они будут встречаться не только на деловой почве. Младший это с охотой подтвердил. И даже финальное обсуждение сроков работы прошло довольно мирно.

Меир предупредил, что уезжает на время "по делам", но через месяц рецензия будет готова и все прочее спланировано.

— Месяц, — расстроено протянул Гершой.

— Шимон, если бы я за неделю мог заработать такие деньги, я бы был миллионером. И потом, то что мы с вами называем скромно рецензией, в действительности рекламная акция. Надо договорится с прессой, с прочими СМИ. Спланировать все. Наметить диспуты. Это работа. И не простая работа.

Все-таки Гершой настроение подпортил. После окончания встречи добросовестный Меир, предварительно выпив энергетический напиток, около часа оформлял свои записи. Этот процесс еще больше омрачил и без того неприятный осадок в его душе после беседы. Правда часто бывает горькой, что поделаешь.

"Если бы Шимон знал, что мы со дня на день затеваем оборонительную атаку на Сирию, — вздохнул Меир — он бы расстроился вконец. Мы на Сирию, Иран трахнет по Израилу, Америка по Ирану... Во всяком случае, обычные ракеты из Сирии и Ливана будут точно. До убежища добежать не успеешь, оно одно на весь поселок. Либо все время там сидеть, либо ехать к маме в Тель-Авив. Как в позапрошлом году. Но и там достают. А может как-то обойдется? Права Авива — кто тут останется нормальным, кроме Ронит? Хорошо, что я успеваю выскочить на острова до начала заварушки, если верить Эли".

Он сознавал, что это звучит эгоистично, дома остаются родные и близкие. Но уж очень жаль было бы загубленного отпуска. Тем более, что его присутствие или отсутствие все равно ничего не изменит.

Ближе к обеду позвонил Моти. Предварительный суд закончился быстро и без проблем. Принято постановление о границе безопасности для Орны сроком на три месяца. Все остальные темы переданы следствию, которое будет идти ни шатко, ни валко.

Орне дама по защите детей сейчас выбивает место в школе-интернате в Ашдоде, вблизи её тетки, которая все еще за границей. Но только с нового учебного года, сейчас занятия практически закончились. Они поехали в интернат оформляться. Орна просила передать Меиру, чтобы он не волновался, после обеда она приедет и все уберет.

Отлично. Тем более, никто убирать и не собирался. И никто не волновался.

— А знаешь, кого я встретил возле суда? "Случайно"? Рава Мерзеля.

— Ты его знаешь?

— Кто в Нагарии его не знает? Мы с ним были один на один, поэтому говорили почти открытым текстом. Он сказал, что без сомнений совращение несовершеннолетней имело место, и вполне можно было это доказать. А для начала стоило привлечь внимание общественности. Для чего и была задумана демонстрация. Но этот осел Барух позволил избить дочь, не смог удержать от погрома своих людей и испортил все дело. И сам Мерзель — сам! — предложил с обеих сторон исключить все сексуальные мотивы. Я его успокоил и сказал уже совсем открытым текстом: если они оставят тебя и Орну в покое, то и мы не будем бороться за справедливость. Ведь не будем?

— За справедливость? Мы же не полные идиоты.

— Так я и сказал. С нас хватит того, что рав Барух с семейкой и компанией получит за поби и за погром. Марзель изволил кивнуть. У нас теперь с этим джентльменом джентльменское соглашение. Пусть идет в Кнессет, там таких джентльменов полно.

Меир слегка перекусил перед полуденным сном, призвал на помощь весь свой оптимизм и еще оставшееся в запасе умение в упор не видеть неприятности и с тем лег в кровать. Уснул он довольно быстро.

Я спать не мог, для меня это было бы непозволительной роскошью. Это была последняя возможность остаться наедине с собой. И все время, пока Меир спал, я посвятил воспоминаниям. Тому, что у меня отнимут через несколько часов. И хоть воспоминания только тени людей и событий, бестелесные тени, но они иногда более реальны, чем сама действительность. Передо мной — так всегда бывает в подобных обстоятельствах, если верить лигатуре, — прошла вся моя жизнь. Но признаюсь, просмотрел я её быстро и особых восторгов не почувствовал. Хотя были — не стоит ворчать — и очень запоминающиеся моменты. Но зато — как обычно — часы, проведенные с Мариной, заняли почти все отведенное мне Меиром время. Мои воспоминания были такими яркими, Марина передо мной стояла такая живая, казалось протяни руку...

Но вот Меир зашевелился, открыл глаза и недовольно проворчал:

— Что за черт. Третий день снится одна и та же незнакомая баба. К чему бы это? Но ничего, симпатичная...

Сон улучшил настроение "хозяина", "гость" по-прежнему пребывал в меланхолии.

В четыре часа, еще не дождавись Орны, мы вышли на прогулку. На этот раз связи между нами, даже односторонней, не было. Отныне у нас были "разные судьбы". Меир думал о том, что с завтрашнего утра у него начинаются каникулы, его ждут острова, где не нужно опасаться взрывов или известий с многочисленных фронтов — на юге, на севере, на востоке. Он, как и все в стране, привык к этому состоянию подсознательной тревоги, и казалось, уже не реагирует ни на что. Но так только казалось. Сейчас, в ожидании поездки в относительно безопасную зону, он осознал, что внутреннее напряжение все-таки существует и ниже какого-то минимума не исчезает даже во сне.

Радовало и то, что с ним едет Авива. Он понял, что последнее время Ронит для него было слишком много, а Авивы определенно не хватало. «Сидение на двух

стульях» неожиданно для него (но не для меня!) стало вызывать едва ли не отвращение. А сможет ли он выдержать двадцать дней непрерывного общения с ней? Это очень сложно. У него даже промелькнула полусознанная мысль, что если три недели вместе будет хорошо, то можно — может быть — подумать о... Стоп! Развигия этой опасной темы он не допустил. Прежде всего, неизвестно, сможет ли он в глубине души простить ей то, что с такой легкостью прощал себе. Включая последние события — упомянутое «сидение на двух стульях». К себе, замете, у него претензий не было. Но воображение, несмотря на запрет, продолжало свою работу. Он явственно представлял себе, как окружающие с восхищением перешептываются — какая красивая пара! И неодобрительно покачал головой, осуждая свое тщеславие. Но я в данном случае его поддержал. Пара действительно была бы на загляденье, сочетание светлой красоты севера и смуглой — знойного юга. Могу позволить себе такие восхваления, потому что, в конце концов, говорю не о себе и не о своей красоте — чего нет, того нет.

Но двадцать дней неразлучно — испытание серьезное. Обратите внимание, Меир как обычно думал только о себе, его даже теоретически не заботило, как будет себя чувствовать Авива. Я должен был признать, что мои педагогические успехи преувеличивать не стоит.

Ещё одна мысль возвращалась к Меиру время от времени. С Орной ему было бы легче. В смысле общения. Уже почти год ежедневно часа по три-четыре они — скажем так — сосуществовали в одной маленькой квартире. И не мешали друг другу, скорее наоборот. В таком качестве они были вполне совместимы. То что недавно случилось Меир успешно старался выбросить из головы... Они отлично ладили, подолгу разговаривали. Подолгу для Меира, который был отнюдь не болтуном. Наверно он будет скучать по этому легкому и какому-то домашнему общению.

Орна, он признавал, человек необычный. Она ушла из своей непонятной Меиру касты, но и не собиралась стать такой, как все, кто его окружает. "Непосредственность, — подумал Меир, — в наше время большая редкость. А может даже великий дар божий". Интересно, за время их отсутствия она найдет квартиру и работу и съедет из его холостяцкого стандарта? Если да... — то он уже начинал скучать по ней.

Словом, эмоций и размышлений у Меира было, хоть отбавляй. И все оптимистического характера. В его скептическом и довольно мрачном мировоззрении стали появляться цвета. Сам Меир этого еще не понимал, но я-то догадывался — появилась интрига. Промелькнула мысль — интересно бы узнать, как дальше все повернется? Но мне это не удастся. Я исчезну.

А значит — как ни верти — умру. Стану ли я Меиром или нет уже не имеет значения. Он и сейчас Меир, без меня. Новое "я" не будет знать, что когда-то было старое, значит старого и не было. А смерть, или исчезновение, называйте, как хотите, все равно штука страшная...

Насколько хватало сил я старался об этом не думать, чтобы невольно не портишь настроение Меиру, который видел перед собой новые горизонты и был непривычно эмоционален и оптимистичен. И слава богу! У него впереди вся жизнь. А у меня, увы, "окончен бал, погасли свечи". Не омрачать ему ожидание будущего — в этом я видел свой последний долг перед моим протеже. Такое определение было мне ближе, чем загадочное слово "реинкарнация".

Погода была просто изумительная, не жарко, даже легкий ветерок с моря приятно обвевал. Солнце было уже не в зените, но еще довольно высоко, с любопытством оно заглядывало прямо нам в очки. Немного слепило, но приятно.

Мы приближались к строящемуся дому, и к нам навстречу вышли Саид с палестинцем. Они закончили рабочий день. Саид приветливо улыбался и издали готовился произнести привычное для израильтян "бай". Его молодой напарник-палестинец был, как всегда неприветлив, но на этот раз не отворачивался.

Чуть подальше дедок-"американец", как обычно сидел под деревом, он встал, чтобы традиционно нам помахать ручкой... И вдруг — я это ясно видел — вытащил дрожащей рукой из-за пазухи пистолет, сорвался с места и двинулся в нашем направлении. Ему, наверно казалось, что он бежит, но на это было мало похоже. Мне послышался дребезжащий старческий крик:

— Стой! Стойте, вам говорят!

На русском языке. Это нас отвлекло от арабов. Мы не заметили, как палестинец шагнул к нам:

— Аллах Акбар!

Короткий замах и нож вошел в сердце Меира. Я видел все замедленно, как при ускоренной съемке. Боли не почувствовал, но услышал ужасный звук раздираемой кожи и даже хруст костей. Все завертелось. До меня донесся чем-то знакомый голос "американца", хотя сейчас он был больше похож на вопль отчаяния:

— Меир, Витя, стой тебе говорят!

И выстрел.

Успел подумать — неужели дедок это я?

Все. Наступила темнота. Полная темнота и абсолютное безмолвие. Затем опять туннель, флюоресцирующие огни. Продолжение полета. Шок от случившегося полностью парализовал мои мысли. Я даже не задавался вопросом, что будет происходить дальше. Ведь от меня так или иначе ничего не зависело. Меня никто ни о чем не спрашивал. Постепенно огни тоннеля поблекли, все заволакивал какой-то белесый, безжизненный туман. Приближался неизвестный мне финал.

Внезапно сознание пронзила острая до боли мысль — а если бы меня спросили, чего я хочу? Мой ответ бы сомнений не вызывал. Больше всего на свете я хотел, чтобы меня вернули в мое время. Туда, где прошла моя жизнь и где оставалась Марина. Не жить, но хотя бы быть, как Гамлет, или не быть там. Это желание буквально затопило моё сознание. Чувства были такими сильными, что я даже не сразу заметил, что движение флюоресцирующих огней замедлилось, а потом и вообще всё замерло в неподвижности. Как будто поезд посреди ночи неожиданно остановился на полустанке в пустынной степи, пропуская встречный состав.

Я вспомнил свой опыт общения с Меиром и с силами, которыми я управлять не мог, но мог воздействовать на них только эмоциями. Только искренним и неистовым желанием.

В конце концов, я хочу очень немногого. Не требую для себя никаких льгот и исключений, не прошу «живой воды». Я только хочу, чтобы последней мыслью моей было сознание, что я остаюсь там, откуда родом. И она где-то недалеко. Неужели я не имею на это права?

Чтобы не спугнуть происходящее, я изо всех сил старался не замечать, что флюоресцирующие огни сдвинулись с места и неторопливо поплыли в обратном направлении. Поезд, постепенно разгоняясь, давал задний ход. Белесый мертвый

туман стал таять. Скорость увеличивалась. Огни слились в сплошные линии. Я за-
таил дыхание, разумеется мысленно...

Неожиданно в глаза ударил яркий свет операционного стола. Я вернулся.

За четыре с половиной минуты клинической смерти я прожил шесть, почти
семь дней. Путешествие во времени имеет свои особенности, и это, как часто бы-
вает, раньше всех интуитивно поняли писатели. Помните, в «Янки при дворе ко-
роля Артура» Марка Твена, герой прожил в прошлом несколько лет, а в настоящее
вернулся в ту же точку и примерно в то же время? И так происходит во многих
историях о перемещениях в прошлое или будущее. В таких случаях сама шкала
времени может сжиматься или расширяться. Сейчас и ученые с опозданием стара-
ются обосновать эту версию.

Вероятно, дистанция в тридцать лет позволяла мне жить с разной скоростью.
И оставалась возможность вернуться, в крайнем случае. Все было продумано...

Я сейчас счастлив. Не просто счастлив, а очень счастлив. Так, как должны
быть счастливы люди, чтобы жизнь не казалась им напрасной.

Но как странно... так человек устроен, все связано. Если вдуматься... Мне
кажется, что часть меня умерла. Вместе с Меиром. Еще не родившись. Во мне од-
новременно существуют настоящее, прошедшее и будущее. Может так и должно
быть, связь времен? И еще — я уже умирал два раза. Теперь мне предстоит это в
третий. Нелегкая вещь.

Остается добавить только одно. Возможно, дедок это был действительно я.
Неужели я переживу тех, кого люблю и останусь один? Это ужасно. Но зато вновь
появится шанс попытаться спасти Меира. Новая возможность, еще одна. В буду-
щем. Если хорошенько проанализировать случившееся, исправить ошибки. В
конце концов, просто пристрелить палестинца, не дожидаясь финала... Но, рассу-
дая логически, если я вернулся, значит, любая попытка заранее обречена. Впрочем,
со времени моей удивительной реинкарнации я верю в самое невероятное. Или в
противовес этому, верю только в стойкие галлюцинации в результате клинической
смерти. Когда как. Но первый вариант мне нравится больше.

Такими, или примерно такими словами закончил свой рассказ Виктор
Сергеевич.

А во что верите вы?..

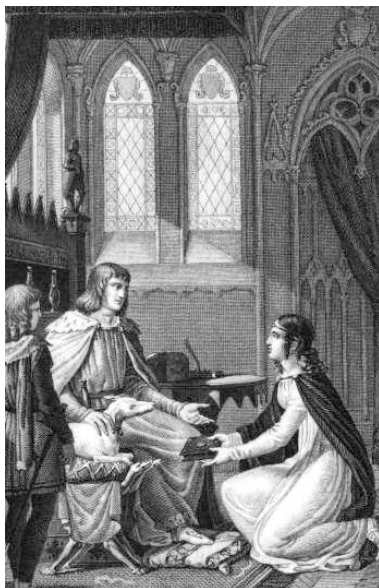
Конец



**Мари де Франс
Вероника Долина**

**ДВЕНАДЦАТЬ "ПОВЕСТЕЙ"
МАРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ***

Предисловие и перевод Вероники Долиной



Предисловие

Пришло время рассказать об этом. Не знаю, как справлюсь.

Эти переводы — надолго, на много лет отложенная, отодвинутая интрига.

Я обнаружила «Лэ Марии Французской» очень давно, в школьные еще годы, фрагментарно в каких-то учебниках. Возможно, потрудившись, можно было бы восстановить, где именно. Впечатление оказалось пожизненным, как заключение.

Итак, это цельная конструкция из 12 лэ (баллад) и пролога.

1. «Гижмар» — это фантастическая повесть со сказочными аксессуарами (говорящая лань, самоходный корабль, заговоренная рубашка), близкая к истории Тристана и Изольды. Имя героя можно попытаться расшифровать — кроме бретонского происхождения, не откинешь латынь и французский. Вероятно, оно означает

Бедняга, Бедолага, и, кстати, всюду намеки не на злоключения, а на незаинтересованность в дамах; все его раны как-то неспроста.

2. «Эквитан» — что-то вроде фарса с грозным юмором, а имя героя сообщает о том, что он был, натурально, весьма совестлив, не труслив, а вот именно стыдлив, для короля незаурядно. Похоже, имя Эквитан происходит от «уравновешенный, компромиссный». Ну, плюс Аквитания, плюс «аква», любителю средневековья хорошо знаком «Фарс о лохани».

3. «Ясень» — это классическая история о близнецах. В литературе предание прирастает и «Беляночкой и Розочкой», и «Легендой о близнецах» Цвейга, и «Двенадцатая ночь» Шекспира тоже тут.

4. «Бисклаврэ» — насколько можно расшифровать это причудливое для нашего слуха имя, означает «двуликий» или, по-русски, именно «оборотень».

Наверное лишнее указывать на «Аленький цветочек» Аксакова, на все вариации «Красавиц и Чудовищ», это очевидно. Вервольфы и гару — изобильны во всех мифологиях.

«Бисклаврэ» — оригинальный сюжет мелюзинного рода, правда, двойную жизнь ведет мужчина, а не дама-фея. И он не погибнет от руки человеческой, как это было с Мелузиной. Предателей накажут, герой уцелеет. А тайны свои — надо охранять, все уж очень хрупко, между нами говоря.

5. «Ланваль» — единственная повесть из артуровского времени. Герой присутствует за Круглым столом, его следы обнаруживаются и в списке рыцарей, и в реальной Бретани.

Рыцарь попадает в обольстительный плен царицы иных миров.

Пушкинская «Сказка о Золотом Петушке» приветствует нас, да и Шехерезада тоже.

Лояльности верноподданнической тут нет никакой: Артур глуп и жесток, а Гиневера отвратительно не по-королевски коварна.

Зато появляется Авалон — туда-то Ланваля и эвакуируют, от беды подалее.

6. «Влюбленные» — вневременная универсальная история о тех, кто шел, да не дошел, был слишком простодушен и чист, чтобы выжить и остаться с выигрышем, следовало схитрить. Оказывается, не все на это способны.

Это единственная нормандская повесть у Мариини Французской. Похоже, этот холм, неподалеку от города Эвре, существует.

К тому же, сказку Ш. Перро «Гризельда» считают происходящей от этой повести.

Овдовевший король влюбляется в дочку — довольно скоро сказители закроют эту небузупречную тему, появятся «Белоснежка», «Мертвая царевна с семью богатырями». Промежуточная фигура злой мачехи прикроет исторический грех короля-отца.

7. «Йонек» — это бретонское имя. Яник, Янник — вообще часты, а это, возможно, вариант Иоанна. Рыцарь-птица и в «Финисте — ясном соколе» рыцарь.

А героя повести зовут иначе — Мулдумарек. Он тоже существо, живущее в двух мирах, а все же сказание о нем — не мелюзинного цикла. Он не стремится жить среди людей, знает, что они опасны. Его мир четко очерчен, выписан с дета-

лями, и это «нижний мир». Похоже, из судьбы и имени его исходя, что он из падших ангелов.

Впрочем, изделие совсем иного времени — «Синюю пшцу» Метерлинка — специалисты тоже выводят из «Йонека». Может, поход героев через земные, надземные и подземельные царства в самом деле позволяет и эту версию считать жизнеспособной.

8. «Соловей» начинается с трогательного разъяснения автора того, что бретонское слово «аостик» она не променяет на французское «Россиноль» или английское «найтингэйл». Чуть помедлив, поэтесса возвращается к нежному «аостик».

Это маленькая поэма о нравах жизни города, где дома — вот беда-то! — стоят стена к стене. Поэмка проста, да не очень, и в ней вновь отсыл к Тристану и Изольде.

9. «Милон» — это имя встречается среди рыцарей Круглого Стола.

История младенца, отданного на воспитание, пущенного «по волнам», отодвинутого отцом и матерью до лучших времен — этих сюжетов не счесть: от Моисея, через Мольера, Шекспира, да и пушкинская «Сказка о царе Салтане» встроится, хоть дитя отправили не в одиночку, а с мамой.

Как зовут юного рыцаря, так и не выясняется, а Милон — имя героического отца. Имя мудрой матери, отправившей младенца в ссылку на 20 лет, тоже остается неизвестным, по прихоти автора.

Присутствует волшебный лебедь, который носит любовникам почту эти самые 20 лет, жалкая участь пшцы из баллады «Соловей» его минует.

Вообще, у этой странной семьи все будет хорошо.

10. «Несчастный» — это курьезный средневековый (а может, и актуальный?) эпизод о невольном дезертирстве, о человеке, попавшем в неловкое положение.

Мне кажется, скорее так — чем считать это повестью о капризной красавице, возможно, королеве Альенор, или о графине Шампанской.

Чуть анекдот, чуть поклон рыцарству с его догматами.

Не с чем, пожалуй, и параллель провести, это какой-то капитан Тушин из «Войны и мира».

11. «Жимолость» — единственная вещь Марии Французской, представленная во всех антологиях, хрестоматиях средневековой литературы.

Это изолированный фрагмент из «Тристана и Изольды», извлеченный поэтессой, по ее словам, из рукописей, из старых книг. Отчего-то именно встреча влюбленных в лесу, кульминация их отчаяния привлекла внимание автора. Возможно, собранная в этом эпизоде пороховая энергия боли и безвыходности вприснула в строки «Жимолости» нечто, что многих и многих притягивает к этим стихам по сей день.

Автор терпеливо разъясняет слово «шеврофей» — козий листик по-русски, приводит английские «готлиф», перевод тот же, а нам достается загадочное ботаническое «жимолость».

12. «Элидюк» — это даже небольшой стихотворный роман, полифонический вполне: внутри него есть и «Гижмар» с таинственными плаваниями, и «Влюбленные», где король-отец неравнодушен к дочке, и Милон с его воинскими заслугами, и «Жимолость» с лесным колдовством.

Но это абсолютно самостоятельный сюжет. Множество мужчин всех эпох примут эту историю близко к сердцу.

А имя Элидюк — вновь подает нам знак: это, пожалуй что, «избранный» и «изгнанный» в одном лице.

Что-то из моих комментариев покажется наивным, что-то забавным.

Для меня нет сомнений в том, что сказочные повести в стихах Марии Французской — одно из первых подлинно литературных событий старинной, очень старой Европы. Обольстительная складность, мед для переводчика. Я даже взламывала эту чуть монотонную музыку синкопами и секвенциями.

Ее усмешка, твердая рука драматурга, простоватые с виду «входы и выходы» в каждую из баллад, ее доверительные отношения с высшим и низшим мирами — все это было вне поля зрения тех, кто читает только по-русски.

Магическая реальность — так издавна это называется, и поэтесса была не сказочница, не фольклорист, а рассказчица. Пересказчица даже — она ведь перевела с латыни эти старые бретонские сюжеты, выбрав их из старых книг, потрудившись, видимо, в скрипториях. Так она пишет. Перевела она их на свой старо-французский язык.

Отчего? Я не знаю, возможно, нуждалась в поддержке магией. Какой магией? Настоящей, литературной, рифмованной.

Есть в мире Европа. Есть в Европе Франция. Там есть Бретань. Множество сказок там лежит где положили очень давно. Корабли там заходят в бухты, такой контур побережья, чтобы спрятаться, как кораблик Гижмара.

А люди там живут, дети ходят в школы, по некоторым признакам.

В книжных магазинах продают карты местности — для тех, кто...

Моя пожизненная спутница, моя Мари де Франс кое-что завещала нам, и, как всегда сделала это тихим голосом, гибко, между сказочными строчками:

читать и почитать старые книги;

литературную работу делать тщательно и упорно;

выбирать лучшее из того, что предлагает реальность, для высшей цели — обрабатывать и пересказывать, рифмовать и импровизировать, осваивать старинный сюжет как свой собственный, быть его хранителем.

Литературное изделие живет, как мы уже поняли, неправдоподобно долго, в некоторых странах особенно; много дольше каждого из нас.

Полюбит ли мой современник, говорящий и читающий по-русски, этих героев, их приключения?

Кое-что рискованно, кое-что очень по-моему.

Дело в том, что давно уж «нет в мире короля, которому смогу все песни перепеть, что в сердце берегу».

По преданию, Мариа Французская жила и сочиняла при дворе Альенор Аквитанской. Писала «для своего короля».

Я уже не раз побывала на развалинах замка Альенор в городке Домфрон, в Нормандии. Ничьих следов там не обнаружила.

Пропог

Уж если дал Господь
Таланга и ума —
Не стоио избегать
Ни чтенья, ни письма.

Увидел — записал.
И смотришь — семена
Уже взошли, цветут,
Прошли сквозь времена.

Услышал — повтори.
А тот, кто рядом был,
Не слышал ничего.
Что помнил — все забыл.

А ты-то видел знак —
Луч солнца, например.
Вергилий делал так,
И старенький Гомер.

Для тех, кто слаб умом,
Приходится творить.
Им надобно сказать
И трижды повторить.

И ключик повернуть
В заржавленном замке —
Чтоб звякнул бубенец
На самом языке.

Взяла — перевела
Я все на тот язык,
Который вам знаком,
И всяк к нему привык.

Пусть многие брались —
Иных давно уж нет...
Слова еще нашлись,
Да потеряли цвет.

И вот я принялась
За сказочки в стихах —
Чтоб не перевелась
История в веках.

Чтоб шел за ночью день,
Чтоб миром Бог владел.

Чтоб знала место тень,
А демон — свой предел.

Нет в мире короля,
Которому смогу
Все песни перепеть,
Что в сердце берегу.

А, если уж найду
Мужчину без грехов,
Тотчас ему отдам
Тетрадь своих стихов.

...Кому ж не дал Господь
Таланга и ума —
Пусть избегает хоть
И чтенья, и письма.



Гижтар

Когда рассказ хорош — там зернышко на дне.
Ты зернышко найдешь, а сладко будет мне.
Счастлива та страна, где добрые дела
Творятся дотемна, и ночь у них светла.
Могучи их цари, и тюрьмы там пусты.
Светлы монастыри, а пастыри просты.
Мы знаем много слов, но лучшие — тихи.
И что нам до ослов, не верящих в стихи?
Хочу вам рассказать негромким голоском
Историю одну, добытую тайком.
Бретонцы говорят: в стране забытых фей
Истории лежат, но ты найги умей!

В то время правил Хэль, удачливый король.
При нем — один сеньор. О нем скажу, позволь.
Прекрасный кавалер звался Оридиал —
Семейный человек, придворных идеал.
С супругою своей он проводил часы —
И дал им Бог детей невиданной красоты.
На то и есть Бретань, там имя — как удар.
Девчущку звать Ноган, а мальчика Гижмар.
Уж как их любит мать и ласковый отец —
Но время вылетать из гнездышка, птенец!
И юноша идет на службу к королю.
Все юноше идет — как я это люблю! —
Доспехи, стремена, и скачки, и бои...
Вот были времена любимые мои!
И юноша не ждет, что грянет волшебство —
Во Фландрию идет, там яростней всего
В огне далеких стран сражался кавалер...
Но был один изъян: на женщин, например,
Он вовсе не глядел, неясно почему,
И ни одна из них не нравилась ему.
Нет, более того: он избегал любви,
Как будто бы и так носил ее в крови.
Уже чуть-чуть смешон для преданных друзей,
Невинен, отрешен — живет наш ротозей.
Но вот пришел домой. Сестра, отец и мать —
Его наперебой ласкать и обнимать.
Со всеми ровно мил, без радостей иных,
Он целый месяц жил в семье, среди родных.

Так можно и пропасть без видимых причин.
Но есть иная страсть для подлинных мужчин —
Охота! Наконец, созвали егерей,
И мчится наш юнец в лесную глушь скорей.
И нож при нем, и лук, и полчище собак.
И что ж он видит вдруг, плечом раздвинув мрак?
Там на опушке лань стоит, белым-бела.
И олененок с ней. И отступила мгла...
И царственное всех, так нежно хороши —
Что снимут тяжкий грех с измученной души.
Наш воин, наш герой, наш храбрый юный друг!
Достань скорее свой выдавший виды лук.
Да не зови друзей, и перестань дрожать.
А белой лани — ей стрелы не избежать.
Спасенья зверю нет. Стрела летит хитро.
Но странный был душет — Гижмар пронзен в бедро.

Он сам пустил стрелу, и кровотоцит он.
И к своему седлу почти что пригвожден!
Он падает в траву... Пред ним олень лежит,
Во сне иль наяву лепечет и дрожит:

Ты, рыцарь молодой, меня не пощадил.
Я, рыцарь молодой, тебя не пощажу!
Ты думаешь, что ты легонько ранен был?
А я судьбу твою сейчас перескажу.
Ни дикая трава, ни тайный корешок
Не вылечат тебя, кровавый мой дружок.
Заклятья и стихи, врачи наперечет —
Дела твои плохи, и боль не истечет,
Покуда не найдется женщина одна,
Что за тобой пойдет до самого до дна,
До сердцевины сна, до пламени в аду.
Отыщешь — будешь жив. Гижмар сказал: найду.

Оставь меня теперь! — мгновение спустя
Шепнул несчастный зверь, и пало с ним дитя.

Гижмар с тех самых пор не может кровь унять
И странный приговор старается понять:
Куда ему идти, в каком таком краю
Искать и обрести кудесницу свою?
И отсылает он, всего в слезах, слугу:
Иди, любезный друг. Я больше не могу.
Я бодрствую во сне — такая точит боль,
Как будто в рану мне все время сыплют соль.
Скачи к моим родным — им сердце не солжет,
Но объясни ты им, что рана смертно жжет...
Слуга собрал добро, поплакал и исчез.
Перевязав бедро, Гижмар уходит в лес.

Хромая, будто зверь, он вышел по ручью
На бережок теперь — и увидал ладью.
Он смотрит все смелей: кораблик на воде.
Таких-то кораблей он не видал нигде.
Стоит себе один, и не видать других —
Как будто из глубин он вынырнул морских.
Эбеновая снасть, из шелка паруса —
Готов отплыть, пропасть, взлететь под небеса.
Наш раненый герой немало удивлен:
За этою горой морей не помнит он!
Не знал, что корабли заходят в этот порт.

И вот уже с земли ступает он на борт.
Чеканка и резьба, и жемчуга гряда...
Ну, что ж сама судьба вела его сюда.
Упасть себе позволь, чтобы очнуться вновь!
Он забывает боль, он вытирает кровь.
Толкнут тебя тычком — в александрийский шёлк
Ты упадешь ничком, чтоб не завывать как волк.
...Кораблик побежал по морю, по волне.
Там наш Гижмар лежал, так думается мне.
Не виден капитан, не слышен экипаж,
А вот корабль летит как призрак, как мираж.

Меняется все, захотелось и мне изменить свой стих.
Кораблик причалил, как будто бы ветер внезапно стих.
Страной этой правил давно, с незапамятных пор
Супруг молодой госпожи, пожилой сеньор.
Пожалуй, нет горя смешнее, чем ревность мужей-стариков.
Что-то вроде потери зубов, или даже нежнее,
это их прорезывание рогов...
Себя не желая признать уродом,
Карауля ночи и дни,
Он выстроил башню с единственным входом,
Чтоб жена оттуда ни-ни.
Лишь море гладило мраморный
Башенный бок.
Хотя ведь и с моря, если действовать грамотно,
Кто-то подплыть бы мог.
А в башне — унылой, серой,
Часовню устроил муж.
И ценною росписью — сцены с Венерой —
Украсил ее к тому ж...
Вот старый Овидий — он нам нужен самим,
Мы любим читать на сон.
А наша пленница им топиг камин —
Извини, дружище Назон.

Так вот, нашей даме, заложнице, избраннице на века —
Была поблажка положена: служанка, племянница старика.
Они подружились и жили как сестры,
Как пгички в своем раю.
Хотя этот рай и стоял
У пропасти на краю.
Лишь старый священник, единственный, худенький и седой,
Имел свой ключик к таинственной двери над самой водой.
Он был им вернее друга, капеллан им был и слуга.
Такого слуги услуга, особенно дорога.

Но час приближался, и тем он запомнится вам сейчас,
Что в полдень проснулся демон, испытывающий нас.
Юные дамы посмеют выйти проветриться в сад —
Но не думаю, что сумеют легко вернуться назад.
Что видят они? Вот странно: корабль, пестры паруса.
Кораблик без капитана, прекрасный как небеса.
Кораблик все ближе, ближе, какой-то полет стрижа!
Но что я, как зритель, вижу? Несчастливая госпожа!
Смертельно бледные обе, дамы бегут к воде.
Корабль еще не причалил, встречающих нет нигде.
Служанка на мостик взбегает, старается не дрожать.
А госпожа выжидает, и некуда ей бежать.



Случилось то, что случилось.
Все в жизни пошло верх дном.
Конечно, дама влюбилась
В Гижмара, объятого сном.
Попробуйте не влюбиться,
Не возненавидеть свой хлеб —
Когда перед вами рыцарь,
Прекрасный, как спящий лев.

Он в башне уже очнулся,
Когда наступил рассвет.
Прислушался, оглянулся —
А боли почти что нет.
То жизни серьезный признак:
Боль уходит как дым.

И женщина, будто призрак,
Склоняется перед ним.

Что делать, что дальше будет?
Как с этою дамой быть?
А вдруг она не полюбит,
Не станет его любить?
Он все-таки иноземец, не знающий языка.
А дама — чужая дама, хотя, возможно, пока.

Хозяйке прекрасной башни он говорит напрямик:
Сударыня, мне не страшно, я к боли своей привык.
Но если, милая дама, вам меня не спасти —
Выходит, у вас тут прямо найду я конец пути.
Она его обнимает, целует горящий рот.
Она его понимает — не всякая так поймет.
К тому же, друзья, к тому же, зажегся огонь в крови:
Она прожила при муже, не знающая любви.
Вот так заключилось дело, победу побед верша —
И тело любило тело, а душу нашла душа.

Герой и любовь героя, укрывшись от всех невзгод —
Так прожили эти двое свой самый счастливый год.
Служанка их тоже не смела вздремнуть среди ночи и дня:
Служила им, как умела, и грелась у их огня.

Ах, милый, единственно милый! —
Шептала дама чуть свет.
Любить вас с такою силой
Уже моей силы нет.
Но, если другая найдется неведомая любовь —
Душа моя разорвется, и выкипит моя кровь.

Не бойся, не надо! — тихо он ей говорит в ушко.
Забыла, что олениха мне напророчила? Что
Я только с тобою буду до самого судного дня,
А если тебя забуду — найдет моя боль меня.

И дама берет рубашку из тонкого полотна.
Надень — говорит — мой милый! И буду лишь я одна
Завязывать хитрый узел сегодня и всякий раз.
И никакая другая. Такой тебе мой наказ.

А та, что его развяжет, распутает на груди —
Она пусть тебе и скажет, что будет там, впереди.
Гижмар ей в любви клянется, хотя и сам поражен,

Что никто узла не коснется — ни ножницами, ни ножом.
А все-таки, беспокоясь о том, чего еще нет —
Он надевает ей пояс: в застежке — старый секрет.
Кто тайной любви желает, кто хочет в огне пропасть —
Застежку сперва ломает, чтоб утолить свою страсть.

...И в тот же день непогожий
Открыли их тайный грот:
Слуга, на крысу похожий,
Нечаянно их найдет.
Как будто бы с порученьем он тихо шел к госпоже —
А дальше видели только, как опрометью уже
Бежал к своему господину... И старый грозный сеньор
Отправился к девичьей башне, где не бывал с давних пор.
Он в ярости дверь обрушил из корабельной сосны
И рыцаря обнаружил в объятьях своей жены.
Ну? — смотрит старик угрюмо. — Откуда же ты, герой?
На дне какого же трюма ты прибыл на берег мой?
Тут корабли нечасты, у этих старинных скал.
За что ты мне дал несчастье, какого я не искал?
Не всякому удастся грудь старую растерзать...
И что тебе остается, как правду мне не рассказать?

Гижмар говорит, как было: как боль его привела
К берегу, где полюбила дама его и спасла.
Как видно, судьба превратна, и случай тут непростой.
Сеньор отвечает: Ладно. Я понял тебя. Постой.
Ты говоришь, что прибыл сюда к нам на корабле.
А что же никто не видел его на нашей земле?
Ты где-то его припрятал? А место не позабыл?
Гижмар отвечает: Помню. Кораблик мой там, где был.
Его сейчас же уводят. Поставили паруса,
И тихо корабль уходит — плывет себе в небеса.
Плачет Гижмар, рыдает, даму свою зовет.
А Бог за ним наблюдает, и корабль — плывет.

Спустя три дня и три ночи — родимые берега.
Гижмар и глядеть не хочет. Но видит: верный слуга,
Что был в тот день на охоте, он ждал его целый год.
Да где вы еще найдете друга, который так ждет?
Гижмар кидается к брату — надежному, как стрела.
Ей-богу, дорога обратно совсем не напрасной была.
В семье его ждали страстно — без памяти каждый рад,
Что сын вернулся из странствий, бесценный вернулся брат.
И мать, и отец хлопчут, соседи прочат невест.

Но рыцарь смотреть не хочет. Но рыцарь не пьет, не ест —
О даме своей тоскует, которая узелком
Ему затянула рубашку, к себе привязав тайком.
Об этом узле новейшем, как об одной из примет,
Узнало множество женщин, а как развязать — так нет.
Как только они ни бились — всех ждал один эпилог:
Ничего они не добились, крепкий был узелок.

А что же с нашею дамой тем временем произошло?
С той дамой, любимой самой, с той, что излучала тепло,
Которое исцелило и сердце, и раны боль?
Позволь, расскажу, читатель, о, ты только мне позволь!

Как прежде, она томится в башне на берегу.
От мужа во всем таится — зачем, сказать не могу.
Два года, два долгих года никто к ней не заглянул.
Едва ли он жив, твой рыцарь, верней всего — утонул.
Из башни она спустилась — а как, откуда мне знать?
И вскорости очутилась на том же месте опять...
Дух этой маленькой бухты два года секрет таит,
И видит она: как будто такой же корабль стоит.

Ах, так? Молодая дама решительно рвется в бой.
Ах, так? И кораблик прямо летит в простор голубой.
Куда он бежит — не знаю, куда бегут корабли:
И в Индию, и к Китаю, и к самому краю Земли.

Но Бог наш корабль направил в Бретань, а не на Луну.
Сеньор Мерьядюк там правил, вел небольшую войну.
И вот коменданту форта видится из окна:
Корабль швартуется гордо, а на корабле — она.

Она хороша как фея, да может, фея и есть?
И воин глядит, не смея руку судьбы отвести.
Должно быть, она уважит сурового сердца стук
И скоро-прескоро скажет: Сядь ближе, мой Мерьядюк...

Вот гостью, чуть беспокоясь, к себе пригласил сеньор.
Но что это? Грубый пояс, странный на нем узор.
Где гладкие женские ножки хотелось обнять рукой —
Одни лишь пряжки-застежки, и нежности никакой.

Что это? — спросил он сухо. — Я должен об этом знать.
И даме хватило духу о поясе рассказать.
Ах, вот вы какого роду! — досадует наш сеньор.
Я слышал про эту моду в округе с недавних пор.

Я даже знаю мужчину, что даст себя растерзать,
Но только бы без причины рубашку не развязать.
Рубашку?.. Под ней качнулся и тихо поплыл весь мир.
Сеньор меж тем отвернулся и кликнуть велел турнир.

Турнир! Вот и все терзання окончатся, что ни есть.
Кто выиграет состязанье — тому и дама, и честь.
И женщина ждет и бредит, и страстно ждет новостей:
Конечно, Гижмар придет из облачных областей.
Да вот уж и он — и нету ни мрака, ни пустоты.
Любимая, ты ли это? Возможно ли — это ты?

С тревогою наблюдает за встречей наш Мерьядюк:
Еще одно ожидает вас испытанье, мой друг.
Велите подать рубаху — ту самую, со шнурком.
Вот мы и увидим пряху, что справится с узелком.

Сестра Мерьядюка, в надежде, пробует в свой черед —
Но узел тугой, как и прежде. Ничто его не берет!
А фея как ухватила — узнала свой узелок,
И с легкостью распустила, как вязаный свой чулок.

Сударыня, Боже, Боже. Лишь вы это знать могли!
Скажите же, что вы тоже мой пояс уберегли?
И, трогая понемножку одно из приятных мест,
Нашупывает застежку — эмблему вечных невест.

...Вы думаете, смирился с таким пораженьем наш друг?
Вы думаете, изменился наш воин, наш Мерьядюк?
Думаете, отдали невестам их женихов?
Тогда вы мало читали и книг, и старых стихов.

Гижмар говорит Мерьядюку: Два года вам буду служить,
Но отдайте мою подругу — мне без нее не жить.
Сто рыцарей встанут по кругу, и каждый подобен льву —
Но отдайте мою подругу, я без нее не живу.

Сеньор отвечает грозно: Я в этом деле судья.
Езжай, куда не поздно. А дама будет моя.
Гижмар точас покидает город, что глух как стена...
А дама опять рыдает, дама опять одна.

Рыцари, друг за другом, вместе с Гижмаром ушли.
Обижены Мерьядюком воины той земли.
И, хоть Гижмар и не хочет знать ни мечей, ни щитов,
Но он приезжает к ночи к тому, кто к войне готов.

Рыцарь подаст ему руку, и рядом — две сотни рук.
Кто был врагом Мерьядюку — сегодня Гижмару друг.
Все ясно без переключек, все смотрят ему в лицо.
И крепость, где спит обидчик, и город — берут в кольцо...

Погиб Мерьядюк наш гордый, как воин, в большом бою.
А Гижмар захватил весь город и даму нашел свою.
И будут еще реки крови бежать по черной золе —
Покуда найдут две любви место себе на Земле.
Но было такое место — бей, сердце! Трудись, гортань!
Пришли жених и невеста к нам в маленькую Бретань.



Эквитан

Те, что звались бретонцами когда-то,
Не так уж были мирны и тихи.
Их жизни каждый день, любая дата —
В баллады превращались и в стихи.
Неслыханное было приключенье,
Когда Бретань стояла на Земле...
Вот приключенье — но не поученье
В рассказе о стыдливом короле.

Ах, Эквитан! Он рыцарь, пеший, конный,
С густою темной кровью королей...
Не дорожит любовью монотонной,
А хочет — ярче, проще, веселей.

Любовной бигвы ищет он повсюду.
Где Эквитан — там стайка юных дам.
Но все ж я забегать вперед не буду,
Покуда весь сюжет не передам.

А рассказать, пожалуй что, придется
О том, кто женской нежности искал,
Забывши о законах благородства,
Да и в ловушку страшную попал.

Был сенешаль, министр у Эквитана,
Хороший друг, неглупый человек.
Давно служил, и было бы нестранно,
Когда б еще служил он целый век.

Его жена красы была нездешней:
Чудесный стан, прелестный алый рот...
Ее походкой, мягкой и неспешной,
Особенно гордился наш народ.

Ее глазами, их морскою тайной.
Ее руками, ласковым лицом,
Улыбкой, полудетскою, случайной,
Старинным на руке ее кольцом...

Такое было это чудо света,
Такая шла везде о ней молва,
Что наш король, прослышавши про это,
Уже себя удерживал едва,

Чтоб не помчаться молодой борзою,
Не пасть ей в ноги, преданно смотреть
И, наслаждаясь яркой бирюзою,
В глазах ее сияющих сгореть!

...Ну вот и случай: кончилась охота
Вблизи поместья, где живет она.
Король устал, и конь хромает что-то,
И перед ними башня и стена.

Они стучатся, стоя у порога.
Им открывают двери: при луне
Стоит хозяйка, с виду — недотрога,
А с королем — любезница вполне.

Бедняга Эквиган недомогает!
Он ранен в сердце, он не чует сил.
Ни сон, ни явь — ничто не помогает...
Он никогда так прежде не любил.

Что делать, Боже? Это же супруга
Министра моего, слуги и друга.
Как можно на предательство пойти?
А душу — потерять или спасти?

Душа, душа, чувствительная дама...
Король вздыхает, чуть не плачет он.
Тем временем, по зову Эквигана,
Приводят даму. Та идет, сквозь сон.

Послушайте! — король сказал, смущенный.
Вы знать должны, я никогда не лгу.
Сегодня я слуга ваш восхищенный,
И жить без вас едва ли впредь смогу.

Мы не одни. У вас есть муж. Нас трое.
Но только я вас истинно люблю!
Доверьтесь мне, и я все так устрою,
Как это подобает королю.

Ах, государь! — сказала дама кротко. —
Совсем меня нетрудно поразить.
Судите сами — женщина-сиротка
Могла ль она себе вообразить?..

Что женщина ответит королю?
Такое слово лишь одно — люблю!

Так Эквиган, боец добросердечный,
Отдался весь науке из наук.
И много лет скрывал король беспечный
Свой тихий стыд, любовный свой недуг.

А сенешаль? Как прежде, домом правил,
Хозяйство вел, еще балы давал.
И, кажется, так славно все поставил,
Что сам беды своей не узнавал.

Тем временем, беда во все ворота
Стучала беспощадным кулаком.
И назначалась новая охота —
Меж королем и мужем-стариком.

Узнала дама, что охоты вестник
Трубит в свой рог. Рога кругом, рога...
Король приедет, с ним его наместник.
Жена министру все же дорога.

О женский ум, коварный и кипучий!
Пора уже и королевой быть?..
И дама хочет этот самый случай
Ни в коем случае не упустить.

Она велела в комнате поставить
Лоханку с небывалым кипятком.
Коль муж придет — в воде его расплавить,
Живьем сварить и схоронить тайком.

Уже стучат! Король вбегает пылко,
И обнимает, и к любви готов.
Ах, женский ум — гремучая копилка,
Всегда полна опасных пустяков.

Король сияет, он разоблачился,
И — Господи его благослови...
За эти годы слишком научился
И скорости, и ярости в любви.

И снова стук! И муж явился тоже.
Как будто подождать еще не мог.
И Эквитан — о Боже, Боже, Боже...
При всем величьи рухнул в кипяток.

А дама, восхитительная дама?
О, как дрожит на шейке медальон...
И муж берет ее за шейку прямо
И опускает в дьявольский бульон.

Какие же жестокие уроки
Приходится извлечь ему и ей!
А избежать божественной мороки
Не смог никто из прежних королей.

Теперь бретонцы прямы и суровы.
Не видят фей, не нюхали цветка.
Их жены крутобедры, густобровы.
И — никакого больше кипятка.



Ясень

Извольте, сказку расскажу
Из тех, что в памяти держу.
В Бретани помнят времена,
Когда летели имена
Домов известнейших по свету —
Будто деревьев семена...

Два рыцаря в одной стране
Когда-то жили наравне.
Равны в могуществе и блеске,
В почтеньи к молодой жене.

Вот одного из них жена
Дать нам наследника должна.
И, с Божьей помощью, конечно,
Того гляди, родит она.

Ну, наконец-то, так и есть:
Летит по всей округе весть,
Что все прошло благополучно:
Сеньоре — слава, дому — честь.

Счастливейший из всех отцов
Баюкает двух близнецов.
Он упоен, он ошарашен
И по соседству шлет гонцов:

Привет тебе, сеньор-сосед!
Возможно, знаешь или нет:
Преподнесла моя супруга
Двоих мальчишек мне, чуть свет?

Спрошу тебя насчет крестин:
Хочу я, чтобы хоть один
Стал бы твой крестник и любимец —
Не откажи, мой господин!

Прекрасно! — говорит сосед.
Препятствий не было и нет.
Возьми себе коня, посланец,
Да от меня свежи ответ.

Тут дама милая его,
Кругом не видя никого,
Встает на месте, руки в боки,
И восклицает: Каково?

Едва родили — и вопят.
Еще водой святой кропят!
Да кто себе-то пожелает,
Чего врагу не захотят?

Та враз двоих детей родит —
За кем Господь не уследит.
По двое дети не родятся,
Один внутри не усидит!

А если двое с потолка —
Так, стало быть, два мужика
Над этим делом постарались.
Стыд всей семье, отцу тоска!

Ах, госпожа — вступил сеньор —
За что это такой позор
Вы рассказали нам о людях,
Кого мы знаем с давних пор?

Но было поздно: злая ложь
Бежала быстро... Перемножь
Еще завистников, ревнивцев,
Бездетных баб — и подытожь!

И даже есть еще беда:
Кто весть возил туда-сюда,
Все рассказал отцу-бедняге
Про сцену гнусного суда.

И тот, глупее глупых баб,
Так оказался шох и слаб —
Не защитил свою подругу,
А стал доноса робкий раб.

Поверил скверной болтовне
Со сплетниками наравне.
Детей терзал, жену тиранил —
К тому ж, невинную вполне.

А та, что в этот самый год
Придумала весь хоровод,
Уже сама чуть ковыляет,
Уже сама потомства ждет.

И что же там она родит?
Судьба ее не пощадит —
Даст ей двух девочек-двойняшек
И приговор свой подтвердит.

Мне нет прощенья! Я сама,
Несчастливая, сошла с ума:
Оговорила честных женщин,
Которым не отмыть клейма.

Не я ль кричала: Близнецов
Не может быть без двух отцов!
Откуда я взяла такое?
А верят все, в конце концов.

И вот, близняшек дал мне Бог.
Лишь он один придумать мог
Мне наказание, как заклатье,
Что я сболтнула под шумок...

Чтоб имя мужнее спасти,
Придется жертву принести:
Одну из крошек, из двойняшек,
Что ж делать, нужно извести.

...При даме — девушка, как тень,
С рожденья служит по сей день.
Пока хозяйка точит слезы
И бьется в пугах, как олень,

Она приходит к госпоже:
Сударыня, вам по душе
Придется старый добрый план,
Который свыше мне был дан.

Позвольте взять малютку мне!
Я заберу ее во сне
И отнесу за лес, за горы
Сегодня ж ночью, при луне.

И у дверей монастыря
Ее оставлю. Чуть заря
Ее найдут, возьмут, согреют,
Над ней молитву сотворя.

Тебя, я вижу, Бог мне дал,
Чтоб мой ребенок не пропал.
Подай мне перстень, дорогая,
Где матери моей опал.

Теперь неси сюда других
Пеленок мягких, дорогих,
И шелковое покрывало —
Какого тоньше не бывало.

Оно, смотри, в шитье из роз.
Из Византии муж привез,
Лишь там такие вышивают,
Для золотых моих волос.

Дитя укутаем в него,
Кольцо приложим — из того
Понятно будет человеку,
Что он нашел и от кого...

Бежит девица через лес,
С одной тропы боясь свернуть.
Темнеет, гаснет свет небес.
Служанка дальше держит путь.

Ребенок спит. Шагать невмочь.
Но я вам верно говорю:
Она пройдет и день, и ночь,
Чтобы прийти к монастырю.

И на коленях, у стены
Она лепечет, час спустя:
Спасибо, Господи, что мы
Спасли невинное дитя!

Господь ошибку ей простит.
Над нею ясень шелестит —
Могуч его широкий ствол,
По кроне ветерок прошел...

Она стоит в его тени —
И отдыхает естество.
Ты только руку протяни —
И вся ты спрячешься в него.

Кивнув покорно головой,
Служанка мягко, у ствола
Кладет бесценный сверток свой —
Дитя, которое спасла.

Привратник в этом монастыре
Давно не видел людей чужих.
И этим же утром, на ранней заре,
Пойдет он к воротам, откроет их —

И что же он видит? Беда-бедой,
Сияет ясень как золотой!
На ветки брошено покрывало,
Под ним — ребеночек, чуть живой.

Дар божий чуть не уронив сперва,
Привратник вприпрыжку домой бежит.
Там дочь его, молодая вдова,
Заботой девочку окружит...

Дитя искупают, дадут молока,
Пеленки сменят, и так пока
Не вынут тяжелое, золотое
Кольцо из детского кулачка.

Тогда заметят и шелк покрывал —
Никто из местных не надевал
Расшитое розами платье, накидку,
Никто в Византии не побывал!

Проходит день, он полон хлопот.
Вот аббатиса со службы идет —
К ней устремляется наш привратник,
Находку свою ей под ноги кладет.

Что ж? Аббатиса мудрее иных
Служителей Господа остальных:
Она понимает — в малютке тайна.
Бог даст, отыщем еще родных!

Нам многое предстоит решать,
Не будем же, друг мой, пока разглашать,
Где и когда мы нашли малышку —
Станем любить ее и утешать.

Надо нам девочку окрестить.
Не безымянную ж в сердце впустить!
Мы назовем ее Ясень — под ясенем
Мы ведь нашли ее, что же грустить?

Ясень так Ясень. И в монастыре
Крошка живет как при отчете дворе.
Ясно чигает и вятно считает,
Тихо мечтает себе на заре.

Ясное дело, монахини те
В святости жили и простоте.
Образование и воспитание
Были у девочки на высоте.

Наша малышка светла и ясна,
Всех своих сверстниц красивей она.
Вот подросла — и мужчины в округе
Разом лишились покоя и сна.

В Доле, что лучший из этих сторон,
Жил шевалье — назывался Горон.
Что-то услышал о чудной девице
И вдохновился немедленно он.

После турнира, ни свет ни заря,
Едет дорогой близ монастыря
И постучал он рукою настойчивой —
Может, и мудро, а может, и зря.

Девушка вышла к воротам чуть свет.
Впрочем, секрета особого нет
В том, что жила она там как племянница
Наших монахинь, на склоне их лет.

Видит наш рыцарь, что это — цветок.
Чует, как в сердце стучит молоток.
Надобно что-то придумать немедленно,
Дать пересохшему горлу глоток...

Знаю, что сделаю! Я подарю
Тучные земли монастырю.
Если ж принять они дар не отважатся,
Если откажутся — я повторю.

Кто же откажется? Приняли дар.
Приняли дар — обменяли товар.
Вот и открыты ворота к красавице.
Первые ночи горят как пожар.

Милая! — он говорит ей с тоской. —
Видишь ли, я ведь совсем не такой.
Что, если тетушки визнают истину —
Нас покарают суровой рукой.

Может быть, в замок ко мне перейдем?
Дом моих предков и твой будет дом.
Если дитя народится любимое —
Лучшее в мире имя найдем.

Девушка плачет от счастья... Потом
Надо собраться, покинуть свой дом —
Дом, что ей был и родным, и надежным,
Хоть назывался он монастырем.

Перстень фамильный сразу нашла.
В розах свое покрывало взяла.
А на пороге — монахиня старая:
Что же ты, чуть не украдкой ушла?

Да, мы нашли тебя между ветвей,
Будто бы сойка или соловей
Бросили кроху свою неразумную —
Редкой породы, царских кровей...

Но мы любили тебя, не шутя.
Ты не племянница, ты нам дитя.
Скоро приду, навещу тебя, девочка —
Счастлива ль ты, хоть неделю спустя?

Все обнялись, и карета — в пути.
Солнцу — погаснуть и снова взойти.
Станет ли счастлива наша красавица
С тем, с кем она поспешила уйти?

Время прошло. Наша милая Ясень еще ясней.
И ничего, слава Богу, дурного не приключается с ней.
Рыцарь Горон ей предан, лишь в ней он видит свой свет.
Но отчего-то наследника Бог не дает, все нет и нет.

Сеньор, это даже неловко... —
Рошдут придворные, год спустя.
Хорошенькая головка,
Но, может, все это притворное, где ж дитя?
Он любит свою подругу,
Он только в начале пути,
Но истинную супругу
Хотят к нему привести...
Друзья мои, извиниться
Хотел бы за наш союз —
Но все может измениться,
Когда я за дело возьмусь!

Быть может, ты знаешь, читатель,
А нет — я скажу, позволь:
Придворный доброжелатель
Сильнее чем сам король.

Сеньор, есть одна невеста —
Такая всего одна.
Пусть вашей подружки вместо
Вам будет теперь жена.
Простите, сеньор, нас, грешных,
И глупые наши труды —
Но девушку звать Орешник.
А это значит — плоды!
Хотим просить ее руку
Для вас у ее родных.
И привезем вам супругу
На этих же выходных.

Вздохнул Горон безутешный —
Наследника им подавай!
Посмотрим на ваш Орешник,
Посмотрим на урожай.
Ведите свою крольчиху,
И мать ее, и отца!
...И Ясень уходит тихо
В далекий покой дворца.

Все кончено. Будет свадьба. Гостей зовет кавалер.
Архиепископ Дола среди гостей, например.
Невестина мать хлопочет: пока новобрачных нет,
Рыщет повсюду, хочет найти соперницы след.

Что там была за причина, что тут за фея жила,
Что был счастливым мужчина, а женщина не родила?

Вот Ясень к гостям выходит —
С грацией и простотой.
И каждый тотчас находит,
Что тут сюжет непростой...

Девушка эта — диво.
Но тут наступает ночь,
И мать невесты ревниво
К Горону подводит дочь.

Ясень им тихо служит,
В спальне стелет белье.
Никто и не обнаружит
Плачущую ее...

Натягивает покрывала
Тонкое полотно.
Год целый она скрывала
От всех покрывало одно.

То самое — розы по шелку,
Из старого сундука.
Лишь Ясень знает ту полку,
Где спрятала наверняка.

И розы горят пожаром!
Узнала невестина мать —
Не следовало, пожалуй,
Из сундука вынимать:

Те вышивки непростые,
Те розочки памятни мне.
Когда-то из Византии
Вез муж дорогой жене!

А перстень? Ясень с запалом
Прошла уже полпути...
Мой перстень с таким опалом,
Которого не найти?

Фамильное покрывало
И бабушкин перстенок!
О, сколько ж судьба скрывала
От нас тебя, мой Ясенек!

Ты все поняла, конечно?
Узнала сестры черты?
Взгляни на нее так нежно,
Как можешь смотреть лишь ты.

Ах, скольким я подарила
Несчастий, в конце концов.
И скольких оговорила
Я женщин и их близнецов!..

...Не стоит так убиваться —
Сказал Горон-муженек.
Невесте пора раздеваться.
Иди сюда, Ясенек.

И снова восстановили
Порядок вещей и фраз.
Пожалуй, установили,
Кто женится на сей раз.

Вот Ясень идет с Гороном,
И счастлива, видит Бог.
А Орешник идет с бароном,
Который ничем не плох.

Мы знаем много теорий,
Теорий о двух концах.
Мы знаем много историй —
Историй о Близнецах.

Но, все-таки этот случай
Пожалуй, все превзошел —
Он был самый-самый лучший
В бретонском городе Дол.

Бисклаврэ

Ну, раз уж мы взялись баллады писать —
Придется и эту вам рассказать.
Бисклаврэ по-бретонски, скажу — не совру,
Это тот, кто в Нормандии звался Гару.

Много разных сказок сложили о них:
Страшных, грустных и озорных.
Люди — не волки, но, верь — не верь,
Человек все же немного зверь.
Об этом молчок, рот на замок.
Тайна не тайна, если б каждый мог

Превращаться в зверя, прыгать, скакать
И в темном лесу добычу искать.
Пожалуй, не стоит запугивать вас —
О Бисклаврэ будет мой рассказ.

Жил в Бретани один барон.
Как храбрец и мудрец всем известен был он.
Ничего плохого сказать нельзя
О том, кого любят соседи, друзья.

А сам он всех больше любил жену.
Даже жил у любви своей будто в плену.
И на нем, и на ней была эта печать —
Но вот дама стала вдруг замечать,

Как дни недели бегут, звеня,
А барона нету три ночи, три дня.
Луна проливает неяркий свет...
Три дня из семи — мужа нет как нет.

Вот он возвратился к себе домой,
А дама с вопросом: друг милый мой!
Супруг дорогой, я еле дышу.
Позвольте, я вас о чем-то спрошу?
Вы смотрите нежно, но грозны как лев.
Я боюсь навлечь на себя ваш гнев...

Целуя ее, он ей смотрит в лицо.
Мужского объятия все крепче кольцо.
Да что, дорогая, у вас за вопрос,
Что мне бы ущерб, хоть малейший, нанес?
Немедля спросите, я сам вам велю.
Уж слишком, сударыня, я вас люблю.

Спасибо, мой милый, я снова дышу.
Но вот ведь о чем рассказать я прошу:
Когда исчезаете вы на три дня,
Когда покидаете тайно меня —
Не к даме ль другой вы спешите верхом,
Чтоб ей обладать, опьяняясь грехом?

Сударыня, нет! — восклицает барон.
Неужто любви нанесу я урон?
Но все ж не просите, любимая, нет!
Погибну, коль дам вам подробный ответ.

Но мы обещали, Господь нас храни,
Делить и печали, и сладкие дни.
Делить пополам, ничего не тая —
Смотрите, как сильно измучилась я.

Не плачь же, бедняжка,
Я слово сдержу.
Хотя мне и тяжело,
Но я — расскажу.

Когда, дорогая, меня дома нет —
Я делаюсь волком, вот весь мой секрет.
Я волк, проживающий в темном лесу.
Туда свою прыть, свою ярость несусь.
Там логово есть, там добыча моя.
Три дня-то всего лишь пирую там я.

Я все поняла уже, мой господин.
Вы волк, и в чащобе живете один.
Но, прежде чем прыгнуть в объятия чащ,
Вы где-то бросаете бархатный плащ?
Сперва-то презренная проза,
А после уж — метаморфоза?

Мальшка, ты так любопытна теперь,
Когда распознала, что я дикий зверь...
О женщины! Будто детишки:
Все сказочки, песенки, книжки.
Недолжно такое тебе говорить,

Недолжно супруге супруга корить.
Не все можно знать в человеке.
Откроюсь — исчезну навеки.

А сам уже плачет от счастья, чудак.
Ну, слушай, любимая, вот оно как:
В дорожной часовне распяты.
Под камнем храню мое платье.
Под утро страхну с себя кровь, как росу,
Оденусь — и ландыш тебе принесу!
А, если плаща не найдется,
Твой муж уж к тебе не вернется.

...О, юная дама не так уж проста.
Как будто бы с виду сама красота —
Но многому ведала цену
И мужу искала замену.
И вот, хитроумная та госпожа
К себе подзывает мальчишку-пажа,
Который влюблен, да не скажет,
И сделает все, что прикажет.

Дружок! Открывается дама пажу.
Послушай-ка, что тебе нынче скажу:
Страданья твои — не страданья,
И я награжу ожиданья.
Возьми мою руку — я буду верна.
Сегодня сеньора, а завтра жена.
Мой муж из лесов не вернется.
Клянешься служить мне? — Клянется.
Ты знаешь часовню? К полночи беги
И плащ отыщи и немедля сожги.
И муж никогда не вернется.
Клянешься, что сможешь? — Клянется.

Вот так и пропал Бисклаврэ без следа.
Женою был предан без тени стыда.
Женою и глупым мальчишкой —
Злой кошкой и серою мышкой.
Искали друзья и соседи его,
Да вот не нашли никого, ничего.
А та, что пажу подучила,
В мужья его заплучила.

Вот год прошел, целый долгий год.
Во время одной из своих охот
Король примчался в тот самый лес,
Где год назад Бисклаврэ исчез.

Собаки учуяли странный дух.
Кусты дрожали, закат потух,
И перестали трубить егеря,
И все это было не зря:

Замерли все и, не веря глазам,
Смотрели, как вышел из леса сам
Страшный волк, серебряный зверь,
И к королю приближался теперь.

Король был воин, не робкий монах,
Но в ужасе встал он на стременах.
И фыркал конь, и спасти не мог.
Тем временем, зверь облизал сапог.

Король, содрогаясь, сеньоров позвал:
Смотрите, друзья мои, что за привал
У нас на охоте — с добычей иль без,
Взгляните на это чудо чудес!
Что это за зверь? Да он человек!
Глядит — как приносит мне клятву навек.
Он смотрит в глаза мне и плачет.
Сеньоры, да что ж это значит?
Скорей уберите собак от него,
Чтоб даже не тронул никто никого.
Хранить и беречь его буду,
Как это пристало лишь чуду.

С охоты король возвратился. Теперь
С ним рядом тихонько идет его зверь.
Король понимает, что чудо
Живет в его доме покуда...
И следуют чуду еда и вода,
И чудо ведет себя мирно, когда
Все глядят его и ласкают,
И спать чуть не к детям пускают.
И зверь полубил добровольный свой плен:
Он жмется теперь у хозяйских колен,
Подачки не ждет и подарка —
Как старый слуга, как овчарка.

Но нашей балладе — еще не конец.
Король созывает, как добрый отец,
Вассалов, сеньоров окрестных
Для праздников маленьких местных.

Там есть и барон, что вчера еще паж,
Своей госпожи провожал экипаж,
А нынче супругой гордится,
Хотя и пришлось потрудиться...

Увидел предателя зверь Бисклаврэ —
И вот уж катает его на ковре
И рвет его тело клыками,
Как будто стальными крюками.

Едва оторвали от жертвы его —
И снова бросается он на него,
А прежде никто и не видел,
Чтоб он хоть барашка обидел.

А тут, будто волк, задыхаясь, крипит.
И горло порвет, и лицо ослепит.
И дышит по-зимнему, паром...
И поняли люди: недаром,
Недаром вершится звериная месть.
Вина человечья, пожалуй, тут есть.
Не стоит всего опасаться,
Но преданный — может кусаться.

Меж тем, королевский улегся пикник,
И к конскому крупу предатель приник.
Израненный весь, но с лошадкой —
Домой возвратился с оглядкой.

Не так-то уж много воды утекло,
Но, все-таки, время, наверно, прошло.
Король — на охоту, однако.
А с ним его зверь, как собака.

А вечером надо бы заночевать?
Куда-то дорога выводит опять.
Да это ограда усадьбы,
Где дама сыграла две свадьбы.

Увидел красавицу зверь, задрожал
И кинулся — кто бы его удержал
Вблизи от зловещей находки?
И нос откусил у красотки.

Да что ж это, что же, великий Господь?
Душа виновата — наказана плоть.
Красавица плачет-рыдает,
Но носом уж не обладает.

Король раздосадован: что за беда?
Зверюга опять озверел как тогда,
Когда искушал бедолагу,
Который не сделал ни шагу!

Но старенький рыцарь сказал королю:
Я несправедливости, сир, не терплю.
Позвольте судить справедливо
О том, что не диво, что диво...

Вы видите зверя? А это не он.
То верный ваш воин, тот славный барон,
Которого вы так любили,
Но год лишь прошел — и забыли.

Припомните, сир, он бесследно исчез
В ту ночь, что ушел поохотиться в лес.
Да, он не вернулся оттуда,
А вышел лишь в облике чуда.

Устроим немедля допрос господам,
И старую голову я вам отдам,
Служить обещаю до гроба —
Но пусть уж покаются оба!

Король в замешательстве: что за допрос?
У дамы откушен хорошенький нос.
Что можно проверить рассказом?
А волк будет смертью наказан.

Да нет же! Твердит ему старый сеньор.
Пусть ваши придворные выйдут во двор
И бархатный плащ пусть доставят.
И здесь, возле зверя, оставят.

Король приказал — и доставили, вот.
И зверь разрыдался, как мальчик, ревет.
И в зеркале не отразился,
А весь уже преобразился.

И рыцарь прекрасный покинул свой плен,
И вот он, шатаясь, поднялся с колен,
В рубахе из черного шелка,
Совсем не похожий на волка.

...Той даме предательской стыд-стыдоба.
Ее уж и так наказала судьба,
Но дальше — детишки рождаются
Без носа. Хоть маме — сгодятся.

Такая баллада — для вас, господа.
Есть много зверей и людей без стыда.
Бесстыдство — и то не случайно.
А совесть — великая тайна.



Ланваль

Я расскажу вам странный эпизод,
Который мне покоя не дает:
И прям, и честен, справился с бедой
Ланваль, бретонский рыцарь молодой.
Итак, это было в артуровы времена,
Когда то там, то тут вспыхивала война.
Шотландия, пикты — противников не перебрать.
И с ними сражалась вся конница, вся королевская рать.

...На Троицу, как обычно, король наш в Карлайль пришел.
С ним его графы, бароны — весь его Круглый Стол.
Король раздает им щедрые, невиданные дары.
Всем — кроме Ланваля-рыцаря, забытого до поры.

Никто о ланвалевом мужестве словом не помянул
Никто в круговом содружестве сказать о нем не дерзнул.
Может, каждый завидовал, юности, например?
А может, никто и не видывал поистине скромных манер.

По своему рождению он равен был королю.
Но знатное происхождение на деле равнялось нулю.
Поскольку за время бойцовское денег он не считал
И все наследство отцовское попросту промотал.

Король был известен щедростью, много раздал добра.
А Ланваль щеголял своей бедностью — ни золота, ни серебра.
Всяк при дворе донашивал то, что король носил.
А Ланваль ничего не спрашивал и ни о чем не просил.

Плыл себе, будто на облаке, хоть жизнь не была проста.
Чужеземец из дальней области, в сущности, сирота.

Однажды утром, без повода, уздечку свернув клубком,
Выбрался он из города и едет себе верхом.
Овод назойливо кружится, речка рядом течет.
И рыцарь, почти что с ужасом, думает на свой счет:

Про юность свою неумную, что тратилась так легко,
И про смерть, подругу бесшумную, что ходит недалеко.
Нет ни удачи, ни денежек, обидеть может любой...
...Как вдруг, двух прекраснейших девушек он видит перед собой.

Их плечи дивно-покатые, их лица чудно добры.
У них — неземные, богатые, неслыханные дары:
Одна — с тонкой чашей редкою с утяжеленным дном.
Другая — с темной салфеткою, вышитым полотном.

Во сне можно видеть разное, хоть несколько раз подряд.
...Они подходят и празднично, торжественно говорят:
Ланваль! Не по назначению ты тут, на краю Земли.
От имени и по поручению мы за тобой пришли.
Мы поведем тебя, видишь ли, к царице Ночи и Дня.
Ведите! — наш рыцарь выдохнул и позабыл про коня.

...Нигде и никем не виданы сокровища этих мест!
Богатства семираמידы — шкатулочка для невест.
Когда-то к цезарю Августу входили мы со двора —
Так там были просто-напросто конюшня и конура.

Палаточка тонкостенная, подкладочка на меху.
И птица сидит бесценная — орел золотой наверху.
Куда же ты, рыцарь, денешься от этих стрел и ножей?..
Внутри — чудесная девушка, лилий и роз свежей.

Под нею такие простыни — кружево и шитье.
А сама — в рубашечке простенькой, будто и без нее.
Впрочем, и это обманчиво: накинута без помех,
На ней пурпурная мантия и горностаевый мех.

Подходит Ланваль безропотный, а девушка говорит:
Мой рыцарь, мой друг неопытный! Сердце мое горит.
Я дам тебе много счастья и сделаю королем —
Если ты примешь участие в заговоре моем.

Один ты меня достоин — мертвый или живой.
И тихо ответил воин: Бери меня. Весь я твой.
Не надо меха и шелка, и всех дорогих камней —
Ты повтори мне только, зачем ты пришла ко мне.
Я все для тебя оставил, жизнь свою изменяю.
Диктуй сколько хочешь правил — но только возьми меня!

Невероятный случай! Волшебница и простачок.
Я слышала, что ты лучший. Так вот тебе — сундучок.
Магический, многоразовый — хозяйке своей под стать.
Ни в чем себе не отказывай, Ланваль. Сколько хочешь —
Трать.
Там столько сколько понадобится золота и серебра.
Ты будешь дарить и радоваться, ты сделаешь много добра.
Но здесь же, у изголовья, пока ты в любовном дыму,
Послушай ещё условие: не говори никому!

Как только кто-нибудь вызнает обо мне — случится беда.
И больше уж нам не выпадет увидеться никогда!
Ты понял условие тайное? Ты в мой зрачок заглянул?
Я понял, моя хрустальная! И рыцарь тихо уснул.

Проснулся и едет к городу,
Полным-полны сундуки...
Теперь о фамильной гордости
И вспомнить ему с руки.

Ланваль раздает как нравится —
Направо, налево, вширь.
Нет тех, кому не достанется:
Солдат, поэт, монастырь...

Оставим сторону внешнюю —
Внутри наш Ланваль пылал,
Но видел подругу нежную
Столько, сколько желал.

...Я думаю, вам она нравится,
Хоть и смущает меня —
Могущественная красавица,
Царица Ночи и Дня.

А вскоре случился праздник, в том же самом году.
И рыцари все собрались в старом тенистом саду.
И вспомнили, как бывали все вместе в часы невзгод.
И, тотчас же, — о Ланвале, забытом на целый год.

Гавэн говорит о витязе: да он будет только рад!
Ивэн говорит: зовите же! Он рыцарь, и он наш брат.
И вновь и вновь — о Ланвале, живущем в своей глуши,
Как будто и не предавали простецкой его души.

...Сдержанно и деловито
Глядит королева в окно:
А там проезжает свига,
Рыцарское звено.

Давно уж не раздавали
Им даров дорогих.
Забыли все о Ланвале,
Забыли и о других.

Выходят знатные дамы,
Готовые полюбить.
А также их знатные мамы
Под флагами «может быть?..»

Ланваль, почти что в испуге,
В сторонку отъехал скорей.
Он думает лишь о подруге,
О милой подруге своей.

Но грозная королева
Ему преграждает путь:
Ланваль, не смотри налево,
Направо — а тут побудь.

С тех пор, что я вижу снова
Тебя за нашим столом —
Я и полюбить готова,
Хоть прямо тут, за углом.

Давно служу, королева,
Я моему королю.
Я вызову бурю гнева —
Но я скажу «не люблю»!

Я никакой не предатель,
И я не совсем простак,
И помилуй меня Создатель —
Если что-то я сделал не так.

Дама сказала: Понятно,
Всех вас не устеречь.
Не то чтоб было приятно
Мне слышать такую речь.

Но и другую песню
Знаю я на твой счет:
Мол, дамы не интересны,
А к рыцарям-то влечет?

Не знаю, где вы там были,
Даже гадать боюсь.
Но, видимо, вы забыли
Немилости горький вкус?

Сударыня, я не стану
Рассказывать весь сюжет.
Я видел разные страны,
Каких и на карте нет.

Я верил в Святую Деву —
Не бросит она меня.
И я нашел королеву,
Королеву Ночи и Дня.

Она как птица прекрасна,
И детская в ней душа.
И любит она так страстно,
Как вам не любить, госпожа.

...Пристыженная, уходит
Королева в свой дальний покой.
И ярость ее находит
Выход себе такой:

Мой друг! — говорит она мужу. —
Кто он такой, ваш Ланваль?
А если я обнаружу,
Что он тайной шайки главарь?

Он вас и меня, не взыщите,
Бесчестит на каждом шагу.
Могу я просить о защите?
Мне кажется, что могу.

Яростным криком боли
Король отвечал жене:
Немыслимо, чтобы роли
Менялись в этой стране!

Что этот Ланваль задумал?
Изгнанник, пустой юнец.
Да я только свечку задую —
И будет ему конец!

...Меж тем, Ланваль, опечален,
Облит потоками лжи,
Идет анфиладой спален —
Но нет его госпожи.

Будто бы только что видел,
Позвал и вновь повторил.
Неужто же тайну я выдал?
Лишнее наговорил?

Да, нет нигде ее. Даже
Следов ее нет, поверь.
...Но тут королевские стражи
Стучат в дубовую дверь.

Ланваль ко двору доставлен.
Чиста его простота.
Вердикт короля предъявлен:
Измена, ложь, клевета.

И если, чести лишенный,
Не оправдается он —
То будет, как прокаженный,
Изгнан и заклеимен.

Все были против Ланваля —
«Измена. Ложь. Клевета».
Три дня ему не давали
Ни сердца открыть, ни рта.

А кто ему был свидетель,
Кто клал на уста печать?
Ведь истинная добродетель
Умеет только молчать.

Три дня продолжалась мука.
Три дня эта попытка шла.
А ведь это был рыцарь Круга,
Артуровского стола.

Допрашивали сурово,
К груди приставив кинжал.
А он отвечал им снова:
Государыню не обижал.

И видят рыцари Круга:
Едва ли он обманул...
Так кто же твоя подруга,
Которую ты помянул?

Быть может, она сумеет
Сказать за тебя словцо?
Быть может, она имеет
Душу, тело, лицо?

И тут совершилось чудо.
Оно сошло, господа,
Мы плохо знаем, откуда,
Но вот что было тогда:

По улочке, узкой, длинной
Две юные девы идут —
К площади нашей старинной,
Где люди решенья ждут.

Гавэн говорит: Это помощь
Идет, мой друг, за тобой!
А Ланваль говорит: Не помню
Я их, ни той, ни другой.

Король их любезно встретил —
У нас умеют встречать...
А Ланваль их едва заметил,
Нельзя ему их замечать.

Но все говорят по кругу:
Вот едет еще одна!
И рыцари шепчут другу:
Смотри, Ланваль, не она?

Она! — говорит он — Боже!
Закрывши лицо рукой.
Теперь вы видите тоже,
Что нету другой такой?

Король поддержал ей стремя —
Служить волшебнице рад...
И в это самое время
Время пошло назад.

Артур! — говорит она звонко, и с каждым звуком звончей.
Я тут, и я не девчонка, а царица Дней и Ночей.
Ланваль — это мой избранник, Ланваль — это мой дружок.
А ты ему не охранник, и рыцарский твой кружок.

Да вот я еще забыла: скажи своей госпоже,
Чтоб голову чаще мыла и думала о душе.
Ты ей скажи: Королева, король твой не так уж глуп.
Взгляни направо, налево — тут рыцарей целый клуб.

Бретань — уютное лоно. Люби его и владей.
Мы, с острова Авалона, не ждем к нам в гости людей.
И, смеясь над своими словами, вспрыгнула на коня
И увезла Ланваля. А могла бы — вас. И меня.

(окончание следует)

Примечание

* На гравюре сверху Мария Французская дарит свою книгу Генриху II. Гравюра из первого издания ее сочинений. Остальные картины в тексте — художницы Анны Аренштейн.



Майя Квятковская
ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ
ПОЭЗИИ

ТЕОФИЛЬ ДЕ ВИО
(1590-1626)

ОДА

Каркнул ворон надо мной,
Тень затмила мне зеницы,
Два хоря и две лисицы
Путь пересекают мой.
Грянул гром, но где же тучи?
Бьется мой слуга в падучей,
На колени конь мой пал,
Бледный призрак мне предстал.
Слышу близкий зов Харона —
И земля разверзла лоно.
Камни кровью налились;
Бык на колокольне распят;
Здесь медведица и аспид,
Любодействуя, сплелись;
Обратился вспять ручей;
Пожирает грифа змей;
Почернело солнца чрево;
Льдину гложут пламена;
Вижу — рушится луна
И шагнуло с места древо.

СОНЕТ

Изида милая! Ты, прелестью блистая,
Амура довела до полной слепоты,
Все боги лишь одной тобою заняты
И мир забросили, мечтой к тебе слетая.

Узрев, как блещет Феб, твой образ отражая,
Они склоняются пред солнцем красоты,
И, будь не столь прочны небесные винты,
Спустились бы к тебе, молясь и обожая.

Поверь, им дела нет, поклонникам твоим,
Что делаем мы здесь, добро ли, зло творим;
Уж если небеса к моей любви не строги —

Приди ко мне в постель для сладостных утех —
Чего страшишься ты? Поверь, что сами боги
Хотели бы тебя склонить на этот грех!

СОНЕТ

С тех пор, как создал Рим твердыни вековые,
С тех пор, как претерпел осаду Илион,
И башню заложил кичливый Вавилон,
И погубил потоп создания живые,

И тронул Фэтон поводья огневые,
И дрогнул под стопой тигана Пелион,
С тех пор, как в этот мир пришел Девкалион
И яблоко Адам испробовал впервые,

С тех самых пор, когда у Кипрских берегов
Волна восприняла божественное семя,
Венеру породив, владычицу богов, —

Ну, словом, с той поры, когда возникло время,
Доселе этот мир не создал ничего
Чудесней ваших глаз, природы торжество!

ЭПИГРАММА

Мадам во всем подобна Илиону:
Достойный муж, ломая оборону,
Десятилетия напрасно тратит,
А жеребцу на это ночи хватит.

СТАНСЫ

Сильней, чем смертный страх, нет ничего на свете.
Навряд ли в смертный час,
Свой жребий угадав по роковой примете,
Не дрогнет разум в нас.

Отважная душа, которой козни рока
Привычны издавна,
Увидя смерть в лицо, неожиданно и глубоко
Всегда потрясена.

Переживая смерть задолго до свершенья,
Бесстрашный или трус,
Преступник пойманный боится разрешенья
Своих постыдных уз.

Когда ж он осужден на гибель приговором,
Когда палач спешит
И петлю скользкую ему движеньем спорым
На горле закрепит, —

Тогда у смертника кровь в жилах леденеет
И бьется дух в тисках,
И виселицы тень в мозгу его темнеет,
И ад внушает страх,

И казнь пред ним в мечтах встает стократ ужасней,
В уме его — разлад,
В здоровом теле — хворь, любой чумы опасней,
Мучительней, чем яд.

Рыдающих родных терзаньем смертной муки
Он заразить сумел,
И посторонние, до боли стиснув руки,
Белеют, словно мел.

Не площадь Гревская — пред ним жерло Эреба,
Не Сена — Ахерон,
И гром гремит над ним с безоблачного неба,
И рядом ждет Харон.

Слова священника последним утешеньем
Не тронут скорбный дух —
Он мертвеца в себе провидит с отвращеньем,
Он к увещаньям глух.

Его оставили все ощущенья разом,
Рассудок в нем угас,
Но лишь безумного не покидает разум
В бесповоротный час.

Природа, вытерпеть не в силах поруганья,
Свой отвратила лик;
Он вынес сто смертей — ведь пытка умиранья
Страшней, чем смертный миг.

ШАРЛЬ ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ (1818–1894)

КОНЕЦ ЧЕЛОВЕКА

И было: по лицу земли скитался Каин;
Давно в могильной тьме вкушала Ева сон;
Ушел последний, Сиф, с потомством на Хеврон;
Как древо без листвы, забыт и неприкаян,
Адам изнемогал под бременем времен.

То был уже не он, не Человек во славе,
Не тот, пред кем мираж бессмертия всходил —
Муж в цвете красоты, спокойный, полный сил,
С душою девственной в блистательной оправе,
Кого Иегова для счастья породил.

Грехопадение, и годы, и лишенья
Согнули стан его, отъяли крепость рук,
Убрали серебром чело его округ;
Таков стал Человек, больное отраженье
Адама прежнего, что ангелам был друг.

О, сколько скудных зим он просидел у входа
Пещеры сумрачной, недвижим, как скала!
Забвенья глубина его обволокла,
Умножила его морщины непогода,
Но складки на челе забота провела.

Сиф говорил не раз: — Отец, Господне чадо!
В корчагах кедровых довольно молока,
Вгляни — твоя постель из теплых шкур мягка,
Войди же! Даже льву в покое есть отрада! —
Но он оцепенел, казалось, на века.

И час пришел! Он встал. Сражалась тьма с лучами
И молнии метал пылающий закат.
Гигантские листы шумели с ветром в лад,
Чашоба наполнилась ночными голосами.
Он на Хеврон взошел, к зубцам скалистых гряд.

И там, над грохотом бескрайней ночи гнева,
На плоский камень лег Эдема гость былой,
К востоку черному взор обратил с тоской,
И вновь нахлынула лавина горя: Ева,
И Абель с Каином, и первый грех людской!

Жена, любимая любовью несказанной,
Поколебала мир — но не его любовь!
Их первенец — злодей, проливший брата кровь!
И вскрикнул Человек, один во мгле туманной,
И смерти пожелал, пронзенный болью вновь.

Он руки протянул в бескрайность мироздания,
Где для него взошел день радости земной
И горький плод еще не стал его виной...
Впервые за сто лет прервав свое молчанье,
Воззвал он: — Господи! О, сжался надо мной!

О, сжался! Сколько слез и горя без предела
Мне выпало! Конца моим страданиям нет!
О, сжался, Элохим! Услышь и дай ответ!
Столь тяжело ты разил и душу мне, и тело,
Что я неуязвим для новых ран и бед!

О, сад Иеговы, обитель наслажденья!
Там Ева нежилась на мураве лугов;
Медовой свежестью примятых лепестков
Ты оведал ее — живое воскуренье!
И пламенел Восток сквозь купы облаков.

Вы, ласковые львы в тени деревьев сонных,
Где с малой птахою орел играл подчас!
Брега священных рек! Вы, ангелы, для нас
Слетавшие с небес, ничем не омраченных!
Прощайте! Вас зову теперь в последний раз.

Прости, пещерный мрак, камней нагроможденье,
Где непробудный сон мне был всего милей,
Прощай и ты, Хеврон, приют опальных дней,
Где женщина несла неслыханное бденье
Над телом лучшего из наших сыновей!

А ныне — отпусти, Творец, свое создание!
Я горько каюсь в том, что был на свет рожден.
Ты победил меня — да буду я прощен!
Ты покарал меня — добей из сострадания,
Возьми постылый день, что был тобой зажжен! —

И только Человек умолк, как с черной тучей
Промчался ураган из края в край земли —
И мощные стволы, как травы, полегли,
И скалы сдунуло, как будто прах летучий,
С сотрясшихся вершин в заоблачной дали.

Сквозь пустоту пространств, сквозь гулкие потемки
Неслись рыдания бесчисленных сердец,
Многоголосый вопль гремел: — Прощай, Отец!
Мы живы — боль твоя, твой грех, твои потомки! —
И Человек поник, и свой приял конец.

ШАРЛЬ БОДЛЕР (1821-1867)

ОЧАРОВАНИЕ ЛЖИ

Когда гляжу вослед тебе, мой ангел томный,
И бьется о плафон мелодия смычков,
И странно вяжется с походкою нескромной
Скучающая грусть задумчивых зрачков,

Когда за бледным лбом, влекущим и порочным,
При газовых рожках мои глаза следят,
И розовеет он под факелом полночным,
И, как портрета взгляд, твой неотступен взгляд, —

Я говорю себе: прекрасна и свежа ты,
Но опыт, царственно-тяжелый монолит,
Тебя короновал, и сердца плод, початый,
Как эта плоть, — любовь искусную сулит.

Но кто ты — редкий плод, манящий и желанный,
Иль урна, ждущая, быть может, наших слез,
В оазисе пустынь родник благоуханный,
Подушка жаркая, корзина пышных роз?

Да, я встречал глаза — в них вещей нет секретов,
Хотя они полны возвышенной тоски.
Ларцы без жемчуга, оправы без портретов,
Как сами небеса, пусты и глубоки!

Но пусть весь облик твой — лишь видимость, не боле,
Я сердцем истины не знаю и не чту.
Бездушна, ветренна, глупа — не все равно ли?
В тебе боготворю и славлю красоту!

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

(1844-1896)

ЗАКАТЫ

Рассвет в утомленье
На травы пролил
Печаль и томленье
Уснувших светил,

В печальном томленье
Мой дух опочил
Под мерное пенье
Уснувших светил,

И алые тени
Легли от светил,
И хор привидений
Вдоль моря поплыл

И в странном узоре
Стократ повторил
Громады светил,
Уснувших у моря.

Пасмурно в сердце моем,
Пасмурный день за окном.
Что за печаль, и о чем,
В сумрачном сердце моем?

Капли дождя нараспев
Мерно по крышам стучат,
Сердцем моим овладев –
О, этот дождь нараспев!

Сам не пойму, отчего
Тяжесть на сердце легла:
Что омрачило его?
Странная боль: ни с чего.

В том-то и корень беды:
Тошно ему ни с чего.
В нем — ни любви, ни вражды.
Имени нет у беды.

И тих, и ясен небосклон
Над крышей ветхой,
И клен завесил небосклон
Трепетной веткой.

И колокольный мирный звон
В просторах тонет,
И пгица, слыша дальний звон,
Жалобно стонет.

О, Боже мой, твой мир хорош,
И прост, и строен,
И гомон городской хорош,
Мирно спокоен.

А ты, пропащий ни за грош,
Клянeshь невзгоды.
Что ж загубил ты ни за грош
Лучшие годы?

АНТОНЕН АРТО (1896-1948)

* * *

Нет, я вас не люблю, и все же вы придете;
К нам на сердца листы с деревьев облетят,
Мы вместе вознесем к неяркой позолоте
Былой наивности вдруг отрезвленный взгляд.

Неведомый порыв — и это Ветер Мира —
Пробудит отклики вечерние стволов,
И отзовется грот небесного клавира
В сквозном кружении коралловых листов.

Спокойною рукой их запускает в пляс
Незримый чародей, мутитель атмосферный;
Меня полюбите вы в этот час вечерний,
И я поверю, что влюбился в вас.

Тем звездным вечером померкнет череда
Дней, облетающих в осенней укоризне,
И в гроте наших душ угасим мы тогда
Всепожирающий костер безлюбой жизни.

БУТЫЛКА И СТАКАН

Зеленая волна абсента затопила
Прекрасный вечер; он завис и поднял вёсла,
В бутылочном стекле переливались звезды
Настоянного дня, чья легкость проступила.

У стойки в зеркале луна снега кружила,
И бил струей фонтан на площади публичной,
Где в гонке бешеной мелькали хаотично
Алмазоглазые авто, напружив жилы.

И пристрастился я, в зеленой влаге вея,
Глазеть в упор — уж так зима наворожила —
На белоснежные тела, цветы нивей,
Тела красавиц, что любовь преобразила.

МУЗЫКАНТ

Вот и вспыхнула твоя маска
Музыкант восковые вены
Ты зажги бессвечный подсвечник
Сплавом огненным нот своих.

Расчленяет молния чрево
Кораблей тобой оснащенных
Ты из сводов своих пещерных
Возведи нам крохотный ад.

Эти звезды что ты швыряешь
Драгоценных металлов блески
Созидают храм быстролетный
Из обыденных наших чувств.

Вот и церковь что всех прекрасней
Раскрывает проливы нам
Сотни раз воспетая церковь
Только черти водятся там.

ПОТАЕННАЯ ЛОГИКА

Город город град огней
Город шума расточитель
Вольный наш освободитель
О лукавый о размытый
Безымянный именитый
Бьются ангелы о стекла
Кони прут сквозь тучи прочь
В небо падают кареты
В ночь ночь ночь ночь
Это словно пар дыханья
Словно выпот выдох камня
Искушенья крестный ход.
В сшибке четырех ветров
В сходке четырех небес
Конденсируется город
Непреложный город снов
Твой орган роняет в землю
Пыль гремучую громов
Пополняя бесконечность.
Из стеклянной ясной пыли
Зыбких атомов камней
О небесных сеть отдушин
Город ты себя творишь
Город камень твой послушен
Там где горестей граница
На краю тоски немой
Вырос замок потайной
Пепел сердца там хранится.

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ (1929-2014)

ГОРОД В ОГНЯХ

1

Столицу прострочил вигринный крап.
Дождь словно нанялся. Свистит полиция.
Сплошной стеной штампованные лица.
По небу — оторочка хвойных лап.
В метро сажают память — хлеб событий.

В тоннеле наши корни прорастают;
Земля иль рельсы кружат по орбите?
В полупроводниковых снах вигают,
Дрожа под током, наших чувств регистры,
И в мире, где царят электросхемы,
Ночь мастерит из наших тел транзисторы.
Дома без парусников детства немые,
На них торчат антенны-метрономы,
Как виселицы в небе закопченном,
Ослеплены их ложью астрономы,
И звезды беспардонно лгут ученым.
Столица расставляет нам тенета —
О, нашей страсти трассы, наши стрессы!
Дни, что мы ищем, сброшены со счета,
И солнце свищет яростней экспресса.

3

Больны удушьем красный и зеленый.
Грим улицы растекся. Округа
Парижа — в бандерильях из неона.
Из ночи день насторожил рога.
Подобному быку и тусклый шелк
Привидится багровою мулетой.
Дуэль. Схлестнулись лазеры — шелк! шелк! —
Вскормлённые луной, волчицей лютый.
За кодом — код. Такси, реклама, знаки,
Морзянка вспышек многоцветным роем —
Зародыш Млечного Пути во мраке.
И, ярмарочным выставясь героем,

Париж играет силой и сноровкой,
Его наряд из ярких блесков кроен,
Рассвечен тротуар татуировкой.
Он бой быков низвел до скотобоен,
Где стынет кровь из потрошенных туш.
Париж уйдет и вновь придет в лучах,
Возобновленный зеркалами луж,
Как тяжкий шлейф, историю влача.

4

Париж, Париж, моренные наплывы,
Ледник воспоминаний и огней,
Ты подымаешься неторопливо
От ярмарки ночной — к судьбе своей.

Париж, Париж, за счастьем ты в погоне
Перегоняешь крыши, точно скот,
От Сен-Манде скитаясь до Булони,
Где звездным сеном пахнет небосвод.
Куда мосты несутся через Сену,
Как лошади, берущие барьер?
Париж в своем театре шлет на сцену
В ночи ему приснившихся химер.
Париж меняет контуры и смыслы,
Наука здесь — законодатель мод,
В его жеоде отразясь, нависло
Предместье-спутник, словно антипод.
Центр Помпиду. Здесь по трубопроводам
Перегоняют сны наивной публики.
Париж, переименованный народом –
Где звездные часы твоей республики?



Николь Краусс

ЗУСЯ НА КРЫШЕ

Перевод Ирины Лейченко

Каблуки вязнут в рубероиде крыши, двадцать три этажа над улицей, на руках — новорожденный внук: как он здесь оказался? Непростой вопрос, как сказал бы его отец. Простота не передалась ему по наследству.

Начнем конкретнее: две недели Бродман был мертв, но потом, увы, вернулся в этот мир, где провел полвека, пытаясь писать ненужные книги. Операция по удалению опухоли из кишечника привела к осложнениям. Пятнадцать дней тело его, подключенное к аппарату искусственного дыхания, для каждой входящей или выходящей жидкости — отдельный мешок, лежало на больничной каталке, схватившись в средневековой битве с двусторонней пневмонией. Две недели Бродман висел на волоске, то мертвый, то живой. Как в тот дом из Книги Левит, в него проникла чума: его выскоблили до блеска и разобрали на части, камень за камнем. Либо поможет, либо нет. Либо чума уйдет, либо она уже расплзлась по его телу.

В ожидании приговора ему снились безумные сны. Такие галлюцинации! В лекарственном дурмане, с зашкаливающей температурой, во сне он видел себя анти-Герцлем и читал лекции по всей стране таким несметным толпам слушателей, что они вынуждены были смотреть трансляции трансляций на нескольких телеканалах. Главный раввин Западного берега вынес ему смертную фетву, а один игорный магнат-еврей оценил его голову в десять миллионов долларов. Преследуемый за измену, Бродман прятался на конспиративной квартире где-то в центре Германии. За окном он видел плавные изгибы холмов... Баварии? Земли Весберг? Подробности ему не сообщили для его же блага, на случай, если он сорвется и позвонит жене Мире, или адвокату, или раввину Ханану Бен-Цви из Гуш-Эциона. Но даже и позвони он раввину, что бы он сказал? *Сдаюсь, берите меня: третий проселок налево, за молочной фермой, где Брунгильда поет «Эдельвейс» у коровьего вымени, и не забудьте прихватить винтовку?* А может, раввин собирался перерезать Бродману горло разделочным ножом?

На немецкой явке он держал совет с Бубером, рабби Акивой и Гершомом Шолемом, который растянулся на медвежьей шкуре на полу и почесывал за медвежьими ушами. Он сидел с Маймонидам на заднем сиденье бронированного автомобиля: их разговорам не было конца. Он видел Моше Ибн Эзру и слышал Сало Барона, к которому взывал, размахивая руками, чтобы развеять дым. Увидеть его так и не удалось, но он знал, что тот был где-то там и тяжело дышал в клубящемся мареве — Сало Витмайер Барон, который говорил на двадцати языках и давал показания на процессе Эйхмана, первый профессор еврейской истории в западном университете. *Сало, что же ты наделал?*

Нечто грандиозное произошло с Бродманом за эти две лихорадочные недели, невыразимые откровения явились ему. Отстегнутый от строп времени, преступивший земные пределы, он увидел истинные очертания своей жизни, увидел, как она вращалась вокруг оси долга. Не только его жизнь, но и жизнь его народа: три тысячелет зыбких воспоминаний, глубоко чтимого страдания и ожидания.

На пятнадцатый день жар спал, и, проснувшись, он почувствовал, что излечился. Тело было пригодно для обитания; можно было пожить еще немного. Согласно Книге Левит, оставалось лишь соблюсти ритуал искушения, для которого требовались две птицы: одну следовало принести в жертву, другую — оставить в живых. Одну убить, другую несколько раз омочить в крови ее сородицы, семь раз окропить ею дом и отпустить. Какое милосердие! Бродман не мог сдержать слез, когда перечитывал этот отрывок. *Но он выпустит живую птицу из города в открытое поле, и очистит дом свой, и будет он чист.*

Пока он бредил, на свет появился его единственный внук. Ослабевший Бродман почти уверовал, что это он породил дитя силой собственной мысли. Его младшая дочь Рути не любила мужчин. Когда она объявила, что забеременела в сорок один год, Бродман воспринял это как чудо непорочного зачатия. Пару месяцев спустя он сдал обычный анализ крови, за ним последовала колоноскопия, а за ней — за полтора месяца до того, как должен был родиться ребенок, — открытие, что нечто зарождалось и в его собственном теле. Если бы он верил в подобные вещи, то подумал бы, что в этом есть что-то мистическое. В поту и стогах, с ужасающей болью в брюхе он протолкнул мысль о ребенке сквозь узкий проход неверия и выродил его в мир. Он едва не умер. Нет, он умер. Он умер ради ребенка, а потом каким-то чудом вернулся к жизни. Но для чего?

Однажды рано утром респиратор сняли. Рядом с Бродманом стоял молодой доктор с влажными от осознания сотворенного им чуда глазами. Впервые за две недели Бродман вдохнул настоящий воздух и опьянел. Голова у него закружилась, и он притянул доктора к себе, так близко, что видны были только докторовы зубы, такие белые, такие ослепительно прекрасные, и этим зубам, которые из всего, что было в палате, больше всего напоминали Бога, он прошептал: «Я не был Зусей». Врач не разобрал. Бродману пришлось повторить, с силой выталкивая слова изо рта. Наконец, его услышали. «Ну конечно, нет», — мягко сказал доктор, разжав слабые пальцы пациента и нежно похлопывая его по руке, пронзенной иглой капельницы. «Вы были профессором Бродманом, им и остались».

Если бы ему не перерезали мышцы живота, Бродман бы рассмеялся. О чем мог сожалеть такой человек? У него и детей-то наверняка еще не было. Судя по его виду, и жены тоже. У него все еще было впереди. Скоро он, предвкушая удачный день, отправится пить кофе. А сегодня утром он уже вытащил мертвеца с того света! Что он мог знать о жизни, потраченной зря? Да, Бродман был Бродманом и оставался им, и все же ему не удалось стать Бродманом, как не удалось рабби Зузе стать тем, кем он должен был стать. Бродман услышал эту историю в детстве. После смерти раввин Зуся из Аннополя ожидал суда Божьего, и ему было стыдно, что он не стал ни Моисеем, ни Авраамом. Но когда Бог наконец явился ему, то задал лишь один вопрос: «Почему ты не был Зусей?». На этом история заканчивалась, но Бродману приснился ее конец: Бог снова скрылся, и Зуся, оставшись один, прошептал: «Потому что я был евреем, и на то, чтобы стать кем-то ещё, даже Зусей, меня уже не хватило».

Через окно в палату проник свет умытого утра, и с подоконника, хлопая крыльями, взлетел голубь. Оконное стекло было матовым, чтобы взгляд не упирался в кирпичную стену напротив, и вместо птицы Бродман видел только подвижный, взмывающий ввысь силуэт. Но в его голове хлопанье крыльев прозвучало как знак препинания, как запятая, решительно поставленная на белом листе. Уже давно он не мыслил так ясно и сосредоточенно. Смерть очистила сознание от всего по-

стороннего. Мысли его вышли теперь на другой уровень и приобрели острую пронзительность. Ему казалось, что он наконец-то добрался до сути всего. Ему хотелось рассказать об этом Мире. Но где же была Мира? Всю его долгую болезнь она просидела на стуле рядом с его кроватью, уходя лишь на несколько часов по ночам, чтобы поспать. В это мгновение Бродман понял, что его внук родился, пока он был мертв. Он хотел знать, назвали ли мальчика в его честь?

Он давно оставил преподавание и, поговаривали, писал свой главный труд, который должен был стать вершиной его научной жизни. Но написанного никто не видел, и по кафедре поползли слухи. Сколько он себя помнил, он всегда знал ответы: жизнь его держалась на волнах бескрайнего океана понимания, оставалось только зачерпнуть из него. Он не замечал, что океан понемногу испарялся, и теперь было поздно. Он больше ничего не понимал. Не понимал уже много лет. Каждый день он сидел за рабочим столом в тесной дальней комнате своей квартиры, набитой туземными масками и статуэтками, которые они с Мирой купили за бесценок сорок лет назад, путешествуя по Нью-Мексико. Он сидел там годами, но в голову ничего не приходило. Он даже подумывал написать мемуары, но не продвинулся дальше того, что занес в записную книжку имена людей, которых когда-то знал. Когда к нему заходили бывшие студенты, он, сидя под примитивными масками, подолгу рассуждал о затруднении, с которым сталкивается каждый историк еврейского народа. Евреи давным-давно закончили писать свою историю, говорил он. Когда раввины закрыли библейский канон, они чувствовали, что истории у них набралось больше, чем достаточно. Две тысячи лет назад со священной историей, единственной, от которой еврею был хоть какой-то прок, было покончено. Затем последовали фанатизм и мессиянство, зверства римлян, реки крови, огонь, разрушение, и, наконец, изгнание. С тех пор евреи решили жить вне истории. История — это то, что происходит с другими людьми, пока евреи ждут прихода Мессии. Между тем, раввины занимались исключительно еврейской памятью, и на протяжении двух тысячелетий эта память служила опорой целому народу. Так какое же он — или кто-то другой — имел право вносить сюда разлад?

Студенты слышали это не в первый раз и заходили все реже. Рути не выдерживала больше четверти часа. Связь со старшей дочерью он потерял давно. Время от времени она переставала бросаться под израильские бульдозеры на Западном берегу и звонила домой. Но если к телефону подходил он, а не Мира, она бросала трубку и возвращалась к палестинцам. На мгновение до него доносилось ее дыхание. «Кэрол?» Но в ответ раздавались только гудки. Чем он перед ней провинился? Хорошим отцом он не был. Но неужели он был таким ужасным? Погрузившись в науку и преподавание, он оставил воспитание дочерей Мире. Стояло ли за этим решением что-то другое? Если отец их когда-то и интересовал, интерес этот угас. По вечерам, когда Мира заплетала их медные волосы перед сном, перед ней распускалось ажурное кружево их дней со всеми победами и разочарованиями. Никто не ждал и не желал его участия в этом ритуале, поэтому он уединялся в дальней комнате, переделанной после рождения Кэрол в кабинет. Однако он ощущал себя изгоем, бессильным и неуместным, и это распаляло его ярость. Задним числом он всегда жалел о сказанном.

И все же запугать дочерей ему не удалось. Они поступали, как хотели. Его дети не несли на себе того потомственного бремени, которое пришлось тащить ему. Бродман был единственным ребенком, и предать родителей для него было так же невозможно, как ударить их по лицу. Их жизни держались на его спине, как кар-

точный домик. Отецего прибыл на остров Эллис специалистом по древним языкам, а сошел с острова учителем иврита. Мать стала домработницей у зажиточных евреев в Бронксе. После рождения Бродмана она оставила работу, но в мыслях не переставала блуждать по комнатам, лестницам, углам и коридорам. Когда Бродман был маленьким, она порой терялась в этих пространствах. Способен ли ребенок понять, что его мать теряет себя? Бродман не понимал. Когда ее увезли, он остался наедине с отцом. С мрачным благочестием и педантичностью отец обучил Бродмана тому, что от него ожидалось. Каждый день на рассвете Бродман наблюдал, как в падающем с востока холодном свете, отец перед молитвой привязывает ко лбу и к руке тфилин [*]. Уходя на работу, он продолжал сутулиться, как кривая из древнееврейского алфавита, чертить которую он научил Бродмана. Никогда Бродман не любил своего отца сильнее, чем в те минуты, хотя позже он спрашивал себя, не было ли чувство, принятое им за любовь, отчасти жалостью, смешанной с желанием оградить отца от дальнейших страданий.

Через три месяца они привезли мать домой и водрузили, обложив подушками, на кровать, откуда ей открывался вид на пятно на потолке. Ее бледно-голубая кожа туго обтягивала щиколотки и блестела. Бродман готовил для нее, кормил, а потом, сидя за столом под свисающей липкой бумагой, делал уроки, прислушиваясь к ее сухому кашлю. Когда отец возвращался домой, он ставил перед ним тарелку с едой. Затем он вытирал клеенку и снимал с полки древнееврейские книги в потрескавшихся кожаных переплетах. Отцовские губы беззвучно шевелились, палец с широким ногтем выискивал нужный абзац. Когда-то Авраам связал Исаака, чтобы Исаак продолжал связывать себя на веки веков. Каждый вечер перед сном Бродман проверял свои обвязки, подобно человеку, перепроверяющему замки на дверях и окнах своего жилища. Уходя из дома, он тихонько запирает за собой дверь и нес на спине мать с ее голубыми щиколотками, и сутулого отца, и их родителей, безжизненно лежащих в окопе на окраине соснового бора.

Другое дело — дочери. Возможно, они почувствовали, какую ему пришлось заплатить цену, и все-таки чему-то научились у него, у придавленного долгом Бродмана с его старыми книгами? На протяжении всего их детства его пожелтевший отец печально взирал на них со стены гостиной. Но они и слышать ничего не желали. Они отвернулись и бодро зашагали в противоположном направлении. Им ничего не стоило отвергнуть то, что было ему так дорого. Они не испытывали перед ним благоговения. От Кэрол ему доставалось лишь презрение, от Рути — равнодушие. Это бесило его, но в глубине души он завидовал их способности постоять за себя. Только когда было слишком поздно, он осознал, что они не стали ни счастливее его, ни свободней. В девятнадцать лет Кэрол попала в больницу. Приехав, Бродман увидел ее в смиренной рубашке, привязанную к кровати. Он недооценил ее состояние и принес ей книгу рассказов Агнона. Смутившись, он неловко положил ее на ночную тумбочку. Она взглянула на потолок, как когда-то его мать.

Бродман не страдал от такого размягчения мозгов. Ответственный за это ген — если такой и был — ему не передался. Или же он укрепил против этого свой разум. Его болезнь была болезнью плоти и могла быть вырезана. Сейчас, после трудного кесарева сечения, она находилась где-то под стеклом в лаборатории, а его

[*] Тфилин — элемент молитвенного облачения иудея: две черные кожаные коробочки, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы. При помощи чёрных кожаных ремешков, продетых через основания коробочек, одну из тфилин укрепляют на бицепсе обнажённой левой руки, а вторую — над линией волос, между глаз.

внук, родившийся за четыре недели до срока, лежал в инкубаторе. Нет, его разум не помрачился, просто он был ошеломлен этой параллелью. Они оправлялись вместе: Бродман на одиннадцатом этаже, внук — на шестом. Бродман — от смерти, внук — от жизни. Мира металась от одного к другому, как помощник конгрессмена. Приходили и уходили посетители. Младенцу они несли плюшевые игрушки и крошечные ползунки из египетского хлопка. Бродману — протертые фрукты и книги, на которых он не мог сосредоточиться.

Наконец, в день, когда младенца должны были выписать, Бродман почувствовал себя в состоянии навестить его. Рано утром пришла русская медсестра обтереть его губкой. «Сегодня моемся для встречи с внуком!» — пропела она, решительно принимаясь за дело. Глянув вниз, он обнаружил, что у него больше не было пушка. Метка его рождения уступила место уродливому красному рубцу, четыре дюйма длиной. Что это значило? Русская покатила его в кресле-каталке по коридору. Сквозь открытые двери он видел высывавшиеся из-под одеял посиневшие голени и скрюченные стопы без пяти минут мертвецов.

Когда он прибыл, то увидел, что в комнате уже было полно людей, заявлявших свои права на ребенка: дочь, ее партнерша, предоставивший сперму гомосексуалист, его бойфренд. Бродману пришлось ждать своей очереди больше часа. Из кресла-каталки невозможно было даже краем глаза взглянуть на младенца, со всех сторон окруженного его создателями. В негодовании Бродман сам выкатился из палаты, ошибся этажом в лифте, совершил экскурсию по центру диализа и по указателям добрался до дворика для медитации, где выместил гнев на коренастом, поросшем мхом Будде. Никто не пришел позвать его обратно, и он решил вернуться и поругаться с дочерью.

Когда он вернулся, палата уже опустела. Мира передала ему спящего младенца, завернутого в белое. Он затаил дыхание, изумленно рассматривая завитки идеального уха ребенка, от которого исходило сияние, как на полотнах фра Филиппо Липпи. Боясь уронить сверток, Бродман было попытался положить его поудобнее, и малыш вздрогнул и открыл слипшиеся глаза без ресниц. Бродман почувствовал, как в его дряхлом теле что-то болезненно заняло. Он прижал мальчика к груди и не хотел отпустить.

Ночью он лежал на своей койке на одиннадцатом этаже, не в силах заснуть от возбуждения. Внук спал сейчас дома, запелёнутый в кроватке, и видел сны под медленно кружащимся мобилем. *Это хорошо, спи, бубеле. В твоём мире все еще спокойно, ничто тебя пока не тревожит. Никто не спрашивает твоего мнения то об одном, то о другом.* Правда, от мнений малыш защищен не был. Они вихрем вились вокруг него. Руги попросила Миру купить ему плетеную колыбельку. «Зачем ей эта корзина?» — спросил Бродман. Поняв, что дело принимает нежелательный оборот, Мира с трудом завернула корзину обратно в упаковочную бумагу. Но он уже завелся и не отпустил.

— Сколько можно разыгрывать эту комедию? — спросил он. — Мы давно уже не рабы в Египте. Более того, мы никогда ими и не были.

— Не говори ерунды, — ответила Мира, запикивая колыбельку обратно в пакет из магазина «Сакс» и заталкивая ее ногой под стул. Бродман понимал, что был смешон, но ему было все равно. Он не собирался сдаваться.

— Моисеева корзина? Зачем, Мира? Объясни мне.

Нет, заснуть не удавалось. Где-то на земле должны быть дети, рожденные и выросшие без оглядки на прошлое — от этой мысли Бродмана пробрала дрожь.

Кем бы он мог стать, если бы у него был выбор? Но он упустил свой шанс. Он позволил долгу раздавить себя. Ему не удалось в полной мере стать самим собой, он поддался вековому бремени. А теперь он видел, как все это было глупо, какая бездарная трата времени! Опаленный жаром до гениальности, он понял все. Перед ним предстали доводы мертвых, окончательные доказательства тех, кто понял все на той стороне. Он умер и был отозван обратно, чтобы наставить этого ребенка и направить его по другому пути.

Утром Мира принесла булочки с маслом, потеющие в пластиковом пакете. Он завтракал и слушал ее рассказы о триумфальном возвращении ребенка домой, о его мощном мочеиспускании и великой жажде. Бродман тоже выпускал и поглощал массу жидкости, и пришедший на осмотр врач шутливо объявил Мире, что ее отпуск вот-вот подойдет к концу. Завтра или послезавтра Бродмана должны были отправить домой. Дом — внезапно вспомнил Бродман. Бесконечные часы, проведенные в темной дальней комнате в попытках зажечь потухший фитиль. День за днем, год за годом пустой блокнот с тонко расчерченными линиями — как немой упрек. Все это теперь закончилось. Его вернули к жизни не для этого вздора.

Скорая, доставившая его домой, ехала без sireны.

Ребенок родился слишком маленьким, и к восьми дням его еще не обрезали. В больнице его откормили, как Гензеля, и дома он продолжал увеличиваться сам. Наконец сообщили, что врач дал добро. Церемония должна была состояться в квартире Рути. В качестве угощения — бублики с копченой лососиной. В Ривердейле нашлась женщина-моэль, которая, вопреки обычаю, согласилась применить местное обезболивающее. Все это Бродман ненароком услышал из спальни. Когда Мира зашла рассказать ему новости, он притворился спящим. Он слишком устал, чтобы объяснять ей суть ниспосланных ему откровений. Пламень его лихорадки слегка померк. Дни наполнились вязкой скукой. Ведь был же он когда-то человеком действия? Он всегда воображал себя таким, но на каком основании? Доказательства — тощая стопка книг, комментарии к комментариям к другим книгам — свидетельствовали об обратном. Опершись на подушки, которыми его обложили, он взглянул на узкую полоску неба между домами. Вот Кэрл была человеком действия. Кэрл потеряла разум и стала человеком действия. Человеком, который вставал на пути у танков и бульдозеров, который сражался за то, во что верил. Но он, ее отец, сохранил разум и замкнулся в нем, как замыкаются в непогрешимом аргументе.

Во время своего испытания он сбросил двадцать фунтов, и одежда стала ему велика. Занятая угощением и складными стульями, Мира вспомнила об этом лишь за два часа до церемонии. Бродман закричал, хотя кричать все еще было больно, и пригрозил пойти в своем заляпанном халате. Мира, пятьдесят лет отражавшая вспышки его гнева непоколебимым спокойствием, продолжала отвечать на телефонные звонки, не переставая упаковывать блюда с едой. Затем она ушла, не проронив ни слова. Бродман услышал, как закрылась дверь, и подкормил пламя своего бешенства мыслью о том, что она ушла без него. Он поднял было телефонную трубку, чтобы наорать на Рути, но тут Мира вернулась с бордовой шелковой рубашкой и коричневыми штанами соседа сверху, с женой которого она иногда пила кофе. В отвращении Бродман швырнул шелковую рубашку на пол и взревел. Но вскоре гнев вытек из него, как тепло из дома с прохуdivшимися рамами, оставив лишь беспомощность и отчаяние. Через двадцать минут он стоял внизу, с раздутыми ветром шелковыми рукавами, и ждал, пока швейцар поймает такси.

Была зима. Такси ехало по серым улицам города, в котором Бродман прожил всю жизнь. Мимо запотевшего окна грязными мазками проносились здания. Мире нечего было ему сказать. В вестибюле дочкиного дома он, в чужой одежде, стоял посреди пластиковых пакетов Миры и ждал, пока она поехала на лифте за помощниками. Бродману хотелось развернуться и уйти. Он представил, как идет домой по промозглым улицам.

Семнадцать лет назад, после смерти отца, его внезапно подкосила изнуряющая депрессия. Это было темное время, и в худшие минуты он всерьез собирался покончить с жизнью. Только когда отца не стало, Бродману открылось то, что заложила собой его мощная фигура. Сомнение, как линия разлома, которая грозила опрокинуть все, что было на ней построено. Нет, нечто большее, чем сомнение. Протест. Не против отца, которого он любил. Но против того, что отец от него требовал, как это когда-то требовали от него самого, и от его отца, и так далее, бесконечно, из колена в колено. Нет, он не чувствовал злости, ревел он в кабинете психотерапевта.

— Я всего лишь протестую против этой ноши!

— Какой ноши? — спросила врач, приподняв авторучку, чтобы занести все в историю болезни.

Прошел месяц, бессонница и мигрень исчезли, и он постепенно стал вновь узнавать себя. Еще много месяцев спустя при мысли о том, как близок он был к тому, чтобы сдаться, его пробирала дрожь. Вдыхая запах свежего навоза в Центральном парке, разглядывая небоскребы, возвышавшиеся над вершинами деревьев, он чувствовал, как его переполняет благодарность. Музеи на Пятой авеню, желтые такси в солнечном свете, музыка — от всего этого у него подгибались колени, как будто он только что благополучно отполз от края крыши. Оказавшись у Карнеги-Холла или у одного из залитых светом бродвейских театров, из которых лился поток зрителей, еще не покинувших другой мир, Бродман чувствовал объятие жизни. Горечь его протеста прошла. Но с ней исчезла и какая-то часть его самого. Соппротивление подорвало его, и он уже не мог стать тем, кем был раньше. Наверное, тогда это и началось: понимание стало медленно убывать, иссушая его некогда плодовитый ум.

В обшарпанном вестибюле дочкиного дома, опираясь на выданную в больнице трость, он смотрел, как над лифтом в нисходящем порядке зажигаются цифры. Двери раскрылись и обнаружили улыбающееся лицо спермодонора. «Дедушка!» — прогудел он и, несколько раз тряхнув руку Бродмана, одним движением подхватил все его сумки. В тесном лифте Бродман покрылся испариной. Он дышал через рот, чтобы не вдыхать приторный запах одеколona, исходящий от донора. Лифт громыхал вверх по этажам, неся в себе всех родственников мужского пола, которые только были у бедного ребенка. Бродман поморщился, гоня мысль о том, как стоящий рядом человек прочил, чтобы наполнить бумажный стаканчик.

Квартира уже была полна народу. Одна из старинных подруг Рути подскочила к нему и сухо поцеловала в щеку. «Рада, что вы опять дома. Вы всех напугали», — громко проговорила она, как будто после болезни он еще и оглох. Бродман хмыкнул и направился к окну, рывком распахнул его и вдохнул холодный воздух. Но когда он обернулся назад к переполненной квартире, голова у него кружилась. На другом конце комнаты Мира пыталась выжать из большого самовара чай для мозля из Ривердэйла. Эта женщина в вязаной кипе размером с небольшую тарелку приехала в заказанном для нее седане, чтобы удалить крайнюю плоть его

внука в ознаменование завета Божьего. Отрезать его плоть, чтобы душа ребенка не оказалась навсегда отрезанной от его народа.

Бродман почувствовал, как у него слабеют ноги. Он протолкнулся через кухню, мимо запакованных в целлофан тазиков со сливочным сыром и прогремел по темному коридору со своей металлической тростью. Ему хотелось одного — прилечь в спальне Рути и закрыть глаза. Однако открыв дверь, он обнаружил, что на кровати висится гора пальто и шарфов. На глазах у него выступили горячие слезы. Он почувствовал, как в легких нарастает вой человека, лишённого милости Господней. Но вместо воя он услышал тихое бульканье. Он резко обернулся и в углу, рядом с креслом-качалкой, увидел тростниковую корзину. Младенец открыл свой крошечный ротик. На мгновение Бродману показалось, что он сейчас закричит или даже заговорит. Но вместо этого малыш поднял рябой кулачок и попытался засунуть его себе в рот. Переполненный чувствами, Бродман направился к нему. Ощувив перемену в своем мире света и тени, младенец повернул голову. Широко раскрыв глаза, он вопрошающе воззрился на своего деда. В коридоре готовили лезвие и зажим. Разве мог он теперь помочь мальчику?

Запасная дверь вела на пожарную лестницу. Бросив трость, Бродман ухватился за перила и втащил себя на два пролета вверх. Мышцы живота занули. Ему пришлось три раза опускать корзину на пол, чтобы перевести дух. Наконец они добрались до последнего этажа, и Бродман, толкнув металлическую перекладину на двери, вырвался на крышу.

С карниза взметнулись птицы, устремившись в небо. Внизу во всех направлениях расстился город. Отсюда он казался тихим, почти бесшумным. На западе виднелись огромные баржи, идущие по Гудзону, утесы далекого Нью-Джерси. Тяжело дыша, он поставил корзину на рубероид крыши. Младенец поежился на холоде; в глазах его мелькало изумление. Бродман дрожал от любви к нему. Его прекрасные черты были совершенно неизвестными, не обещавшими верности никому: ребенок, все еще не измеримый, равный только самому себе. Быть может, он не будет похож ни на кого из них.

Внизу уже, наверное, заметили его отсутствие. Наверное, уже забили тревогу, квартиру охватил хаос. Бродман чувствовал, как его шелковую рубашку ножом рассекает ветер. Никакого плана у него не было. Если он и надеялся на какой-то знак, здесь его искать не стоило. Свинцовое небо запечатало небеса. С трудом нагнувшись, он вынул младенца из корзинки. Его головка откинулась назад, но Бродман подхватил ее и нежно положил себе на руку. Он тихо покачивался, в точности как это делал по утрам его отец, обмотав руку и голову черными ремешками. Если Бродман и плакал, то не замечал этого. Он погладил пальцем нежную щечку младенца. Казалось, серые глаза малыша взирали на него с терпением. Но Бродман не знал, что ему было предназначено передать ребенку. Вернувшись к жизни, он более не мог постичь бесконечную мудрость мертвых.



Андрей Пучков

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛУЧШАЯ В МИРЕ ЦЕНЗУРА — ПО ПРИЗНАКУ ЛИТЕРАТУРНОГО КАЧЕСТВА»

Павел Нерлер об Осипе Мандельштаме*

Книга мандельштамовских статей Павла Марковича Нерлера — неожиданность, надобно сказать, ожидавшаяся. Стоит отдать должное умственной сноровке Ирины Дмитриевны Прохоровой, главного редактора НЛО: поддержка российского мандельштамоведения давно уже не в руках государства, зато — в надежных частных руках.

Государству как-то слишком запросто удалось избавиться от хлопот по изданию сочинений сгноенного им поэта: что успелось сделать на излете Перестройки, причем руками того же Нерлера, то успелось. Остальное, — а в связи с Мандельштамом всегда есть о чем говорить, ну, например, читать по ночам вслух его стихи, — дело энтузиастов. Самому слову «энтузиаст», имевшему до большевицкого переворота отрицательный оттенок вроде «дурак», в связи с нынешними культурно-историческими исследованиями и особенно нынешними культурно-историческими обстоятельствами следовало бы возратить его смысл: занимающийся Мандельштамом вправду вроде сумасшедшего, и его проблемы это только его проблемы, разделяемые немногими. Государство даже не в сторонке, оно — вата, как точным словом сказал Нерлер в очерке «Слузганная культура, или Новая Атлантида»: «Теперешняя вертикаль <российской> власти догадалась (чего Сталин не смог): самая жесткая реакция на стихи и на правду — это не замалчивание их и не запрет, не казнь болтунов, а полная тишина, абсолютное молчание, игнорирование, в том числе и того, что еще скажут по этому поводу другие» (стр. 723). Мы знаем: чем тише тишина, тем громче гром.

Сборник «Слово и культура» (М., 1987), готовившийся девять муторных лет (нет, не по Горацио: мол, «*non tunc praeatur in apertis*»), чёрный двухтомник мандельштамовских Сочинений Нерлера–Аверинцева (М., 1990), затрепанные (белая обложечная холстина и черный ледерин не вечны), сопровождали странных людей наввырост. Затем появился четырехтомник Мандельштама, стараниями Павла Марковича увидевший свет в 1993–1997 гг., ныне оцифрованный, снабженный указателем словоформ, доступный в Сети и остающийся лучшим компендиумом произведений поэта. Разбросанные же по разным сборникам, готовившимся Мандельштамовским обществом и РГГУ, особенно в пяти выпусках продолжающегося альманаха «Сохрани мою речь...» (М., 1991–2011) — этом кумулятивном заряде, пущенном в интеллигентскую беспамятность и наделавшем там шороху, — околومان-

* Павел Нерлер. *Con amore* [По любви]: Эподы о Мандельштаме. — М.: Новое литературное обозрение [НЛО], 2014. — 856 с.: ил. — Науч. прил. к НЛО: Вып. СХХV. — ISBN 978-5-4448-0162-8. — Тираж 1500 экз.

дельштамовские статьи Нерлера библиотечно и читательски требовали одной обложки. Автор явно не спешил с решением такой задачи, полагая, что не всё задуманное сделано, и подводить итоги рано. Но забота о читателе взяла верх над исследовательским благоразумием, и вышедшая книга — промежуточный вариант нерлеровского мандельштамоведения, оглушительный по эмоциональной насыщенности, убедительный по поливекторности реконструктивных инсценировок.

Сборник состоит из семи разделов.

В первом разделе «**Con amore**» (стр. 11-46) — автобиографические заметки Нерлера, отпечатлевшие его опыт изучения творчества и жизни Мандельштама, причем автор в этих текстах умышленно затерян среди коллег, вместе с которыми, создавая некий «коллективный разум», в течение десятилетий занимался решением индивидуальных задач. Это Н. Поболь и А. Штейнберг (которым посвящена книга), А. Морозов и С. Аверинцев, М. Гаспаров и А. Михайлов, О. Лекманов и В. Швейцер, это готовящаяся «Мандельштамовская энциклопедия» и архивный «глобус» Мандельштама — тоже своего рода «коллективные люди» среди исследовательских частных. Каждая статья в сборнике, не только в первом разделе, посвящена либо кому-то из достойно живущих, либо *in memoriam* достойных. Этим Павел Нерлер подчеркивает: всё, что сделано, сделано не столько им, сколько вместе с остальными; Мандельштам не чья-то собственность (как, стесняясь, полагали Н.И. Харджиев и стареющая Надежда Яковлевна), это всеобщее духовное достояние, тексты для всех, и каждый, кто неравнодушен, пестует лютерански-«соборный» дух исследования в других точно так же, как в себе. В таком смысле Нерлер и его коллеги тоже «ничьи современники», хотя портреты их писаны с натуры.

Второй раздел «**Солнечная fuga**» (стр. 47-242) составили публикации теоретического толка. Здесь и «Слово и судьба Осипа Мандельштама» — конспект изложения мандельштамовских времени, дела и тела, слова и мифа, запоминающаяся новообразованиями «безмогильная смерть», «нерукопожатый брადобрей», «тиран-позомор» и восхищающими констатациями вроде: он, Мандельштам, «все же не представлял, как дружно и как слаженно нацистский Египет и советская Ассирия примутся за уничтожение гуманизма по обе стороны от линии Керзона и как преуспеют они в строительстве барakov, газовых печей и прочих пирамид из Человечины по всей Европе» (стр. 63). Не представлял — но и не пережил.

Здесь и наблюдения о прозе Мандельштама, отдавшей уши тогдашним рецензентам, не слишком тонко (как Абрам Лежнев) или избыточно тонко (как Цветаева) слышавшим время. Здесь замечательное по документальной полноте изложение (памяти Е.Г. Эткинда) затёртого конфликта между Аркадием Горнфельдом и Мандельштамом в связи с изданием перевода «Гиля Уленшпигеля» в 1928-м, отредактированного Мандельштамом. Горнфельд в сердцах написал: «А если бы он, дурак, перевел добросовестно, то мне бы моего перевода уж никак не пристроить!» (стр. 93), и открыв потомкам, в чём, собственно, дело.

Здесь наблюдения над «Путешествием в Армению», состоявшимся благодаря участию Н.И. Бухарина: «В круге общения поэта, в его литературных занятиях, в выборе маршрутов его путешествий, наконец — всегда есть некая системная, хотя и не систематическая жесткость. Случайным может быть повод, но не причина, а она лишь на нужное взглянет с улыбкой» (стр. 109). В композиционном анализе «путешественной» главы «Французы» о восприятии Мандельштамом живописи, Нерлер выделяет три этапа: «Первый — погружение глаза (*“помните, что глаз благородное, но упрямое животное”*) в *“новую для него материальную среду”*»

картины, погружение, — ддящееся до тех пор, пока “*телесная температура <...> зрения*” не сравняется с картиной, перед которой вы стоите. На втором — “*тончайшими кислотными реакциями глаз <...> поднимает картину до себя*”. И, конечно, на третьем этапе — происходит “*очная ставка с замыслом*”» (стр. 122) *. Если бы Эрвин Пановский, разрабатывая иконологический метод, ведал о таком наблюдении, получившийся результат мог оказаться еще более инструментальным.

За «Путешествием...» в сборнике следуют «Метрические волны и композиционные принципы позднего Мандельштама» (посвященные Д.Г. Лахути), очерк, построенный на предметно-стиховедческих исследованиях и поблескивающий констатациями вроде: «С середины декабря 1936 года Мандельштам был захвачен мощной хореической тягой» (стр. 140), «трехстопный анапест первого <<Средь народного шума и спеха...>> смотрится ни много ни мало как ритмический десант “Стихов о неизвестном солдате”, чей мощный анапестический накат еще и этим противостоял дьявольской искусственности материи “Оды <Сталину>” — этой поистине “чёрной дыры”, поглотившей столь много энергии и живой материи поэта» (стр. 141). Применение гаспаровского метода подсчетов, составление таблиц композиционных раскосов ритма «Первой Воронежской тетради», смешанное с восстанавливаемым знанием о контексте ее создания, отсылает читателя к лучшим образцам советского стиховедения (особенно к опыту книги М.Л. Гаспарова «Современный русский стих» 1974 г.), уточняя объемность и разграфливая плоскость «семангического ореола» стихотворений. Обычный читатель кушается в этих метрических волнах, а любитель шахмат получает дополнительный умственный кайф.

Два следующих за метрическими волнами очерка посвящены немецкому контексту произведений Мандельштама. Так, анализ «К немецкой речи» свидетельствует о пути поэта от вдохновившего его достоинством судьбы Э.Х. фон Клейста (умер от военных ран в 1759-м, это вам не «плющ в беседке шоколадной») к «битве со словами и словами <...> Соловей, которому поэт жалуется на своих вербовщиков, знаменует собой не только синтез природы и культуры, но и некую мировоззренческую константу. И уж если воевать, если сражаться, — то только на его стороне! Не в первый — и не в последний — раз он выбирает поэтическую правоту» (стр. 167). Статья о Гёте в произведениях Мандельштама — от «Шума времени» до воронежской радиопостановки — подсмотр за Мандельштамом как читателем Пушкина. Нерлер подчеркивает: «Мандельштам мыслит о Пушкине, рассуждает о нем как о едином **целом**, как об источнике (или, если угодно, родоначальнике) *света*, достоверно освещающем любую частность в русской поэзии. Пушкин — не ходячая монета, а ее *золотой* запас, точнее, неразменный золотой, который всегда с собой и с которым не страшно, с которым, стоит к нему лишь прикоснуться, как неясное проясняется, просветляется, занимает свое и только свое место» (стр. 182). Потому «при всей хронической бездомности и неустроенности Мандельштама, томик Пушкина, как свидетельствуют все мемуаристы, у него был всегда с собой» (стр. 185). Мандельштам мог слышать в ОПОЯЗе, что Пушкин это «наше всё», но не догадывался, что сам может этим всем оказаться.

В этом же разделе небольшие этюды: «Поэтическое завещание (Об одном пушкинском подтексте “Воронежских стихов”»); «Мандельштам о Чехове: Притя-

* О.А. Оленев в статье «Импрессионизм Мандельштама: Очная ставка с замыслом» (Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Збірник наукових праць Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. — К., 2012. — Вип. 8. — С. 377-385), не зная об этой статье П.М. Нерлера, приходит к похожему заключению.

жения и отталкивания»; «Новый Гиперборей» — о собственноручной тиражной графике поэтов; о шуточных стихах («именно Мандельштам подсказал Ильфу и Петрову идею “Гавририады”, хотя не исключено и обратное влияние (Мандельштам очень любил “Двенадцать стульев”!)» (стр. 201)); заметки о прозаических переводах Мандельштама («Тридцать томов за десять лет»); о промандельштамовских рассказах Варлама Шаламова. В статье о еврействе Мандельштама («И возник вопрос...») Нерлер пишет, что «великий русский поэт — и еврей <...> — жил гордо, свободно, с пгичьей осанкой. Он не искал псевдонимов и ни на что не испрашивал разрешения. Дышал и мылил русским стихом и всё время, по собственному выражению, — “напывал на русскую поэзию” <...>, пока у новых антисемитов не возник новый волнующий их вопрос — дерматологический: о “жидовском наросте” — мандельштамовском прыще! — на чистом теле истинно русской поэзии, высшими гениями которой, не смущаясь, они почитали эфюпца Пушкина, шотландца Лермонтова и еще Тютчева, чьим пращуром был фрязин Туччи» (стр. 214).

Заключают второй раздел две прелюбопытнейшие заметки: библиографический мониторинг изданий Мандельштама и о Мандельштаме — со схемами и даже цветными таблицами на вклейке, — и интегрум-анализ упоминаемости и цитируемости Мандельштама в российских СМИ с 1991-го по 2012-й. Таблица «Встречаемость отдельных цитат из Мандельштама и других поэтов в 1992-2007 гг.» на стр. 239 красноречива: точно схваченный тезаурус среднеинтеллигентного самообразованного обывателя. Вправду, чем умеющий читать человек может блеснуть в беседе? Из Маяковского: «Если звезды зажигают...»; из Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво...»; из Тютчева: «Умом Россию не понять» (и тут же, сразу, из Губермана: «Давно пора, ядрёна мать, умом Россию понимать»); из Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора...» (ну, это уже эксклюзив, как и «Искусство при свете совести» Цветаевой). Из Мандельштама это словосочетания: «под собою не чуя странь», «кремлевский горец», «век-волкодав», «фуки брадобрея», «в Петербурге мы сойдемся снова», «глубокий обморок сирени» и т. д. Показательна уменьшающаяся частота употребления этих конструкций в СМИ и Интернете за пятнадцать лет.

Третий раздел «Мандельштамовские места» (стр. 243-502) включает четырнадцать этюдов: от пропедевтической статьи о «городах поэта» (из Варшавы на Вторую речку близ Владивостока) — до замечательно подробных исследований, некогда вышедших отдельными книгами, о пребывании Мандельштама во Франции («семестр в Париже»), Германии («семестр в Гейдельберге» и вокруг), Италии, о виртуальностях контекста его «американских» стихов. Статьи о побывке Мандельштама в Грузии, Армении, житии в Москве, на Урале, в Воронеже («Воронеж стал для Мандельштама и Овидиевой Скифией, и пушкинским Болдино одновременно, Мандельштам для Воронежа — одной из самых ярких красок во всей творческой истории города», стр. 422), на Верхней Волге — заготовки для Большой Хронологии жизни Мандельштама, захватывающие по полноте, подробные до оскомины; подспорье для будущих пьес Григория Горина, если бы он был жив, и киносценариев, если бы было кому такие фильмы смотреть. Может, это оттого, что «мировая история обнаруживает себя не только как экстерриториальная, но и как вневременная категория, способная выкристаллизовываться в такие абстрактные категории как, скажем, демократия, свобода, закон, гуманизм, человеческое достоинство. Это открылось ему в Риме, и с таким багажом и таким “посохом” ему уже

не страшно и не стыдно будет пускаться в любой путь, хотя бы он и вел на Вторую речку» (стр. 343). Нет, это не для кино, это можно показать лишь в тексте.

Попытка реконструкции пребывания Мандельштама одиннадцать последних месяцев жизни в одиннадцатом бараке пересыльного лагеря под Владивостоком — «попытка лагеря», важный топос раздела. Более пронзительное «свидетельство» о его нарах, более точную реконструкцию трудно представить. Написанный практически безэмоционально, барачный очерк Нерлера подтверждает: «Закройщик собственной судьбы, Мандельштам, несомненно, понимал, каким должен был быть его “приговор” <после филиппики Сталину> — высшая мера: и разве не сам он пояснял, что смерть для художника и есть его последний творческий акт? И он сделал для этого “всё что мог”. Но оказалось, что именно это и спасло его от высшей меры и что благодаря самоубийственному поведению он от гибели-то и ускользнул» (стр. 410). От мгновенной ускользнул, от мучительной все-таки нет. Ну как же, иезуитство должно быть иезуитским.

Вот фрагменты нерлеровского текста.

«Пересыльный лагерь в эти дни <13–19.10.1938> был чудовищно перенаселен. Новичкам было некуда воткнуться и негде пригугиться. Многие разместились на первую ночь прямо под открытым небом между двумя бараками. Стояла сухая погода, и мало кто рвался под крышу — на съедение вшам. <...>

В бараке, где содержалось около 600 человек, большинство составляла “пятьдесят восьмая”, в основном ленинградцы и москвичи, и эта общность судьбы и среды как-то скрашивала всем им жизнь, а точнее, примиряла с собой.

Мандельштама и других новичков встречал староста. Им был артист одесской эстрады, чемпион-чечёточник Лёвка Гарбуз <...>. Мандельштама он вскоре возненавидел — возможно, за отказ обменять свое кожаное пальто — за это-то и преследовал его как мог: переводил на верхние нары, потом снова вниз и т.д. На попытки Меркулова и других урезонить его Гарбуз всплескивал руками: “*Ну что вы за этого придурка вступаетесь?*” <...> Одна из “бригад” 11-го барака состояла человек из 20 стариков и инвалидов: ютилась она поначалу под нарами, выше первого ряда им и по поручням вскарабкаться бы не удалось. Их старшим был самый младший по возрасту — 32-летний и единственный здоровый — Иван Корнильевич Милютин, инженер-гидравлик <...>.

Староста подвел к нему Мандельштама и попросил взять его в свою группу. При этом староста произнес: “*Это Мандельштам — писатель с мировым именем*”. Больше он ничего не сказал, ну а технарь Милютин и не стал уточнять: подумаешь, знаменитостей и среди его старичья хватало. <...> Худой, среднего роста, Мандельштам, несмотря на фактическую голодовку, вовсе не впал в отчаяние или астению. Ему — нервическому, моторному, привыкшему снова из угла в угол, — было в своем бараке тесно. “*Быстрый, прыгающий человек... Петушок такой*” <...> Выбираясь на улицу, он подбегал к запрещенным зонам, чем вечно раздражал стражу и начальство.

Днем Мандельштам все время куда-то уходил, где-то скитался. Как потом оказалось, он сошелся с какими-то блатарями и ходил к ним на чердак одного из бараков — читать стихи! Их главарь, по фамилии Архангельский, видимо, знал и ценил их еще до ареста. Гонораром служили невестки откуда берущийся белый хлеб и консервы, не вызывавшие у поэта никакой опаски.

Мандельштам чувствовал себя в среде блатарей как-то защищенно, читал им стихи <...> и сочинял для них “весёлые”, то есть скабрёзные, вирши, а может быть — если просили — и матерные частушки. <...>

...В какой-то момент Милютин понял, что в барак Мандельштам просто симулирует сумасшествие, косит под психа. Это его раздражало, но он не показал и вида: если так легче — пусть. Но однажды Мандельштам прямо спросил Милютину, производит ли он впечатление душевнобольного? Полученный ответ: “Нет, не производите” Мандельштама, кажется, огорчил. Он как-то сдулся и сник.

Больной или только прикидывающийся больным, но Мандельштам почти ничего не ел. Он всерьез боялся любой приготовленной казенной еды, путал котелки, терял свою хлебную пайку. Боялся он и укулов — любых, отказывался от них: опасался шприцев как орудия физического уничтожения.

Но временами он был вполне здоровомыслящим и даже осторожным; его речи были всегда остры, точны и умны. <...>

Безусловно, он был по меньшей мере назойливым и настырным. Когда приставал со стихами — его отгоняли (“Вали отсюда!”), не били, — но грозились “побить” (стр. 479-482, 493).

Заключительные главки об 11-м бараке — «Пальчики» (об обязательном снятии для следственного дела отпечатков пальцев мертвеца) и «Похороны жмурика» — пронзительное по скудости эмоций закрепление свидетельств о первых посмертных днях Мандельштама.

Четвертый раздел — «Современники и современницы» (стр. 503-702) — составили портреты, выписанные автором по правилам архивного письма, но с значительной реконструктивной обстоятельностью. Если слово «обстоятельность» может и должно быть приложимо к характеристике всех трудов Нерлера, то в особенности к этюдам, наполнившим четвертый раздел книги. Собеседники на пиру (во время чумы) оказались живыми.

Среди портретируемых: «свидетельница поэзии» Надежда Яковлевна (в самых разнообразных контекстах и контактах *, Анна Ахматова, Нина Грин, Наталия Штемпель («Воронежская Беатриче»), Бенедикт Лившиц («Бенó»), Екатерина Лившиц («Офицерская косточка, балетные пачки, перешитый бушлат»), Ольга Ваксель («Люттик из заресничной страны»), Владислав Ходасевич, Валентин Парнах (отдаленный прототип Парнока из «Египетской марки»), о. Николай Бруни (авиатор, священник, поэт), Павел Калецкий (товарищ по воронежской ссылке), Борис Горнунг, Николай Харджиев («первый старатель») и Павел Лукницкий («летописец»). Уже путь от заглавия — краткой, почти метафоричной характеристики персонажа — к изложению его роли в прижизненной/посмертной судьбе поэта указывает, что Нерлер начинает каждый этюд с изъяснения каких-то общих принципов, отсекая одинаковости, присущие первопубликациям его статей, двигаясь от контекста к персонажу, затем от персонажа к Мандельштаму, затем проделывает обратный путь, завершая контекстом. Но цель у него другая. «Пространство и время, — пишет автор, — услужливо меняются местами, и время перестает разделять. Наоборот, оно собирает избранных собеседников воедино, на общий пир, в некий вре-

* «Жена гениального поэта, делившая с ним стол и ложе, она постоянно сталкивалась с самыми непосредственными проявлениями творческого процесса — с чудом зарождения и рождения стихов. По своей интимности тема эта куда более трепетная, нежели любые влюбленности и измены. Никакой Гёте никаким Эккерманам об этом ничего не рассказывал!» (стр. 558).

менной веер, так напоминающий пространственный. Разве не это имелось в виду в том месте “Разговора о Данте”, где говорится о “совместном держании времени?”» (стр. 505). Конечно, об этом. Только в книге эти время и пространство, будто античный атлет в саду Гесперид с небесным сводом на плечах, держит не Мандельштам, а сам Нерлер. Он приглашает читателя помочь, хотя превосходно справляется в одиночку.

Смотрите: о Парнахе/Парноке.

«Известно, что Парнах, действительно, смертельно обиделся. Напрасно. С трагическим и шаржированным образом Парнока <...> литературная молва прочно связала и самого автора “Египетской марки”. Как бы то ни было, но образ Парнока несет в себе черты и черточки разных судеб и характеров. Главное в нем — сочетание хрупкости, напуганности, уязвимости и уязвленности — с чувством достоинства, чести, с бесстрашием в вопросах жизни и смерти.

И каким бы жалким, беспомощно-хрупким ни казался нам Парнок, — в прачечной ли рядом со священнической рясой Бруни или в прихожей портного Мервиса, — именно он, этот Акакий Акакиевич наших дней, отождествления с которыми так опасался “автор”, — именно он бросается в самую гущу событий, пытаясь доступными ему средствами спасти от расправы неизвестного ему человека, приговоренного толпой к самочинной расправе. Не подобным ли образом действовал в своё время и сам Мандельштам, так боявшийся клопов и миллионеров, но сразу же выхвативший из рук одного начинающего поэта <Якова Бломкина>, более известного как убийца Мирбаха, пачку арестных ордеров, которыми тот вертел перед его носом, пьяно хвастаясь властью над “пачкой” судеб? Мандельштам разорвал их на глазах остолбеневшего и уже почти отвыкшего от человеческих поступков чекиста!..

Биография самого Парнаха содержит немало такого, что решительно несовместимо с образом неудачника-Парнока» (стр. 652).

Пятый раздел книги «Слово и бескультуре» (стр. 703-724) состоит из четырех злободневных текстов: таких, что, пожалуй, сочинил бы и сам Мандельштам, если бы очутился рядом. Что поделать: на безмандельштамье и сам Мандельштамом станешь. Честно говоря, они едва ли украшают композицию книги, точно рассчитанную на вечность, и эти статьи придется густо комментировать. На лестничке «событийное — временное — вечное» они внизу. Сергей Сергеевич Аверинцев в интервью возмущался: «когда сегодня иные пишут о мерзости власти и прочее, то я думаю: человек, который это пишет, он что, не понимает, что только уже потому, что он может всё это написать и напечатать, ему, быть может, и не стоило бы этого писать?»*. Допустим, статья о не-колонновожатом Мандельштаме с оценкой предисловия некоего Дымшица к «Стихотворениям» Мандельштама 1973 г. (с тем и остался этот человек в истории советской литературы) или текст о слуганной культуре с посвящением Карену Араевичу Свасьяну — добротная публицистика, «антисимуляция симулякров», делающая автору честь, то статьи о теперешнем якобы закате Мандельштама или надзирающим за культурой «министре культуры» — не «жизняночки», но «умиранки».

Шестой раздел «Вместо заключения» (стр. 725-729), тематически замкнутый на предисловие, напоминает архитектурный момент в первом (и един-

* *Марина Мурзина.* Сергей Аверинцев: «Ах, мой милый Августин!» // Аргументы и факты (Украина). — К., 1998. — № 3 (129). — С. 3.

ственном) томе трехтомного Собрания сочинений Андрея Битова (М., 1991): «предисловие автора, переходящее в послесловие» (начало на с. 5-6, окончание на с. 565-574). Оба окаймляют тело книги Нерлера будто пресловутая «арабская канва Аверроэса»: зачин и выход. Вот где гром, грохотание, сменившее государственную тишину: «В контексте общекультурного его литературное и историческое значение, равно как и читательское признание (в России и во всем мире), сегодня является поистине мировым и не оспаривается уже никем. Его произведения, в том числе и несколько многотомных собраний сочинений, изданы миллионными тиражами во многих странах мира, о нем написаны тысячи статей, опубликованы сотни книг и защищены десятки диссертаций. И не случайно, что именно на мандельштамовском «материале» складывались и формировались многие методологические парадигмы современной филологии (как, например, интертекстуальный анализ и др.). Мандельштамоведение является, бесспорно, одной из самых динамичных ветвей русской филологии» (стр. 728). И вправду, кто еще из славянских литераторов, исключая, быть может, Пушкина, удостоился такой «выпрямительной» чести?

Заключительный, седьмой раздел это «**Приложения**» (стр. 731-815). В нем два блока: «Из дневников и записных книжек» Нерлера, посвященных исследованиям Мандельштама, и мандельштамовская «Библиография» самого Павла Марковича. Оба бесценны, поучительны. С одной стороны, посредством дневников можно углубиться в мотивы и обстоятельства, прогуливавшие автора по извивным «улицам Мандельштама», с другой стороны, посредством библиографии можно уяснить объем работы, проделанной Нерлером над посмертной его судьбой, убедиться в качестве усилий, положенных автором на алтарь мандельштамоведения. И в обоих случаях уважительно снять шляпу.

При всей несвободе от опечаток — нормального явления в современном книгоиздательстве — книга сделана отлично. В именном указателе есть, правда, лакуны и несправильности (нет Шарля Пеги, стр. 265, издававшего в Париже знаменитые «Двухнедельные тетради»; архитектор Аристотель Фиораванти назван на стр. 345 и в указателе «Фиораванти» и т. д.), но это тоже мелочи.

Главное в другом. По расхожему образу Мишеля де Серто из его книги «Изобретение повседневности» — «читатель как браконьер» (*lecteur comme braconnier*), поддержанному Роже Шартье, наиболее почитаемым ныне французским историком книги, — всякий читатель всякой книги и впрямь похож на браконьера: хищно идет в лес, где его не ждут, и лишь догадывается, какие в нем ёжики и косули, стреляет из чего попало в кого попало, в общем, ведет себя имплицитно ситуации. Реальный читатель внеположен тексту, и по-своему его присваивает. Беря в руки книгу, читатель-браконьер все-таки рассчитывает поживиться за счет чужого труда (денежная стоимость книги на последнем месте), насытит «вождедение от текста» предметной добычей и уверен, что стреляет прицельно. «*Сядь, Державин, развалился*», — команда такому читателю. Какой-нибудь любопытец с любопытшей (скажем, колченогой «нищенкой-подругой»), раскрыв книгу П. М. Нерлера, наверняка знает, о чём в ней, а если не знает, профецирует мимо.

Этот, по-своему герметический, корпус текстов о жизни и трудах Мандельштама и его современников, которым он не современник, сам по себе становится источником для будущего, элементом вневременной культурной истории, сегодняшним вариантом ее прочтения, результатом ее властного подчинения будущему, где будут ли читатели — неведомо. Павел Маркович сделал что должно: собрал и предъявил. Качество предъявленного оказывается залогом историко-куль-

турного долголетия Мандельштама, бесконечным продлением его жизни, и если автор положил на труды о поэте несколько десятилетий собственной жизни, живым идя рядом с погибшим поэтом, он знал, что делал и делает. Это не повседневное культуртрегерство, это созидание культуры в тех наиболее чистых ее формах, о которых его главный герой некогда сказал: *культура это «не что иное, как соотносительное приличие задержанных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических формаций»*. Автор задерживает, читатель пытается понять, а соотносительность приличий определяется качеством совместного труда.

Киев



Михаил Юдсон

БАРОМЕТР ПАРОМА*

Ну, и чего неясного? Течет речка, через речку паром, на пароме барометр... Сроду ведь душе, по шею вмерзшей, не покоя надо, а погоду знать — когда лед встанет, засталинит, а когда по реке сало пойдет (хрущи над вышками гудеть!), оттепелью запахнет...

Младой Чернышевский, как измывался Набоков в «Даре», мечтал приделывать к кругному градуснику карандаш, дабы он двигался согласно изменениям температуры — и получается, что делать, вечный двигатель! Вот Дмитрий Быков и есть сей человек-карандаш, точнее, вечное перо, дар ему такой шандарахнуло свыше — быть неусыпным барометром-самописцем, чутко фиксировать и рифмовать причуды природы да толчки народа (ода нар, баллады дембеля, цветенье зла с добром, союз дедов с салагой).

Другого величия нам не обломится,
Но сладко — взамен паникерства и пьянства —
Смотреть на стеклянную трубку барометра,
Без слов говорящего: ясно. Все ясно.



Эх, речка-жисть, паром-Расея, Быков-барометр!.. Беда, барин, буран, бунт бессмысленно-беспощадный — вся эта, блин, бессменная дурацкая дорожная карта берется на карандаш: «Заборы, станции, шансоны, жалобы./ Тупыми жалами извящий дождь./ Земля, которая сама сбежала бы./ Да деться некуда — повсюду то ж».

Версты, подорожник, камень, шатер, брага... Орда... А вот в теньке и переправа, кромка льда — живем, паром! Книга талантливая от прочих раскрасок отличается тем, что автор утаскивает, уводит, уволакивает в свой мир — и неважно,

идет ли речь о сражениях античных героев или блужданиях скучных чиновников. У меня, незатейливого запойного чигаиника, обычно возникает устойчивый образ текста — чаще почему-то нечто текучее, передвижное, гужевое, едущее: бричка, тачанка, трамвай, печь.

Или, к примеру, паром (ох, впиалась ассоциация, аки волчек в чело!) или там ковчег. Ясно, что с Ноя пророки предсказывали, порой и в стихах — потоп и засуху, не понос, так золотуху. На берегах Коцита сидели мы и плакали над тем, как все устроено бездарно, непрошибаемо шатунно и нескончаемо убого. Но случается на счастье и луч света в чулане, я снова вставлю бойко цигату из Быкова: «Чуть завижу то, что сочту структурою, —/ Отвлечется взгляд/ На зеленый берег, на тучу хмурую/ На Нескучный сад./ Оценить как должно науку чинную/ И красу систем/ Мне мешал зазор меж любой причиною —/ И вот этим всем».

Дмитрий Быков, мнится мне, стихийный стихипи, мягко алчущий тиши, гармонии скитаний и перебора питгических четок, а уж никак не переборов трехрядки и трехэтажных гражданских загибов. Его замечательные «Письма счастья» вроде и заминированы иронией, но по сути несут в клюве благовую весть: «Делай ночь, а не вой». Любовь, а не кровь!

Ясно даже и Ешу (тут не издательство Елены Шубиной), что кроткая проповедь любви к человечеству нынче смешна и не пилаткорректна. Ну и леший с ними, с приличиями — не зря на задах обложки книжки вежливое предупреждение: «Содержит цензурную брань». Коль в мире нашем лишь обценное в цене, только послание к Трехбуквенному эмоционально доходчиво — так и храм с ним! Еще незабвенный В.В. Конецкий радовался, что матерная ругань кратка, хлестка, информативна и не поддается расшифровке противником. О, поле брани! Скажите вслух «Нах-Нах» — и волчий страх уйдет, век-овнодав отвянет. Прав Быков, участвуя в разгоне депрессии: «Пора уходить, отвергая подачи/ Вставая с колен, становясь на карачки/ В потешные строясь полки/ От этой угрюмой, тупой раздолбайки/ Умеющей только затягивать гайки, —/ К тому, кто подтянет колки».

Дмитрий Львович Быков — может, и супротив собственного желания — точный прибор, отслеживающий настроения охлоса и построения хаоса, плюс заодно задорные колебания фонетики-стилистики (градусник под язык!). Как выражались древние — кладезь на всех с прибором.

Ну, по крайности, Быков плоть от плоти той почвы речи — ловец плотвы словес, сплавцец плотов стихов. Ежели по-простому, по-куртуазному: всегда он был веселый, плотоядный — вайнгартентюа! Хотя, бывало, приглядишься, однако — тю, вроде свой в доску, ан доска-то приборная! И ясно видна панорама парама...

А паром, апропо — он, братан, в законе, по планктонным понятиям — часть суши, со всех сторон окруженная суками. На деле, конечно — галера, но вохра давно смылась, охра с плакатов сняла, колочка проржавела, а никто и не заметил, народ так и гребет потихоньку во всю гребенку — на пир победителей, ко второй каше. Паромская отбель! Куды ж нам плыть, тудыть... Дрейфует, собирает, сосредотачивается... Ползет на Ахерон на всех парах, чего ж вотще лежать под паром плоскомирно (вышки и скважины — скрепы опары, опоры квашни), барометр сулит нам крах и швах, и мор и глад, вброд покоренье тонкошеих перешейков — пророк-поэт и сам не рад...

М-да, Быков зело заразителен и сразу вгоняет в жар соблазна подражания, но все это, отцы, вторая свежесть, лажа и пиджин, не бойся, мальчик, как у него не получится — чары чакры не те... Взять хоть полюбившееся, неотрывное — узорная

работа над железом дорог: «Куда он вернется? Сюда, вероятно./ По белому фону разбросаны пятна./ Проехали станцию Чернь./ Деревни, деревья, дровяник, дворяга./ Дорога, двуроги, дерюга, деляга —/ И все непонятно зачем».

Мне, живущему обетованно и пьющему живительно в прожаренной стране размером с ноготок (нам простираться ни к чему), блаженно вспоминаются нескончаемые вижельные пространства, заснеженные березы вдоль путей и сладкий запах креозота. Ах, и дорожные встречи — уж как плацкарта ляжет... А проводницы с их библейской простотой: «Белье брать будете?» Чайные дребезжащие церемонии, немеркнувшие в ноздрях ароматы тамбуров, окающая и акающая звукопись окрест и гортанный, с придыханиями диктанг сверху. «Когда-то и я, уязвимый рассказчик./ Имел над собою незримый образчик/ И слышал небесное «Чу!»./ Чуть слышно звучащее чуждо и чудно./ И я ему вторил, и было мне трудно./ А нынче — пиши не хочу».

В пригчево-метафоричных рифмах Быкова переночевала любовь и зажилась рефлексия. Чуть ли не с чаадаевской горечью автор неустанно отмечает, что он чего-то отличается от первых встречных (поперечностью? непрозрачностью?): «Не то что я лишний./ Не то чтобы злобой личной/ Томился тот, а гайной виной — иной./ Так было логичней./ Так было бы элегичней./ Теперь вообще непонятно, как быть со мной».

Хоровое элитное множество для него закрыто — он чужой по ранжиру и инжиру, весу и вкусу, по манере вкушения уксуса. Массолита достойное стадо, дружно мычащее Мы (тавро пусть не выжжено, так прилеплено), тоже вызывает здоровое отторжение нелогичностью, горячностью и отможенностью: «Меня не надо, и каждый, кто не ослеп./ Видит, как я предаю Лубянку и крепость Брестскую./ Если я ем — я ем ворованный русский хлеб./ Если не ем, то я этим хлебом брезгую».

Многие и многие строчки в книге светлы и печальны, и вычитывается мне о бренности пространства и суете времени, о черепашьей пратчеттовой плоскости и закатной арзамасской полоске, о последней переправе к другим берегам и течениям (Потомак не предлагать, ладно бы Ладору) — далеко-далеко, в бухту Стикси... Постпогостное, бестягостное — отоспаться! И видеть сны, ясные тени... «Все пройдет и уляжется», — сказал бы кладбищенский сторож у Бабея.

А у Быкова стойкая грусть: «Я не стою и этих щедрот —/ Долгой ночи, короткого лета./ Потому что не так и не тот/ И с младенчества чувствую это./ Что начну — обращается вспясть./ Что скажу — понимаю превратно./ Недосмотром иль милостью звать/ То, что я еще жив, — непонятно». Тут, мне кажется, маячит и давнее погусторнее «как проходит косой дождь», это ведь о смерти — проходит косой...

Пред нами таки элегии, стихи «опосля любви». Давно же сказано, что «всякая тварь божья грустна после соития». Да и до этого славно-сладкого занятия большой радости в миру не наблюдается, блаженством не пахнет: «Тиха, как нарисованное пламя./ Себя дает последней угадать/ В тончайшем равновесье благодать./ Но это уж совсем на заднем плане». Гуляй, гуляй, рванина, не мешай пилить гирьки... Ясно, что с ясонов и начнут стричь руно рано или поздно... Присущая заветная печаль в глазах мыслящего — «шлемя скудное, бесправное» — сколько там еще мотать до бирки-кольшка, неужто мерзлота вечная? Недаром время года в книге — зима, а погода — снег. Барометр показывает «бр-р», подмораживает. Дневники ледникового, надвигающегося сугробья: «Жальче всего, конечно, тех, кто не дожид./ Не пережил январскую Кольму./ Так и ушли в сознание, что мир не должен/ Им ничего, а только они ему». Или другая запись: «Нам дается для этой

цели/ Две недели./ В остальное время зима». А вот совсем красиво: «Зима приходит вздохом струнных./ «Всему конец»./ Она приводит белорунных/ Своих овец./ Своих коней, что ждут ударов./ Как наивысшей похвалы./ Своих волков, своих удавов./ И все они белы, белы».

Да уж, лишь бы серые не пришли! Дмитрий Быков, в общем-то, если и не оптимистичен, так экклезиастичен, будущее не грозит запором и непроходимостью: «Не люблю, если кто-то смущает умы обещаньем неожиданных щедрот, — а люблю переломную точку зимы под названием солнцеворот... Я люблю эту высшую точку зимы, эту краткость убогого дня — но ведь живы же мы, выживаем же мы всей Отчизной, включая меня!»

Немало еще можно слов сложить о книге «Ясно», но смысл читателю разумному понятен: хорошо! И страницы, кстати, нумерованы отлично, без арифметических излишеств — одна цифирь на разворот, другую сам небось сообразишь, пошевелив извилинай — вот и труды ума, давно бы так!

Завершает книгу пьеса в стихах, фривольная «Школа жен», Мольер в привольном пересказе Быкова — битый молью постмодернизм отдыхает! Там, помните, главгерой — господин де ла Суш, что значит «пень», такие дела. Ясен пень, что вышло смешно, сегодняшне, а писано по заказу театра-студии Олега Табакова. Если будут выступать, я пойду смотреть. А всем напослед советую — читайте Быкова, получайте письменное счастье.

Примечание

* Дмитрий Быков. Ясно. Новые стихи и письма счастья. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 284 с. ISBN 978-5-17-087962-5

Стихи из этой книги читайте в этом же номере.



Алексей Каздым
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
(ПОЧТИ ПО ТУРГЕНЕВУ)...
ФРАНЦИЯ, ЭЛЬЗАС

Те российские туристы, что бывали во Франции, обычно редко попадают в края отдалённые, типа Нормандии, Бретани, Лотарингии, ограничивая себя, вольно или невольно, Парижем и окрестностями — Версалем, Фонтенбло, Диснейлендом и Сен-Жермен-дю-Буа... Реже попадая на экскурсию «замки Луары», и ещё реже — на «винный путь».

А винный путь начинается именно в Эльзасе...

А вот мне посчастливилось прожить месяц в эльзасской деревне (выезжая и в Страсбург и иные города Эльзаса, и даже в Германию — благо рядом)...

Итак, городок **Оердт** (Hoerdt), почти деревня... Республика Франция, Эльзас, департамент Нижний Рейн (Bas-Rhin)... Примерно 15 км от Страсбурга... Надо сказать, что во Франции, деревня — это виллаж (village), не более 2000 жителей, а вот больше — это уже город (ville).

Городок Оердт насчитывает примерно 4.5 тысячи жителей...



Рис. 1. Оердт

И было в нем: ресторанов — 5 или 6, пиццерия итальянская, забегаловка-ресторан турецкая, магазин-кулинария китайский, магазинный винный, пивные (бассерии, la brasserie) — 3 штуки, магазинчик ювелирный и магазинчик писчебумажный, почта, библиотека, мэрия, три отделения банков, церковь протестантская и церковь католическая, три буланжерии (булочных, boulangerie), причём одна из них работала с 5.45 утра! (!!), мясная лавка (бушери, boucherie), которой более 150

лет (!), табачная лавка, кабинеты врачей, аптека, ветеринарная клиника, спортивный комплекс, пара каких-то общественных организаций и даже ...дом престарелых...

Из продуктовых магазинов, точнее овощных, был фермерский магазин «Dollinger», где продавали массу всяких овощей и фруктов, а также сыр, колбасу, нарезку, соки, вино, пиво, молоко, сливки и прочее, и ещё овощной магазинчик, где продавали только овощи, и где было 8 сортов помидоров — помидоры красные, зеленые, желтые, коричневые, полосатые и т.д. И все это свежайшее, только что с грядки! А в «Dollinger» можно было позвонить и тебе к вечеру оставляли в их фирменной сумке заказ. А расплачиваться можно было и карточкой и налом... Кстати, банковская карта Сбербанка проходила почти всегда... Только очень долго...

Ещё торговали и местные жители, продавая тыкву, яблоки, помидоры, морковку и прочее. Особенно интересна была лавочка мадам Штольц. Этой уважаемой мадам было более 90 лет, и она торговала разной овощной мелочевкой у себя во дворе. Я понял, что фамилия Штольц весьма распространена в этом городке...



Рис.2. Оердт.

Был и магазинчик, прямо в доме, где продавали мороженое... Причем сами его и делали...

Надо отметить, что несколько пивных были закрыты, причем пивные которым под 150 лет! Хозяева либо умерли, либо уже старые, им тяжело, а молодежь, я так понимаю, традиционным бизнесом заниматься не хочет.хлопотно это, да и весь день на ногах... Хотя например в пивных и ресторанах были определенные часы работы. Чаще всего они работали с утра, точнее часов с 11, часов до двух дня, а потом часов с семи вечера до 10 вечера... В 10 часов вечера городок просто вымирал... Тишина и покой, мало кто вообще пройдет по улице... И можно было без часов проверять время! В 6 утра выезжали на работу в поле, шум тракторов и машин, в 8 утра вели детей в школу и уезжали на работу, к 10 шли за покупками...

Да и звон колоколов! Каждые 15 минут часы на колокольне протестантской церкви отбивали время!

А в 6 утра и в 10 вечера они звонили очень долго! Оказывается, этот обычай соблюдается в Эльзасе ещё со Средних Веков! В 10 вечера все евреи должны были покинуть город с последним ударом колокола, а в 6 утра — могли войти в город!

Раз в неделю, по средам, привозили жареных кур! Причём надо было, оказывается, заранее звонить и записываться! Но нам оставалось, только приходилось ждать. Кстати, такая же ситуация и с пищей — можно было позвонить или прийти, и к определенному часу заказать себе любую пищу! Приезжаешь — всё готово —

с пылу-с жару! Или жди, пей пиво! Там же продавалось и итальянское красное игристое вино...

Было в Оердте и два отеля... Отель «Landhome V&V» на пять номеров и «Hôtel Restaurant Au Cygne» с рестораном...

Школа простая, школа музыкальная и колледж...

До станции с электричками от центра — примерно пара километров, а вот пригородный автобус ходил редко, примерно раз в два часа, в субботу ещё реже. А в воскресенье и вообще не ходил... Окраина... Деревня... И ещё рядом с Оердтом — индустриальная зона (все вынесено за черту города!) со складами, офисами и прочее...

Очистные сооружения... Сельскохозяйственный кооператив... Ипподром.... И вокруг поля и огороды...



Рис.3. Оердт. Поля...



Рис.4. Оердт. Кругом — цветы

Городок утопал в цветах, они были везде — на фонарных столбах, на окнах, во дворах, на улице... Аромат цветов, особенно утром вечером, был необыкновенный...



Рис.5. Оердт. Поля и огороды...

Сколько лет этому городку, сказать сложно... Но некоторым домам лет по 200-300, точно... Часть домов, точнее большинство, построены в стиле «фахверк» (по-немецки «Fachwerk» — «каркас», «каркасная конструкция»), когда несущей

основой служит секция из наклонных под различным углом балок. Эти балки видны с наружной стороны дома и придают зданию весьма характерный вид, а пространство между балками заполняется глиной, саманом, утрамбованной землей, кирпичом, иногда и деревом. Стиль «фахверк» появился в XV веке в Германии и стал очень популярным в Европе, особенно в северной части (от Британии до Польши). Эти дома, как и русские избы, легко разбираются и перевозятся с места на место...



Рис.6. Оердт. Фахверковый дом

Дома в городке сохраняются в первозданном виде, или хотя бы внешне в том виде, как они были построены, и это особая гордость жителей. Проводятся конкурсы на самый лучший старый дом, на самый «цветистый участок» и прочее... Кстати, несколько домов продавались... Думаю, дорого...

Оердт — городок сельскохозяйственный... Поля, поля, поля, огороды и парники... Некоторые огороды прямо около домов... Тыква, помидоры, капуста... Чего только нет! А для сушки сена и кукурузы есть во дворах огромные двухэтажные, открытые с одной стороны амбары, или сараи... Темные от времени доски... Сейчас они мало у кого используются, но их не сносят... Местный колорит и традиции...

Держат местные жители и лошадей, ибо рядом ипподром, где проводятся скачки... Есть рядом и гольф-клуб... В общем городок зажиточный... И если бы не некоторые проблемы с сообщением со Страсбургом (впрочем, надо просто иметь машину!), то жить бы там и жить!

На окраине Оердта есть как бы «новый район», там домики современные, огородов среди них нет, только цветы да японские садики.

В воскресенье городок «вымирает»... Не работает ни один магазин, автобус не ходит, электричка до Страсбура — раз в два часа...

Мы занимали трехкомнатные «апартаменты», с кухней, в мансарде... Из окна были видны горы Шварцвальд, это уже Германия, до которой рукой подать, километров семь и Рейн, а по нему как раз проходит граница между Францией и Германией...

Кстати, что интересно, если ехать на автобусе из Франкфурта-на-Майне, куда мы прилетали, до Страсбура (автобус, этот, кстати, считается авиарейсом), и это хороший и самый дешевый способ попасть в Страсбург авиакомпанией «Lufthansa», то подобие границы есть — кордон, будки, да и полиция видна... А если ехать из Страсбура на 21 автобусе в Кель, Кель-на-Рейне (Kehl am Rhein), куда все

ездят за продуктами и шмотками, ибо там все в 2 раза дешевле, особенно сигареты (пачка сигарет во Франции — почти 10 евро, а в Келе — 4!!!), то переезжаешь мост через Рейн, граница и... Ничего!!!! «Мост Европы» называется... Только меняются вывески с французского на немецкий... Обычный автобус, рейсовый, № 21, ходит каждые 15 минут... Через пару лет собираются пустить трамвай...

Кстати, о трамваях в Страсбурге... Я отвлекусь немного... Четыре линии А, В, С, D.... Трамваи длинные, с огромными окнами, вмещают до 300 человек... Тихие и быстроходные, связывают Страсбург с пригородами. От Онейма, пригорода, где живет моя дочка, до площади Республики, а это фактически центр города — 15 минут... Пересадочный узел всех трамваев — l'Homme de Fer... Но о Страсбурге позже.

Итак, эльзасская деревня... Названия улиц написаны и на французском, и на эльзасском языках... А названия улиц?! Вокзальная, Маленькая, Большая, Церковная, Улица Черной Лошади... Главная улица — улица Республики!

Эльзасский язык в ходу, и на нём даже говорят... Но я опять немного отвлекусь, чтобы рассказать об Эльзасе.

Эльзас (фр. *«Alsace»*, «эльзас», нем. *«Elsass»* или *«Elsaß»*), это регион на северо-востоке Франции, граничащий с Германией и Швейцарией. Административным центром Эльзаса является Страсбург, второй по величине город Эльзаса — Милуз (префектура Верхнего Рейна), а третий — Кольмар (префектура Верхнего Рейна).

Эльзас является исторической областью Франции, включавшей некогда в свой состав и «Территорию Бельфор».

Эльзас самый маленький административный регион среди европейских континентальных владений Франции и занимает территорию площадью всего 8280 км² (190 км в длину и 50 км в ширину, что составляет всего-то ... 1.5 % площади Франции). Отметим, что остров Корсика имеет примерно такую же площадь. Делится Эльзас на департаменты Нижний Рейн (Bas-Rhin), Верхний Рейн (Haut-Rhin), и территорию Бельфор (Territoire de Belfort).

Название Эльзас происходит, вероятно, от галло-римского слова «Alisauia» или «Alisetum», что означает «утес» или «отвесная скала». То есть — «страна у подножья отвесных скал». Название, как считают историки, пошло от галлов, шедших из Германии на юг, и пораженных отвесными скалами Вогезов.

Существует и немецкая версия происхождения слова «Эльзас». Считается, что оно произошло от древневерхнемецкого «alisaf», соединения двух слов «ali» («чужой») и «saf» («место обитания»). Вероятно франки, которые поселились в Эльзасе среди местного alemанского населения, рассматривались соплеменниками как «ушедшие жить на чужбину».

Ещё одна версия происхождения названия «Эльзас» связана с именем крупнейшей водной артерии внутри региона — рекой Иль («Ilb»), откуда упрощенное «Elsaß», буквально — «страна (долина) Иля».

Простирается Эльзас с юга на север вдоль левого берега Рейна, с севера он ограничен рекой Вислаутер (Wieslauter) и немецкой землей Рейнланд-Пфальц, с востока — Рейном, на правом берегу которого земля Баден-Вюртемберг. На юге регион граничит со Швейцарией, на юго-западе — с французским регионом Франш-Конте, а на западе — с Лотарингией.

На востоке находится Эльзасская равнина («la plaine d'Alsace») длиной около 200 км и шириной — около 40 км. Вместе с немецким регионом Баденом она формирует Рейнскую впадину.

По равнине протекает река Иль (Ill), здесь выращиваются зерновые культуры и виноград. Довольно значительное место в этой части региона пока ещё занимают леса, например лес Агенау (Haguenaou) на севере и лес Ар (Hardt) на юге.

Между Рейном и Иллем находится Рьед («Ried», от немецкого слова «камыш»), заболоченная и влажная местность. Сегодня здесь заповедные зоны, кормятся аисты, которых в Эльзасе великое множество — около 400 гнезд! Ну, и естественно, символ Эльзаса — это аист! Он изображен везде — на домах, на вывесках, на полотенцах....

На западе Эльзаса горы Вогезы («les Vosges», «le massif vosgien»), прорезанные широкими долинами притоков реки Иль. Здесь — горные пастбища, чередующиеся с лесами.



Рис. 7. Горы Вогезы



Рис. 8. Горы Вогезы



Рис. 9. Вид на Эльзас из Аббатства Св. Одили
(740 м над уровнем моря)

Самая высокая точка в Эльзасе — вершина Гран-Бальон (1424 м), на юге Вогезов, в департаменте Верхний Рейн. Между горами и равнинами — холмы Вогезского массива, с виноградниками.

На юге от Мюлуза лежит холмистый район Сунго («Зундгау», «Sundgau»), а на крайнем юге региона возвышаются горы Эльзасской Юры («Jura alsacien»).

Климат Эльзаса — полуконтинентальный, ветра с запада, несущие влажные воздушные массы с Атлантики, преодолевая Вогезы, вызывают дожди на их западных склонах, и Эльзас подвергается так называемому «эффекту фёновых ветров», т.е. теплых ветров с гор.

Зимы в Эльзасе холодные и сухие, а лето — теплое, и даже жаркое (до 35 градусов!) с небольшим количеством осадков. Могут проноситься грозы, как летом, так и осенью... Ещё в сентябре очень тепло — до 22 градусов, да и в октябре температура может достигать 15-18 градусов тепла, хотя ночи становятся холоднее... Часты туманы...

А вот город Кольмар имеет свой уникальный микроклимат — солнечный и сухой, этот город является вторым самым сухим городом во Франции (после Перпиньяна) — в год выпадает всего 550 мм осадков. А высокий горизонт грунтовых вод позволяет избежать последствий долгих засух. Такой климат идеален для выращивания винограда Эльзаса.

По геологическому строению Эльзас является частью Рейнской равнины, расположенной к западу от Рейна (на его левом берегу), и находится во впадине, которая является частью крупнейшего в Западной Европе Рейнского рифта, появившегося во времена олигоцена. По бокам рифта горы — Вогезы и Шварцвальд («Forêt Noire»).

Массив Эльзасская Юра пересекают юг Эльзаса на территории Бельфора и сформировался вследствие огромного оползня мезозойских покрывающих пород на триасовые отложения, вследствие поднятия Альп.

Рейнская впадина появилась в третичный период, а территория региона не раз подвергалась нашествию моря, что и сформировало различные осадочные породы: мергель, известняк, мрамор. К четвертичному периоду относятся золотые пески.

Вогезы круто обрываются к долине Рейна, а с другой же стороны понижаются к Лотарингскому плоскогорью, пересеченному многочисленными цепями холмов.

Вогезы состоят из гранита, гнейса, пестрого и красноцветного триасового песчаника, порфиоров, известняка.

Вогецкий хребет делится на две части — более высокую южную и северную. Средняя высота южных Вогезов — 950 м. Недалеко от начала цепи, на север от Бельфорского прохода, возвышается гора Беренкопф (1005 м).

На севере Вогезы состоят из красноцветного песчаника, а на юге — из гранита, это герциниды, которые «вышли» на поверхность во время боковых поднятий времен рейнского рифтогенеза. Рифтовая зона делает регион зоной слабой сейсмической активности.

На севере, в Пешельбронне, около Ньедеброна, разрабатываются месторождения нефти, которые были открыты в 1740 году (одни из первых месторождений в мире!). Кроме того, в регионе есть и залежи поташа (олигоцен), около Мюлуза. Серебряные рудники разрабатываются с начала XX века около Сент-Мари-о-Мин (*Sainte-Marie-aux-Mines*).

Как следствие рифтогенеза, в районе развиты геотермальные источники около Суль-су-Форе (*Soultz-sous-Forêts*). На геотермальных водах Вогезов построены многочисленные курорты, как и в Баден-Бадене.

Немного об истории Эльзаса... В раннем средневековье на территории Эльзаса находились резиденции Меровингов, потом личные владения Гогенштауфенов с центром в Огенау, а в позднем средневековье — Габсбургов. Затем эти земли отошли к французским королям (до 1789 года).

Эльзас, как и большинство южных территорий Священной Римской империи, в Средние века был разбит на множество «лоскутных» владений, кроме императорских угодий. Относительно большими размерами выделялись лишь светские территории Страсбургского епископа и «свободного города» Страсбурга.

Со времен Гогенштауфенов часть территорий Эльзаса входило в состав имперского домена, было множество ленных владений, а территория изначально была разделена на два района (Верхний и Нижний Эльзас) во главе с имперскими администраторами — фогтами.

Большинство владений даже после постепенного вхождения (1648-1697) Эльзаса в состав Франции, сохраняло свои автономные права и язык.

После Великой Французской революции была проведена полная секуляризация, провозглашен единый государственный язык (французский), отменены привилегии владетелей и городов.

На территории Эльзаса было создано два департамента, границы которых, впрочем, почти точно совпадали с прежними имперскими фогтствами. Но и революция окончательно не изгладила сложившиеся в средневековье взаимоотношения. Так, в состав коммуны Агенау (галлизированное имя «Агено») всё ещё входит крупный лесной массив, пожалованный общине поселенцев наряду с правами города и прочими привилегиями императором Фридрихом Барбароссой в начале XIII века.

«Насаждение французских порядков» на территории с преимущественно этнически-немецким населением до сих пор приводит к курьезным ситуациям, к числу которых противники «французских порядков» причисляют, в частности, топонимические названия, сохраняющие немецкое написание, но читаемые частично по фонетическим правилам французского языка.

Культурное наследие Средневековья, имеющее преимущественно немецкие истоки, до сих пор определяет менталитет эльзасцев.

Вот такая география, геология и краткая история Эльзаса.

Немного об эльзасском языке... Хотя «исконным» языком Эльзаса является немецкий, в настоящее время, в начале XXI века, наиболее употребительным языком в Эльзасе является французский, на нём говорит большинство населения. Но почти все свободно говорят и на немецком, а среди пожилых людей традиционно сохраняется и эльзасский язык, который относится к группе алеманнских диалектов верхнегерманского языка, близкородственного швейцарскому варианту немецкого языка. Некоторые франкские диалекты западного средненемецкого языка до сих пор употребляются на севере Эльзаса.

И хотя ни эльзасский язык, ни франкские диалекты не обладают каким-либо официальным статусом, тем не менее, они признаются языками Франции и могут выбираться для изучения как предметы в лицах.

Эльзас обычно называют «двуязычной территорией» (французский и эльзасский языки), но, тем не менее, в настоящее время ситуация изменяется в сторону «одноязычия». Люди старше 70 лет до сих пор говорят по-эльзасски дома, но молодое поколение общается по-французски даже в семейном кругу, а те, кому меньше 30 лет, как правило, вообще не понимают по-эльзасски.

В некоторых коммунах, соседствующих с территорией Бельфор и франко-швейцарскими землями, в долинах Вайсса (Орби) и Льеппрет (Сент-Мари-о-Мин) Вогезского массива говорят на лотарингском «лангдойле».

В Alsace Bossue и в округе Виссембурга говорят в основном на рейнском и южном франкских диалектах, переживающие период упадка. Часть населения до сих пор пользуется местным наречием — алеманским диалектом немецкого языка, который долгое время был родным языком большинства жителей Эльзаса.

С 1871 по 1918 года и с 1940 по 1944 года официальным языком признавался литературный немецкий («Hochdeutsch», «Standarddeutsch», письменный язык региона с XVI века). Пожилые люди говорили мне, что в период «онемечивания» французский язык был просто запрещен, а некоторые из них до сих пор лучше владеют немецким, чем французским... Годы немецкой оккупации дают о себе знать...

Итак, продолжим...

В городке **Оердт** мы жили в старом доме, ему может лет сто, а то более, в мансарде, три комнаты и кухня, с видом на горы Шварцвальд... Погода обычно было отличная, дом держал тепло, но сыровато... А при похолодании было и холодновато! Вообще, климат непривычный, влажный... Но очень полезный... Дышится после Москвы очень легко... Бывают с утра и сильные туманы, но к 11-12 часам они обычно рассеиваются. Может и неожиданно налететь ливень...

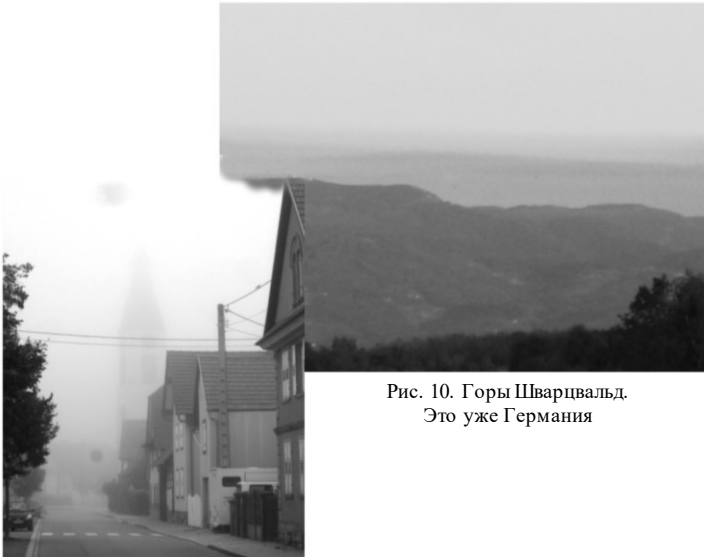


Рис. 10. Горы Шварцвальд.
Это уже Германия

Рис. 11. Туман...

Напротив дома, где мы жили, был дом, где держали лошадей, прямо за домом был выезд, а по двору гордо ходили два козла! Фактически окраина городка, ибо дальше за домами — огороды и поля.

Кошки по Оредту гуляют сами по себе, а вот собак водят на поводках, и есть специальные ящики для сбора «собачьих неожиданностей»... Хотя я ни разу не ви-

дел, чтобы кто-то что-то собирал... На окраине, близ полей есть специально означенное место для выгула собак, дорога идёт меж полей, где ты можешь выпустить своего питомца гулять... Но в большинстве случаев собаки сидят во дворах, ибо дворы чаще всего огромные, есть, где побегать...

Гулять по окрестностям Оердта — одно удовольствие! Цветы, поля кукурузы, поют птицы, вдалеке сияют горы Шварцвальд... Дорогу перебегают фазаны и зайцы, и везде — аромат цветов...

Сам городок Оердт необыкновенно красив и интересен, на его гербе пучок спаржи — это символ города. Спаржу собирают весной и даже устраивают «праздник спаржи»!

Интересны и рестораны... В ресторане «У Ягненка» собирались в обед, да и с утра (пропустить бокал пива) в основном, так сказать, «работяги»... В обед они приезжали в рабочей одежде, заляпанной краской и цементом, мыли руки (обязательно!), долго и со вкусом обедали, потом пили кофе, курили...

А на ужин в рестораны ходят уже семьями, с детьми, долго сидят, пьют вино или пиво, беседуют, и спокойно ждут заказанных кушаний, часто подолгу, ибо их не разогревают, а именно готовят, с пылу-с жару. Ресторан «Голубятня» в старом доме, старинные люстры, старые фотографии на стенах... Тихо, полумрак, умопомрачительные запахи с кухни... Национальное эльзасское блюдо — «таргфламбе», типа пиццы или лепешки на тонком тесте с разными сортами сыра, грибами и т.д., приготовленное только в печи, на углях!

Ну а про сыр можно и не говорить — его во Франции около 300 сортов!

Две пивные в Оердте расположены весьма интересно — обе около железнодорожной станции, из поезда вышел — и сразу пивка попить... Или кофе... А ещё одна пивная, скорее, больше небольшой ресторанчик — на окраине города.

Между прочим во Франции, как и в Германии, очень много курят... Это в России твердят о вреде курения и прочее... А там — всем плевать, что говорит правительство о вреде табака, и что рисуют на пачках с сигаретами (которые правда, продаются только в специальных табачных лавках или отделах!). Курит много и молодежь, и тем более старики... Докуривают до фильтра! Интересно, что из-за дороговизны сигарет (пачка сигарет во Франции стоит в среднем 10 евро!) многие предпочитают курить самокрутки! Табак для сигарет — дешевле!

Агенау, Агно, Агено (фр. *Haguenau*, эльзас. *Hawenau*), **Хагенау** (нем. *Hagenau*), находится в 28 км к северу от Страсбурга. Население — около 36 тысяч человек.

15 минут на комфортабельной электричке от Оердта. Город Агенау очень старый и овеян историей...

Возле города известны находки эпохи мезолита и неолита (к югу и юго-западу от Haguenau), особенно интересны находки каменных топоров.

Haguenau возник в начале 12-го века, из охотничьего домика герцогов Швабии, на острове реки Moder.

В 1154 немецкий император Фридрих I Барбаросса на месте домика охоты построил укрепленный поселок и дал ему права города, причем имперского города, и основал императорский дворец, который и стал его любимой резиденцией. Во дворце хранились «драгоценности короны Священной Римской империи» — императорская корона, скипетр, держава и меч Карла Великого.

Ричард Корнуолл, Король римлян, добрался до имперского города в 1257 году, а при Рудольфе I Габсбурге, Хагуенау стал резиденцией пристава Агно, немецкого имперского адвоката в Нижнем Эльзасе.

В XIV веке здесь находился Совет «оборонительной и наступательной ассоциации немецких городов в Эльзасе против французской агрессии». При заключении Вестфальского договора в 1648 года, Эльзас отошёл к Франции, сильно пострадал в войнах XVII-го столетия. Сохранилось всего двое ворот XIII-го века: Визембургские и Рыбацкие, а также церковь Сен-Жорж (XII век) и готическая церковь Сен-Николя (XIV век).



Рис. 12. Агенау, Рыбацкая башня, XIII век

В 1673 году король Людовик XIV снёс укрепления и остатки царского дворца, дабы «искоренить немецкие традиции».

Визембургские ворота построены в XIV веке и реконструированы в XVI веке, крепостная стена построена примерно в 1300 году. В XIX веке Визембургские ворота были частично реконструированы для облегчения движения транспорта.

В 1675 году Хагуенау был занят немцами, но спустя два года опять перешёл к французам, был разграблен и почти полностью разрушен.

В 1871 году Хагуенау, после франко-прусской войны, вошел в состав Германской империи.

После Первой мировой войны город был в составе Республики Эльзас-Лотарингии, но в 1919 году вновь вошёл в состав Франции.

Во время Второй мировой войны, в 1940 году, германские войска заняли город и удерживали его до 1945 года. Агенау освободили американские войска и город, наконец, вновь вернулся в «лоно» Французской республики.

Мэрия Хагуенау, Hotel De Ville, была построена в 1908 году в стиле нео-барокко.

Исторический музей Хагенау расположен в здании, выполненном в стиле неоренессанса, построенном в 1900-1905 годах.



Рис. 13. Агенау. Исторический музей

При входе в музей — витражи эльзасского художника Léo Schnug — встреча Ричарда Львиное Сердце и императора Генриха VI, которая произошла в 1193 году в Хагенау.

В музее — многочисленные коллекции, связанные с историей города и его окрестностями: более 750 находок бронзового и железного веков, Римский период представлен легионерским шлемом, доспехами, статуями божеств, домашним имуществом.

Средневековые времена Мервингов представлено украшениями и монетами. В Хагенау тогда было много церквей и монастырей, поэтому сохранилась скульптура, ювелирные украшения, голова Иоанна из полихромного дерева.

Мебель, картины, керамические произведения и фаянс, произведенный на заводе Happong датируются XVIII веком.

Первые коллекции города Хагенау были собраны в середине XIX века — нумизматические и археологические коллекции, декоративно-прикладное и традиционное народное искусство. В 1900 году Ксавье Нессель, мэр Хагенау с 1871 года, антиквар и археолог, предложил отдать все свои коллекции городу при условии, что город построит музей, в котором также будет размещен архив и библиотека.

Церковь романской постройки Hohenstaufen, построена в XIII веке, но от неё остался лишь нижний вестибюль и несколько колоколен, на колокольной башне.



Рис. 14. Агенау. Церковь Св. Георгия

После пожара 1298 года, во время войны со Страсбургом, сгорели городские окраины и церковь сильно пострадала. После этого была произведена реконструкция алтаря, подъем готического хора, и возведение конструкции из 7 пролетов. По историческим данным, продление нефа из 4 других пролетов датируется 1424 годом, своды были закончены в 1448 году. К 1500 году был добавлен вестибюль, предшествующий главному входу.

На колокольне — 5 колоколов. В 1785 году была построена небольшая часовня в южной части, а в 1786 году — часовня, посвященная St Sépulcre, при входе в церковь, под которой находится склеп монаха. Всего в храме размещены 4 часовни, посвященные St. Augustin, St. Ambroise, St. Jérôme и St. Grégoire le Grand.

Городской рынок Hops Hall в городе Хагенау располагается на месте, где в XIV веке находилась бочарная печь, а в XVIII веке — гостиница королевского пристава Barth.

Hops Hall имеет также и другое название — Halle Au Houblon. В 1867 году муниципальные власти решили построить специфическую конструкцию зала в соответствии с проектом архитектора Guntza. В дальнейшем рынок был увеличен уже во времена немецкого владычества, в 1881 и 1908 годах.

В 1881 году Hops Hall был продлен, а в 1908 году появился второй зал на северной стороне. Оба здания были переделаны в конце двадцатого века.

Таким образом, сейчас Halle Au Houblon состоит из нескольких залов, в том числе из «закусочного зала» (правое крыло) и «обслуживающего зала» (первый этаж, левое крыло). Сейчас там устраивают коллекции произведений искусства.

Театр Haguenau расположен в центре города возле мэрии напротив главной почты, на улице Маршала Фоша, он был построен в 1847 году в «итальянском стиле» и был реконструирован в 2005 году. Его вместимость 420 мест.



Рис. 15. Агенау. Театр

Оберне (фр. *Obernai*), **Оберенхайм** (нем. *Oberehnheim*), расположен в 24 км к юго-востоку от Страсбурга. Население — около 11 тысяч человек.

Этот небольшой городок находится на северном конце Винной дороги и в нём сохранился дух настоящего Эльзаса: жители и сегодня здесь разговаривают на эльзасском языке, женщины одевают в праздники национальные эльзасские костюмы, а в неоготической церкви Св. Петра и Павла проходят службы, которые регулярно посещаются местными жителями.

В городе великолепно сохранилась Рыночная площадь с остроконечным зданием Хлебного рынка XVI века, в котором ранее размещалась мясная лавка. Головы коров и драконов, и сегодня украшающие фасад здания, сохранились именно с того времени.



Рис. 16. Оберне, дома на рыночной площади

Рядом находится площадь де ля Шапель, на которой стоит «Капельтурм» («Дозорная башня») — бывшая колокольня в готическом стиле, Городская Ратуша, а также фонтан, выполненный в стиле ренессанса.

В стиле ренессанса выполнены и некоторые деревянные дома эпохи Средневековья. Рыночная улица заканчивается в чудесном парке, расположенном у крепостного вала.

Покровительница Эльзаса VII века, Св. Одиль, родилась именно в Оберне, и похоронена в аббатстве Св. Одили на западном склоне Горы Св. Одили.



Рис. 17. Аббатство Св. Одили

И теперь немного, общие сведения о самом Страсбурге, столице Эльзаса и «столицы Европы».

Страсбург, Страсбур (эльз. *Strossburi*, фр. *Strasbourg*), **Штрассбург** (нем. *Straßburg*), **Аргенторат** (лат. *Argentoratum*) — город во Франции, историческая столица Эльзаса и префектура департамента Нижний Рейн. Расположен на реке Иль, близ левого (западного) берега реки Рейн, по которой проходит граница Франции и Германии, напротив немецкого города Кель. Население — около 300 тысяч человек.

Страсбург — один из ключевых центров экономики северо-востока Франции, где развивается финансовая и банковская деятельность, появляются инновации в области медицины и инженерии (в частности, создание автомобиля будущих поколений).

Немецкое название города «**Штрассбург**» (*Straßburg*) означает «крепость у дороги». Первые упоминания о Страсбурге относятся к I веку, когда под названием **Аргенторат** он стал одним из пограничных городов Римской империи.

Аргенторат, по одной из версий, происходит от имени богини денег, которой поклонялись кельты, по другой версии, корень топонима «Аргенто» означает русло реки, ручей. Вторая частица названия «рат» означает военное укрепление, крепость. Это название вполне соответствует историческому положению города на северных рубежах Римской империи.

Впоследствии в период феодальной раздробленности, город, благодаря наличию моста, оказался узлом дорожной сети на оси восток-запад, соединяющей германские микространства, потеряв важное стратегическое положение на оси север-юг, проходящей по Рейну.

Начиная с VI века город стал носить современное название, происходящее от двух немецких слов «дорога» и «крепость».

Краткая хронология

Первые исторические свидетельства о поселении людей в окрестностях Страсбурга относятся к 600 г. до нашей эры, а во время археологических раскопок было найдено много предметов времен неолита, бронзового и железного веков.

К концу третьего века до н. э. возникает поселение кельтов под названием Аргенторат, в котором был рынок и место для религиозных обрядов.

В 357 году в окрестностях города произошла битва при Аргенторате, в которой император Юлиан Отступник разбил войско германских алеманов.

С 406 года аллеманы окончательно заселяют Эльзас.

В 451 году город был разрушен гуннами Аттилы.

В 496 году в битве при Толбиаке после первой победы германских франков над алеманнами Аргенторат-Страсбург впервые попадает в сферу влияния королевства германских франков.

После третьей битвы франков Хлодвига I с алеманнами при Страсбурге в 506 году Алеманская держава потерпела поражение и в 506-531 годах её территория была присоединена к Франкскому королевству в качестве племенного герцогства аллеманов.

К IV веку относятся первые достоверные сведения о существовании в Страсбурге епископской кафедры. Один из епископов, святой Арбогаст Страсбургский, живший в VII веке, считается покровителем города.

В 842 году внуки Карла Великого — Людовик II Немецкий и Карл II Лысый — обмениваются знаменитыми Страсбургскими грамотами (это были первые письменные свидетельства существования романского и древневерхнемецкого языков), разделив таким образом между собой королевство Каролингов.

В 870 году согласно Мерсенскому договору Людовик II Немецкий получает Эльзас, который теперь входит в состав Священной Римской империи германской нации как западная часть герцогства Швабия (Аллемания).

В 974 году городские власти во главе с епископом, управляющим городом, получают право чеканить свою монету.

В 1176 году началось строительство кафедрального собора.

С 1201 года Страсбург пользуется своей печатью с изображением Богоматери с распростёртыми руками.

В 1262 году, разбив в Гаусбергенском сражении войска епископа, власть берут в свои руки ремесленники. Воспользовавшись раздором между дворянскими семьями Цорн и Мюлленгейм, они создают в 1332 году городской совет и избирают из своего сообщества главу — «аммейстера».

В 1434-1444 годах в Страсбурге живёт и работает изобретатель европейского книгопечатания Иоганн Гутенберг.

В 1439 году завершаются строительные работы по возведению шпиля кафедрального собора.

В 1482 году в Конституцию Страсбурга были внесены последние изменения, которые сохранились в неизменном виде вплоть до Великой французской революции.

1518 год — начало Реформации после опубликования идей Мартина Лютера. В 1529 году Собрание эшевенов проголосовало за Реформацию. Распоряжением Карла V в кафедральном соборе восстановлено католическое богослужение сроком на 10 лет с 1549 по 1559 годы. В 1604 году подписан Агенауский договор,

и, таким образом, война епископов окончилась победой представляющего католиков Карла Лотарингского.

В 1621 году протестантская гимназия, основанная Иоганном Штурмом в 1538 году, получает статус университета.

В 1681 году армия короля Франции Людовика XIV осаждает Страсбург и принуждает город признать власть короля. По условиям соглашения горожане принесли присягу верности Людовику, но сохранили ряд своих прав и привилегий. С этого времени город отходит к Франции, что было закреплено Рисвикским миром 1697 года.

В 1721 году Шарль-Франсуа Аннонг открывает Страсбургскую фаянсовую мануфактуру. 21 июля 1789 года после объявления о взятии Бастилии была разграблена городская ратуша. В 1790 году мэром Страсбурга становится Де Дитриш. 26 апреля 1792 года на площади Броль впервые исполняется Марсельеза.

В 1870 году после осады Страсбург капитулировал перед Пруссией. В 1871 году город становится столицей имперской земли Эльзас-Лотарингия. После отречения Вильгельма II с 10 ноября по 22 ноября 1918 года — дня прихода французских войск под командованием генерала Гуро, власть в Страсбурге находилась в руках совета рабочих и солдат (т.н. Эльзасская Советская Республика).

В 1939 году проведена эвакуация населения Страсбурга на юго-запад Франции в связи с возможным началом войны. 18 июня 1940 года немецкие войска занимают Страсбург. Эльзас аннексируется. Беженцы возвращаются.

23 ноября 1944 года Страсбург был освобождён войсками генерала Леклерка.

В 1949 году город был избран местом пребывания Совета Европы.

В 1979 году в Страсбурге проходит первая сессия Европейского парламента под председательством Луизы Вайс, а также выборы в Европарламент путём всеобщего голосования.

В 1992 году на Эдинбургской встрече в верхах принято решение о размещении резиденции Европейского парламента в Страсбурге, вследствие чего началось строительство нового здания с залом заседаний, законченного в 1998 году.

В 2006-2007 годах в рамках присоединения к сети линий TGV была масштабная реконструкция железнодорожного вокзала Страсбурга и строительство стеклянного купола над зданием XIX века

Страсбург находится на расстоянии 2-3 часов пути от таких городов, как Штутгарт, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, 5-6 часов пути от Брюсселя, Парижа и Тулузы (с введением скоростных поездов TGV-Est время поездки из Страсбурга по железной дороге сократилось почти вдвое: до Парижа — 2 часа, до Штутгарта и Люксембурга — 1.5 часа).

Страсбург находится на высоте 140 м над уровнем моря. Рельеф равнинный, перепады высот в черте города весьма незначительны, самая высокая точка находится около собора на пересечении улиц Grand-Rue и Fossé-des-Tanneurs — наиболее древним местом, где были поселений кельтов на холмах, возвышающихся посреди затопляемых низменностей.

Город стоит на реке Иль, которая связана сетью каналов с Рейном. Обширная речная система, близость подземных вод становятся причиной частых подтоплений, поэтому, при строительстве многих кварталов города, приходилось проводить меры по осушению территорий, прокладывать каналы и дренажные системы.

Город расположен между двумя горными массивами, Вогезами и Шварцвальдом, что защищает его от сильных ветров. По сравнению с другими городами Франции, в Страсбурге наблюдается меньше осадков благодаря естественной пре-

граде от западных ветров (Вогезы). В начале и конце лета часто бывают ливневые дожди с грозами. Климат Страсбурга континентальный со значительной амплитудой температур по сезонам, зима холодная с частыми осадками в виде снега, а вот лето жаркое.

Немного об архитектуре...

Страсбург город по архитектуре более немецкий, чем французский, широко распространены фехтверковые дома. Но часто в зданиях города французская и немецкая архитектура причудливо переплетаются.

Страсбургский кафедральный собор (*Straßburger Münster, Liebfrauenmünster zu Straßburg, Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg*) — был на протяжении более 200 лет самым высоким зданием мира. Он виден отовсюду и издалека!

Это один из крупнейших соборов в Европе, и объединяет в себе немецкую и французскую архитектуру. В настоящее время является католической церковью епископа Страсбурга.

Здание построено из красного вогезского песчаника (*grès rouge des Vosges*). Строительство началось в 1015 году, и в последующие века собор достраивался и изменял свой внешний вид.



Рис. 18. Собор Страсбурга

Восточные части собора, в том числе хор и южный портал, выполнены в романском стиле, а продольный неф и знаменитый, украшенный тысячами фигур, западный фасад являются шедеврами готической архитектуры.

Северная башня высотой 142 м, с ажурным ступенчатым шпилем, которой полностью выполнен из песчаника (окончена в 1439 году), была вплоть до конца XIX века самым высоким сооружением, полностью выполненным из камня. Южная башня не была завершена, что придаёт собору асимметричную форму.

Площадь, на которой стоит собор, принадлежит к числу самых красивых городских площадей Европы. На ней расположен ряд фахверковых домов (до 4-5 этажей) в стиле алеманско-южнонемецкой (швабской) архитектуры. Характерным являются высокие крыши, в которых расположены несколько «наклонных» этажей (до четырёх).

На северной стороне площади стоит известный фахверковый дом, искусно расписанный Дом Каммерцеля, построенный в XV веке (*Haus Kammerzell, Maison Kammerzell*).

Дом Каммерцеля (*Maison Kammerzell*) — самое известное светское здание в Страсбурге. Построенное в 1427 году, фахверковое здание было перестроено в 1467 году, а в 1589 году оно получило богатый резной фасад.



Рис. 19. Дом Каммерцеля

Здание принадлежит к самым красивым фахверковым домам поздней немецкой готики. Фасад здания украшен семьюдесятью пятью окнами с резными обрамлениями, на которых изображены библейские и мифические персонажи, а также знаки Зодиака, пять чувств и известные музыканты.

В XVI веке сыроторговец Мартин Браун купил дом и в 1589 году закончил его ремонтировать. От старого здания средневековой постройки остался лишь пер-

вый этаж с тремя декоративными арками. Остальные этажи были полностью перестроены, уступив место великолепной конструкции в стиле ренессанса, сохранившейся по сей день.

До середины XIX века дом был известен как «Альтес хаус», пока не перешёл в собственность бакалейщика из Вюрцбурга Филиппа-Франсуа Каммерцеля, оставившего ему своё имя.

В настоящее время в этом здании, перешедшем в 1879 году в собственность города, открыт ресторан «Maison Kammerzell».

Крытые мосты (*Ponts couverts*) — часть исторических укреплений города, мосты с башнями, защищавшими рукава реки Ильль. Возведенные в XIII веке мосты подвергались многочисленным перестройкам в течение веков. Первоначально они были покрыты прочной деревянной кровлей, откуда и возникло их название, однако к 1784 году сооружения полностью утратили свое оборонительное значение, и кровля была разобрана. Сейчас это ряд мостов (сами мосты полностью перестроены в камне в 1865 году) и четыре квадратных в плане башни городских укреплений, две центральных башни у основания обнесены укреплениями бастионного типа.

Церковь Святого Павла (*Église Saint-Paul*) — неоготический храм в Страсбурге, расположенный вблизи исторического центра города, к востоку от него, на островке Св. Елены (îlot Sainte-Hélène), недалеко от трамвайной остановки Gallia. Фасад церкви украшен двумя башнями высотой 76 метров. Первоначально здесь находилась протестантская церковь немецкого военного гарнизона.

Строительство церкви велось с 1892 по 1897 годы архитектором Луи Мюллером (1842–1898).

В 1919 году, с возвращением Эльзаса Франции, здание было передано приходской церкви реформаторской общины Эльзас-Лотарингии. В 1944 году церковь была повреждена английскими и американскими бомбардировками. В мае 2009 года начались реставрационные работы фасада южной башни.

Дворец Роган строился в период с 1731 по 1742 год архитектором Жозефом Массолом по проекту Робера де Котте, по указанию кардинала Армана-Гастона Максимилиана де Роган-Субиза. Он был возведён на месте прежней архиепископской резиденции (строилась с 1262 года).

В 1744 году во Дворце Роган останавливался французский король Людовик XV, в 1770 — королева Мария-Антуанетта. В 1805, 1806 и в 1806 годах здесь бывал император Наполеон I и его первая супруга Жозефина Богарне. По указанию Наполеона, помещения и залы дворца были украшены и переделаны по его вкусу. В 1810 году во Дворце Роган Страсбурга провела свою первую ночь на французской земле вторая супруга Наполеона — Мария-Луиза.

В 1828 году здесь останавливается французский король Карл X. После вхождения Эльзаса в 1870 году в состав Германии во Дворце с 1872 по 1898 год располагались основные службы и отделения немецкого Страсбургского университета. Затем здание использовалось как помещение для императорских музеев, в том числе и для вновь созданной картинной галереи — вместо полностью сгоревшего во время обстрела прусской артиллерией Страсбурга 24 августа 1870 года городского художественного собрания. Во время Второй мировой войны, 11 августа 1944 года, Дворец Роган был сильно повреждён во время налёта англо-американской авиации. Восстановительные работы были полностью завершены лишь в 1990-х годах.

Здание Дворца Роган является выдающимся памятником зодчества эпохи барокко. В нём находятся три важнейших музея Страсбурга — археологический, Музей прикладного искусства и Музей изобразительного искусства.

Фактически Страсбург сегодня — это огромная городская агломерация. С севера примыкают районы Онейм, Бишхейм, Шилтингхейм, Нидерхаусберген, с запада — Мидделхаусберген и Оберхаусберген, на юге — Отсвальд. Эти районы считаются пригородами. К территории Страсбурга относится Кроненберг, с его известным пивным концерном, а на юге — Ньюдорф.

Историческая часть Страсбурга находится на острове, ограниченном рекой Илль и Fossedu Faux Rempart.



Рис. 20. Страсбург р. Илль



Рис. 21. Страсбург, Fossedu Faux Rempart



Рис. 22. Страсбург с птичьего полета



Рис. 23 Страсбург.
Типичная застройка центра города



Рис. 24. Страсбург

С востока примыкает огромная территория Страсбургского Университета, основанного в 1538 году Иоганном Штурмом на базе протестантской гимназии. В 1566 году император Максимилиан II придал гимназии статус академии, в 1621 года она стала университетом, а в 1631 — королевским университетом.



Рис. 25. Университет Страсбурга

В Университете учился поэт Иоганн Вольфганг Гёте, известный физик Вильгельм Конрад Рентген, биолог Луи Пастер, философ Альбер Швейцер.

Страсбург связан многочисленными каналами с Рейном, и через «Мост Европы» соединяется с немецким городом Кель-на-Рейне.

На западе Страсбурга почти с юга на север проходит канал **de la Marne Rhin**, почти через половину Франции. Он соединяет р. Марна (от г. Вигриле-Франсуа проходит через р. Орнен к г. Страсбург) с Рейном.

Канал был построен в 1838-53 гг. Его длина 316 км, глубина 2 м, на канале — 178 шлюзов. Возможен проход судов и барж грузоподъемностью до 300-350 тонн, а грузооборот канала составляет свыше 4 млн. тонн в год.



Рис. 26. Канал de la Marne Rhin

В Страсбурге родились Гюстав Доре — французский художник, гравёр и книжный иллюстратор, и Марсель Марсо — известный французский актёр-мим.



Рис. 27. Символ Эльзаса — Аисты



Журнал «Семь искусств» № 5 (62) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 556 с., 34,5 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2015

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"

